



ВОСПОМИНАНИЯ  
О СЕРЕБРЯНОМ  
ВЕКЕ



ВОСПОМИНАНИЯ  
О СЕРЕБРЯНОМ  
ВЕКЕ





Составитель,  
автор предисловия и комментариев  
*Вадим Крейд*

**ВОСПОМИНАНИЯ  
О СЕРЕБРЯНОМ  
ВЕКЕ**



Москва  
Издательство  
«Республика»  
1993

ББК 84 Р6

В77

*Художник И. Иванова*

*Рецензент Евг. Витковский*

В77

**Воспоминания** о серебряном веке / Сост.,  
авт. предисл. и коммент. В. Крейд.— М.: Республика,  
1993.— 559 с.

ISBN 5—250—02030—5

Атмосфера ренессансного русского серебряного века (конец XIX—начало XX столетия), отмеченная необыкновенным взлетом духовности и культуры, воссоздана в предлагаемой читателю книге. Авторы воспоминаний о Бальмонте, Сологубе, Блоке, Андрее Белом, Гумилеве, Волошине, многих других блистательных людях отечественного ренессанса — сами творцы или очевидцы этой эпохи — вынуждены были покинуть родину после революции. Большая часть мемуаров, собранных Вадимом Крейдом, профессором славистики Айовского университета (США), публикуется в России впервые.

В  $\frac{0301080000-005}{079(02)-93}$  168—93

ББК 84Р6

ISBN 5—250—02030—5

© Издательство «Республика», 1993



## ВСТРЕЧИ С СЕРЕБРЯНЫМ ВЕКОМ

Одну из своих статей В. Ходасевич начинает с рассказа о том, что ему довелось побывать на лекции об Иннокентии Анненском. В словах лектора ничего не вызывало сомнения, добросовестно излагались факты, и все же Ходасевич почувствовал, что нарисованная лектором картина серебряного века слишком отличалась от времени, в котором сам Ходасевич вырос как личность и поэт. «Причина стала мне ясна сразу. Лектор знал символизм по книгам — я по воспоминаниям» \*. В той атмосфере вещи освещались совсем иными лучами и предметы приобретали новые очертания. Ходасевич знал эпоху лично, по опыту жизни, быта, общения, творчества. И если у нас есть интерес к той уникальной эпохе, мы сделаем верный выбор, обратившись к воспоминаниям и самого Ходасевича, и его современников, которые, исходя из личной памяти, запечатлели — теперь уже в виде предлагаемой читателю книги — забытую атмосферу блистательного, ренессансного русского серебряного века. Мемуарная литература, не заменяя историко-литературных трудов, имеет перед ними свои преимущества. В рассказах очевидцев, участников и творцов эпохи отражается постижение не в терминах науки, а в живом свете личной памяти. Мемуары — окно в прошлое, и порой среди них встречаются такие, которые открывают форточку в этом окне, и мы словно вдыхаем озон отдаленных дней. Мемуаристика столь же помогает нашему экзистенциальному познанию какого-нибудь давнего периода, сколько сочинения по истории культуры познанию умственному.

Эпохи одна от другой отличаются во времени, как страны в пространстве, и когда говорится о нашем серебряном веке, мы представляем себе, каждый по-своему, какое-то цельное, яркое, динамичное, сравнительно благополучное время со своим осо-

\* Ходасевич В. Литературные статьи и воспоминания. Нью-Йорк: Изд. им. Чехова, 1954. С. 154.

бенным ликом, резко отличающемся от того, что было до, и от того, что настало после. Эта эпоха длиною от силы в четверть века простирается между временем Александра III и семнадцатым годом.

Никто, кроме, пожалуй, немногих литературоведов, не говорит о понятии «серебряный век» как о научном термине. Это понятие не столько филологическое, сколько мифологическое. Так оно и понималось Н. Окупом, Н. Бердяевым, С. Маковским и другими — теми, кто впервые вводил его во всеобщий обиход. Сами участники этого расцветшего, но загубленного российского ренессанса сознавали, что живут в пору культурного и духовного возрождения или, по крайней мере, решительного обновления. Работником возрождения, например, отчетливо видел себя Н. Гумилев. В статьях того периода, когда осмысливалось это широкое и мощное движение, часто встречаются такие выражения, как «новый трепет», «новая литература», «новое искусство» и даже «новый человек». «Бальмонт прежде всего — «новый человек», — писал В. Брюсов в своем отзыве на книгу «Будем как солнце». — К «новой поэзии» он пришел не через сознательный выбор... Он поставил себе задачу быть выразителем определенной эстетики» \*. Именно в эстетическом ключе понимал свою эпоху начинающий Георгий Иванов. Для И. Анненского центральный феномен этого периода — литература, а в ней ее ядро — новая поэзия. «Новая поэзия?.. Шутка сказать... Разберитесь в этом море...» \*\* Для авторов хорошо известной в свое время «Книги о русских поэтах последнего десятилетия» это новое движение творчества определяется как эпоха романтизма: «Романтическим в истории является такой период, который кладет резкую грань между двумя соседними враждующими и непримиримыми эпохами» \*\*\*.

Действительно, контраст между серебряным веком и предшествующим ему безвременьем разительный. И еще разительней этот контраст и прямо-таки враждебность между серебряным веком и тем, что наступило после него, — временем демонизации культуры и духовности. Поэтому включение в серебряный век двадцатых и тридцатых годов, как это все еще делается \*\*\*\*, — невольный или подневольный черный юмор. Мы не можем безапелляционно указать на имя, место или дату,

\* Брюсов В. Далекие и близкие. М., 1912. С. 72.

\*\* Анненский И. О современном лиризме // Аполлон. 1909. № 1. С. 19.

\*\*\* Книга о русских поэтах последнего десятилетия. Пб.; М., 1908. С. 3.

\*\*\*\* См. предисловие к книге «Серебряный век». М.: Известия. 1990.

когда и где забрезжила ранняя заря серебряного века. Был ли это журнал «Мир искусства», на чем настаивает Сергей Маковский в книге «На парнасе серебряного века», или возникший ранее «Северный вестник», или сборники «Русские символисты», не столь существенно. Новое движение возникает одновременно в нескольких точках и проявляется через нескольких людей, порою даже не подозревающих о существовании друг друга. Итак, ранняя заря серебряного века занялась в начале девяностых годов, а к 1899 году, когда вышел первый номер «Мира искусства», новая романтическая эстетика сложилась и оформилась, и предстояла грандиозная творческая и преобразующая работа, которая под силу только людям ренессанса.

Все кончилось после 1917 года, с началом гражданской войны. Никакого серебряного века после этого не было, как бы нас ни хотели уверить. В двадцатые годы еще продолжалась инерция, ибо такая широкая и могучая волна, каким был наш серебряный век, не могла не двигаться некоторое время, прежде чем обрушиться и разбиться. Еще живы были большинство поэтов, писатели, критики, философы, художники, режиссеры, композиторы, индивидуальным творчеством и общим трудом которых создан был серебряный век, но сама эпоха кончилась. Каждый ее активный участник осознал, что, хотя люди и остались, характерная атмосфера эпохи, в которой таланты росли, как грибы после грибного дождя, сошла на нет. Остался холодный лунный пейзаж без атмосферы и творческие индивидуальности — каждый в отдельной замкнутой келье своего творчества. По инерции продолжались еще и некоторые объединения — как, например, Дом искусств, Дом литераторов, «Всемирная литература» в Петрограде, но и этот постскрипtum серебряного века оборвался на полуслове, когда прозвучал выстрел, сразивший Гумилева.

Серебряный век эмигрировал — в Берлин, в Константинополь, в Прагу, Софию, Белград, Гельсингфорс, Рим, Харбин, Париж. Но и в русской диаспоре, несмотря на полную творческую свободу, несмотря на изобилие талантов, он не мог родиться. Ренессанс нуждается в национальной почве и в духе свободы. Художники-эмигранты лишились родной почвы, оставшиеся в России лишились воздуха свободы. Однако эмиграция видела свою миссию в сохранении духовных ценностей еще недавно возрождавшейся России и в передаче этих ценностей освобожденной России будущего. Вот, в частности, в чем состоит причина развитости мемуарного жанра в литературе русского зарубежья — той мемуарной лавины, которая, конечно, не может быть вмещена в однотомник любого объема.

Благодаря исключительному статусу, какой в России присущ был литературе со времени ее золотого, пушкинского века,

она оказалась центральным культурным феноменом и в серебряном веке. Мы ограничились в этом издании только воспоминаниями о поэтах, о кружках и обществах литературных по преимуществу. Если границы эпохи могут быть установлены отчетливо при условии ясного различения самой эпохи и выросшей на ее почве последующей традиции, то определение содержания серебряного века наталкивается на череду препятствий. Начать с самого легкого вопроса — кто из современников Бальмонта, Брюсова, З. Гиппиус, Мережковского, А. Добролюбова, Сологуба, Вяч. Иванова, Блока, Белого, Волошина, М. Кузмина, И. Анненского, Гумилева, Ахматовой, Комаровского, Мандельштама, Ходасевича, Г. Иванова принадлежит к серебряному веку? Стоит начать с этого вопроса, и мы увидим, что он не из самых легких. «По-настоящему мы не знаем даже имен»\*, — говорил Ходасевич, размышляя о границах символизма. Но символизм хотя и был важнейшим феноменом эпохи, этим течением ее содержание не исчерпывается. К ней вместе с символизмом принадлежат и декадентство, и модернизм, и акмеизм, и эго-футуризм, и многое другое.

Иногда говорят, что серебряный век — явление западноевропейское. Действительно, своими ориентирами он избрал или временно брал эстетизм Оскара Уайльда, индивидуалистический спиритуализм Альфреда де Виньи, пессимизм Шопенгауэра, сверхчеловека Ницше. Серебряный век находил своих предков и союзников в самых разных странах Европы и в разных столетиях — Вийона, Малларме, Рембо, Новалиса, Шелли, Кальдерона, Мальро, Гюисманса, Стриндберга, Ибсена, Пшибышевского, Метерлинка, Уитмена, д'Аннунцио, Готье, Бодлера, Эредиа, Леконта де Лиля, Блейка, Верхарна. Их произведения переводили на русский язык многие, и в том числе наши большие поэты. Пристальный интерес писателей распространялся не только на европейскую прозу, поэзию, драму. Столь же велик был интерес к творениям западных духовидцев — Экхарта, Франциска Ассизского, Якоба Бёме, Сведенборга и других. Окно в Европу было прорублено вторично.

Но в той «рабочей комнате», о которой писал И. Анненский, в той творческой лаборатории, в которой создавались художественные, интеллектуальные, духовные ценности эпохи, лишь одного окна было мало. Русский ренессанс хотел увидеть все стороны света и заглянуть во все века. Никогда еще русские писатели не путешествовали так много и так далеко: А. Белый — в Египет, Гумилев — в Абиссинию, Бальмонт — в Мексику, Новую Зеландию, на Самоа, А. Кондратьев — в Палестину, Бунин — в Индию... Это лишь несколько примеров, не считая бесчисленных путешествий по странам Европы. Темы

\* Ходасевич В. Литературные статьи и воспоминания. С. 155.

и мотивы древней Америки, Ассирио-Вавилонии, Греции, Рима, Иудеи, Персии, Египта, Индии, Китая входят в стихи наших поэтов. Это и был «путь конквистадоров» в русской культуре.

Хотя новые веянья и начались как западнические, отчасти прозападные, экстенсивность этой культуры была таковой, что она, кажется, не могла пропустить в своих исканиях ни одного века, ни одной отдаленной или даже соседней земли. Экстенсивность, с проявления которой и начались новые веянья, обозначилась как интенсивность новой культуры вместе с ее возвращением к родной почве. «Славянофильские» интересы этого поначалу столь западнического века сказались многосторонне, но мощнее всего проявились в двух направлениях. Во-первых, в открытии русского художественного и духовного наследия недавнего прошлого и, во-вторых, в глубоком художественном интересе к своим собственным корням — к славянской древности и русской старине. В плане первой тенденции были по-новому прочтены и заново открыты писатели и поэты недавнего прошлого. Б. Садовской и Бальмонт заново открывают Фета, Брюсов — Тютчева, Блок — Аполлона Григорьева, Кондратьев — Алексея Толстого и Щербину, символисты в целом — Достоевского, Ходасевич глубоко изучает Пушкина и Баратынского, И. Анненский по-новому прочитывает Гоголя, Вячеслав Иванов — Лермонтова, Пушкина, Достоевского.

Другая направленность на поэтическое воскрешение в памяти своего родного, корневого, почвенного выразилась в замороженном интересе к славянской мифологии и русскому фольклору. Эта направленность проявилась и в музыке Стравинского, и в живописи Кустодиева, Билибина, Васнецова, Рериха, Нестерова, но здесь мы остаемся в пределах одной только литературы — прозы и поэзии. И в этой связи упомянуты должны быть мифотворческие книги Бальмонта «Жар-птица» и «Зеленый вертоград», книги С. Городецкого «Ярь» и «Перун», а также «Посолонь» и «Лимонарь» А. Ремизова и творчество Любви Столицы, Хлебникова, А. Кондратьева, сборник стихотворений акмеиста В. Нарбута «Аллилуйя», роман А. Белого «Серебряный голубь». А. Блок пишет цикл о болотных бесенятах и статью «Поэзия заговоров и заклинаний», Вяч. Иванов — цикл стихотворений «Северное солнце»...

Подход к славянской и русской теме взят был не националистический, а общечеловеческий — эстетический и духовный. Переоценка ценностей велась с позиций европеизма. В свете новой эпохи, явившейся полной противоположностью той, которую она сменила, национальные сокровища и литературные, и фольклорные предстали в ином, более ярком, чем когда-либо, освещении.

Почему мы все-таки смотрим на эту эпоху как на некоторое единство, в чем-то загадочное, не объясненное до конца, но все



же сотканное в целокупность? Мы видим это единство как освещенное солнечным сиянием творческое пространство, светлое и жизнедающее, жаждущее красоты и самоутверждения. Мы чувствуем атмосферу, насыщенную электричеством и в то же время пронизанную солнечными лучами, полную беспокойства мысль и пристрастие к изысканным формам. В ней есть срыв в неврастению, но рядом примеры подлинного мужества и благородства. В ней есть место религиозному экстазу и свободной, роскошной игре ума. В ней изобилует всякого рода ересь, но ее источник — избыточность жизненных сил. В ней есть утонченность, ирония, поза, но есть и проблески подлинного самопознания. Сколько света, по сравнению с пасмурной, давящей погодой безвременья восьмидесятых годов. Какой стереоскопический контраст с тем, что было до, и с тем, что настало после. И хотя мы зовем это время серебряным, а не золотым веком, может быть, именно оно было самой творческой эпохой в российской истории.

Экстенсивная в своих глобальных и даже космических исканиях, эпоха была интенсивной в своем творческом накале. Повсюду мы видим признаки максимализма. «Я брал только то, что чувствовал выше себя и в то же время созвучное»\*, — писал И. Анненский в предисловии к своей «Книге отражений». Так формулировался максималистский принцип нового искусства. Нечто подобное, но не в психологическом, а в эсхатологическом роде мы находим и у Андрея Белого: «Только в тот момент, когда мы выдвинем вопрос о жизни и смерти человечества... мы приблизимся к тому, что движет новым искусством. ...Людям срединных переживаний такое отношение к действительности кажется нереальным; они не ощущают, что вопрос о том, *быть или не быть человечеству*, реален»\*\*. Этот же максимализм ведет первого русского декадента Александра Добролюбова к поиску цельного знания, превосходящего пределы художественного творчества. Лучшее пояснение этому нравственному и умственному порыву дал человек, лично знавший А. Добролюбова, рано погибший и не успевший себя реализовать, гениальный Иван Коневской: «Чтобы осуществить свой замысел о сотворении своего мира вне человеческих чувств и вне человеческого ума, этому человеку оставалось выбрать как наиболее целесообразный путь цельное тайновиденье и тайнодействие, упражнение в тех состояниях иного сознания, которые были известны чистым мистикам всех веков... а в обителях восточного христианства производились под названием «умного деланья»\*\*\*.

\* Анненский И. Избранные произведения. Л.: Худож. лит., 1988. С. 374.

\*\* Белый А. Арабески. М., 1911. С. 242—243.

\*\*\* Коневской И. Собр. соч. München: Wilhelm Fink Verlag, 1971. С. 198.

Прислушаемся и к Гумилеву, тоже символисту в начале своего пути, можно сказать, символисту третьего призыва. В тот динамичный период новое литературное поколение заявляло о себе даже не через десятилетие, но чаще. На протяжении короткого серебряного века в литературе нашей проявило себя фактически четыре поколения поэтов: бальмонтовское (родившиеся в шестидесятые и в начале семидесятых годов), блоковское (родившиеся около 1880-го), гумилевское (родившиеся около 1886-го) и, наконец, поколение, родившееся в девяностые годы: Г. Иванов, Г. Адамович, М. Цветаева, Р. Ивнев, С. Есенин, Н. Львова, А. Мариенгоф, В. Маяковский, Вс. Рождественский, Н. Оцуп, Г. Шенгели, В. Шершеневич и другие. Итак, Гумилев, как и поэты двух предшествующих поколений,— максималист в своих требованиях, предъявляемых к искусству: «От личности поэзия требует того же, чего религия от коллектива. Во-первых, признания своей единственности и всемогущества; это рождает в нем чувство катастрофичности; ему кажется, что он говорит свое последнее и самое главное» \*.

Не только в поэзии, но и в самих новых веяниях эпохи, запечатленных и в поэзии, и в живописи, и в философии, сказался интерес к посвятившемуся знанию. Только этим обстоятельством и ничем иным объясняется глубина духовных достижений серебряного века, остающихся в нашей современной культуре неисчерпанными, неизученными обстоятельно и, конечно, непревзойденными. Едва ли не каждый из значительных поэтов эпохи тяготеет к той или иной форме мистического поиска. Блок вдохновляется прозрениями Вл. Соловьева, А. Белый еще в ранней юности читает Упанишады, а позднее отдается антропософским штудиям и практике. Брюсов и Гумилев изучают трактаты европейских оккультистов. Волошина интересуется теософия, затем антропософия и Бхагават Гита. Вячеслава Иванова влекут самого разного рода эзотерические знания. Бальмонт увлекается то Зенд-Авестой, то Лао-цзы, то индуизмом, то буддизмом, то русским сектантством. Сколь очаровательно мишурным ни был эго-футуризм Игоря Северянина и его друзей по академии эго-поэзии, но и он получил творческий укрепляющий импульс от теософии Блаватской более, чем от стихов своих учителей Фофанова и Лохвицкой. Эта тема связи серебряного века с эзотеризмом необъятна. И чем глубже мы в нее входим, тем успешней находим ясные ответы на эстетические и исторические загадки эпохи.

Своего рода посвятившимся знанием был и символизм в целом, тот самый символизм, не будь которого, были бы отдельные многочисленные авторы, но не было бы той цельной при всех тысячах ее противоречий эпохи. Известен целый ряд

---

\* Гумилев Н. Собр. соч. Т. 4. Вашингтон, 1968. С. 178.

удивительно тонких и обязующих признаний об изначально эзотерической природе всех этих «новых веяний», «нового искусства», «новой поэзии» и даже, как писал Брюсов, «нового человека». Ограничимся лишь одним таким признанием, кстати, принадлежащим, может быть, трезвейшему участнику и обстоятельнейшему свидетелю интересующего нас феномена. «У символизма был *genius loci*, дыхание которого разливалось широко. Тот, кто дышал этим воздухом символизма, навсегда уже чем-то отмечен, каким-то особым признаком (дурным или хорошим или дурным и хорошим — это вопрос особый). И «люди символизма» и его окрестностей умеют узнавать друг друга. В них что-то есть общее, и не в писаниях только, но также в личностях. Они могут и не любить друг друга, и враждовать, и не ценить высоко... Но это связь людей одной эпохи. Они — свои, «поневоле братья» — перед лицом своих современников-чужаков. И с чужими такими, сколько бы они ни заключали союзов, литературных, журнальных или каких угодно, порода все-таки себя выдаст, связь рано или поздно окажется искусственной и либо ослабнет, либо порвется вовсе. Потому-то, с другой стороны, так легко и вступают они в разные союзы, что для них все «чужие» в последнем счете равны. Люди символизма «не скрещиваются». Тут — закон, биология культуры» \*.

Мы видим в этом глубоком и многогранном признании один из лучших ответов на вопрос, приводивший в недоумение столь многих: почему какие-нибудь два поэта, два современника, лично знавшие друг друга, оказываются в разных категориях: один — званый, другой — призванный. Почему друг Ходасевича Муни, почти не оставивший следа в литературе, но зачерпнувший запредельной стихии, входит в культуру серебряного века, а писатель Максим Горький, назвавший годы 1907—1917 самым позорным десятилетием, имеет отношение к серебряному веку лишь по касательной?

Проблема посвяtitельного знания, как ее сформулировал в своих воспоминаниях «На парнасе серебряного века» С. Маковский, остается центральной для цельного понимания этого цельного периода. Но рядом с этим всегда была и будет возможность иных подходов — частных и фрагментарных, на заведомо сниженных уровнях. В «Портрете без сходства» Георгия Иванова есть горько-ироническое ретроспективное стихотворение, в котором слышна нота безысходности:

Летний вечер прозрачный и грузный.  
Встала радуга коркой арбузной,  
Вьется птица — крылатый булыжник...  
Так на небо глядел передвижник,  
Оптимист и искусства подвижник.

\* Ходасевич В. Литературные статьи и воспоминания. С. 155.

Он был прав. Мы с тобою не правы.  
Берегись декадентской отравы:  
«Райских звезд», искаженного света,  
Упоенья сомнительной славы,  
Неизбежной расплаты за это.

«Декадентская отравка» здесь — то же самое, что и *genius loci* с его ширским дыханием в цитированном отрывке из Ходасевича. В одном из более ранних стихотворений Г. Иванов перенес этого гения в пространство золотого века, показав, как серебряный век, окончив свое шествие, смогрел в даль прошлого:

И отражается в озере  
И холодеет на дне  
Небо, слегка декадентское,  
В бледно-зеленом огне.

Все в этом мире по-прежнему.  
Месяц встает, как вставал,  
Пушкин имень закладывал  
Или жнугу ревновал.

И ничего не испразила,  
Не помогла ничему,  
Смутная, чудная музыка  
Слышная только ему.

Эта музыка под бледно-зеленым декадентским небом не могла предотвратить социальные взрывы и нравственные оползни; ее предназначение было в чем-то другом. Кто-то еще в начале века назвал очень удачно эту музыку и творчество, ею вызванное, «новым трепетом». Интуиция нового трепета становилась как бы способом посвящения в современность. Оно не чуждо было даже не вполне творческим, но оригинальным натурам, оставшимся в культурной памяти. Само же творчество стало главным культом эпохи. Достаточно вспомнить книгу Н. Бердяева «Смысл творчества» (1916) или продумать одно из многочисленных высказываний писателей серебряного века — хотя бы слова Брюсова о том, что «на свете нет ничего более широкого, более всеобъемлющего, чем художественное творчество».

Символисты больше других, но не только они, понимали творчество как жизнетворчество. Вячеслав Иванов в известнейшей из его статей «Заветы символизма»\*, напечатанной в год кризиса этой школы, писал, что искусство по природе своей действительное, а не созерцательное «и в конечном счете не иконотворчество, а жизнетворчество». Принцип этот был

\* Впервые напечатано в «Аполлоне». 1910. № 8.

хорошо понят еще первым поколением новых поэтов задолго до «заветов» Вяч. Иванова. Все они, причастные к новым веяниям, стремились снять перегородки между жизнью и литературой и пересоздать творчески свою индивидуальную жизнь. Тип связи писателя с жизнью был, конечно, совсем иной, чем у реалистов и у натуралистов: с бытом связь была поверхностнее, с бытием — глубиннее. Требовал или не требовал поэта к священной лире Аполлон — творимая легенда продолжалась. Тога мага у Брюсова, репутация колдуна у Сологуба, уверения И. Анненского, что поэт должен «выдумать себя», штейнерианство Белого, хитон Волошина, африканские путешествия Гумилева — все это часть поэтического наследия, а поэзия — часть жизнетворчества.

Никогда еще формы общения не были столь многогранны и многоплановы. Значительная часть творческой энергии серебряного века ушла именно в эту кружковую художественно-общественную жизнь. Связи между поэтами, писателями, художниками, артистами, философами оказались столь многосторонними и насыщенными, что о них, взятых вместе, можно говорить как о едином историко-культурном контексте. Вот почему в нашу книгу включен раздел мемуаров, посвященных кружковой жизни. Удельный вес обществ и общего творчества в эпоху серебряного века едва ли не столь же значителен, что и удельный вес творчества индивидуального. Принцип жизнетворчества вполне исполнил свое назначение: его приверженцами были созданы не только многочисленные значительные произведения, но и уникально целостная эпоха, стройность и напряженность которой поддерживается обилием концептуальных и личностных противоречий, примерами дружбы-вражды. Нигде так не оправдан биографический подход, как в случае изучения наследия писателей серебряного века. Что же касается роли мемуаров при этом подходе, то она самоочевидна.

Одним из существенных противоречий этого грандиозного культурного контекста было сосуществование религиозных исканий и люциферианских, демонических переживаний. И те и другие представлены изобильно в литературном наследии серебряного века; следы и тех и других видны в биографиях его представителей. Г. Чулков, один из писателей, посвященных в специфическую атмосферу эпохи, писал о демонических переживаниях, «сопутствующих духовному опыту поклонника Девы Радужных Ворот»: «Я убедился, что есть такая тайная прелесть, которая ужаснее иногда тайного безобразия» \*. Литература серебряного века при верно угаданных ее границах сама в целом может быть уподоблена колоссальной трагиронической эпопее со своими героями — гениями, полусвятыми, жертвами, жре-

\* Чулков Г. Годы странствий. М.: Федерация, 1930. С. 123, 124.

цами, воинами, провидцами, тружениками и бесами. Эта эпопея включает спокойное, но ранящее донкихотство Сологуба; вдохновенное горение и романтические мимолетности на все откликавшегося Бальмонта; вьюжную, стихийную «черную музыку» Блока; благородную человечность и пронзительную простоту Анненского; архаический интеллектуальный эзотеризм Вячеслава Иванова; грациозный и игривый стих М. Кузмина и упоительные тяжелые строфы Мандельштама и многие множества других художественных сокровищ. Но в этой же эпопее серебряного века мы находим страницы о тайной прелести и о катастрофах — «отчаянье, мертвую тоску по фантастически прекрасному прошлому, готовность вывернуть свое обесцененное существование в какой угодно костер, вывернутые наизнаву, отравленные демоническими соблазнами религиозные идеи и чаянья, оторванность от бытия и людей, почти что ненависть к предметному миру, органическую душевную бездомность, жажду гибели и смерти» \*. Размах маятника в этой эпопее, в этой коллективной божественной комедии, особенно широк: от бездны метафизической и космической до бездны игрушечной и портативной, от настоящей крови до клюквенного сока, от заигрывания с бесами до экстатического религиозного презрения.

В какой степени справились мемуаристы в воссоздании пейзажа и атмосферы эпохи — судить читателю. Нам же пора сказать несколько слов об авторах этой книги, в которую вошло сорок семь очерков тридцати четырех мемуаристов.

Авторы этих воспоминаний — не только писатели, поэты, но и художники (Ю. Анненков, В. Неведомская, М. Добужинский, С. Виноградов), музыканты (А. Лурье, А. Шайкевич, В. Пастухов, Л. Сабанев), критики (Д. Святополк-Мирский, К. Мочульский), люди, связанные родством с поэтами серебряного века (Б. Погорелова, Е. Герцык, Л. Рындина, А. Тургенева), а также историк М. Карлович, историк литературы М. Гофман, философ Ф. Степун, религиозный писатель и мыслитель Н. Арсеньев, ученый-этнограф Н. Могилянский, публицист и экономист Н. Валентинов. Все сорок семь очерков написаны эмигрантскими авторами, более подробные сведения о которых читатель найдет в комментариях. В первую часть этой книги вошли монографические очерки о выдающихся поэтах серебряного века Брюсове, Бальмонте, Сологубе, Анненском, Вячеславе Иванове, Блоке, А. Белом, Волошине, Кузмине, Мандельштаме, Гумилеве, Ахматовой и Георгии Иванове. С некоторыми подробностями рассказывается о менее известных, но исключительно характерных представителях серебряного века — А. Добролюбове, Эллизе, А. Скалдине — и с меньшими подробностями говорится о многих других.

\* Литературное наследство. Т. 85. М.: Наука, 1976. С. 782.

Во второй части книги представлены воспоминания более панорамного, обзорного, менее монографического характера, а также мемуарные очерки, в которых речь идет о кружках, собраниях, редакциях журналов и др.

Внутри разделов мемуары расположены — насколько это было практически возможно — в хронологической последовательности. В комментариях читатель найдет многочисленные указания на обширную мемуарную литературу о серебряном веке.

*Вадим Крейд*

**1**







Зинаида Гиппиус

## ОБ АЛЕКСАНДРЕ ДОБРОЛЮБОВЕ

Это было уже в 1893 году, незадолго до появления мелкого нашего «декадентства», а также перед появлением таких серьезных «новых» поэтов, как Ф. Сологуб и Брюсов. В истории русского чистого «декадентства» интересен был только один человек, притом не как поэт, а именно как человек, с его характерно «русской» историей жизни. В один прекрасный вечер к нам явились два гимназиста; один оказался моим троюродным братом, Владимиром Гиппиус<sup>1</sup>; раньше я его не знала. Его товарищ — черноглазый, тонкий и живой — был Александр Добролюбов. Они уже знали мои «новые» стихи; сами же писали такие, в которых мы сразу увидели то нарочитое извращение, что, на мой взгляд, уже с самого начала было «старым» и настоящим *décadence* — упадком. О В. Гиппиусе много писать нечего. Мы потом видались нередко, он напечатал тоненькую книжку своих стихов, которую я убедила его не выпускать в свет; писал впоследствии и другие стихи (под псевдонимом «Бестужева») — неважные. Любопытно в нем лишь одно: через годы и годы, когда он был уже профессором в известном Тенишевском училище, он заявился «евразийцем» — первым, кажется. Незадолго до революции он перешел в православие (был, как Гиппиус, лютеранином), перевел в православие и жену (тоже, как Гиппиусы, был женат на немке). Эмигрировать не пожелал и умер в Петербурге. Вот и все. Но Ал. Добролюбов был другого склада. Свое «декадентство» он прежде всего провел в жизнь. Мы с ним не видались уже, но было известно сразу, что он живет в каких-то черных комнатах и черных одеяниях, что у него много молодых последовательниц (или поклонниц), которым он проповедует, и успешно, самоубийство. И вдруг... вдруг с ним случилось то, что не поймет ни один европеец, но человек русский к подобным делам привык, — Добролюбов «ушел». Такие «уходы» — не пропадание: это лишь погружение в море российское, из которого обычны краткие временные вышывания. (Я знаю еще один такой «уход», гораздо позднее, молодого, очень красивого студента из знатной семьи, и талан-

тливового поэта притом. Он погиб уже при большевиках <sup>2</sup>.) Декадент — Добролюбов нырнул глубоко, выплыл не скоро, и выплывания его были не часты, кратки. Он являлся босой, в армяке, с такими же своими «учениками». Сидели все на полу, мало разговаривали, а когда их спрашивали — то, немногословно ответив, прибавляли: «брат мой, помолчим». Так Добролюбов приходил один раз к Брюсову <sup>3</sup>, другой раз к нам. Что это была за секта — никто путем не знал. Говорили только, что там «все сидят поникши». И что «учеников» у Добролюбова было очень много.

По-моему (да простит мне «âme slave» <sup>4</sup>), было это тоже своего рода «декадентство». Дм. Серг. со мной не соглашался, Добролюбов его интересовал, и он всех о нем спрашивал, пока тот совсем не исчез из виду.



Осип Дымов

АЛЕКСАНДР  
МИХАЙЛОВИЧ  
ДОБРОЛЮБОВ

В комнату вошел молодой, очень красивый студент в университетском сюртуке, в белых перчатках, с фуражкой, какие тогда носили только «белоподкладочники» из «золотой элиты». Черные проникновенные глаза сияли необычайной серьезностью. Говорил он картавя, сбивая букву «р» на «л», что придавало его речи своеобразную прелесть.

Это был Александр Михайлович Добролюбов, «А. М. Д.», как он себя называл (это из Пушкина: А. М. Д. «своею кровью начертал он на щите»).

Было это в 1897 году в Петербурге, в скромной квартире вблизи Екатерининского канала, неподалеку от Мариинского театра. Мне тогда шел 19-й год; я только приехал из провинции и готовился: в Технологический институт, в Лесной, в Академию художеств — все равно куда — только бы попасть в высшее учебное заведение. Добролюбов был на два-три года старше. Я с изумлением слушал и старался понять его речь. Все или почти все было непонятно.

Я познакомился с его книжкой стихов. Тошная серенькая книжечка со странным названием «Natura Naturarum»<sup>1</sup>. Мне объяснили: Добролюбов с группой друзей называют себя «символистами», «декадентами»: Валерий Брюсов, Коневской (Ореус), Василий Гиппиус, К. Фридрихберг<sup>2</sup> и отчасти Бальмонт. Запомнилась строчка из его серенького сборника:

И туманы болотные  
Зажигали огни.

(Речь шла о сорокалетнем скитании древних евреев в пустыне.)

Частые мои встречи с Добролюбовым происходили в доме Я. И. Эрлиха, дяди моего, где я жил. Ученик Римского-Корсакова, преподаватель музыки, философ, человек очень одаренный, Эрлих любил и ценил Добролюбова.

Прошло несколько лет, и Добролюбов исчез.

— Пришел мужик, хочет вас видеть, — сказала мне в одно зимнее петербургское утро горничная Глаша, — ждет на кухне.

На кухне увидел я Добролюбова — «А. М. Д.», символиста, эстета, тонкого знатока живописи, «белоподкладочника», превратившегося в «мужика»! Его черные, изумительно чистые и честные глаза стали еще прекраснее; легкая бородка легла на его лицо. Шестьдесят лет прошло с тех пор, а я не могу забыть его лица, лика, сказал бы я.

На кухне была Глаша, оба дворника и «брат Осип». Добролюбов говорил нам о братстве, о всеобщей любви... Его речь была проста, не подделываясь под язык народа, и чрезвычайно выразительна. Потом вошел в комнаты и долго говорил с моей бабушкой по-немецки, утешал и вспоминал о погибшем «брате Якове» (Эрлих). От чаю отказался, но съел несколько ломтиков хлеба.

На ночь он остался у меня (хотя была у него удобная и уютная квартира, мать, братья, сестры). Он деловито свернул свой крестьянский зипун на полу, близ обеденного стола, снял часть своей невзыскательной одежды и, не помолясь, не сказав больше ни слова, свернулся и затих. Уснул.

Утром я уж не застал его. Ушел он рано на заре, ни с кем не протрившись, ушел в Москву. Именно ушел — пешком. Денег у него не было. Для чего были ему деньги? Приходил в какую-либо деревню, стучал в окно, предлагал помочь по хозяйству, наколоть дров, убрать конюшню, и вот у него уже был скудный обед и теплая изба. А потом шел дальше.

В Москве он остановился у Брюсова. Перечитал все книги, какие вышли в свет за время его отсутствия, не нашел в них ничего стоящего внимания и скрылся, исчез из среды, которая ему теперь казалась чужой<sup>3</sup>.

Его видели изредка то в одном, то в другом месте. Странник Божий. Неожиданно появилась его новая книга небольшого формата — «Из книги невидимой». Вряд ли можно ее сейчас где-либо достать. Я помню отрывки из нее: «Я повстречался в лесу с медведем. Истинно хочет он примириться с вами».

В лесу, среди дорог, в равнинах и в горах Добролюбов всюду встречал «друзей»: это сестра — вода, брат — ветер, сестра — молния, брат — снег... Все у него было овеяно скромным величием благодности.

Мужик Божий, он сотворил свою собственную веру. Какую? Она была свободна от всяких догматов. Учеников и последователей он не искал. Они его искали. Каждая изба была его церковью, часовней, молельней, и молящиеся были просто слушателями.

Никакого официального учения он не проповедовал, но, по-видимому, все более склонялся к учению духоборцев.

Случилось, что в области Войска Донского два молодых казака, вызванные на сборный пункт, появились без оружия. «Грех! Нельзя носить оружие»,— объявили они. Оба были отправлены в дисциплинарный батальон.

Духовным отцом этих новобранцев был Добролюбов. Он не пытался скрыться, его отправили в Петербург, посадили в Петропавловскую крепость<sup>4</sup>. Интересно отметить, что имена «бунтовщиков» были Орлов и... Неклюдов — излюбленное имя в произведениях Толстого.

Начались хлопоты об освобождении из тюрьмы. Он сам не просил никакой помощи. Родные и друзья бросились к петербургскому градоначальнику генералу Клейгельсу. Вспомнили о заслугах бунтовщика: в 1897 году во время празднования годовщины русско-французского союза Добролюбов, тогда еще «белоподкладочник», был прикомандирован к свите Феликса Фора (президента Французской в ту пору республики) в качестве переводчика.

Не сразу опознал Клейгельс бывшего блестящего студента. Он увидел перед собою обросшего бородой мужика, который, не снимая картуза, говорил генералу «ты».

«Помешанный»,— решил Клейгельс. «Мужика» оставили в покое. Время шло.

Подошла революция одна (1905 г.), затем другая, потом пришел Ленин, Сталин. Один из братьев «мужика», встретившись с ним в ленинской Москве, спросил, что он думает об октябрьском перевороте. Твердо и точно Добролюбов ответил:— Нет, нет.

И опять ушел.

Ушел вечный странник, мужик Божий, и где-то затерялся, исчез в просторах России. Его, верно, уж нет больше в живых, знаем мы только, что не был он убит.

Нашел ли он спокойный, теплый свой последний угол? Или заморозил его насмерть брат мороз, или растерзали волки и где-то в чаще лежат на голой земле его кости?



Бронислава Погорелова

## ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ

Как бы ни относиться в настоящее время к творчеству Брюсова, одно следует, несомненно, признать. В свое время он являлся значительным новатором в области русского стихосложения, и его особой немало интересовались как собратья по перу, так и просто досужие люди. Причем рассказывалось много вздора и небылиц. Постараюсь сообщить в моих воспоминаниях лишь то, что память сохранила как подлинное.

Дед В. Я. Брюсова Кузьма Андреевич был крепостным графа Брюса, у которого много лет состоял буфетчиком. Года за два до освобождения крестьян он выкупил себя и жену у барина и переселился из провинции в Москву, где занялся торговлей пробками. По его смерти семье Брюсовых достался дом в Москве, на Цветном бульваре, и тысяч двести капитала.

Сын Кузьмы Андреевича, Яков Кузьмич, отец поэта, в смысле коммерческой деловитости мало чем напоминал отца. Полный, небрежно одетый, с всклокоченной рыже-серой бородой, он просиживал целыми днями за старинным письменным столом, на котором в беспорядке стояли остатки закусок и неизменно — бутылка коньяку. Яков Кузьмич проводил время за чтением «Русского богатства», «Русской мысли» и других толстых журналов. Изредка вместо журналов появлялся какой-нибудь новый французский роман. По вечерам Яков Кузьмич чаще всего раскладывал пасьянсы.

Как передавали, Кузьма Андреевич мечтал в свое время сделать из сына достойного себе преемника по делам. Дал ему достаточное образование и всячески старался заинтересовать его своей торговлей. Из этих попыток вышло мало толку. На Арбате, например, был открыт магазин оптических принадлежностей, и Яков Кузьмич был поставлен во главе этого дела. Но оно окончилось полным крахом. Яков Кузьмич являлся поздно в магазин и уходил задолго до его закрытия. Дорогой товар исчезал. Касса пустовала. А тут вскоре и скончался Кузьма

Андреевич, и Яков Кузьмич перешел на спокойную жизнь «рантье», получая свою долю процентов с капитала, который согласно воле Кузьмы Андреевича должен был оставаться неприкосновенным до смерти Якова Кузьмича. И лишь тогда все состояние было разделено поровну между внуками. Дом же поступил в собственность Валерия Яковлевича и его брата Александра.

Яков Кузьмич, во времена своей молодости и к великому огорчению отца, торговле предпочитал общество свободомыслящей, революционно настроенной молодежи, в стиле героев Тургенева и Достоевского. Был он также постоянным посетителем «Кружка», основанного П. Боборыкиным<sup>1</sup>. Там он познакомился с Матреной Александровной Бакулиной, на которой и женился. Брак этот не принес радости отцу. А мать, Марфа Никитична, особенно огорчалась тем, что невеста сына — стриженная. Впрочем, в те годы, когда я с ней познакомилась, Матрена Александровна была обыкновенной пожилой дамой, с лицом властным и умными черными глазами. Иногда она была приветлива и разговорчива. В такие минуты она нередко вспоминала прошлое и с увлечением рассказывала о «Кружке» Боборыкина. Как я уже сказала, посещался этот «Кружок» молодежью, преимущественно левой. По всей вероятности, создавая этот «Кружок», Боборыкин, человек образованный и непартийный, ставил себе целью — хотя отчасти отвлечь юных бунтарей от ограниченного мира бомб и кружковщины. Во всяком случае, по словам Матрены Александровны, там устраивались лекции на литературные темы, которые чередовались... с танцевальными вечерами.

Матрена Александровна почти не занималась хозяйством, читала те же журналы, что ее муж, и так же любила французские романы. От былых увлечений вольнодумством у нее, в сущности, сохранилось одно: она никогда не ходила в церковь и в ее доме священников не принимали. У Якова Кузьмича и Матрены Александровны было пятеро детей: 2 сына и 3 дочери. Валерий Яковлевич был любимцем матери и старшим сыном (род. в 1872 г.)<sup>2</sup>.

Впервые я увидела Валерия Брюсова 25-летним, довольно мрачным студентом Московского университета (историко-филологического факультета), когда ему оставалось сдать лишь государственные экзамены.

В «большой квартире» у Матрены Александровны проживала ее сестра — тетя Саша. Очень старенькая, болезненная и совсем не похожая на Матрену Александровну. Была робкой и очень набожной. Однажды у нее сломались очки, и она попросила меня прочесть в одной из московских газет (не помню, в какой именно) заметку о сборнике стихов Брюсова: «*Me eum esse*»<sup>3</sup>. Помню, что критик был



беспощаден, и молодому поэту досталось даже сверх заслуг: сплошная ругань.

Когда я кончила читать, тетя Саша, говоря о Матрене Александровне, сделала такое неожиданное заключение:

— Трушенька сама виновата. Распустила его с малолетства. Еще мальчишкой был, а карманы всегда набиты деньгами. Делал что хотел. Никто не смей слова сказать. И в гимназию-то не каждый день ходил... А уж студентом стал, то заняли вместе с отцом отдельную квартиру. Греха-то там что было! Дворник-то небось все рассказывал. Пьянство, непотребство! Ночами напролет... Ну, и написал теперь книжечку! Тьфу!.. А ведь каким умненьким был ребенком! Всем интересовался. Картинки как любил!.. Была у нас такая большая книга, Брема, что ли? Там всякие звери были. Так дашь ему, бывало, эту книгу, он так тихо сидит: все рассматривает. Особенно любил тигров. «Я,— говорит,— хочу быть тигром. Он — самый сильный, и ничего не боится». А то к отцу, к матери пристаёт: «Купите мне тигра». Эх, думала, из этого будет толк: какой-нибудь дельный ветеринар. Ая судьба-то как повернулась — книжки безобразные стал сочинять!

Окончил Валерий Яковлевич гимназию Поливанова, славившуюся как очень передовой постановкой преподавания, так и блестящими преподавателями. Учеником был неплохим, но, как говорили его товарищи, с большим задором и довольно часто вступал в спор с преподавателями, которые его недолюбливали.

В 1897 году (если не ошибаюсь) молодой поэт блестяще сдал государственные экзамены<sup>4</sup> и в том же году женился на моей сестре Иоанне Матвеевне (урожденной Рунт). Помню Валерия Яковлевича женихом. Худой, хорошего роста, с черной бородкой, одетый без франтовства; по внешности он скорее походил на трудовика, чем на поэта. Только в блеске больших черных глаз, недружелюбно сморгнувших из-под густых бровей, было чуточку безумия. Говорил четко, строго, порою — резко.

Помнится, мне, 13-летней девочке, захотелось блеснуть перед поэтом, и я заявила ему:

— А я люблю читать Надсона...

Губы его искривились нехорошей, меня испугавшей улыбкой.

— Да? Это понятно. Надсона читают кролики и глушцы.

Я ушла и расплакалась. А ложась спать, горестно шептала: «И кумир низведен с пьедестала»...

За любимого тогда поэта мне и раньше доставалось. Но главным образом за то, что Надсона я предпочитала французским и немецким глаголам. Но то были скучные рассуждения обыкновенных взрослых. Тут же прозвучал суровый приговор из уст настоящего поэта...

Впоследствии я привыкла к неожиданным «выпадам» Валерия Яковлевича. Была в его характере какая-то потребность огорошить, потрясти слушателя. И главным образом, любил задевать людей робких, сдержанных. Впрочем, большинству людей предпочитал одиночество. Часами мог просиживать за письменным столом, то роаясь в огромных словарях, то увлекаясь книгой нового поэта, то с охотнической настороженностью вылавливая опечатки в гранках. Умел настоять, чтобы в часы его работы в квартире была тишина. Даже посуду не ставили в буфет, когда Валерий Яковлевич сидел за работой.

Тут, справедливости ради, мне приходится опровергнуть заявление С. В. Яблоновского, утверждавшего, кажется на столбцах Н. Р. С.<sup>5</sup>, что Брюсов состоял на службе в каком-то страховом обществе. Ни одного дня, ни одного часа в дореволюционной России Валерий Яковлевич нигде не служил, если, впрочем, не считать журналов «Весы» и «Русская мысль», где он в разное время за месячный оклад исполнял чисто редакторскую работу. Средства на жизнь Брюсов получал регулярно — с дома, а случайно — в виде гонораров за литературный труд.

Служить В. Я. не только не был вынужден, но просто и не мог бы по своему характеру. Он избегал и не любил обыкновенных средних людей. Они мешали ему сосредоточиться, уходить в себя, уноситься в свои «брюсовские грезы». И этого он не скрывал, становясь несдержанным и часто приходя в не постижимую ярость.

Старая нянька, давно жившая в доме, однажды сказала мне по этому поводу:

— Прямо дьявол какой-то, прости Господи! Недаром мамаша-то стриженная ходила, когда он родился.

Впрочем, в исключительных случаях В. Я. умел быть и внимательным, и общительным. Прежде всего — со своей сестрой Надеждой Яковлевной. Так же как и Евгения Яковлевна, Н. Я. училась в Московской консерватории по классу фортепьяно. У обеих сестер преподавателем был В. И. Сафонов. А Н. Я., кроме того, у проф. С. И. Танеева изучала контрапункт.

Н. Я. была едва ли не самой изумительной личностью, которую мне когда-либо довелось встретить. Наружностью она очень напоминала брата, Валерия Яковлевича. Те же темные густые брови, те же жгучие глаза, та же прямая, сухая фигура. И та же устремленность в движениях, та же изысканная четкость в словах. Только в глазах у Н. Я. светилась ласковая доброта, совершенно чуждая ее брату. Н. Я. была на редкость образованным человеком. Нередко можно было застать ее за книгой Платона или иного греческого философа, которого она читала в подлиннике с такой же легкостью, как любой французский роман. Просто невероятна была та неутомимость,

с которой Н. Я. была занята с утра до вечера. То просиживала часов по пяти у своего «Бехштейна» за фугами или за исполнением классиков, то посещала консерваторию, то давала уроки, то читала серьезные книги. Я долго знала и очень любила Н. Я., но никак не могла решить, ушла ли она в свое время сознательно от христианства или никогда не удосужилась дойти до него. Не проявляя ни малейших внешних признаков христианства, Н. Я. во всех помыслах и поступках была преисполнена идеями некоего высшего гуманизма.

По своим личным средствам Н. Я. могла бы, по окончании занятий, уезжать на отдых за границу. Но она редко поступала так. Большею частью, приблизительно в середине июня, Н. Я. одевалась в скромное ситцевое платье, покрывала голову платком и с мешком за спиной отправлялась на Север. В мешок кроме смены белья и мелочей неизменно укладывался некий зародыш пианино — деревянный ящик с клавиатурой, октавы на две-три, а сбоку — резиновая трубка для надувания. Инструмент этот был необходим для ежедневного упражнения пальцев, и назывался он в шутку «бэби-пиано».

Месяца на два исчезала Н. Я., посещая на Севере города, селения, монастыри. Всюду знакомилась с остатками старины, с уцелевшими обычаями, с занятыми странниками: кооператорами, монахами, сектантами, анархистами, раскольниками. Некоторые из них приезжали к ней потом в Москву и привозили редкостные дары: то старинную вышивку, то расписной туес, полный морошки. Немало среди этих посетителей было лиц, по внешнему виду напоминавших бродяг. Н. Я. неизменно ласково принимала, угощала, расспрашивала их. Нередко одаривала деньгами или вещами.

Навсегда сохранился в памяти такой случай.

У Н. Я. сидит за столом и жадно что-то ест брюнет в отрешьях. Молодой, лет тридцати. Черные огромные глаза, посиневшие щеки.

Стояли трескучие январские морозы. По-видимому, гость очень промерз, блуждая по московским улицам, и потому весь посинел. В комнату вбежала сестра Н. Я. — Евгения Яковлевна. Посмотрев на незнакомца, она по-французски сказала сестре:

— Бедняга! Вероятно, ему было ужасно холодно в пути... Но какие у него красивые глаза!

Каково же было удивление обеих сестер, когда бродяга, усмехнувшись и подняв на сестер взор, до тех пор опущенный, как у заправского монаха, в свою очередь заговорил на безукоризненном французском языке:

— Глаза — это ничто. Прекрасной должна быть душа.

Этот убого одетый странный гость был поэт Александр Добролюбов. Про него мы узнали потом, что он происходил из

вполне интеллигентной, небедной семьи. По каким-то внутренним побуждениям он бросил семью и привычную жизнь, забыл друзей, перестал думать о какой-либо карьере и принялся бродить пешком по необъятной Руси. Появилась в дверях старуха нянька и вызвала Н. Я. в переднюю.

— Надежда Яковлевна, голубушка, а вы видели, в чем пришел «Божий человек»-то? Пальтишко ведь на нем летнее. А говорил, что на Север пробирается. Да разве ему в этой одежонке дойти? Он и в Москве под первым забором замерзнет...

Н. Я. сразу все сообразила и приняла решение:

— Позовите дворника.

А затем прибежавшему дворнику подала пачку рублей!

— Егор, сбегайте на Сухаревку и купите хороший, теплый тулуп.

Сухаревка была тут же, и дворник быстро исполнил поручение.

А потом, в передней, провожая гостя, Н. Я. с милым смущением говорила:

— С вашим пальто произошло несчастье. Оно... сгорело... по вине горничной, топившей печь. Извините нас и не откажите взять взамен вот это...

Пример, приведенный мною,— один из сотни, мне известных.

Н. Я. никогда не говорила об этой стороне своей жизни и ничем не уподоблялась тем скучным и самодовольным филантропам, которые не переводились в Москве и которые любили поговорить о своих добрых делах — кто с пафосом, а кто со смирением. Театр, концерты, выставки, литературные «среды» у брата, вечера «свободной эстетики» (основанные моей сестрой Иоанной Матвеевной) — вот тот внешний мир, которым она, казалась, исключительно жила.

Было еще, впрочем, время, когда Н. Я. открыла у себя бесплатные курсы по теории музыки для совершенно особых слушателей. По воскресным вечерам, к искреннему возмущению прислуги («Посмотрите, на что похож паркет!»), в «большой» брюсовской квартире появлялись юные подмастерья из плотников, булочников, слесарей, а также молодые служанки, портнихи и т. п. Все это размещалось в зале, вокруг концертного «Бехштейна», и Н. Я. преподавала своим «пролетарским» слушателям сложную науку о ритме и мелодии. Состояла ли Н. Я. в ту пору в конспиративной связи с подпольной партией большевиков — я не знаю. Об этом она никогда не говорила. Но, при воцарении большевиков, она оказалась в большой дружбе с О. Д. Каменевой и стала директором Московской консерватории.

Вот к этой своей сестре В. Я. относил совсем по-особенному. Без малейшей позы, без иронии, без задора. За долгими

беседами, испещренными греческими и латинскими цитатами, за чтением стихов (иногда тоже греческих) брат и сестра проводили часы. В. Я. казался робким, несмелым. Можно было подумать, что он был младшим: так внимательно и учтиво вслушивался он в слова сестры, даже в том случае, когда она позволяла себе критиковать некоторые из его стихов. Чего, вообще говоря, он не терпел от посторонних.

Был еще момент, когда с В. Я. спадала тога театральности и он являлся очень обыкновенным, даже посредственным человеком. Это — когда он садился с матерью, отцом и двоюродным братом за карты. Играл он много лучше своих партнеров, и им нередко доставалось от В. Я. Так ясно слышу его возмущенный голос и вижу сердитый жест.

— Это при трех онерах? Какой же ты после этого винтер? (Это отцу — за винтом.)

А матери, за преферансом, бросая карты на стол, он укоризненно кричал:

— Ну как же можно было назначать семь трэф? Это сумасшествие!

— А что бы ты сказал?

— Только «пас», как всякий нормальный человек!

«Господи, и это — поэт!» — думала я с отчаянием 14-летней девочки, когда пришлось впервые присутствовать в комнате, где происходила такая игра. «Нет, я уверена, — Надсон ни за что не мог бы дойти до такой пошлости!»

Брюсов, вероятно, умел быть и задушевным, и внимательным, и занимательным с теми дамами, за которыми ухаживал. Иначе как объяснить те бесконечные телефонные звонки, настоячивые письма, которые приводили в отчаяние несчастную Иоанну Матвеевну? Не одними же стихами (порой замысловатыми и не каждой понятными) привлекал Брюсов женские сердца, не перестававшие трепетать еще долго после того, как поэт остывал?

Думается, что именно в этом таилась разгадка всех тех нехороших слухов и даже скандальных происшествий, которые связывались одно время с именем Брюсова. Неукротима была его натура, постоянно жаждавшая новизны, перемен. В сборнике «Зеркало теней» (1912) есть у него стихотворение «Sed non satiatius»:

Что же мне делать, когда не пресыщен  
Я — этой жизнью хмельной!

.....  
Вновь я хочу все изведать, что было...

Трепеты, сердце, готовь!

Вновь я хочу все изведать, что было:

Ужас, и скорбь, и любовь!

Вновь я хочу все изведать, что было,  
Все, что сжигало мне кровь!  
Вновь я хочу все изведать, что было  
И — чего не было — вновь!

Было мне лет четырнадцать. Наш пансион, где я воспитывалась, гулял парами по Мясницкой. Перед переходом через улицу мы остановились и с любопытством рассматривали проезжающую публику. Вдруг я вижу: В. Я., нежно обняв даму в красной ротонде, мчится на санках мимо меня. Я радостно поклонилась. Он не ответил, т. к. не видел меня. Вскоре, при первом моем появлении у Брюсовых, стала я весело рассказывать В. Я. за чайным столом об этом маленьком происшествии. Сестра вспыхнула и ушла из столовой. «Красная ротонда» оказалась — увы! — неоспоримой уликой. Иоанне Матвеевне была хорошо известна г-жа Ш., носившая такую экстравагантную одежду<sup>6</sup>.

Раз и навсегда запомнила я укоризненные слова Брюсова:  
— Разве о таких встречах рассказывают?

Потом он встал и ушел объясняться с сестрой.

Впоследствии, и при различных обстоятельствах, у меня случались «такие встречи». Но уже никогда более я не рассказывала о них сестре: у нее и без того было немало огорчений.

В Москве в ту пору встречалось достаточно дам, жаждущих, как и Брюсов, мимолетных, острых переживаний. Поэтому большинство романов у поэта завязывались и развязывались легко. Но был один роман, затянувшийся на долгие годы. Героиню назову г-жой Н.<sup>7</sup> К тому времени относится одно из самых удачных стихотворений Брюсова «Антоний» (сборник «Tertia Vigilia» 1900 г.). В нем поэт восторженно воспекает красавца триумвира, который всей земной славе предпочел страсть к Клеопатре.

Когда вершились судьбы мира  
Среди вспененных боем струй,—  
Венец и пурпур триумвира  
Ты променял на поцелуй.

Когда одна черта делила  
В веках величье и позор,—  
Ты повернул свое кормило,  
Чтоб раз взглянуть в желанный взор.

Как нимб, Любовь, твое сиянье  
Над всеми, кто погиб любя!  
Блажен, кто ведал посмеянье,  
И стыд, и гибель за тебя!

О, дай мне жребий тот же вынуть,  
И в час, когда не кончен бой,  
Как беглецу, корабль свой кинуть  
Вслед за египетской кормой!

С легкой руки едкого и остроумного В. Ходасевича г-жу Н. в нашем интимном кругу прозвали «Египетской Кормой». С ней я почти не была знакома, но по случайным встречам на лекциях и собраниях помню ее. Деланная томность, взбитая, на пробор декадентская прическа. Туалеты с некоторой претензией на стильность и оригинальность. Общее впечатление скорее — неряшливости. Со слов молодых поэтов, посещавших Египетскую Корму, роман проходил не гладко: сцены, истерики и бесконечные «послания, полные яду». Египетской Корме (с которой, как было известно, муж собирался разводиться) явно хотелось, чтобы ее Антоний кинул наконец всерьез свой корабль за ней. Иными словами, требовала развода и женитьбы. Но, отдав должное в звучных стихах безумцу Антонию, которым уже столько веков восхищаются эстеты, поэт В. Брюсов упорно не желал следовать его примеру. Он по-своему любил свой дом, налаженную семейную жизнь и тот порядок, при котором ему так хорошо работалось... Тогда г-жа Н. наметила еще одну жертву. То ли для утешения, то ли для возбуждения ревности «Антония» она решила увлечь в свою волну Андрея Белого<sup>8</sup>.

Это, как известно, псевдоним. Звали его Борис Николаевич Бугаев. Был он сын профессора Московского университета, в котором окончил два факультета: естественный и историко-филологический. В студенческой тужурке увидела я его впервые.

В ту пору был он красив редкой, прямо ангелоподобной красотой. Огромные глаза — «гладь озерная», необычайно близко поставленные, сияли постоянным восторгом. Прекрасный цвет лица, темные ресницы и брови при пепельно-белокурых волосах, которые своей непокорной пышностью возвышались особенным золотистым ореолом над высоким красивым лбом. Б. Н. был необычайно учтив и хорошо воспитан.

Впрочем, эта воспитанность не мешала ему быть безудержно разговорчивым. Говорить он мог без умолку целыми часами, и для него было неважно, в какой мере его слова интересны собеседнику.

Помнится, в ту первую встречу Андрей Белый поразил меня темой своего разговора. С лицом вдохновенным, тоном одержимого и пророка он принялся рассказывать о том, как его посещает Единорог — давнишний его друг. И это отнюдь не было символическим наименованием какого-то человеческого существа. Нет, Б. Н. неоднократно подчеркивал: НАСТОЯЩИЙ Единорог. Вот возвращается Б. Н., по его словам, к себе в комнату. И в сумерках, на фоне окна, он ясно примечает: Единорог уже тут и дружески кивает своим длинным единым рогом. Начинается интересная беседа. Единорог, как всегда, «не приемлет» нашей жизни. Ссылается на Платона и приводит греческие цитаты. Б. Н. вступает в спор. Единорог, впрочем, не очень слушает. Он, как и сам Андрей Белый, предпочитает

говорить. Как подлинный смысл жизни приводит мудрость древних и призывает углубиться в «мир трансцендентальный».

Набравшись храбрости, я потом обратилась к Брюсову с вопросом:

— Как вы думаете: Андрей Белый — нормальный человек?

— О, да... несомненно...

— А «единорог»?

В. Я. подумал и сказал:

— Б. Н. так привык говорить о нем. Он сам почти верит...

И ему так удобнее...

— А вы?

— Мне тоже так удобнее... «Единорог» выбалтывает много такое, о чем Б. Н. никогда не решился бы говорить.

А сестра, как старшая, поучала:

— Не забывай, что они оба — символисты.

И вот к этому философу и пророку направила свой путь Египетская Корма. И борьба двух обратилась в борьбу трех. Борьба нелепая, затяжная, с явными уклонами в сторону андрейбеловского кликушества. Но постепенно наступило прояснение, очень горестное для дамы. Трезвый Брюсов и иступленный Андрей Белый, в неожиданном единении, упорно отказывались плыть за Египетской Кормой к тихой пристани брака.

В одном из сборников Андрея Белого есть стихотворение, где он описывает своего приятеля-философа, прогуливающегося по кладбищу. Оно заканчивается так:

«Жизнь,— шепчет он, остановясь  
Средь зеленеющих могил,—  
Метафизическая связь  
Трансцендентальных предпосылок!»

Пожалуй, в ту пору и сам Андрей Белый видел смысл жизни в такой же концепции. Но, по-видимому, никакой метафизической связи не ощущал он между предпосылкой, заключающейся в иступленности взбалмошной дамы, и своим стремлением к свободе. Выручил и тут Единорог. Б. Н. так долго твердил настойчивой Прекрасной Даме, что, по мнению потустороннего друга, Вечно Женственное — это прежде всего бесплотность, что она наконец потеряла терпение и вновь обратила свои взоры к былым горизонтам.

А когда я справилась у В. Ходасевича, бывавшего запросто у Египетской Кормы, что поделывает Андрей Белый, он остроумно ответил стихом того же поэта:

В небеса запустил ананасом! <sup>9</sup>

Разгадывать этот символический код следовало так: от огромного (небесного) счастья отвернулся с каким-то угонченно-озорным жестом.



Постепенно и в кругу эстетически настроенных читателей Андрей Белый добился и признания, и успеха. Но, по мере того как выходили все новые и новые сборники его стихов и два крупных романа в прозе — «Серебряный голубь» и «Петербург», интересный автор стал явно тускнеть. Перестал декламировать на цыганский лад свои стихотворения. Затем был надолго прикован к постели мучительными приступами ишиаса. Стал забывать об Единороге, а поэзия его облекалась в скромный и серый наряд:

Окна запотели,  
На дворе — луна,  
И стоишь без цели  
У окна.  
Ветер. Никнет, споря,  
Ряд седых берез...  
Много было горя,  
Много слез...  
И встает невольно  
Скучный ряд годин.  
Сердцу больно, больно.  
Я один.

Раз в месяц, по средам, у Брюсовых собирались поэты. Рассаживались за чайным столом, и по предложению В. Я. кто-нибудь приступал к чтению своих стихов. По раз установившейся традиции право критики предоставлялось Брюсову.

В тех случаях, когда выслушанные стихи казались ему совершенно ничтожными, он, после некоторого хмурого молчания, прямо обращался к следующему поэту, предлагая ему прочесть свое произведение.

Критиковал Брюсов строго, безапелляционно, но вместе с тем очень толково, так что всякий, кто хотел этого, мог кое-чему и научиться. Мало кто решался вступать с ним в спор. Только А. Белый составлял, пожалуй, исключение. Впрочем, Б. Н. немедленно отходил от темы и ускользал в некий лабиринт философских изречений, перебивая и не слушая Брюсова. Так что до слушателей одновременно доносились слова (произносимые Брюсовым) «ямб, анапест, сонет, рифма, триолет» и (произносимые Белым) «постулат, трансцендент, феномен»...

Брюсов имел обыкновение, вслед за выступлением поэтов, обращаться к ним с призывом — не полагаться на вдохновение, но работать. Убеждал настойчиво и неустанно, что «стих» дается поэту неутомимому и требовательному. Приводил иногда Art poétique Буало: «Polissez le sans cesse et le repolissez». Но чаще всего давал пример Пушкина, которого ставил выше всех поэтов.

А иногда В. Я. вскрывал перед молодыми поэтами свою

заветную мечту. Утверждал, что совершенно так же, как настоящим музыкантом нельзя стать без консерваторского образования, подлинным поэтом невозможно сделаться без соответственной систематической учебы. А для этого необходимо учредить при университетах специальные кафедры по изучению поэзии и стихосложения.

На «среды» приглашались, конечно, преимущественно поэты-москвичи: В. Ходасевич, Ю. Балтрушайтис, С. Соловьев, Андрей Белый, В. Гофман, Муни<sup>10</sup>.

В. Ходасевича помню сначала гимназистом (учился вместе с братом В. Я. — Александром), а потом студентом. Болезненный, бледный, очень худой, читал он слабеньким тенорком довольно приличные стихи. За выдержку не по летам, за совершенно «взрослую» корректность товарищи-гимназисты прозвали его «дипломатом». Думаю, что таким он и остался на всю жизнь, что, впрочем, не мешало ему быть порою едко остроумным. Помнится, Брюсова он поражал своим изумительным знанием материалов о Пушкине, его переписке и многого такого, что покоилось в Пушкинском архиве и что не доходило до широкой публики.

Бывал, в последние годы, на «средах» и В. Маяковский. Этаким бесцеремонным верзилкой шатался он целыми днями по Москве. Из кафе — в редакции, оттуда — по клубам и знакомым. Стихами своими пугал обыкновенных слушателей. Основным его занятием (и, как говорили, единственным средством к существованию) была «железка». Производил впечатление не вполне сытого человека. Придя в гости, он жадно и без разбора поглощал все, что стояло на столе. Бросал в огромный беззубый рот пирожное, а за ним тут же — кусок семги, потом — горсть печенья, а вслед за ним — котлету и т. д. Его друзья рассказывали, что одно время никакого постоянного места жительства у него не было. Где-то, кажется на Кавказе, он был исключен из 7-го класса гимназии, о чем сам говорил не без гордости. Сыпал дерзостями направо и налево. Очень часто острил удачно, но с неизменной наглостью.

Однажды в присутствии Маяковского Брюсов достал рукопись моего перевода д'Орсье «Агриппа Неттейсгеймский» и среди прочих замечаний сказал:

— А потом слово «который». У вас оно на каждом шагу. Этим словом нельзя злоупотреблять. Скажем, раз или два на страницу, больше ни в коем случае.

— А как же Лев Толстой? Почитайте его прозу...— сделала я попытку защититься.

В. Я. пожал плечами и докторально сказал:

— Толстой — не критерий. Он имеет право не придавать этому значения... Не забывайте: *quod licet Jovi, non licet bovi*<sup>11</sup>.

— А еще меньше — КОРОВЕ, — изрек Маяковский.

К Брюсовым он приходил в обыкновенном темном костюме. Но на разных вечерах и диспутах любил появляться в... широкой дамской блузе желтого цвета. Собственными ушами слышала я, как в лекторской Исторического музея дежурный пристав уговаривал Маяковского пойти домой и заменить желтую кофту более обыкновенной одеждой. Маяковский упорно отказывался. Живет далеко, к началу не поспеет.

Тогда пристав вынул из кармана трехрублевую бумажку:

— Разрешите, господин Маяковский... передать вам... Пожалуйста, возьмите извозчика!

Маяковский милостиво принял деньги и исчез.

К диспуту он не явился. А люди, хорошо его знавшие, говорили:

— Ну, Володя не приедет. Наверняка — в клуб отправился... попытать счастья...

Таким мы знали Маяковского до большевистского переворота, после которого он, с целым рядом молодых писателей, учредил культурно-просветительную комиссию при московской чрезвычайке. Там устраивались, между прочим, шумные вечера революционной поэзии. О Маяковском поговаривали, что у него — очень крепкая, романтическая связь с молодой художницей, женой крупного чекиста.

Однажды зимой на улице мне привелось с ним встретиться. Он прямо изумил меня. И не столько роскошной шубой, уверенным и спокойным выражением побелевшего и пополневшего лица, сколько улыбкой блестящих, великолепных зубов.

Вероятно, он подметил это мое изумление, так как сразу брякнул:

— Вас удивляют мои зубы? Да... революция тем-то и хороша: одним она вставляет новые, чудесные зубы, а другим безжалостно вышибает старые!

В самый разгар террора один старый друг моей семьи, накануне отъезда в Германию со специальным эшеленом, пошел проститься с друзьями. У них на квартире он попал в облаву и был увезен в тюрьму. Все дело было в ведении МЧК, одним из главных воротил был тот самый следователь, у которого проживал Маяковский.

Нелегко и неприятно это было. Но никто не брался помочь ни в чем не повинному человеку, и я решила отправиться к Маяковскому — просить его о протекции.

Стоял конец зимы. Кругом слякоть, понурые, убого одетые люди. Мерзли мы в ту пору и на улице, а еще больше — в нетопленных квартирах. Голодали, жались в страхе, и мало кто спал по ночам. Создавалась всюду невыносимая, удручающая атмосфера.

Когда же передо мной открылась дверь в квартиру следователя Б-ка<sup>12</sup>, я очутилась в совершенно ином мире. Передо мной

стояла молодая дама, сверкающая той особой, острой красотой, которую наблюдаем у блондинок-евреек. Огромные, ласковые карие глаза. Стройный, гибкий стан. Очень просто, но изысканно-дорого одета. По огромной, солидно обставленной передней носился аромат тонких духов.

— Володя, это к тебе,— благозвучно позвала блондинка, узнав о цели моего прихода.

Вышел Маяковский. В уютной, мягкой толстовке, в ночных туфлях.

Поздоровался довольно величественно, но попросил в гостиную. Там, указав мне на кресло и закурив, благосклонно выслушал меня. Причем смотрел не на меня, а на дорогой перстень, украшавший его мизинец.

Появилась очаровательная блондинка.

— Дорогая,— обратился к ней Маяковский,— тут такое дело... Только Ося может помочь...

— Сейчас позову его...

Во всем ее существовании была сплошная радостная готовность услужить, легкая, веселая благожелательность.

Очень скоро она вернулась в сопровождении мужа. Небольшого роста, тщедушный, болезненного вида человек с красноватыми веками. Лицо утомленное, но освещенное умом пронизательных и давящих глаз. Пришлось снова рассказать свою печальную историю и повторить просьбу.

С большим достоинством, без малейшего унижения или заискивания Маяковский прибавил от себя:

— Очень прошу, Ося, сделай, что возможно.

А дама, ласково обратившись ко мне, ободряюще сказала:

— Не беспокойтесь. Муж даст распоряжение, чтобы вашего знакомого освободили.

Б-к, не поднимаясь с кресла, снял телефонную трубку...

С этого острова счастья, тепла и благополучия я унесла впечатление гармонически налаженного *ménage en trois*<sup>13</sup>. Каждый член этого оригинального союза казался вполне счастливым и удовлетворенным. Особенно выиграл, казалось, в этом союзе Маяковский. Среди неслыханной бури, грозно разметавшей все российское благополучие и все семейные устои, он неожиданно обрел уютный очаг, отогревший его измученную, ущемленную душу бродяги. И поэтому весть о самоубийстве Маяковского поразила меня.

Иногда появлялись на «средах» и петербуржцы: Вячеслав Иванов с супругой поэтессой Зиновьевой-Аннибал, маленький, похожий на француза М. Кузмин, Игорь Северянин, Гумилев и другие.

Запомнилось посещение Игоря Северянина. Высокий, дородный, несмотря на молодость, он держал голову с подчеркнутой самоуверенностью и произносил свои «поэзы» певучим,

громким голосом. Выступил он с поэтическим комплиментом по адресу хозяина:

Вокруг талантливые трусы  
И обнаглевшая бездарь!..

(Заслышав эту оценку, сидевшие у стола съежились и стали исподлобья смотреть на поэта.)

И только вы, Валерий Брюсов,  
Как некий равный государь...

Но и «равный государь» был явно смущен. Вместо того чтобы ответить своему гостю, как подобало бы, лестным экспромтом, Брюсов принялся рассуждать о том, что северянинское словообразование «грезофарс» («я поэзию жизни превращу в грезофарс») совершенно чуждо духу русского языка: ГРЕЗА-де слово русское, а ФАРС — французское. Северянин насупился и молчал. Когда же разговор перешел на чисто теоретические вопросы, он стал прощаться.

Много позднее, во время революции, из Ревеля (тогда ставшего столицей Эстонии) от Северянина пришло письмо. В нем поэт просил В. Я. похлопотать для него о въездной обратной визе в Россию. Сообщал, что ему очень плохо живется, что он грустит и вне России не видит для себя выхода из прямо трагически создавшегося положения.

Брюсов ничего не предпринял и даже не ответил на письмо.

А на мой недоумевающий вопрос сказал:

— Он лучше сделает, если постарается уехать в Париж или Нью-Йорк. Какие уж тут у нас «Ананасы в шампанском»<sup>14</sup>.

Незабываемое впечатление произвело на меня появление Гумилева.

Стоял ясный весенний день. С сестрой Иоанной Матвеевной сидели мы вдвоем за послеобеденным чаем. Из своего кабинета вышел В. Я., и не один. Оказалось, у него был гость, которого он и привел с собой. В подобном появлении не было ничего необычайного. Часам к четырем-пяти то и дело заходили литераторы, редакторы, и к ним все уже давно привыкли. Но появившийся в этот день гость оказался необыкновенным. «Гумилев», — представился он сам как-то слишком самоуверенно. Все в нем изумляло. Казался он как-то шире и выше обыкновенных людей. Происходило это, вероятно, от иного, не московского, и даже не российского покроя одежды. Разговор его тоже не был похож на то, что обычно интересовало писателей, побудничному беседовавших между собой: технические ухищрения писательского ремесла, вопросы гонораров, печатания, стычки авторов с издателями. Гумилев, еще не получив своего стакана чаю, неожиданно и сразу заговорил о той буре, которая поднялась, когда он плыл в последнее воскресенье на заокеанс-

ком пароходе, об острове Таити, о совершенстве телосложения негритянок, о парижском балете.

Брюсову, видимо, не нравилась вся эта «экзотика», но, не считая, вероятно, возможным перевести сразу разговор на профессионально-бытовые темы, не покидая чужих краев, он стал говорить о заграничных музеях и выставках... И тут нас всех поразила огромная эрудиция Гумилева. О всемирно известных музеях он принялся говорить, как ученый специалист по истории искусств. О знаменитых манускриптах — как изощренный палеограф. Мы прямо ушам не верили. Куда исчезли «знойные африканские танцы»?

Осенью 1920 года наступили грозные дни террора. Почти ежедневно мы слышали жуткие вести: расстрелян тот-то, арестованы те-то. Помню, однажды вечером нам пришли сказать: «Гумилев расстрелян». Упорно твердили о каком-то заговоре, в котором якобы участвовал несчастный.

У Гумилева есть одно стихотворение. В нем есть такие жутко пророческие строки:

За то, что эти руки, эти пальцы  
Не жали плуга, были слишком стройны,  
За то, что песни, вечные скитальцы,  
Обманывали, были беспокойны...  
*За все теперь настало время мести...*

Быть может, в этих стихах таится самое верное объяснение причин, вызвавших гибель Гумилева.

.....

Не только по родственным встречам знала я Брюсова. Уже взрослой мне немало случалось работать под его строгим началом. В то время, когда В. Я. состоял литературным редактором журнала «Русская мысль», я исполняла для него секретарские обязанности. Ту же должность занимала в журнале «Весь» при издательстве «Скорпион», где В. Я. был одним из главных редакторов. Под его редакцией вышел мой перевод д'Орсье «Агриппа Неттейсгеймский». Кроме того, по его поручению исполнялись мной те или иные переводы. Должна сказать, что в области русского языка и литературы он долгое время был моим учителем, очень требовательным и столь же сведущим. Но помимо этой подлинной эрудиции он обладал редким даром — заражать учеников тем восторгом, которым горел и жил. Русский язык любил он бережной любовью и поистине страдал, встречая в рукописях или книгах явные погрешности. С невероятной тщательностью относился ко всем фазисам печатания своих произведений. Когда готовилась его книга, он то и дело забегал в типографию и, радуясь, приносил оттуда свежие гранки. Корректуру держал всегда сам и к опечаткам был неумолим.

Помню такой случай. В. Я. предложил мне сверить с его поправками какой-то последний лист. Я исполнила это с наибольшей старательностью и спокойно вернула лист, в котором, по-моему, все было в исправности. Но через некоторое время В. Я. обратился ко мне с оттенком упрека в голосе:

— Сказали, что нет ни одной опечатки? А я нашел... И целых две. Текст набирается корпусом эльзевира, а две запятых попали из петита. Это недопустимая небрежность!

К 1918 году Брюсов (было ему тогда сорок шесть лет) сильно изменился в своем внешнем облике. Поседел, исхудал, часто хворал и для возбуждения ослабевшей энергии стал прибегать к героину.

Сестра И. М. была в постоянной панике:

— Чем питаться? Квартира холодная. Где взять топливо? Лекарство для мужа?

В. Я. утратил дух былого задора. С каждым днем становился пассивнее и безразличнее к окружающему. Былое оживление возвращалось к нему лишь в те минуты, когда он возился с 4-летним племянником Колей (оставленным «погостить» на короткое время Еленой Матвеевной, его матерью, поехавшей навестить мужа-офицера на Румынский фронт. Из-за невероятных революционных обстоятельств отсутствие Е. М. затянулось на многие и многие месяцы. Затем отец Коли был арестован, и сестра Е. М., у которой появился новый ребенок, уступила просьбе Брюсовых и оставила им Колю).

Однажды вхожу я в кабинет В. Я. и вижу, что Коля, в каком-то бумажном колпаке, вооруженный большим ножом для разрезания книг, изображает дикого охотника.

— Количка, а где дядя Валя?

Мальчуган разводит ручонками.

— Его нету...

А потом, хитро подмигнув, показывает под стол. К неописуемому изумлению, вижу: там, скорчившись, на четвереньках, стоит В. Я.

А Коля заговорщическим шепотом поясняет:

— Это — тигр. Я его подкарауливаю.

Целыми часами просиживали вдвоем престарелый поэт и краснощекий бутуз.

В. Я. читал ему Пушкина, рассказывал сказки. А то, склонившись над толстой книгой Брема, они вдвоем любовались зверями.

Иногда В. Я. отбирал из своей богатой библиотеки две-три книги в изящных переплетах и отправлялся на Сухаревку. Оттуда, продав за бесценок книги, возвращался с сахаром, белыми булочками или яблоками для Коли.

А Иоанна Матвеевна, при содействии старой кухарки Аннушки, сбывала на рынке «все лишнее» из одежды, посуды, обстановки... Потом пекли хлеб, варили кашу.

Как почти у всех в это время, у Брюсовых создавалась очень тревожная, неудобная жизнь, начинавшая смахивать на настоящую нищету.

Брюсов не разделял всеобщего возмущения наступившей хозяйственной разрухой. Порой казалось, что все это его даже занимало. Недаром в свое время им было написано:

Прекрасен в мощи грозной власти  
Восточный царь Ассаргадон,  
И океан народной страсти,  
В щепы дробящий утлый челн.

В первые годы революции дом Брюсовых опустел. Изредка забегал кое-кто из старых знакомых — с недобрými, мрачными вестями. Брюсов почти не выходил из дому. Да куда было идти? Литературно-художественный кружок был занят красноармейцами, редакции закрылись, типографии и бумага были реквизированы большевиками. А дамы, жаждавшие когда-то бурных встреч, исчезали кто на юг, кто за границу.

Кажется, в 1921 году у Брюсова произошли две встречи: с Луначарским и Троцким. И с тем и с другим он в свое время познакомился за границей, куда ему не раз случалось ездить при «старом режиме».

Но прежде должна рассказать об одном событии.

Как-то, в мрачное осеннее утро, в квартире Брюсовых раздался резкий звонок и в переднюю ввалилась группа: немолодая, решительная баба и несколько рабочих. Сразу тычут ордер из местного Совета рабочих депутатов — на реквизицию.

— Тут у вас книги имеются. Покажите.

Ввалившуюся компанию повели в кабинет... Баба безостановочно тараторила:

— Подумайте — столько книг! И это — у одного старика! А у нас — школы без книг. Как тут детей учить?

Компания переходила от полки к полке. Время от времени кто-нибудь из «товарищей» вытаскивал наугад какой-нибудь том. То выпуск энциклопедического словаря, то что-нибудь из древних классиков. Одного из незваных посетителей заинтересовало редкое издание «Дон-Кихота» на испанском языке. Все принялись рассматривать художественно исполненные иллюстрации. Потом баба захлопнула книгу и с укоризненным пафосом произнесла:

— Одна контрреволюция и отсталость! Кому теперь нужны такие мельницы? Советская власть даст народу паровые, а то и электрические... Но все равно: эту книгу тоже заберем. Пушай детишки хоть картинками потешатся... Вот что, гражданка (это сестре И. М-не). Завтра пришем грузовик за всеми книгами. А пока... чтоб ни одного листочка здесь не пропало. Иначе придется вам отвечать перед революционным трибуналом!



Супруги Брюсовы стояли в полном оцепенении.

Когда Аннушка захлопнула дверь за неожиданными посетителями, она вернулась в кабинет:

— Барыня, а вы бабу-то не узнали? Да ведь это прачка Дарья. Помните, у ней всегда столько белья пропадало? Еще покойная Матрена Александровна хотели на нее в суд подавать! А вы, барин, не убивайтесь. Неужели на такую прачку не найти коммуниста покрупней? Да я бы на вашем месте к самому Ленину пошла!

Иоанна Матвеевна снова пришла в себя:

— Аннушка, пожалуй, права. Только не к Ленину, а к Луначарскому следует обратиться... Неужели отдать без боя все твои книги этой прачке?

Потрясенный всем происшедшим, очень бледный, стоял Брюсов у своих книг и машинально раскладывал все по прежним местам. Он так любил свои книги! Годами собиралась его библиотека. Были в ней редкостные, дорогие издания; их не сразу удавалось приобрести, и ими он так дорожил... После обеда он позвонил Луначарскому. На следующий день — ни жуткой бабы, ни страшного грузовика.

А вечером В. Я-ча посетил сам нарком.

На той же неделе В. Я. получил приглашение к Троцкому. Вероятно, оба коммуниста звали его работать с ними. Причем у Троцкого, по-видимому, было «чисто дипломатическое» соображение. Привлечением в их стан крупного писателя доказать Европе, что коммунисты не такие варвары, как их изображают. А Луначарский пустил в ход более ловкий маневр. Он прямо явился с предложением — основать кафедру поэзии и стихосложения при пролетарском университете. А это ведь было заветной мечтой Брюсова, и он, без долгих колебаний, ухватился за предложение.

Вскоре после этого захожу к Брюсовым и застаю всю семью на кухне. Сестра и Аннушка раскладывают на столе только что полученный «паек». Огромная бутылка подсолнечного масла, мешок муки, всевозможная крупа, сахар, чай, кофе, большой кусок мяса. У Коли в каждой руке по яблоку. Аннушка сияет и любитесь по тому голодному времени невероятным богатством.

— Ну, поживем за этим царем,— одобрительно говорит она.

Брюсов нахмурился:

— Нечего вздор молоть. Лучше приберите все это... а то всякий народ тут к вам ходит...

И ушел к себе.

Записан ли был уже тогда он в коммунистическую партию — не знаю. Об этом у них никогда не заговаривали, а спрашивать я не решалась.

Но почти каждое утро у подъезда его ожидал реквизируемый Моссоветом извозчик, на котором В. Я. уезжал в Лито. Там происходили заседания, и там Брюсов выступал с лекциями о поэтическом творчестве.

Опять вокруг него зашевелились люди, но иные, не прежние. Случалось, по вечерам он посещал литературное кабаре в одном из переулков на Тверской. Толпились там и старые знакомые, вроде В. Шершеневича, братьев Бурлюков, Маяковского. Но много попадалось и новых, из которых не помню никого, кроме Есенина и Кусикова.

Когда там устраивались литературные вечера — в облаках дыма, при диких выкриках пьяных и под неумолчный звон тарелок и стаканов,— в программе значился иногда и Брюсов.

Среди толстовок, косовороток и солдатских шинелей, на фоне пролетарских, по-молодому дерзких физиономий он, в приличном костюме старых времен, с увядшим лицом и седой головой, являлся мучительным диссонансом. Голос, бывший когда-то внушительным и громким, глухо и невыгодно звучал наряду с молодыми басами и тенорами.

Некая молодая поэтесса А.<sup>15</sup> неизменно присаживалась к его столику. Бледная, худая, одетая более чем скромно. Случалось встречать их вдвоем и в иных местах. Что могло их соединить? Его, вероятно, по старой привычке тянуло поухаживать, еще и еще раз прочесть в женских глазах то обожание и то внимательное понимание, без которых он когда-то не мог жить («Это — надгробные нении в память угасших любовей»). А ее? Должно быть, ей льстило имя, ей импонировало то, что у ее поклонника, знаменитого поэта,— определенное общественное положение и хорошее место. Кроме того, думается, что значительную роль в то голодное время играла и щедрость кавалера, платившего и за ужин, и за вино.

Как и в прежние времена, Брюсов, если не был болен, исчезал из дому по вечерам.

Вернулся и к писанию стихов,— впрочем, их содержание оказывалось все более и более «созвучным эпохе». Ведь недавно было им еще в 1896 году написано «Последнее желание», которое заканчивалось так:

Иль в городе, где стены давят,  
В часы безумных баррикад,  
Когда мечта и буйство правят,  
Я слиться с жизнью буду рад!

Не думаю, что с радостью, но «слиться с жизнью» старался. Помогало, конечно, виртуозное владение техникой стихосложения. Но все же стихи того времени порой переставали быть брюсовскими и начинали подозрительно напоминать Маяковского:

Ах, не так ли Египты, Ассирии,  
Римы, Франции, всяческий бред,—  
Те имперней, те утлее, сирее,—  
Все в былом, в запруду, в запрет.  
Так в великом крушеньи (давно ль оно?)  
Троны, царства, империи — вдрызг!  
Где из прежнего моря дозволено  
Донести до сегодня лишь брызг.

.....  
Эй, Европа, ответь, не комете ли  
Ты подобна в огнях наших сфер?  
На созвездье Геракла наметили  
Мы, стяг выкинув Эс-эс-эс-эр...

Но так как эти «новые» стихи украшались по старой традиции метафорами из истории, географии, философии и мифологии, то, конечно, никакой пропагандной цели в рядах пролетариата они достичь не могли. А в глазах матерых коммунистов поэтому сам Брюсов не являлся особенно ценным приобретением.

В июле 1923 года мне наконец удалось добиться права покинуть Россию. Очень больно было расставаться с Иоанной Матвеевной. Ее постоянная энергия и мужество явно начинали сдавать. Я знала, что при всех бурях и невзгодах своей личной жизни она верила, что с годами пройдет пора увлечений и соблазнов у любимого мужа и что с его преклонным возрастом она наконец достигнет давно желанной пристани счастья. А также — награды за то долгое безропотное и редкостное терпение, с которым она помогала во всем мужу. Теперь же она увидела, что и этой последней мечте не суждено будет исполниться.

В. Я., проведший перед этим большую часть зимы в постели, снова лежал с тяжелым бронхитом. С нелегким чувством зашла я к нему проститься. Была мучительная уверенность, что это прощание будет последним. В руках у него была книга И. Тэна «История французской революции». В. Я. очень тронул меня. Несмотря на частые приступы кашля, он был на редкость разговорчивым, и все — в тонах редкой сердечности:

— Что ж, уезжайте... Это правильно... Вы там устроитесь: вам еще немного лет. Вот для меня такой опыт был бы уж невозможен. Только на первое время вам лучше держаться подальше от литературы... от прессы. Сейчас за границей два резко противоположных лагеря. В одном — то же, что и тут. Но не думайте, что в другом — лучше: подозрительность, озлобление, безденежье! Помните книгу Эрнеста Доде «Кобленц»? Такова была французская эмиграция. Но и наша окажется ничуть не лучше, если не хуже... Вы не принадлежите ни к тому ни к этому лагерю... Выжидайте... пока не наступят иные времена...

Тут он так сильно раскашлялся, что из соседней комнаты прибежала сестра — поить его каплями. На дорогу он подарил мне довольно толстый альманах, вышедший несколько лет перед тем. Проза и стихи. Но так как на вывоз этой книги у меня не было официального разрешения, то при переезде через границу ее у меня отобрали таможенные чиновники. На заглавной странице рукою В. Я. было написано:

Как лист, в поток уроненный, я отдаюсь судьбе,  
И лишь растет презрение и к людям, и к себе.

Брюсов прожил еще около года. Состояние надорванного, усталого организма то слегка улучшалось, то принимало еще более угрожающую форму.

В 1924 году я получила от сестры из Москвы роковую телеграмму: Брюсов умер.



Н. Валентинов

## БРЮСОВ И ЭЛЛИС

По словам А. Белого, я (Валентинов) «живо относился к нему и Брюсову» и благодаря мне, моим-то усилиям и наладилась связь между «Весами» и «Столичным утром», так что литературный материал газете поставляли сотрудники «Весов».

В редакции «Весов» я бывал неоднократно и, возможно, некоторые статьи сотрудников журнала, по их просьбе, однажды или дважды передал в «Столичное утро». Это совсем не то, что пишет Белый. Он мне приписывает роль, которой я не играл. Мне приходилось встречаться с Сергеем Соловьевым, Балтрушайтисом, Ликиардопуло<sup>1</sup> и другими сотрудниками «Весов», но, за исключением встреч с Сергеем Соловьевым, остальные были настолько мимолетны, что от них почти ничего в памяти не осталось. Из всего состава «Весов» кроме Белого я в сущности, хорошо знал только Брюсова и Эллиса (П. Л. Комбилинского). Но, в отличие от Белого и Эллиса, о которых есть что сказать, о Брюсове почти все уже сказано другими. Поэтому, за исключением некоторых штрихов и, кажется, теперь уже никому не известной истории его поэмы «Последний день», особо важного о нем сказать не могу. Но для меня знакомство с Брюсовым, между прочим, тем было интересно, что навзничь опрокинуло представление о нем, когда-то возникшее под впечатлением критики его первых стихов Влад. Соловьевым. На этом, может быть, и останавливаться не следовало бы, но я все же хочу это сделать. Ведь в «вольных» записках меня никто не останавливает...

Одна из моих сестер, несомненно, обладала стихотворческим даром (ныне, на старости и «офранцузившись», его потеряла). Учителями ее в этом деле, кому она подражала, были, насколько помнится, Апухтин и, уже наверное, Надсон. В шестом классе реального училища учитель словесности Штандель однажды предложил нам попробовать стихами изложить некоторые места из «Слова о полку Игореве». Я взял плач Ярославны, и за в большом поте сотворенную композицию Штандель

меня похвалил, а когда я мое «творение» показал сестре, та пожала плечами: это совсем убого, все рифмы глагольные. Неглагольные и самые сложные рифмы ей давались с поразительной легкостью, и чуть ли не после каждой прогулки в березовой аллее Подъема (имение наших родителей в Тамбовской губернии) у нее появлялось новое стихотворение. Стихи ее нигде не печатались; в отличие от множества стихоплетов, она о том никогда не думала, писала только для себя, редко кому показывая написанное. Сосед по имению — студент военно-медицинской академии в Петербурге Федя Тавилдаров (сын профессора Технологического института), узнав о поэтических упражнениях сестры, ей в поучение привез только что появившуюся в печати в «Вестнике Европы» (в 1895 году) критику Вл. Соловьевым символистической поэзии. Предметом критики был сборник первых стихов Брюсова, вышедший в 1894 году под заголовком «Chefs d'oeuvre», заключавший в себе знаменитое стихотворение, состоящее из одной строки: «О закрой свои бледные ноги». Соловьев беспощадно высмеивал «шедевры» Брюсова. О его «влюбленных наядах», загражденных «ревнивыми досками», Соловьев писал: «Увлекаемый «полетом фантазии», автор засматривался в дощатые купальни, где купались лица женского пола, которых он называет «феями» и «наядами».

Цитируя Брюсова:

Непонятные вазы  
Огнем озаря,  
Застыла заря  
Над полетом фантазий,—

Соловьев упрекает молодого человека за бесстыдное подглядывание купальщиц и объясняет, что то, что именуется на символистском языке «непонятными вазами», в просторечьи называется шайками и употребляется в купальнях «для омовения ног». Разобрав и ряд других стихотворений. Соловьев вынес следующий приговор: «Общего суждения о г. Валерии Брюсове нельзя произнести, не зная его возраста. Если ему не более 14 лет (Брюсову тогда был 21 год.— Н. В.), то из него может выйти порядочный стихотворец, а может и ничего не выйти. Если же это человек взрослый, то, конечно, всякие литературные надежды неуместны».

В заключение Соловьев приложил к своей критике несколько пародий на символистскую поэзию, среди них следующую:

На небесах горят паникадила,  
А снизу — тьма.  
Ходила ты к нему иль не ходила?  
Скажи сама!

Но не дразни гиену подозренья,  
Мышей тоски!  
Не то смотри, как леопарды мщенья  
Острых клыки!  
И не зови сову благоразумья  
Ты в эту ночь!  
Ослы терпенья и слоны раздумья  
Бежали прочь.  
Своей судьбы родила крокодила  
Ты здесь сама.  
Пусть в небесах горят паникадила,  
В могиле — тьма.

Ядовитая критика Соловьева и его пародии (десять лет спустя им будет подражать Измайлов) произвели на сестер и на меня оглушительное впечатление: символизм был уничтожен. Мы смеялись до слез, когда Федя Тавилдаров, усевшись у рояля, грассируя, стал декламировать об «ослах терпенья» и «слонах раздумья» под аккомпанемент им сочиненной какофонии. Пародию Соловьева потом подхватил один из посещавших наш дом офицеров епифанского полка Кургуев, подобрав к ней еще более дикий символистский аккомпанемент. Все это осело в памяти, и в течение долгого времени, когда я слышал имя Брюсова, всегда выплывал образ какого-то «декадентика», изможденного, с синяками под глазами, тонким, задыхающимся голоском декламирующего: «Ходила ты к нему, иль не ходила, скажи сама». Федя Тавилдаров уверял, что с внешней стороны Брюсов именно таков. Десять лет спустя, т. е. в 1905 году, будучи уже в Москве, но еще не видя Брюсова, я спросил одного его поклонника (графа М. М. Л.), правда ли, что «вождь символистов» (его так называли) с внешней стороны таков, каким его нарисовал когда-то Федя Тавилдаров. В ответ смех:

«Да ничего подобного! Брюсов не изможденный декадентик, а великолепный мужчина, пользующийся огромным успехом у женщин. У него десяток любовниц, это настоящий певец Астарты. Почитайте, что он говорит о себе в стихотворении, посвященном «Женщинам»:

О, эти руки, и груди, и губы,  
Выгибы алчущих тел!  
Вас обретал я и вами владел!  
Все ваши тайны — то нежный, то грубый,  
Властный, покорный — узнать я умел.

С Брюсовым я познакомился при посредстве Белого в 1907 году. Вместо «великолепного мужчины» увидел бородатого, скуластого человека, не имевшего ничего *distingué*, напоминавшего мне Ленина или Горького — тип волжского человека, где

на антропологию славянина наложили неизгладимую печать татары, чуваша, черемисы, калмыки, башкиры и т. д. Если что и было в нем от «великолепного», то, пожалуй, глаза — умные, красивые. Но внутреннее содержание этого человека меня поразило, столь далеко оно было от того, чем (как мне представлялось) должен был быть изможденный «декадентик», воспеваящий «наяд». В день знакомства с ним я держал в руках только что вышедший перевод книги Эйкена «История и система средневекового мирозерцания». Брюсов начал говорить о ней, и сразу можно было понять, что о средневековье, его людях, жизни, мыслях, обычаях говорит не дилетант, а человек, основательно знающий предмет. «Декадент» оказался ученым. Этот ученый виден и в его романе «Огненный ангел», прошедшем из номера в номер в «Весах» в течение 1907 и 1908 годов. Представляя в нем картину религиозной мысли XVI века, отпадений от веры, оккультизма, мистики, схоластики, веры в дьяволов и ведьм, пловых психозов на почве религиозности, разгула инквизиции, Брюсов произвел огромную предварительную работу по изучению вопроса. Его роман сопровождается около 300 примечаний, с ссылками на латинские, немецкие и итальянские источники. Я, как многие, только от Брюсова впервые узнал, что «доктор Фауст» — не просто создание фантазии Гете, а имеет своим предшественником реальное существо — некоего Иоганна Фауста, жившего в первой половине XVI века и выдававшего себя за мага и чудотворца. В обрисовке этого шарлатана Брюсов опирался на ряд писателей и на первое жизнеописание Фауста, сделанное Шписсом еще в 1587 году.

Взгляд на Брюсова как на писателя с навыками учености, с тягой к научным методам и изучению не исчез, а при дальнейшем знакомстве с ним еще более укрепился и навсегда у меня остался. Этим он выделялся из среды не только московских символистов, но и других писателей-модернистов того времени — в этом отношении с ним был схож только Вячеслав Иванов. Знания у него были обширные, и, говорил ли он о французских символистах, Верхарне и Бельгии, старой Москве, астрономии, даже математике, каждый раз мне чувствовалось, что под этим не что-то нахватанное, а твердый фундамент. М. Цветаева, очень его не любившая, без всякого основания писала, что Брюсов был невероятно невежествен в области социальных и экономических вопросов<sup>2</sup>. Эта область, когда я встречался с ним, его совсем не интересовала, но я узнал, что, переводя «Les villes tentaculaires» Верхарна, Брюсов для лучшего понимания Верхарна самым основательным образом изучил социальную и экономическую ситуацию Бельгии. В беседе со мною он даже указывал цифры роста городов, приблизительное соотношение между численностью



бельгийских рабочих и крестьян, роста капитала крупной буржуазии. Не могу объяснить, почему стихи Брюсова меня совсем не притягивали (даже знакомиться с ними не испытывал большого желания), зато его переводы Верхарна меня восхищали. Когда я ему об этом сказал, он пожал плечами и холодно бросил характерную для него фразу: «На переводы некоторых стихов Верхарна я затратил целых девять лет. Не десяток раз, а десятки раз их переделывал, ища лучшей формы и лучшей передачи содержания».

Брюсов знал, что его поэзию кое-кто считает не созданной талантом, творческим даром, а добытой «потом». И в ответ вызывающе подчеркивал, что без затраты этого «пота», труда, изучения нет культуры, нет отделки, нет совершенства. Не для самоснижения себя как поэта, а, наоборот, для возвеличения себя как поэта *культурного* он называл себя тружеником — «волоом», погоняющим мечту тяжелым кнутом:

Вперед, мечта, мой верный вол.  
Неволей, если не охотой.  
Я близ тебя, мой кнут тяжел,  
Я сам тружусь, и ты работай.

Он называл иногда А. Белого, Эллиса, Сергея Соловьева своими «младшими товарищами» и один раз мне сказал: «Младшие товарищи думают, что между прыжком на Воробьеву гору и оттуда к Петербургскому вокзалу, потом прыжок от Ходынки в Замоскворечье, можно присесть на минуточку где-нибудь в переулке Арбата и в десять минут сотворить совершенной формы и содержания поэму».

То был явный намек на А. Белого, в это время «духом» носившегося по Москве и, кстати сказать, жившего в Никольском переулке на Арбате.

«С младшими моими товарищами мне часто приходится спорить и расходиться. Мы все очень много говорим о культуре, но кое-кто среди нас забывает, что культура требует систематического умственного труда, и ее нельзя свести к вспышкам вдохновения».

С «младшими товарищами» он временами расходился столь глубоко, что было странно видеть их всех под одной и той же крышей журнала. Он и они называли себя символистами, а что у них было общего, кроме любви к поэзии, к искусству?

В Белом, Эллисе, Соловьеве (особенно в двух первых) была большая загадочность. В Брюсове никакой. Он — позитивист, ученый, я прекрасно мог себе представить его профессором астрономии или истории. «Младшие товарищи» были экспансивны, взрывчаты, до крайности неожиданны в своих реакциях и заявлениях, Брюсов — властен, черств, сух, выдержан. Белый хорошо его изобразил:

Грустен взор. Сюртук застегнут.  
Горд, серьезен, строен, сух <sup>3</sup>.

Если правда, как говорил Белый, что Брюсов очень большой поэт и «прирожденный знаток формы» (на этот счет не могу иметь суждения), то, мне кажется, он — ледяной, холодный поэт. «Младшие товарищи» бесновались, все время играли, создавая из своей личности «художественную форму». Играл и «профессор» Брюсов, но только по-особому — холодно, с расчетом, а с женщинами играл цинично, скверно. Его цель была — все «испытать», потому что это интересно и потому что «искусство должно все знать». Других символистов тянуло к мистике, Брюсов для знания, забавы или из любопытства мог заниматься «окультиными науками», Каббалой, черной мессой, но от мистики был бесконечно далек. Ни в Бога, ни в Дьявола, ни в какие «неколебимые истины» он не верил и был способен прославлять все, что угодно. Лучше, чем следующими его собственными словами, нельзя, по-моему, охарактеризовать сущность его философского и художественного мировоззрения:

Неколебимой истине  
Не верю я давно,  
И все моря и пристани  
Люблю, люблю равно.

Хочу, чтоб всюду плавала  
Свободная ладья,  
И Господа и Дьявола  
Хочу прославить я <sup>4</sup>.

У Белого, у Сергея Соловьева, у Балтрушайтиса была тяга к общественности. У Брюсова — ни малейшей. Когда я ему сказал, что в рабочую среду нужно теперь идти с искусством, что его друг Верхарн дал великолепный пример того, что в этом направлении нужно делать, Брюсов пожал плечами: «Если этим примером вы намекаете на необходимость или желательность моего участия в этом деле, немедленно скажу: нет. У меня другое дело. Я более склонен преподавать высшую поэтическую математику, чем политическую арифметику. А затем откровенно скажу: мы не Бельгия. В русскую рабочую среду, вероятно, нужно идти с чем-то, что культурой, как я ее понимаю, не пахнет. Все остальное пока, и надолго, ей не по нутру, не по духу, не по уровню ее состояния. *Ей нужны речи и дары других людей*».

Я сказал Брюсову: пусть, не обижаясь на меня, он позволит мне тоже откровенно ему сказать, что в устах культурного человека, как он, столь некультурные речи кажутся чудовищными. Спорить по этому поводу Брюсов не захотел; по его

словам, у него и у меня были разные «термометры», «барометры», измерители, оценки социального и психологического состояния России. Тогда я спросил его: что толкало его за несколько лет перед тем писать фабричные и солдатские частушки, т. е., в сущности, опускаться в среду, с которой он никакого дела иметь не хочет?

«Не понимаю,— ответил Брюсов,— вашего вопроса. Свободное художественное творчество имеет дело со всем, что слышно и видно, что чувствуется и может чувствоваться, что может появиться, а может не появиться, что приносит домысл, полет интуиции, прозрение, фантазия. На свете нет ничего более широкого, более всеобъемлющего, чем художественное творчество. В сравнении с ним другие проявления духовной жизни (религия, наука) узки. Почему, слыша, например, солдатские и фабричные частушки, я не могу подражать этому фольклору? Но отсюда не следует, что, подражая частушкам, я должен вложить в них некий наставительный смысл и с этой полезностью политического или нравственного характера идти в фабричную среду. Захочу — пойду, а захочу — и не пойду. Заветы школы Беллинского превратить искусство в обязательную политическую педагогику от меня далеки. Искусство должно быть освобождено от всяких пут, только тогда оно может быть большим».

В понимании задач искусства Брюсов резко расходился с некоторыми «младшими товарищами», и особенно с А. Белым, которого он явно не любил, так же как тот, и еще более явно не любил его, хотя *оба* эти чувства скрывали.

Для Брюсова символизм был лишь изобразительным методом — приемом, введением в художественное творчество особых образов, красок, аллегорий, намсков, а не как у Белого — религиозным мировоззрением, «преображающим жизнь», создающим «новые формы жизни». Будучи редактором «Весов», Брюсов допускал всякие проявления мистики, но ему в то же время было *«до тошноты отвратительно всасывание художественным творчеством мистического духа»*.

Я со стенографической точностью передаю эти слышанные мною слова Брюсова. Вполне естественно, что, когда в 1910 году беловско-блоковское трагически-мистическое обоснование символизма оказалось банкротом и «Аполлон» крикнул: «Долой мистицизм, да здравствует прекрасная ясность (Clarté)», Брюсов оказался на стороне «кларистов»<sup>5</sup>.

«В нашем кругу декадентов,— писал он Перцову,— великий раскол: борьба «кларистов» с «мистиками». «Кларисты» — это «Аполлон»: Кузмин, Маковский и др. «Мистики» — это московский «Мусажет»: Белый, В. Иванов, Соловьев и др. В сущности, возобновлен дряхлый-предряхлый спор о свободном искусстве и тенденции. «Кларисты» защищают ясность мысли,

слога, образов, но это только форма, а в сущности, они защищают «поэзию, коей цель поэзия», как сказал старик Иван Сергеевич [Тургенев]. «Мистики» проповедуют «обновленный символизм», «мифотворчество» и тому подобное, а в сущности, хотят, чтобы поэзия служила их христианству — была бы ancilla theologiae. Недавно у нас в «Свободной эстетике» была великая баталия по этому поводу. Я, как вы догадываетесь, всей душой с «кларистами».

Ссылаясь на это письмо, Мочульский в книге о Блоке<sup>6</sup> замечает: «Последняя фраза удивительно характерна для Брюсова. Он был всеми признанным мэтром декадентства, когда декаденты были в моде, потом стал «великим магом», вождем символистов в эпоху господства этой школы, теперь он «всей душой с кларистами». Он всегда «всей душой» с новым, сильным, побеждающим...»

Замечание Мочульского принять нельзя. Кларистом и антимистиком Брюсов был, вероятно, всегда, и уж конечно до появления всякого «кларизма» и «Аполлона». В этом случае никакого приспособления к «побеждающему сильному», как в эпоху Октябрьской революции, у него не было. Он остро ненавидел Вл. Соловьева и все, что относится к нему. Вероятно, никогда не забывал экзекуцию, которой подвергся от Соловьева за свои Chefs d'oeuvre, за первые поэтические опыты. Через несколько дней после появления в «Весах» резкой статьи Белого о пустоте Блока Брюсов с язвительной усмешкой сказал мне: «В течение многих лет Блок и Белый носились с соловьевской «Женой, облеченной в Солнце». Они всех уверяли, что ее и видят, и слышат, а если я позволял себе в этом усомниться и говорил, что предпочитаю иметь дело просто с женщинами, а не с «Женами, облеченными в Солнце», младшие товарищи выходили из себя, видели во мне непростительного циника. «Жену, облеченную в Солнце» Блок называл «Прекрасной Дамой», и Белый утверждал, что блоковские произведения, насквозь проникнутые духом Соловьева, гениальны по силе его ощущения высшего, «Софийного» мира. Я с огромным удовольствием поместил в «Весах» статью Белого. Из нее обнаруживается, что святостью блоковская «Жена, облеченная в Солнце» ни в коем случае не обладала, и Белый теперь нам открыл, что она превратилась в проститутку. Трудно представить себе более скандальный конец истории «Прекрасной Дамы». Увидите Белого — обязательно скажите ему, что в разговоре с вами я восхищался его любовью к правде и смелостью, с какой он разоблачил нам, что такое «дама Блока».

Отбрасывая сарказм Брюсова, я кое-что из его беседы со мною передал Белому. Он пришел в неистовое бешенство, топал ногами, кричал и плевался, комкал в руках носовой платок и в конце концов от злобы его разорвал.

«Вы не можете понять, куда бил своим рассказом Брюсов, я-то понимаю. Он не Блока, а меня изранить хотел. Он бил по моей вере. Меня от него отделяет стена. Я ненавижу его и боюсь. Он страшный человек. Я хочу света, он хочет тьмы. Из соловьевской философии встает лик Мадонны, Софии, Жены, облеченной в Солнце, а из брюсовского мирозерцания подымается богохульная, поганая, страшная Жена, восседающая на Звере багряном, с семью головами и десятью рогами. Знаете ли вы, что Брюсов однажды написал стихотворение об изнасиловании мертвой женщины, для проверки тайны Смерти? Знаете ли вы, что, злостно ненавидя Соловьева и бросая вызов нам, соловьевцам, Брюсов написал неслыханную по гнусности карикатуру на соловьевскую идею о конце истории, пришествии Христа и наступлении эпохи вселенской любви? Знаете ли вы, что, доводя до последней степени свое богохульство, он заявил, что Христово царство любви ознаменуется массовым коллективным совокуплением? Вот куда может дойти Брюсов. Я ненавижу его».

В доказательство своих слов Белый при одном свидании показал мне стихотворение Брюсова «Последний день». Без объяснений Белого я никогда бы не знал (думаю, что теперь никто уже об этом не знает), что это произведение Брюсова задумано было им как карикатура на идеи Соловьева и поэтому действительно до крайности цинично. Нет надобности приводить все 85 строк этого стихотворения. Нескольких цитат из него будет достаточно. Начинается оно словами, что мир, прославленный «поэтом» (Соловьев, конечно, не называется), несомненно, придет. И дальше в благовествующем тоне рисуется наступление царства Христа:

И вдруг все станет так понятно:  
И жизнь земли, и голос рек,  
И звезд магические пятна,  
И золотой наставший век.

Восстанут новые пророки,  
С святым сияньем вокруг волос,  
Твердя, что совершились сроки  
И чаянье всемирных грез!

И люди все, как сестры-братья,  
Семья единого отца,  
Протянут руки и объятя,  
И будет радость без конца.

После умильной картины всеобщего объединения в лоне единого отца и исполнения всемирных грез следует брюсовская расшифровка соловьевского видения: «Всходит омытое солнце любви».

Начнутся неистовства сонмов кипящих,  
Пирь и веселья народов безумных.  
Покорные тем же властительным чарам,  
Веселые звери вмешаются в игры,  
И девушки в пляске прильнут к ягуарам,  
И будут с детьми как ровесники тигры.  
Безмерные хоры и песен и криков,  
Как дымы, подымутся в небо глухое,  
До Божьих подножий, до ангельских ликов,—  
Мирам славословья блаженство земное.

Дыханьем, наконец, бессильно опьянев,  
Где в зимнем блеске звезд, где в ярком летнем свете,  
Возжаждут все любви — и взрослые, и дети —  
И будут женщины искать мужчин, те — дев.

И все найдут себе кто друга, кто подругу,  
И сил не будет им насытить страсть свою,  
И с Севера на Юг и вновь на Север с Юга  
Помчит великий вихрь единый стон: «люблю!»

Так за осмеяние его в 1895 году Соловьевым отплатил Брюсов. Цензура, конечно, не разобравшись, о чем идет речь, стихотворение пропустила. Сам Брюсов, сообразив, что несколько «перехватил», о нем позднее старался не говорить, а соловьевцы дали себе слово не привлекать чье-либо внимание к напечатанному «богохульству».

С конца 1908 года я перестал видеть Брюсова. Снова увидел его в 1912 году. Я работал тогда в «Русском слове». Так как главный материал газеты — информация по телефону из Петербурга, телеграммы из-за границы и из провинции — поступал поздно вечером и ночью, весь состав редакции, все ее отделы работали до двух с половиной часов ночи и даже позднее. И нередко, вместо того чтобы ложиться спать, мы из редакции гурьбой шли в Литературно-художественный кружок съесть сэндвич с икрой («бутерброд», как тогда говорили) и выпить пива или вина. Кружок ночью был открыт, там шла азартная игра в карты, приносящая большие доходы. Обычно нас с почетом встречал один из директоров Кружка, И. И. Попов, милейший человек с большим дефектом в произношении: букву «в» он произносил как «ф», а «д» как «т». Отсюда редактируемый им журнал «Женское дело» превращался в «Женское тело», а сам он, сибиряк по рождению, становился плохо знающим русский язык немцем — «Ифан Ифанович Попоф» \*.

\* Желая обратить внимание на удачно им сделанный номер «Женского дела», И. И. Попов однажды спросил Иоллоса, одного из редакторов «Русских ведомостей»: «Видели ли вы уже «Женское тело?» Тот с серьезным видом ответил: «Помилуйте, конечно, видел, ведь я давным-давно женат». *Прим. Н. Валентинова.*

Другим и, кажется, главным директором Кружка был В. Я. Брюсов. Он тоже (с «Русским словом» все очень считались) подходил к пришедшим «русскословцам» с любезными словами. После отсутствия каких-либо встреч со мною в течение нескольких лет (я жил в то время в Киеве) Брюсов, в первый раз увидев меня среди пришедших, сказал, что рад возобновить со мною знакомство «в условиях, отличных от 1907—1908 годов». И пояснил: «Я ведь знал, не то от А. Белого, не то от Эллиса, что вы были тогда нелегальным человеком. По правде сказать, иногда побаивался ваших визитов в «Весы». Весьма возможно, что за вами следила полиция, и я опасался, что могут прицепить нас к какому-нибудь делу, к которому ни я, ни «Весы» ни с какой стороны не имели и не могли иметь отношения». Что мог я ответить на это? «Напрасно вы мне о ваших страхах своевременно не сказали — в «Весы» я не стал бы заглядывать»...

\* \* \*

С Эллисом (Л. Л. Кобылинским) я познакомился в 1906 году. Марина Цветаева, у родителей которой Эллис бывал и, как она говорит, царил «над двумя детскими», ее и сестры, восторженно называет его «гениальным человеком»<sup>7</sup>. У Андрея Белого, его ближайшего друга в течение многих лет, оценка Эллиса меняется в зависимости от настроения. То он пишет о нем: «несомненно талантлив и интересен Эллис», то заявляет: «все талантливое в себе он отдавал кончику языка, бездарное — кончику пера». Он был «возмутительным переводчиком, бездарным поэтом, публицистом только бойким, но почти гениальным в иных своих проявлениях».

Эллис незабываем и, как и А. Белый, неповторим. Этот странный человек с остро-зелеными глазами, белым мраморным лицом, неестественно черной, как будто лакированной, бородкой, ярко-красными, «вампириными» губами, превращавший ночь в день, а день в ночь, живший в комнате всегда темной, с опущенными шторами и свечами перед портретом Бодлера, а потом бюстом Данте, обладал темпераментом бешеного агитатора, создавал необычайные мифы, вымыслы, был творцом всяких пародий и изумительным мимом. Он окончил Московский университет, специализируясь, сколь это ни странно для будущего символиста, на изучении экономических доктрин. Профессор И. Х. Озеров, очень ценя экономические познания Эллиса, в частности его работу о Канкрине, хотел оставить Эллиса при университете, но в один прекрасный день тот ему заявил, что всю экономическую премудрость, полученную им в университете, он считает «хламом» и ценит ее меньше, чем самое маленькое стихотворение Бодлера. Озеров называл

Эллиса человеком, «ошеломляющим неожиданностью своих поступков и реакций». Эллис, говорил мне Озеров, мог бы быть превосходнейшим университетским преподавателем. У него был огромный дар увлекать аудиторию, привлекать ее внимание к тому или иному вопросу, но отнюдь не было исключено, что в середине лекции Эллис вдруг не заявит: «Ну вас всех к черту, мне надоело говорить» — и уйдет.

Белый утверждал, что Эллис «охватывался медиумизмом». «Помню,— писал Белый.— собрались у меня Балтрушайтис, Феофилактов, ряд других лиц; кто-то сел за рояль, и Эллис тотчас пустился в быстрейшее заразительное верчение; не прошло и трех минут, все завертелось в пляске... Однажды был съезд естествоиспытателей, группу ученых с научного заседания привезли в частный дом показать им пародии Эллиса; были седые профессора, только что заседавшие где-то, но не прошло и получаса, как все завертелось в дикой пляске».

При способности Белого все преувеличивать нужно к его рассказу, вдобавок уродско изложенному, подойти с большими поправками, но вот уже подлинный факт, мне хорошо известный (в несколько ином виде он упоминается и в мемуарах Белого). В одном московском загородном увеселительном заведении, в «Мавритании», на сцене подвизалась пара танцоров. Эллис, ими недовольный, вскочил на сцену и, поучая танцоров, пустился в какой-то невиданный дикий пляс, настолько заигнотизировавший находившуюся в кабаре публику, что та, сгрудившись у подмостков, неистовыми аплодисментами награждала Эллиса. Но он вдруг остановился, обвел публику долгим презрительным взглядом и крикнул: «Жалкие буржуа, мало же вам надо, чтобы прийти в неистовство».

Слез с подмостков и, оставив компанию, с которой приехал, сердитый ушел из кабаре. Не знаю, называть ли это «медиумизмом», но неопровержимо одно: Эллис обладал способностью заражать, магнетизировать людей. Его пародии на то, как танцуют вальс большевик, меньшевик, эсер, кадет, юнкер, паж, еврей, армянин, были столь выразительны, так комичны, что зрители надрывались со смеху. *Самого его смеющимся я никогда не видел.* В том, что Эллис был воистину сверхординарным мимом, я убедился, и об этом стоит рассказать.

Однажды мы шли с ним ночью по Тверскому бульвару и встретили Алексева, в прошлом врача, ставшего журналистом, подвизавшегося не в большой прессе, а во второстепенных журналах и изданиях, обычно погибавших от недостатка средств. В редактируемой им вечерней «левой» газете, называвшейся, насколько помню, «Столичной молвой», в течение нескольких месяцев в 1906 году участвовал и я. Писал для нее передовички. Привлекало меня к ней то обстоятельство, что она требовала минимальнейших затрат времени и напряжения. Без



десяти минут в полдень приходил мальчик из редакции, я начал писать, а в двенадцать все уже было кончено.

Алексеев любил говорить: «Валентинов — мой ученик, это гениальный человек. Мне нужно сорок строк передовицы, и эти сорок строк я получаю. Никогда ни больше, ни меньше. Это гениальный человек. Зато я ему и плачу высочайший гонорар». — «Сколько же вы ему платите?» — «Три копейки строка». — «Вот так плата!» — «Очень высокая. Каждая передовичка ему дает 1 р. 20 к. В месяц это дает 36 р., при затрате на все передовицы только пяти часов. Значит, час его работы я оплачиваю 7 р. 20 к., а за эту плату можно получить 14 хороших обедов в столовой Троицкой. Я знаю, на первое он возьмет ленивые щи, а на второе — осетрину с соусом из томатов».

Уснащенная подобными каламбурами, речь Алексева отличалась еще и тем, что в нее постоянно в огромном количестве всовывались латинские словечки и изречения: *fervet opus, ad hoc et ab hoc, exempli gratia, amicus humani generis, in medias res*<sup>8</sup> и прочее и прочее так и сыпались с его языка, вероятно, часто бессмысленно. Увидев меня с Эллисом, Алексеев, пустив что-то вроде *quid novi arcades ambo*, спросил, что это мы делаем на бульваре. Познакомив его с Эллисом, я сказал, что, хотя очень поздно, спать нам все-таки не хочется, где-то хотелось бы еще посидеть, но денег у нас нет. Алексеев сознался, что денег у него тоже нет, но *homo humani nihil alienum puto*<sup>9</sup>, и потому он приглашает к себе, живет он недалеко от бульвара, и дома у него есть три бутылки пива и вишневая наливка. Ни Эллис, ни я любителями вина не были, к Алексеву пошли не за этим, а поболтать, убить время. Минут через десять после нашего прихода Эллис, с какой-то особой внимательностью следивший за каждым движением Алексева, мне шепнул: сейчас вам покажу маленькую трансформацию. То, что он показал, было удивительно, ничего подобного ни до этого, ни потом я никогда в жизни уже больше не видел. У Эллиса не было ни малейшего сходства с Алексеевым, и вдруг он стал на него поразительно похож. Щеки отвисли, глаза стали близорукими, губы шлепающими, плечи подняты, живот выпятился, руки стали короче, и тем же голосом, с теми же интонациями, как Алексеев, не подавая виду, что его копирует, Эллис начал закатывать длинные латинские поговорки. Я стал смеяться, но скоро перестал. Мне стало не по себе. В этом превращении Эллиса в другого человека было какое-то дьяволово искусство. Один на другого совсем не был похож, и, несмотря на это, против Алексева сидел другой Алексеев, какой-то астральный призрак его, какая-то сущность его, перебросившаяся в Эллиса. Алексеев довольно долго не обращал внимания на трансформацию Эллиса, потом начал вглядываться, сел против него, подпер

подбородок рукою, задумчиво уставился в Эллиса и наконец промолвил: «Сукин сын, а ведь это я, тогда давай выпьем на ты». — «Согласен, — ответил Эллис, — до ухода отсюда будем на ты». Мне рассказывали, что столь же изумительно Эллис копировал, например, профессора Хвостова, но он избегал частой демонстрации своего дьявольского искусства. Когда я как-то спросил, мог ли бы он сымитировать А. Белого, Эллис ответил, что это сделать легче легкого, но он не хочет этого по ряду важных причин (каких, не сказал), и в частности потому, что после таких сеансов миметизма у него в течение нескольких дней сильно болит голова, он чувствует, что в него *«вошел другой человек»* и его *«изнутри распирает»*.

Я указал, на какой почве началось мое сближение с А. Белым. Чем и как объяснить мои встречи с Эллисом? А в 1907 году и первой половине 1908 года мы виделись часто, и не я к нему шел (в меблированных комнатах «Дон», где он жил, я никогда не был), а он приходил ко мне, обычно в самый поздний час, что меня не смущало в то время — раньше двух-трех часов я спать не ложился. С чего же, по какому поводу началась «атака» меня Эллисом (а это действительно была атака)?

В присутствии Эллиса, в кафе Филиппова, я как-то сказал, что прочитал в оригинале «Цветы зла» Бодлера, и меня поразила необыкновенная сила, красота, образность его стихов и их зловещее, порочное содержание. Я не знал тогда, что Эллис — неистовый бодлерианец. Отдельные вещи Бодлера многие переводили: и Брюсов, и Бальмонт, и Мережковский, но, вероятно, никто из них так хорошо, как Эллис, не знал Бодлера, и, что уже можно сказать уверенно, никто из них, и вообще символистов, не был таким его поклонником. В 1907 году вышел перевод дневника Бодлера «Мое обнаженное сердце», в 1908 году его перевод «Цветов зла», а в 1910 году перевод бодлеровских стихотворений в прозе. Как только Эллис услышал, что я прочитал «Цветы зла», он весь превратился в обостренное внимание. «Что вас толкнуло на чтение Бодлера, партийные социал-демократические заповеди ведь против этого, кроме того, поэзией вы не занимаетесь?» Я ответил, что поэзия действительно совсем не моя специальность, изучением ее не занимаюсь, но, следуя русской интеллигентской традиции, хотел бы знать все больше и разнообразнее, а потому нет ничего удивительного, что, слыша имена Ибсена, Роденбаха, Гамсуна или Бодлера, берусь в свободные минуты за их сочинения; если они мне нравятся, углубляюсь в них, а если нет, просто откидываю.

«Худо, что за Бодлера хотите взяться *только в свободные минуты*. Знать Бодлера обязательно, необходимо именно людям революционного лагеря, хотя марксисты этого не понимают. Известно ли вам, что Бодлер — самый большой

революционер XIX века, и перед ним Марксы, Энгельсы, Бакунины и прочая сотворенная ими братия просто ничто?»

Замечание Эллиса вызвало у меня смех, явно задевший Эллиса, так как именно после этого, с целью просветить меня «бодлеризмом» и доказать революционность Бодлера, и начались его визиты ко мне. Чтобы лучше показать, чем, с присущей ему неистовой агитаторской страстью, угощал меня Эллис, будет уместно следующее маленькое предисловие.

В марте 1955 года в парижской Сорбонне г-н Руфф защищал тезу «Дух Зла и бодлеровская эстетика». Я не был на этой защите, но мог судить о ней по большому и обстоятельному отчету г-жи Пиатье в газете «Le Monde». Она отмечает, что амфитеатр был переполнен публикой, для нее Бодлер, магнетически к себе притягивавший, был, очевидно, кем-то ее волнующим. Ей обещали представить Бодлера в отчаянной борьбе с «Духом Зла», и г-н Руфф это обещание выполнил с огромным знанием вопроса и с особой интерпретацией Бодлера...

Мне пришлось уже указывать, что, когда А. Белый в годы моих с ним встреч еще симпатизировал Марксу, он все же находил, что в сравнении, например, с Вл. Соловьевым Маркс «косноязычен». Утверждая как идеал бесклассовое общество равных, свободных людей, Маркс недоговорил последнего слова такого общества: Высшим Добром, логическим завершением, полным заключительным духовным проявлением бесклассового общества может быть и должна быть вселенская любовь, иными словами, заповедь Христа — любить ближнего, как самого себя. Сверх этого уже ничего большего сказать нельзя. Эллис тоже находил, что Маркс не знал Высшего Добра, но у него был и другой основной дефект. Маркс игнорировал, не понимал и значение Высшего Зла, глубокой испорченности человеческой природы, ее порочности, которая не исчерпывается социального характера пороками и совсем не уничтожается социализацией средств производства и уничтожением социального неравенства. Высшее Добро инспирируется Богом, другой полюс — Высшее Зло. Дух Зла идет от Сатаны. Маркс ни Бога, ни Сатаны не знал, а человека, не знающего этих глубочайших крайностей, заключал Эллис, большим революционером он считать никак не может.

Комментируя Бодлера, Эллис иллюстрировал его мысли чтением соответствующих стихов. Не знаю, приходилось ли Эллису читать стихи Бодлера в большом обществе. Не думаю. Ведь если чтение Белого с подпрыгиваниями и завываниями разными голосами вызывало смех, декламация Эллиса, будь она такой, какой я ее слушал, с той же жестикуляцией, вероятно, привела бы к взрыву хохота, недоумению или какому-нибудь скандалу. Помню Эллиса, когда он читал мне, например, строфы из «La Destruction» о Демоне:

Sans cesse à mes côtés s'agite le Démon;  
Il nage autour de moi comme un air impalpable.  
Je l'avale et le sens qui brûle mon poumon  
Et l'emplit d'un désir éternel et coupable.

Зеленые глаза Эллиса загорались зловещим выражением. Он действительно превращался в какого-то демона. Всем телом, жестах показывал, как этот демон влезает в него, сжигает легкие и, сотрясая всего его, вызывает в нем преступные желания. Не могу забыть декламацию Эллисом и другого, уже эротического, стихотворения Бодлера — «Chanson d'après midi»:

Tes hanches sont amoureuses  
De ton dos et de tes seins,  
Et tu ravis les coussins  
Par tes poses langoureuses.

Quelquefois pour apaiser  
Ta rage mystérieuse,  
Tu prodigues, sérieuse,  
La morsure et le baiser;

Tu me déchires, ma brune,  
Avec un rire moqueur,  
Et puis tu mets sur mon coeur  
Ton oeil doux comme la lune.

Позы, которые Эллис принимал при этой декламации, неопишуемы, его вампирные губы изображали сладострастие, тогда как корпус то извивался, то превращался в какую-то фигуру египетских барельефов со странно повернутой головой и горящими глазами. Все подобные трюки (это все тот же «воздух символистов») меня *очень занимали*, и, заметив это, Эллис пошел дальше. Куда? А. Белый в «Начале века» рассказывает, что однажды Эллис, вообразив себя оккультистом, с такой потрясающей яркостью изобразил жизнь мифической Атлантиды, что его взяла оторопь. Да, могу подтвердить, что в творчестве подобного рода Эллис был величайшим мастером. Соединяя пропаганду бодлеризма со стремлением к «бесконечности», его «aspiration à l'infini» с оккультизмом, он стал меня угощать великолепными вымыслами, в которых в фантастическом уборе в беспорядке переплетались касания к мирам иным, демонические полеты в бездну, разные «paradis artificiels», Смерть и Любовь, Грех и Красота. То не были словотворческие полеты А. Белого, то был другой артистический жанр, заинтересовавший меня уже тем, что хотелось узнать, до какого

конца, до каких же пределов можно дойти, тренируя мысль в эллисовском направлении. Всегда хочется узнать то, что есть в другом и чего нет в тебе. Кроме того — многое, что проделывали символисты, для меня было всегда развлечением, «представлением», театром, своего рода *commedia dell'arte*.

В начале подобных представлений я не давал Эллису повода думать, что вижу в нем ловкого притворщика, оперирующего разными мифами. Но потом эти сеансы, слишком частые, происходившие обычно в ночное время и мешавшие мне работать для заработка, начали мне уже надоедать. К тому же я заметил, что Эллис стал на меня смотреть не как на «слушателя», «постороннего зрителя», а почти как на своего единомышленника, сообщника, компаньона в прогулках по мирам иным. Я решил тогда сие недоразумение рассеять и сделал это в одном из «сеансов», когда Эллис вздумал мне символически изобразить путь в Вечность. Передать нарисованную им картину «нашего» (т. е. его и меня) шествия по коридору Вечности я абсолютно неспособен. Рисовалась тьма, неведомо откуда появляющиеся таинственные серо-желтые, рыже-черные пятна, подобно каким-то птицам, бьющимся о зеркально отсвечивающие стены «коридора». Мы идем, идем, путь бесконечен. То затухающие, то вспыхивающие огни то сбоку от нас, то под нами, то над нашей головой. Серый мрак сгущается. Конца коридору не видно. Его нет и не может быть. И в этом «нет» в бесконечной дали есть что-то страшное, неизвестное, томящее. И не что-то, а, может быть, кто-то.

«Смотрите, смотрите в глубь коридора, вы видите — там что-то, кто-то мелькает?» — с волнением спрашивает Эллис в медиумическом трансе.

«Да, вижу».

«Кто там?» — вопит Эллис.

«Не кричите! За стеною спит жена, не нужно ее будить».

Эллис нагибается ко мне, шипит:

«Говорите: что там? кто там?»

Еле удерживаясь от смеха, серьезно отвечаю:

«Там Лев Львович Кобылинский-Эллис. А в конце коридора ни черта нет. И коридора нет. Это очередная выдумка милейшего Эллиса для детей семилетнего возраста».

Эллис отлетает от меня, молчит, режет злым блеском зеленых глаз и наконец изрекает: «Вы пошляк».

Я не обижаюсь.

Долго ходит мрачный по комнате, потом смотрит на часы.

«Сейчас четверть четвертого (ночи, конечно.— *Н. В.*). Я у вас уже более трех часов, до сих пор вы не догадались предложить мне кофе».

Варить кофе ночью в квартире, в которой мы с женою занимали лишь половину, было не совсем удобно, все же спу-

скаюсь в кухню, стараясь не стучать, никого не будить, зажигаю керосинку (газа тогда не было), кипячу воду, Эллис над головой шагает и стучит, потом с грохотом по лестнице скатывается в кухню. У меня в руках банка с кофе Эйнем. Спрашиваю: сколько стаканов он будет пить? «Три». «Три ложки кофе на это достаточно?» Эллис кладет руку на банку. «Спрячьте ее. Если скупитесь, тогда мне кофе не нужно».

— Не говорите чепуху. Просто скажите, сколько ложек кофе нужно положить?

— Девять доверху полных.

— Да вы умрете после такого допинга.

— Не умру.

— В таком случае извольте — кладу 10 ложек.

Получается какая-то кофейная гуща, но Эллис, обжигаясь, выпивает залпом два стакана этого кофейного вара без единого куска сахара. В третий стакан кладет сахару столько, что получается сироп такой густой, что в нем ложка стоит. Поедает все сахарное и кофейное содержание стакана, потом надевает свой котелок, каким-то особым жестом подымает воротник пальто, подкидывает тросточку под мышку и около четырех часов ночи меня покидает\*.

В 1913 году в кафе на берегу Золотого Рога в Константинополе мы с женою пили кофе, приготовленный «по-турецки». От него сердце билось, как испуганная птица в клетке. И вспоминался Эллис. Просто непонятно, как он не лопнул после трех больших стаканов крепчайшего наваара из кофе. В 1913 году Эллиса уже не было в России. После временного увлечения антропософией, сделав все логические, психологические и религиозные выводы из бодлеризма, Эллис стал католическим священником в Германии, а позднее вступил в орден иезуитов, что тоже согласовалось с Бодлером, несколько раз писавшим о своей симпатии к иезуитам. Если верить Белому, идеалом Эллиса стал Игнатий Лойола. Жизненный путь Эллиса оказался далеким от стези других символистов (кроме Сергея Соловьева, ставшего православным священником) и много оригинальнее, последовательнее, чем путь, например, того же Белого. Когда я начал составлять запись о моих

---

\* Идеалом Бодлера был «дендизм» (dandisme). «Денди — высшее существо, жить и спать должен перед зеркалом». Внутреннему содержанию дендизма должна соответствовать особая, подходящая к нему эстетическая внешность. Бодлер ее имел: костюм, жилет, галстук, манжеты, шляпа, белье, тросточка — все у него было особенное. Эллис и в этом отношении хотел следовать за Бодлером, но при ничтожных заработках (он часто голодал) поддерживать внешность денди ему было трудно.

В начале 1909 года — я видел его тогда в последний раз — у него был трагический вид облезлого денди. *Прим. Н. Валентинова.*

встречах с московскими символистами, я думал (и так меня уверяли), что Эллис еще жив. Я искал его адрес, непременно хотел послать ему то, что напишу о нем, но из письма А. А. Тургеневой<sup>10</sup> («Аси» Белого) узнал, что Эллис умер в 1953 году. Он пережил всех символистов — Брюсова, Белого, Соловьева, Блока, Мережковского, Гиппиус. Крайне интересно было бы знать о последних годах жизни этого ни на кого не похожего человека...



Борис Зайцев

## БАЛЬМОНТ

В поэзии серебряного века место Бальмонта немалое, вернее, большое. Я не собираюсь давать здесь облик его литературный. Всего несколько беглых черточек из далеких времен его молодости, расцвета.

\* \* \*

1902 год. В Москве только что основался «Литературный кружок» — клуб писателей, поэтов, журналистов<sup>1</sup>. Помещение довольно скромное, в Козицком переулке, близ Тверской (позже — роскошный особняк Востряковых, на Большой Дмитровке).

В то время во главе Кружка находился доктор Баженов, известный в Москве врач, эстет, отчасти сноб, любитель литературы. Немолодой, но тяготел к искусству «новому», тогда только что появившемуся (веянье Запада: символизм, «декадентство», импрессионизм). Появились на горизонте и Уайльд, Метерлинк, Ибсен. Из своих — Бальмонт, Брюсов.

Первая встреча с Бальмонтом именно в этом Кружке. Он читал об Уайльде. Слегка рыжеватый, с живыми быстрыми глазами, высоко поднятой головой, высокие прямые воротнички (*de l'époque*), борода клинышком, вид боевой. (Портрет Серова отлично его передает.) Нечто задорное, готовое всегда вскипеть, ответить резкостью или восторженно. Если с птицами сравнивать, то это великолепный шантеклер, приветствующий день, свет, жизнь («Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце...»).

Читал он об Уайльде живо, даже страстно, несколько вызывающе: над высокими воротничками высокомерно возносил голову; попробуй противоречить мне!

В зале было два слоя: молодые и старые («обыватели», как мы их называли). Молодые сочувствовали, зубные врачи, пожилые дамы и учителя гимназий не одобряли. Но ничего бурного не произошло. «Мы», литературная богема того



времени, аплодировали, противники шипели. Молодая дама с лицом лисички, стройная и высокая, с красавицей своей подругой яростно одобряли, я, конечно, тоже. Юноша с коком на лбу, спускавшимся до бровей, вскочил на эстраду и крикнул оттуда нечто за Уайльда. Бальмонт вскипал, противникам возражал надменно, остро и метко, друзьям приветливо кланялся. Тут мы и познакомились. И оказалось, что по Москве почти соседи: мы с женой жили в Спасо-Песковском вблизи Арбата, Бальмонт — в Толстовском переулке, под прямым углом к нашему Спасо-Песковскому. Совсем близко.

Это было время начинавшейся славы Бальмонта. Первые его книжки стихов «В безбрежности», «Тишина», «Под северным небом» были еще меланхолической «пробой пера». Но «Будем как солнце», «Только любовь»<sup>2</sup> — Бальмонт в цвете силы. Жил он тогда еще вместе с женою своей, Екатериной Алексеевной<sup>3</sup>, женщиной изящной, прохладной и благородной, высоко культурной и не без властности. Их квартира в четвертом этаже дома в Толстовском была делом рук Екатерины Алексеевны, как и образ жизни их тоже во многом ею направлялся. Бальмонт при всей разбросанности своей, бурности и склонности к эксцессам находился еще в верных, любящих и здоровых руках и дома вел жизнь даже просто трудовую: кроме собственных стихов много переводил — Шелли, Эдгара По. По утрам упорно сидел за письменным столом. Вечерами иногда сбегал и пропадал где-то с литературными своими друзьями из «Весов» (модернистский журнал тогдашний в Москве). Издатель его С. А. Поляков, переводчик Гамсуна, был богатый человек, мог хорошо угощать в «Метрополе» и других местах. (На бальмонттовском языке он назывался «нежный, как мимоза, Поляков»<sup>4</sup>.)

После «нежного, как мимоза» Полякова Бальмонт возвращался домой не без нагрузки, случалось и на заре. Но был еще сравнительно молод, по натуре очень здоров, крепок. И в своем Толстовском усердно засаживался за стихи, за Шелли.

В это время бывал уже у нас запросто. Ему нравилась, видимо, шумная и веселая молодежь, толпившаяся вокруг жены моей, нравилось, конечно, и то, что его особенно ценила женская половина (после «Будем как солнце» появился целый разряд барышень и юных дам «бальмонтисток» — разные Зиночки, Любы, Катеньки беспрестанно толклись у нас, восхищались Бальмонтом. Он, конечно, распускал паруса и блаженно плыл по ветру).

Из некоторых окон его квартиры видны были окна нашей, выходившие во двор.

Однажды, изогнув голову по-бальмонттовски, несколько вывес и вбок, Бальмонт сказал жене моей:

— Вера, хотите, поэт придет к вам, минуя скучные земные тропы, прямо от себя, в комнату Бориса, по воздуху?

Он уже однажды, еще до Екатерины Алексеевны, попробовал такие «воздушные пути»: «вышел», после какой-то сердечной ссоры, прямо из окна<sup>5</sup>. Как не раскроил себе череп, неведомо, но ногу повредил серьезно и потом всю жизнь ходил, несколько припадая на нес. Но и это тотчас обратил в поэзию:

И семь воздушных ступеней  
Моих надежд не оправдали.

Слава Богу, в Толстовском не осуществил намерения. Продолжал заходить к нам скучными земными тропами, по тротуару своего переуллка сворачивал в наш Спасо-Песковский, мимо церкви.

Раз пришел в час завтрака и застал меня одного. Я был студентом, скромно ел суп с вареной говядиной, изготовленный верно Матрешей.

Позвонили, Матреша кинулась отворять, потом вскочила ко мне в столовую, почесала пальцем в волосах, испуганно трянула огромной медной серьгой в ухе, сказала озабоченно:

— Вас спрашивают. Энтот рыжий, что у нас читает. Да сегодня строгий какой... Будто и не очень в себе они...

Бальмонт вошел, сразу заметно стало, что он не совсем «в себе». Вероятно, нынче не успел хорошенько отойти от угощений «нежного, как мимоза» Полякова.

Был несколько и мрачен, Матреша права: «строг». «Бальмонтисток» никого не оказалось, вина тоже. Я налил ему тарелку супу с отличной говядиной.

— Где Вера? Люба Рыбакова?

Тон такой, будто я виноват в чем-то.

— Их нет.

— Вы один едите этот ничтожный суп?

— Суп неплохой, Константин Дмитриевич. Попробуйте. Матреша хорошо готовит.

Бальмонт сумрачно воткнул вилку в говядину, вынул кусок и стал водить им по скатерти. Нельзя сказать, чтобы жирные узоры украсили ее.

— Я хочу, чтобы вы читали мне вслух Верхарна. Надеюсь, у вас есть он?

Верхарн был тогда очень в моде. Бальмонт сказал внушительно. К счастью, под рукой как раз оказался томик стихов Верхарна. Если бы не было, возможно, он сказал бы мне колкость. («Поэт не думал, что в доме начинающего писателя нет моего бельгийского собрата...») — нечто в этом роде. Себя он нередко называл в третьем лице, как и все его поклонницы.)

Я начал читать — и читал очень плохо. Частью стеснялся, по молодости лет, главное же потому, что вообще мало знал французский язык — хотя Верхарна как раз читал.

Продолжая путешествие по скатерти, Бальмонт спросил:

— Вы понимаете то, что читаете? Мне кажется, что нет...

Я все-таки протестовал. Понимать-то понимал, но читать вслух — другое дело.

Бальмонт недолго просидел у меня. Ушел явно недовольный.

\* \* \*

Но бывал он и совсем другой. К нам заходил иногда пред вечером, тихий, даже грустный. Читал свои стихи. Несмотря на присутствие поклонниц, держался просто — никакого театра. Стихи его очень тогда до нас доходили. Память об этих недолгих посещениях, чтениях осталась вот как надолго — хорошее воспоминание: под знаком поэзии, иногда даже растроганности.

Помню, в один зеленовато-сиреневый вечер, вернее, в сумерки пришел он к нам в эту арбатскую квартиру в настроении особо лирическом. Вынул книжку — в боковом кармане у него всегда были запасные стихи.

Нас было трое кроме него: жена моя, ее подруга Люба Рыбакова и я.

Бальмонт окинул нас задумчивым взглядом, в нем не было никакого вызова, сказал негромко:

— Я прочту вам нечто из нового моего.

Что именно, какие стихотворения он читал — не помню. Но отлично помню и даже сейчас чувствую то волнение поэтическое, которое и из него самого изливалось, и из стихов его, и на юные души наши, как на светочувствительные пленки, ложилось трепетом. Кажется, это было из книги (еще не вышедшей тогда) «Только любовь».

На некоторых нежных и задумчивых строфах у него самого дрогнул голос, обычно смелый и даже надменный, ныне расстроганный. Что говорить, у всех четверых глаза были влажны.

В конце он вдруг выпрямился, поднял голову и обычным бальмонтским тоном заключил (из более ранней книги):

Я в этот мир пришел  
Чтоб видеть Солнце,  
А если Свет погас,  
Я буду петь, я буду петь  
О Солнце  
В предсмертный час <sup>6</sup>.

\* \* \*

Случалось и опять по-иному. Вот появляется он днем, часа в четыре, с Максом Волошиным (огромная шляпа, широченная

лента на пенсне, бархатная куртка — только что приехал из Парижа. Полон самоновейшими поэтами французскими, посетитель кафе *Closerie de Lilas* и т. п.). Бальмонт в мажоре, как бы «заявляет», что будет читать стихи. У нас состав прежний — хозяйева и неизменная красавица Люба Рыбакова («Милой Любе Рыбаковой, вечно юной, вечно новой...» — в альбом от Бальмонта).

На этот раз он победоносно-капризен и властен.

— Поэт желал бы читать свои произведения не в этой будничности, но среди рош и пальм Таити или Полинезии.

— Но откуда же нам взять роши и пальмы, Бальмонт?

Он осматривает нехитрую обстановку нашей столовой.

— Мечта поможет нам. За мной!

И подходит к большому, старому обеденному столу.

— Макс, Вера, Люба, Борис, мы расположимся под кровлей этого ветерана, создадим еще лучшие, чем в действительности, пальмы.

И он ловко нырнул под стол. Волошину было труднее, он и тогда склонен был к тучности, дамы проскочили со смехом, по-детски. Но «Борис» не пошел.

Вскоре из пальмовой роши Спасо-Песковского раздалась протяжные «нежно-напевные» и «певуче-узывчивые» строфы его стихов.

Я не запомнил, что он оттуда читал. Но что Я не полез в эти роши, ОН запомнил.

Много лет спустя, уже в эмиграции, сказал вдруг мне, с кривой, несколько вызывающей усмешкой, в которой была и обида:

— Однако некогда в Спасо-Песковском гордый поляк не пожелал слушать Бальмонта в дебрях Полинезии.

(Он нередко называл меня поляком, находя нечто польское в облике.)

\* \* \*

Бальмонт был, конечно, настоящий поэт и один из «зачинателей» серебряного века. Бурному литературному кипению предвоенному многими чертами своими соответствовал — новизной, блеском, задором, певучестью.

Но потом времена изменились. Все эти чтения, детские чудачества, «бальмонтизм» и «бальмонтистки» кончились — наступили суровые, страшные годы войн, революций. Не до Бальмонта. Он отошел, и до сих пор полузабыт. Написал очень много. Некий пламень двух-трех книг его возгорится. Надо думать, придет это с Родины.

В 1920 году мы провожали Бальмонта за границу. Мрачный, как скалы, Балтрушайтис, верный друг его, тогда бывший

литовским посланником в Москве, устроил ему выезд законный — и спас его этим. Бальмонт нищенствовал и голодал в леденевшей Москве, на себе таскал дровишки из разобранного забора, как и все мы, питался проклятой «пшенкой» без сахара и масла. При его вольнолюбии и страстности непременно надерзил бы какой-нибудь «особе...» — мало ли чем это могло кончиться.

Но, слава Богу, осенним утром в Николо-Песковском (недалеко от нас) мы — несколько литераторов и дам — прощально махали Бальмонту с присными его, уезжавшему на вокзал в открытом грузовике литовского посольства. Бальмонт стоя махал нам ответно шляпой: это были уже не рощи Полинезии, не ребячьи выдумки, а тяжелая, горестная жизнь.

Этим ранний Бальмонт и кончается. Эмиграция прошла для него уже под знаком упадка <sup>7</sup>. Как поэт он вперед не шел, хотя писал очень много. Скорее слабел — лучшие его вещи написаны в России. Продолжалась и тут бурная жизнь, расшатывавшая здоровье. Да и возраст не тот. Он горестно угасал и скончался в 1942 году под Парижем в местечке Noisy-le-Grand, в бедности и заброшенности, после долгого пребывания в клинике, откуда вышел уже полуживым <sup>8</sup>.

Но вот черта: этот, казалось бы, язычески поклонявшийся жизни, утехам ее и блескам человек, исповедуясь пред кончиной, произвел на священника глубокое впечатление искренностью и силой покаяния — считал себя неисправимым грешником, которого нельзя простить.

Некогда, на заре нашей литературы, другой поэт, тоже великий жизнелюбец, написал стихи, над которыми позже плакал Лев Толстой:

И с отвращением читая жизнь мою,  
Я трепещу и проклинаю,  
И горько жалуясь, и горько слезы лью,  
Но строк печальных не смываю <sup>9</sup>.

Казалось бы, Пушкин мало подходящ для покаяния, и написал это до дуэли, до трагедии своей, когда на смертном одре, как и Бальмонт, священнику «плакался горько».

Все христианство, все Евангелие как раз говорит, что ко грешникам, которые последними, недостойными себя считают, особо милостив Господь.

Верю, твердо надеюсь, что так же милостив будет Он и к усопшему поэту русскому Константину Бальмонту.



Н. А. Тэффи

## БАЛЬМОНТ

К Бальмонту у нас особое чувство. Бальмонт был наш поэт, поэт нашего поколения. Он наша эпоха. К нему перешли мы после классиков, со школьной скамьи. Он удивил и восхитил нас своим «перезвонем хрустальных созвучий», которые влились в душу с первым весенним счастьем.

Теперь некоторым начинает казаться, что не так уж велик был вклад бальмонтовского дара в русскую литературу. Но так всегда и бывает. Когда рассеется угар влюбленности, человек с удивлением спрашивает себя: «Ну чего я так бесновался?» А Россия была именно влюблена в Бальмонта. Все от светских салонов до глухого городка где-нибудь в Могилевской губернии знали Бальмонта. Его читали, декламировали и пели с эстрады. Кавалеры нашептывали его слова своим дамам, гимназистки переписывали в тетрадки:

Открой мне счастье,  
Закрой глаза...

Либеральный оратор вставлял в свою речь:

— Сегодня сердце отдам лучу...

А ответная рифма звучала на полустанке Жмеринка-товарная, где телеграфист говорил барышне в мордовском костюме:

— Я буду дерзок — я так хочу.

У старой писательницы Зои Яковлевой, собиравшей у себя литературный кружок, еще находились недовольные декаденты, не желающие признавать Бальмонта замечательным поэтом. Тогда хозяйка просила молодого драматурга Н. Евреикова прочесть что-нибудь. И Евреинов, не называя автора, декламировал бальмонтовские «Камыши»:

Камыш-ш-ши... ш-ш-шуршат...  
Зачем огоньки между ними горят...

Декламировал красиво, с позами, с жестами. Слушатели в восторге кричали: «Чье это? Чье это?»

— Это стихотворение Бальмонта,— торжественно объявляла Яковлева.

И все соглашались, что Бальмонт — прекрасный поэт. Потом пошла эпоха мелодекламации.

В моем саду сверкают розы белые,  
Сверкают розы белые и красные,  
В моей душе дрожат мечты несмелые,  
Стыдливые, но страстные <sup>1</sup>.

Декламировала Ведринская. Выступали Ходотов и Вильбушевич.

Ходотов пламенно безумствовал, старательно пряча рифмы. Актерам всегда кажется, что стихотворение много выиграет, если его примут за прозу. Вильбушевич разделявал тремоло и изображал море хроматическими гаммами. Зал гудел восторгом.

Я тоже отдала свою дань. В 1916 году в Московском Малом театре шла моя пьеса «Шарманка Сатаны». Первый акт этой пьесы я закончила стихотворением Бальмонта. Второй акт начала продолжением того же стихотворения. «Золотая рыбка». Уж очень оно мне понравилось. Оно мне нравится и сейчас.

В замке был веселый бал,  
Музыканты пели.  
Ветерок в саду качал  
Легкие качели.  
И кружились под луной,  
Словно вырезные,  
Опьяненные весной  
Бабочки ночные.  
Пруд качал в себе звезду,  
Гнулись травы зыбко,  
И мелькала там в пруду  
Золотая рыбка.  
Хоть не видели ее  
Музыканты бала,  
Но от рыбки, от нее  
Музыка звучала... и т. д. <sup>2</sup>

Пьеса была погружена в темное царство провинциального быта, тупого и злого. И эта сказка о рыбке такой милой, легкой, душистой струей освежала ее, что не могла не радовать зрителей и не подчеркивать душной атмосферы изображаемой среды.

Бывают стихи хорошие, отличные стихи, но проходят мимо, умирают бесследно. И бывают стихи как будто банальные, но есть в них некая радиоактивность, особая магия. Эти стихи живут. Таковы были некоторые стихи Бальмонта.

Я помню, приходил ко мне один большевик — это было еще до революции. Большевик стихов вообще не признавал. А тем более декадентских (Бальмонт был декадентом). Из всех русских стихов знал только некрасовское:

От ликующих, праздноболтающих,  
Обагрющих руки в крови  
Уведи меня в стан погибающих.

Прочел, будто чихнул четыре раза.  
Взял у меня с полки книжку Бальмонта, раскрыл, читает:

Ландыши, лютики, ласки любовные,  
Миг невозможного, счастья миг<sup>3</sup>.

— Что за вздор,— говорит.— Раз невозможно, так его и не может быть. Иначе оно делается возможным. Прежде всего надо, чтобы был смысл.

— Ну, так вот слушайте,— сказала я. И стала читать:

Я дам тебе звездную грамоту,  
Подножием сделаю радугу,  
Над пропастью дней многогромную  
Твой терем высоко взнесу...

— Как? — спросил он.— Можно еще раз?

Я повторила.

— А дальше?

Я прочитала вторую строфу и потом конец:

Мы будем в сияньи и в пении,  
Мы будем в последнем мгновении  
С лицом обращенным на юг.

— Можно еще раз? — попросил он.— Знаете, это удивительно! Собственно говоря, смысла уловить нельзя. Я, по крайней мере, не улавливаю. Но какие-то образы возникают. Интересно — может, это дойдет до народного сознания? Я бы хотел, чтобы вы мне записали эти стихи.

Впоследствии, во время революции, мой большевик выдвинулся, стал значительной персоной и много покровительствовал братьям-писателям. Это действовала на него магия той звездной грамоты, которую понять нельзя.

\* \* \*

Бальмонта часто сравнивали с Брюсовым. И всегда приходили к выводу, что Бальмонт истинный, вдохновенный поэт, а Брюсов стихи свои высиживает, вымучивает. Бальмонт творит, Брюсов работает. Не думаю, чтобы такое мнение было



безупречно верно. Но дело в том, что Бальмонта любили, а к Брюсову относились холодно.

Помню, поставили у Комиссаржевской «Пелеаса и Мелсанду» в переводе Брюсова <sup>4</sup>. Брюсов приехал на премьеру и во время антрактов стоял у рампы лицом к публике, скрестив на груди руки, в позе своего портрета работы Врубеля. Поза напыщенная, неестественная и для театра совсем уж неуместная привлекала внимание публики, не знавшей Брюсова в лицо. Пересмеиваясь, спрашивали друг друга: «Что означает этот курносый господин?»

Ожидавший оваций Брюсов был на Петербург обижен.

### КАК ВСТРЕТИЛАСЬ Я С БАЛЬМОНТОМ

Прежде всего встретилась я с его стихами. Первое стихотворение, посвященное мне, было стихотворение Бальмонта.

Тебя я хочу, мое счастье,  
Моя неземная краса.  
Ты солнце во мраке ненастья,  
Ты жгучему сердцу роса <sup>5</sup>.

Посвятил мне это стихотворение не сам Бальмонт, а кадет Коля Никольский, и было мне тогда четырнадцать лет. Но на разлинованной бумажке, на которой старательно было переписано это стихотворение, значилось «посвящается Наде Лохвицкой». И упало оно, перелетев через окно, к моим ногам, привязанное к букетику полуувядших ландышей, явно выкраденных из вазы Колиной тетки. И все это было чудесно. Весна, ландыши, моя неземная краса (с двумя косичками и веснушками на носу).

Так вошел в мою жизнь поэт Бальмонт.

Потом, уже лет пять спустя, я познакомилась с ним у моей старшей сестры Маши (поэтессы Мирры Лохвицкой <sup>6</sup>). Его имя уже гремело по всей Руси. От Архангельска до Астрахани, от Риги до Владивостока, вдоль и поперек читали, декламировали, пели и выли его стихи.

— Si blonde, si gaie, si femme,— приветствовал он меня.

— А вы si monsieur,— сказала сестра.

Знакомство было кратковременным. Бальмонт, вероятно, неожиданно для самого себя, написал стихотворение, подрывающее монархические основы страны, и спешно выехал за границу <sup>7</sup>.

Следующая встреча была уже во время войны в подвале «Бродячей собаки». Его приезд был настоящая сенсация. Как все радовались!

— Приехал! Приехал! — ликовала Анна Ахматова.— Я ви-

дела его, я ему читала свои стихи, и он сказал, что до сих пор признавал только двух поэтов — Сафо и Мирру Лохвицкую. Теперь он узнал третью — меня, Анну Ахматову.

Его ждали, готовились к встрече, и он пришел.

Он вошел, высоко подняв лоб, словно нес золотой венец славы. Шея его была дважды обернута черным, каким-то лермонтовским галстуком, какого никто не носит. Рысьи глаза, длинные, рыжеватые волосы. За ним его верная тень, его Елена, существо маленькое, худенькое, темнолицое, живущее только крепким чаем и любовью к поэту.

Его встретили, его окружили, его усадили, ему читали стихи. Сейчас образовался истерический круг почитательниц — «жен мироносиц».

— Хотите, я сейчас брошусь из окна? Хотите? Только скажите, и я сейчас же брошусь,— повторяла молниеносно влюбившаяся в него дама.

Обезумев от любви к поэту, она забыла, что «Бродячая собака» находится в подвале, и из окна никак нельзя выброситься. Можно было бы только вылезти, и то с трудом и без всякой опасности для жизни.

Бальмонт отвечал презрительно:

— Не стоит того. Здесь недостаточно высоко.

Он, по-видимому, тоже не сознавал, что сидит в подвале.

\* \* \*

Бальмонт любил позу. Да это и понятно. Постоянно окруженный поклонением, он считал нужным держаться так, как, по его мнению, должен держаться великий поэт. Он откидывал голову, хмурил брови. Но его выдавал его смех. Смех его был добродушный, детский и какой-то беззащитный. Этот детский смех его объяснял многие нелепые его поступки. Он, как ребенок, отдавался настроению момента, мог забыть данное обещание, поступить необдуманно, отречься от истинного. Так, например, во время войны 14-го года, когда в Москву и Петербург нахлынуло много польских беженцев, он на каком-то собрании в своей речи выразил негодование, почему мы все не заговорили по-польски.

— Они среди нас уже почти полгода, за это время можно было успеть научиться даже китайскому языку.

Когда он уже после войны ездил в Варшаву, его встретила на вокзале группа русских студентов и, конечно, приветствовала его по-русски. Он выразил неприятное удивление:

— Мы, однако, в Польше. Почему же вы не говорите со мной по-польски?

Студенты (они потом мне об этом рассказывали) были очень расстроены:

— Мы русские, приветствуем русского писателя, вполне естественно, что мы говорим по-русски.

Когда узнали его ближе, конечно, простили ему все. Для Бальмонта было естественным в Польше проникнуться всем польским. В Японии он чувствовал себя японцем, в Мексике — мексиканцем, ясно, что в Варшаве он был поляком.

Случилось мне как-то завтракать с ним и с профессором Е. Ляцким. Оба хорохорились друг перед другом, хвастаясь своей эрудицией и, главное, знанием языков.

Индивидуальность у Бальмонта была сильнее, и Ляцкий быстро подпал под его влияние, стал манерничать и тянуть слова.

— Я слышал, что вы свободно говорите на всех языках, — спрашивал он.

— М-м-да, — тянул Бальмонт. — Я не успел изучить только язык зулю (очевидно, зулусов). Но и вы тоже, кажется, полиглот?

— М-м-да, я тоже плохо знаю язык зулю, но другие языки уже не представляют для меня трудности.

Тут я решила, что мне пора вмешаться в разговор.

— Скажите, — спросила я деловито, — как по-фински «четыренадцать»?

Последовало неловкое молчание.

— Оригинальный вопрос, — обиженно пробормотал Ляцкий.

— Только Тэффи может придумать такую неожиданность, — деланно засмеялся Бальмонт.

Но ни тот, ни другой на вопрос не ответили. Хотя финское «четыренадцать» и не принадлежало к зулю.

Последние годы жизни Бальмонт много занимался переводами. Переводил ассирийские псалмы (вероятно, с немецкого). Я когда-то изучала религии Древнего Востока и нашла в работах Бальмонта очень точную передачу подлинника, переложенного в стихотворную форму.

Переводил он почему-то и малостоящего чешского поэта Врхлицкого. Может быть, просто по знакомству.

«— Кошка, кошка, куда ты идешь?

— Я иду в колодезь.

— Кошка, кошка, зачем ты идешь в колодезь?

— Пить молоко».

Когда он читал вслух, кошка всегда отвечала жеманно-обиженным тоном.

Пожалуй, можно было бы и не переводить.

Переводы Бальмонта были вообще превосходны. Нельзя не упомянуть его Оскара Уайльда или Эдгара По.

\* \* \*

В эмиграции Бальмонты поселились в маленькой мебелированной квартире. Окно в столовой было всегда завешено толстой бурой портьерой, потому что поэт разбил стекло. Вставить новое стекло не имело никакого смысла,— оно легко могло снова разбиться. Поэтому в комнате было всегда темно и холодно.

— Ужасная квартира,— говорили они.— Нет стекла, и дует.

В «ужасной квартире» жила с ними их молоденькая дочка Мирра (названная так в память Мирры Лохвицкой, одной из трех признаваемых поэтесс), существо очень оригинальное, часто удивлявшее своими странностями. Как-то в детстве разделась она голая и залезла под стол, и никакими уговорами нельзя было ее оттуда вытащить. Родители решили, что это, вероятно, какая-то болезнь, и позвали доктора.

Доктор, внимательно посмотрев на Елену, спросил:

— Вы, очевидно, ее мать?

— Да.

Еще внимательнее на Бальмонта.

— А вы отец?

— М-м-м-да.

Доктор развел руками.

— Ну так чего же вы от нее хотите?

Еще жила вместе с ними Нюшенька, нежная, милая женщина с огромными восхищенно-удивленными серыми глазами. В дни молодости влюбилась она в Бальмонта и так до самой смерти и оставалась при нем, удивленная и восхищенная. Когда-то очень богатая, она была совсем нищей во время эмиграции и, чахоточная, больная, все что-то вышивала и раскрашивала, чтобы на вырученные гроши делать Бальмонтам подарки. Она умерла раньше них.

Как нимб, любовь, твое сиянье

Над каждым, кто погиб любя.

Ни к какому поэту не подходило так стихотворение «Альбатрос», как к Бальмонту.

Величественная птица, роскошно раскинув могучие крылья, парит в воздухе. Весь корабль благоговейно любит ее божественной красотой. И вот ее поймали, подрезали крылья, и, смешная, громоздкая, неуклюжая, шагает она по палубе под хохот и улюлюканье матросов.

Бальмонт был поэт. Всегда поэт. И поэтому о самых простых житейских мелочах говорил с поэтическим пафосом и поэтическими образами. Издателя, не заплатившего обещанного гонорара, он называл «убийцей лебедей». Деньги называл «звонящие возможности».

— Я слишком Бальмонт, чтобы мне отказывать в вине,— говорил он своей Елене.

Как-то, рассказывая, как кто-то рано к ним пришел, он сказал:

— Елена была еще в своем ночном лике.

«Звонящих возможностей» было мало, поэтому ночной лик выразился в старенькой застиранной бумазейной кофтенке. И получилось смешно. Так шагал по палубе великолепный Альбатрос.

Но полюбившие его женщины подрезанных крыльев уже не видели. Им эти крылья казались всегда широко раскинутыми, и солнце благословенно сияет над ними. Как мог бы говорить он, чародей-поэт, простым пошлым языком?

И близкие тоже говорили с ним и о нем превыспренно. Елена никогда не называла его мужем. Она говорила «поэт».

Простая фраза — «Муж просит пить» — на их языке произносилась, как «Поэт желает утоляться влагой».

Мироносицы старались по мере сил и возможности выражаться так же. Можно себе представить, какой получался бедлам. Но все это было искренне и называлось самой глубокой и восторженной любовью. Так любящие матери говорят с ребенком на «его» языке. «Бобо» — вместо «больно», «баиньки» — вместо «спать», «бьяка» — вместо «плохой». Чего только не предельвает любовь с бедным человеческим сердцем.

\* \* \*

Ко мне он относился очень неровно. То почему-то дулся, словно ждал от меня какой-то обиды. То был чрезвычайно привелив и ласков.

— Вы ездили в Виши?

— Да, ездила. Только что вернулась.

— Гоняетесь за уходящей молодостью?

(Это, очевидно, «хочу быть дерзким!».)

— Ах, что вы. Как раз наоборот. Все время ищу благословенную старость.

И вдруг лицо Бальмонта делается беззащитно-детским и он смеется.

То вдруг восхитился моим стихотворением «Черный корабль» и дал мне за него индульгенцию — отпущение грехов.

— За это стихотворение вы имеете право убить двух человек.

— Неужели двух? — обрадовалась я. — Благодарю вас. Я непременно воспользуюсь.

\* \* \*

Бальмонт хорошо рассказывал, как ему поручил Московский Художественный театр вести переговоры с Метерлинком о постановке его «Синей птицы».

— Он долго не впускал меня, и слуга бегал от меня к нему и пропадал где-то в глубине дома. Наконец слуга впустил меня в какую-то десятую комнату, совершенно пустую. На стуле сидела толстая собака. Рядом стоял Метерлинк. Я изложил предложение Художественного театра. Метерлинк молчал. Я повторил. Он продолжал молчать. Тогда собака залаяла, и я ушел.

\* \* \*

Последние годы своей жизни он сильно хворал. Материальное положение было очень тяжелое. Делали сборы, устроили вечер, чтобы оплатить больничную койку для бедного поэта. На вечере в последнем ряду, забившись в угол, сидела Елена и плакала.

Я декламировала его стихи и рассказала с эстрады, как когда-то магия этих стихов спасла меня.

Это было в разгар революции. Я ехала ночью в вагоне, битком набитом полуживыми людьми. Они сидели друг на друге, стояли, качаясь, как трупы, и лежали вповалку на полу. Они кричали и громко плакали во сне. Меня давил, наваливаясь мне на плечо, страшный старик, с открытым ртом и подкаченными белками глаз. Было душно и смрадно, и сердце мое колотилось и останавливалось. Я чувствовала, что задохнусь, что до утра не дотяну, и закрыла глаза.

И вдруг запелось в душе стихотворение, милое, наивное, детское.

В замке был веселый бал,  
Музыканты пели...

Бальмонт!

И вот нет смрадного хрипящего вагона. Звучит музыка. бабочки кружатся, и мелькает в пруду волшебная рыбка.

И от рыбки, от нее  
Музыка звучала...

Прочту и начинаю сначала. Как заклинание.

— Милый Бальмонт!

Под утро наш поезд остановился. Страшного старика вытащили синего, неподвижного. Он, кажется, уже умер. А меня спасла магия стиха.

Я рассказывала об этом чуде и смотрела в тот уголок, где тихо плакала Елена.



Н. А. Тэффи

ФЕДОР СОЛОГУБ

Знакомство мое с Сологубом началось довольно занятно и дружбы не предвещало. Но впоследствии мы подружились.

Как-то давно, еще в самом начале моей литературной жизни, сочинила я, покорная духу времени, революционное стихотворение «Пчелки». Там было все, что полагалось для свержения царизма: и «красное знамя свободы», и «Мы ждем, не пробьет ли тревога, не стукнет ли жданный сигнал у порога...», и прочие молнии революционной грозы.

Кто-то послал это стихотворение Ленину в Женеву, и оно было напечатано в большевистском журнале.

Впоследствии в дни «полусвободы» я читала его с эстрады, причем распорядители-студенты уводили присутствовавшего для порядка полицейского в буфет и поили его водкой, пока я колебала устои. Тогда еще действовала цензура, и вне разрешенной программы ничего нельзя было читать.

Вернувшийся в залу пристав, удивляясь чрезмерной возбужденности аудитории, спрашивал:

— Что она там такое читала?

— А вот только то, что в программе. «Моя любовь, как странный сон».

— Чего же они, чудачки, так волнуются? Ведь это же ейная любовь, а не ихняя.

Но в то время, с которого я начинаю свой рассказ, стихи эти я читала только в тесном писательском кружке.

И вот мне говорят странную вещь:

— Вы знаете, что Сологуб написал ваших «Пчелок»?

Я Сологуба еще не знала, но раз где-то мне его показывали.

Это был человек, как я теперь понимаю, лет сорока, но тогда, вероятно потому, что я сама была очень молода, он мне показался старым, даже не старым, а каким-то древним. Лицо у него было бледное, длинное, безбровое, около носа большая бородавка, жиденькая рыжеватая бородка словно оттягивала вниз худые щеки, тусклые, полузакрытые глаза. Всегда усталое,

всегда скучающее лицо. Помню, в одном своем стихотворении он говорит:

Сам я и беден и мал,  
Сам я смертельно устал... <sup>1</sup>

Вот эту смертельную усталость и выражало всегда его лицо. Иногда где-нибудь в гостях за столом он закрывал глаза и так, словно забыв их открыть, оставался несколько минут. Он никогда не смеялся.

Такова была внешность Сологуба.

Я попросила, чтоб нас познакомили.

— Федор Кузьмич, вы, говорят, переделали на свой лад мои стихи.

— Какие стихи?

— «Пчелка».

— Это ваши стихи?

— Мои. Почему вы их забрали себе?

— Да, я помню, какая-то дама читала эти стихи, мне понравилось, я и переделал их по-своему.

— Эта дама — я. Слушайте, ведь это же нехорошо так забрать себе чужую вещь.

— Нехорошо тому, у кого берут, и недурно тому, кто берет.

Я засмеялась.

— Во всяком случае, мне лестно, что мои стихи вам понравились.

— Ну вот видите. Значит, мы оба довольны.

На этом дело и кончилось.

Через несколько дней получила я от Сологуба приглашение непременно прийти к нему в субботу. Будут братья-писатели.

Жил Сологуб на Васильевском острове в казенной квартире городского училища, где был преподавателем и инспектором. Жил он с сестрой, плоскогрудой, чахоточной старой девой. Тихая она была и робкая, брата обожала и побаивалась, говорила о нем шепотом.

Он рассказывал в своих стихах:

Мы были праздничные дети,  
Сестра и я... <sup>2</sup>

Они были очень бедные, эти праздничные дети, мечтавшие, чтоб дали им «хоть пестрых раковинок из ручья» <sup>3</sup>. Печально и тускло протянули они трудные дни своей молодости. Чахоточная сестра, не получившая своей доли пестрых раковинок, уже догорала. Он сам изнывал от скучной учительской работы, писал урывками по ночам, всегда усталый от мальчишечьего шума своих учеников <sup>4</sup>.

Печатался он у Нотовича в «Новостях», причем Нотович сурово правил его волшебные и мудрые сказочки.



— Опять принес декадентскую ерунду.

Платил гроши. Считал себя благодетелем.

— Ну кто его вообще будет печатать. И кто будет читать!

В сказочках говорилось о красоте и смерти.

Очаровательна была сказочка о полевой лилии, которую потом без конца читали с эстрады. Сам Соломон во всей славе своей не превосходил ее пышностью. Пересказываю, как помню. Но капуста ее осуждала. Что это? Стоит голая! Вот я так оделась: сначала рубашку, на рубашку пряжку, на пряжку одежду, на одежду застежку, потом рубашку, на рубашку пряжку, на пряжку покрывашку, не видать кочерыжку,— тепло и прилично.

О смерти рассказывается, как послал Бог ангела своего Степаниду Курносую отнять у матери ребенка. Мать плакала и не могла утешиться. Тогда ангел Божий Степанида Курносая стала ее утешать:

— Ты не плачь.

А мать ответила:

— Ты свое дело сделала, отняла от меня ребенка. Теперь не мешай мне мое дело делать — плакать о нем.

О смерти говорит и маленькая сказочка «О волшебной палочке». Кому очень тяжело на свете, тот должен только прижать ее к виску, и все горе сразу уйдет.

Так жил Сологуб в маленькой казенной квартирке, с лампадками, угощая мятными пряниками, румяными булочками, пастилой и медовыми лепешками, за которыми сестра его ездила куда-то через реку на конке. Рассказывала нам по секрету:

— Хотелось мне как-нибудь проехать на конке на империяле, да «мой» не позволяет. Это, говорит, для дамы неприлично.

Хозяином Сологуб был приветливым, ходил вокруг стола и потчевал гостей.

— Вот это яблочко коробовка, а вот там анисовка, а вот то антоновка. А это пастила рябиновая.

В маленьком темном его кабинете на простом столе лежали грудой рукописи и смотрело из темной рамки женское лицо, красивое и умное,— портрет Зинаиды Гиппиус.

Вечера в казенной квартирке, когда собирались близкие литературные друзья, бывали очень интересны<sup>5</sup>. Там слышали мы «Мелкого беса» и начало «Навях чар». Последняя вещь совсем сумбурная, и в ней он как-то запутался. Там как раз появились «тихие мальчики», над которыми многие посмеивались, подозревая в них что-то сексуально неблагочестивое, хотя сам автор определенно говорил, что мальчики эти были тихие, потому что были полуживые-полумертвые. Ему вообще приятен был образ ребенка, полуотошедшего от жизни. В одном из

первых рассказов был у него такой мальчик, ненавидящий жизнь и смех и мечтавший о звездах, где живут мудрые звери и никто никогда не смеется.

В «Навях чарах» он предполагал вывести Христа, который должен был явиться как светский господин, даже с визитной карточкой «Осип Осипович Давидов». Но до этого в романе дело не дошло. Должно быть, одумался или не справился.

\* \* \*

Когда мы познакомились ближе и как бы подружались (насколько возможна была дружба с этим странным человеком), я все искала к нему ключ, хотела до конца понять его и не могла. Чувствовала в нем затаенная нежность, которой он стыдился и которую не хотел показывать. Вот, например, провралось у него как-то о школьниках, его учениках: «поднимают лапки, замазанные чернилами». Значит, любил он этих детей, если так ласково сказал. Но это проскользнуло случайно.

Вспомнила его стихи, где даже смех благословляется, потому что он детский.

Я верю в творящего Бога,  
В святые завесы небес,  
Я верю, что явлено много  
Бездумному миру чудес.  
Но высшее чудо на свете,  
Великий источник утех —  
Блаженно-невинные дети,  
Их тихий и радостный смех.

Да, нежность души своей он прятал. Он хотел быть демоничным.

\* \* \*

И вот начались вечера с уклоном эстето-эротическим. Писались, читались и обсуждались вещи изощренно-эротические. Помню один рассказ Сологуба — не знаю, был ли он напечатан,— где старый король приводит к своей молодой жене юного пажа и смотрит на их ласки. Когда у королевы родился сын, и король и народ ликовали.

— Это мой сын,— заявлял король.— Я принимал участие в его рождении.

Ребенка объявили наследником, а пажа повесили на воротах города, как собаку.

Все слушатели, конечно, согласились, что этот ребенок — сын короля, а паж тут абсолютно ни при чем. Паж — собака, и кончено. Кто-то, однако, робко заметил:

— А вдруг ребенок вышел как две капли воды похожим на пажа?

Все замахали руками.

— Не все ли равно. Мало ли какое бывает случайное сходство.

И участники вечеров старались превзойти друг друга эстетозротизмом. Часто выходило совсем неладно, хотя и подано было искусными стихами.

\* \* \*

Но вот умерла тихая сестра Сологуба. Он сообщил мне об этом очень милым и нежным письмом.

«...Пишу Вам об этом, потому что она очень Вас любила и велела Вам жить подольше. А мое начальство заботится, чтобы я не слишком горевал: гонит меня с квартиры...»

И тут начался перелом.

Он бросил службу, женился на переводчице Анастасии Чеботаревской, которая перекроила его быт по-новому, по-ненужному. Была взята большая квартира, повешены розовые шторы, куплены золоченые стулики. На стенах большого холодного кабинета красовались почему-то Леды разных художников.

— Не кабинет, а ледник,— сострил кто-то.

Тихие беседы сменились шумными сборищами с танцами, с масками.

Сологуб сбрил усы и бороду, и все стали говорить, что он похож на римлянина времен упадка. Он ходил как гость по новым комнатам, надменно сжимал бритые губы, щурил глаза, искал гаснущие сны.

Жена его, Анастасия Чеботаревская, создала вокруг него атмосферу беспокойную и напряженную. Ей все казалось, что к Сологубу относятся недостаточно почтительно, всюду чудились ей обиды, намеки, невнимание. Она пачками писала письма в редакцию, совершенно для Сологуба ненужные и даже вредные, защищая его от воображаемых нападок, ссорилась и ссорила. Сологуб поддавался ее влиянию, так как по природе был очень мнителен и обидчив. Обиду чувствовал и за других. Поэтому очень бережно обходился с молодыми начинающими поэтами, слушал их порою прескверные стихи внимательно и серьезно и строгими глазами обводил присутствовавших, чтобы никто не смел улыбаться<sup>6</sup>. Но авторов слишком самонадеянных любил ставить на место.

Приехал как-то из Москвы плотный, выхолотенный господин, печатавшийся там в каких-то сборниках, на которые давал деньги. Был он, между прочим, присяжным поверенным. И весь вечер Сологуб называл его именно присяжным поверенным.

— Ну а теперь московский присяжный поверенный прочтет нам свои стихи.

Или:

— Вот какие стихи пишут московские присяжные поверенные.

Выходило как-то очень обидно, и всем было неловко, что хозяин дома так измывается над гостем.

Зато когда привел к нему кто-то испуганного, от подобострастия заикающегося юношу, Сологуб весь вечер называл его без всякой усмешки «молодой поэт» и очень внимательно слушал его стихи, которые тот бормотал, сбиваясь и шепелявя.

\* \* \*

Маленькие литературные сборища у Сологуба обыкновенно протекали так: все садились в кружок. Сологуб обращался к кому-нибудь и говорил:

— Ну, вот начнете вы.

Ответ — всегда был смущенный.

— Почему же именно я? У меня нет ничего нового.

— Поищите в кармане. Найдется.

Испытуемый вынимает записную книжку, долго перелистывает.

— Да у меня правда ничего нового нет.

— Читайте старые.

— Старые неинтересно.

— Все равно.

Испытуемый снова перелистывает книжку.

— Ну вот одно новое. Только оно, пожалуй, слишком длинно.

— Все равно.

Начинается чтение. Кончается при гробовом молчании, потому что выражать какое-нибудь мнение или одобрение было не принято.

— Следующее,— говорит Сологуб и закрывает глаза.

— Да собственно говоря...— мечется испытуемый.— Впрочем, вот еще одно. Только оно, пожалуй, слишком коротенькое.

— Все равно.

Читает. Молчание.

— Третье стихотворение.

Испытуемый уже не защищается. Видно, как спешит скорее покончить. Читает. Молчание.

Вот так, наверно, Федор Кузьмич, учитель городского училища, в холодном жестоком спокойствии терзал своих мальчишек.

— Теперь ваша очередь,— обращается мертвым голосом Сологуб к соседу выпотрошенного поэта. И тот тоже отнекивается, и мечется, и шарит по карманам под змеиным взглядом хозяина, и тоже читает три стихотворения. И так в тоскливой муке смыкался круг стихов.

Раз как-то я долго уверяла, что у меня нет третьего стихотворения, и, когда Сологуб все-таки его требовал, сказала:

— Ну если так, так хорошо же.

И прочла Пушкина «Заклинание».

По лицам присутствующих сразу поняла, что никто из них не слушает. Только Бальмонт при словах «Я жду Леилы» чуть-чуть шевельнул бровями. Но уже после ужина, когда я уходила домой, Сологуб, прощаясь со мной, промямлил:

— Да, да. Пушкин писал хорошие стихи.

На этих вечерах Сологуб и сам читал какой-нибудь отрывок из своего нового романа. Чаще переводы Верлена, Рембо. Переводил он неудачно, тяжело, неуклюже. Читал вяло, сонно, и всем хотелось спать. Профессор Аничков<sup>7</sup>, очень быстро засыпавший и знавший за собой эту слабость, обыкновенно слушал стоя, прислонясь к стене или к печке, но и это не помогало. Он засыпал стоя, как лошадь. Изредка, очнувшись, чтобы показать, что он слушает, начинал совершенно некстати громко хохотать. Тогда Сологуб на минуту прерывал чтение и медленно поворачивал к виновному свои мертвые глаза. И тот стихал и сжимался, как кролик под взглядом удава.

Писал Сологуб всегда очень много.

— Я всех писателей разделяю на графоманов и дилетантов. Я графоман, а вы дилетантка.

Издатели набросились на него. Перепечатали его старые произведения, прошедшие когда-то незаметно. Он закончил свой роман «Навыи чары». Конец, написанный после перелома, то есть когда судьба вознесла его, не оправдал обещанного. И то, что намечал он в тихой комнате с лампадкой, осталось невыполненным. Я помнила, как он рассказывал о дальнейшем ходе романа, и этого в напечатанной книге не нашла. Дух отлетел от него. И только в стихах своих был он прежним, одиноким, усталым, боялся жизни, «бабищи румяной и дебелой», и любил ту, чье имя писал с большой буквы, — Смерть.

Смертерадостный — называли его.

Рыцарь Смерти — называла я.

Но и в стихах своих принялся он фокусничать, играть пустяками.

Белей лилий, алее лала

Была бела ты и ала.

Я ему говорила, что это похоже на скороговорку: «Сшит колпак, да не по-колпаковски», и заставляла одного косноязычного поэта, не выговаривавшего букву «л», декламировать эти стихи. У него выходило:

Бевей вивий, авес вава

Быва бева ты и ава.

А о Смерти еще находил прежние слова и говорил о ней нежно. Она приходила и просила под окном, чтобы брат ее Сон открыл ей двери. Она устала. «Я косила целый день...»

Она хотела накормить голодных своих смертенышей...

\* \* \*

Настоящая фамилия Сологуба была Тетерников, но, как мне рассказывали, в редакции, куда он отнес первые свои произведения, посоветовали ему придумать псевдоним.

— Неудобно музе увенчать лаврами голову Тетерникова.

Кто-то вступился, сказал, что знал почтенного полковника с такой фамилией и тот ничуть не огорчился.

— А почему вы знаете? Может быть, и полковнику приятнее было бы более поэтическое имя, только вот в армии нельзя служить под псевдонимом.

И тут же придумали Тетерникову псевдоним — Федор Сологуб. С одним «л», чтобы не путали с автором «Тарантаса». И мы знаем, что муза этот псевдоним почтила своим вниманием<sup>8</sup>.

Венец славы своей нес Сологуб спокойно и как бы презрительно. С журналистами и интервьюерами обращался надменно<sup>9</sup>.

Помню, как шли мы вместе по фойе театра и к нему подбежал какой-то газетный сотрудник и почтительно спрашивал его мнение о новой пьесе. Сологуб шел, не замедляя шага, не поворачивая головы, лениво цедя слова сквозь зубы, а журналист забегал, как собачонка, то справа, то слева, переспрашивал и не всегда получал ответ. Так мстил (вероятно, бессознательно) Сологуб за изымательства над его первыми, лучшими и самыми вдохновенными вещами.

Сологуба считали колдуном и садистом. В своих стихах он и бичевал, и казнил, и колдовал. Черная сила играла в них.

Когда я в бурном море плавал  
И мой корабль пошел ко дну,  
Я возопил: «Отец мой, Дьявол,  
Спаси меня, ведь я тону»<sup>10</sup>.

Признав отцом своим дьявола, он принял от него и все черное его наследство: злобную тоску, душевное одиночество, холод сердца, отвращение от земной радости и презрение к человеку. Как сон вспоминались его грустные, нежные стихи:

В поле не видно ни зги...  
Кто-то зовет: «Помоги!»  
Как помогу?  
Сам я беден и мал,  
Сам я смертельно устал —  
Что я могу?

Голос зовет в тишине:  
«Брат мой, приблизься ко мне,  
Легче вдвоем.  
Если не сможем идти,  
Вместе умрем на пути,  
Вместе умрем» <sup>11</sup>.

Теперь пошла эротика, нагие флагалянты, мертвые люди, живые мертвецы, колдовство, комплекс Эдипа, воюющие собаки, оборотни.

Было:

Я верю в творящего Бога,  
В святые завесы небес...

Стало:

Собираю ночью травы  
И варю из них отравы...

\* \* \*

Что за человек Сологуб, понять было трудно. Его отношение ко мне я тоже не понимала. Казалось бы, совершенно безразлично. Но вот неожиданно узнаю, что мою пьесу «Царица Шамурамат» (я тогда увлекалась Древним Востоком) он старался устроить в театр Комиссаржевской.

Раз как-то пришел он ко мне с Георгием Чулковым. Я была в самой лютой неврастении. Чулков ничего не заметил, а Сологуб странно-пристально присматривался ко мне и все приговаривал:

— Так-так. Так-так.

Вечером пришел снова и настаивал, чтобы я пошла с ним в ресторан обедать, и оттуда повел по набережной.

— Не надо вам домой торопиться. Дома будет хуже.

Была белая ночь, нервная и тоскливая, как раз бы Рыцарю Смерти поговорить о своей Даме. Но он был неестественно весел, болтал и шутил, и я поняла, что он жалеет меня и хочет развлечь. Потом выяснилось, что так это и было. Его мертвые глаза видели многое, живым глазам недоступное и ненужное.

Он ненавидел шаржи, карикатуры и пародии.

В каком-то журнале появилась пародия на него Сергея Городецкого под случайным псевдонимом. Сологуб почему-то решил, что сочинила ее я, и остро обиделся. Вечером у себя за ужином он подошел ко мне и сказал:

— Вы, кажется, огорчены, что я узнал про вашу проделку?

— Какую проделку?

— Да ваш пасквиль на меня.

— Я знаю, о чем вы говорите. Это не я сочинила. Все свои

произведения, как бы плохи они ни были, я всегда подписываю своим именем.

Он отошел, но в конце ужина подошел снова.

— Вы не расстраивайтесь,— сказал он.— Мне все это совершенно безразлично.

— Вот это меня и расстраивает,— отвечала я.— Вы думаете, что я вас высмеяла, и говорите, что вам это безразлично. Вот именно это меня и расстраивает.

Он задумался и потом весь вечер был со мной необычайно ласков.

Несмотря на свою надменную мрачность, он иногда охотно втягивался в какую-нибудь забавную чепуху.

Как-то вспомнил школьную забаву:

— Почему говорят гимн-Азия, а не гимн-Африка? Почему чер-Нила, а не чер-Волги?

С этого и пошло. Решили писать роман по новому ладу. Начало было такое:

«На улицу вышел человек в синих панталонах».

По-новому писали так:

«На у-роже ты-шел лобстоление в ре-них хам-купонах».

Игра была из рук вон глупая, но страшно завлекательная, и многие из нашего кружка охотно разделяли эту чепуху. И многие серьезные и даже мрачные, как и сам Сологуб, сначала недоуменно пожимали плечами, потом, словно нехотя, придумывали слова два-три, а там и пошло. Втягивались.

\* \* \*

Как-то занялись мы с ним определением метафизического возраста общих знакомых. Установили, что у каждого человека кроме его реального возраста есть еще другой, вечный, метафизический. Например, старику шлиссельбуржцу Морозову мы сразу согласно определили 18 лет.

— А мой метафизический возраст? — спросила я.

— Вы же сами знаете — тринадцать лет.

Я подумала. Вспомнила, как жила прошлым летом у друзей в имении. Вспомнила, как кучер принес с болота какой-то страшно длинный рогатый тростник и велел непременно показать его мне. Вспомнила, как двенадцатилетний мальчишка требовал, чтобы я пошла с ним за три версты смотреть на какой-то древесный нарост, под которым, видно, живет какой-то зверь, потому что даже шевелится. И я, конечно, пошла, и, конечно, ни нароста, ни зверя мы не нашли. Потом пастух принес с поля осиный мед и опять решил, что именно мне это будет интересно. Показывал на грязной ладони какую-то бурую слякоть. И каждый раз в таких случаях вся прислуга выбегала посмотреть, как я буду ахать и удивляться. И мне действительно все это было интересно.



Да, мой метафизический возраст был тринадцать лет.

— А мой? — спросил Сологуб.

— Конечно, шестьсот, и задумываться не о чем.

Он вздохнул и промолчал. Очевидно, согласился <sup>12</sup>.

\* \* \*

Колдун и ведун однажды позорно провалился.

Был доклад Мережковского «О России».

Большевики в ту пору еще не утвердились, и Мережковский, с присущим ему пафосом, говорил о том, что из могилы царизма поднялся упырь.

Упырь этот Ленин.

Вот тут Сологуб и изрек свое «вещее слово»:

— Никогда Ленину не быть диктатором. Пузатый и плешивый. Уж скорее мог бы Савинков.

Мы слушали с благоговением и не отрицали, что роскошная шевелюра и стройный стан суть необходимейшие атрибуты народного вождя. Мы тогда еще не видали ни Муссолини, ни Гитлера, этих грядущих аполлонов. Нас можно простить.

В начале революции по инициативе Сологуба создано общество охранения художественных зданий и предметов искусств. Заседали мы в Академии художеств. Требовали охраны Эрмитажа и картинных галерей, чтобы там не устраивали ни засад, ни побоищ. Хлопотали, ходили к Луначарскому. Кто лучше него мог бы понять нашу святую тревогу? Ведь этот эстет, когда умер его ребенок, читал над гробиком «Литургию красоты» Бальмонта. Но из хлопот наших ничего не вышло.

\* \* \*

Одно время Сологуб дружил с Блоком. Они часто выходили вместе и часто снимались. Он всегда приносил мне эти снимки. Чулков тоже бывал с ними. Потом, в период «Двенадцати», он уже к Блоку охладел.

Имя Сологуба гремело. Все так называемые «друзья искусства», носившие в нашем тесном кругу скромное имя «фармацевтов» (хотя среди них были люди, достойные именно первого названия), говорили словами Сологуба об Альдонсе, Дульцине и творимой легенде.

Актеры наперерыв выли с эстрады:

Качает черт качели

Вперед — назад, вперед — назад...

Фотографы снимали его у письменного стола и на копне сена с подписью: «Как проводит лето Федор Сологуб».

Сомов написал его портрет, затушевав бородавку. Сенилов переложил его стихи на музыку.

Сологуба пели, читали, играли, декламировали и танцевали.

Явились переводчики и карикатуристы. Журналисты печатали беседы.

Приезжали на поклон московские люди — писатели, артисты, музыканты, меценаты. И черт качал качели

Вперед — назад, вперед — назад...

Качал вперед <sup>13</sup>.

\* \* \*

Работал Сологуб по-прежнему много, но больше все переводил. Новые повести писал в сотрудничестве с Чеботаревской. Они были не совсем удачны, а иногда настолько неудачны и так не чувствовалось в них даже дыхания Сологуба, что многие, в том числе и я, решили, что пишет их одна Чеботаревская, даже без присмотра Сологуба. Впоследствии эта догадка оказалась верной.

Чем это объяснить? Творчество иссякло? Равнодушие к общественному мнению дошло до полного презрения? «Прежде нотовичи воротили нос от прекрасных моих творений, теперь что ни дай — все слопают». Чеботаревская хочет писать — пусть пишет. Ее печатать не станут — пусть подписывается Сологубом.

Как-то в рижской газете «Сегодня» я прочла строки:

«Немногие, вероятно, знают, как была талантлива Чеботаревская и что последние повести Сологуба принадлежат всецело ее перу».

Увы! Эти немногие отлично догадывались. Только не могли себе этого объяснить так отчетливо, как мы видим теперь. Теперь мы знаем его безграничное презрение к критикам, не ценившим его прежних вещей и поднимавшим шум и бум над новыми, небрежно набросанными пустяками. Вот тогда он и решил, что довольно с них и Чеботаревской.

Всем известна фраза его: «Что мне еще придумать? Лысину позолотить, что ли?» — вполне определяет наступившую для него душевную пустоту.

\* \* \*

Во время революции Сологубу жилось трудно. Он приглядывался, хотел понять и не понимал.

Кажется, в их идеях есть что-то гуманное, говорил он, вспоминая свою униженную юность и сознавая себя «сыном трудящегося народа». Но ведь жить с ними все-таки нельзя!

Еще старался творить из «бабищи грубой», из нелепой жизни своей легенду. Но бабища ухватила цепко.

В одну из последних петербургских зим встречали мы вместе Новый год.

— Что вам пожелать? — спросила я.

— Чтобы все осталось как сейчас. Чтобы ничто не изменилось.

Оказывается, что этот странный человек был счастлив! Но тут же подумалось — боится и предчувствует злое.

Как хорошо, что реют пчелы,  
Что золот лук в руках у Феба...

Да, лук у Феба вечно золот, но...

Быстро мчатся кони Феба под уклон.

Загremели страшные годы. «Бабища румяная и дебелая» измывалась над бледным Рыцарем Смерти. Судорожно цеплялась за жизнь Чеботаревская. Кричала всем, всем, всем: SOS. Спасите!

Она уже в самом начале революционных годов была совершенно нервнoбольная. Помню, как на одном из заседаний в Академии художеств она вдруг без всякой видимой причины вскрикнула и затопала ногами.

\* \* \*

В 1920 году, когда я в Париже лежала больная в тифу, передали мне записку. На обрывке бумаги, сложенном, как гимназическая шпаргалка, спешными сокращенными словами было набросано:

«Умол. помочь похлопоч. визу погибаем. будьте другом добр. как были всегда Сол. Чебот.»

Записка, очевидно привезенная кем-то в перчатке или зашитая в платье, была от Сологуба и Чеботаревской. Кто ее принес, не выяснилось.

Когда я поправилась, мне сказали, что виза Сологубу и его жене уже давно устроена. Но, как потом оказалось, большевики еще долго не выпускали их. То давали разрешение на выезд, то снова задерживали. Чеботаревская, не выдержав этой пытки, покончила с собой. Она утопилась. Рассказывают легенду, будто труп ее летом прибило к берегу, где на даче жил Сологуб<sup>14</sup>.

После ее смерти началось умирание Сологуба.

Он долго умирал, несколько лет. Судьба, дописав повесть его жизни, словно призадумалась, перед тем как поставить последнюю точку.

«День только к вечеру хорош...» — писал он когда-то.

Нет, вечер его жизни не был хорош.

О его душевном состоянии говорят кое-какие дошедшие до нас стихи.

Человек иль злобный бес  
В душу, как в карман, залез,  
Наплевал там и нагадил,  
Все испортил, все разладил  
И, хихикая, исчез.  
Дурачок, ты всем нам верь,—  
Шепчет самый гнусный зверь,—  
Хоть блевотину на блюде  
Поднесут с поклоном люди,  
Ешь и зубы им не щерь.

Тяжело и озлобленно уходил он.

В мире ты живешь с людьми,—  
Словно в лесе, в темном лесе,  
Где написан бес на бесе,—  
**Здесь с такими же зверьми.**

Это, как он его воспринимал, Звериное Царство он, Дон-Кихот, не смог уже претворить в мечту, в прекрасную Дульцинею, как делал из жизни, «бабищи румяной и дебелий».

Тяжело и озлобленно уходил он. И умер он, в сущности, уже давно и только пребывал в полужизни, ни живой ни мертвый, как его тихие мальчишки в «Навях чарах»... «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв» (Апокалипсис, гл. 3. 1). И та его смерть, о которой дошла до нас весть в эмиграцию, является только как бы простой формальностью.

И может быть, смерть эта, для которой его муза находила такие странные, необычно нежные слова, может быть, она,жданная и призываемая, пришла к своему Рыцарю тихая и увела его ласково.

*Париж*

Зинаида Гиппиус

ОТРЫВОЧНОЕ

О Сологубе



1

*Люблю я грусть твоих просторов,  
Мой милый край, святая Русь...*

*.....  
И все твои пути мне милы.  
И пусть грозит безумный путь  
И тьмой, и холодом могилы,—  
Я не хочу с него свернуть.*

О Блоке можно было написать почти все, что помнилось: он

умер. И о Розанове. Да и о Брюсове: он хуже чем умер, он — большевицкий цензор, сумасшедше-жестокий коммунист, пишет оды на смерть Ленина и превратился, из поэта, в беспомощного рифмоплета... что даже удивительно (или, напротив, не удивительно).

Но могу ли я говорить о Сологубе?

*Он в России.*

Я его знаю, люблю неизменно, уважаю неизменно, вот уже почти тридцать лет. В последние годы, пожалуй, еще более люблю, еще более уважаю.

*Но он в России.*

По-прежнему я считаю его одним из лучших русских поэтов и русских прозаиков. Для меня было бы только удовольствием написать еще одну (которую?) статью о его произведениях <sup>1</sup>.

Но... *он в России.* Об это «он в России» — разбиваются, как о камень, все мои намерения. Нельзя писать о его литературе, у нас нет здесь его книг (есть ли они там?). Нет старого; о новом же мы почти и совсем ничего не знаем. Едва настолько, чтобы не сомневаться в непрестанном росте его души и таланта.

Он в России, в России, в родном городе святого Петра — Санкт-Петербурге, — на его глазах разрушенном до последнего камня, до Ленинграда... и одну ли эту потерю видели его глаза? Он в России... и пусть, кто может, поймет, почему мои слова о Сологубе будут сегодня краткими, целомудренно-бледными. Главное — отрывочными.

Даже хотелось бы никаких не говорить... но все равно. Не для себя и не для него — для русских вызову из прошлого милые тени наших встреч.

2

*Быть с людьми — какое бремя!  
О зачем же надо с ними жить,  
Отчего нельзя все время  
Чары деять, тихо ворожить?*

«Тени» — первый рассказ Сологуба, напечатанный в «Сев. вестн.». Свежий и сейчас, как тогда. Но ранее там было напечатано его стихотворение — кажется, «Ограда». Коротенькое, но такое, что пройти мимо нельзя. Магия какая-то в каждой вещи Сологуба, даже в более слабой.

Мы уже знали, что это — скромный учитель, школьный. Петербуржец, но служил до сих пор в провинции. Молодой? Даже не очень молодой. А фамилия его — Тетерников.

Н. Минский<sup>2</sup>, тогда секретарь «Северного вестника», решил, что с такой фамилией нельзя выступать. Предложил ему наскоро, очевидно, по неудачной ассоциации (выдумать не успел) псевдоним Сологуб. Только и было его выдумки что одно «л» — вместо двух в имени старого, весьма среднего писателя графа Соллогуба.

Не знаю, как понравился псевдоним новому поэту, но он его принял. Минский очень увлекался и псевдонимом, и самим поэтом. В то время (дни декадентства) «Сев. вестник» шел навстречу «новым талантам», даже искал их (добрая память ему за это).

У меня, при моем и тогда неувлекающемся характере, увлечения Сологубом не было; просто он мне очень нравился. Даже он один из всех и нравился; а немало их было, новых, из которых иные пропали, а многие имеют ныне старые, заслуженно или незаслуженно громкие имена.

На Пушкинской улице в Петербурге был громадный, пятиэтажный дом — гостиница, не первоклассная, но и не так чтобы очень затрапезная. Ее почему-то возлюбили литераторы и жили там, особенно несемейные, по месяцам, а то и по годам.

Не избег ее и Минский. Говорил про себя тогда:

Он жил в Пале,  
Он пел в Рояле.

Немало интересных собраний повидали на своем веку номерки этого Пале-Рояля, скромные, серым штофом перегороденные. Там впоследствии жил Перцов<sup>3</sup>, там бывал Розанов, эстеты «Мира искусства»...

Там пришлось мне в первый раз увидеть и Сологуба — Тетерникова.

Это было в летний, или весенний, солнечный день. В комнате Минского, на кресле у овального, с обычной бархатной скатертью стола, сидел весь светлый, бледно-рыжеватый человек. Прямая, невьющаяся, борода, такие же бледные падающие усы, со лба лысина, рinсе-pez на черном шнуточке.

В лице, в глазах с тяжелыми веками, во всей мешковатой фигуре — спокойствие до неподвижности. Человек, который никогда, ни при каких условиях не мог бы «суетиться». Молчание к нему удивительно шло. Когда он говорил — это было несколько внятных слов, сказанных голосом очень ровным, почти монотонным, без тени торопливости. Его речь — такая же спокойная непроницаемость, как и молчание<sup>4</sup>.

Минский болтал все время, конечно, Сологуб слушал... а может быть, и не слушал, просто сидел и естественно, спокойно молчал.

— Как же вам понравилась наша восходящая звезда? — пристал ко мне Минский, когда Сологуб, неторопливо простившись, ушел. — Можно ли вообразить менее «поэтическую» наружность? Лысый, да еще каменный... Подумайте!

Нечего и думать, — отвечаю. — Отличный; никакой ему другой наружности не надо. Он сидит — будто ворожит; или сам заворожен.

В нем, правда, был колдун. Когда мы после подружились, то нередко и в глаза дразнили его этим колдовством.

### 3

*...Приветствую тихие стены  
Обитали бедной мой...*

На Васильевском острове, в одной из дальних линий, где по ночам едва тусклятся редкие фонари, а по веснам извозчик качается на глыбах несколотого льда, — серый деревянный домик с широким мезонином. Городская школа.

Внизу — большие низкие горницы, уставленные партами. Там вечером темно и еще носится особый школьный запах: пыли меловой, усыхающих чернил, сапог и мальчишеских затылков.

А наверху — квартира Сологуба. «казенная». Он учитель и директор (или что-то вроде) этой школы.

Совсем они особенные — квартиры в старых деревянных, с мезонинами, домах. Свой лик во всем: в стенах, в порогах, в убранстве... Как милое лицо деревенской девушки исказилось бы под парижской шляпкой, так и уют квартирки исказило бы современство, все равно в чем: в мебели, в занавесах, даже в самих людях, там живущих. Исчезла бы гармония.

Квартира Сологуба воистину была прекрасна, ибо вся гармонична.

Он жил с сестрой, пожилой девушкой, тихой, скромной, худенькой. Сразу было видно, что они очень любят друг друга. Когда собирались гости (Сологуба уже знали тогда) — так заботливо приготавлила чай тихая сестра на тоненьком квадратном столе, и салфеточки были такие белые, блестящие, в кольце света висячей керосиновой лампы.

Точно и везде все было белое: стены, тюль на окнах... Но разноцветные теплились перед образами, в каждой комнате, лампадки: в одной розовая, в другой изумрудная, в третьей, в углу, темно-пурпуровый дышал огонек.

Сестра, тихая, нисколько не дичилась новых людей — литераторов. Она умела приветливо молчать и приветливо и просто говорить.

Я еще как будто вижу ее, тонкую, в черном платье, часто кашляющую: у нее слабое здоровье, и по зимам не проходит «бронхит».

После чая иногда уходили в узкий кабинетик Федора Кузьмича (он всегда писал свое имя с «фиты»). В кабинетике много книг и не очень светло: одна лампа под зеленым фарфоровым абажуром (в углу лампадка тоже бледно-зеленая).

Сестру Сологуба, если память не изменяет мне, звали Ольгой, Ольгой Кузьминишной. Иногда помогала разливать чай ее подруга, такая же тихая, в таком же глухом черном платье.

Шли годы, Сологуб становился все известнее. Появлялись, одна за другой, его книжки — первая, тоненькая, стихи; потом роман, ранее напечатанный в «Сев. вестнике», рассказы... Он занял в литературе такое *свое* место и так твердо стоял на нем, что не понимаящие его сначала остались непонимающими и тогда, когда не признавать его уже сделалось нельзя.

Он бывал всюду, везде непроницаемо-спокойный, скупой на слова; подчас зло, без улыбки, остроумный. Всегда немножко волшебник и колдун. Ведь и в романах у него, и в рассказах, и в стихах — одна черта отличающая: тесное сплетение реального, обыденного с волшебным. Сказка ходит в жизни, сказка обедает с нами за столом — и не перестает быть сказкой.

Мечта и действительность в вечном притяжении и в вечной борьбе — вот трагедия Сологуба.

...Хочу конца, ишу начала,  
Предвижу роковой предел.  
Противоречий я хотел,  
Мечта владычицею стала.

Его влечет таинственная «звезда Маир» и — не наша — «земля Ойле»<sup>5</sup>... с которой он вдруг опять хочет возвратиться на родную, свою, нашу. Но на ней Дульцинея не превращается



ли слишком часто в «дебелую Альдонсу»? И Сологуб, как праотец Адам, которому неожиданно была дана Ева, горько тоскует об ушедшей, легкой Лилит.

Когда Сологуб выходил на эстраду, с неподвижным лицом, в *pinse-pez* на черном шнурочке, и совершенно бесстрастным, каменно-спокойным голосом читал действительно волшебные стихи — он сам казался трагическим противоречием своим, сплетением здешнего с нездешним, реального с небывалым. И еще вопрос: может быть, настоящая-то реальность и есть это таинственное сплетение двух изначальных линий?

Сологуб, скажу кстати, совершенно не мог слышать своих собственных стихов, когда их с эстрады читал кто-нибудь другой, «с выражением». Я, впрочем, тоже; и на одном вечере, где читали все его и мои стихи, мы с ним столкнулись в дверях, оба стремясь вон из залы. Но это что! Воображаю, как был бы доволен поэт, если б слышал свои «Чертовы качели», исполнявшиеся раз в Минске (под поляками, в 20-м году) на шумной студенческой вечеринке! Рыжая молодая любительница, «дебелая Альдонса», вопила истошным голосом, мечась по эстраде, а когда зыкнула уже совершенно как труба: «Качайся, черт с тобой!» — зал радостно захохотал и заплодировал.

Хорошо, что не было Сологуба!

Вспоминается один мой деловой визит на Остров в светлый холодный весенний вечер.

Брат и сестра кончали обед, на том же шатком четырехугольном столе, у окна с тюлевыми занавесями.

Свет бело-зеленый, неумирающий. Виноградная кисточка в стеклянной вазе. Я зову Сологуба участвовать на благотворительном вечере. В частной квартире, ибо цель его не может быть указана. Один из вечеров, которые устраивали постоянно русские писатели в пользу политических заключенных (Полит. Кр. Крест). Богатые люди — аристократия, генералы — охотно давали свои квартиры, рассылая билеты-приглашения «на чашку чая», и эти билеты недурно оплачивались.

Ближайший вечер — в квартире пожилого генерала, литераторам почти незнакомаго (погиб, помнится, во время революции).

Объясняю все это Сологубу. Он согласен, конечно, только затрудняется:

— Что же мне прочитать?

— Ну вот, мало ли у вас стихов! Мне куда труднее... Знаете что? Давайте прочтем нашу переписку шутивную? Хотите? Вы свое читайте, а я свое... Будет забавно.

Мы так и решили и действительно прочли на этом вечере нашу краткую переписку в стихах (Сологуб, конечно, читал и другие вещи).

Оба прекрасные, ответные, стихотворения Сологуба вошли потом в его книги; мои не были напечатаны и затерялись. Помню лишь первое, совсем шутливое, поводом к которому послужили разные мелкие «колдовства» Сологуба — над чьи-то калошами, а главное, случай с Вяч. Ивановым: только что приехавший тогда из-за границы поэт-европеец отправился знакомиться с Сологубом. Да так пропал, с утра, что жена тщетно искала его по всему городу. И сидела у нас в ужасе, когда ей дали знать, что он обретен наконец у себя в постели, и в крапивной лихорадке. Словом, смешные пустяки; не знаю, почему и запомнилось <sup>6</sup>:

Все колдует, все морочит  
Лысоглавый наш Кузьмич.  
И чего он только хочет  
Колдовством своим достичь?  
Невысокая природа  
Колдовских его забав:  
То калоши, то погода,  
То Иванов Вячеслав...  
Нет, уж ежели ты вещей,  
Так не трогай эти вещи,  
Потягайся с ведьмой мудрой,  
Силу в силе покажи...  
О, Кузьмич мой беднокудрый,  
Ты меня заморози!

Он и принялся меня «завораживать» прекрасным стихотворением о «Кругах». Отсюда уж пошла у нас поэтическая геометрия:

...Ты не в круге, весь ты в точке,  
Я же в точку не вмещусь...  
...будешь умирать,  
И тогда поймешь и примешь,  
Троецветную печать...

О следующем стихотворении Сологуба помню только, что было оно написано мастерски, в удивительном ритме.

А кто знает здесь его строки, такие загадочные и таинственные, что даже духовные цензора (в журнале «Новый путь») долго сомневались, пропускать ли их:

Водой спокойной отражены,  
Они бесстрастно обнажены  
При свете тихом ночной луны.  
Два отрока, две девы творят ночной обряд...

Эти стихи были специально выучены мною наизусть — что бы дразнить В. В. Розанова. Он от них в ярость приходил.

Стопами белых ног едва колеблют струи  
И волны, зыбляся у ног, звучат, как поцелуи...

Ерунда, чепуха! Сердится Розанов. Какие это поцелуи?

Огонь, пылавший в теле, томительно погас.  
В торжественном пределе настал последний час...

— Да вы скажите, сколько их, сколько их? Двое или четверо? «Отражения в воде видны»... значит, двое?

Стопами белых ног, омытыми от пыли,  
Таинственный порог они переступили...

Этот «порог» и «предел» приводили Розанова в особый раж. Непременно желал знать, что это такое. Однако самого Сологуба спросить никогда не решался. Со всеми интимничающий Розанов знал, что к Сологубу не очень подъедешь: «Кирпич в сюртуке!»<sup>7</sup>

4

*...в молчании  
Ты постигнешь закон бытия.  
Все едино в создании,  
Где сознанию возникнуть —  
Там Я.*

*...Я — все во всем, и нет иного.  
Во мне родник живого дня.  
Во тьме томления земного  
Я — верный путь. Люби меня.*

Костюмированный вечер.

Небольшая зала изящно отделанного особняка в переулке близ Невского. Розово-рыжие панно на стенах. Много электричества. Есть забавные костюмы. Смех, танцы... В открытые двери виден длинный стол, сервированный к ужину. Цветы.

Что это за бал? Большинство без масок, и какие все знакомые лица! Хозяйка — маленькая, черноволосая, живая, нервная молодая женщина с большими возбужденными глазами. А хозяин — Сологуб.

Он теперь похож на старого римлянина: совсем лысый, гладко выбритый. В черном сюртуке, по-прежнему не суетливый и спокойный, любезный с гостями. Он много принимает. Новый литературный Петербург, пережив неудачную революцию, шумит и веселится, как никогда.

За время моего трехлетнего отсутствия многое изменилось.

Умерла тихая сестра Сологуба: не «бронхит» у нее был, а чахотка. Очень выросла известность писателя. Какой он теперь, «городской учитель»? Да и есть ли, существует ли еще серенький домик на Острове? Может быть, да, может быть, еще пахнет внизу пылью и мелками, но уж наверху-то, наверно, не теплятся разноцветные лампадки...

Сологуб женился на молодой писательнице и переводчице А. Н. Чеботаревской.

Порывистая, впечатлительная, она окружила его атмосферой самого ревнивого поклонения. Слава Сологуба возрастала: никто не думал ее оспаривать, только любящей жене все казалось, что к нему несправедливы, что у него там или здесь — враги.

Сам Сологуб остался верен себе. Так же он замкнут в кольцо холода — «не подступиться». Так же, если не больше, спокоен, непроницаем, зло остроумен. Если б нужно было одним словом определить узел его существа, первый и главный, то это можно бы сделать даже одной буквой: Я. В самом глубоком смысле, конечно: в смысле понятия личности. Не знаю человека с более острым, подземным, всесторонним ощущением единства человеческой личности.

Каждая строка его стихов; его лирика, его нежность и горечь насмешки; его сказка, вплетенная в обыденность; его лучшие рассказы (и лучший из лучших, Иринushка, «Помнишь, не забудешь?») — все это о том же, о неумирающей памяти, о неумирающей единой любви единого Я. Весь он в этом божественном узле... или в этой одной, воистину божественной, точке.

Да и теперь, в наши неслыханные дни, не то же ли звучит в его отрывочно долетающих к нам строках? То же; и только еще новая какая-то нота, мудрая и сильная. Мне вспомнилось недавно тютчевское «непризнание времени», а в звуках — шиллеровское:

Не узнавай, куда я путь склонила,  
В какой предел от мира перешла...

Но лишь вспомнились они, Тютчев и Шиллер, а сравнивать с ними Сологуба я не хочу. Пусть будут они, и пусть будет он, единственный: ведь в этом все, что каждый — единственный. Только этого-то как раз никто и не понимает.



Сергей Маковский  
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ  
ОБ ИННОКЕНТИИ  
АННЕНСКОМ

Известно, что мы, русские, плохо бережем наших «больших людей». Как часто уходят они почти незаметно, и только позже, когда их нет уже, спохватившись, мы сплетаем венки на траурных годовщинах... Одним из таких неузнанных при жизни был Иннокентий Федорович Анненский <sup>1</sup>. В области литературного творчества он работал, можно сказать, в безвестности и лишь перед самой смертью обратил на себя внимание, примкнув к кружку «модернистов», зачинателей журнала, обязанного главным образом ему, Анненскому, первыми своими удачами. Даже наиболее просвещенный читатель оставался чужд и его стихам, и сущности его неозеллинизма, и критическому ясновидению «Книг отражений». Он умер вот уже сорок лет назад, но многие ли и за эти годы, несмотря на то что Анненский давно признан большим поэтом, многие ли прислушались к нему, почувствовали его как выразителя целой эпохи? <sup>2</sup>

Принадлежа к двум поколениям, к старшему — возрастом и бытовыми навыками, к младшему — духовной изоциренностью, Анненский как бы совмещал в себе итоги русской культуры, пропитавшейся в начале двадцатого века тревогой противоречивых дерзаний и неудержимой мечтательности. Филолог-эллинист по специальности, по профессии педагог (директор Царскосельской гимназии, а потом инспектор Петербургского учебного округа), всезнающий философ, собеседник обворожительный в кругу друзей — наедине с собой он был поэтом, обрешшим себя пытке богоборческого отрицания и всем страхам смерти, которую ждал каждую минуту, не веря в потусторонний мир и терзаясь своим неверием...

Воспоминания мои об Иннокентии Федоровиче относятся к году, для меня знаменательному, 1909-му, когда начался «Аполлон». Первая книжка вышла в конце октября, с Анненским я познакомился в марте, а скончался он 30 ноября того же года, всего несколькими днями позже выхода в свет

второй части нашумевшей его статьи о ряде поэтов и поэтесс — «Они и оне»<sup>3</sup>.

Эти восемь месяцев общения с Иннокентием Федоровичем, сотрудничества с ним в нарождавшемся «Аполлоне», месяцы общей работы над объединением писателей, художников, музыкантов и долгие вечера за чайным столом в Царском Селе (где жил Анненский с семьей, скромно, старомодно, по-провинциальному) — все это время «родовых мук» журнала, судьбою которого он горячо интересовался, связало меня с ним одной из тех быстросозревающих дружб, о которых сердце помнит с великой благодарностью.

Он был весь неповторим и пленителен. Таких очарователей ума — не подберу другого определения — я не встречал и, наверное, уже не встречу. Мыслитель на редкость общительный, он обладал редчайшим даром общения: умел говорить и слушать одинаково чутко. Не будучи красноречив в обычном, «ораторском» смысле, он достигал, если можно так сказать, полноречия необычайного. Слово его было непосредственно остро и, однако, как бы заранее обдуманно и взвешенно: вскрывало не процесс мышления, а образные итоги мысли. Самое неожиданное замечание — да еще облеченное в шутливую форму (вкус «ирониста», каким он себя упорно называл, удерживал его от серьезничания, хотя бы и по серьезнейшему поводу) — возникало из глубины мироощущения. Мысль его звучала как хорошая музыка: любая тема обращалась в блестящую вариацию изысканным «контрапунктом метафор» и самим слуховым подбором слов. Вы никогда не знали, задавая вопрос, что он скажет, но знали наперед, что сказанное будет ново и ценно, отметит грань, от других скрытую<sup>4</sup>, и в то же время отразит загадочную сущность его, Анненского.

Высокий, сухой, он держался необыкновенно прямо (точно «аршин проглотил»). Прямызна зависела отчасти от недостатка шейных позвонков, не позволявшего ему свободно вращать головой. Будто привязанная к шее, голова не сгибалась, и это сказывалось в движениях и манере ходить прямо и твердо, садиться навтыжку, поджав ноги, и оборачиваться к собеседнику всем корпусом, что на людей, мало его знавших, производило впечатление какой-то начальнической позы. Черты лица и весь бытовой облик подчеркивали этот недостаток гибкости. Он постоянно носил сюртук, черный шелковый галстук был завязан по-старомодному широким, двойным, «дипломатическим» бантом. Очень высокие воротнички подпирали подбородок с намеком на колючую бороду, и усы были подстриженные, жесткие, прямо торчавшие над припухлым, капризным ртом. С некоторой надменностью заострялся прямой, хотя и по-

русски неправильный нос, глубоко сидевшие глаза стального цвета смотрели пристально, не меняя направления, на прекрасно очерченный прямой лоб свисала густая прядь темных волос с проседью. Вид бодрый, подтянутый. Но неестественный румянец и одутловатость щек (признак сердечной болезни) придавали лицу оттенок старческой усталости — минутами, несмотря на молоджавость и даже молодцеватость фигуры, он казался гораздо дряхлее своих пятидесяти пяти лет.

В манерах, в светскости обращения было, пожалуй, что-то от старинного века. Необыкновенно внимательный к окружающим, он блистал воспитанностью не нашего времени. И это была не бюрократическая выправка и не чопорность, а какая-то романтическая галантность, предупредительность не человека салонных навыков, а мечтателя, тонко чувствующего ту эстетику вежливости, которая ограждает души благороднородные от вульгарного запанибрательства. Он принадлежал к породе духовных принцев крови. Ни намека на интеллигента-разночинца. Но не было в нем и наследственного барства. Совсем особенный с головы до пят — чуть-чуть сановник в отставке и... вычитанный из переводного романа маркиз.

Красиво подавал он руку, вскакивал с места при появлении в комнате дамы, никогда не перебивал собеседника, не горячился в самом горячем споре, уступал слабейшему противнику с обезоруживающим благодушием. Когда создавалась аудитория, любил говорить и говорил отчетливо, властно, чеканил слова, точно докладывал, но и тут остроумие преобладало над профессорской дотошностью, четкость привыкшего к кафедре лектора сочеталась с непринужденной *causerie*. А в дружеской беседе голос его, ораторски негибкий, окрашивался тончайшими оттенками чувства <sup>5</sup>.

Этим волнующим голосом читал он нам, аполлоновцам, свои стихи. Они хранились, переписанные его сыном (печатался под псевдонимом Кривич), в ларце из кипарисового дерева — отсюда и название посмертного сборника <sup>6</sup>. Мы собирались у него на квартире в Царском Селе иногда днем, чаще вечером.

Просторен, хотя темноват, был рабочий кабинет Анненского: полки с разнообразнейшими книгами, бюст Еврипида на шкафу, множество фотографических портретов на свободной стене против окон... После наших просьб хозяин подходил к столику, на котором стоял отдельно заветный «ларец», бережно открывал его, выбирал ту или другую «пьесу» (так называл он стихотворения), затем принимал обычную для него в таких случаях позу: немного торжественно опирался обеими руками на спинку поставленного перед собою стула. «Пьеса» лежала перед ним; однако читал он всегда наизусть, не торопясь,

скандируя стих, но стараясь произносить слова будничным тоном. В эти минуты древним, усталым, изможденным мыслью вещуном казался Анненский, и мы слушали, не всегда понимая, но чувствуя, что ничто в этих признаниях одиночества не плод литературного изощрения, что тут взвешена сердцем каждая буква, выстрадан каждый образ, иносказательно-прихотливый, или недоговоренный, или намеренно прозаический<sup>7</sup>.

И все же как обворожительно молод был он, молод умственной неутомимостью, жаждой впечатлений, отзывчивостью к младшему поколению! Для нас, его друзей-учеников, не было критика снисходительнее. Он согревал светом своим всякого, кто с ним соприкасался. Потому что доброты, отечески-мудрой ласковости к людям было в нем гораздо больше, чем он, быть может, сам хотел. Он хотел жалости к ближнему, обреченному вместе с ним на призрачную «голгофу жизни», но сердце было создано любящим и — как это свойственно людям глубоко чувствующим — стыдливо-робким в своей нежности. Сам он шуточно называл его «сердцем лани»:

Игра природы в нем видна:  
Язык трибуна с сердцем лани,  
Воображенье без желаний  
И сновидения без сна.

В этом четырехстишии «К моему портрету» каждое слово — свидетельство о самой сущности его мироощущения. Для Анненского человек и, следовательно, он сам был только «игрой природы», эпизодом в цепи безбожного миротворения. Отсюда и противоположение «желаний» (приятие жизни и ее смысла) фантазии («воображению») и «сна», т. е. веры в какую-то иную трансцендентную реальность, — «сновидениям», мечтам художника, бесследно тающим, как облака на небе. Анненский усвоил до конца урок французских *poètes maudits* — в посмертной статье своей «Что такое поэзия?» он говорит о поэзии современной: «Она дитя смерти и отчаяния». Недаром считал он себя прямым последователем Малларме, Рембо, Верлена.

Анненский обосновал свою болезненно-горькую философию бытия и критической прозой, и стихами. В моей тетради выписок я нашел отрывок из его статьи «Художественный идеализм Гоголя»<sup>8</sup>. Нигде, кажется, прямолинейнее не высказал он теории своего «неприятия» творения: «Нас окружают и, вероятно, составляют два мира: мир вещей и мир идей. Эти миры бесконечно далеки один от другого, и в творении один только человек является их высокоюмористическим — в философском смысле — и логически непримиримым соединением...» Если это последняя правда Анненского, то можно ли



удивляться смертельно-унылому строю его лиры. Как могла укорениться в нем эта «последняя правда»? Кто скажет?

Во всяком случае, вряд ли от биографических причин (от болезни, в частности) проистекала «траурность» Анненского, заставлявшая его пристально вчитываться в лермонтовского «Демона», в «Романсеро» Гейне, в «Гамлета» и другие произведения, отразившие тревогу и мятеж уязвленного и отчаявшегося сознания. Я думаю, что в этом смысле неверна статья об Анненском В. Ф. Ходасевича (всеми прочитанная в свое время), в которой критик объясняет поэзию «Тихих песен» и «Кипарисового ларца» испугом поэта перед смертью, навязчивой идеей смерти,— я думаю, что тут беспощадно-острый Ходасевич грешит грубоватой односторонностью<sup>9</sup>. Донельзя упростил он «пессимизм» Анненского, не захотел вдуматься в сущность его «испуга», свел этот испуг к почти животному страху уничтожения (в связи с сердечной болезнью)... Нет, люди такого духовного склада, как Анненский, не боятся физиологически смерти. Испуг, даже ужас Анненского, разумеется, совсем другого, метафизического порядка. Этот ужас роднит его с поэтами позднего девятнадцатого века, потерявшими, отвергшими, из сердца изгнавшими Бога,— для них земное существование воистину обратилось в «дьяволов водевилей». И Анненский дает почувствовать, как никто, до конца, до последнего отчаяния, в непосредственных, взятых из самой жизни образах, этот холод стерегущего небытия и, как бы негодуя на смерть, подчеркивает оскорбительное уродство ее телесной и бытовой личины.

Вот стихотворение, которое он особенно любил читать в кругу близких ему слушателей.

— Иннокентий Федорович, скажите «Куклу»! — мы понимали, что тут, в этих неправильных амфибрахиях, он излил о себе, о своей философской тоске безысходно-горькую, неотступную жалобу.

Он становился в привычную позу, держась слегка вздрагивающими руками за спинку стула:

То было на Валлен-Коски.  
Шел дождик из дымных туч,  
И желтые мокрые доски  
Сбегали с печальных круч...  
Мы с ночи холодной зевали,  
И слезы просились из глаз,  
В утеху нам куклу бросали,  
В то утро, в четвертый раз.  
Разбухшая кукла ныряла

Послушно в седой водопад,  
И долго кружилась сначала,  
Все будто рвалась назад.  
Недаром лизала пена  
Суставы прижатых рук,—  
Спасенье ее неизменно  
Для новых и новых мук.  
Гляди, уж поток бурливый  
Желтеет, покорен и вял;  
Чухонец-то был справедливый,  
За дело полтинник взял.  
И вот уже кукла на камне,  
И дальше идет река...  
Комедия эта была мне  
В то серое утро тяжка.  
Бывает такое небо,  
Такая игра лучей,  
Что сердцу обида куклы  
Обиды своей жалчей.  
Как листья тогда мы чутки:  
Нам камень седой, ожив,  
Стал другом, а голос друга,  
Как детская скрипка, фальшив.  
И в сердце сознание глубоко,  
Что с ним роднится лишь страх,  
Что в мире оно одиноко,  
Как старая кукла в волнах <sup>10</sup>.

Лирика Анненского — иносказательная исповедь. Иносказание он насыщал метафорами и «своими» оборотами речи, затрудняющими отчасти читателя. Но исповедь покоряет непосредственностью, подлинной и терпкой. Исповедь отчаявшегося духа и гримаса иронии-тоски от ощущения «высокономористической» непримиримости двух миров человека. Сердце, человеческое «я», вещь-идея, абсурд несоединимого соединения, «старая кукла» или фальшивая скрипка, звуки которой рождаются от прикосновения таинственного смычка, чтобы умереть мучительным эхом — *здесь* или *там*? Не все ли равно, если *здесь* бесконечно далеко от *там*, и потому не сольются они вовеки, какой бы музыкой ни казались людям, обманутым любовникам жизни, краткое чудо этого слияния! Надо свыкнуться с образами-символами Анненского, чтобы ощутить его страдание за полупрозрачной тканью метафор и найти ключ к другому, тоже запутанному, любимейшему его стихотворению — «Смычок и струны».

Какой тяжелый, темный бред!  
Как эти выси мутно-лунны!

Касаться скрипки столько лет  
И не узнать при свете струны.

Смычок все понял; он затих,  
А в скрипке эхо все держалось...  
И было мукою для них,  
Что людям музыкой казалосьсь...

Я все еще слышу, каким надрывным голосом, почти переставая владеть собой, произносил Анненский: «И было мукою для них, что людям музыкой казалосьсь...» Казалось ли только? Не благая ли весть тайна этого слияния, от которого больно, эта музыка — мука любви, похищаемой смертью? Что мы знаем? Но поэт убедил себя, что знает, и тщетно прятался от своего знания: за маской насмешливого художника — перед людьми, за хрупкими стенами мечты — перед самим собою. Тщетно, потому что логика ума и логика сердца никак не совпадали в этом истерзанном большом человеке. Он воображал, что раз навсегда ответил на гамлетовские вопросы, а в сущности, не переставал вопрошать, недоуменно пытая загадку жизни и смерти. Недаром тоску свою он величал не только «веселой» (что не поражает после слов о «высокоюмористическом» существе человека), но и «недоумелой».

В свое недоумение Анненский вкладывал все оттенки чувства и не уставал с беспощадным упорством вызывать призрак смерти... Не случайно «ларец» его был из кипарисового дерева.

Анненский говорил молодым писателям «Аполлона» и мне повторял не раз: «Первая задача поэта — выдумать себя». На этом парадоксе он настаивал, но сам-то «выдумать себя» никак не умел и, вероятно, поэтому даже сомневался как будто в собственной поэзии, говоря о ней условно и шутливо:

Я завожусь на тридцать лет,  
Чтоб жить, волнуясь и скорбя,  
Над тем, чего, гляди, и нет.  
И был бы верно я поэт,  
Когда бы выдумал себя.

(«Человек»)

Выдумал! Разве Анненский мог что-нибудь выдумывать, когда каждое сказанное им слово поэзии — голос той Тоски, которую он писал с большой буквы?

«Иронистом» он называл себя особенно охотно, он чтит нелicenseмерно, как своих наставников, верных рыцарей иронии, начиная с Аристофана и кончая Лафоргом. Вот отчего так дорога была ему, филологу, специалисту по Еврипиду, ученику Вилламовица, французская поэзия конца века, безбоязненно-скептическая и часто трагически-безбожная.

Русский «модернизм» той поры привлек Анненского не культом красоты и не дерзостями стиля, не литературными изощрениями, не экзотикой и символическими туманами, а отчужденностью от жизни, презрением к «здравому смыслу», мифотворчеством, игрой ума, любующегося призраками, неприятием реализма. В бегстве от реальности он пристал к «молодым», сделался «ментором» вместе с Вячеславом Ивановым в учрежденном при редакции «Аполлона» «Обществе ревнителей художественного слова» (называвшемся между нами «Поэтической академией»), окунулся с головой в эстетику. Эстетика стала для него спасительным щитом от мыслей отчаяния. Мало того: на эстетике строил он хрупкую свою теорию мирооправдания. Чтобы не проклинать смерть, он вводил ее в круг художественных эмоций, в гамму одушевленных поэтической мечтой метафор. И смерть из «одуряющей ночи» обращалась в «белую радость небытия», в «одну из форм многообразной жизни» (из «Книг отражений»), а ведь формами сознания жизни исчерпывается ее содержание: другого смысла, другой правды нет и быть не может. Художник, поэт, творя слово и все, что оно пробуждает в душе, творит единственную ценность смертного — красоту иллюзии. Оттого и прекрасно, что невозможно: невозможно — тоже с большой буквы, как и его Тоска.

Если слово за словом, что цвет,  
Упадает, белея тревожно,  
Не печальных меж павшими нет,  
Но люблю я одно — Невозможно.

В разговорах Анненский часто возвращался к этой философии эстетического нигилизма. «Мое я — только иллюзия, как все остальное, отражение химер в зеркалах...» — говорил он, и ему хотелось как-то примирить этим апофеозом метафоры-символа антиномию «двух недружных миров в человеке». «Нельзя оправдывать оба мира, — писал он в статье о «Гамлете», — и жить двумя жизнями зараз. Если тот лунный мир существует, то другой, солнечный, все эти Осрики и Полонии — лишь дьявольский обман и годится разве на то, чтобы его выщучивать и с ним играть...» Искусство, одно искусство, художественное преосуществление, сливает оба мира. И потому Анненский во что бы то ни стало хотел быть эстетом и готов был даже запереться в своей башне из слоновой кости.

С нигилизмом века (плоды которого мы пожинаем в наши дни) сочеталась в Анненском не осознанная им и преодоленная какой-то гипертрофией мозговых процессов религиозность натуры. Может быть, сказалась тут и наследственность (предки духовного звания?). Во всяком случае, почвенное преемство

остро чувствуется в каждой строке: прививка западного эстетства не заглушила в нем его русской поэтической природы. Он желал быть «эготистом» (по его собственному приговору), замкнутым в себе созерцателем внутреннего мира, утверждающим красоту слова как самоцель, «гипнотизером» (по его же определению), внушающим образы, которые возникают независимо от правды моральных запросов живой человеческой личности. Не платя дань эстетствующему модернизму, он оставался русским. Глубины совести, глубины любви и жалости к человеку, трагическое ощущение обреченности мира, утратившего веру в Божество, иначе говоря — сознание, уводящее нас за пределы так называемого «чистого искусства», вдохновение, связанное с самодовлеющей религиозной тревогой, — вот что роднит Анненского, скажем, с Баратынским, Лермонтовым, Тютчевым, Гоголем, Достоевским, вообще с русским искусствовощущением гораздо больше, чем с поэзией современного Запада и ее французских учителей, «проклятых поэтов», как Рембо или Лотреамон.

Свет нездешний томил его; он не видел и роптал, тоскуя, слепой и вещей, тешась игрой ума и оплакивая слепоту сердца, пламенный и безлюбовый, непримиримый, безутешный. Эта двойственность, эта расколотость сознания и подсознательных порывов, действительно страшная, как «тяжелый, темный бред», была его пафосом, его болезнью, его пыткой.

Вряд ли возник бы «Аполлон», не случись моей встречи с Иннокентием Федоровичем. После дягилевского «Мира искусства» (прекратившегося в 1904 г.) Петербург нуждался в художественно-литературном журнале «молодых». Средства нашлись. Но я колебался долго. Не потому, что неясно представлял себе программу журнала, но потому, что недоставало мне опытного старшего советчика (признанного всеми «ближайшими» в будущей редакции), чтобы придать авторитетность мне, только начинавшему тогда писателю, в трудной роли редактора и оградить меня от промахов.

После первой же встречи с Анненским — нас познакомил царскосел юноша Гумилев — я почувствовал, сколько неиспользованных духовных сил накопилось в этом молодом старце и как самоотверженно готов он погрузиться в общее наше дело, не претендуя ни на какое исключительное влияние, просто из преданности литературе, из сочувствия к талантливой молодости, из желания быть услышанным ею, слиться с нею в работе — ведь до того почти никто его не слышал и печататься ему было негде.

Анненский оказался таким именно старшим помощником, какой был нужен мне. Начиная журнал, я хотел оставаться возможно объективнее в выборе материала, не впадая в кружковщину и тем паче в редакторский непотизм. Анненский был исключительно независим и терпим. Ничего общего не имея

с поколением писателей, к которому сам принадлежал по возрасту, увлекаясь «новизной» начала века и глашатаями модернизма, он был, однако, отзывчив и ко многому из того, что молодая литературная школа зачеркивала одним росчерком пера как отсталость и дурной вкус.

Так, например, он высоко ценил Леонида Андреева — последняя, предсмертная его статья была посвящена Андрееву (никогда, насколько мне известно, не появилась она в печати, вероятно, погибла в архивах упраздненного в 1918 году «Аполлона») <sup>11</sup>.

Почти так же не совпадала восторженная оценка Анненским Бальмонта с отношением к нему молодежи, т. е. модернистов позднейшего поколения <sup>12</sup>.

Не хочу делать никакого вывода из этих пристрастий Анненского, но несомненно одно: такого рода расхождения с апологовцами должны были со временем значительно обостриться. И он это понимал: едва примкнув к «молодежи», уж начал опять чувствовать себя одиноким.

Оставалось, конечно, его влияние как поэта на поэтов. Однако и тут, в границах поэзии, в качестве критика-эссеиста он взял не ту ноту, какую ждали. Многие из поэтов на него обиделись за ироническую парадоксальность его критических отзывов в статье «Они» (в первой книжке «Аполлона») <sup>13</sup>. Авторы готовы были выслушать замечания о тех или иных своих промахах, но полушутливая, задорная непринужденность, с какой Анненский давал характеристики, всматриваясь в личную сущность каждого автора, вдобавок — известное кокетство, с каким он стилизовал свою критическую прозу, решительно не понравились. Особенно рассердился вечный «недотыкомка» Федор Сологуб. Анненский был жестоко ущемлен этим недоразумением: вот, только расправил он крылья для взлета — и опять одинок, непонят!

И тем не менее критическое чутье его нельзя назвать иначе как тайноведением. Оставим в стороне шутливость тона, иногда и вычурность стиля (статья «Они» начиналась: «Тирсы наших менад примахались быстро...»), — как никто другой, умел он прислушиваться к чужой душе, осязать подсознательную стихию творческого «я». В этом заключалось его неподражаемое колдовство. И неудивительно, что там, в глубинах этой стихии, ему мерещилось много страшного, даже чудовищного и подчас до конца не выразимого критической прозой. Он и уснащал свою прозу поэтическими метафорами, и становилась подчас его критика какой-то дерзко-обличительной психологической лирикой.

Но разве и поэзия Анненского не сплошь обличительна для него самого, не насквозь психологична? Внешнего, бездуховного нет в ней ничего: вся сквозит внутренним видением и ведением.

Анненский был апологетом средиземноморской культуры не только в общем смысле (мир для него начинался с Эсхила), но и в отношении своем, например, к судьбе русского языка и к вопросам версификации. Больше, чем кто-либо из русских поэтов, он любил неологизмы и галлицизмы. Зачастую этим пристрастием неприятно поражают его переводы Еврипида (я не касаюсь высоких их качеств) и оригинальные трагедии в античном духе: «Лаодамия», «Иксион», «Меланипа», «Фамира-Кифаред». Галлицизмы, даже просто смелые заимствования французских слов представлялись ему неотъемлемым правом модернизма.

Западником, франкоманом был он и в отношении к стихотворному благозвучию. Французская поэзия была его любимейшей. Он раз навсегда очаровался ее чеканной формой, аллитерациями, ассонансами, верленовским «*de la musique avant toute chose*» и, кажется, был единственным из русских, разбиравшимся безупречно во всех тонкостях французского силлабо-тонического строя. Он говорил мне, как знаток, свои соображения об александрийском стихе, об истории цезуры в нем и о тайнах его ритма у разных поэтов — соображения, никому не приходившие тогда в голову (высказанные только лет тридцать спустя Морисом Граммоном).

Однако словесное западничество не мешало Анненскому пользоваться словарем простонародной речи, прозаизмами, уменьшительными и бытовыми словечками, отдающими подчас некрасовским колоритом: ишь ты, ну-ка, где уж и т. д. Сочетаниями иностранных заимствований и народных оборотов он особенно дорожил, и это характерно для всего склада его личности, пронизанной средиземноморской культурой и вместе такой до предела русской!

Не знаю, был ли Анненский очень одарен как инструменталист стихотворной строки. Стихам его зачастую недостает текучести: «не льются», надо по многу раз вчитаться в них, чтобы за внешней угловатостью услышать внутреннюю музыку; на его пиррихиях спотыкаешься, соседство согласных не всегда благозвучно... Сам Анненский, однако, больше всего ценил похвалы своим формальным удачам. В строке он по многу раз менял слова, дабы заменить слог с открытой гласной слогом с глухой или наоборот. И в своей стихотворной критике настаивал он на этих *a*, *y*, *и*, в которых таилась для него магия выразительности.

Звуковой пуризм был отчасти и рисовкой Анненского-эстета. На самом деле, разве внешним звуком живы его стихи? В них никогда звук не преобладает над смыслом — даже в таких на первый взгляд звуковых стихах, как, например, «Старая усадьба» (из трилистника «Старой тетради»).

Характерны в этом стихотворении образы Анненского-символиста и вообще вся манера его чувствовать и выражать: слова

не сами по себе и не обозначенные словами реальности, а то, что между словами, и притом — психологически существующее, пережитое. Анненский всегда на земле и всегда где-то в иной духовной действительности, и это двоеречие придает произносимым словам как бы новый смысл: они насыщаются смыслом всего, что угадывается сквозь них, за ними. И от краткости, от лаконизма словесных средств только просторнее возникающим образам. Отсюда и внутренняя музыка...

В шестистопных хорях «Старой усадьбы» почти везде — тройная рифма или консонанс. При этом нет звуковой декоративности. Словесное звучание совпадает с образным рисунком. И до чего весь Анненский тут, в этой музыке слов, вызывающей целый ряд обертонов, прислушиваясь к которым мы ощущаем, как некое наваждение, сущность самого поэта — и печаль его смертельную, и насмешку над собой, и мечтательную оглядку на пройденный путь, и ужас перед всем мертвым, оживающим с колдовской властью:

Ну, как встанет, ну, как глянет из окна?  
Взять не можешь, а тревожишь, старина!

Анненский торопился жить в последние месяцы 1909 года, как бы предчувствуя скорый конец. Каждый день спешил он из Царского в Петербург то на лекцию к «раичкам»<sup>14</sup>, то на доклад в Неофилологическое общество, то на заседание «Поэтической академии»<sup>15</sup>, то в декоративную мастерскую А. Я. Головина (художник собирался писать коллективный портрет аполлоновцев). Последнее особенно утомляло его: приходилось подниматься по бесконечной крутой лестнице на самую вышку Мариинского театра... Я не могу простить себе, что мы, друзья, не сумели удержать Иннокентия Федоровича от этой опасной для его большого сердца гимнастики.

Он умер скоропостижно от эмболии, на ступенях Царско-сельского вокзала в Петербурге<sup>16</sup>. Его труп опознали в Обуховской больнице. Мы хоронили его на Казанском кладбище Царского Села. Отпевание вышло неожиданно многолюдным, его любила учащаяся молодежь, собор был битком набит учениками и ученицами всех возрастов. Чувствовалось, что ушел человек н е з а б ы в а е м ы й.

В полях был серый, тающий снег, были нищие ветки берез на мгlistом небе. Катафалк с дубовым гробом жалко подпрыгивал на ухабах. Было невероятно сознание: Анненский мертв.

Сказать, что это он... весь этот ужас тела...

Он лежал в гробу торжественный, официальный, в генеральском сюртуке министерства народного просвещения. И это казалось последней насмешкой над ним — Поэтом.





Сергей Маковский

## ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ В РОССИИ

Из поэтов, бывших на виду в предреволюционные годы, самый забытый, пожалуй, Вячеслав Иванов. Многие помнят еще о его роли в столпотворении нашего «модернизма», помнят и об авторе «Религии страдающего бога» и «Переписки из двух углов». Но стихи Вячеслава Иванова, его лирический пафос, да и весь он, поэт-миротворец, символист, прозревавший в поэзии путь к высшему познанию, — кому еще он дорог? И это несмотря на то, что поэт, покинув Россию четверть века тому назад, продолжал писать в изгнании до самой смерти (умер в Риме 83-х лет 16 июля 1949 года).

По-русски за это время он почти не печатался. Впрочем, литературной «верхушкой» были замечены его итальянские стихи, появившиеся в «Современных записках». На пять из них Гречанинов сочинил романсы, которые затем оркестровал в симфонический цикл под общим заглавием «Римские сонеты». За рубежом вышел также (в 1939 году) последний стихотворный сборник Вячеслава Иванова — «Человек» (в парижской серии «Русские поэты») \*.

Это собрание очень головных, очень отвлеченно-выспренных строф мало кого увлекло; тяжесть стиха, надуманность образной выразительности вызвали даже недоумение: «Разве цель поэзии — какой-то трансцендентный герметизм?» В самом деле, чуть ли не каждая строчка «Человека» требует комментария; несколько страниц авторских «примечаний» ничего не разрешают.

«Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата». Этим полушутливым восклицанием Пушкин отдает предпочтение не

\* «Человек» не может помочь характеристике зарубежного творчества В. И., он весь написан еще в Москве. Части первая, вторая и третья были закончены до революции; часть четвертая и эпилог — в годы 17-й и 18-й. «Человек» должен был печататься в России в 1918 году, даже набор был готов. Революционное бедствие помешало выходу в свет этого сборника. Когда в 1939 году редакция «Современных записок» предложила В. И. издать его, автор сделал легкие изменения в отдельных строчках и прибавил «Примечания». *Прим. С. Маковского.*

слабости ума, конечно, а прямодушию, непосредственности поэтических признаний. Ее-то и недостает поэме, или «мелопее», Вячеслава Иванова (как он сам назвал «Человека»), с первых же строф ввергающей нас в «беспошадные глубины» и в словесные ухищрения, с которыми справиться нелегко:

Затем, что ангела и зверя  
И лики всех стихий навек  
В себе замкнул, кто, лицемеря,  
Назвал личину: Человек.

Таких строф немало на ста страницах...

Разбирать этой книжки я не буду; к тому же всякий может ее прочесть: она не распродана <sup>1</sup> (другие книги Вячеслава Иванова находишь с большим трудом). Скажу только, что красоты есть и в ней, несомненно, хотя бы в апокалиптическом «Венке сонетов» третьей части. О «Человеке» упоминаю сейчас для того, главным образом, чтобы указать на одну из причин «затмения» Вячеслава Иванова в эмиграции: последний сборник вскрыл его недостатки — риторичность, ученый педантизм и отвлеченное упорство в ущерб чувству. Все это обнаруживалось и в прежних стихах, но не так обнаженно, — было в них много другого, выросшего не из Иванова-мыслителя, эллиниста и литературоведа (в самом широком значении этого понятия), а из поэтической сущности Иванова-прозорливца, Иванова-мистика, искушенного в тайном знании, называвшего себя полусерьезно магом... «Кормчие звезды», «Сог Argens», «Прозрачность», «Нежная тайна» — во всех этих сборниках, изданных с 1903 по 1912 год, ощущается подлинная стихотворная плоть, а не засушенное ее подобие.

Главная цель моя — напомнить об этом Иванове, в связи с тем что я почувствовал недавно в Риме, ознакомившись с неизданными его стихами и со статьями литературно-критического и философского содержания, написанными в последние годы не только по-русски, но и по-итальянски и по-немецки. Прочел я также ряд посвященных его трудам статей иностранных авторов \*. Иванов-мыслитель тоже давно оценен в Италии

\* Стихи В. И. на итальянский язык переводил Папини, он же писал о нем неоднократно, высоко оценивая его поэзию. В словаре «Трекани» — статья о Вячеславе Иванове Ло-Гатто, который посвятил поэту главы в своей «Истории русской литературы» и в «Истории русского театра». Из иностранных авторов, кроме того, писали о В. И. (упоминаю главное): в Италии — еще Александр Пеллегрини, Ансельмо Томмазини, Андже́ла Цукони. В итальянском издании книги Бернарда Шульце «Русские мыслители перед Христом» имеется глава о В. И. Книга вышла и по-немецки. Во Франции — Габриель Марсель: «Достоевский в интерпретации Вячеслава Иванова». В Германии — Эрнст Роберт Курциус, Герберт Штейнер, Фридрих Мукерман и др. В Англии — *См. прим. С. Маковского.*

и Германии, хоть ни одна из его капитальных книг пока не появилась на иностранном языке: ни литературно-критические сборники, ни «Религия страдающего бога», ни «Дионис и Прадионисийство» \*.

Диапазон умственных интересов Вячеслава Иванова был широк; посвятить его трудам следовало бы целый ряд статей... Сосредоточусь на стихах, тем более что именно с Ивановым-поэтом наиболее связывают меня личные воспоминания; мне кажется, что и эти воспоминания, относящиеся к далекому петербургскому прошлому, представляют интерес для истории русской литературы.

Вячеслава Иванова я знал с 1903 года, когда из Италии он приехал в Петербург и выпустил «Кормчие звезды». Первая его жена (с 1894 года <sup>2</sup>) Лидия Дмитриевна Зиновьева-Аннибал \*\* была еще жива и принимала вместе с ним весь «передовой» Петербург в верхнем этаже дома на Таврической улице, в так называемой «башне». Почти вся наша молодая тогда поэзия если не «вышла» из Ивановской «башни», то прошла через нее — все поэты нового толка, «модернисты», или, как говорила большая публика, декаденты, начиная с Бальмонта: Гиппиус, Сологуб, Кузмин, Блок, Городецкий, Волошин, Гумилев, Ахматова, не считая наезжавших из Москвы Брюсова, Андрея Белого, Цветаевой... Я перечислил наиболее громкие имена; можно бы назвать еще очень многих *dii minores*.

Собрания на «башне» окончились осенью 1909 года, когда Вячеслав Иванов перенес их, придав им характер более профессионально-поэтический, в редакцию «Аполлона», для чего было учреждено особое «Общество ревнителей художественного слова». Прощение в градоначальство подписано мною в качестве издателя-редактора «Аполлона» и старшими членами редакции — Вячеславом Ивановым и Иннокентием Анненским.

«Душой» этих собраний, которые «аполлоновцы» называли «Поэтической академией», Вячеслав Иванов оставался неизменно, несмотря на блистательные выступления Анненского (в течение двух первых месяцев — он скончался в ноябре 1909 года) и на привлечение в качестве руководителей «Общества» Блока и Кузмина (из нас и составилось правление).

---

\* «Эллинская религия страдающего бога» должна была появиться в конце 1917 года. На складе Сабашникова все издание сгорело во время обстрела, накануне выхода в свет книжки. Сохранилось всего два корректурных экземпляра. Один из них находится в Риме у семьи В. И., другой остался у кого-то в Москве. «Дионис и Прадионисийство» был издан в Баку в 1923 году в виде диссертации на степень доктора при Бакинском университете. Книга эта переведена на немецкий язык и должна выйти у Бенно-Швабе в Швейцарии. *Прим. С. Маковского.*

\*\* Ганнибал была фамилия ее бабушки, дальней родственницы Пушкина. *Прим. С. Маковского.*

В. Иванов был необыкновенно широк в оценке чужого творчества. Любил поэзию с полным беспристрастием — не свою роль в ней, роль «ментора» (как мы говорили), вождя, наставника, идеолога, а талантливость каждого подающего надежды неопита. Умел восторгаться самым скромным проблеском дарования, принимал всерьез всякое начинание. Он был пламенно отзывчив. И в то же время вовсе не покладист. Коль заспорит — только держись, звонкий его тенор (немного в нос) покрывал все голоса, и речист он был неистощимо. Мы все его любили за это темпераментное бескорыстие, за расточительную щедрость и на советы обращавшимся к нему младшим братьям поэтам, и на разъяснения своих глубочайших мыслей об искусстве. Удивительно уживались в нем как бы противоположные черты: эгоцентризм, наполненность собой, своим поэтическим бредом и страстями ума, и самоотверженное внимание к каждому приходящему в храм Аполлона. На всех собраниях он председательствовал, руководил прениями, говорил вступительное и заключительное слово. Когда дело касалось поэзии, он чувствовал себя непрременным предводителем хора... И наружность его вполне соответствовала взятой им на себя роли. Золотистым ореолом окружали высокий, рано залысевший лоб пушистые, длинные до плеч волосы. В очень правильных чертах лица было что-то рассеяннопронзительное. В манерах изысканная предупредительность граничила с кокетством. Он привык говорить сквозь улыбку, с настойчивой вкрадчивостью. Высок, худ, немного сутул... Ходил мелкими шагами. Любил показывать свои красивые руки с длинными пальцами.

Таким образом, дело объединения петербургских поэтов, начатое Вячеславом Ивановым на «башне», продолжалось в «Аполлоне». Но сама «Поэтическая академия» вскоре заглохла, отчасти из-за восставшей на символизм молодежи, с Гумилевым и Городецким во главе. Вместе они основали «Цех поэтов», который и явился дальнейшим питомником русского поэтического модернизма.

Раскол начался уже с первого года «Аполлона», хоть не пошел дальше чисто литературного спора и не нарушил товарищеской солидарности «аполлоновцев». Уже в 1910 году на страницах журнала, в противовес туманностям символизма, Кузмин напечатал призыв к ясности, к литературному «кларизму»<sup>3</sup>. Затем Гумилевым был провозглашен «акмеизм» (заострение точного, предметного слова<sup>4</sup>). Блок со свойственной ему страстностью, вслед за Вячеславом Ивановым, счел нужным выступить со статьей в том же «Аполлоне». Эта статья оказалась как бы исповедью Блока в защиту мистики символизма<sup>5</sup>. Тем не менее общая работа продолжалась; никто из «Цеха» не думал «отрицать» Блока. Но уже тогда началось поэтическое первенство Иннокентия Анненского... Как оправдалось чутье

группы сотрудников «Аполлона», называвшей себя «молодой редакцией»! Именно Иннокентию Анненскому, никому не известному до тех пор автору «Тихих песен» (изданных в 1904 году под псевдонимом Ник. Т-о, «Никто»), суждено было затмить гениальным лиризмом «Кипарисового ларца», и посмертных стихотворений (вышедших много позже) всех лириков начала века. Это станет когда-нибудь общепризнанной правдой, несмотря на то, что и по сию пору Анненский так мало популярен среди русской читающей публики. Ценят его поэты, но русская критика очень скупой отозвалась на его поистине вдохновенные, непревзойденные по искренности и какой-то пронзительной «чуткости» строфы.

К поэзии Вячеслава Иванова отношение «аполлоновцев» было сдержанное. Стихи его не слишком увлекали. Они требовали, почти всегда, знаний, которыми большинство не обладало. Всего не понимал в них даже Анненский — не без лукавства приписывал он свое непонимание неосведомленности в области чуждой ему эзотерики.

Но в этом была и правда. Вячеслав Иванов, как многие поэты-символисты того времени, был эзотериком, и глубже был, последовательнее, наверное, чем Брюсов, Андрей Белый или Максимилиан Волошин. Эзотерика... Не надо смешивать этого понятия с понятием оккультизма, т. е. всех разновидностей теософии и антропософии. Оккультизм — от йогов Индии и Тибета. У нас его провозвестницей была Елена Петровна Блаватская. Традиция эзотерики — от незапамятных времен, от мистерий, уходящих корнями в посвятительные таинства Египта и, может быть, еще более древних цивилизаций.

Поэзия символистов искала выхода в мистике посвятительного знания. Она тяготела к своего рода жречеству, не литературному только, а действительному. Поэты зачисляли себя в ряды кто масонов, кто штейнеровцев, кто мартинистов. Вячеслав Иванов, несомненно, принадлежал к тайному обществу, когда сблизил нас общая работа в «Аполлоне». Он вернулся из Италии, насыщенный образами античных мифов и всем мирозерцанием, связывающим их с пифагорейцами, орфистами, посвященными в элевзинские таинства. От этой родоначальной эзотерики — прямой путь к католическому средневековью, к Возрождению, к романтизму посленаполеоновской Европы. Все герметическое прошлое средиземноморских культур находит в нем отклик — Вячеслав Иванов поклоняется Озирису и Вакху, знает наизусть тамплиера Данте и розенкрейцера Гёте. Он ненасытен. Стихи его приобретают характер мифического универсализма. Он переводит с древнегреческого, с латыни и с итальянского, немецкого, французского. Пишет гекзаметром и другими размерами античной поэзии, пользуется и всеми формами позднейшей: пишет гимны, дифирамбы, оды, пэаны,

канцоны, газеллы, элегии, триолеты, рондо, сонеты и венки сонетов... И в эти разливы рифмованных и нерифмованных строк он вносит целиком свое синкретическое мировоззрение, всеохватывающий трепет своего чувства красоты, уводящего в миры иные: *de realibus ad realiora* <sup>6</sup>.

Оставим пока проблему, насколько по силам поэзии этот «выход» в мистику — и не только в мистическую идеологию, но и в некое «действие», в словесное волхвование. Названные мною поэты-символисты все, больше или меньше, верили в эту миссию искусства, красоты. Можно сказать — страстно мечтали, чтобы мистическая эстетика перешла в религиозное свершение (о том же мечтал и Скрябин для симфонической музыки). Это очень типичное для начала века «люциферрианство» наших символистов и было, по-моему, главной причиной раскола между ними и «Цехом поэтов». Впрочем, Вячеслав Иванов был далек от этой символической мистики à outrance. Неизменно и горячо отрицал он эту «подмену» религии искусством как в пору «Кормчих звезд», так и в последующих своих теоретических статьях, до самой яркой из них — «Граница искусства» (в «Бороздах и межах»). Он даже и «теургию» искусства признавал с большими оговорками.

Я не буду касаться вопроса о том, удалось ли Вячеславу Иванову достичь полноты магического словесного выражения, иначе говоря — насколько он оказался не только мыслителем, но и гениальным поэтом. Скажу лишь, что не правы те, кто отрицает его как поэта! Стихи его надо уметь прежде всего слушать. Ритмический узор их и буквенная ткань обладают независимо от содержания звуковой силой внушения. Но — слов нет — на стихи у каждого свой слух.

Во всяком случае, даже отложив стихи Вячеслава Иванова в сторону, надо признать, что на фоне предреволюционной России Вячеслав Иванов — одна из самых ярких фигур. Недаром Н. А. Бердяев называл его «наиболее культурным человеком, какого он когда-либо встречал». Бердяев в своих публичных докладах именно так вспомнил Вячеслава Иванова, с которым был дружен еще со времен «башни» на Таврической. Но тут понятие культуры вносит неясность. Мне кажется, что его следует заменить понятием гуманизма. Вячеслав Иванов — редчайший представитель средиземноморского гуманизма, в том смысле, какой придается этому понятию, начиная с века Эразма Роттердамского, и в смысле расширенном — как знаток не только античных авторов, но и всех европейских культурных ценностей. Он владел в совершенстве латынью и греческим — так, что сам сочинял на этих языках экспромты своим друзьям (некоторые из них, посвященные Зелинскому, Ростовцеву, Рачинскому <sup>7</sup>, напечатаны в «Нежной тайне»). Образцово знал

он и немецкий (был учеником Моммзена), итальянский, французский, несколько хуже — английский; философов, поэтов, прозаиков всего западного мира он читал в подлиннике и перечитывал постоянно; глубоко понимал также и живопись, и музыку... Никогда не забуду вечеров, которые я проводил у него в обществе А. Н. Скрябина (в предсмертные годы композитора). Каким знатоком гармонии выказывал себя Вячеслав Иванов-эзотерист в этих беседах со Скрябиным-окультуритом, мечтавшим о музыкальном храме на обитаемом острове Индийского океана! Недаром в одном из стихотворений «Кормчих звезд» поэт восклицает:

О, Музыка! в тоске земной разлуки,  
Живей сестер влечешь ты к дивным снам:  
И тайный Рок связал немые звуки...

От этих строк можно было бы повести всю поэтику Вячеслава Иванова...

Из поэтов после Эхила, которого он всего перевел, он ставил на недостижимую высоту, конечно, Гёте. По ширине интеллектуального охвата он и близок ему. Но и тут, может быть, самое примечательное в нем это то, что ни эллинизм, ни гётеанство не затмевают его русскости, не мешают ему то и дело придавать своим стихам сугубо национальный колорит (подчас почти фольклорный).

Уже в «Кормчих звездах» нет-нет прозвучат, наперекор всем нимфам и менадам, былинные лады:

Ты святися, наша мати-Земля Святорусская!  
На твоём ли просторе великом,  
На твоём ли раздольи широком,  
Что промеж Студеного моря и Теплого,  
За теми лесами высокими...

Но не только стиль иных стихотворений, весь словарь поэта пестрит «народными» оборотами и славянизмами, подчас приближающими его язык не то к допетровской письменности, не то к «высокому стилю» Державина и даже Сумарокова. Какой необыкновенный парадокс — русский язык Вячеслава Иванова! По части сложных прилагательных он один, кажется, последовал за Гнедичем, переводчиком Гомера, и превзошел его. Зарница у него «солнцедоспешная», ручей «искротечный», рай «среброверхий» и «огнезрачный», луч «днесветлый», облако «путеводимое», эфир «светорунный». Здесь и там встречаешь — «вихревейный», «пышностенный», «огнехмельный», «игло-столпный». Ему нравится — не мечет, а «мешет»; не театр, а «феатр», «град» вместо город, «праг» вместо порог; не грядущий, а «грядый», не провожали, а «провождали», не крыл, а «крил» и т. д. Сопряжение этих книжных «русицизмов» с ми-

фологическим содержанием кажется Вячеславу Иванову вполне естественным, он убежден (как и заявляет в предисловии к «Нежной тайне»), что «античное предание насущно нужно России и славянству, ибо стихийно им родственно».

Надо ли после того удивляться, что знаменитая вакхическая строфа поэта:

Бурно ринулась Менада,  
Словно лань,  
Словно лань,—

переходит в строфу с народно-русской интонацией:

С сердцем, бьющимся, как сокол  
Во плену,  
Во плену,  
С сердцем, яростным, как солнце  
Поутру,  
Поутру...

Конечно, не славянизмы и не «народничество» характеризуют поэзию Вячеслава Иванова, но кое-что от этого пристрастия к фольклору или к надуманной исконности языка звучит почти в каждой написанной им строфе.

Впрочем, этой темы — о языке Вячеслава Иванова в связи со всем его духовным миром и религиозным исповеданием — я коснусь позже. Вернемся ненадолго ко времени «Аполлона». Курьезно то, что оба старших моих помощника в создании журнала, и Вячеслав Иванович, и Иннокентий Федорович, по самому строю души были ревностными приверженцами не Аполлона, а его антипода Диониса (в современном понимании, с «Рождения трагедии из духа музыки» Ницше). Вячеслав Иванов писал:

Земных обетов и законов  
Дерзните преступить порог,—  
И в муке нег, и в пире стонов,  
Воскреснет иступленный бог!..

Идее «аполлонизма» в искусстве гораздо ближе был другой мыслитель, в то время уже терявший свою популярность,— Аким Львович Волынский<sup>8</sup>. Он считался членом редакции «Аполлона» до выхода первой книжки, когда этот неукротимый идеолог «аполлонизма» (в то время) выступил против всех сотрудников журнала с принципиальным «разоблачением». После этого инцидента мне пришлось расстаться с Волынским — он сам поставил условие: или он, или все прочие... Его уход не имел последствий. «Аполлонизм», близкий художникам «Мира искусства», примкнувшим к журналу, остался незабываемой его идеей, и ее целиком восприняла «молодая редакция»



с Гумилевым, Кузминым и Осипом Мандельштамом. Таким образом, молодежь сразу оказалась как бы в оппозиции к одному из «столпов» журнала — Вячеславу Иванову. В длинном стихотворении, посвященном Кузмину (сборник «Нежная тайна»), вспоминается такая строфа:

Союзник мой на Геликоне,  
Чужой меж светских передряг,  
Мой брат в дельфийском Аполлоне,  
А в том — на Мойке — чуть не враг!

(Редакция «Аполлона» помещалась тогда на Мойке.)

«Дионисийство» Вячеслава Иванова, не созвучное больше эстетике «молодых», хорошо выражено в стихотворении «Кормчих звезд» из отдела «Геспериды»:

### Голоса

Муз моих вещунья и подруга,  
Вдохновенных спутница Менад!  
Отчего неведомого Юга  
Снится нам священный сад?

И о чем над кушей огнетканной,  
Густолистной, ропщет Дионис,  
И, колебля мрак благоуханный,  
Шепчут лавр и кипарис?

И куда лазурной Нереиды  
Нас зовет певучая печаль?  
Где она, волшебной Геспериды  
Золотящаяся даль?

Тихо спят кумиров наших храмы,  
Древних грез в пурпуровых морях;  
Мы вотще сжигаем фимиамы  
На забытых алтарях.

Отчего же в дымных нимбах тени  
Зыблются, подобные богам,  
Будят лир зефирострунных пени ---  
И зовут к родным брегам?

И зовут к родному новоселью  
Неотступных ликом голоса,  
И полны таинственной свирелью  
Молчаливые леса?

Вдаль влекомы волей сокровенной  
Пришлепы неведомой земли,  
Мы тоскуем по дали забвенной,  
По несбывшейся дали.

Душу память смутная тревожит,  
В смутном сне надеется она;  
И забыть богов своих не может,—  
И воззвать их не сильна!

Какое исчерпывающее признание! Поэт не может забыть античных богов, хоть не силен «воззвать» (воскресить) их. Попыткой их воскрешения, в сущности, и была мифотворческая поэзия Вячеслава Иванова. Религиозной жадой томился и он, как многие христианствующие интеллигенты того времени (журнал «Новый путь» с Мережковским и Тернавцевым, «Вопросы жизни» с Чулковым), но христианином Вячеслав Иванов еще не был.

Запомнился мне разговор на религиозную тему, происходивший в 1909 году, втроем с Вячеславом Ивановым и Иннокентием Анненским (неверующим, никакой мистики не признающим). Помню обстановку нашей встречи — у Смурова на Невском, куда мы зашли после того, как подали прошение градоначальнику об учреждении «Общества ревнителей». На мой вопрос: «Вячеслав Иванович, скажите прямо: вы верите в божественность Христа?» — подумав, он ответил: «Конечно, но в пределах солнечной системы»... Да, он в Христа верил, но не менее чистосердечно «воззывал» и богов Олимпа, и духов земли, продолжающих открываться избранным в «аполлоническом сне» и в «дионисийском исступлении», послушных магии творящего слова. Повторяю, символы были для него не только литературным приемом, но и заклинательным орудием. Этой лирической магией повеяло уже в «Кормчих звездах», еще больше ее в «Cor Ardens». Тут союзницей Вячеслава Иванова являлась его первая жена, Зиновьева-Аннибал, женщина с очень яркой индивидуальностью, не лишенная литературного таланта, обладавшая неутолимой фантазией. Из писательниц одна из первых она обратила на себя внимание Петербурга своими декадентскими причудами — дома на литературных сборищах выходила к гостям в сандалиях и греческом пеплосе (да еще алого цвета). В литературной богеме много толков было о ее повести «Тридцать три уroda».

Вячеслав Иванов жену боготворил, ее одну прославлял своим стихотворным эросом. «Cor Ardens» — «Любовь и смерть» — посвящены ей, как и знаменитая «Менада»:

— Той,  
чью судьбу и чей лик  
я узнал

в этом образе Менады  
«с сильно бьющимся сердцем».

Это к ней обращено и стихотворение «На башне»:

Пришлец, на башне притон я обрел  
С моею царицей-Сивиллой  
Над городом-мороком — Хмурый Орел  
С Орлицей ширококрылой.

Ей же посвящена и «Любовь» (из «Кормчих звезд») — сонет, из которого вырос веночек сонетов (в «Сог Ardens»):

Мы — два грозой сожженные ствола,  
Два пламени полуночного бора,  
Мы — два в ночи летящих метеора,  
Одной судьбы двужалая стрела!

Мы два коня, чьи держат удила  
Одна рука, — одна язвит их шпора,  
Два ока мы единственного взора,  
Мечты одной два трепетных крыла.

Мы двух теней скорбящая чета  
Над мрамором божественного гроба,  
Где древняя почитет Красота.

Единых тайн двугласные уста,  
Себе самим мы — Сфинкс единый оба.  
Мы — две руки единого креста.

Мне кажется, что в этих обращениях к жене самая знаменательная строка: «Единых тайн двугласные уста». Думается мне тоже, что на эту строку откликается стихотворение из «Сог Ardens» — «Ропот» (хоть эти строфы и не относятся к ней непосредственно). Приведу и его, так как придаю большое значение первому браку Вячеслава Иванова, повлиявшему на весь его духовный рост. Останься Лидия Дмитриевна в живых, возможно, что она сыграла бы в литературной судьбе мужа такую же решающую роль, как З. Н. Гиппиус в судьбе Мережковского.

Итак:

Твоя душа глухонемая  
В дремучие поникла сны,  
Где бродят, заросли ломая,  
Желаний темных табуны.

Принес я светоч неистомный  
В мой звездный дом — тебя манить,

В глуши пустынной, в пуще дремной  
Смолистый сев похоронить.

Свечу, кричу на бездорожья;  
А вокруг немеет, зов глуша,  
Не по-людски и не по-божьи  
Уединенная душа.

Разумеется, маг, в тайны посвященный, мыслит не по-людски и не по-божьи; он занимает среднее какое-то положение между человеческим ничтожеством и божественной силой, он из тех, кого Евангелие называет «волхвователями и обаятелями». Позже, в «Человеке», вспоминает поэт эту пору своего «безумия», дерзновенной своей ворожбы:

Не первую ль из всех моих личин  
Был Люцифер? Не я ль в нем не поверил,  
Что жив Отец,— сказав: «аз есмь един»?

Денница ли свой дольний лик уверил,  
Что Бога нет, и есть лишь Человек?..

Вот в каком смысле надо понимать восклицание Вячеслава Иванова и в другом стихотворении («Сог Ardens») — «Зодчий»:

«Я башню безумную зижду  
Высоко над мороком жизни...

Однако глубокая христианская сознательность дает себя чувствовать уже со второго сборника — «Прозрачность». Демоническое дерзание мучит его совесть — разве не звучит раскаяньем обращение к «демону»:

Мой демон! Ныне ль я отринут?  
Мой страж, я пал, тобой покинут!  
Мой страж, меня ты не стерг,—  
И враг пришел и превозмог...

Стихи кончаются так:

Так торжествует, сбросив цепи,  
Беглец, достигший вольной степи!  
Но ждет его звенящих ног  
Застенка злейшего порог.

Дальнейший творческий рост Вячеслава Иванова от волшебствующей одержимости привел его в последнюю пору жизни к христианству без всяких «космических» оговорок. К христианству ортодоксальному, католическому, которое если и продолжают овеать античные мифы, то в качестве поэтических метафор только. Наконец и метафоры исчезают, и даже стихи

Вячеслав Иванов перестает писать, занятый раздумьями совсем другого порядка.

Еще в 1925 году написано стихотворение «Палинодия». Начинается оно с вопросов:

И твой исметский мед ужель меня пресытил?  
Из рощи миртовой кто твой кумир похитил?  
Иль в вещем ужасе я сам его разбил?  
Ужели я тебя, Эллада, разлюбил? <sup>9</sup>

И кончается это стихотворение патетическим признанием:

— я слышал с неба зов:  
«Покинь, служитель, храм украшенный бесов».  
И я бежал, и ем в предгорьях Фиваиды  
Молчанья дикий мед и жесткие акриды.

С той поры муза Вячеслава Иванова менее щедрa, как будто, утратив веру в «исчезнувших богинь», он тем самым обрек себя на молчание...

Из послереволюционных стихов, изданных еще в России, особенно запомнилось одно — в приподнятом, торжественном, чисто ивановском вкусе. Приведу и его — оно очень характерно для поэта-символиста и эзотерика, и ни в одном, пожалуй, не выражена полнее чеканная сила его стиха и характерное для него смешение личного мотива с древней памятью о веках:

### Мемноны

В сердце, помнить и любить усталом,  
Мать Изиды, как я сберегу  
Встречи все с тобой под покрывалом,  
Все в цветах росинки на лугу?  
Все ко мне склонявшиеся лики  
Нежных душ, улыбчивых теней,  
В розовом и белом павилики  
На стеблях моих зыбучих дней?

Или все, что цело сердцу: «помни», —  
Отымает чуждый небосклон  
У тебя, родной каменоломни  
Изваянный выходец, Мемнон?  
И когда заря твой глыбный холод  
Растворит в певучие мольбы,  
Ты не вспомнишь, как, подъемля молот,  
Гимном Солнце славили рабы?

Иль должно, что пало в недры духа,  
Вдовствовать в хранительной тиши,

Как те звоны, что всплывают глухо  
Из летейских омутов души?  
Чтоб тоской по музыке забвенной  
Возле рек иного бытия,  
По любимой, в чьих-то чарах пленной,  
Вечно болен был — и волен я.

Мемнон, как известно, был легендарным сыном Пифона и Авроры. Посланный отцом своим на защиту осажденной греками Трои, он погиб от руки Ахилла. Аврора оплакивала его неутешно, отчего и назвали греки росу «слезами Авроры». В Египетских Фивах был сооружен исполин (может быть, в честь одного из фараонов); легенда назвала его Мемноном за свойство издавать гармонические звуки, когда блеснут на нем первые лучи рассвета.

Отзвуком этого «Мемнона» является современная ему строфа во второй части «Человека»:

Висит ли грусть прозрачная  
Над вереском развалин,  
Как розовый туман,  
Идет ли новобрачная  
Из мглы опочивален  
На плещущий фонтан,—

В избытке и в бесплодии,  
Как жалоба Мемнона,  
Влюбленного в Зарю,  
Мне слышатся мелодии  
Тоскующего стона,—  
И все поет: «Горю!»...

Вячеслав Иванов воспользовался этим образом, чтобы сказать о себе и о своих касаниях к ближним и дальним (« в розовом и белом павилики на стеблях моих зыбучих дней»), — признание самое потаенное о возвращении духа в забытую нездешнюю отчизну. Поэт уподобляет себя Мемнону, издающему «певучие мольбы», от лучей другого неба, чем то, под каким он вышел из родимой каменоломни. Поэт одинок в этом мире, он потерял свою любимую, свою Психею, «возле рек иного бытия» и теперь обречен на тоску по ней, слушая в «летейских омувах души» глухие звоны. «Певучими мольбами» к ней стала его поэзия.

Рассказать стихотворение своими словами — задача всегда нелегкая, чтобы не сказать — невозможная; ведь самое главное в поэзии — не логическая последовательность, а то, что очаровывает в стихотворении ритмом и звучанием слов. Стихи символистов вообще не поддаются прозаическому толкованию.

А Вячеслав Иванов особенно труден. И тем не менее нельзя не ценить его лишь оттого, что он труден! Он был и остался поэтом Божьей милостью, волнующим — пусть не столько пафосом чувства, сердца, сколько пафосом мысли, — и все же отразил он полнее, чем кто-нибудь другой, порыв своего века к художественному оправданию бытия, устремленность к чуду преображения — словом, образом, символом, иначе говоря, устремленность к платоновской истине-красоте, которая является поэту в образе матери-Изиды «под покрывалом».

В поэзии Вячеслава Иванова с первого же сборника чувствовался этот порыв, и тут составными элементами словотворчества являются в одинаковой степени и чисто эстетическая образность, и углубленность философской мысли. Когда эти два элемента достигают достаточно полного слияния, получаются прекрасные стихи. Свою платоновскую поэзию поэт формулировал четырьмя строками гекзаметра:

### Энтелехия

Влагу не дай мне пролить через край переполненный, Муза!  
Помнит обильная Мысль Формы размеренной грань.  
С Мерой дружна Красота, но мысль преследует Вечность:  
Ты же вместить мне велишь Вечность в предел Красоты!

В заключение я приведу еще три стихотворения, очень разных по стилистическому приему и по духу, но все три, на мой взгляд, утверждают это слияние ограничивающей Красоты-Меры и уходящей в созерцание Вечности-Мысли. Все три о России.

### Улов

Обнищало листья златое.  
Просквозило в сенях осенних  
Ясной синью тихое небо.  
Стала тонкоствольная роща  
Иссеченной церковью из камня;  
Дым повис меж белыми столпами;  
Над дверьми сквозных узорочий  
Завесы — что рыбаей Господних  
Неводы, раздранные ловом, —  
Что твои священные лохмотья  
У преддверий белого храма,  
Золотая, нищая песня!

Второе стихотворение (написано в 1906 году) — «Язвы гвоздины»:

Сатана свои крылья раскрыл, Сатана.  
Над тобой, о родная страна!  
И смеется, носясь над тобой, Сатана,  
Что была ты Христовой звана.  
Сколько в лесе листов, сколько в поле крестов...  
Сосчитай пригвожденных Христов!  
И Христос твой — сором. Вот идут на погром  
И несут его стяг с топором...  
И ликует, лобзая тебя, Сатана:  
Вот лежишь ты красна и черна;  
Что гвоздиные свежие раны — красны,  
Что гвоздиные язвы — черны.

И вот третье — самое сильное по сути и чеканно-звучное:

Как осенью ненастной тлеет  
Святая озимь, тайно дух  
Над черною могилой реет,  
И только душ тончайший слух  
Несотворенный трепет ловит  
Средь косных глыб,— так Русь моя  
Немотной смерти прекословит  
Глухим зачатьем бытия.





Борис Зайцев

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ

Ранняя молодость, небольшая квартира в Спасо-Песковском на Арбате.

Вечер. Сажу за самоваром один, жена куда-то ушла. В передней звонок. Отворяю, застегивая студенческую тужурку. Пришел Вячеслав Иванов с дамой, очень пестро и ярко одетой. Сам он высокий, мягко-кудреватый, голубые глаза, несколько воспаленный цвет кожи на щеках. Светлая бородка. Общее впечатление мягкости, влажности и какой-то кругловатости. Дама — его жена, поэтесса Зиновьева-Аннибал.

Смущенно и робко приветствую их — как мило со стороны старшего, уже известного поэта зайти к начинающему писателю, еще колеблющемуся, еще все на волоске... Учишься в университете, только что начал печататься, выйдет из тебя что-нибудь или не выйдет — все еще впереди: 1905-й год!

Вячеслава Иванова знал я тогда очень мало, где-то бегло встречались, не у Чулкова ли, моего приятеля, «мистического анархиста»? Оба они принадлежали тогда к течению символизма, но и с особым подразделением — «мистического анархизма» (и оба кончили христианством: Чулков православием, Иванов принял католичество).

Гость оставляет несколько старомодную крылатку и шляпу в прихожей, мы усаживаемся за самоваром — два странных гостя мои сидят в начинающихся сумерках — соединение именно некоей старомодности с самым передовым, по-теперешнему «авангардным», в искусстве. Я угощаю, чем могу (чаем с притыкинским вареньем). Но тут дело не в угощении. Вячеслав Иванович из всякого стакана чая с куском сахара мог — и устраивал — некий симпозион. Да, было нечто пышно-пиршественное в его беседе, он говорить любил сложно, длинно и великолепно: другого такого собеседника не встречал я никогда. Словоохотливых, а то и болтунов — сколько угодно. Вячеслав же Иванов никогда не был скучен или утомителен, всегда с в о е, и новое, и острое. Особенно любил и понимал античность. Древнегреческие религии, разные Дионисы, философии того времени — вот где он как дома. Если уж говорить

о родственности, то этот уроженец Подмосковья (был он родом, если не ошибаюсь, из Каширского уезда) <sup>1</sup> — вот он-то и оказался праправнуком Платоновых диалогов.

У меня, в сумерках арбатской комнаты, сейчас же начал на тему более чем скромную: только что вышел в молодом журнале петербургском «Вопросы жизни» мой рассказ небольшой «Священник Кронид». Рассказ импрессионистический, быстрого темпа, но все дело для Вячеслава Ивановича в имени, названии. Как только наскочил он на имя Кронид, так и понесся: тут и Юпитер, Зевс, громовержец и творец — утвердитель стихий, земной жизни, природы, радости бытия здешнего и мощи... Такое, о чем я и в помыслах не имел, воспевая кряжистого и здоровенного Крониду, у которого пять сыновей, тоже здоровенных, священника благообразного, но и хозяина, отчасти даже помещика.

Нечего скрывать: ни о каких символизмах, ни о какой античности и возношении земной силы я не думал, когда писал эту нехитрую деревенскую поэмку (в прозе). Во всяком случае, тогда, у себя за чаем, в своей студенческой тужурке, робко поддакивал известному поэту.

Кажется, подошла потом моя жена, заговорила оживленно с многоцветной Зиновьевой-Аннибал. Но остановить Вячеслава Иванова было трудно, и, начав с моего Крониду, он прочел нам целую лекцию — да какую! Так вот и превратился скромный арбатский вечер в небогатой студенческой квартирке в настоящий словесный пир. Но, конечно, на симпозионе этом говорил он один. И слава Богу! Куда нам за ним угнаться.

\* \* \*

Жизнь же шла. Это был предвоенный предгибельный расцвет символизма, импрессионизма — немало до революции было «измов» в литературе, и сама литература кипела. По-разному можно относиться к ней, но дух Мачтетов и Баранцевичей <sup>2</sup>, провинцию восьмидесятых и девяностых годов она погребла бесповоротно.

Лишь немногие чувствовали (Блок, Белый), что кипение это предсмертное. Думал ли кто о грядущем убожестве «социалистического реализма», не знаю. Я ни о чем не думал и ни от кого опасений не слышал. А жили мы тогда литературою всюю.

Часто ездили с женой в Петербург. Там останавливались у Георгия Чулкова. Вячеслав Иванов был тогда как раз соратником его по «мистическому анархизму».

Были у него и «соборность», и разные другие превыспренности. Писал стихи — громкозвучные, тяжеловесные и в одеждах, изукрашенных пышно. Вспоминается нечто вроде парчи, в словаре — славянизмы и торжественность почти

высокопарная. Нельзя сказать, чтобы стихи его тогдашние особенно прельщали. Обаяния непосредственного было в них мало-вато, но родитель их стоял высоко, на скале<sup>3</sup>. Это не Игорь Северянин для восторженных барышень. Вячеслав Иванов был вообще для мужчин.

Он и считался больше водителем, учителем. Жил тогда в Петербурге, в квартире на верхнем этаже дома в центре города. В квартире этой был какой-то выступ наружу, вроде фонаря, но, конечно, по тогдашней моде на «особенное» считалось, что он живет в «башне», а сам он «мэтр» (сколько этих мэтров «невысокого роста» приходилось видеть потом в жизни! Но это звонко, шикарно, и для невзыскательного уха звучит торжественно. Что поделывать! В Москве Брюсов считался «магом» — этот маг заведовал отделом кухни в Литер. кружке). Такое было время. «Я люблю пышные декадентские наименования», — говорил мне один приятель литературный в Москве.

Слова «мэтр» я всегда не выносил, но надо сказать, что Вячеслав Иванович к облику некоего наставника в глубоком смысле действительно подходил. Человек был великой учености, ученик знаменитого Моммзена и крупнейшего филолога немецкого Вилламовиц-Меллендорфа. Знал древность насквозь, всех Дионисов, и религии тех лет, и поэзию, литературу, да и в нашей литературе был великий знаток, о Достоевском «глаголаше премудро». И главное, вкусом обладал благородным.

Жизнь он вел странную. Вставал около шести вечера, ночью бодрствовал, вечерами устраивались у него собрания на этой самой «башне» (! — тоже снобизм), и молодые поэты и писатели вроде меня смотрели ему в рот, и не зря смотрели: от него действительно можно было чему-то научиться. Да и вообще, я уж об этом упоминал — собеседник он был исключительный.

Раз, в 1908 году, был я к нему приглашен не на собрание, а как бы давалась аудиенция<sup>4</sup> с глазу на глаз. Тогда только что вышла повесть моя «Аграфена», вызвавшая в печати и бурные похвалы, и бурную брань<sup>5</sup>. Из-за нее он и позвал меня, через Чулкова.

Я пришел часу в седьмом вечера, он забрал меня, увел к себе в кабинет — и вот начался разбор этой «Аграфены» чуть не строчка за строчкой — спокойный, благожелательный, но и критический. Продолжалось это часа полтора. Тут и почувствовалось, насколько предан этот человек литературе, как он ею действительно живет, какая бездна у него понимания и вкуса. Отнять литературу, он бы и зачах сразу. Я был молод, но не гимназист, а уже довольно известный писатель, но чувствовал себя в этот вечер почти гимназистом. Не таким, однако, кому инспектор долдонит что-то начальственное, а как младший в руках благожелательного, много знающего, но не заискивающего и не боящегося говорить правду старшего. Трудно вспо-

мнить больше чем через полвека, что именно он говорил, но вот это впечатление благожелательного наставничества, необходимого, сочувственного и недифирамбического, видящего и свет, и тени, так и осталось в душе.

Какая там «башня», какой «мэтр», просто замечательный Вячеслав Иванович Иванов.

\* \* \*

На вечерах его многолюдных я бывал редко. Понятно, не Горький, не Бунин и не Куприн посещали его, а совсем другие: Блок, Кузмин, Городецкий, Чулков, Ремизов, Пяст, Верховский и еще море юнцов, художники «Мира искусства». Читались стихи, разбирались — все как полагается. Но это нравилось меньше: мешала манерность и театральность. Отчасти и сам хозяин ей поддавался.

«Дни бегут за годами, годы за днями, от одной туманной бездны к другой». Быстро все это пронеслось. Войны, революция все перебуравили. Подкрашенный Кузмин со своими Александрийскими песнями погибал в Петербурге в убожестве. Городецкий приспособился и проскочил, Вячеслав Иванов, Чулков перебрались в Москву, и уж там не до «башен» и снобистских собраний.

Жил Вячеслав Иванович на Зубовском бульваре, работал в каком-то литературном учреждении, кажется, «Лито» называлось. Луначарский, как более грамотный из «них», его поддерживал, покровительствовала и жена Каменева <sup>6</sup>.

Как будто начинали сбываться давнишние его мечты-учения о «соборности», конце индивидуализма и замкнутости в себе — но именно только «как будто». Вот от этой самой соборности он только и мечтал куда-нибудь «утечь».

На Зубовский бульвар жена носила молоко его грудному тогда сыну Диме <sup>7</sup> (ныне известный французский журналист) — не так просто было и доставлять это молоко. Но сын, слава Богу, выжил, несмотря на «соборность».

Здравый же смысл все-таки взял у «мэтра» верх: в 1921 году Вячеслав Иванов со всей семьей уехал в Баку <sup>8</sup>, читал там лекции по классической филологии, но в 1924 году «утек» в Италию. Это гораздо оказалось прочнее, чем разные Азербайджаны и Баку. Да, Италия более подходящее место для Вячеслава Иванова, чем Кавказ.

В Риме он выступил с публичной лекцией по-итальянски. Слышавшие говорят, что читал превосходно, рассыпая всю роскошь старинного, даже старомодного итальянского языка. Видимо, это сразу дало точку опоры, завязались связи, и он был приглашен читать в Павии, а потом стал профессором Римского университета.

Тут долгое время никакой у меня связи с ним не было. Только раз, в тридцатых годах, я послал ему свою книжечку «Валаам». Его ответное письмо покоится теперь в архиве Колумбийского университета в Нью-Йорке. (А в отделе редких книг быв. Румянцевского музея в Москве хранятся мои книги с надписями Вячеславу Иванову.)

\* \* \*

В 1949 году наш приятель — ныне покойный А. П. Рогнедов, антрепренер, в душе артист, любитель Италии, как и мы с женой, некий конкистадор и по жизни своей «Казанова», — неожиданно явился к нам с предложением свезти меня в Италию.

— У меня там двести пятьдесят тысяч лир: выиграл в рулетку, но вывезти не могу — проживем их вместе. Со мной едет одна испанка, восходящая звезда испанского синема. Билеты берите сами, жизнь там ничего вам не будет стоить.

Предложение заманчивое. Поколебавшись, поблагодарили и согласились. Съехались в Ниццу — Анита из Мадрида, мы из Парижа, «Казанова» в Ницце уже заседал. Нас смущало при неблестящем складе быта нашего соседство «дивы», но Анита оказалась милейшей и простой юной женщиной, сразу подружившейся с моей женой.

Началось наше blitz-tournée. Оно — смесь комедии, фарса и поэзии. Мы ураганом пронеслись по Северной Италии, были в Генуе, Милане, Венеции. «Казанова» то получал деньжонки из банка, раздавал их нам и Аните, то проигрывался в местных казино и занимал вновь у Аниты, но настроение было бодрое и веселое. Теперь мы летели к Риму. Там у Аниты были дела по кино.

Во Флоренции оказалось, что денег в обрез. У нас с женой были обратные билеты. Я сказал «Казанове»:

— Поезжайте с Анитой, а мы **вернемся**.

Он даже рассердился.

— Я вам сказал, что доведу до Рима. Я возил труппу лилипутов на Формозу, неужели не смогу довести вас с Верой до Рима? Но, увы, можно будет остаться всего день.

Помчались. Да, это был всего один день! Мы успели побывать в Ватикане, а после завтрака в кабачке у Берниниевой колоннады поехали к Вячеславу Иванову, на Авентин.

Авентин моей молодости был еще таинственно-поэтическим местом Рима. Тянулись сады, огороды, заборы.

Рядом с грядками капусты попадались низины, сплошь заросшие камышом. Я любил светлые, задумчивые вечера на Авентине, когда звонят Angelus, прощально золотеют стекла Мальтийской виллы, слепые гуляют в монастырском дворике, полным апельсиновых деревьев с яркими и сочными плодами. Как на райских деревцах старинных фресок.

Тут жили некогда родители Алексея — Человека Божия, отсюда и ушел он в нищету, благостность и сюда вернулся неузнанным.

Теперь известный поэт, столп русского символизма, доживал дни свои на этом холме. И вот в Страстную Пятницу, в день смерти Рафаэля, с которым только что повстречались в Ватикане, мы поднялись в четвертый этаж современного безличного дома и позвонили в квартиру Вячеслава Иванова.

Время есть время. Но и Вячеслав Иванов есть Вячеслав Иванов. Да, он изменился, конечно, оба мы не такие, как были некогда на Арбате или в Петербурге на «башне», все же в этом слабом, но «значительном» старце в ермолочке, с трудом поднимающемся с кресла, был и настоящий Вячеслав Иванов, пусть с добавлением позднего Тютчева.

Мы обнялись не без волнения, расцеловались.

— Да, сил мало. Прежде в университет ездил, читал студентам, потом студенты у меня собирались, а теперь всего два-три шага сделать могу... Теперь уже не читаю.

Но велика отрава писательства. Через несколько минут он сказал мне, что хотел бы вслух прочесть новую свою поэму. «Это не длинно, час, полтора...» — «Дорогой Вячеслав Иванович, у нас минуты считаны. Мы на один день в Риме. Нас в Excelsior'е ждет импресарио». — «Ну, так я вкратце расскажу вам...»

Не помню содержания поэмы — нечто фантастическо-символическое, как будто связанное с Древней Сербией — какой-то король... — но не настаиваю, боюсь ошибиться.

Для меня дело было не в поэме, а в нем самом, отчасти и в моей дальней молодости, в счастливых временах цветения, поэзии, Италии — тут же был символ расставания. Разумеется, бормотал я какие-то хвалебные слова. Как бы заря разливалась на старческом лице поэта, истомленном, полуушедшем. Все же — последний отклик былого. «Боевой конь вздрогнул от звука трубы».

Но минуты наши действительно были считаны. Ничего не поделаешь. Пробыли у него полчаса, обнялись и расцеловались. Оба, конечно, понимали, что никогда не увидимся.

Автобус мчал нас через Рим. Знакомые места, «там, где был счастлив», видениями промелькнули. И вот уже Quattro Fontane, Via Veneto, где жили некогда в пансионе у стены Аврелиана перед виллой Боргезе — и тот Excelsior, где нетерпеливо ждали уже нас «Казанова» с Анитой.

На другой день рано утром поезд уносил нас обратно, на север.

Месяца через два, летом, в римской жаре Вячеслав Иванов скончался.



Константин Бальмонт

### ТРИ ВСТРЕЧИ С БЛОКОМ

Бывают встречи совсем беглые, как будто вовсе незначительные, и длительность их малая, всего лишь несколько секунд или минут, а память от них остается — и светит с достоверностью далекого зарева зари, с неустрашимостью тонкого шрама на руке от случайного секундного прикосновения дамасского клинка.

Много было у меня в жизни разных встреч и с людьми самыми различными. С писателями русскими последних десятилетий мне приходилось в то или иное личное соприкосновение вступать хоть на краткое время с очень многими, и о многих могу сказать, что всякая память о них в моей душе исчезла, о других могу сказать, что я мог бы с ними не встречаться никогда, к третьим, немногим, таким, как Юргис Балтрушайтис, Вячеслав Иванов, Марина Цветаева, душевное мое устремление настолько сильно, — и так таинственно, — по видимости, беспричинно — остра и велика моя радость от каждой встречи с ними, что явно, нас связывает какое-то скрытое, духовное сродство, и хочется сказать, что мы где-то уж были вместе на иной планете, и встретимся снова на планете новой в мировых наших блужданиях.

Блок, в моей жизни, не входит в указанные разряды. По прихоти обстоятельств жизни, и его и моей, мы встретились всего лишь раз пять, и только три из этих немногих встреч запали мне в сердце, и запали неизгладимо. Между тем совсем ничего особенного не было в этих встречах. Я даже лишь приблизительно помню даты этих встреч: первая — в доме С. А. Соколова-Кречетова, основавшего в Москве книгоиздательство «Гриф» — кажется, в 1903 году; вторая, должно быть, в 1913 году, в книгоиздательстве «Сирин» в Петербурге; третья — в доме Федора Сологуба, в Петербурге же, если не ошибаюсь, в 1915 году. Но вот, хоть даты указываю шатко и могу в каждой ошибиться на год, эти встречи живут во мне ярко, — и с четкостью, с яркостью лучистой, как это бывает в красивом или жутком или жутко-красивом сне, я вижу сейчас

красивое, мужественное лицо Блока, его глубокие умные глаза, слышу его голос, полный скрытого значения, его немногословная речь говорит душе много, я ощущаю тишину Блока, в моей душе, дрогнув от соприкосновения с зорким духом, воцаряется ее собственная, ей свойственная, с нею содружная тишина, и я снова и снова чувствую боль и нежность, беспричинную любовь к братской душе, которая идет неизъяснимо-трудным путем, но не скажет, никому не скажет о своих великих трудностях, о своем неизбежном одиночестве, и вот сейчас уйдет, чтобы безгласно и глубоко говорить с далью, и с ветром, и с мерцанием снега, и с звездой в холодной выси, и с перебивающимся, самому себе противоречащим, самого себя жалеющим звуком далекого колокольчика.

От детских дней я люблю снег с той степенью нежности и душевной раскрытости, с какою любил живое существо. В мерцании снега, будь то солнечный полдень или лунная полночь, так много глубокого говора, что душа согласна и хочет и может говорить со снегом без конца. Снег притягивает, но и удерживает, белизна его манит — и останавливает. Я люблю снег как живое существо, но мне не придет желание наклониться и поцеловать снег. Такое свойство — что-то из этого очарования снежного царевича — присутствует изобильно в поэзии Блока. Что-то из этого было и в очаровании его жизненного лика. Моя ли застенчивость, его ли застенчивость, или гордость, или что иное, но в Блоке мне казалось, в одновременности, замкнутая равномерность силы притягивающей и силы удерживающей, если не отталкивающей. Это было во все три встречи, о которых я говорю.

Первая встреча — в раме дружеского юного пира, в свете утренних зорь, в правде многих соприкоснувшихся на миг поэтических душ, из которых каждая, внутренним ясновидением, четко сознала и знала про себя, что путь предстоящий — богатый и полный достижений. И в этот первый миг свиданья юноша Блок показался мне истинным вестником. Третья встреча, за дружеским ужином у Сологуба, очаровательного поэта, очаровательного хозяина и человека с острым проникновенным умом, явила мне Блока читающим замечательные стихи о России, и он мне казался подавленным этой любовью целой жизни, он был похож на рыцаря, который любит Недосяжимую, и сердце его истекает кровью от любви, которая не столько есть счастье, сколько тяжелое, бережно несомое бремя. Казалось, что Блок поникал, пригибался, что тяжесть, которую он нес, была слишком велика даже и для его сильных рук, даже и для его упрямства, священного, как обеты средневековья. Вторая встреча, когда он сидел в углу молча и мы обменялись лишь двумя-тремя словами, всего красноречивее сейчас поет в моей памяти. Я никогда не видал, чтобы человек умел так красиво



и выразительно молчать. Это молчанье говорило больше, чем скажешь какими бы то ни было словами. И когда я ушел из той комнаты, а близкая мне женщина, бывшая в той же комнате, еще оставалась там около часу, Блок продолжал сидеть и молчать,— и вот, чуть не через десять лет после того дня, вспоминая о той же встрече, эта женщина говорит, что, уйдя, она отдала себе отчет, что Блок ничего не говорил, но что это молчание было так проникновенно, оно было такое, что ей казалось, будто все время между ею и им был неизъяснимо-значительный глубокий разговор.

Кто знал Блока,— и знал его больше, чем я,— тот знает, что в словах моих о нем — часть истинного очарования этого исключительно поэтического поэта. Кто не знал, тому слова мои могут показаться невыразительными и мало что говорящими. Может быть. Но когда осенью 1921 года я узнал, что Блок ушел, и так трагично,— я не вспомнил, что его жуткая и яркая поэма «Двенадцать» когда-то очень заинтересовала и очень огорчила меня,— я, быть может,— целый год на Бретонском побережье слушая, изо дня в день и из ночи в ночь, довременную песню Океана,— не очень четко вспомнил, как глубоко я восхищался когда-то «Соловьиным садом», поэмой, каких немного даже в Русской Поэзии, хоть Русская Поэзия последних десятилетий самая богатая и звучная из всех поэтических творчеств на Земле,— но три эти встречи с Блоком, о которых мне так же трудно рассказать, как о сне, ибо сон, пока его рассказываешь, тает, возникли во мне настойчиво, и память о них не давала мне покоя до тех пор, пока в бессонную ночь октября я не написал свои строки «Светлому Имени», а утром и в послеполуденье наступившего солнечного дня не записал на берегу все помнящего и все смывающего Океана «Вестник» и «Снежный лик».

Игрою случая стихи эти до сих пор не были напечатаны. Они возникли в мои морские часы ненарушимого одиночества, когда с тонким звоном в мою комнату залетали осенние осы, а Блок мне казался таким дорогим и близким, как соловей в весеннем кусте, который поет мне песню, но улетит, если я к нему подойду, и как свежесвыпавший снег, которого не нужно касаться даже прикосновеньем поцелуя.



## Зинаида Гиппиус МОЙ ЛУННЫЙ ДРУГ

О БЛОКЕ

*И пусть над нашим смертным ложем  
Взовется с криком воронье...  
Те, кто достойней, Боже, Боже,  
Да внидут в царствие Твое!*

Это не статья о поэзии Блока. Немало их у меня в свое время было. Это не статья и о Блоке самом. И уж во всяком случае, это не суд над Блоком. И не оценка его. Я хочу рассказать о самом Блоке, дать легкие тени наших встреч с ним, — только.

Их очень было много за двадцать почти лет. Очень много. Наши отношения можно бы назвать дружбой... лунной дружбой. Кто-то сказал, впрочем (какой-то француз), что дружба — всегда лунная, и только любовь солнечная.

### 1

Осень на даче под Петербургом. Опушка леса, полянка над оврагом. Воздух яблочно-терпкий, небо ярко-лиловое около ярко-желтых, сверкающих кудрей тоненьких березок.

Я сижу над оврагом и читаю только что полученное московское письмо от Ольги Соловьевой.

Об этой замечательной женщине скажу вкратце два слова. Она была женой брата Владимира Соловьева — Михаила. Менее известный, нежели Владимир, Михаил был, кажется, глубже, сосредоточеннее и, главное, как-то тише знаменитого брата. Ольга — порывистая, умная, цельная и необыкновенно талантливая. Ее картины никому не известны; да она их, кажется, мало кому и показывала; но каждый рисунок ее — было в нем что-то такое свое и новое, что он потом не забывался. Она написала только один рассказ (задолго до нашего знакомства). Напечатанный в «Сев. вестнике», он опять был такой новый и особенный, что его долго все помнили.

Не знаю, как случилось, что между нами завязалась переписка. И длилась годы, а мы еще никогда друг друга не видали. Познакомились мы сравнительно незадолго до ее смерти, в Москве. Тогда же, когда в первый раз увидались с Борей Бугаевым (впоследствии Андреем Белым). Семьи Бугаевых и Соловьевых жили тогда на Арбате, в одном и том же доме, в разных этажах.

Кажется, весной 1903 года Михаил Соловьев, очень слабый, заболел инфлюэнцей. Она осложнилась. Ольга не отходила от него до последней минуты. Закрыв ему глаза, она вышла в другую комнату и застрелилась.

Вместе их отпевали и хоронили. Ольга была очень религиозный человек и — язычница. Любовь ее была ее религией.

Остался сын Сергей, шестнадцатилетний. Впоследствии — недурной поэт, издавший несколько книг (немножко классик). Перед войной он сделался священником.

2

В тот яркий осенний день, с которого начинается мой рассказ, из письма Ольги Соловьевой выпало несколько отдельных листов. Стихи. Но прочтем сначала письмо.

В нем, *post scriptum*: «...а вы ничего не знаете о новоявленном, вашем же, петербургском, поэте? Это юный студент; нигде, конечно, не печатался. Но, может быть, вы с ним случайно знакомы? Его фамилия Блок. От его стихов Боря (Бугаев) в таком восторге, что буквально катается по полу. Я... право не знаю, что сказать. Переписываю Вам несколько. Напишите, что Вы думаете».

Вошли ли эти первые робкие песни в какой-нибудь том Блока? Вероятно, нет. Они были так смутны, хотя уже и самое косноязычие их — было блоковское, которое не оставляло его и после и давало ему своеобразную прелесть.

И тема, помню, была блоковская: первые видения Прекрасной Дамы.

3

Переезд в город, зима, дела, кажется, религиозно-философские собрания... Блок мне не встречался, хотя кто-то опять принес мне его стихи, другие, опять меня заинтересовавшие.

Ранней весной,— еще холодновато было, камин топился, значит, в начале или середине марта,— кто-то позвонил к нам. Иду в переднюю, отворяю дверь.

День светлый, но в передней темновато. Вижу только, что студент, незнакомый; пятно светло-серой тужурки.

— Я пришел... нельзя ли мне записаться на билет... в пятницу в Соляном Городке Мережковский читает лекцию...

— А как ваша фамилия?

— Блок...

— Вы — Блок? Так идите же ко мне, познакомимся. С билетом потом, это пустяки...

И вот Блок сидит в моей комнате, по другую сторону

камина, прямо против высоких окон. За окнами — они выходят на соборную площадь Спаса Преображения — стоит зеленый, стеклянный свет предвесенний, уже немеркнувшее небо.

Блок не кажется мне красивым. Над узким высоким лбом (все в лице и в нем самом — узкое и высокое, хотя он среднего роста) — густая шапка коричневых волос. Лицо прямое, неподвижное, такое спокойное, точно оно из дерева или из камня. Очень интересное лицо.

Движений мало, и голос под стать: он мне кажется тоже «узким», но он при этом низкий и такой глухой, как будто идет из глубокого-глубокого колодца. Каждое слово Блок произносит медленно и с усилием, точно отрываясь от какого-то раздумья.

Но странно. В этих медленных отрывочных словах, с усилием выжимаемых, в глухом голосе, в деревянности прямого лица, в спокойствии серых невнимательных глаз — во всем облике этого студента — есть что-то милое. Да, милое, детское, — «не страшное». Ведь «по какому-то» (как сказал бы юный Боря Бугаев) всякий новый взрослый человек — страшный; в Блоке именно этой «страшности» не было ни на капельку; потому, должно быть, что, несмотря на неподвижность, серьезность, деревянность даже, не было в нем «взрослости», той безнадежной ее стороны, которая и дает «страшность».

Ничего этого, конечно, тогда не думалось, а просто чувствовалось.

Не помню, о чем мы в первое это свидание говорили. Но говорили так, что уж ясно было: еще увидимся, непременно.

Кажется, к концу визита Блока пришел Мережковский.

4

В эти годы Блока я помню почти постоянно. На религиозно-философских собраниях он как будто не бывал или случайно, может быть (там все бывали). Но он был с самого зарождения журнала «Новый путь». В этом журнале была впервые напечатана целая серия его стихов о Прекрасной Даме. Очень помогал он мне и в критической части журнала. Чуть не в каждую книжку давал какую-нибудь рецензию или статейку: о Вячеславе Иванове, о новом издании Вл. Соловьева... Стоило бы просмотреть старые журналы.

Но и до начала «Нового пути» мы уже были так дружны, что летом 1902 года, когда он уезжал в свое Шахматово (подмосковное имение, где он потом жил подолгу и любовно устраивал дом, сам работая), мы все время переписывались. Поздней же осенью он приехал к нам на несколько дней в Лугу.

Дача у нас была пустынная, дни стояли, после дождливого лета, ярко-хрустальные, очень холодные.

Мы бродим по перелеску, кругом желтое золото, алость сентябрьская, ручей журчит во мхах, и такой — даже на вид холодный, хоть и солнце в нем отражается. О чем-то говорим — может быть, о журнале, может быть, о чем-то совсем другом... вряд ли о стихах.

Никакие мои разговоры с Блоком невозможно передать. Надо знать Блока, чтобы это стало понятно. Он, во-первых, всегда, будучи с вами, еще был где-то — я думаю, что лишь очень невнимательные люди могли этого не замечать. А во-вторых, каждое из его медленных, скупых слов казалось таким тяжелым, так оно было чем-то перегружено, что слово легкое или даже много легких слов не годились в ответ.

Можно было, конечно, говорить «мимо» друг друга, в двух разных линиях; многие, при мне, так и говорили с Блоком, — даже «возвышенных» вещах; но у меня, при самом простом разговоре, невольно являлся особый язык: между словами и о к о л о них лежало гораздо больше, чем в самом слове и его прямом значении. Главное, важное никогда не говорилось. Считалось, что оно — «несказанно».

Сознаюсь, иногда это «несказанное» (любимое слово Блока) меня раздражало. Являлось почти грубое желание все перевернуть, прорвать туманные покровы, привести к прямым и ясным линиям, впасть чуть не в геометрию. Притянуть «несказанное» за уши и поставить его на землю. В таком восстании была своя правда, но... не для Блока. Не для того раннего Блока, о котором говорю сейчас.

Невозможно сказать, чтобы он не имел отношения к реальности; еще менее, что он «не умен». А между тем все называемое нами философией, логикой, метафизикой, даже религией — отскакивало от него, не прилагалось к нему. Ученик и поклонник Владимира Соловьева, Блок весь был обращен к туманно-зыбкому провидению своего учителя: к его стихам, где появляется «Она», «Дева радужных ворот». Христианство Вл. Соловьева не коснулось Блока. В то время как Вл. Соловьев, для которого христианство и служило истоком его «провидений», мог безбоязненно перепрыгивать из одного порядка в другой, мог в «Трех Встречах» — самой «несказанной» из поэм — вдруг написать, захохотав, строчку: «Володенька, да как же ты глупа!» — Блок не умел этого. «Она» или сияла ему ровным невечерним светом, или проваливалась, вместе с ним, в бездну, где уж не до невинных улыбок над собой.

Чем дальше, тем все яснее проступала для меня одна черта в Блоке, — двойная: его трагичность, во-первых, и, во-

вторых, его какая-то незащищенность... от чего? Да от всего: от самого себя, от других людей, от жизни и от смерти.

Но как раз в этой трагичности и незащищенности лежала и главная притягательность Блока. Немногие, конечно, понимали это, но все равно привлекались и не понимая.

Мои внутренние восстания на блоковскую «несказанность», тяжелым облаком его обнявшую и связавшую, были инстинктивным желанием, чтобы нашел он себе какую-нибудь защиту, схватился за какое-нибудь человеческое оружие. Но для этого надо было в свое время повзрослеть. Взрослость же — не безнадежная, всеубивающая, о которой говорилось выше, но необходимая взрослость каждого человека — не приходила к Блоку. Он оставался — при редкостной глубине — за чертой «ответственности».

Знал ли он сам об этом? Знал ли о трагичности своей и незащищенности? Вероятно, знал. Во всяком случае, чувствовал он их — и предчувствовал, что они готовят ему, — в полную силу.

6

Блок, я думаю, и сам хотел «воплотиться». Он подходил, прикидал к жизни, но когда думал, что входит в нее, соединяется с нею, — она отвечала ему гримасами.

Я, впрочем, не знаю, как он подходил, с какими усилиями. Я пишу только о Блоке, которого видели мои собственные глаза.

А мы с ним даже и не говорили почти никогда друг о друге — о нашей человеческой жизни. Особенно в первые годы нашей дружбы. Во всяком случае, не говорили о фактах прямо, а лишь «около» них.

Мне была известна, конечно, общая биография Блока, то, что его родители в разводе, что он живет с матерью и отчимом, что отец его — в прибалтийском крае, а сестру, оставшуюся с отцом, Блок почти не знает. Но я не помню, когда и как мне это стало известно. Отражения фактов в блоковской душе мне были известнее самих фактов.

Мы засиделись однажды — над корректурой или над другой какой-то работой по журналу — очень поздно. Так поздно, что белая майская ночь давно промелькнула. Солнце взошло и стояло, маленькое и бледное, уже довольно высоко. Но улицы, им облитые, были совершенно пусты: город спал, ведь была глубокая ночь.

Я люблю эти солнечные часы ночного затишья, светлую жуть мертвого Петербурга (какое страшное в ней было предсказание!).

Я говорю Блоку:

— Знаете? Пойдемте гулять.

И вот мы уже внизу, на серых, скрипящих весенней пылью плитах тротуара. Улицы прямые, прямые, тишина, где-то за забором поет петух... Мы точно одни в целом городе, в нашем, нам милом. Он кажется мертвым, но мы знаем — он только спит...

Опять не помню, о чем мы говорили. Помню только, что нам было весело и разговор был легкий, как редко с Блоком.

Уже возвращаясь, почти у моей двери, куда он меня проводил, я почему-то спрашиваю его:

— А вы как думаете, вы женитесь, Александр Александрович? Он неожиданно быстро ответил:

— Да. Думаю, что женюсь.

И прибавил еще:

— Очень думаю.

Это все, но для меня это было так ясно, как если бы другой весь вечер говорил мне о своей вот-вот предстоящей свадьбе.

На мой вопрос кому-то:

— Вы знаете, что Блок женится?

Ответ был очень спокойный:

— Да, на Любочке Менделеевой. Как же, я знал ее еще девочкой, толстуха такая.

7

В это лето мы с Блоком не переписывались. Осенью кто-то рассказал мне, что Блок, женившись, уехал в Шахматово<sup>1</sup>, что жена его какая-то удивительная прелесть, что у них в Шахматове долго гостили Боря Бугаев и Сережа Соловьев (сын Михаила и Ольги Соловьевых).

Всю последующую зиму обстоятельства так сложились, что Блок почти не появлялся на нашем горизонте. Журнал продолжался (р.-ф. собрания были запрещены свыше), но личное горе, постигшее меня в начале зимы, приостановило мою работу<sup>2</sup> в нем на некоторое время. У нас не бывал никто — изредка молодежь, ближайшие сотрудники журнала, — все, впрочем, друзья Блока.

Помнится как-то, что был и он. Да, был — в первый раз после своей женитьбы. Он мне показался абсолютно таким же, ни на йоту не переменившимся. Немного мягче, но, может быть, просто мы обрадовались друг другу. Он мне принес стихи, и стихи были те же, блоковские, полные той же прелестью, говорящие о той же Прекрасной Даме.

И разговор наш был такой же; только один у меня вырвался прямой вопрос, совсем ненужный, в сущности:

— Не правда ли, ведь, говоря о Ней, вы никогда не думаете, не можете думать ни о какой реальной женщине?

Он даже глаза опустил, точно стыдясь, что я могу предлагать такие вопросы:

— Ну конечно нет, никогда.

И мне стало стыдно. Такой опасности для Блока, и женившегося, не могло существовать. В чем я его подозреваю! Надо же было видеть, что женитьба изменила его... пожалуй, даже слишком мало.

При прощании:

— Вы не хотите меня познакомить с вашей женой?

— Нет. Не хочу. Совсем не надо.

Мне не хотелось бы касаться никого из друзей Блока: только одного его друга (и бывшего моего) — Бориса Бугаева — «Андрея Белого» — обойти молчанием невозможно.

Он не умер. Для меня, для многих русских людей он как бы давно умер. Но это все равно. О живых или о мертвых говоришь — важно говорить правду. И о живых и о мертвых, одинаково, нельзя сказать всей фактической правды. О чем-то нужно умолчать, и о худом, и о хорошем.

Об Андрее Белом, специально, мне даже и охоты нет писать. Я возьму прежнего Борю Бугаева, каким он был в те времена, и лишь постольку, поскольку того требует история моих встреч с Блоком.

Трудно представить себе два существа более противоположные, нежели Боря Бугаев и Блок. Их различие было до грубости ярко, кидалось в глаза; тайное сходство, нить, связывающая их, не так легко угадывалась и не очень поддавалась определению.

С Борей Бугаевым познакомились мы приблизительно тогда же, когда и с Блоком (когда, вероятно, и Блок с ним познакомился<sup>3</sup>). И хотя Б. Бугаев жил в Москве, куда мы попадали не часто, а Блок в Петербурге, отношения наши с первым были внешне ближе, не то дружественнее, не то фамильярнее.

Я беру Б. Бугаева в сфере Блока, а потому и не останавливаюсь на наших отношениях. Указываю лишь на разность этих двух людей. Если Борю иначе как Борей трудно было называть — Блока и в голову бы не пришло звать «Сашей».

Серьезный, особенно-неподвижный Блок — и весь извивающийся, всегда танцующий Боря. Скупые, тяжелые, глухие слова Блока — и бесконечно льющиеся, водопадные речи Бори, с жестами, с лицом вечно меняющимся — почти до гримас: он то улыбается, то презабавно и премоило хмурит брови и скашивает глаза. Блок долго молчит, если его спросишь; потом скажет «да». Или «нет». Боря на все ответит непременно: «Да-да-да»... и тотчас унесется в пространство на крыльях тысячи слов. Блок весь твердый, точно деревянный или каменный,—



Боря весь мягкий, сладкий, ласковый. У Блока и волосы темные, пышные, лежат, однако, тяжело. У Бори — они легче пуха, и желтенькие, точно у едва вылупившегося цыпленка.

Это внешность. А вот чуть-чуть поглубже. Блок, — в нем чувствовали это и друзья и недруги, — был необыкновенно, исключительно правдив. Может быть, фактически он и лгал кому-нибудь когда-нибудь, не знаю: знаю только, что вся его материя была правдивая, от него, так сказать, несло правдой. (Кажется, мы даже раз говорили с ним об этом.) Может быть, и косноязычие его, тяжелословие, происходило отчасти благодаря этой природной правдивости. Ведь Блока, я думаю, никогда не покидало сознание, или ощущение, очень прозрачное для собеседника, — что он ничего не понимает. Смотрит, видит, и во всем для него, и в нем для всего — недосказанность, неконченность, темнота. Очень трудно передать это мучительное чувство. Смотрит и не видит, потому что вот того не понимает, чего, кажется, не понимать и значит ничего не понимать.

Когда это постоянное состояние Блока выступало особенно резко, мне думалось: а вдруг и все «ничего не понимают» и редкость Блока лишь в том, что он с непрерывностью чувствует, что ничего «не понимает», а все другие — не чувствуют?

Во всяком случае, с Борей такие мысли в голову не приходили. Он говорил слишком много, слишком остро, оригинально, глубоко, затейно, подчас прямо блестяще. О, не только понимает — он даже пере-перепонял... все. Говорю это без малейшей улыбки. Я не отказываюсь от одной своей заметки в «Речи» — она называлась, кажется, «Белая Стрела». Б. Бугаев не гений, гением быть и не мог, а какие-то искры гениальности в нем зажигались, стрелы гениальности, неизвестно откуда летящие, куда уходящие, в него попадали. Но он всегда оставался их пассивным объектом.

Это не мешало ему самому быть, в противоположность правдивому Блоку, исключительно неправдивым. И что всего удивительнее — он оставался при том искренним. Но опять чувствовалась иная материя, разная природа. Блок по существу был верен. «Ты, Петр, камень»... А уж если не верен — так срывается с грохотом в такие тартарары, что и костей не соберешь. Срываться, однако, должен — ведь «ничего не понимает»...

Боря Бугаев, — весь легкий, легкий, как пух собственных волос в юности, — он, танцуя, перелетит, кажется, всякие «тарары». Ему точно предназначено их перелетать, над ними танцевать — туда, сюда... направо, налево... вверх, вниз...

Боря Бугаев — воплощенная неверность. Такова его природа.

Что же связывало эти два, столь различные, существа? Какая была между ними схожесть?

Она была. Опять не коснусь «искусства», того, что оба они — поэты, писатели. Я говорю не о литературе, только о людях и о их душах, еще вернее — о их образах.

Прежде всего, они, Блок и Бугаев, люди одного и того же поколения (может быть, «полупоколения»), оба неизлечимо «невзрослые». В человеке зрелом, если он человек не безнадежно плоский, остается, конечно, что-то от ребенка. Но Блок и Бугаев — это совсем не то. Они оба не имели зрелости, и, чем больше времени проходило, тем яснее было, что они ее и не достигнут. Не разрушали впечатления невзрослости ни серьезность Блока, ни громадная эрудиция Бугаева. Это все было вместо зрелости, но отнюдь не она сама.

Стороны чисто детские у них были у обоих, но разные: из Блока смотрел ребенок задумчивый, упрямый, испуганный, очутившийся один в незнакомом месте; в Боре сидел баловень, фантаст, капризник, беззаконник, то наивный, то наивничавший.

Блок мало знал свою детскость; Боря знал отлично и подчеркивал ее, играл ею.

Оба они, хотя несколько по-разному, были безвольны. Над обоими властвовал рок. Но если в Блоке чувствовался трагизм — Боря был драматичен и, в худшем случае, мелодраматичен.

На взгляд грубый, сторонний, и Блок, и Бугаев казались, скажем прямо, людьми «ненормальными». И с той же грубостью толпа извиняла им «ненормальность» за их «талант», за то, что они «поэты». Тут все, конечно, с начала до конца — оскорбительно. И признание «ненормальности», и прощение за «поэзию». Что требовать с внешних? Беда в том, что этот взгляд незаметно воспринимался самими поэтами и писателями данного поколения, многими и многими (я не говорю тут собственно о Блоке и Бугаеве). Понемногу сами «служители искусства» привыкли оправдывать и безволие, и невзрослость свою — именно причастностью к «искусству». Не видели, что отходят от жизни, становятся просто забавниками, развлекателями толпы, все им за это снисходительно позволяющей...

Впрочем, я отвлекаюсь. Вернемся к рассказу.

Весной 1904 года мы ездили за границу. Остановившись в Москве (мы тогда были в Ясной Поляне), конечно, видели Бугаева, хотя особенно точно я этого свидания не помню. Знаю лишь, что с Блоком в то время Бугаев уже был очень близок (а равно и молодой С. Соловьев).

Началом их близости было, помимо прочего, конечно, и то, что Бугаев считал себя не меньшим последователем Влад. Соловьева, чем Блок. Чуждый всякой философии и метафизики, Блок был чужд, как упомянуто выше, и подосновы В. Соловьева — христианства. Он принимал его в «несказанном». Напротив, Бугаев только и говорил что о христианстве, с христианами преимущественно. К метафизике и философии он имел большое пристрастие, хотя я не думаю, чтобы с Блоком он развивал свои философские теории. Надо сказать правду: Бугаев умел находить с каждым его язык и его тему.

Мы были с ним уже так хороши, что условились: Боря в Петербурге, куда он вознамерился приезжать часто, останавливается у нас.

Общие события лета и осени 1904 года памятны всем: убийство Плеве, «весна» Святополка-Мирского<sup>4</sup> — банкеты... У нас были свои частные события: привлечение в журнал «Новый путь» так называемых «идеалистов» (Булгакова, Бердяева и др.).

Я не пишу воспоминаний этого времени, а потому скажу вскользь: «Новый путь», по многим причинам разнообразного характера, мы решили 1904 годом закончить, и, конечно, желательнее было его кому-нибудь передать. Одна из причин была та, что мы хотели уехать года на три за границу. Срока отъезда мы, впрочем, не назначали, и, если б удалось, привлечением новых людей к журналу, перестроить его так, как того требовало время (не изменяя, однако, его основ), мы рады были бы его продолжать. Короче и яснее — «Новый путь», журнал религиозный, был слишком индивидуалистичен: ему недоставало струи общественной. «Идеализм» группы Булгакова — Бердяева был тем мостом, по которому эта группа вчерашних чистых общественников (эс-деков) переходила к религии — может быть, сама еще того не зная... (Будущее показало, что мы угадали верно, — в общем. Всем известно, как далеко, в последующие годы, ушли в сторону религии Булгаков и Бердяев и как скоро мосты за ними были сожжены.)

Надежды наши оправдались не вполне. Идеалисты вошли в «Новый путь», но при самом соединении было ясно, что для совместной работы еще не настал момент: они — еще слишком «эс-деки», мы — еще слишком индивидуалисты.

И, фактически, уже к концу года журнал был передан им, с тем чтобы далее он, переименовавшись в «Вопросы жизни», продолжался без нашего участия. Естественно, изменялся и состав сотрудников. Это было решено полюбовно, хотя не могу не сказать, что у нас было больше доброй воли к соединению и уступкам. Но привычное недоверие чистых общественников к людям искусства, да еще с уклоном к христианству (не привычно ли «религия-реакция?»), не удивило нас и в «идеалистах».

Секретарь журнала Чулков оставался секретарем и в «Вопросах жизни». Он уже и при конце «Нов. пути» перешел всецело на сторону новой группы. С ним и с Булгаковым у меня было — в декабре, кажется, — единственное журнальное столкновение, очень характерное для наших взаимоотношений и показательное для тогдашнего положения Блока. Ибо оно вышло как раз из-за моей статьи о Блоке, первой, кажется. Она была, конечно, о его стихах. И вот Чулков и Булгаков дали мне понять, что тема недостаточно общественна, а Блок недостаточно замечателен, и статейка моя, при новом облике журнала, не может пойти. Признаюсь, эта нелепость меня тогда раздосадовала, и правдами и неправдами заметку удалось напечатать. Все-таки это был еще «Новый путь»! В «Вопросы жизни» мы больше ни с чем не ходили, конечно, хотя до конца оставались со всеми его участниками в самых дружеских отношениях, с Бердяевым в особенности.

Но не показательно ли это приключение с первой моей статьей о Блоке, чуть ли не одной из первых о нем вообще? Он писал четыре года. А в журналистике был так неизвестен, что и говорить о нем не считалось нужным!

Со всеми памятными датами тех времен у меня больше связывается образ Бугаева, чем Блока. Связывается внешне, ибо по странной случайности Боря, который стал часто ездить в Петербург и останавливался у нас, являлся непременно в какой-нибудь знаменательный день. Было ли это 9 января или 17 октября, или еще что-нибудь вроде (в самый последний раз, увы, тоже случилось 1—2—3 марта 1917 г.) — помню обязательно тут же гибкую фигуру Бори, изумленно-косящие голубые глаза, слышу его своеобразные речи, меткие и детские словечки... Боря все видел, везде был, все понял — по-своему, конечно, и в его восторженность влетается ирония.

Наезжая в Петербург, Боря постоянно бывал у Блока. Рассказывал ли мне он о Блоке? Вероятно. Однако я не помню, чтоб он говорил мне о том, как отражаются на Блоке события. Раз он мне прочел (или показал) новое стихотворение Блока, где рифмовалось «ниц» и «царицу». Стихотворение было хорошее, но рифма меня не очаровала.

— Вам нравится, Боря, это «цариц-у»?

Он неистово захохотал, подпрыгнул, чуть ли в ладоши не захлопал:

— Да, да, это именно у-у-у! Как тут нравится, когда цариц-у-у!

Вот в таких пустяках являлся тогда Блок между нами.

11

Зима 1905—1906 года — последняя зима перед нашим отъездом за границу надолго — памятна мне, в конце, частыми свиданиями уже не с Блоком только, но с ним и с его женой. Как случилось наше знакомство — не знаю, но помню часто их всех троих у нас (Боря опять приехал в Москву), даже ярче всего помню эту красивую, статную, крупную женщину, прелестную тем играющим светом, которым она тогда светилась.

В феврале мы уехали, расставшись со всеми очень дружески, даже нежно.

Но по каким-то причинам, неуловимым — и понятным, ни с кем из них, даже с Борей, у меня переписки не было. Так, точно оборвалось.

12

Со сведениями о России много, конечно, приходило к нам и вестей о Блоке. С одной стороны — о его общественных выступлениях, участии в газете А. Тырковой<sup>5</sup>, очень недолгом, правда, и окончившемся как-то неожиданно. С другой — известия о внезапной его чуть не славе в буйно завившейся после революции литературной среде — театр Комиссаржевской, Балаганчик...

Но все это смутно, из вторых, третьих рук.

И только однажды, на несколько месяцев, Блок выступил из тумана. По крайней мере, имя его стало у нас постоянно повторяться.

Кто-то позвонил к нам, днем.

«Monsieur»... не понимаю имени. Выхожу в переднюю. Там стоит, прислонившись к стене, в немецкой черной пелерине, — и в самом несчастном виде, — Боря Бугаев.

Явление весьма неожиданное в нашей парижской квартире.

Оказалось, что Боря уже давно странствует за границей. Не понять было сразу, как, что, зачем, почему. Шатался — именно шатался — по Германии. Вывез оттуда гетры, пелерину и трубку. Теперь приехал в Париж. Вид имел не улыбающийся, рас-терянный. Сказал, однако, что намерен остаться в Париже на неопределенное время.

И остался. Жить в нашей парижской квартире было негде, и он поселился недалеко, в маленьком пансиончике, — мы видались, конечно, всякий день.

Скажу в скобках, что в этом пансиончике он ежедневно завтракал... с Жоресом! И в конце концов они познакомились, даже вели постоянные долгие разговоры. Боже мой, о чем? Но воистину не было человека, с которым не умел бы вести долгих разговоров Боря Бугаев!

Об этих месяцах с Борей в Париже, о наших прогулках по городу и беседах не стоило бы здесь говорить, если бы темой этих бесед не был, почти постоянно, Блок.

Мой интерес к Блоку, в сущности, не ослабевал никогда. Мне было приятно как бы вызывать его присутствие (человек, о котором думаешь или говоришь, всегда немного присутствует). То, что Боря, вчерашний страстный друг Блока, был сегодня его таким же страстным врагом, не имело никакого значения.

Да, никакого, хотя я, может быть, не сумею объяснить почему. Надо знать Борю Бугаева, чтобы видеть, до какой степени легки повороты его души. Сама вертится; и это его душа вертится, туда-сюда, совсем неожиданно, — а ведь Блок тут ни при чем. Блок остается, как был, неизменяемым.

Надо знать Борю Бугаева, понимать его, чтобы не обращать никакого внимания на его отношение к человеку в данную минуту. Вот он говорит, что любит кого-нибудь; с блеском и проникновением рисует он образ этого человека; а я уже знаю, что завтра он его же будет ненавидеть до кровомщения, до желания убить... или написать на него пасквиль; с блеском нарисует его образ темными красками... Какое же это имеет значение, если, конечно, думать не о Бугаеве, а о том, на кого направлены стрелы его любви или ненависти?

Как бы то ни было, эти месяцы мы прожили, благодаря Бугаеву, в атмосфере Блока. И хотя отношение мое к Бугаеву самое было доброе, на мне нет участия греха в мгновенной перемене его к Блоку. Боря ведь и мой был «друг»... такой же всегда потенциально-предательский. Он — Боря Бугаев.

А Блок, сделавшись более понятным со всех сторон, сделался мне ближе. Опять думалось: какие разные люди эти два «друга», два русских поэта, оба одного и того же поколения и, может быть, связанные одной и той же — неизвестной — судьбой...

Снова Петербург. Та же комната, та же лампа на столике, отделяющем мою кушетку от кресла, где сидит тот же Блок.

Как будто и не было этих годов... Нет, нет, как будто прошло не три года, а три десятилетия.

Лишь понемногу я нахожу в Блоке старое, неизменное, неизменяемое. По внешности он изменился мало. Но при первых встречах чувствовалось, что мы еще идем друг к другу издалека, еще не совсем узнаем друг друга. Кое-что забылось. Многое не известно. Мы жили — разным.

Скоро вспомнилась инстинктивная необходимость говорить с Блоком особым языком — о к о л о слов. Тут неизменность. Стал ли Блок «взрослым»? У него есть как будто новые выражения и суждения — «общие»... Нет, и это лишь внешность. Так же мучительно-задумчивы и медленны его речи. А каменное лицо этого ныне такого известного и любимого поэта еще каменнее; на нем печать удивленного, недоброго утомления. И одиночества, не смиренного, но и не буйного,— только трагичного.

Впрочем, порою что-то в нем новое настойчиво горело и волновалось, хотело вырваться в слова — и не могло, и тогда глаза его делались недоуменно, по-детски, огорченными.

Блок читает мне свою драму, самую — до сих пор! — неизвестную вещь из своих произведений. (Не помню ее ни в печати, ни на сцене.) По тогдашнему моему впечатлению — она очень хороша, несмотря на неровность, условность, порою дикость. Его позднейшая пьеса, «Роза и Крест», — какая сравнительно слабая и узкая!

Эта — в прозе. Заглавия не помню, — мы, говоря о ней, называли ее «Фаиной», по имени героини. Блок читает, как говорит: глухо, однотонно. И это дает своеобразную силу его чтению.

Очень «блоковская вещь». Чем дальше слушаю, тем ярче вспоминаю прежнего, юного, вечного Блока. Фаина? Вовсе не Фаина, а все та же Прекрасная Дама, Она, Дева радужных ворот, никогда — земная женщина.

Ты в поля отошла без возврата,  
Да святится Имя твое...

Нет, не без возврата...

...года проходят мимо.  
Предчувствую: изменишь облик Ты.

Я говорю невольно:

— Александр Александрович. Но ведь это же не Фаина. Ведь это опять Она.

— Да.

Еще несколько страниц, конец, и я опять говорю, изумленно и уверенно:

— И ведь Она, Прекрасная Дама, ведь Она — Россия!

И опять он отвечает так же просто:

— Да. Россия... Может быть, Россия. Да.

Вот это и было в нем, в Блоке, новое, по-своему глубоко и мучительно оформившееся, или полуоформившееся. Налетная послереволюционная «общественность» на нем не держалась. В разговорах за столом, при других, он произносил какие-то слова, «как все», и, однако, не был «как все», и с нашими

тогдашними настроениями, довольно крайними, совсем не гармонировал.

Наедине с ним становилось понятней: он свое, для себя вырастил в душе. Свою Россию,— и ее полюбил, и любовь свою полюбил — «несказанную».

15

Блок был нездоров. Мы поехали к нему как-то вечером в маленькую его квартиру на Галерной.

Сжато, уютно, просто; много книг. Сам Блок дома сжатый и простой. Л. Д., жена его, очень изменилась. Такая же красивая, крупная,— слишком крупная для маленьких комнат, маленького чайного стола,— все-таки была не та. В ней погас играющий свет, а от него шла ее главная прелесть.

Мы знали, что за эти годы она увлеклась театром, много работала, ездила по России с частной труппой. Но, повторяю, не это ее изменяло, да и каботинка в ней, такой спокойной, не чувствовалась. В ней и свет был, но другой, не тот, не прежний, и очень вся она была иная.

Помнилась и она, однако, такой, как была перед отъездом нашим, и хотелось с ними обоими найти хоть какую-нибудь жизненную или общественную связь. Надо сказать, что за время нашего отсутствия в Петербурге создалось (из остатков прежних религ.-философских собраний) целое Р.-ф. общество, официально разрешенное. Мы в нем принимали, конечно, участие, это был как раз «сезон о Боге», когда начались наши столкновения с эсдеками (эсдеки и выдумали нелепое разделение на «богостроителей» и «богоискателей»). Но Общество, многолюдное и чисто интеллигентское, не удовлетворяло нас. И мы вздумали создать секцию, нечто более интимное, но в то же время и более широкое по задачам. Чтобы обойти цензуру, назвали секцию секцией «по изучению истории религий». Непременно хотелось привлечь в эту секцию обоих Блоков. Блок несколько раз приходил к нам, когда создавалась секция, был чуть ли не одним из ее «учредителей».

Однако, после нескольких заседаний, и он, и жена его — исчезли. Да так, что и к нам Блок перестал ходить.

Встречаю где-то Л. Д-ну.

— Отчего вас не видно на Гагаринской? (Там собиралась секция.) Надоело? Заняты?

Ответ получаю наивно-прямой, который сам Блок не дал бы, конечно: на Гагаринской говорят о том, что... должно быть «несказанно».

В наивном ответе была тень безнадежной правды; и мы поняли, что ни в каких «секциях», даже самых совершенных, Блок бывать не будет и бывать не может.



В эти годы, такие внешне шумные, порою суетливые, такие внутренне трудные, тяжелые и сосредоточенные, я помню Блока все время около нас, но не с нами; не в нашей жизни — а близ нее. У меня была потребность видеть его; очевидно, была она и у него, — он приходил часто. Но всегда один и тогда, когда мы бывали одни. Приходил надолго; мы засиживались с ним — иногда и наедине — до поздней ночи. Читал мне свое или просто говорили... о чем? Не о стихах, не о людях, не о нем, — а то, пожалуй, и о стихах, и о людях, и о нем, в особом аспекте, как *über die letzten Dinge* — как «о самых важных, последних вещах» — о к о л о них, разумеется.

Нам, конечно, известно было то, что говорили о Блоке: говорили, что он «кутит»... нет, что он пьет, уходя один, пропадая по целым ночам... Удивлялись: один! Точно это было удивительно. Неудивительно; а если важно — то не само по себе, а вот то, что тут опять и блоковское одиночество, трагичность — и «незащищенность»... от рока, от трагедии?

Между нами разговора об этом не было. Да и зачем? Были его стихи.

Еще менее, чем о нем, говорили мы обо мне. Никогда, кажется, слова не сказали. Раз он пришел — на столе лежала рукопись второй книжки моих стихов, приготовленная к печати. Блок стал смотреть ее очень внимательно (хотя все стихи он уже знал давно).

Я говорю:

— Хотите, А. А.? Выберите, какие вам больше нравятся, я вам их посвящу.

— Можно? Очень хочу.

Долго сидел за столом. Выбрал несколько одно за другим. Выбрал хорошие или плохие — не знаю, во всяком случае, те, которые мне были дороже других.

А вот полоса, когда я помню Блока простого, человеческого, с небывало светлым лицом. Вообще — не помню его улыбки; если и была — то скользящая, незаметная. А в этот период помню именно улыбку, озабоченную и нежную. И голос точно другой, теплее.

Это было, когда он ждал своего ребенка, а больше всего — в первые дни после его рождения.

Случилось, и довольно неожиданно (ведь мы реальной жизнью мало были связаны), что в эти серьезные для Блока дни мы его постоянно видели, он все время приходил. Не знаю, кто

о жене его заботился и были ли там чьи-нибудь понимающие заботы (говорил кто-то после, что не было). Мы едва мельком слышали, что она ожидает ребенка. Раз Блок пришел и рассказал, что ей вдруг стало дурно и он отвез ее в лечебницу. «И что же?» — спрашиваем. «Ничего, ей теперь лучше».

День за день; наступили необыкновенно трудные роды. Почему-то я помню ночные телефоны Блока из лечебницы. Наконец однажды, поздно, известие: родился мальчик.

Почти все последующие дни Блок сидел у нас вот с этим светлым лицом, с улыбкой. Ребенок был слаб, отравлен, но Блок не верил, что он умрет: «он такой большой». Выбрал имя ему — Дмитрий, в честь Менделеева.

У нас в столовой, за чаем, Блок молчит, смотрит не по-своему, светло — и рассеянно.

— О чем вы думаете?

— Да вот... Как его теперь... Митьку... воспитывать?..

Митька этот бедный умер на восьмой или на десятый день. Блок подробно, прилежно рассказывал, объяснял, почему он не мог жить, должен был умереть. Просто очень рассказывал, но лицо у него было растерянное, не верящее, потемневшее сразу, испуганно-изумленное.

Еще пришел несколько раз, потом пропал.

Уже спустя долгое время, когда Л. Д. совсем поправилась, они приехали к нам оба, прощаться: уезжают за границу. «Решили немножко отдохнуть, другие места повидать...»

У обоих лица были угасшие, и визит был ненужный, серый. Все казалось ненужным. Погасла какая-то надежда. Захлопнулась едва приоткрывшаяся дверь.

Может быть, кто-нибудь удивится, не поймет меня: какая надежда для Блока в ребенке? Блок — отец семейства! Он поэт, он вечный рыцарь, и если действительно был «невзрослым», то не прекрасно ли это — вечный юноша? Останься сын его жив, — что дал бы он поэту? Кое-что это отняло бы скорее; замкнуло бы, пожалуй, в семейный круг...

Трудно отвечать на размышления такого порядка. Скажу, впрочем, одно: Блок сам инстинктивно чувствовал, что может дать ему ребенок и как ему это нужно. А мог он ему дать кровную связь с жизнью и ответственность.

При всей значительности Блока, при его внутренней человеческой замечательности, при его отнюдь не легкой, но тяжелой и страдающей душе, я повторяю, он был безответственен. «Невзрослость» его — это нечто совсем другое, нежели естественная, полная сил светлая юность; а это вечное хождение

около жизни? а это бескрайнее, безвыходное одиночество? В ребенке Блок почуял возможность прикоснуться к жизни с тихой лаской; возможность, что жизнь не ответит ему гримасой, как всегда. Не в отцовстве тут было дело: именно в новом чувстве ответственности, которое одно могло довершить его как человека.

Сознавал ли это Блок так ясно, так грубо, как я сейчас пишу? Нет, конечно. Но весь просветлел от одной надежды. И когда она погасла — погас и он. Вернулся в свою муку «ничего непониманья», еще увеличившуюся, ибо он не понимал и этого: зачем была дана надежда и зачем была отнята.

19

Своеобразность Блока мешает определять его обычными словами. Сказать, что он был умен, так же неверно, как вопиюще неверно сказать, что он был глуп. Не эрудит — он любил книгу и был очень серьезно образован. Не метафизик, не философ — он очень любил историю, умел ее изучать, иногда предавался ей со страстью. Но, повторяю, все в нем было своеобразно, угловато, — и неожиданно. Вопросы общественные стояли тогда особенно остро. Был ли он вне их? Конечно, его считали аполитичным и — готовы были все простить ему «за поэзию». Но он, находясь вне многих интеллигентских группировок, имел, однако, свои собственные мнения. Неопределенные в общем, резкие в частности.

Столкновения, которые когда-либо происходили между нами и Блоком, были только на этой почве. Мимолетные, правда: ведь общих дел у нас не было, приходил он к нам один, да и касаться этих вопросов мы избегали. Но подчас столкновения были резкие. Не помню их ясно; о последнем, главным, речь впереди.

Иногда Блок совершенно исчезал. Возвращаясь раз в ярко-солнечный вечер, мы заехали к нему.

Светлая, как фонарик, вся белая квартирка в новом доме на Каменноостровском. Как непохожа на ту, на Галерной!

Нас встретила его жена. А Блок еще спал... Вернулся поздно, как дала нам понять Л. Д., — только утром. Через несколько времени он вышел. Бледный, тихий, каменный, как никогда. Мы посидели недолго. Было темно в светлой, словно фонарь, квартирке.

На возвратном пути опять вспомнился мне — вечно пребывающий, вечно изменяющийся облик Прекрасной Дамы:

По вечерам, над ресторанами  
Горячий воздух дик и глух,

И правит окриками пьяными  
Весенний и тлетворный дух.

И каждый вечер, в час назначенный  
(Иль это только снится мне?)  
Девичий стан, шелками схваченный,  
В туманном движется окне.  
И медленно пройдя меж пьяными,  
Всегда без спутников, одна,  
Дыша духами и туманами,  
Она садится у окна.  
И веют древними поверьями  
Ее упругие шелка,  
И шляпа с траурными перьями,  
И в кольцах узкая рука...

В моей душе лежит сокровище  
И ключ поручен только мне.  
Ты право, пьяное чудовище!  
Я знаю: истина в вине.

«Незнакомка» всем известна; но кто понял это стихотворение до дна? А вот две строки из другого, строки страшные и пророческие:

О, как паду, и горестно, и низко,  
Не одолев смертельные мечты!

Ужас предчувствия: «изменишь облик Ты» — исполнялся, но еще далеко было до исполнения. «Она» в черном, не в белом платье и не над вечерней рекой, не под радужными воротами, а «меж пьяными» — о, это еще не так страшно. Это еще не все.

## 20

Так как я пишу почти исключительно о том Блоке, которого видели мои глаза, то сами собой выпадают из повествования все рассказы о нем, о его жизни — правдивые или ложные, кто разберет?

Друг-враг его, Боря Бугаев (теперь уже окончательно Андрей Белый), давно, кажется, опять стал его «другом». Но я плохо знаю их новые отношения, потому что в последние годы перед войной редко виделись мы и с А. Белым: он женился на московской барышне (на сестре ее женился Сергей Соловьев), долго путешествовал и, наконец, сделавшись яростным последователем д-ра Штейнера, поселился с женой у него в Швейцарии. Однажды, проездом в Финляндию (Штейнер тогда был

в Гельсингфорсе), А. Белый явился к нам. Бритый, лысый (от золотого пуха и воспоминаний не осталось), он, однако, по существу, был тот же Боря: не ходил — а танцевал, садился на ковер, пресмешно и премоило скашивал глаза, и так же водопадны были его речи — на этот раз исключительно о д-ре Штейнере и антропософии. А главное — чувствовалось, что он так же не отвечает за себя и свои речи, ни за один час не ручается, как раньше. И было скучно.

С Блоком в эти зимы у нас установились очень правильные и, пожалуй, близкие отношения. Приходил, как всегда, один. Если днем,— оставался обедать, уходил вечером.

Несколько раз являлся за стихами для каких-то изданий, в которых вдруг начинал принимать деятельное участие: «Любовь к трем апельсинам» или сборник «Сирин»<sup>6</sup>.

По моей стихотворной непродуктивности, найти у меня стихи — дело нелегкое. Но Блоку отказывать не хотелось. И вот мы вместе принимались рыться в старых бумагах, отыскивая что-нибудь забытое. Если находили там (да если и в книжке моей), являлось новое затруднение: надо стихи переписывать. Тут Блок с немедленной самоотверженностью садился за мой стол и не вставал, не переписав всего, иногда больше, чем нужно; так, у меня случайно остался листок с одним очень старым моим, никогда не напечатанным стихотворением — «Песня о голоде», переписанным рукой Блока.

Блок уже издал «Розу и Крест», собирался ставить ее в Москве, у Станиславского. «Роза и Крест» обманула мои ожидания. Блок подробно рассказывал мне об этой пьесе, когда только что ее задумывал. В ней могло быть много пленительности и острой глубины. Но написанная — она оказалась слабее. Блок это знал, и со мной о пьесе не заговаривал. Мне и писать о ней не хотелось.

21

Каждую весну мы уезжали за границу; летом возвращались — но Блок уже был у себя в деревне. Иногда летом писал мне. А осенью опять начинались наши свиданья. В промежутках, если проходила неделя-две, мы разговаривали по телефону,— бесконечно, по целым часам. Медлительная речь Блока по телефону была еще медлительнее. Как вчера помню, на мое первое «allo!» его тяжелый голос в трубку: «здравствуйте», голос, который ни с чьим смешать было нельзя, и долгие, с паузами, речи. У меня рука уставала держать трубку, но никогда это не было болтовней, и никогда мне не было скучно. Мы спорили, порою забывая о разделяющем пространстве, о том, что не видим друг друга. И расставались, как после свиданья.

### Война.

Трудно мне из воспоминаний об этих вихревых первых месяцах и годах выделить воспоминание о Блоке. Уж очень сложна стала жизнь. Война встряхнула русскую интеллигенцию, создала новые группировки и новые подразделения.

Насколько помню, первое «свиданье» наше с Блоком после начала войны было телефонное. Не хотелось, да и нельзя было говорить по телефону о войне, и разговор скоро оборвался. Но меня удивил возбужденный голос Блока, одна его фраза: «ведь война — это прежде всего в е с е л о!»

Зная Блока, трудно было ожидать, что он отнесется к войне отрицательно; страшило скорее, что он увлечется войной, впадет в тот неумеренный военный жар, в который впали тогда многие из поэтов и писателей. Его «весело» уже смущало...

Однако, скажу сразу, этого с Блоком не случилось. Друга в нем непримиримые, конечно, не нашли. Ведь если на Блока наклеивать ярлык (а все ярлыки от него отставали), то все же ни с каким другим, кроме «черносотенного», к нему и подойти было нельзя. Это одно уже заставляло его «принимать» войну. Но от «упоения» войной его спасала «своя» любовь к России, даже не любовь, а какая-то жертвенная в нее влюбленность, беспредельная нежность. Рыцарское обожание... ведь она была для него, в то время,— Она, вечно облик меняющая «Прекрасная Дама»...

Мы стали видеться немного реже и, по молчаливому соглашению, избегали говорить о войне. Когда все-таки говорили, спорили. Но потом спор обрывался. Упирались, как в стену, в то, что одни называли блоковским «черносотенством», другие — его «аполитичностью».

Для меня — это была «трагедия безответственности». И лучше, думалось, этого не касаться...

Ранней весной должна была идти, в Александринском театре, моя пьеса «Зеленое кольцо». (История ее постановки с Савиной, Мейерхольдом и т. д. сама по себе любопытна и характерна; но к Блоку отношения не имеет, и я ее опускаю.) Блок пьесу знал еще в рукописи. Она ему почему-то особенно нравилась.

Шли репетиции; ни на одну мне не удавалось попасть. Их назначали по утрам. Случайно единственную назначили вечером. Принесли извещение, когда у нас сидел Блок.

— Хотите поедемте вместе? — говорю ему. — Заезжайте за мною и назад привезите. Не хотите — пусть Мейерхольд обижается, не поеду.

— А меня не погонят? — с шутливой опаской спросил Блок и сейчас же согласился.

Был февраль. Еще холодно, не очень снежно. Едем в автомобиле по ровной, как стрела, Сергиевской — полутемной (война!). Я, кажется, убеждаю Блока не писать в «Лукоморье» (нововременский журнал). Потом переходим на театр. Я не верю в театр. Не должен ли он непременно исказить написанное?

— Вы были довольны, А. А., вашими пьесами у Комиссаржевской?

Блок молчит. Потом с твердостью произносит:

— Нет. Меня оскорбляло.

Кажется, и он не верит в театр.

В темной зале, невидные, мы просидели вместе с Блоком все акты (3-й, с Савиной, не репетировался). Конечно, чепуха. Привыкнув играть любовников, актеры не могли перевоплотиться в гимназистов. Когда один, перед поцелуем, неожиданным (по смыслу) для него самого, вдруг стал озираться, даже заглянул за портьеру, Блок прошептал мне: «Это уж какая-то порнография!»

Лучше других была Рощина-Инсарова. Но и она не удовлетворяла Блока. В первом перерыве он ей послал записочку: «Спросите Блока. Он вам хорошо скажет».

Кажется, они потом долго разговаривали.

Мейерхольд был в ударе. Собрал всех актеров в фойе, произнес горячую назидательную речь. И мы уехали с Блоком домой, пить чай <sup>7</sup>.

24

Блок не пошел на войну. Зимой 15—16-го года он жил уединенно, много работал. У меня в эту зиму, по воскресеньям, собиралось много молодежи, самой юной, — больше всего поэтов: их внезапно расплодилось неистовое количество. Один приводил другого, другой еще двух и так далее, пока уж не пришлось подумать о некотором сокращении. Иных присылал Блок; этим всегда было место. Блок интересовался моими сборищами и часто звонил по телефону в воскресенье вечером.

Приходил же, как всегда, когда не было никого. Раз случайно — днем — столкнулся у нас с Марьей Федоровной (женой Горького). Она у нас вообще не бывала; очевидно, дело какое-то оказалось, какой-нибудь сборник — не знаю. Мы иногда встречались с нею и с Горьким в эти зимы у разных людей (Горький заезжал и к нам — чуть ли не предлагал стихи мои издать, но мы это замяли).

Жена Горького, впоследствии усердная «комиссарша» совдепских театров, была пока что просто зрелых лет каботинка, на всех набегавшая, как беспокойная волна.

Вижу ее и Блока сидящими за чайным столом друг против друга. Пяти минут не прошло, как уж она на Блока набегала с какими-то весьма умеренными, но «эсдечными», — по Горькому, — мнениями.

Ей удавалось произнести слов 50—60, пока Блок успевал выговорить четыре. Это его, очевидно, раздражило, и слова, спокойные, становились, однако, все резче.

Марья Федоровна, без передышки, наскакивала и стрекотала: «Как вы можете не соглашаться, неужели вы не знаете положения, кроме того, общество... кроме того, правительство... цензура не позволяет... честные элементы... а она... они... их... оно...» Блок, словно деревянным молотком стучал, упрямо: «Так и надо. Так и надо».

С художественной точки зрения эта сцена была любопытна, однако мы вздохнули свободнее, когда она кончилась и Марья Федоровна уехала.

Уехала, но с Блока не сошло упрямство. Он и без нее продолжал твердить то же, в том же духе, ни на пядь не уступая. Доконала она, видно, его. Мы постарались совсем повернуть разговор. Не помню, удалось ли это.

25

Длинная статья Блока, напечатанная в виде предисловия к изданию сочинений Ап. Григорьева, до такой степени огорчила и пронзила меня, что показалось невозможным молчать. Статья была принципиальная, затрагивала вопрос очень современный и, на мой взгляд, важный: о безответственности и поэта, художника, писателя как человека. На примере Ап. Григорьева и В. Розанова Блок старался утвердить эту безответственность и с величайшей резкостью обрушивался как на старую интеллигенцию с ее «заветами», погубившую будто бы Ап. Григорьева (зачем осуждала бесшабашность и перекидничество его), так и на нетерпимость (?) новой, по отношению Розанова. Кстати, восхвалялись «Новое время» и Суворин-старик (этот типичнейший русский нигилист), не смотревший ни на гражданскую, ни на человеческую мораль Розанова.

Много чего еще было в статье Блока. И в ответной моей тоже (впоследствии напечатанной в сборнике «Огни») суть ее определялась эпиграфом:

Поэтом можешь ты не быть,  
Но человеком быть обязан.



Печатать статью, не прочтя ее раньше Блоку, мне и в голову, конечно, не приходило. Мы сговорились с ним — это было поздней весной 16-го года, — и он явился вечером — светлым, голубеющим, теплым; помню раскрытые низкие окна на Сергиевскую, на весенние деревья Таврического парка, за близкой решеткой.

Мне памятен этот вечер со всеми его случайностями. Когда мы еще сидели в столовой, в передней, рядом, позвонили и вбежала незнакомая заплаканная девушка. Бросилась ко мне, забормотала, всхлипывая:

— Защитите меня... Меня увозят, обманом... Вы написали «Зеленое кольцо»... вы поймете...

И вдруг, взглянув в открытую дверь столовой, вскрикнула:

— Вот у вас А. А. Блок... Он тоже защитит, поможет мне... Умоляю, не отдавайте меня ему...

Блок вышел в переднюю. Мы стояли с ним оба беспомощные, ничего не понимая. Девушка, неизвестная и Блоку, была явно нервно расстроена. Не знаю, чем бы это кончилось, но тут опять позвонили, и вошел «он», брат девушки, очень нежно стал уговаривать ехать с ним — домой (как он говорил). Общими силами мы ее успокоили, уговорили, отправили.

Впоследствии узналось, что девушка, хоть и действительно нервно расстроенная, не совсем была не права, спасаясь от брата. Темная какая-то история, с желаньем братьев из расчета упрятать сестру в лечебницу... Темная история.

Но что мы могли сделать? Мог ли когда-нибудь человек помочь человеку?

Мы, однако, невольно омрачились. И без того грусть и тревога лежали на душе.

Все это было, кажется, в последний,  
В последний вечер, в вешний час.  
И плакала безумная в передней,  
О чем-то умоляя нас.  
Потом сидели мы под лампой блеклой,  
Что золотила тонкий дым.  
А поздние, распахнутые стекла  
Отсвечивали голубым...

В моем кабинете, под этой «блеклой» лампой, медленно куря одну тонкую папиросу за другой, Блок выслушал мои о нем довольно резкие строки. Мне хотелось стряхнуть с нас обоих беспредметную грусть этого свидания. Лучше спорить, горячиться, сердиться...

Спор был, но и он вышел грустный. Блок возражал мне, потом вдруг замолчал. Через минуту заговорил о другом, но понятно было, что не о другом, о том же, только не прямо о предмете, а как всегда он говорит — о к о л о.

Не хотелось говорить и мне. Да, все это так, и нельзя не требовать от каждого человека, чтобы он был человеком, и не могу я от Блока этого не требовать, но... как больно, что я не могу и не перестану! В эту минуту слабости и нежности хотелось невозможного: чтобы прощалось, вот таким, как Блок, непрощаемое. Точно от прощения что-нибудь изменилось бы! Точно свое непрощаемое, свою трагедию, не нес Блок в самом себе!

Мы сидели поздно, совсем заголубели окна; никогда, кажется, не говорили мы так тихо, так близко, так печально<sup>8</sup>.

Даже на пустынной улице, около свежего сада, он еще остановился, и мы опять говорили о чем-то: о саде, о весне, опять по-ночному тихо, — окна у меня были низкие.

...Ты, выйдя, задержался у решетки,  
Я говорил с тобою из окна.  
А ветви юные чертились четко  
На небе — зеленой вина.  
Прямая улица была пустынна.  
И ты ушел в нее, — туда...  
Я не прошу. Душа твоя невинна,  
Я не прошу ей — никогда.

Вернувшись осенью 16-го года в Петербург из деревни, мы узнали, что Блок если не на фронте, то недалеко от фронта: служит в земско-городском союзе. Вести о нем приходили хорошие: бодр, деятельно работает, загорел, постоянно на лошади... Мать сообщала мне, что очень довольна его письмами, хотя они кратки — некогда.

26

Я, может быть, увлекаюсь и злоупотребляю подробностями встреч моих с Блоком. Но кому-нибудь из любящих его память будут интересны и они. Теперь досказать осталось немного.

Дни революции. В самый острый день, а для нас даже в самый острый момент (протопоповские пулеметы с крыш начали стрелять в наши окна то с улицы, то со двора) — внезапное появление Б. Бугаева — Андрея Белого. (Он уже с год как приехал из Швейцарии в Москву, один, говорил, что ввиду призыва, но на войну не пошел. Связался с издательством одной темной личности — Ив. Разумника, что-то писал у него, ездил к нему в Царское Село.) В этот день он мирно ехал из Царского, где было еще тихо, и обалдел, выйдя из вагона прямо на улицы революционного города. В шубе до пят — он три часа волокся к нам пешком, то и дело заваливаясь под заборы, в снег, от выстрелов. Так обезножел, что у нас в квартире и остался (да и выйти побаивался).

Опять вижу в эти дни танцующую походку, изумленно-скошенные глаза, гомерические речи и вскрики: «Да-да-да, теперь русский флаг — будет красный флаг? Правда? Правда надо, чтоб был красный?»

Без моего погибшего дневника не могу восстановить даты, но скоро, очень скоро после революции, через неделю или две, — вот Блок, в защитке, которая его очень изменяет, взволнованно шагающий по длинной моей комнате. Он приехал с фронта или оттуда, где он находился, — близ северо-западного фронта.

В торопливо-радостные дни эти все было радостно и спешно, люди приходили, уходили, мелькали, текли, — что запомнилось? что забывалось?

Но Блок, в высоких сапогах, стройно схваченный защиткой, непривычно быстро шагающий по моему ковру, ярко помнится; и слова его помнятся, все те же он повторял:

— Как же теперь... ему... русскому народу... лучше послужить?

Лицо у него было не просветленное; мгновеньями потерянное и недоуменное; все кругом было так непохоже на прежнее, несоизмеримо с ним; почему-то вдруг вспомнилось лицо Блока, тоже растерянное, только более молодое и светлое, и слова:

— Как же теперь... его... Митьку... воспитывать?

Тогда только промелькнуло, а теперь, когда вспоминаю это воспоминание, мне страшно. Может быть, и тут для Блока приоткрылась дверь надежды? Слишком поздно?

27

Наступил период, когда я о Блоке ничего не помню. Кажется, он опять уехал к месту службы. Потом мы уехали на несколько недель на Кавказ. Там — два-три письма из Москвы, от А. Белого. По обыкновению — сумасшедше-талантливые, но с каким-то неприятным привкусом и уклоном. С восторгами насчет... эздеков. С туманными, но противными прорицаниями. Что же спрашивать с Белого? Он всегда в драме — или мелодраме. И ничего особенно ужасного и значительного отсюда не происходит.

Наше возвращение. Корниловская история — ее мы пережили изнутри, очень близко, и никак не могли опомниться от лжи, в которую она была заплетена (и до сих пор заплетена). Виделись ли мы с Блоком? Вероятно, мельком; потому, думаю, вероятно, виделись, что мой телефон осенью, совершенно поразивший меня, был действием простым, как будто и не первой встречей после весны.

Конец, провал, крушение уже не только предчувствовалось — чувствовалось. Мы все были в агонии. Но что ж,

смириться, молчать, ждать? Все хватались за что кто мог. Не могли не хвататься. Савинков, ушедший из правительства после Корнилова, затевал антибольшевистскую газету. Ему удалось сплотить порядочную группу интеллигенции. Почти все видные писатели дали согласие. Приглашения многих были поручены мне. Если приглашение Блока замедлилось чуть-чуть, то как раз потому, что в Блоке-то уж мне и в голову не приходило сомневаться.

Все это было в начале октября. Вечером, в свободную минутку, звоню к Блоку. Он отвечает тотчас же. Я, спешно, кратко, точно (время было телеграфическое!), объясняю, в чем дело. Зову к нам. на первое собрание.

Пауза. Потом:

— Нет. Я, должно быть, не приду.

— Отчего? Вы заняты?

— Нет. Я в такой газете не могу участвовать.

— Что вы говорите! Вы не согласны? Да в чем же дело?

Во время паузы быстро хочу сообразить, что происходит, и не могу. Предполагаю кучу нелепостей. Однако не угадываю.

— Вот война,— слышу глухой голос Блока, чуть-чуть более быстрый, немного рассерженный.— Война не может длиться. Нужен мир.

— Как... мир? Сепаратный? Теперь — с немцами мир?

— Ну да. Я очень люблю Германию. Нужно с ней заключить мир.

У меня чуть трубка не выпала из рук.

— И вы... не хотите с нами... Хотите заключать мир... Уж вы, пожалуй, не с большевиками ли?

Все-таки и в эту минуту вопрос мне казался абсурдным. А вот что ответил на него Блок (который был очень правдив, никогда не лгал):

— Да, если хотите, я скорее с большевиками. Они требуют мира, они...

Тут уж трудно было выдержать.

— А Россия?!.. Россия?!..

— Что ж Россия?

— Вы с большевиками и забыли Россию. Ведь Россия страдает!

— Ну, она не очень-то и страдает...

У меня дух перехватило. Слишком это было неожиданно. С Блоком много чего можно ждать, но не этого же. Я говорю спокойно:

— Александр Александрович. Я понимаю, что Боря может... Если он с большевиками — я пойму. Но ведь он — «потерянное дитя». А вы! Я не могу поверить, что вы... Вы!

Молчание. Потом вдруг точно другой голос, такой измененный:

— Да ведь и я... Может быть, и я тоже... «потерянное дитя»? <sup>9</sup>

Так эти слова и остались звенеть у меня в ушах, последний мой телефон с Блоком:

«Россия не очень и страдает... Скорее уж с большевиками... А если и я «потерянное дитя»?»

О катастрофе не буду, конечно, распространяться. Прошла зима, страшнее и позорнее которой ранее никогда не было. Да, вот это забывают обыкновенно, а это надо помнить: большевики — п о з о р России, не смываемое с нее никогда пятно, даже страданиями и кровью ее праведников не смываемое.

...Но и такой, моя Россия,  
Ты всех краев дороже мне!

К счастью, Блок написал эти строчки задолго до большевизма, и «такая» — не значит (в этом стихотворении) «большевистская». Однако — чем утешаться? Сомнений не было: Блок с ними. С ними же явно был и Андрей Белый. Оба писали и работали в «Скифах» — издательстве этого переметчика — не то левого эсера, не то уж партийного большевика — Ив. Разумника.

Слышно было, что и в разных учреждениях они оба добровольно работают. Блок вместе с Луначарским и Горьким. Его поэма «12», напечатанная в этих самых «Скифах», неожиданно кончающаяся Христом, ведущим 12 красногвардейцев-хулиганов, очень на шумела. Нравилось, что красногвардейцев 12, что они как новые апостолы. Целая литература создавалась об этих «апостолах» еще при жизни Блока. Наверно, и его спрашивали, как он понимает сам этого неожиданного Христа впереди 12-ти. И наверно, он не сказал, — «потому что это несказанно». Большевики, несказанностью не смущаясь, с удовольствием пользовались «Двенадцатью»: где только не болтались тряпки с надписью:

Мы на горе всем буржуям  
Мировой пожар раздуем.

Даже красноармейцам надоело, тем более что мировой пожар, хоть и дулся, не раздувался.

Видали мы и более смелые плакаты, из тех же «Двенадцати»:

...Эй, не трусь!  
Пальнем-ка пулей в святую Русь! —

и еще что-то вроде.

Не хотелось даже и слышать ничего о Блоке. Немножко от боли не хотелось. А думалось часто. Собственно, кощунство «Двенадцати» ему нельзя было ставить в вину. Он не понимал

кошунства. И главное, не понимал, что тут чего-то не понимает. Везде особенно остро чувствовал свое «ничего-непониманье» и был тонок, а вот где-то здесь, около религии, не чувствовал — и был груб. И невинен в грубости своей; что требовать от Блока, если «христианнейший антропософ» А. Белый в это время написал поэму «Христос Воскресе», не имевшую успеха, ибо неудачную, — однако столь ужасную по кошунству, что никакие блоковские красноармейцы в сравнение с ней идти не могли.

Об А. Белом думалось с жалостью и презрением. О Блоке — с жалостью и болью. Но не всегда. Кошунства — пусть, что с него тут требовать, не понимал никогда, и не лгал, что понимает. Но его Прекрасная Дама? Его Незнакомка? Его Фаина, — Россия, — «плат узорный до бровей», — его любовь?

И уж не боль — негодование росло против Блока.

О, как паду, и горестно, и низко,  
Не одолев смертельные мечты!

28

Мы думали, что дошли до пределов страдания, а наши дни были еще как праздник. Мы надеялись на скорый конец проклятого пути, а он, самый-то проклятый, еще почти не начался. Большевики, не знавшие ни русской интеллигенции, ни русского народа, неуверенные в себе и в том, что им позволят, еще робко протягивали лапы к разным вещам. Попробуют, видят — ничего, осмелеют. Хапнут.

Так, весной 18-го года они лишь целились запретить всю печать, но еще не решались (потом, через год, хохотали: и дураки же мы были церемониться!). Антибольшевистская интеллигенция, — а другой тогда не было, исключения считались единицами, — оказывалась еще глупее, чуть не собиралась бороться с большевиками «словом», угнетенным, правда, но все-таки своим. Что его просто-напросто уничтожат — она вообразить не могла.

За месяц до этого уничтожения мне предложили издать маленький сборник стихов, все, написанное за годы войны и революции. Небольшая книжка эта, «Последние стихи», необыкновенно скоро была отпечатана в военной, кажется, типографии (очень недурно), и затем все издание, целиком, кому-то продано, — впрочем, книгу свободно можно было доставать везде, пока существовали книжные магазины. Очень скоро ее стали рекомендовать как «запрещенную».

Упоминаю об этом вот почему.

Эту новую беленькую книжечку, с такими определенными стихами против «друзей» Блока, — трудно было удержаться

не послать Блоку. Я думаю, все-таки и упрямое неверие было — все-таки! — что большевики — друзья Блока. Ведь это же с ума сойти!

Одна из моих юных приятельниц — много у меня еще оставалось дружеской молодежи, честной, — вызвалась книжку Блоку отнести. Письма не было, только на первой странице — стихотворение, ему посвященное: «Все это было, кажется, в последний — в последний вечер, в вешний час...» — «...Душа твоя невинна. — Я не прошу ей никогда».

Немного упрекала меня совесть... «Не прошу», а книгу все-таки посылаю? На что-то надеюсь? На что?

После ответа Блока уж и надеяться стало как будто не на что.

Тоненькие серые книжки... Поэма «12», конечно, и стихотворение «Скифы». Тут же и предисловие Ив. Разумника, издателя... Лучше не говорить о нем. На одной из книжечек — стихотворение Блока, написанное прямо мне. Лучше не говорить и о нем. Я его не помню, помню только, что никогда Блок таких пошлостей не писал. Было как-то, что каждому своя судьба (или вроде), — ...«вам — зеленоглазою наядой плескаться у ирландских скал» (?), «мне» — (не помню что) и «петь Интернационал»<sup>10</sup>...

Нет, конечно, конечно, прячу брошюрки без возврата, довольно, взорваны мосты...

И еще прошли месяцы — как годы.

29

Я в трамвае, идущем с Невского по Садовой. Трамваи пока есть, остального почти ничего нет. Давно нет никаких, кроме казенных, газет. Журналов и книг нет вообще. Гладко.

Нравственная и физическая тяжесть так растет грозно, что мимо воли тянешься прочь, вон из Петербурга, в ту Россию, где нет большевиков. Верится: уже нет. (А если — еще нет?)

Все равно, мечта — повелительная — не дает покоя, тянет на свободу.

День осенний, довольно солнечный. Я еду с одной моей юной приятельницей — к другой: эта другая — именинница, сегодня 17 сентября по старому стилю.

Мы сидим с Ш. рядом, лицом к заколоченному Гостиному Двору. Трамвай наполняется, на Сенной уже стоят в проходах.

Первый, кто вошел и стал в проходе, как раз около меня, вдруг говорит:

— Здравствуйте.

Этот голос ни с чьим не смешашь. Подымаю глаза. Блок.

Лицо под фуражкой какой-то (именно фуражка была — не шляпа) длинное, сохлое, желтое, темное.

— Подадите ли вы мне руку?

Медленные слова, так же с усилием произносимые, такие же тяжелые.

Я протягиваю ему руку и говорю:

— Лично — да. Только лично. Не общественно.

Он целует руку. И, помолчав:

— Благодарю вас.

Еще помолчав:

— Вы, говорят, уезжаете?

— Что ж... Тут или умирать — или уезжать. Если, конечно, не быть в вашем положении...

Он молчит долго, потом произносит особенно мрачно и отчетливо:

— Умереть во всяком положении можно.

Прибавляет вдруг:

— Я ведь вас очень люблю...

— Вы знаете, что и я вас люблю.

Вагон (немного опустевший) давно прислушивается к странной сцене. Мы не стесняемся, говорим громко при общем молчании. Не знаю, что думают слушающие, но лицо Блока так несомненно трагично (в это время его коренная трагичность сделалась видимой для всех, должно быть), что и сцена им кажется трагичной.

Я встаю, мне нужно выходить.

— Прощайте,— говорит Блок.— Благодарю вас, что вы подали мне руку.

— Общественно — между нами взорваны мосты. Вы знаете. Никогда... Но лично... как мы были прежде...

Я опять протягиваю ему руку, стоя перед ним, опять он наклоняет желтое, большое лицо свое, медленно целует руку, «благодарю вас»... — и я на пыльной мостовой, а вагон проплывает мимо, и еще вижу на площадку вышедшего за мой Блока, различаю темную на нем... да, темно-синюю рубашку...

И все. Это был конец. Наша последняя встреча на земле.

Великая радость в том, что я хочу прибавить.

Мои глаза не видали Блока последних лет; но есть два-три человека, глазам которых я верю, как своим собственным. Потому верю, что они, такие же друзья Блока, как и я, относились к «горестному падению» его с той же болью, как и я. Один из них, по природе не менее Блока верный и правдивый, даже упрекнул меня сурово за посылку ему моих «Последних стихов»:

— Зачем вы это сделали?

И вот я ограничиваю себя — намеренно — только непреложными свидетельствами этих людей, только тем, что видели и слышали они.



А видели они — медленное восстание Блока, как бы духовное его воскресение, победный конец трагедии. Из глубины своего падения он, поднимаясь, достиг даже той высоты, которой не достигали, может быть, и не падавшие, остававшиеся твердыми и зрячими. Но Блок, прозрев, увидев лицо тех, кто оскорбляет, унижает и губит его Возлюбленную — его Россию, — уже не мог не идти до конца.

Есть ли из нас один, самый зрячий, самый непримиримый, кто не знает за собой, в петербургском плену, хоть тени компромисса, просьбы за кого-нибудь Горькому, что ли, кто не едал корки соломенной из вражьих рук? Я — знаю. И вкус этой корки — пайка проклятого — знаю. И хруст денег советских, полученных за ненужные переводы никому не нужных романов, — тоже знаю.

А вот Блок, в последние годы свои, уже отрекся от всего. Он совсем замолчал, не говорил почти ни с кем, ни слова. Поэму свою «12» — возненавидел, не терпел, чтоб о ней упоминали при нем. Пока были силы — уезжал из Петербурга до первой станции, там где-то проводил целый день, возвращался, молчал. Знал, что умирает. Но — говорили — он ничего не хотел принимать из рук убийц. Родные, когда он уже не вставал с постели, должны были обманывать его. Он буквально задышался; и задохнулся.

Подробностей не коснусь. Когда-нибудь, в свое время, они будут известны. Довольно сказать здесь, что страданием великим и смертью он искупил не только всякую свою вольную и невольную вину, но, может быть, отчасти позор и грех России.

...И пусть над нашим смертным ложем  
Взвывается с криком воронье...  
Те, кто достойней, Боже, Боже,  
Да внидут в царствие Твое!

Радость в том, что он сумел стать одним из этих достойных. И в том радость, что он навеки наш, что мы, сегодняшние, и Россия будущая, воскресшая, — можем неомраченно любить его, живого.



Борис Зайцев

## ПОБЕЖДЕННЫЙ

Я встретил Блока в первый раз весной 1907 года в Петербурге, на собрании «Шиповника». Он мне понравился. Высокий лоб, слегка вьющиеся волосы, прозрачные, холодноватые глаза и общий облик — юноши, пажы, поэта — все показалось хорошо. Носил он низкие отложные воротнички, шею показывал открыто — и это шло ему. Стихи читал, как полагалось по тем временам, но со своим оттенком, чуть гнусавя и от слушающих себя отделяя — холодком. Сам же себя туманил, как бы хмелел.

В те годы Блок переходил от «Прекрасной Дамы» к «Незнакомке». То, первое, весеннее от него впечатление более связалось с ранней его настроенностью (именно с настроением души, а как художник он вполне уж отходил от «первоначальной» своей манеры).

Июль 1908 года мне пришлось жить у Г. И. Чулкова, на Малой Невке. Осталась память о воде, прохладе, влажном Петербурге, запахах смоленых барж, рыбы, канатов. О взморье, о ночах туманно-полусветлых, о блужданиях — и о Блоке. Не глубокое воспоминание, и не скажу, чтобы значительное. Все-таки осталось. Блок заходил к нам, мы бывали у него. Его образ, ощущение его в то лето отвечали кабачкам, где мы слонялись, бледным звездам петербургским, бродячей, нервно-возбужденной жизни, полуискусственному, полустественному дурману, в котором полагалось тогда жить «порядочному» петербургскому писателю.

Помнится, у Блока резче обозначились уже черты, вес в них прибавился, огрубел цвет лица. Уходил юноша, являлся «совсем взрослый». В этом взрослом что-то колобродило. Каким-то ветром все его шатало, он даже ходил как бы покачиваясь. И на сердце невесело — такое впечатление производил. Мы ездили в ландо на острова, в ночные рестораны, по ночным мостам с голубевшими шарами электрическими, с мягким, сырым ветром. Много и довольно bestолково пили, рассуждали, разумеется, превыспренно, особых незнакомок, впрочем, не встречали. Блок был довольно хмур, что-то утомленное, несвежее в нем ощущалось. Он нездорово жил, теперь-то это ясно, а тогда мы мало понимали.

От вина лицо его приняло медный оттенок, шея хорошо белела в отложных воротничках, глаза покраснели, потускнели. Но стеклянность взгляда их даже и возросла.

Странные вообще были у него глаза.

\* \* \*

В эти годы и последующие Блок написал книги, глубоко вошедшие в нашу поэзию. Из них особенно пронзающей казалась мне «Снежная маска». Ее отчаянье заражало. Сильный, почти трубный звук был в ней. «Прекрасная Дама» рухнула, вместо нее метели (сильно Блоком, как и Белым, почувствованные), хаос, подозрительные незнакомки — искаженный отблеск прежнего, Беатриче у кабацкой стойки. Спокойным это не могло быть. Рыдательность, хотя и сдержанная (Блоку не шел бурный экстаз), все проникала — и большая искренность. Блок никогда не писал для «стихописанья». Формальное никогда его не занимало. У него не было особой выработки, «достижения» его не весьма велики. Стихом хмельным, сомнамбулическим записывал он внутренний свой путь. Его судьба — в его стихах. А так как выражал он и судьбу некоей полосы русской жизни, то он идет в числе немногих «обязательных» в нашем веке.

В предвоенные и предреволюционные годы Блока властвовали смутные миазмы, духота, танго, тоска, соблазны, раздражительность нервов и «короткое дыхание». Немезида надвигалась, а слепые ничего не знали твердо, чуяли беду, но руля не было. У нас существовал слой очень утонченный, культура привлекательно-нездоровая, выразителем молодой части ее — поэтов и прозаиков, художников, актеров и актрис, интеллигентных и «нервических» девиц, богемы и полубогемы, всех «Бродячих собак» и театральных студий — был Александр Блок. Он находил отклик. К среде отлично шел тонкий тлен его поэзии, ее бесплодность и размытость, негероичность. Блоку нужно было бы свежего воздуха, внутреннего укрепления, здоровья (духа).

Откуда бы это взялось в то время? Печаль и опасность для самого Блока мало кто понимал, а на приманку шли охотно — был он как бы крысоловом, распевавшим на чудесной дудочке — над болотом.

\* \* \*

16 августа 1912 года, свежим утром, на Мясницкой у Эйнем, я встретил Блока — и запомнил встречу потому, что это был день важного события в моей семье — рождение нашей дочери.

Радостно было встретить именно тогда Блока московского — спокойного, приветливого, дружески поздравившего и приславшего жене моей цветы и свои книги с очень ласковой надписью. Эти книги долго странствовали с нами, в разнообразных положениях страшной эпохи, — теперь развеяны по ветру.

А сам Блок надолго тогда ушел из поля зрения. Я жил в Москве, он в Петербурге — там и вел то сражение, которое есть земной наш путь.

Ударила война. Он на нее как будто бы не отозвался (общее тогда явление в России). За нею революция, конец всего того и зыбкого, и промежуточно-изящно-романтического, что и был наш склад душевный. Блок стал уж признанной звездой литературы. За это время написал «Розу и крест» — одно из самых тонких и возвышенных своих произведений, с удивительной песней Газтана. Пьеса — в очень разреженном воздухе. Печаль ее неразрешима.

Затем, уж в революцию, шел «Соловьиный сад» — прощанье с прежним, наконец. «Двенадцать».

Ясно помню вечер в одном литературном доме, когда подали мне серый лист газеты.

— Вот, смотрите, что Блок написал.

Фельетоном была напечатана поэма. Блок на сером и унылом листе газеты. Но Блок иной. «Прекрасной Даме», «Розе и кресту» шла готика. «Двенадцать» — другой мир, уже клубившийся вокруг нас — шинелей, и винтовок, и махорки, и мешочников, и крови. Ну, что же, взять его, не побояться, дать грозную его поэзию, возвести к высшему, р а з р е ш и т ь... чем не задача?

Я принялся читать. А позже — возвращался домой снежной, бурной ночью. Трамваев не было уже. Кой-где постреливали и нередко грабили. К обычному в те дни свинцу на сердце Блок подвесил гирьку новую — своей поэмой...



Юрий Анненков

АЛЕКСАНДР БЛОК

Ранняя юность — это последние классы гимназии и первые годы студенчества.

Первокурсники, второкурсники, мы торопились по вечерам в театр Веры Комиссаржевской смотреть пьесы Метерлинка, Пшибышевского, Гауптмана, Ибсена, Леонида Андреева, Александра Блока... Гимназистом, почти мальчишеского возраста, я увидел там блоковский «Балаганчик», шедший в один вечер с «Чудом Святого Антония» Метерлинка, в постановке Всеволода Мейерхольда (исполнявшего также роль Пьеро), с музыкой Михаила Кузмина, одного из самых тонких русских поэтов того времени, и в декорациях Сапунова, утонувшего в 1912 году катаясь на лодке с Михаилом Кузминым по Финскому заливу, против местечка Куоккала.

Театр Комиссаржевской был для нас тогда символом сценических исканий. Светлый, единственный голос актрисы улетал под колосники, унося нас с собою в легчайшей корзинке воздушного шара. Очнувшись при последнем падении занавеса и еще не в силах освободиться от ощущения полета, мы отправлялись из театра гурьбой в подвал к «Черепку», на Литейном проспекте, или к «Соловью», на углу Морской и Гороховой, в пивные «Северный Медведь» или «Северная Звезда», на Песках, на Петербургской стороне, на Васильевском острове, в знаменитую литературную «Вену», на Малой Морской, где Петр Потемкин, поэт-«сатириконец», нацарапал на стене:

В вене — две девицы.  
Veni, vidi, vici.

В подвале «Черепка» лакей, похожий на профессора, скользил на плоских ступнях с подносом от столика к столику. Студенты кричали ему:

- Петражицкий, полдюжины «Старой Баварии»!
- Профессор, копченого угорька! Селедки с луком!
- Слушаюсь, коллега,— отвечал Петражицкий по-университетски.

И вот, в отдельном кабинетике, с красным диванчиком, один из нас, первокурсников, второкурсников, читал вслух стихи Блока. Непременно Блока. Стакан за стаканом, страница за страницей. Окурки в тарелках, чайная колбаса, салат из картошки.

По вечерам, над ресторанами,  
Горячий воздух дик и глух,  
И правит окриками пьяными  
Весенний и тлетворный дух...

Это — из так знакомой нам «Незнакомки».

Вдали, над пылью переулочной,  
Над скукой загородных дач,  
Чуть золотится крендель булочной,  
И раздается детский плач...

Слова у тещи заплетались от выпитого пива. Петражицкий, с салфеткой на руке, слушал, почтительно отойдя в угол комнаты.

И каждый вечер, в час назначенный,  
(Иль это только снится мне?)  
Девичий стан, шелками схваченный,  
В туманном движется окне...

Студенты, всяческие студенты, в Петербурге знали блоковскую «Незнакомку» наизусть. И «девочка» Ванда, что прогуливалась у входа в ресторан «Квисисана», шептала юным прохожим:

— Я уст Незнакоумка. Хотите ознакомились?

«Девочка» Мурка из «Яра», что на Большом проспекте, кланчила:

— Карандашик, угостите Незнакомочку. Я прозябла.

Две «девочки», от одной хозяйки с Подъяческой улицы, Сонька и Лайка, одетые, как сестры, блуждали по Невскому (от Михайловской улицы до Литейного проспекта и обратно), прикрепив к своим шляпам черные страусовые перья.

— Мы пара Незнакомок,— улыбались они,— можете получить электрический сон наяву. Жалеть не станете. миленький-усатенький (или хорошенький-бритенький, или огурчик с бородкой)...

И перья страуса склоненные  
В моем качаются мозгу.  
И очи синие, бездонные,  
Цветут на дальнем берегу...

В подвале «Черепка» чтение продолжалось до рассвета. Язык повиновался все неохотнее, но за «Незнакомкой» шли другие и еще другие стихи:

Я пригвожден к трактирной стойке.  
Я пьян давно. Мне все равно.  
Вон счастье мое — на тройке  
В серебристый дым унесено...

...И только сбруя золотая  
Всю ночь видна... Всю ночь слышна...  
А ты, душа... душа глухая...  
Пьяным пьяна... пьяным пьяна...

Мы пили и пьянели, читая стихи Блока, как Блок пил и хмелел, создавая их.

\* \* \*

Наша первая юность проходила под знаком Блока. Сборники его стихотворений были нашими настольными книгами. «Блоком бредила вся молодежь обеих столиц,— вспоминал Борис Пастернак в «Докторе Живаго»,— Блок — это явление Рождества во всех областях русской жизни, в северном городском быту и в новейшей литературе, под звездным небом современной улицы и вокруг зажженной елки в гостиной нынешнего века»... К какому литературному течению, к какой литературной школе принадлежала поэзия Блока, нас тогда не интересовало: мы ее *слушали*, она проникала в нас и запоминалась мелодически. Впрочем, Блок сам говорил:

«Вначале была музыка. Музыка есть сущность мира. Мир растет в упругих ритмах... Рост мира есть культура. Культура есть музыкальный ритм».

Теории в нашем возрасте были нам еще не по вкусу. Не следует, однако, думать, что мы не были с ними знакомы; но теории, школы, направления, течения представлялись нам в то время не более чем темой для «умных» разговоров. Мы ждали от поэзии другого, и Блок не был для нас случайностью: он был нашим избранником. Мы недолюбливали Бальмонта, называли его «подкрашенным» поэтом. Посмеивались над Зинаидой Гиппиус, потому что она писала от своего имени в мужском роде. Предпочитали мы Брюсова, но он был слишком холоден и академичен, почти так же, как Вячеслав Иванов. Ближе других был Андрей Белый. В Сологубе нам больше нравилась его проза. Городецкого сравнивали с кустарной игрушкой. Тепло прислушивались к Кузмину. Внимательно — к Иннокентию Анненскому. Но избранником был Блок.

Почему именно Блок? Вряд ли мы смогли бы ответить удовлетворительно. Мы сближали Блока скорее с Сервантесом, чем с символистами. Рождение иллюзий, гибель иллюзий не

были для нас символизмом, но жизнью. Вульгарный термин «донкихотство» казался неприменимым к поэтическому образу Дон-Кихота. Доре и Домье, его портретисты, несомненно, были бы с нами согласны. Как знать, может быть, крылья ветряных мельниц действительно не только их крылья? Быть может, кровь тоже не только кровь? Не писал ли Блок:

Вдруг паяц перегнулся за рампу  
И кричит: — Помогите!  
Истекаю я *клюквенным соком!*  
Забинтован тряпицей!..

«О блоковской «Прекрасной Даме» много гадали, — писал Гумилев, преступно расстрелянный Гумилев, — хотели видеть в ней то Жену, облеченную в Солнце, то Вечную Женственность, то символ России. Но если поверить, что это просто девушка, в которую впервые был влюблен поэт, то, мне кажется, сам образ, сделавшись ближе, станет еще чудеснее и бесконечно выиграет от этого в художественном отношении».

Такое объяснение казалось нам «упрощенством», но сами мы приблизительно так и верили.

Теории подкралась к нам потом. По счастью, теории вообще приходят с опозданием, особенно среди самих авторов. Теории раздают этикетки, контролируют и охлаждают вдохновение. Мы применяли к теориям формулу Буало (а может быть, Малерб): «L'ennui naquit un jour de l'uniformité». «Прямая обязанность художника — показывать, а не доказывать», — писал в 1910 году сам Блок, говоря о символизме, сквозь экран которого ему удалось вскоре прорваться. «Пора развязать руки, я больше не школьник. Никаких символизмов больше — один отвечаю за себя», — добавил он спустя три года.

\* \* \*

Я упомянул имя Иннокентия Анненского, и мои воспомина-ния несколько изменили свой путь. Краткая интермедия, которая оторвет нас на минуту от Блока, но приблизит к Петербургскому университету, к которому так близок был Александр Блок, родившийся и проживший первые десять лет в «ректорском доме» этого университета, так как его ректором был в те годы не кто иной, как дед Александра Блока — Андрей Бекетов. Окончив гимназию в 1898 году, Блок поступил студентом в этот университет на юридический факультет, но в 1901 году перешел на славяно-русское отделение историко-филологического факультета.

Коротенькая интермедия, которую я сейчас расскажу, показывает, что поэзия не уживается с бюрократизмом и проходит над ним.



В 1906 году (год, в котором были написаны блоковские пьесы «Король на площади», «Балаганчик», «Незнакомка», «О любви, поэзии и государственной службе»), пятиклассником, я был уволен из казенной гимназии за «политическую неблагонадежность» с волчьим паспортом, то есть без права поступления в другое *казенное* среднее учебное заведение. Пройдя последние классы в «вольной» частной гимназии Столбцова, я вынужден был держать выпускные экзамены в 1908 году при учебном округе, иначе говоря, в присутствии попечителя учебного округа. Этот пост в Петербурге занимал тогда поэт Иннокентий Анненский. Он терпеливо присутствовал при всех испытаниях по всем предметам (нас было больше сорока учеников). За мои ответы по теоретической арифметике, которую я как-то не заметил в течение учебного года, экзаменаторы присудили мне единицу, что делало невозможным получение аттестата зрелости и переход в высшее учебное заведение, то есть для меня — в Петербургский университет, куда я так стремился, что еще до экзаменов уже приобрел серую студенческую тужурку и, конечно, фуражку.

Но через день подоспел экзамен по латинскому языку. Я увлекался латынью и даже перевел для себя в стихах несколько отрывков из Горация, Овидия, Вергилия. В этом возрасте все пишут стихи. И вот случилось невероятное: на мою долю выпал на экзамене разбор овидиевского «Орфея», принадлежавшего именно к числу этих отрывков. Я читал латинский текст почти наизусть:

...O positi sub terra numina mundi  
In quem reccidimus, quidquid mortale creamur...

— Переведите, — сказал экзаменатор.

Не осознав того, что я делаю, и глядя на Анненского, присутствие которого меня чрезвычайно волновало, так как я чтил его поэзию, я закрыл книгу и стал читать по памяти мой перевод, отчетливо скандируя гекзаметр:

В струны ударил Орфей, и его сладкозвучная лира  
Вторила песне со стоном: О боги подземного мира,  
Что уготован для всех, кто б из нас на земле не родился!  
Можно ль без вымыслов правду поведать? Не с тем

я спустился  
К вам, чтобы Тартар увидеть. О, нет... Вдохновите же, Музы!  
И не затем, чтобы шею тройную связать у Медузы,  
В царство теней я сошел, в этот сумрачный мир  
и безликий.—

Долгим и тяжким путем я иду по следам Эвридики...

..... и т. д.

Когда я прочитал последние строки:

Если ж судьба не вернет ее к жизни, останусь я с нею!  
Нет мне отсюда возврата. Так радуйтесь смерти Орфея! —

экзаменатор недоуменно посмотрел на попечителя учебного округа. Анненский, улыбнувшись впервые за дни экзаменов, произнес, посмотрев на меня:

— Перевод, молодой человек, страдает неточностью: у Овидия, как вы знаете, рифм нет...

Затем, обернувшись к сидевшему рядом с ним директору гимназии, он спросил вполголоса, не тот ли я ученик, который получил единицу по теоретической арифметике? Директор утвердительно кивнул головой.

На другой день директор вызвал меня в свой кабинет.

— Начальник учебного округа,— сказал он,— переделал вчера вашу арифметическую единицу на тройку с минусом, заявив, что математика вам, по-видимому, в жизни не пригодится. Аттестат зрелости вам обеспечен.

Двери университета, о котором я так мечтал, раскрылись передо мной. Но я не догадался даже послать Анненскому благодарственное письмо. На следующий год Анненский умер.

\* \* \*

Возвращаюсь к Блоку. Наше студенческое «землячество», устраивая благотворительный литературный вечер, решило обратиться к Блоку с просьбой принять в нем участие и прочесть свои произведения. Одним из делегатов к нему был избран я. На следующее утро мы робко позвонили у двери его квартиры, за зданием Сената, почти у самой Невы. Навстречу вышел хорошо знакомый нам сомовский рисунок: высокого роста, стройный, Блок был одет в темно-коричневую художническую блузу, из-под которой выступал белый мягкий отложной воротник рубахи. Несколько удлиненное, спокойное, чисто выбритое лицо, чуть-чуть высокомерный, а может быть, потусторонний взгляд; светлые волосы курчавым полукругом окаймляли высокий лоб. Блок принял нас не сухо, но и не очень приветливо, внимательно выслушал нас, угостил шоколадными конфетами «Миньон» и, без задержки, ответил согласием.

О холодном, равнодушном и — порой — высокомерном взгляде Блока говорилось часто. Сам Блок много лет спустя, смеясь, сказал мне по этому поводу:

— Имя моего отца — Александр Блок — две начальные буквы алфавита: А и Б. Имя моей матери — Александра Андреевна, урожденная Бекетова: три буквы — А, А и Б. Имя ее отца и моего деда — Андрей Бекетов: А и Б. Мое имя — Александр Александрович Блок: А, А и Б. Я родился и живу в самых

первых рядах алфавита, и, может быть, поэтому многие часто считают меня надменным, высокомерным. В поэзии рядом со мной стоит Андрей Белый: А и Б, а также — и даже впереди нас — Анна Андреевна Ахматова: А, А, А. Правда, ее подлинная фамилия — Горенко, но, инстинктивно, она предпочла букву А и стала Ахматовой. Ее глаза, как и взгляд Андрея Белого, тоже многие считают надменными и ледяными. Но на самом деле это совсем не так.

Благотворительные литературные вечера приняли в ту эпоху (между революцией 1905 года и войной 1914-го) эпидемический характер. Почти полное десятилетие безостановочно, с одной эстрады на другую, с концертов студенческих «землячеств» (с хоровым пением и клюквенным морсом) на благотворительные вечера (с танцами, холодным буфетом и водкой), блуждали знаменитые и полужнаменитые писатели и поэты, любимцы публики, читая отрывки из своих произведений, впитывая благоговящие взоры молодежи, дразня недружелюбие полицейского пристава (присутствие которого было обязательным) и закусывая под «белую головку» в артистической комнате, набитой студенческими тужурками, влюбленными девицами и распорядительскими значками.

На вечере нашего «землячества» Блок, однако, не появился. Леонид Андреев и Александр Куприн оказались более сговорчивыми и не забыли нас посетить. Это было в 1910 году (год смерти Толстого, Комиссаржевской и Врубеля и первой годовщины со дня смерти Анненского). Почти всегда случалось так, что наиболее желаемые участники, давшие обещание, не являлись: если среди других ждали Брюсова, то приезжал только Александр Рославлев<sup>1</sup>; ждали Андрея Белого — появлялся Яков Годин<sup>2</sup>; ждали Максима Горького, а встречали Скитальца; ждали Мережковского, а получали Дмитрия Цензора<sup>3</sup>; ждали Леонида Андреева, а приходил Евгений Чириков<sup>4</sup>. Но везде и всегда появлялся актер Ходотов, неизменно мелодекламировавший под музыку Вильбушевича брюсовскую «гражданщину» (как мы называли этого сорта писательство):

— Каменщик, каменщик в фартуке белом,

Что ты там строишь, кому?

— Эй, не мешай нам! Мы заняты делом:

Строим, строим — тюрьму...

\* \* \*

Через год я уехал за границу, и мое подлинное знакомство с Блоком произошло лишь много лет спустя. Знакомство, перешедшее скоро в дружбу, носило вполне профессиональный характер. Ни Блок, ни я ни разу не вспомнили о нашей первой встрече.

В центре поэзии, рядом с Блоком и Белым, уже стояли тогда Ахматова, Гумилев, Мандельштам, Есенин. Уже отхлынула в прошлое футуристическая и будетлянская волна (Хлебников, Бурлюк, Олипов, Северянин, Каменский, Крученых); Маяковский торопливо переодевался в официального барда марксистской революции; уже полным голосом заявили о себе Ходасевич, Георгий Иванов, Адамович....



Борис Зайцев

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Царицыно — дачное место под Москвой, по Курской дороге.

Недостроенный дворец Екатерины, знаменитые пруды, парк вроде леса. Очень красиво. Сила зелени, произрастание, свежесть и влага. В Москве многие любили Царицыно. Были там и собственные дачи, или — кому особенно нравилось — снимали помещения из года в год у местных жителей, становились как бы летними обитателями Царицына.

— Борю Бугаева отлично помню, — говорила моя жена, в юности тоже царицынская дачница.

— Я была девочкой еще, мы жили в Воздушных садах, около дворца. Дача Бугаевых недалеко оттуда. Боря был светленький мальчик, лет двенадцати, с локонами, голубыми глазами, очень изящный. Прямо скажу даже — очаровательный мальчик. Любил рыбу удить в пруду, так и представляется мне с удочкой на берегу — пруды там огромные. Мать у него была бледная, красивая, отец — профессор в Москве, чудаковатый какой-то. За Борей присматривала гувернантка. Потом, много позже, я встретила с ним в Москве, он стал студентом, и, оказывается, поэт, пишет «Симфонии», «Золото в лазури»... Боря Бугаев оказался Андреем Белым!

Отец «Бори Бугаева» — математик, крашенный старик с разными причудами — молва о нем шла однородная, вряд ли ошибочная.

Профессора этого не приходилось встречать. Мать Белого я немного знал: блестящая женщина, но совсем иных устремлений, кажется очень бурных. Так что Андрей Белый явился порождением противоположностей.

На московском Арбате, где мы тогда с женой жили, вижу его уже студентом, в тужурке серой с золотыми пуговицами и фуражке с синим околышем.

Особенно глаза его запомнились — не просто голубые, а лазурно-эмалевые, «небесного» цвета («Золото в лазури»!), с густейшими великолепными ресницами, как опахала, оттеняли они их. Худенький, тонкий, с большим лбом и вылетающим вперед подбородком, всегда закидывая немного назад голову,

по Арбату он тоже будто не ходил, а «летал». Подлинно «Котик Летаев», в ореоле нежных светлых кудрей. Котик выхолонный, барской породы.

Он только еще начинал писать. Учился на естественном факультете <sup>1</sup>, печатался в «Скорпионе» (издательство), в журнале «Весы» под началом Валерия Брюсова. Считалось среди молодежи тогдашней, что он «необыкновенный» какой-то — поэт, мистик с оттенком пророчественности и символист (по другим — «декадент»). Но не просто декадент, а всем обликом своим являет нечто особенное <sup>2</sup> — не предвестие ли «новой религии»? Видели в нем нечто общее и с князем Мышкиным из «Идиота». Передавали, что в университете вышел с ним даже случай схожий: на студенческом собрании, в раздражении спора кто-то «заушил» его. Он подставил другую щеку.

Ранние его произведения быстро привлекли внимание — насмешливое у старших, сочувственное у молодежи. Лазурь бугаевских глаз в стихах «Золото в лазури» сияла почти ослепительно. Конечно, острей и духовней ощущал он свет, чем кто-либо. «Симфонии» показались необычайными и по форме — полулитература, полумузыка... Лес, кентавры, беклиновское нечто в «Северной». В «Драматической» синие глаза московской красавицы, Владимир Соловьев, Евангелие от Иоанна — все это несло в туманно-музыкальном вихре.

В то время и он, и Блок только еще выходили из-под плаща Соловьева — в «Симфонии» Соловьев с «брадою» своей и в крылатке, развевающейся фантастически, «шествовал» над Москвой в утренних зорях, обещавших и Белому, и Блоку некие откровения, «раскрытия».

Все это оказалось призраком, мечтой, на церковном языке «прелестью». И оба оказались — по-разному, — но вроде одаренных лжепророков.

Как бы, однако, об этом ни судить, что бы ни говорить о Белом и Блоке в целом, юношеский образ «Бори Бугаева» оттиснут в памяти печатью романтической — прозрачные, чистые краски в нем были тогда. И нечто певуче-летающее, с оттенком безумия.

\* \* \*

В публике его сразу определили чудачком, многие и смеялись. Все газеты обошло двустихие из «Золота в лазури»:

Завопил низким басом,  
В небеса запустил ананасом.

Это недалеко от брюсовского:

О закрой свои бледные ноги.

Но Брюсов был расчетливый честолюбец, может быть, и сознательно шел на скандал, только чтобы прошуметь. А у Белого это — природа его. Брюсов был делец, Белый — безумец.

Читал стихи он хорошо, в тогдашней манере, но очень своеобразно, как и во всем, не походил ни на кого. Некоторые считали его гениальным.

Литературно-художественный кружок в Москве, богатый клуб тогдашний, часто устраивал вечера. Особняк Востряковых на Дмитровке отлично был приспособлен — зрительный зал на шестьсот мест, библиотека в двадцать тысяч томов, читальня, ресторан хороший, игорные залы. Брюсов был одним из заправил: заведовал кухней и рестораном.

На одном таком вечере выступает Белый, уже небезызвестный молодой писатель.

Из-за кулис видна резкая горизонталь рампы с лампочками, свет прямо в глаза. За рампой, как ржаное поле с колосьями, зрители в легкой туманной полумгле. А по нашу сторону, «на этом берегу», худощавый человек в черном сюртуке, с голубыми глазами и пушистым руном вокруг головы — Андрей Белый. Он читает стихи, разыгрывает нечто и руками, отпрядывает назад, налетает на рампу — вроде как танцует. Читает — поет, заливаясь.

И вот стало заметно, что на ржаной ниве непорядок. Будто поднялся ветер, колосья клонятся вправо, влево — долетают странные звуки. Белый как бы и не чувствовал ничего. Чтение опьяняло его, дурманило. Во всяком случае, он двигался по восходящей воодушевления. Наконец почти пропел приятным тенорком:

И открою я полотер-рн-ное за-ве-дение...

В ожидании же открытия плавно метнулся вбок, будто планируя с высоты — присел основательно.

Это было совсем неплохо сыграно, могло и нравиться. Но нива ощущала иначе. Там произошло нечто вне программы. Теперь уже не ветер — налетел вихрь, и колосья заметались, волнами склоняясь чуть не до полу. Надо сознаться: дамы помирали со смеху. Смех этот, сдерживаемо-неудержимый, веселым дождем долетал и до нас, за кулисы.

«И смех толпы холодной»... — но дамский смех этот в Кружке даже не смех врагов, и толпа не «холодная», а скорее благодушно-веселая. «Ну что же, он декадент, ему так и полагается».

Все-таки... — какая бы ни была, насмешка ожесточает. И лишь много позже, с годами, стало ясно, сколько горечи, раздражения, уязвленности скопилось в том, кого одно время считали «князем Мышкиным».

\* \* \*

В 1906—1907 годах кучка молодежи литературной издавала в Москве журнальчик «Зори», а затем газету «Литературно-художественная неделя». Объединяли участников родственные черты — некое «русское» (левое) настроение, тяготение к мистицизму и христианству, надежды на зарождавшееся народоправство мирного толка (первые Думы), в литературе и искусстве модернизм умеренного оттенка и не Брюсовского духа. Из петербургских молодых писателей у нас печатались Блок, Ремизов, Городецкий. Из московских — Белый.

Все это предприятие оказалось недолговечным, влияния имело мало, во многом было наивным. Все же след, светлый, в наших сердцах остался — искреннее увлечение юных лет, правда, некие «Зори».

Белый дал нам статью о Леониде Андрееве. Чуть ли не в том же номере появился какой-то недружественный отзыв о Брюсове.

Брюсов, конечно, разъярился. Белый был постоянным сотрудником «Весов» брюсовских — там была строгая дисциплина, — он тоже разъярился (иначе и нельзя было). Как, он, Белый, тогда подчиненный «магу» и «пророку» с Цветного бульвара, сотрудничает у нас?

Встретив где-то П. Муратова, нашего сотоварища, сотрудника по отделу искусства, набросился на него исступленно, поносил и его, и нас в выражениях полупечатных. Князь Мышкин вряд ли одобрил бы их.

Муратов вне себя прибежал ко мне.

— Он всех нас позорит, оскорбляет...

А одновременно появилась и статья Белого в «Весах» против нас, совсем исступленная. Видно было, в каком он запале.

Нетрудно себе представить, что — при нервности и обидчивости юных литераторов — из этого получилось. Собрались у меня, решили отправить Белому ультиматум.

Написал его я, в тоне резком, совершенно вызывающем. Белого приглашали объясняться. Если он не возьмет назад оскорбительных выражений, то «мы прекращаем с ним всякие, как личные, так и литературные, отношения». Назначалось свидание в редакции, на квартире В. И. Стражева.

Труднее всего приходилось тут мне. Я был ближе других к Белому лично. Он просто мне нравился — изяществом, своеобразием, даже полоумием своим. Я считал его и большим поэтом, в спорах всегда и со страстью защищал его. Он со мной тоже был чрезвычайно приветлив и ласков. И вдруг — именно он... Если бы не Белый, было бы легче, можно бы не обращать внимания. Но он! За нехвалебный отзыв о Брюсове! Нет, и горестно, но и спустить нельзя.



В назначенное время собрались в кабинете поэта Стражева: кроме хозяина Б. А. Грифцов, П. П. Муратов, Ал. Койранский<sup>3</sup>, поэт Муни<sup>4</sup> и я.

Звонок. Появляется Белый — в пальто, в руках шляпа, очень бледный. Мы слегка ему кланяемся, он также. Останавливается в дверях, обводит всех острым взглядом (глаза бегают довольно быстро).

— Где я? Среди литераторов или в полицейском участке?

Можно было любить или не любить нас, но на полицейских мы не походили.

Первая же фраза задала тон. Трудно было бы сказать про свидание это, что «переговоры протекали в атмосфере сердечности и взаимного понимания».

— В таком тоне мы разговаривать не намерены. Или возьмите оскорбления назад, или же мы расходимся.

Сражение началось. Белый в тот день был весьма живописен и многоречив — кипел и клубился весь, вращался, отпрядывал, насакивал, на бледном лице глаза в оттенении ресниц тоже металась, видно, он «разил» нас «молниями» взоров. Конечно, был глубоко уязвлен моим письмом.

— Почему со мной не переговорили? Я же сотрудник, я честный литератор! Я человек. Вы не мое начальство. Я мог объясниться, это недоразумение. А меня чуть не на дуэль вызывают...

Я не уступал.

— Мы только тогда начнем с вами разговаривать, когда вы возьмете назад слова о нашем сотоварище и о нас.

Он кричал, что это возмутительно. Я не поддавался ни на шаг. Наконец Белый вылетел в переднюю, я за ним. Тут вдвоем у окна мы разыграли заключительную сцену, вполне достойную кисти Айвазовского.

Мы пожимали друг другу руки и уверяли, что «лично» по-прежнему друг друга «любим», в литературной же плоскости «разошлись» и не можем, конечно, встречаться, но в «глубине души ничто не изменилось». У обоих на глазах при этом слезы.

Комедия развернулась по всем правилам. Мы расстались «друго-врагами» и долго не встречались, как будто даже познакомились. (Издали после страшных прожитых лет это кажется смешными пустяками. Но тогда переживалось всерьез<sup>5</sup>.)

И уже много позже в светлой, теплой зале Эрмитажа петербургского, около Луки Кранаха, случайно столкнулись — нос с носом. Прежние глупости растаяли. Белый засиял своей очаровательной улыбкой, чуть мне в объятия не кинулся. В ту минуту зимнего, неверного дня рядом с великой живописью так, вероятно, и чувствовалось. Неправильно было бы думать, однако, что на зыбком песке можно что-нибудь строить. Нынче мог Белому человек казаться приятным, завтра — врагом.

Весь он был клубок чувств, нервов, фантазий, пристрастий, вечно подверженный магнитным бурям, всевозможнейшим токам, и разные радиоволны на разное его направляли. Сопротивляемости в нем вообще не было. Отсюда одержимость, «пунктики», иногда его преследовавшие.

Одно время это были «издатели». Все зло от издателей. У них тайный союз, чтобы погубить русскую литературу. Их союзником оказался Георгий Чулков. Белому представлялся он мистическим персонажем, как таинственная птица пронесившимся над Россией, воплощавшим в себе... не помню уже что, но весьма не украшавшее. Много сердился тогда этот левый человек, тут в согласии с Пуришкевичем, и на евреев.

Не знаю, была ли у него настоящая мания преследования, но в б л и з и н е е он находился. Гораздо позже я узнал, что в 1914 году, перед войной, ему привиделось нечто на могиле Ницше, в Германии, как бы лжевидение, и он серьезно психически заболел (книга Мочульского <sup>6</sup>).

\* \* \*

Вблизи Спасских ворот, наискосок вниз от памятника Александру II, была в Кремле церковка Константина и Елены. Она стояла уединенно, как-то интимно и поэтически, близ Москва-реки и стены, в осенении деревьев — к ней и добраться не так просто.

Одну пасхальную заутреню встречали мы в ней с Андреем Белым (уже после примирения). Ночь была сырая и туманная, палили пушки, толпа в Кремле, иллюминация — Иван Великий высвечивает золотым бисером, гудят «сорок сороков» торжественным, веселым гулом.

Белый был очень мил, даже почти трогателен — мы христовались, побродили в толпе, а потом отправились к общему нашему приятелю С. А. Соколову (Грифу, поэту, издателю раннего Блока) разговляться <sup>7</sup>.

Легко можно себе представить, что такое были розговины в Москве довоенной, даже не в Замоскворечье, а в доме литературно-интеллигентском: пасхи, куличи, окорока, цветные яйца, возлияния — все в размерах внушительных, в духе того веселого беспорядка, мирной сытости, что вообще уже стало легендой, а тогда стояло на краю пропасти.

У Грифа квартира была небольшая. В длинной и узкой столовой за пасхальным столом все мы и разместились — литературная молодежь того времени. На одном конце стола — Гриф, на другом — жена его, артистка Лидия Рындина. Христовались, смеялись, ели, пили. В середине, напротив меня, сидел Белый, за ним гладкая стена.

Сначала все шло отлично. Хозяева угощали, пили за гостей, мы поздравляли друг друга, уплетали пасху, куличи... Но в некий момент тон изменился. Белого стал задирать Александр Койранский — критик, художник, остро слов, всегда он Белого не весьма чтит, а тут и вино поддержало. Белый начал волноваться, по русскому обыкновению, разговор скакнул с пустяков к серьезному. Смысл бытия, назначение поэта, дело его... Койранский подзуживал, разговор обострился.

И вот Белый впал в исступление. Он вскопчил, начал некую речь — исповедь-поэму:

Золотому блеску верил,  
А умер от солнечных стрел,  
Думой века измерил,  
А жизнь прожить не сумел.

Последняя строчка стихотворения этого, ему принадлежащего, и была, собственно, главным звуком выступления. Тут уже и Койранский, и все мы умолкли. Белый прекрасно, с трагической силой и пронзительностью изображал горечь, незадачливость и одиночество жизни своей. Непонимание, его окружавшее, смех, часто сопровождавший:

Не смейтесь над мертвым поэтом,  
Снесите ему венок.  
На кресте и зимой и летом  
Мой фарфоровый бьется венок.

.....  
Пожалейте, придите;  
Навстречу венком метнусь.  
О, любите меня, полюбите,  
Я, быть может, не умер, быть может, проснусь,  
Вернусь...

Да, то же рыдательное, что и в лучших его стихах, — будто сложная и богатая, на горестную сумятицу и неразбериху обреченная душа томилась перед нами. Что странней всего: в Святую ночь! Когда особенно дано человеку почувствовать себя в потоке мировой любви, единения братского. А он как раз тосковал в одиночестве. Пустой вихрь жизни, раны болят, но пустыньность внутренняя вообще была ему свойственна. Нечто нечеловеческое было в этом удивительном существе. И кого сам-то он любил? Кажется, никого. А груз чудачества, монструозности утомлял.

Фигура его металась на фоне стены, правда, как надгробный венок в ветре. Вдруг он раскинул руки крестом, прижался к стене спиной, совсем побледнел, воскликнул:

— Я распят! Я в жизни распят! Вот мой путь... Все радуются, а я распят<sup>8</sup>...

Расходились поздно, туманным утром. Быть может, Александр Койранский и не так был доволен, что распалил Белого.

\* \* \*

Большая публика не принимала его, но восторженные поклонники у него были. Позже примкнул он к антропософскому движению — приобрел и там верных почитателей.

В те предвоенные годы вышли книги его стихов «Пепел» и «Урна». Как и «Золото в лазури», это, пожалуй, лучшее, что он написал. Некоторые звуки его стихотворений и теперь пронзают и будут пронзать. (Одно было посвящено мне: «Века текут...», но в позднейшем берлинском издании Гржебина он это посвящение снял, несмотря на встречу в Эрмитаже.)

Дал и романы: «Серебряный голубь» — детская и лубочная вещь и «Петербург» — безвоздушная фантазмагория. Много кипел, выступал, ссорился, ожесточался. Имя его приобрело известность, но довольно странную. Во всяком случае, боевую.

Вот небольшой образец этой «боевой» его деятельности.

Читает он в Литературно-художественном кружке. Начинаются прения, выступает среди других некий беллетрист Тищенко, тем известный, что Лев Толстой объявил его лучшим современным писателем. Этот Тищенко был человек довольно невидный, невзрачный, невоинственный. Как вышло, что он разволновал Белого, не знаю. Но спор на эстраде перед сотнями слушателей так обернулся, что Белый вдруг взвился и «возопил»:

— Я оскорблю вас действием!

К нам, заседавшим наверху, в ресторане Кружка, известие это дошло вроде того, как в деревне передают, что загорелась рига.

— Борис, Борис, скорей, там скандал!

Бросились тушить. Но было уже поздно. Из-за кулис вовремя задернули занавес, отделив публику, Белым возмущенную, от эстрады. Зал кипел, бурлил: «Безобразие!», «Еще поэтами называются...»<sup>9</sup>

На большой лестнице картина: спускается Андрей Белый, в полуобморочном состоянии. Кругом шум, гам. Бердяев и моя жена поддерживают его под руки, он поник весь, едва передвигает ноги. Одним словом, Пьеро, и сейчас, как в «Балаганчике», из него потечет клюквенный сок.

Внизу его одели и увезли. Завтра дуэль. Вернулись мы из Кружка на рассвете, условившись с Сергеем Соколовым утром быть уже у Белого — секунданты не секунданты, а вроде того.

Часов в десять явились к нему в Денежный (близ Арбата, мы все жили в тех краях). Белый был действительно совсем белый,

почти в истерике, не раздевался, не ложился, всю ночь бегал по кабинету.

Высокая, великолепная его мать спокойнее, чем мы и «Боря», отнеслась к происшествию. И оказалась права. Излившись перед нами как следует, Белый признал, что вчера перехватил.

Приблизительно говорилось так:

— Тищенко — ничего! Это не Тищенко. Тищенко никакого нет, это личина, маска... (Степун в блестящей статье о Белом называет самого Белого «недовоплощенным фантомом» и как бы сомневается в существовании его как человека.)

— Я не хотел его оскорблять. Тищенко даже симпатичный... но сквозь его черты мне просвечивает другое, вы понимаете... сила хаоса, темная сила, вы понимаете... (Белый закидывает назад голову, глаза его расширяются, он как-то клокочет горлом, издает звуки вроде м-м-м... будто вот они, вокруг, эти силы.) Враги воспользовались безобидным Тищенко... он безобидный. Карманный человек, милый карлик, да я даже люблю Тищенко, он скромный... Тищенко хороший.

Одним словом, окажись тут под рукой Тищенко, Белый кинулся бы его целовать, плакал бы на его груди. А через час мог опять возненавидеть, объявить носителем мирового зла.

По нашему настоянию Белый написал письмо-извинение, Соколов и передал его куда надо. До свинца дело не дошло. А о скандале... поговорили и забыли.



Федор Степун

ПАМЯТИ АНДРЕЯ БЕЛОГО

Да, нет сомнения, что в годы короткой передышки между двумя революциями и двумя войнами, в десятилетие от года 1905 до года 1915, Россия переживала весьма знаменательный культурный подъем. В Москве, в которой жил тогда Белый и на фоне которой помню его, шла большая, горячая и подлинно творческая духовная работа. Протекала она не только в узком кругу передовой интеллигенции, но захватывала и весьма широкие слои. Писатели, художники, музыканты, лекторы и театралы без всяких затруднений находили и публику, и деньги, и рынок. В Москве одно за другим возникали все новые и новые издательства — «Весь», «Путь», «Мусaget», «София»... Издательства эти не были, подобно даже и культурнейшим издательствам Запада, коммерческими предприятиями, обслуживающими запросы книжного рынка. Все они исходили не из запросов рынка, а из велений духа и осуществлялись не пайщиками акционерных обществ, а творческим союзом разного толка интеллигентских направлений с широким размахом молодого меценатствующего купечества. Потому и гнездилась в них и распространялась вокруг них совсем особая атмосфера некоего зачинающегося культурного возрождения. (Филологи — Вячеслав Иванов и С. М. Соловьев — прямо связывали Россию с Грецией и говорили не только о возрождении русской культуры, но и о подлинном русском ренессансе.)

Во всех редакциях, которые представляли собой странную смесь литературных салонов с университетскими семинарами, собирались вокруг ведущих мыслителей и писателей наиболее культурные студенты и просто публика для слушания рефератов, беллетристических произведений, стихов, больше же всего для бесед и споров.

За несколько лет этой дружной работы облик русской культуры подвергся значительнейшим изменениям. Под влиянием религиозно-философской мысли и нового искусства символистов сознание рядового русского интеллигента, воспитанного на доморощенных классиках общественно-публицистической мысли, быстро раздвинулось как вглубь, так и ширию.

На выставках «Мира искусства» зацвела освободившаяся от передвижничества русская живопись. Крепли музыкальные дарования — Скрябина, Метнера, Рахманинова. От достижения к достижению, пролагая все новые пути, подымался на недосягаемые высоты русский театр. Через все сферы этого культурного подъема, свидетельствуя о духовном здоровье России, отчетливо пролегали две линии интересов и симпатий — национальная и сверхнациональная. С одной стороны, воскресали к новой жизни славянофилы, Достоевский, Соловьев, Пушкин, Баратынский, Гоголь, Тютчев, старинная икона (журнал «София»), старинный русский театр (апокрифы Ремизова), Мусоргский (на оперной сцене — Шаляпин, на концертной эстраде — М. А. Оленина-д'Альгейм). С другой стороны, с одинаковым подъемом и в значительной степени даже и теми же людьми издавались и изучались германские мистики (Бёме, Экхарт, Сведенборг) и Ницше. В театрах, и прежде всего на сцене Художественного театра, замечательно шли Ибсен, Гамсун, Стриндберг, Гольдони и другие, не говоря уже о классиках европейской сцены. Собирались изумительнейшие, мирового значения, коллекции новейшей французской живописи и неоднократно выслушивались в переполненных залах доклады и беседы таких «знатных иностранцев», как Верхарн, Матисс, Маринетти, Коген...

Провинция тянулась за столицами. По всей России читались публичные лекции и всюду, даже и в отдаленнейших городах, собирались живые и внимательные аудитории, которые не всегда встретишь и на Западе.

Но, конечно, не все было здорово в этом культурном и экономическом подъеме. Оторванный от общественно-политической жизни, которая все безнадежнее скатывалась в сторону темной реакции, он не мог не опадать в душах своих случайных носителей, своих временных попутчиков ложью, попой, снобизмом. Вокруг серьезнейшей культурной работы в те годы начинал завиваться и темный душок. На окраинах «Нового града» (Белый) религиозной культуры мистика явно начинала обертываться мистификацией, интуитивизм символического искусства — нарочитой невнятицей модернизма и платоновский эрос — огарковством Арцыбашева. К этим запахам духовного растления примешивался и доходил до московских салонов и редакций и более страшный и тревожный запах гари. Под Москвой горели леса, и готовилась вновь разгореться тлеющая под пеплом революция: то пройдут по бульвару пыльщики и покроют последними словами нарядную барыню с куцехвостым догом за то, что окарнала она свою суку «чай при дохтуре», в то время как бабы в деревне рожают без повитух, то пьяные мастеравые жутко пригрозят громадными кулаками в открытые окна барского особняка...

В эти годы московской жизни Андрей Белый с одинаковой почти страстностью бурлил и пенился на гребнях всех ее волн. Он бывал и выступал на всех заседаниях «Религиозно-философского общества»; в «Литературно-художественном кружке» и в «Свободной эстетике» воевал против писателей-натуралистов; под общим заглавием «На перевале» писал в «Весах» свои запальчивые статьи то против мистики, то против музыки; редактировал коллективный дневник «Мусагета» под названием «Труды и дни»; бывал у Скрябиных, Метнеров и д'Альгеймов, увлекаясь вагнеровской идеей синтетического театрального действия (выступал даже со вступительным словом на открытии Maison de Lied Олениной-д'Альгейм); воевал на полулегальных собраниях толстовцев, штундистов, православных революционеров, революционеров просто и всяких иных взбаламученных людей и, сильно забирая влево, страстно спорил в политической гостиной Астровых.

Перечислить все, над чем тогда думал и чем мучился, о чем спорил и против чего неистовствовал в своих выступлениях Белый, решительно невозможно. Его сознание подслушивало и отмечало все, что творилось в те канунные годы как в русской, так и в мировой культуре. Недаром он сам себя охотно называл сейсмографом. Но чего бы ни касался Белый, он, в сущности, всегда волновался одним и тем же — всеохватывающим кризисом европейской культуры и жизни. Все его публичные выступления твердили об одном и том же: о кризисе культуры, о грядущей революции, о горящих лесах и о расползающихся в России оврагах.

---

Наиболее характерной чертой внутреннего мира Андрея Белого представляется мне его абсолютная безбрежность. Белый всю жизнь носился по океанским далям своего собственного «я», не находя берега, к которому можно было бы причалить. Время от времени, захлебываясь в безбрежности своих переживаний и постижений, он оповещал: «берег!» — но каждый очередной берег Белого при приближении к нему снова оказывался занавешенной туманами и за туманами на миг отвердевшей «конфигурацией» волн. В на редкость богатом и всеохватывающем творчестве Белого есть все, кроме одного: в творчестве Белого нету тверди, причем ни небесной, ни земной. Сознание Белого — сознание абсолютно имманентное, формой и качеством своего осуществления резко враждебное всякой трансцендентной реальности. Анализом образов Андрея Белого и его словаря, его слов-фаворитов можно было бы с легкостью вскрыть правильность этого положения.



Всякое имманентное, не несущее в себе в качестве центра никакой тверди сознание есть сознание предельно неустойчивое. Таким было (во всяком случае, до 1923 года, а вероятнее всего, осталось и до конца) сознание Белого. Отсутствующую в себе устойчивость Белый, однако, успешно заменял исключительно в нем развитым даром балансирования. В творчестве Белого, и прежде всего в его языке, есть нечто явно жонглирующее. Мышление Белого — упражнение на летящих трапециях, под куполом его одинокого «я». И все же эта акробатика (см. «Эмблематику смысла») не пустая «мозговая игра». В ней, как во всякой акробатике, чувствуется много труда и мастерства. Кроме того, в ней много предчувствий и страданий.

Не противоречит ли, однако, такое представление о Белом как о замкнутой в себе самой монаде, неустанно занятой выверением своего собственного внутреннего равновесия, тому очевидному факту, что Белый всю жизнь «выходил из себя» в сложнейшей борьбе, которую он не только страстно, но подчас и запальчиво вел против целого сонма своих противников, как верный рыцарь своей «истины — естины»? \* (В последний предвоенный зимний сезон Белый прежде всего вспоминается носящимся по Москве оппонентом и страстным критиком-публицистом, замахивающимся из своих засад против со всех сторон обступавших его врагов.) Если Белый действительно самозамкнутое «я», то что же означает его неустанная общественная деятельность полемиста и трибуна; в чем внутренний пафос его избалованной неугомонности и заносчивого бреттерства? Думаю, в последнем счете не в чем ином, как в борьбе Белого с самим собой за себя самого. Враги Белого — это все разные голоса и подголоски, все разные угрожающие ему «срывы» и «загибы» его собственного «я», которые он невольно объективировал и с которыми расправлялся под масками своих, в большинстве случаев совершенно мнимых, врагов. Вспоминая такие статьи, как «Штемпелеванные калоши», «Против музыки» («Весы»), статью против философии в «Трудах и днях», на которую я отвечал «Открытым письмом Белому» или не помню как озаглавленную (у меня всех этих статей, к сожалению, нет под рукой), статью против мистики, ясно понимаешь, что Белый кидался в бой против музыки потому, что волны ее начинали захлестывать его с головой; что он внезапно ополчался против мистики потому, что, не укорененная ни в каком религиозно-предметном опыте, она начинала издеваться над ним всевозможными мистифицирующими личинами и личинами и что он взвизывался против философии кантианского «Логоса» в отместку за то, что наскоро усвоенная им

\* В этой словесной игре, не больше, нельзя не видеть попытки сближения «истины» и «бытия», т. е. тенденции к онтологическому, бытийственному пониманию истины. *Прим. Ф. Стецуна.*

в особых, прежде всего полемических, целях она исподтишка начинала мстить ему, связывая по рукам и по ногам его собственное вольно-философское творчество. Лишь этим своеобразным, внутренне полемическим характером беловского мышления объяснимы все зигзаги его внутреннего развития.

Начинается это развитие как бы в терцию. С юношеских лет в душе Белого одинаково сильно звучат веления точной науки и голоса, нискликающего в какие-то бездны хаоса. Как от опасности кристаллического омертвления своего сознания, так и от опасности его музыкального расплавления Белый защищается неокантианской методологией, которая в его душе в н о м хозяйстве означает к тому же формулу верности его отцу, математику-методологу (см. «На рубеже двух столетий», с. 68, 69). Но расправившись при помощи «методологии» с «кристаллами» и «хаосом», разведя при помощи «серии» методологических приемов «серии» явлений по своим местам, Белый тут же свертывает свои «серии серий» и провозглашает мистическое всеединство переживаний, дабы уже через минуту, испугавшись мистической распутицы, воззвать к религии и изменить ей потом с теософией. Все эти моменты беловского сознания означают, однако, не столько этапы его поступательного развития, сколько слои или планы его изначальной душевной субстанции. Как это ни странно, но при всей невероятной подвижности своего мышления Белый, в сущности, все время стоит на месте, вернее, отбиваясь от угроз и наваждений, все время подымается и опускается над самим собой, но не развивается. Пройденный Белым писательский путь и его собственное сознание этого пути подтверждают, как мне кажется, это мое положение. Начав с монадологической «невнятицы» своих симфоний, Белый попытался было в «Серебряном голубе», в «Петербурге» и в «Пепле» выйти на простор почти эпического повествования, но затем снова вернулся к своему «я», хотя и к «Я» с большой буквы.

В первой главе своего «Дневника», напечатанного в первом номере «Записок мечтателя» (1919), Белый вполне определенно заявляет: «Статья, тема, фабула — аберрация; есть одна только тема — описывать панорамы сознания, одна задача — сосредоточиться в «я», мне заданном математической точкою».

В сущности, Белый всю свою творческую жизнь прожил в сосредоточении на своем «я» и только и делал, что описывал «панорамы сознания». Все люди, о которых он писал, и прежде всего те, против которых он писал, были в конце концов лишь панорамными фигурами в панорамах его сознания. Мне кажется, что большинство крупных жизненных расхождений Белого объяснимо этой панорамностью его сознания. Самым объективно значительным было, вероятно, его расхождение с Блоком в эпоху «Нечаянной радости» и «Балаганчика»<sup>1</sup>.

Все мы, более или менее близко знавшие Белого, знаем, что

расхождение это имело не только литературные и миросозерцательные причины, но и личные. Дело, однако, не в них, а в том, что Белый еще дописывал «мистическую» панораму своего сознания как объективную картину возникающей новой жизни, в то время как Блок, талант менее богатый, сложный и ветвистый, но зато гораздо более предметный и метафизически более правдивый, прозрев беспредметность и иллюзионистичность себя самой мистифицирующей мистики «рубежа двух столетий», уже отходил на тыловые позиции своей мучительной, горькой, жестокой разочарованности.

Если бы Белый в те поры увидел Блока как Блока, он, вероятно, не написал бы той своей рецензии на «Нечаянную радость» («Перевал», 1907 г.), которую он впоследствии (6-я глава воспоминаний о Блоке, «Эпопея» № 3), в сущности, взял обратно. Но в том-то и дело, что он Блока как Блока не увидел, а обрушился на него, как на сбежавшую из его мистической панорамы центральную фигуру. Впоследствии, подойдя ближе к позиции Блока и в свою очередь испугавшись, как бы «рубеж» не спутал «эротизма» с «религиозной символикой» и не превратил «мистерий» в «козловак», Белый смело, но несправедливо вписал в панораму своего сознания «башню» Вячеслава Иванова как обиталище нечестивых путаников и соглашателей, а верхний этаж Метрополя, в котором властвовал и интриговал редактор «Весов» Брюсов,— как цитадель символической чистоты и подлинной меры вещей. Так всю свою жизнь вводил Андрей Белый под купол своего «Я» в панорамы своего сознания своих ближайших друзей в качестве моментов внутреннего баланса, моментов взвешивания и выверения своего, лишенного трансцендентного центра миросозерцания и мировоззрения. Так эквилибристика мысли сливается у Белого с блистательным искусством фехтовальщика. Но фехтует Белый на летающих трапециях не с реальными людьми и врагами, а с призраками своего собственного сознания, с оличенными во всевозможные «ты» и «они» моментами своего собственного монадологически в себе самом замкнутого «я».

---

Очень может быть, что моя характеристика сознания Андрея Белого подсказана мне моим личным восприятием внешнего облика Белого и моим ощущением его как человека. Последнюю сущность этого восприятия и этого ощущения я не могу выразить проще, короче и лучше, как в форме странного вопроса: да существовал ли вообще Белый? Раскрыть в словах смысл этого на первый взгляд, по крайней мере, нелепого сомнения весьма трудно. Что может в самом деле означать неуверенность в бытии человека? Люди, знавшие Белого лишь

на эстраде и по непосильным для них его произведениям, часто считали его человеком аффектированным, неестественным, нарочитым — позером. Он и сам, описывая в своих воспоминаниях свое объяснение с Блоком, называет себя «маркизом Поза», противопоставляя свою манеру держаться блоковской, исполненной «непоказуемого мужества» и «полного отсутствия позы». Не думаю, чтобы эти обвинения и самообвинения Белого, бьющие в ту же точку, были верны. В Белом была пляска и корча какого-то донельзя обнаженного существа, но у него не было костюма, позы актера. Но как бы то ни было, мои сомнения в бытии Белого ни в какой мере и степени не суть сомнения в его искренности, не суть ходячие в свое время обвинения его в манерности и нарочитости; мои сомнения гораздо глубже и страшнее.

Есть только один путь, на котором человек уверяется в бытии другого человека как подлинно человека, как единогодуховного своего брата. Это путь совершенно непосредственного ощущения изменения моего бытия от соприкосновения с другим «я».

Есть люди, иногда совершенно простые,— матери, няньки, незатейливые домашние врачи,— от простого присутствия которых в душу вливается мир, тепло и тишина. Есть замученные души, нервные, в которых все бьется, как мотор на холостом ходу, и которые вселяют в сердца других страшную тревогу и беспокойство. Не надо думать, что Белый, если бы он вообще мог проливать свою душу в другую, мог бы проливать в нее только одну тревогу и одно беспокойство. У него бывали моменты непередаваемо милые, когда он весь светился нежной лаской, исходил, издавал прекрасной, недоумевающей, виноватой какой-то улыбкой, но даже и в такие минуты сердечнейшего общения он «ухитрялся» оставаться каким-то в последнем смысле запредельным и недоступным тебе существом — существом, чем-то тонким и невидимым, словно пейзаж, призрачным стеклом от тебя отделенным. В своих слепительных по глубине и блеску беседах — «нельзя запечатлеть всех молний» (Белый) — он скорее развешивался перед тобой каким-то небывалым событием духа, чем запросто, по человечеству бывал с тобой. Быть может, вся проблема беловского бытия есть вообще проблема его бытия как человека. Подчас, — этих часов бывало немало, — нечто внечеловеческое, дочеловеческое и сверхчеловеческое чувствовалось и слышалось в нем гораздо сильнее, чем человеческое. Был он весь каким-то не «в точку» человеком.

За пять лет очень частых, временами еженедельных встреч с Белым я успел вдоволь насмотреться на него. И вот сейчас он живо вспоминается мне то в аскетически обставленной квартире Гершензона<sup>2</sup>, под портретом Пушкина, то в убогом «Дону»

у Эллиса, то на заседаниях Религиозно-философского общества в роскошных покоях М. К. Морозовой<sup>3</sup>, то в переполненных аудиториях Политехнического музея, то на снобистически-скандальных собраниях «Свободной эстетики»; позднее под Москвой на даче, где он жил первое время после женитьбы, у нас в гостях; но главным образом, конечно, в «Мусагете», в уютной редакционной квартире на Арбатской площади, где чуть ли не ежедневно собирались «мусагетцы», «орфики», «символисты», «идеалисты» и где под бесконечные чаи и в чайнии бесконечности шла непрерывная беседа о судьбах мира, кризисе культуры и грядущей революции. Беседа, сознаемся, иногда слишком «пиршественная», слишком широковещательная, но все же на редкость живая, глубокая, оказавшаяся во многих пунктах пророческим провидением последующих военно-революционных годов. Пусть большевистская революция эту беседу оборвала — пореволюционной России не избежать углубленного и протрезвленного возврата к ней.

Но вернемся к Белому. Всюду, где он появлялся в те поры, он именно появлялся в том точном смысле этого слова, который неприменим к большинству людей. Он не просто входил в помещение, а, как-то по-особому ныряя головой и плечами, не то влетал, не то врвался, не то втанцовывал в него. Во всей его фигуре было нечто всегда готовое к прыжку, к нырку, а может быть, и к взлету; в позе и движениях рук нечто крылатое, рассекающее стихию: водную или воздушную. Вот-вот нырнет в пучину, вот взовьется над нею. Одно никогда не чувствовалось в Белом — корней. Он был существом, обменивающим корни на крылья. Оттого, что Белый ощущался существом, пребывающим не на земле, а в каких-то иных пространствах и просторах, безднах и пучинах, он казался человеком предельно рассеянным и отсутствующим. Но таким он только казался. На самом же деле он был внимательнейшим наблюдателем, с очень зоркими глазами и точной памятью. Выраженнее — он был внимательным наблюдателем, впрочем, не вполне точно. Сам Белый таковым наблюдателем не был, но в нем жил некто, за него наблюдавший за эмпирией жизни и предоставлявший ему впоследствии, когда он садился писать романы и воспоминания, свою «записную книжку». В беседах с Белым я не раз удивлялся протокольной точности воспоминаний этого как будто бы рассеяннo реющего над землей существа. И все же воспоминаниям Белого верить нельзя. Нельзя потому, что реющее над землей существо в Белом постоянно поправляло своего земного наблюдателя. Наблюдатель в Белом предоставит ему свое описание какой-нибудь бородавки на милом лице, Белый в точности воспроизведет это описание, но от себя прибавит: описанная бородавка есть не бородавка, а глаз. «На рубеже двух столетий» («Начало века»

мне, к сожалению, не удалось получить) — совершенно изумительная книга, но она целиком построена на этой гениальной раскосости беловского взора.

Эта явная раскосость его взора, связанная с двупланностью сознания, поражала меня всегда и на лекциях, где Белый выступал оппонентом. Сидит за зеленым столом и как будто не слушает. На то или иное слово оратора нет-нет да и отзовется взором, мыком, кивком головы, какой-то фигурно выпячивающей губы улыбкой на насупленном, недоумевающем лице. Но в общем он отсутствует, т. е. пребывает в какой-то своей «бездне», в бездне своего одиночества и своего небытия. Смотришь на него и видишь, что весь он словно клубится какими-то обличиями. То торчит над зеленым столом каким-то гримасничающим Петрушкой с головой набок, то цветет над ним в пухе волос и с ласковой лазурью глаз каким-то бездумным одуванчиком, то вдруг весь ощерится зеленым взором и волчьим оскалом... Но вот «слово предоставляется Андрею Белому». Белый, ныряя головой и плечами, протанцовывает на кафедру; безумно вдохновенной своей головой возникает над нею и, озираясь по сторонам (где же враги?) и «бодая пространство», начинает возражать: сначала ища слов, в конце же всецело одержимый словами, обуреваемый их самостоятельной в нем жизнью. Оказывается, он все услышал и все запомнил. И все же как его воспоминания — не воспоминания, так и его возражения — не возражения. Сказанное лектором для него, в сущности, только трамплин. Вот он разбежался мыслью, оттолкнулся — и уже крутится на летящих трапециях собственных вопросов в высоком куполе своего одинокого «я». Он не оратор, но говорит изумительно. Необъятный горизонт его сознания непрерывно полыхает зарницами неожиданнейших мыслей. Своей ширококрылой ассоциацией он в полете речи связывает во все новые парадоксы самые, казалось бы, несвязуемые друг с другом мысли. Логика речи все чаще форсируется ее фонетикой: человек провозглашается челом века, истина — одновременно и истиной (по Платону) и ъстиной (по Марксу). Вот блистательно взыгравший ум внезапно превращается в заумь; философская терминология — в символическую сигнализацию; минутами смысл речи почти исчезает. Но несясь сквозь «невнятицы», Белый ни на минуту не теряет убедительности, так как ни на минуту не теряет изумительного дара своего высшего словотворчества.

Язык, запрядай тайным сном,  
Как жизнь восстань и даруй: в смерти!  
Встань в жерди: пучимый листом!  
Встань тучей, горностаем в тверди.  
Язык, запрядай вновь и вновь...

Но вот Белый спускается с высот и начинает метко нападать на противника. На этих спусках он обнаруживает необычайную начитанность, даже ученость, зоркий критический взгляд и подчас очень трезвое мнение. Тут он вдруг понимает, что «где-то и что-то к добру не приведет», что мы жаждем «ясного, как Божий день, слова».

Людам, нападающим на «невнятицы» Белого, отклоняющим его за туманность его художественного письма и спутанность его теоретической мысли, надо было бы, перед тем как отклонять этого изумительного художника и теоретика, серьезно задуматься над тем, что все невнятицы, туманности и путаницы Белого суть явления в ы с о т ы, на пути к которой Белый умел бывать и внятными, и ясным, и четким.

Два свидания с Белым — одно, вероятно, в зиму 1911/12 года в Москве, другое, последнее, накануне его отъезда из Берлина в Россию — запомнились мне особенно ярко. Рассказать о них подробно все же не смогу, потому что, в сущности, ничего не помню, кроме нескольких маловажных деталей да очень важного для моего понимания Белого, но почти не поддающегося описанию ощущения запредельности и призрачности беловского бытия.

Стояла совсем поздняя осень. Белый пришел за какие-нибудь 5—10 минут до того, как спускать шторы и зажигать лампы. В мой кабинет с большим письменным столом у окна вынырнул он из-под портьеры передней с крепко сжатыми перед грудью ладонями и округло-пружинящими, словно пытающимися взлететь локтями. Остановившись перед окном, он обвел блуждающим взором мой стол и блаженно улыбнулся вопросом: «А вам тут очень хорошо работать?» Затем опустился в кресло и отошел в себя. Я сразу почувствовал, что, собравшись поговору к нам, он не выключил в себе творческого мотора и что перед ним клубятся какие-то свои галлюцинации. Ни последовавшего тут же разговора, вероятно о мусagetских делах, ни ужина не помню. Помню только уже очень поздний час, отворачивающуюся в сторону от едкого дыма папиросы вдохновенную голову Белого, то наступающего на нас с женой с широко разверстыми и опущенными книзу руками, то отступающего в глубину комнаты с каким-то балетным приседанием. Весь он, весь его душевно-телесный состав, явно охвачен каким-то творчески-полемическим иступлением. Он говорит об общих знакомых, писателях, философах, и, Боже, что за жуткие карикатуры изваяет он своими гениальными словами! Смотрю и слушаю: нет, дело не в недоброжелательстве к людам и, конечно, не в издевательствах над ними. Дело просто в обреченности Белого видеть мир и людей так, как иной раз по ночам, в особенностях в детстве, видятся разбросанные по комнате предметы. Круглый абажур лампы на столе, рядом на

стуле белье, и вот — дух захватывает от страха: в кресле у постели сидит скелет в саване...

В тот вечер, о котором я пишу, я впервые понял, что в Белом и его искусстве (например, в «Петербурге», который он совершенно изумительно читал, вбирая в расширенные ноздри бактерии петербургских задворков и утраченно приносясь плечами в кресле, как приносясь в петербургских туманах острова с циркулирующими по ним субъектами) ничего не понять, если не понять, что Белый всю жизнь все абажуры видел и изображал в момент их превращения в черепа, а все стулья с брошенным на них бельем в момент их превращения в саваны. Видя так предметы своего обихода, он еще в большей степени видел так и людей. В каждом человеке Белый вдруг открывал (часто надолго, но вряд ли когда-нибудь навсегда) какую-нибудь особую, другим не видимую точку, из которой, наделенный громадной конструктивной фантазией, затем рождал и развивал свой образ, всегда связанный с оригиналом существеннейшим моментом острого, призрачного, ночного сходства, но в целом предательски мало похожий на живую действительность.

В вечер первого моего сближения с ним Белый был как-то особенно в ударе. Создаваемые им образы-фантомы магически награждались им всей полнотой эмпирической реальности и рассказывались вокруг него по стульям и креслам...

Разошлись мы очень поздно, я вышел проводить его за ворота. На дворе осень превратилась в зиму. От белизны и чистоты выпавшего снега я ясно и радостно ощутил большое облегчение. Вернувшись в прокуренную квартиру, я остро почувствовал, что в ней тесно, и открыл окна в надежде, что невидимо сидящие на стульях гротески, среди них много добрых знакомых и друзей, вместе с папиросным дымом выключатся в чистую, от снега светлую ночь.

Зимой 1922/23 года я виделся с Белым редко. Последний раз мы были у него с женой, думается, совсем незадолго до его все же внезапного отъезда в Россию. Пришли к нему, узнавши, что он болен, неухожен и даже нуждается. Его действительно трясла лихорадка. Во время разговора, касавшегося его отъезда в Россию, издательских дел, авансов и Алексея Толстого, он, как зверь по клетке, ходил по комнате в наброшенном на плечи пальто. Главное, что осталось от разговора,— это память о том, что, разговаривая с нами, Белый ни на минуту не отрывался от зеркала. Сначала каждый раз, проходя мимо, бросал в него долгие внимательные взоры, а потом уже откровенным образом сел перед ним в кресло и разговаривал с нами, находясь все время в мимическом общении со своим отражением. В эти минуты ответы мне становились всего лишь



репликами «в сторону»; главный разговор явно сосредоточивался на диалоге Белого со своим двойником. Раздвоение Белого, естественно, заражало и меня. Помню, что и я стал заглядывать в зеркало и прислушиваться к мимическому общению Белого с самим собой. Разговора нашего не помню, но помню, что слова его все многосмысленнее перепрыгивали по смыслам, а смыслы все условнее и таинственнее перемешивались друг с другом.

Не будь Белый Белым, у меня от последнего свидания с ним осталось бы впечатление свидания с больным человеком. Но в том-то и дело, что Белый был Белым, т. е. человеком, для которого ненормальная температура была лишь внешним выражением внутренней нормы его бытия. И потому, несмотря на всю сирость, расстроенность, бедность и болезненность в последний раз виденного мною Белого, мое последнее свидание с ним осталось в памяти верным итогом всех моих прежних встреч с этим единственным человеком, которым нельзя было не интересоваться, которым трудно было не восхищаться, которого так естественно было всегда жалеть, временами любить, но с которым н и к о г д а нельзя было попросту быть, потому что в самом существенном для нас, людей, смысле его, быть может, и не было с нами.



А. Тургенева

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ  
И РУДОЛЬФ ШТЕЙНЕР

Лишь случайно доходили в мой швейцарский угол сообщения эмигрантской печати об отношении Андрея Белого к Рудольфу Штейнеру и его труду. Откликаться на них не имело смысла хотя бы потому, что в русских кругах было определенное нежелание ознакомиться с деятельностью Штейнера, и они удовлетворялись, можно сказать, единогласьем отрицательных отзывов о нем представителей различных направлений. Но тема эта, потеряв более чем за сорок лет личный характер, не утратила своей остроты.

Примером могут служить статьи в последних номерах «Мостов», в частности написанная незадолго до его смерти статья Ф. А. Степуна (Мосты. № 11) с характеристикой Белого<sup>1</sup>. Но перед тем как говорить о ней, коснемся высказываний двух критиков более раннего периода, придававших большое значение литературному труду Андрея Белого и изучавших его с любовью в тесной связи с биографическими данными о жизни писателя. Эти критики — Р. Иванов-Разумник и К. Мочульский. Но и они, подходя к времени, когда Белый встречался с Рудольфом Штейнером, допускают крупные ошибки, влияющие на их выводы о значении этой встречи для писателя. Так, Иванов-Разумник полагает, что Белый примкнул к антропософии Штейнера уже в 1909 году, и поэтому делает заключение, что «Петербург» был написан под ее, в художественном смысле, влиянием. В действительности Белый познакомился с антропософией весной 1912 года, то есть тремя годами позже, и только две последние главы «Петербурга» были написаны Белым, когда он был членом Антропософского движения.

Более осведомленный об этом периоде (1909—1912) К. Мочульский описывает его очень подробно и точно, но он почему-то считает, что первая встреча со Штейнером произошла между Христианшей и Берлином в 1912 году и что после этого Белый поехал в Англию. На самом деле поездка в Берген (а оттуда в Берлин) состоялась в октябре 1913 года, то есть через полтора года после первой, решающей встречи со Штейнером в Кёльне.

Интересно отметить, что эта ошибка привела Мочульского к выводам, прямо противоположным тем, которые сделал Иванов-Разумник из-за своей ошибки.

При всем их различии в отрицательном отношении к Рудольфу Штейнеру оба эти критика единодушны: оба они считают, что антропософия погубила в Бугаеве писателя. То же думает и Степун. Но почему Степун считает, что Андрей Белый «с ненавистью отошел от Штейнера», и отошел ли он в действительности? <sup>2</sup>

Этот вопрос ставится не только в эмиграции: судя по скудным сведениям, им интересуются и в России.

Нет сомнения, что во время кризиса 1922—1923 годов в Берлине, в состоянии аффекта, Бугаев выражался о Штейнере враждебно. То, что об этом А. Белый печалал сам, лежит на его ответственности, но надо ли его за это осуждать? Литературные круги знали Белого с начала столетия, они знали, что подобные болезненные состояния и выпады с ним случались не раз — стоит только взглянуть в воспоминания о нем Бориса Зайцева (Мосты. № 10) <sup>3</sup>.

Прав Степун в том, что нападки Белого не могут вредить Штейнеру. Но они вредят отношению к нему тех, кто не знает всех фактов. Выпады эти Степун объясняет изменчивым характером Белого как человека и писателя: он нападал и на ближайших друзей, например на Блока. Но в выводах своих Степун ошибается: Бугаев глубоко страдал из-за семилетнего расхождения с Блоком и был счастлив, когда они вновь нашли друг друга. Тут не было измены, и причину надо искать в сложности его душевного склада, в бессознательном ощущении им опасности себе и другим и неправомерном внесении искажающего влияния этих ощущений в действительность.

Степун допускает, что Белый мог временно вернуться к Штейнеру, а потом снова отойти от него. Тут опять ошибка: в разгар нападков на Штейнера Бугаев говорил (если не дословно, то по смыслу достоверно), что как бы он ни бунтовал и ни ругал «Доктора», так он называл Штейнера, он никогда от него не отойдет, «потому что я знаю, что в антропософии правда, что в нем — правда. *Я это знаю*, — повторял он, — и от этой правды никогда не отойду».

Из этих слов видно, что мы имеем тут дело с двойственностью, проявлявшейся не в разное время, как думал Степун, а одновременно и поэтому ставящей вопрос о ней на совершенно другую плоскость.

Одной из основных тем Белого было нахождение современного сознания «на перевале». Наши деды не знали болезни раздвоения личности, можно сказать — распада ее душевного состава. И интерес к надлому внутренней жизни Белого основан, быть может, на том, что он, в своих предощущениях,

дал нам яркий пример испытаний на пороге сознания, осилить которые возможно лишь путем углубления в тайны человеческого существования.

Была ли ему оказана помощь на этом пути? После разговора со Штейнером в Штутгарте, перед отъездом в Россию, Бугаев говорил моей сестре, что данное ему на прощанье Доктором будет ему помощью во всей его последующей жизни.

И все же есть основания предполагать, что два года спустя, в России, та же «единовременная двойственность», раздвоение сознания, без видимой внешней причины опять овладела им. Но об этом после. Тут надо лишь оговориться, что помощь Штейнера никогда не затрагивала свободы Белого и не влияла на его судьбу.

Как относился Бугаев к Штейнеру? Как подошел он к антропософии и жил в ней? В кратком наброске можно лишь попытаться подойти к этим вопросам.

Осенью 1905 года в Лоскутной гостинице в Москве, у моей тети Марии Алексеевны Олениной-д'Альгейм, Андрей Белый читал, вернее, пел и пел все выше свои стихи:

А поезд летит и летит и летит...

Крылатый поезд уже скрывался за облаками, и можно понять, что пятнадцатилетней девочке, выросшей в деревне, на Пушкине, пришлось спасаться за спиной матери, чтобы скрыть неудержимый смех.

Как опаленные — но каким огнем? — выглядели эти декаденты. Конечно, стихи Владимира Соловьева были хороши, но на какую прекрасную даму намекали наши новые друзья, оставалось неясным.

Вскоре д'Альгеймы увезли нас с сестрой во Францию. В Лувре Египет и Греция, особенно древняя, дали мне ответ, удостоверив, что боги однажды вместе с художниками работали над камнем. Прошлое явно не ведало наших границ рождения и смерти. Что человеческая душа связана перевоплощениями со всей жизнью в истории, не подлежало сомнению, но где найти память об этом, где найти знание, соединяющее земное с надземным? Оставалось ждать и пока изучать гравюру в Брюсселе.

Эта работа дала повод для первого разговора с Андреем Белым, через четыре года после встречи в Лоскутной. Мне поручили нарисовать его портрет. Он выглядел еще более нервным, чем прежде. «Вот посмотрите, — говорил он, — я вчера получил эту фотографию от теософки Клеопатры Петровны Христовой. Это немецкий ученый, он утверждает, что

можно научным путем подойти к духовному миру». — «О, это мужественный ученый», — был мой ответ. Посмотрев внимательно на строго вырисованные черты этого лица, пришлось задуматься, столько было в них глубокой, знающей воли. Как может такой человек принадлежать к теософам? Ведь они, по крайней мере московские, в лучшем случае — материал для забавных анекдотов.

На что намекали письма Бориса Николаевича вскоре после моего отъезда в Бельгию, я узнала лишь впоследствии. В круг его жизни вошла «окультистка» и ясновидящая Анна Рудольфовна Минцлова, вызванная на это, как она говорила, словами Белого о розенкрейцерах в предисловии к его книге стихов «Урна».

По рассказам, она напоминала Блаватскую. Обладая глубокими знаниями, она горела стремлением создать круг людей в помощь стоящим за ней руководителям для борьбы с угрожающими человечеству в близком будущем катастрофами. Существовали ли эти руководители? Она была, несомненно, искренна и умела влиять на окружающих, несмотря на свою хаотичность. Она и ее друзья хотели послать Белого за границу, к своим сообщникам, — его решение на время отложить эту поездку имело неожиданные последствия. Минцлова заявила, что она должна скрыться, навсегда покинуть собранных ею друзей, — так она и сделала (Бердяев в своих воспоминаниях подтверждает этот факт. Подробно о Минцловой писала также М. В. Волошина в своей «Die grüne Schlange»). На прощанье Минцлова сказала Бугаеву, что в течение года он, может быть, встретит тех, с кем она хотела его свести. Слова эти остались загадкой; со временем все же выяснилось, что Минцлова, бывшая ученица Штейнера, получила свои обширные познания от него, но потом с ним разошлась.

В кратких заметках нельзя передать бредовую атмосферу, окружавшую группы людей в России, переживавших эти и подобные им происшествия, в обстановке того времени. С разными оттенками эти настроения были свойственны многим кругам. И, приезжая из Западной Европы, ты каждый раз был захвачен душевным богатством и интенсивностью московских разговоров до трех часов ночи, за остывшим самоваром (в Петербурге, в «Башне» Вячеслава Иванова они длились нормально до шести утра, но были более определенными, литературно-эстетическими). Но что следовало из этих разговоров? Они велись изо дня в день, непрерывно, пока кто-нибудь из участников не выдерживал и не начинал «бунтовать», впадая в «истеричку», — такой отсылался друзьями в деревню на поправку.

Можно подсмеиваться над подобной затратой энергии, но нельзя не отмечать, что нигде, как только в России, в эти первые годы столетия (годы исключительной важности в эволюции

человечества, по словам Рудольфа Штейнера) надежда на духовное обновление не переживалась с такой силой — и нигде с такой силой не был пережит вскоре срыв этих надежд.

«Ждали *Утешителя*, а надвигался *Мститель*», — писал Андрей Белый в «Драматической симфонии» в 1902 году.

О, как паду — и горестно, и низко,  
Не одолев смертельные мечты!

Как ясен горизонт! И лучезарность близко.  
Но страшно мне: изменишь облик Ты...—

в те же годы говорил Блок. Вспомним и его более позднее, пророческое «Куликово поле».

Можно понять, что надвигающийся хаос искажал устремления молодых предвестников. Один Соловьев мог бы им помочь, но он умер в 1900 году.

Иной характер носили симптомы будущих зол на Западе. Говорить на серьезные темы там считалось невоспитанным. Бесцельная спешка, подобная крутящемуся по инерции колесу машины, казалось, овладела толпой. Куда ведет ее самоуверенное благополучие? Что охранит их ценности от нового варварства?

Наиболее драматично предупреждала нас о предстоящем русская природа на Волыни летом 1911 года. Сидя ночами на террасе всей семьей, в том числе с убежденным марксистом, не допускавшим необъяснимого, мы прислушивались к невнятному гулу с большой дороги, проходившей из Луцка за версту от нашего дома. Гул, похожий на этот, стоял по ночам над Москвой в 1904 году, многие слышали его тогда. Теперь чудилось в нем движение по большаку тысячных толп, крики, грохот колес и глухие, как бы подземные удары — грома или пушек? Войной четырнадцатого года Луцк был наполовину разрушен.

В Москве встретила неожиданность: имя Штейнера вошло в обиход, им интересовались в Религиозно-философском обществе, в научных и литературных кругах, среди молодежи, собиравшейся в мастерской скульптора, если не ошибаюсь, Крафта. Часть этой молодежи занималась у Белого по ритмике, среди них Ходасевич, с ними общался и Пастернак. Главным пропагандистом Штейнера был знаменитый своими статьями в «Весах» Эллис-Кобылинский. Он ходил уже больше года в пальто, похожем на монашескую хламиду, питался пшенной кашей; бледный, с горящими глазами, он действительно напоминал средневекового испанского монаха.

Эллис распространял по Москве, как оккультные сенсации, сведения, выхваченные из закрытых циклов лекций Штейнера — и странным образом к этим «оккультным сенсациям» в Москве прислушивались с интересом, без особой критики, если они не

касались специальных областей. В этом случае было иначе: так, представители различных философских толков обзывали Штейнера абсолютным дилетантом в их учениях; литературно-художественные круги видели в нем верх бездарности; вместе с тем даже среди наиболее враждебно настроенных мистиков и церковников, считавших его чуть ли не предвестником антихриста, были такие, которые зачитывались его «циклами». Помнится, только священник Флоренский проявил объективность: не принимая Штейнера, он все же в своем труде «Столп и утверждение истины» уделил его изысканиям о красках ауры несколько страниц.

Интересно отметить, что в Германии отношение к Штейнеру было противоположным. Там культурные круги знали и ценили труды подающего надежду молодого ученого. Но как мог он перенести свою деятельность на более чем сомнительное поле оккультизма? И к тому же — в Теософское общество? Это переходило границы допустимого. И вопрос этот стал понятен только впоследствии.

Пока что Андрей Белый метался среди различных школ неокантианства, стараясь обосновать свои теории выхода из них символизма. Как и все русские, он был убежден, что Штейнер ни в философии, ни в искусстве ничего не понимает. Под впечатлением от Минцловой и к оккультным исследованиям большинство в нашем кругу относилось свысока. Но у меня, по прочтении двух вышедших тогда книг Штейнера, выросла уверенность, что у него я найду ответ на мои вопросы. В первой книге — «Как достигнуть познания высших миров» — путь к этому познанию трактовался не как тренировка тех или иных наших свойств, а как полное преображение всего человеческого существа. В другой книге — «Христианство как мистический факт» — была дана возможность увидеть смысл эволюции человечества в виде ступеней развития, ведущего к центральному событию истории, действительному в ней извечно, в дохристианском прошлом и в грядущем. Как мог Бердяев, поставивший столь значительные вопросы в своих письмах к Белому<sup>4</sup>, пройти мимо этой книги? (Мосты. № 10.)

К весне 1912 года Андрей Белый начал задыхаться в литературной среде, его тянуло за границу, спокойно работать над «Петербургом», и мы решили пожить в Брюсселе, неподалеку от моего старого учителя гравюры.

Белый неоднократно подчеркивал, письменно и устно, правильность этого решения, оно привело его к самым значительным переживаниям в жизни. Этим переживаниям предшествовали события, писать о которых было бы неправомерно, если бы сам Белый подробно и — за исключением небольших ошибок — точно не говорил о них в журнале «Беседа» (Берлин, 1922 год).

Понятие «посвященный» столь растяжимо, что естественно ставить его под вопрос. Однако личный опыт еще до встречи со Штейнером показал нам, что среди нас есть люди, владеющие знанием и умеющие применять его в степени, далеко превышающей знакомые нам нормы. И сначала с помощью сна, переходящего потом в действительность, у нас создался, можно сказать, психический контакт с группой таких людей, длившийся несколько недель. Из него выросли три потрясающего впечатления встречи. Первая воспринялась как непосредственное воздействие волевой силы, вторая притягивала обаянием, третья была призывом. И нужно было большое концентрированное усилие, чтобы не откликнуться. Откуда это, разве мы примадонны? Почему комнаты наши заполняются благоуханием незримых цветов? Чем заслужили мы такое внимание, даже если это от друзей Минцловой? Рудольф Штейнер скажет нам, идти ли им навстречу. Он открыто ведет свое дело и сам несет ответственность за него, никого не зазывая: ему можно доверять. Бросив обед, мы кинулись на вокзал, а оттуда в Кёльн, куда, как мы случайно узнали, поехал Штейнер.

Нельзя сказать, чтобы в Кёльне нас встретили особенно любезно, было ясно, что им не до нас, но все же, как русских, нас пригласили на лекцию для членов. Мы попали в толпу теософов, преимущественно дам, очень безвкусно одетых, но среди них было много милых лиц без масок, которые постоянно встречаешь на Западе. Издали мелькнули черты лица, виденного на фотографии три года назад, — и тут не было вопроса, мы нашли то, что искали, что жило в глубине души как самое близкое. Лекция на незнакомом мне языке была, как музыка, понятна переживанию. В несколько месяцев на этих лекциях понятиен стал и язык.

Несмотря на первоначальный отказ, два дня спустя мы были позваны для разговора со Штейнером. Он молча выслушал наш сумбурный рассказ, но примечательно было, как он слушал: за словом, за голосом он прислушивался к чему-то более важному. И сколько тепла было в широко раскрытом взоре; чувствовалось, что сквозь настоящее он смотрит в наше, неведомое нам далекое прошлое, наше надвременное сопоставляя с достижениями и слабостями. Но странно, это не связывало свободы, ему можно было довериться. Это — человек. Впервые чувствовалась неизмеримая полнота этого слова; вместе с тем было и чувство, что человек этот самый нам близкий и что он — абсолютной простоты, внимания и человечности.

Как Кёльнский собор среди города, возвышался он над людьми нашего уровня.

Единственным ответом на наши рассказы было приглашение к июлю в Мюнхен — «если вы свободны. Там вы посмотрите, как мы живем». В другом ответе и не было нужды.



Узнав о нашей поездке в Кёльн, неожиданно из Берлина нагрянул Эллис-Кобылинский, как всегда в монашеском одеянии и без копейки денег. Целую неделю мы находились в потоке его рассказов, из позаимствованного в лекциях Рудольфа Штейнера.

Эллис не оставил после себя значительного труда, но он был гениальным собеседником, исключительной, глубокого трагизма личностью, горящей постоянным огнем. От Маркса он перепрыгнул в демонизм, бодлеризм и символизм, от Прекрасной дамы к католической Мадонне, сожалел, что Доктор не иезуит, и после двух лет потрясающих душевных драм успокоился в лоне католической церкви, где и умер.

Для Белого волновавшие нас события в Брюсселе превратились в кошмар наяву, и он сбегал от них к д'Альгеймам в Париж, даже не ожидая меня.

В памяти остались слова, сказанные в ответ на мои неумелые рассказы дядей, Петром Алексеевичем д'Альгеймом: «Если твои рассказы не выдумка, мы тут имеем дело с величайшим откровением духовных истин, такого еще не бывало. Я всегда верил, что такие знания сохраняются в тайниках истории. Почему они приходят именно теперь? Если это несвоевременно, это не к добру». На другой день он принес ответ: «Этой ночью я нашел в Зохаре <sup>5</sup> ученье о семи архангелах, циклически руководящих судьбами человечества. По вычислениям переводчика, мы входим в период, когда архангел Гавриил в последний раз принял это руководство, а управлять им с этих пор будет Мессия. Если это так, мы стоим перед исключительным духовным событием, связанным с переворотами и переломами. К такому событию человечество должно быть подготовлено исключительными, духовными откровениями» (П. А. д'Альгейм не смог преодолеть постигшую вскоре после этого его болезнь).

Лет десять спустя это учение Зохара нашло подтверждение в изысканиях Рудольфа Штейнера. В подобных сообщениях он исходил не из книг и документов, а исключительно из личного исследования.

В Мюнхене Бугаев погрузился в изучение нового пути по данным антропософии, идущим от духовного в человеке к духовному вселенной, в отличие от теософского пути. Вскоре Антропософское общество окончательно выделилось из Теософского.

В своей автобиографии «Между двух революций» Белый пишет, как в 1906 году, вскоре после трагических переживаний, связанных с Блоком, под темными сводами Августиновой пивной (Augustiner Keller) его охватывали непонятные состояния, нечто вроде воспоминаний о прошлых воплощениях, встреч

с двойником (за неимением подлинника, перевожу с немецкого): «Тут мне показалось, что я нахожусь не в пивной, но под сводами пещеры в старой Германии III века, и возникало желание уйти из моей родины в леса, в чужую жизнь и вдруг подойти к встречному, стоящему на берегу лесного потока, как я стоял над Невой, и сказать ему: «Брат! Может, так это и должно быть?» Я расплачиваюсь и иду тихими улицами мимо кофейни Луидпольд (Luidpold), в ней зал для лекций, сидя в нем, многое я пережил... Шесть лет спустя слышал я в этом зале ответы на вопросы сознания, встававшие и прежде в Августиновой пивной». Шесть лет спустя, в 1912 году, в зале кафе Луидпольд, мы слушали цикл лекций Рудольфа Штейнера на тему «Стража порога» (порога духовного мира).

Помня, что Штейнер ничего не понимает в искусстве, Бугаев менее всего интересовался мистериями-драмами Штейнера, которые играла группа, состоявшая из любителей. Но, к его удивлению, ему пришлось радикально изменить свое отношение: такой формы искусства он еще не встречал.

Затаив дыхание, с десяти утра до сумерек следили мы за ходом представлений, далеко не всегда удовлетворительно разыгранных, но важно было не это. Особенно потрясали своей непосредственной реальностью образы Люцифера и Аримана,— многое почерпнул из этого источника Вячеслав Иванов.

Постановка этих мистерий вызвала в Обществе потребность построить соответствующий им театр, и Штейнер взял на себя изготовление для него модели. Так, в 1913 году в Дорнахе, вблизи Базеля, был заложен новый антропософский центр.

Есть бытие, но именем каким  
Его назвать? Не сон оно, ни бденье.  
Меж них оно и в человеке им  
С безумием граничит разуменье.  
Он в полноте сознания своего,  
А между тем, как волны, на него  
Видения бегут со всех сторон.  
Как будто бы своей отчизне давней  
Стихийному волнению отдан он,  
Но иногда мечтой запечатленной  
Он видит свет, другим не откровенный.

Быть может, это предисловие Баратынского к его трем видениям будущего человечества наиболее точно передает тот мир, в который с головой ушел Белый более чем на три года. Для уравновешенной работы этот мир, при помощи медитации, обращается познавательным путем «мечты запечатленной». Богатство переживаний, но и большие опасности встречает на этом пути тот, кто, как Бугаев, с детства обладает способностью жить в мире созданных им образов, особенно если эти образы, как мы знаем из опыта Дарьяльского в «Серебряном

голубе», овладевают возможностью восприятия окружения. Если бы Бугаев серьезнее занялся разработкой своих образов, из него, вероятно, вышел бы значительный живописец.

В течение двух лет мы следовали за Штейнером по Европе из города в город, слушая его лекции. К этому периоду относятся строки из мемуаров Белого от 1929—1930 годов («Между двух революций»): «...это было так, что «я сам» в то время (подразумеваются годы 1904—1908) не был мной «самим», «сам я» проявился, когда порвал со всеми салонами (московских и петербургских кружков), скрылся на четыре года из московской тюрьмы. Это было в 1912 году». В 1912—1913 годах вся наша жизнь стояла под знаком лекций Рудольфа Штейнера.

Сложное построение публичных выступлений требовало большой сосредоточенности, в них не было ничего облегчающего восприятие антропософии, но чувствовалась напряженная борьба с абстрактностью нашего мышления. На членских собраниях, иной раз в невзрачных стенах комнаты, прилегающей к провинциальному кафе, слова Штейнера переживались как событие, и казалось, что нет ничего важнее, как хотя бы одним присутствием принимать в нем участие.

Осенью 1912 года в Базеле нас посетил Вячеслав Иванов. Он хотел вступить в Общество и просил устроить ему свидание со Штейнером, но Штейнер поручил нам отсоветовать Иванову это намерение. С тех пор мы Иванова не видели.

Зимой в Берлине, между поездками, Белый заканчивал «Петербург».

Весной, по дороге в Гельсингфорс, на курс лекций Штейнера, мы задержались на несколько дней в Петербурге, повидать старых друзей. Не забыть тихой радости, с которой встретил Бугаева Блок, но и глубокой грусти отклика на наши восторженные рассказы: он уже не способен был поверить новому, слишком много было пережито и потеряно в прошлом.

У Мережковских ощущалась неловкость, от чувства утери прошлой близости. Штейнер их не интересовал, в 1906 году они встретились с ним в Париже — к взаимному неудовольствию. «Башня» Вячеслава Иванова пустовала.

Русских на гельсингфорсский цикл приехало человек сорок. Среди них выделялась фигура Бердяева, через посредство Бугаева получившего разрешение присутствовать на этом цикле. После лекций он долго еще бегал белыми ночами по взморью. В его взволнованных спорах в то время не было слышно ноты презрения, которая проскальзывает в его воспоминаниях. Но и тогда было ясно, что преграда, отделявшая его от антропософии, лежала не в ней.

На обратном пути мы заехали в танеевское имение и потом в Дедово под Москвой к Сергею Соловьеву, который незадолго перед тем женился на моей младшей сестре. Наше «штей-

нерианство» он встретил с фанатизмом церковника: Штейнер от антихриста. Бугаев тяжело переживал создавшееся отчуждение между двумя прежними друзьями. Должно сказать, что это не повлияло на их личные отношения по возвращении Бугаева в Россию \*.

В 1913 году работа в Германии шла еще более ускоренно, будто Штейнер хотел сказать все, что только можно, пока есть еще время. Его лекции переживались как полет в иные пространства, открывающие новые дали.

Штейнер сам время от времени возвращал нас в действительность, напоминая, на пороге каких страданий стоит человечество. Но поток новых узнаваний не прекращался вплоть до войны 1914 года.

Самыми значительными были для нас переживания на цикле лекций осенью 1913 года в Христиании, — Штейнер вводил в события, происходившие на переломе истории, две тысячи лет тому назад.

Когда ехали из Христиании в Берген, произошел разговор с «сестрой» («Записки чудака»), привлечший большое внимание Мочульского \*\*. Кто была эта «сестра», слова которой так взволновали Андрея Белого?

Желая немного успокоить его — он все еще был в состоянии потрясения, после лекций, — к нам в вагон третьего класса пришла М. Я. Сиверс и долго беседовала с Белым об ибсеновском Бранде. Норвежские горы, среди которых шел поезд, придавали для Бугаева этому разговору особое значение. Мочульский тонко замечает, что надлом во внутренней жизни Белого произошел до переезда в Дорнах (и до пребывания в Берлине в 1922—1923 годах, хотя многие относят его именно на этот период), но он ошибается, считая, что он связан с поездкой на могилу Ницше; навеянные этой поездкой эмоции носили

---

\* Говоря о судьбе С. М. Соловьева — Сережи Соловьева, как в те времена его называли, — я могла передать в № 12 «Мостов» только дошедшие до нас очень неясные слухи. С тех пор были получены дополнительные, хотя и краткие, но достоверные сведения. С. М. Соловьев годами работал как переводчик: переводил греков, Гёте, с польского. Считался одним из лучших переводчиков. В то же время продолжалась напряженная внутренняя жизнь. Метался — переходил из православия в католичество, снова в православие и кончил григорианством. В 1933 году был арестован, в тюрьме заболел и до конца жизни не покидал больше лечебницу, страдая приступами мании преследования. В больнице его навещали дочери, о которых он заботился, пока был здоров. Умер он в 1943 году во время эвакуации лечебницы из Москвы в Казань, простудившись при переезде на плотах. Это все, что можно здесь сказать об этой глубоко трагической судьбе, не касаясь чисто личных вопросов его жизни. *Прим. А. Тургеневой.*

\*\* См.: Мочульский К. Андрей Белый. Париж. 1955. *Прим. А. Тургеневой.*

более литературный характер. В «Записках чудака», еще не имея возможности осознать реальный характер своего состояния, Белый описал, что ощущал он на улицах Копенгагена, дня через три после разговора в поезде с «сестрой». 16 лет спустя Белый искал возможности хоть как-нибудь намекнуть на исключительность этого события для его последующей жизни и сделал это так (На рубеже двух столетий. С. 169): «Октябрь играет большую роль в моей жизни, я в нем родился (1880), сознал себя (1883)... позднее самые значительные переживания жизни падают на октябрь». Этому реальному переживанию единства «я» и вселенной на духовном пути в наше время должна предшествовать новая стадия развития, так как мы утратили то, чем обладали люди в прошлом. Штейнер характеризует ее простыми словами: это опытное узнавание того, что в мире более значительно, чем наше собственное «я». Без этого опыта отрешенности ищущему угрожает опасность смешения проекции эгоцентрически разросшегося внутреннего мира с действительностью, иной раз до разрушительного воздействия на нее этого мира.

С той поры образные переживания Бугаева становятся богаче и красочнее, но в них проскальзывало нечто от настроений, напоминавших мистику его симфоний «Кубка метелей». Ему становилось все труднее справляться с мелочами повседневной жизни.

Надежда, что деревенский воздух и физическая работа по возведению Гетеанума укрепят расшатанные нервы, оправдалась лишь отчасти. Белый глубоко радовался росту до того не существовавшей, идущей из будущего красоты этого здания, над которым мы работали по моделям и указаниям Рудольфа Штейнера, но сжиться с нашей работой не смог. Разразившаяся вскоре война заполнила атмосферу отравой шовинизма, страха и лжи. У Белого проснулась тоска по России, к тому же болезненно-хаотическое его восприятие окружения (по его словам, он все воспринимал порами) еще усугублялось трудностями, возникшими в его эмоциональной жизни.

И все же в эти тяжелые годы Андрей Белый написал «Котика Летаева», свое, быть может, самое поэтическое произведение; работу, сопоставляющую гетеанизм с кантианством (рукопись находится теперь в Московском музее рукописей), и книгу «Рудольф Штейнер и Гёте в мировоззрении современности» как ответ на нападки Э. К. Метнера (под псевдонимом Вольфинг), обвинявшего Штейнера в научном дилетантизме. Сам Бугаев от этого обвинения давно отошел: по этому поводу в своих записках он отметил: «Лишь серьезные встречи с научными трудами Гёте дали мне понимание моих юношеских ошибок».

Эти работы опровергают обвинения, выдвигаемые против антропософии, что она будто бы оказывает вредное влияние на творческие силы.

Призванный на военную службу (от которой был освобожден), Бугаев уехал из Дорнаха летом 1916 года. Лишь в последние недели, прощаясь с прошлым, он вновь обрел спокойствие. Но вера в то, что самое значительное, что мы пережили, сохранится неприкосновенным, была надломлена. Он это знал. Будущее показало, что, и сохраняя ему верность, уберечь его он не сумел \*.

Из-за условий его жизни переписка с ним вскоре прекратилась. Лишь после почти семилетнего молчания из Ковно пришло известие, что он едет в Дорнах посмотреть, как мы живем. «Бугаев болен,— сказал мне Рудольф Штейнер по поводу этого письма.— Я рад был бы пригласить его сюда, но это не пойдет ему на пользу. Мы тут живем ведь на пороховой бочке (это было за несколько месяцев до пожара в Гетеануме.— А. Т.). Постарайтесь отговорить его, я сделаю, что могу, чтобы облегчить ему въезд в Германию». По недоразумению эти слова дошли до Бугаева, в нервном его возбуждении он нашел их оскорбительными. Штейнер, видя состояние, в котором он находился, отложил разговор с ним до встречи в Штутгарте.

В начале очерка я привела слова Бугаева по поводу этого разговора. Он был счастлив, что освободился от химер, заграждавших ему путь к никогда не прерывавшейся привязанности к «Доктору».

Сопоставление приведенных здесь сведений о жизни Бугаева за границей с выдержками из его биографических книг фактически опровергает характеристику Белого, данную Ф. Степуном. Он предполагает, что Белый, из-за изменчивости своей натуры, если и примирился со Штейнером, то мог опять от него отойти. Но надо помнить вот что: биография, вернее, мемуары занимают около семи лет жизни Белого; работа над ними шла от 1929 года до смерти в 1934 году. В них он возвращался к событиям, происходившим в 1912—1916 годах, то есть частью

\* Большинство русских покинуло Дорнах и уехало в Россию в первые недели войны, когда еще был открыт путь через Германию. После Бугаева и А. М. Поццо, как и они, кружным путем поехали наши друзья: Т. Г. Трапезников — в январе 1917 года и к лету М. В. Волошина уже в одном из знаменитых «запломбированных вагонов», в организованной Людендорфом переправке русских через Германию. Закраившаяся в заметку о возвращении Трапезникова в Россию недоразумение (Мосты. № 12. С. 359) основано на том, что они действительно выехали сначала из Дорнаха вместе, но из-за блокады Волошина из Парижа вернулась в Швейцарию, и Трапезников дальше поехал один. К концу зимы, в 17-м году, то есть больше чем за полгода до октябрьской революции, он был в России — это опровергает предположение, что он, якобы под влиянием Штейнера, поехал в Россию, симпатизируя большевизму (Мосты. № 10. С. 374). *Прим. А. Тургенвой.*

имевшим уже более чем двадцатилетнюю давность, и охватывали они такой же длительный период. Особая формулировка приведенных здесь выдержек, понятная лишь знавшим даты заграничной жизни Бугаева, спасла их от цензуры. Но надо было дожидаться, пока наши заграничные друзья расшифровали их как призыв поверить, что его связь с антропософией оставалась неизменной.

В более ярких красках, чем это мог, под надзором цензуры, сделать сам Белый, пишет о его отношении к Штейнеру Н. Кошеватый (Встречи с Андреем Белым // Грани. 1953. № 17. Случайно на днях этот журнал попал в мои руки). Автор с большой любовью рассказывает, как они встретили Белого осенью 1923 года, по возвращении его из Германии, приехавшего читать лекции, надо думать, в Петербург. При встрече последовал многочасовой рассказ Белого о Штейнере, в небольшом кружке. Приведу несколько выдержек, бессистемно: «При постройке Гетеанума принимали участие представители восемнадцати европейских национальностей... художники, ремесленники, ученые и другие специалисты — и все они (и я в том числе) получали импульс и указания от Доктора... Сам Доктор лично работал над статуей Христа и над капителями и архитравами здания со стамеской и молотом в руках... Он пользуется необыкновенной любовью и уважением не только учеников, но и рабочих, принимавших участие в стройке... это уважение к его личности вытекает из самых глубин сердца тех, кто окружает его... Лично для меня он был как родной отец, а годы, проведенные мною в Дорнахе, были моим вторым университетом...»<sup>6</sup>

Дальше Белый говорит об огромной работоспособности Штейнера и научной глубине и разнообразности его лекций; затем он перешел к теории познания, противопоставляя гетезанизм агностицизму, вырастающему из кантианства. Белый развивает тему о возможности познания, основанного на космических закономерностях, — шесть лет спустя, не имея возможности сослаться на источник, Белый намекает на это учение, пользуясь взятыми из него терминами и характеризуя ими основы символизма (На рубеже двух столетий. С. 187, 188).

Из рассказов перебравшихся в те годы из России друзей мы знаем, что круг слушателей Белого в Москве и Петербурге постепенно расширился и что рассказы его о Штейнере сыграли значительную роль в их дальнейшей судьбе. Но в 1925 году — в год смерти Рудольфа Штейнера — Белый вынужден был прекратить эти частные свои занятия.

Прибавив, на основании этих показаний и рассказа Кошеватого, еще два года (1923—1925) неизменного отношения Белого к Штейнеру к годам его работы над автобиографией (1928—1934), что подтверждают приведенные из них ранее выдержки, мы получим около девяти лет его жизни в России, прошедших под знаком антропософии.

Остаются невыясненными года три — 1925—1928,— когда Белый, по словам Кошеватога, писал роман «Москва под ударом». И именно на эти промежуточные годы ложится тень созданного им «доктора Доннера», послужившего Ф. Степуна главным доказательством измены Белого Рудольфу Штейнеру.

Не касаясь побочных тем и не оспаривая мнения Степуна о художественной стороне характеристики доктора Доннера, подчеркнем важный факт, что Кошеватый застал Белого за работой над романом в июне 1925 года. А весть о смерти Штейнера не могла попасть в Россию раньше мая. Писал ли Белый в те месяцы первые страницы романа — не играет роли. Художник слова, как мы знаем, носит в себе своих будущих героев месяцы и годы, он живет с ними, хотя бы они еще не приняли определенных форм. Значит, мы опять имеем тут дело с внутренней двойственностью, проявляющейся одновременно, а не поочередно, как думал Степун. Рассказы о Штейнере, игравшие огромную роль для его слушателей, и формирование образа доктора Доннера шли параллельно... Но можно ли допустить, чтобы Белый, всего через несколько недель и с такой любовью говоривший об умершем своем учителе, вдруг, по словам Степуна, «со злостью и ненавистью» создал в образе более чем сомнительного немецкого оккультиста доктора Доннера — его карикатуру? Белый «шелушился изменой», объяснял Степун. Это была не «безнравственность, но неотделимая от его таланта оптика глаза». Но этот парадокс обвинения Степуна не умаляет. Он пишет: «Молчать о Штейнере, во всяком случае, Белому никто не запрещал».

Мы ничего не знаем о травле Белого в эти годы. В ней участвовали и Каменев, и Луначарский. Хотел ли Белый доктором Доннером отгородиться от обвинений в «мракобесии»? Доннера можно сопоставлять с Штейнером лишь как его абсолютную противоположность. Это не карикатура — она подчеркивает сходство, тут же нет ни одной общей черты. Это и не «сатирический памфлет», как думал Степун. Что побудило Белого придать мещанской фигуре Доннера созданные им в болезненном состоянии берлинских лет химерические образы, ничего общего, как и вообще Доннер, с Штейнером не имевшие? Может быть, с помощью этого несходства Белый хотел умиротворить вызванный им к жизни кошмарный мир, уделив ему угол в своем романе?

Ответ на эти вопросы, возможно, могли бы дать те, кто близко общался с ним в эти годы. Но тому, что этот роман вырос из ненависти, вспыхнувшей вдруг к человеку, которого он с первой встречи любил и которым глубоко, как художник, восхищался,— этому не поверит никто из сколько-нибудь хорошо знавших Бориса Николаевича, с его «стихийной» сложностью исключительного душевного склада.



Если Степун, знавший Белого лично, не делает в своей характеристике такого вывода о внезапной ненависти, его сделают и уже делают другие. И мы не вредим памяти Ф. А. Степуна, внося в ответ корректив из нашего опыта.

При всей многогранности его мировоззрения (обрисованного им в «Между двух революций») Белый не терял строгой последовательности мышления, не считаясь с сыпавшимися на него обвинениями, с одной стороны, в «отсутствии трансцендентности», а с другой — в приверженности к ней. В его душевном мире и при его темпераменте, со всей их «стихийной» сложностью, доходившей до хаоса бредовых наваждений, Белый где-то в тайниках души не утрачивал спасительной ясности переживаний своей молодости. В этих тайниках и хранилась его верность.

Таким надо видеть трагический облик Андрея Белого, которого в эмиграции считают врагом и предателем Штейнера, а на родине — поклонником антропософского «мракобесия». Некоторые факты в этом очерке, может быть, помогут опровергнуть подобные суждения.

Георгий Адамович

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ  
И ЕГО ВОСПОМИНАНИЯ



*Золотому блеску верил,  
А умер от солнечных стрел.  
Думой века измерил,  
А жизни прожить не сумел!*

*Не смейтесь над мертвым поэтом.  
Спешите ему венок...*

Это — стихи Белого, одно из самых характерных для него, беспомощных, пронзительных и прекрасных стихотворений. Неужели надо верить только поздним запискам, ведшимся в состоянии ужасного раздражения и уныния, а таким строкам верить не надо? К трем томам воспоминаний Андрея Белого следовало бы поставить эпитафией эти слова: «Не смейтесь над мертвым поэтом». Только они и способны немного смягчить впечатление, оставляемое этими книгами.

Позволю себе поделиться воспоминаниями. Впервые я увидел Андрея Белого на его лекции в Петербурге, за несколько лет до войны<sup>1</sup>. В Петербурге он наезжал довольно редко, и для тех, кто тогда только начинал умственно и душевно жить, не было и речи, чтобы можно было на доклад его не пойти. О чем он читал — все равно: Андрей Белый будет говорить, надо, значит, его слушать! В выражении «мы», «для нас» есть всегда какая-то неясность. Кто «мы»? — вправе спросить всякий. В данном случае «мы» — это поколение, люди, которым кружил головы полуромантический, полурелигиозный тон новой русской поэзии, ее неясные зывания к Владимиру Соловьеву, который будто что-то «знал» и о чем-то «промолчал», се ожидания чудесных превращений и свершений. Принято считать, что русская молодежь предвоенных лет делилась на «декадентов» и «общественников». Это и так, и не совсем так. После 1905 года в стихи Блока и Андрея Белого вошло слово «Россия», правда, в том гоголевском его звучании, которое препятствовало определить, о чем, собственно говоря, речь: географический ли это термин, имя ли народа, сумма культурных традиций и устремлений? Россия — «родина». И Гоголь, и Блок предпочитали называть ее Русью, как более ласкательным, «интимным» именем. Мы, «декаденты», догадывались, что уже о ней думал Блок, рассказывая о своей незнакомке с «очами синими, бездонными», и что, во всяком случае, время демонстративно-эгоистических замыканий «в области прекрасного» безвозвратно прошло. Безвыходность и бесплодность эгоизма нам была

ясна. Белый посвятил один из своих тогдашних сборников памяти Некрасова, и это был знак, что должен быть найден мост. Да и какое же «преображение мира» в башне из слоновой кости, с равнодушием ко всему, что способно мало-мальски нарушить «часов раздумий сладкий ход»? Деление на декадентов и общественников во многом было основательно. Но не во всем. Судили по внешности. В Петербургском университете существовали семинарии, где утвердилось обращение «товарищ», существовали и другие, где оно вызывало молчаливое осуждение. Общественники-студенты шеголяли косоворотками, эстеты и декаденты белыми воротничками, что как будто доказывало классовое, социальное расслоение! Но в сознаниях шел порою процесс далеко не столь же элементарный, и определять его по воротничкам и манерам было бы опрометчиво и близоруко. Не одни только маменькины сынки были увлечены духовным движением, которое на вершинах своих жило ожиданием примирения двух жизненных начал: личного и, как тогда говорили, «соборного».

На эстраде длинного и, как сарай, мрачного зала петербургского Соляного городка стоял человек, еще молодой, но уже лысеющий, говоривший не то с публикой, не то с самим собой, сам себе улыбающийся, обрывавший речь в моменты, когда этого меньше всего можно было ждать, вдруг застывавший будто в глубоком недоумении, потом внезапно раздражавшийся потоком безудержно-быстрых фраз. Перед ним был пюпитр, похожий по форме на церковный аналой. На пюпитре горели две свечи в тяжелых серебряных подсвечниках. Лицо Андрея Белого было слабо освещено их колеблющимся пламенем. По временам оратор протягивал к подсвечнику руки и в такой «иератической» позе на три-четыре секунды замирал.

Было в его облике что-то торжественное и смешное. Аналой, свечи и какая-то слишком декоративная назойливая «вдохновенность» речи — все это явно было бутафорией, притом бутафорией грубоватой и наивной. Но за баловством и очевидным кокетством чувствовалась глубоко взволнованная, подлинно «ищущая» душа. Сплетение юродства с серьезностью удивляло. Андрей Белый как равный спорил с Ницше или с Гете, цитировал Платона с такой живостью и запальчивостью, будто творец «Федона» тут же, вот здесь, находится рядом с ним на эстраде, с совершенной естественностью вводил слушателей в круг «вечных вопросов», им внезапно превращенных во что-то насущное, животрепещущее, злободневное,— и вместе с тем ломался, искажался, приседал, подпрыгивал, одним словом, комедианничал... Он и убеждал, и раздражал. Он был слишком блестящ, чтобы убедить окончательно. Параллель с Блоком напрашивалась сама собой и уже тогда складывалась не в пользу Белого, хотя тогда-то именно и распространено было убеждение, что

Белый «талантливее». Сам Блок, совершенно свободный от обычной литературной зависти, это убеждение охотно поддерживал. Не знаю, правильно оно или неправильно, да и нет весов или прибора, при помощи которого можно было бы это проверить! Но если правильно, то приходится сделать вывод, что понятие таланта в узком смысле слова не может быть ни в коем случае признано решающим для определения значения писателя: это одно из слагаемых, не более. Кроме него нужны сердце, совесть, ум, с ним постоянно и неразрывно связанные, а не упражняющиеся сами по себе в придумывании метафизических фокусов, нужна почва, на которой зерно таланта проросло бы. Блок как бы «дорастил» себя, дотянулся в чистом и длительном напряжении до высот поэзии, до права говорить за всю эпоху и представлять ее, до противустояния Пушкину в исторических судьбах русской литературы: каковы бы ни были его «падения», они этому не противоречат! Белый же вольно или невольно сгубил себя, и как бы ни было удобно объяснение, будто «погубить себя — значит спасти себя», нельзя ссылкой на эти глубочайшие и священные слова покрывать решительно все! От благочестивого смиренного мудрия до кощунства ближе, чем от великого до смешного. Имеет значение — как губить себя и за что.

У Блока было огромное чувство ответственности за все сказанное и сделанное; оно-то и возвысило его. У Белого все всегда было наполовину на ветер, и, как ветер, все пронеслось сквозь его сознание, не пустив корней. Гениальна была у Андрея Белого, в сущности, только его впечатлительность. Он на все откликался, схватывал на лету любую мысль, бросал ее, не успев додумать, переходил к чему-нибудь новому, оставлял и это — он весь раздираем был взаимно враждебными стремлениями и притяжениями. Но за впечатлительностью не было почти ничего. Во всяком случае, не было личной творческой темы, так явственно сквозящей в каждой строчке Блока. Белый мог быть нищенцем, социал-демократом, мистиком или антропософом с одинаковой легкостью, с одинаковой искренностью: врывавшиеся в его сознание идеи, результат чьего-нибудь долгого и, может быть, дорого обошедшегося личного творчества, выталкивали сразу все, чем жил Белый до того, и в пустоте обосновывались с комфортом. Белый проверял их по книгам или догадкам, но у него не было того духовного опыта, в свете которого можно было их по-настоящему рассмотреть. Оттого, в конце концов, все им написанное и сказанное — кроме нескольких стихотворений — лишь «слова, слова, слова»... В лучшем случае — это блестящая импровизация. Ей придает значительность только то, что сам Белый сознавал порочность своей неисцелимо поверхностной творческой природы и, конечно, этим сознанием терзался, пытаясь, как черт

у Достоевского, воплотиться в какую-нибудь «семипудовую купчиху», — под конец жизни купчиха и явилась ему в образе диалектического материализма и упрощенного, ошипанного Лениным гегелианства. Белый клялся, что наконец познал истину и обрел тихую пристань. Договорился он даже до необходимости решительной «перестройки» под наблюдением партийных учителей<sup>2</sup>. Но в его писаниях звучала такая путаница чувств и настроений, такая неразбериха стремлений и надежд, такое страдание, наконец, что в перестройку никто не верил. От лекции в Соляном городке невольно переносишься воображением к его беседам с новейшим «молодняком». Что было делать ударникам и литкружковцам, внезапно занявшим посты руководителей русской литературы, с этим растерянным, больным и необыкновенным человеком, то требовавшим для себя каких-то особых материальных условий и обещавшим — в «Записках мечтателей» — создать «невиданные в мире полотна», то утверждавшим, что старые символические мечты нашли свое свершение в сталинской пятилетке, то отрекавшимся от прошлого и издевавшимся над своим детством, над былой своей средой, над друзьями отца и личными своими друзьями. Они сторонились его, считали Белого «обломком». Обломком он и был, конечно, — всегда, везде! Он не мог творчески жить и развиваться, потому что, по-видимому, это не был настоящий «организм». Но обломки бывают разные. Этим — все-таки можно залюбоваться, этот — можно предпочесть множеству иных, вполне благополучных писательских обликов и судеб. Всматриваясь в него, смутно догадываешься, чем мог бы стать человек и поэт, если бы природа не захотела в последний момент поглумиться над своим созданием и, наделив его всеми дарованиями, не забыла научить, как ими воспользоваться.



Евгения Герцук

ВОЛОШИН

*Он — священная пчела.*

*Пчела — Афродита.*

*Он — хмель Диониса.*

Щуря золотистые ресницы, моя гостя с трогательной серьезностью подбирает образы — изысканные и ученые, и я вторю ей. Но в зеркале ловлю лукавую улыбку сестры<sup>1</sup>; сидя поодаль с ногами на кушетке, она записывает наш диалог. Вот он и сохранился у меня на обложке какой-то тетради...

В 1907 году мы всего ближе подошли к декадентству, непритворно усвоили жаргон его, но чуть что — и сами высмеем себя.

Это пришла ко мне знакомиться Маргарита Сабашникова<sup>2</sup>, соперница моя по толкованию лирики Вячеслава Иванова и по восхищению своим поэтом. Питать к сопернице примитивные злые чувства? Конечно же нет. Но что же, если и вправду привлекательна и сразу близка мне Маргарита? Она, как и мы, пришла сюда из патриархального уюта, еще девочкой-гимназисткой мучилась смыслом жизни, тосковала о Боге, как и мы, чужда пошиба декадентских кружков, наперекор модным хитонам ходила чуть что не в английских блузках с высоким воротничком. И все же я не запомню другой современницы своей, в которой бы так полно выразилась и утонченность старой расы, и отрыв от всякого быта, и томление по необычно прекрасному. На этом-то узле и цветет цветок декадентства. Старость ее крови с востока: отец из семьи сибирских золотопромышленников, породнившихся со старейшиной бурятского племени. Разрез глаз, линии немножко страшного лица Маргаритиногo будто размечены кисточкой старого китайского мастера. Кичилась прадедовым шаманским бубном.

По ее рассказам вижу ее тоненькой холеной девочкой в длинных натянутых чулочках. Богатая московская семья. Отец — книголюб и издатель — немножко смешной и милый, вместе с дочкой побаивается «мамы», у которой сложная и непреборимая система запретов. Почему, что нельзя — им обоим никогда не понять. Вот Маргарите так хочется позвать в детскую швейцарова внука, приехавшего из деревни: швейцар принес ей лубяную беседочку — Гришину изделие, но позвать

его, показать, как живут куклы, нельзя. Она тиха, не бунтует, только взгрустнулась. Вдруг — озарение: Гриша будет бог кукол — бога ведь не видно, только знаешь, что он есть. Жизнь заиграла. Собираясь на прогулку, Маргарита всякий раз берет с собой другую куклу, наряжая ее, волнуется: может быть, растворится дверь в швейцарскую, мелькнет вихрастый мальчик — кукла увидит бога. И через несколько дней горько упрекала маленькую подругу: зачем, зачем ты выдала! Теперь у кукол больше нет бога.

— Да почему? Мама твоя не бранилась.

— Но она знает, а что она знает, то уж больше не бывает.

И позже, когда Маргарита, уже взрослая, загорится новым поэтом, а мать в своей нарядной гостиной под розовым абажуром перелистает, хотя бы и молча, не осуждая, тощий томик — и вот его уже нет, сник, повял...

Маргарита уехала в Париж учиться живописи. У нее подлинное дарование, чистота рисунка, вкус. Почему она не стала художником с именем? Портреты ее работы, которые я знаю, обещали прекрасного мастера. Правда, почему? Не потому ли, что, как многие из моего поколения, она стремилась сперва решить все томившие вопросы духа, и решала их мыслью, не орудием мастерства своего, не кистью.

Маргарита уехала в Париж и там встретила с Волошиным<sup>3</sup>, тогда начинающим поэтом и художником. По галереям Лувра, в садах Версаля медленно зрел их роман — не столько роман, как рука об руку вживание в тайну искусства. Волошин пишет:

Для нас Париж был ряд преддверий  
В просторы всех веков и стран,  
Легенд, историй и поверий...

.....  
Как жезл сухой расцвел музей.

Но в их восприятии прошлого — какая рознь: он жадно глотает все самое несовместимое, насыщая свою эстетическую прожорливость, не ища синтеза и смысла. Пышноволосяй, задыхающийся в речи от спешки все рассказать, все показать, все воспринять. А рядом с ним тоненькая девушка с древним лицом брезгливо отмечает и одно и другое, сквозь все ищет единой о пути и ожидающим и требующим взглядом смотрит на него. Он уставал от нее, уходил. Но месяцы проходили, и опять, брызжущий радостью, спешил через Европу туда, где она. И они соединились.

После брака они поселились в Петербурге<sup>4</sup>, в том самом доме, где вверху была «башня» Вяч. Иванова. Оба сразу поддались его обаянию, оба вовлечены в заветь духа, оба — ранены этой встречей. Все это произошло за несколько месяцев до знакомства моего с М. Сабашниковой, о котором выше. Тогда

же узнала я и Волошина. Поздней ночью (по обычаю «башни») я сидела у Вяч. Иванова, перед нами гранки его новых стихов «Эрос», и я смятенно вслушивалась в эти новые в его творчестве ритмы. Бесшумными движениями скользнула в комнату фигура в пестром азиатском халате; увидев постороннюю, Волошин смутился, излился в извинениях — сам по-восточному весь мягкий, вкрадчивый, казавшийся толще, чем был, от пышной бороды и привычки в разговоре вытягивать вперед подбородок, приближая к собеседнику эту рыжевато-каштановую гущину. В руках — листок, и он читает посвящение к этим же стихам Вяч. Ив. Читая, вращал зеленоватыми глазами. Весь чрезмерно пышный рядом с бледным, как бы обескровленным Вяч. Ивановым. Но вот в разговоре он упомянул Коктебель. «Вы знаете Коктебель?» — и перед глазами у меня пустынный амфитеатр гор и море, синее, которого не увидишь в Крыму. Нам это первый отец на пути в Судак, и все, что еще в вагоне не развееется из зимнего и ненужного, здесь наверняка снесет соленым порывом. Но разве живут в Коктебеле? Там на безлюдном берегу ни дома, ни деревца... А он сказал: «Коктебель моя родина, мой дом — Коктебель и Париж,— везде в других местах я только прохожий».

И вот уж он мне больше не чужой. По-другому запылала у меня щеки, когда мы с ним наперебой посыпали названиями гор, балочек, селений, думалось мне, никому во всем мире не известных...

В ту весну 7-го года мы как-то вечером сидели вчетвером: Волошин, Сабашникова, сестра и я. Волошин читает терцины, только что написанные:

С безумной девушкой, глядящей в водоем,  
Я встретился в лесу. «Не может быть случайно,  
Сказал я,— встреча здесь. Пойдем теперь вдвоем».  
Но вещим трепетом объят необычайно,  
К лесному зеркалу я вместе с ней приник.  
И некая меж нас в тот миг возникла тайна.  
И вдруг увидел я со дна встающий лик —  
Горящий пламенем лик солнечного зверя.  
«Уйдем отсюда прочь!» Она же птичий крик  
Вдруг издала и, правде вновь поверя,  
Спустилась в зеркало чернеющих пучин.  
Смертельной горечью была мне та потеря,  
И в зрящем сумраке остался я один.

Маргарита невесело смеялась, тихо, будто шелестела: «И все неправда, Макс! Я не в колодец прыгаю — я же в Богдановщину еду».

Это был канун их отъезда: его — в Коктебель, ее — в имение родителей.



«И не звал ты меня прочь. И сам ты не меньше меня впился в солнечного зверя! И почему птичий крик? Ты лгун, Макс».

— Я лгун, Амори,— я поэт.

Так дружелюбно они расходились.

Нам с сестрой с первых же дней довелось узнать Волошина не таким, каким запомнили, зарисовали его другие современники: в цилиндре, на который глазела петербургская улица, сеющая по литературным салонам свои парадоксы, нет — проще, тише, очеловеченней любовной болью.

В конце мая мы в Судаче, и в один из первых дней он у нас — пешком через горы, сокращенными тропами (от нас до Коктебеля 40 верст), в длинной, по колени, кустарного холста рубахе, подпоясанной таким же поясом. Сандалии на босу ногу. Буйные волосы перевязаны жгутом, как это делали встарь вихрастые сапожники. Но жгут этот свит из седой полыни. Наивный и горький веночек венчал его дремучую голову.

Из рюкзака вынимает французские томики и исписанные листки — последние стихи:

Я иду дорогой скорбной в мой  
безрадостный Коктебель.  
По нагорьям терн узорный  
и кустарник в серебре.  
По долинам тонким дымом  
розовеет вдали миндаль.

И еще в таких же нерифмованных античных ладах. Музыка не жила в Волошине — но вот зазвучала музыка.

Не знаю, может быть, говорит во мне пристрастие, но мне кажется, что в его стихах 7-го года больше лиризма, меньше, чем обычно, назойливого мудрования, меньше фанфар. В кругах символистов недолгоблывали его поэзию: все сделано складно, но чего-то чересчур, чего-то не хватает...

Помню долгие сидения за утренним чайным столом на террасе. Стихи новейших французов сменяются его стихами, потом сестринными, рассказами о его странствиях по Испании, Майорке, эпизодами из жизни парижской богемы... Горничная убирает посуду, снимает скатерть, с которой мы поспешно сбрасываем себе на колени книги и тетради. Приносится корзина с черешнями — черешни съедаются. Потом я бегу на кухню и приношу кринку парного молока. Волошин с сомнением косится на молоко (у них в солончаковом Коктебеле оно не водилось), как будто это то, которое в знойный полдень Полифем надоил от своих коз. И вот он пересказывает нам — не помню уже чью, которого из неосимволистов, — драму: жестикулируя короткой по росту рукой, приводит по-французски целые строфы о Полифеме и Одиссее. В театре Расина античность являлась подмороженной, припудренной инеем. А вот

Волошин воспринял ее в ядовитом оперении позднего французского декаданса. Все вообще до него дошло приперченное французским *esprit*. Ему любы чеканные формулировки, свойственные латинскому духу, например надпись на испанском мече: *po! po! si! si!* — не потому ли, что сам он никогда ничему не скажет «нет»? Восполняя какую-то недохватку в себе, он в музеях заглядывался на орудия борьбы, убийства, даже пытки?

Подмечаю, как, рассказывая о своей беседе с Реми де Гурмоном<sup>5</sup>, тонким эссеистом и языковедом, он с особенным вкусом останавливается на обезображенном виде его: лицо изъедено волчанкой, обмотано красной тряпкой, в заношенном халате, среди пыльных ворохов бумаг — таким он увидел этого изысканнейшего эстета. Парадоксальность в судьбе человека всегда манит его. В судьбе человека — в судьбе народов, потому что Волошин с легкостью переходил и на широкие исторические обобщения. Заговариваем о революции — ведь так недавно еще 5-й год, так тревожит душу, не сумевшую охватить, понять его...

— Революция? Революция — пароксизм чувства справедливости. Революция — дыхание тела народа... И знаете, — Волошин оживляется, переходя на милую ему почву Франции, — восемьдесят девятый год, или, вернее, казнь Людовика, корнями в четырнадцатом веке, когда происками папы и короля сожжен был в Париже великий магистр ордена тамплиеров Яков Молэ (этот могущественный орден замышлял социальные преобразования, от него же и принципы и т. д.). И вот во Франции пульсация возмездия, все революционное всегда связано с именем Якова: крестьянские жакерии, якобинцы... Исторический анекдот, остроумное сопоставление, оккультная догадка — так всегда строилась мысль Волошина и в те давние годы, и позже, в зрелые. Что ж — и на этом пути случаются находки. Вся эта французская пестрядь, рухнувшая на нас, только на первый взгляд мозаична — угадывался за ней свой, ничем не подсказанный Волошину опыт. Даром что он в то время облекался то в слова Клоделя<sup>6</sup>, то в изречения из Бхагават Гиты по-французски...

Но Волошин умел и слушать. Вникал в каждую строчку стихов Аделаиды, с интересом вчитывался в детские воспоминания ее, углубляя, обобщая то, что она едва намечала. Между ними возникла дружба или подобие ее, не требовательная и не тревожащая. В те годы, когда ее наболевшей душе были тяжелы почти все прикосновения, Макс Волошин был ей легок: с ним не нужно рядиться напоказ в сложные чувства, с ним можно быть никакой. А он, обычно такой объективный, не занятый собою, чуждый капризов настроений, ей одной, Аделаиде, раскрывался в своей внутренней немощи, запутанности. «Объясните же мне, — пишет он ей, — в чем мое уродство? Все мои слова

и поступки бестактны, нелепы всюду, и особенно в литературной среде, я чувствую себя зверем среди людей, чем-то неуместным... А женщины? У них опускаются руки со мной, самая моя сущность надоедает очень скоро, и остается одно только раздражение. У меня же трагическое раздвоение: когда меня влечет женщина, когда духом близок ей — я не могу ее коснуться, это кажется мне кошунством...» Так он говорил и этим мучился. Но поэту все впрок. Из этого мотка внутренних противоречий позднее, через несколько лет, он выпрял торжественный венок сонетов: «В мирах любви неверные кометы».

Как-то среди лета Волошин появился в сопровождении невысокой девушки, черноволосой, с серо-синими глазами. Ирландка Байолет, с которой он сблизился в художественных ателье Парижа. Он оживленно изобразил сцену ее приезда: был сильный ливень, горный поток, рухнув, разделил надвое коктейбельский пляж... Он и Байолет стояли по обе стороны его, жестами, беспомощными словами перекликались, наконец она разулась и, подобрав платице, мужественно ринулась в поток — он еле выловил ее. «И первым жестом моего гостеприимства было по-библейски принести чашку с водой и омыть ей ноги». Байолет тихо сияла глазами, угадывая, о чем он рассказывал. Мы переходили на французский язык, на английский, но на всех она была немногоречива. Ее присутствие не нарушило наших нескончаемых бесед, только мы стали больше гулять, наперебой стремясь пленить иностранку нашей страной. Она восхищенно кивала головой, в испанских соломенных *espadrilles*<sup>7</sup> на ногах козочкой перебежала по скалам и, усевшись на каком-нибудь выступе над кручей, благоговейно вслушивалась в французскую речь Волошина — речь свободно текущую, но с забавными ошибками в артикле (*article*).

Эта тихая Байолет так и осталась в России, прижилась здесь, через несколько лет вышла замуж за русского, за инженера, и, помню, накануне свадьбы, в волнении сжимая руки сестры моей, сказала ей: «*Max est un dieu*»<sup>8</sup>.

На нашей памяти Байолет была первой в ряду тех многих девушек, женщин, которые дружили с Волошиным и в судьбы которых он с такой щедростью врывался, — распутывая застарелые психологические узлы, напророчивал им жизненную удачу, лелеял самые малые ростки творчества... Все чуть не с первого дня переходили с ним на «ты». Какая-нибудь девчоночка, едва оперившаяся в вольере поэтесс, окликала его, уж седеющего: «Макс, ну Макс же!» Только мы с сестрой неизменно соблюдали церемонное имя-отчество, но за глаза, как все, называли его Максом. И в памяти моей он — Макс.

Вот я впервые в Коктебеле, так несхожем с теперешним людным курортом. Пустынно. Пробираюсь зарослями колючек к дому Волошина. У колодца, вытягивая ведро, стоит кто-то

одетый точь-в-точь как он, с седыми, ветром взлохмаченными волосами — старик? Старуха? Обернувшись к дому, басом, сильно картавя, кричит Максу какое-то приказание. Мать! Но под суровой внешностью Елена Оттобальдовна была на редкость благожелательна, терпима, чужда мелочности. По отчеству будто немка. Но я не знаю, никогда не удосужилась спросить ее о ее прошлом и о детстве сына. Нам было тогда не до житейских корней. Помню только фотографию красивой женщины в амазонке с двухлетним ребенком на руках и знаю, что вот таким она увезла его от мужа и с тех пор одна растила. Но какое-то мужеподобие ее лишило нежности этот тесный союз, и, по признанию Макса, ласки материнской он не знал. Мать ему — приятель, старый холостяк, и, в общем, покладистый, не без ворчбы. И хозяйство у них холостяцкое: на террасе с земляным полом, пристроенной к скромной даче, что углом к самому прибою, нас потчуют обедом — водянистый, ничем не приправленный навар капусты заливается чаем, заваренным на солончаковой коктебельской воде. Оловянные ложки, без скатерти... Оба неприхотливы в еде, равнодушны к удобствам, свободны от бытовых пут. Но в комнате Волошина уже тогда привлекало множество редких французских книг и художественная кустарная резьба — работа Елены Оттобальдовны.

15 августа 1907 г.

«Дорогая Аделаида Казимировна.

Маргарита Васильевна приехала вчера в Коктебель. Но мы не сможем собраться на этой неделе в Судак. Сейчас она устала очень, а в воскресенье я должен, к сожалению, читать на вечере в пользу курсисток в Феодосии. Так что мы приедем не раньше чем во вторник на следующей неделе.

Коктебель, кажется, одержал на этот раз победу над ее сердцем. Венки из полыни и мяты, которыми мы украсили ее комнату, покорили ее душу во сне своим пустынным ароматом.

Эти дни я все твержу про себя стихи Шарля Герена. Послушайте, как это хорошо:

Contemple tous les soirs le soleil que se couche;  
Rien n'agrandit les yeux et l'âme, rien n'est beau  
Comme cette heure ardente, héroïque et farouche,  
Ou le jour dans la mer renverse son flambeau».

Они приехали под вечер. Почти не заходя в дом, мы повлекли Маргариту на плоскую, поросшую полынью и ковылем гору, подымавшуюся прямо за домом. Оттуда любил мы смотреть на закат, на прибрежные горы. Опоздали: «героическое и жестокое» миновало. Но как несказанно таяли последние радужные пятна в облаках и на воде. Лилovel тяжелый Меганом. Я не

знаю, откуда на земле прекрасной открывается земля! Наше ли общее убеждение передалось Маргарите, только она, запрокинув голову, шептала: да, да, мы как будто на дне мира... Волошин счастливым взглядом — одним взглядом — обнимал любимую девушку и любимую страну: больше она не враждебна его Киммерии!.. Мы долго стояли и ходили взад и вперед по темнеющей Польнь-горе. Волошин рассказывал, как накануне Маргарита зачиталась с вечера «Wahlverwandschaft»<sup>9</sup> Гёте и, когда кончила роман, так была потрясена им, что в три часа ночи со свечой в руке, в длинной ночной сорочке пошла будить — сначала его, но не найдя в нем, сонном, желанного отклика, приехавших с нею двоюродную сестру и приятельницу — и, подняв весь дом, стала им толковать мудрость Гёте. Маргарита, смеясь смущенно: но как же спать, когда узнаешь самое сокровенное и странное в любви.

У нас начались новые дни, непохожие на прежние с Волошиным. То застенчивая, то высокомерная, Маргарита оттесняла его: «Ах, Макс, ты все путаешь, все путаешь...» Он не сдавался: «Но как же, Амори, только из путаницы и выступит смысл».

Он оставил ее погостить у нас и, простившись с нами у ворот, широко зашагал в свой Коктебель — к стихам, книгам, к осиротевшей Байолет.

Маргарита не ходок. Мы больше сидели с ней в тени айлантусов в долине. Зрел виноград. Я выискивала спелую гроздь розового муската и клала ей на колени, на ее матово-зеленое платье. Она набрасывала эскизы к задуманной картине, в которой Вячеслав Иванов должен был быть Дионисом или призрак его, мерцающим среди лоз, а она и я «Скорбь и Мука» — «две жены в одеждах темных — два виноградаря...» (по его стихотворению). Мы перерыли шкафы, безжалостно распарывали какие-то юбки, темно-синюю и фиолетовую, крахмалили их: она хотела, чтобы они стояли траурными каменными складами, как на фресках Мантеньи<sup>10</sup>. Картина эта никогда не была написана. И говорили мы чаще всего о Вяч. Иванове, о религиозной основе его стихов, многоумно решали, куда он должен вести нас, чему учить... Маргарита печалилась, что жена мешает ему на его пути ввысь. Все было возвышенно, но все — мимо жизни. Это была последняя моя длительная встреча с нею. Осенью она надолго уехала за границу. Через годы — и еще через годы — я встречала ее, и всякий раз она была все проще и цельнее, все вернее своей сущности, простой и религиозной. Но здесь я роняю Маргариту — не перескажешь всего, не проследишь линий всех отношений.

Я слишком долго задержалась на первом и интенсивном этапе нашего общения с М. Волошиным, на лете 1907 года. Дальше буду кратче.

Следующую зиму он в Петербурге. Живет в мебелированных

комнатах. Одинок. Болеет. Об этом и о круге его тогдашних интересов говорит одно из сохранившихся писем к нам:

«Дорогие Аделаида Казимировна и Евгения Казимировна! Прежде всего поздравляю вас с праздником. Долговременное мое заключение заставило меня оценить разные виды роскоши, которые раньше я недостаточно ценил, имея возможность пользоваться по желанию. Теперь же я мечтаю, как буду приходить к вам, вести длинные беседы, как только восстановится мое ритмическое общение с миром духов, которое, как известно, происходит посредством дыхания.

Как мне благодарить вас за пожелания и за книги. И Балмонт, и Плотин, и... индюк. Этот дар Веры Степановны тронул меня больше всего и польстил. Я почувствовал себя древним трубадуром. Зимой, когда они удалялись в тишину своего дома и готовили к летним странствиям новые песни, из окрестных замков, согласно обычаю, им присылали дары: жареных кабанов, оленей, индюков. Вы понимаете, с какой гордостью приму восстановление этих прекрасных литературных традиций.

У Плотина я нашел очень важные вещи — некоторые почти буквальные совпадения в мыслях и даже словах с Клоделем, о котором мысленно уже пишу.

Я только что закончил статью о Брюсове <sup>11</sup>. Его общую характеристику как поэта. Прежде чем отдать ее в «Русь», мне бы очень хотелось, надо было бы прочесть ее вам. Может быть, это можно было бы сделать сегодня вечером или завтра утром? Может, вы можете заехать ко мне?..»

Одинокость. Отчужденность от кругов модернистов. Не в эту, кажется, а в следующую зиму один инцидент обострил и без того неладившиеся отношения. Нехотя ворошу эту старую историю, такую, однако, характерную для тех душевных лет. В редакции «Аполлона» читались и обсуждались стихи молодых поэтов. Среди выступавших была Д. <sup>12</sup> Незаметная, некрасивая девушка и эстетствующий редактор. С. Маковский с обидным пренебрежением отнесся к ней и к прочтенному ею. Через некоторое время он получил по почте цикл стихов. Женщина-автор тоном светской болтовни ссылалась на свою чуждость литературным кругам, намекала на знатное и иностранное происхождение. Стихи были пропитаны католическим духом, пряным и экзотичным. Тематика их, обаятельное имя Черубин, глухие намеки пленили сноба Маковского. Стихи сданы в набор, он приглашает автора в редакцию. Она отказывается. Маковский шлет ей цветы, по телефону настаивает на встрече... Какие литературные реминисценции подсажали эту игру? Не помню в точности, в какой мере М. Волошин участвовал в ней и какие мотивы преобладали в нем — страсть ли к мистификации, желание осмеять литературный снобизм,

рыцарская защита женщины-поэта? Но он был упоен хитро вытканным узором и восхищался талантливостью Д. В книгах по магии он выискал имя захудалого чертенка Габриок и, приставив к нему дворянское «де», забавлялся: «Они никогда не расшифруют!»

Когда обман раскрылся, редакция, чтобы выйти из глупого положения, в следующем же номере напечатала другие стихи Д., уже за ее подписью. Но все негодование Маковского и его единомышленников обрушилось на Волошина. Произошли какие-то столкновения. Ему стало невтерпех в Петербурге, и он снова бежал в любимый Париж. Но отношения с Д., дружеские и значительные, прошли через всю его жизнь. Я никогда не встречала ее, и вся эта история глухо, как бы издали, дошла до меня.

В ту же зиму из писем Аделаиды, помеченных Парижем: «...На днях по желанию Дмитрия <sup>13</sup> мы устроили обед для его родных (зятя и племянницы), Макс был поваром; он великолепно готовит — его специальность суп из черепахи. Вообще Макс своим присутствием облегчает мне многое. Он легок, не помнит прошлого, не помнит себя, влюблен в Париж, всегда согласен показывать его и напоминает мне бестревожную судаковскую жизнь...»

И через две недели:

«Сегодня в два часа была наша свадьба, дорогие мои, тихая и целомудренная. Обручались рабы Божии... Присутствовали только Макс, зять Дмитрия Ц. с племянницей и Дима с Юриком. Шаферами были Макс и Юрик, оплакивали меня Любочка и Дима, свидетелем был Ц. Он генерал, так что все-таки был свадебный генерал. Я была без вуали, но с белыми розами — м-м Holstein прислала мне великолепный букет, а Макс принес мне гербе вишневого цвета. Мы ехали в церковь вчетвером, и всю дорогу Макс читал нам свои последние парижские сонеты. Вернувшись домой, выпили кофе и малаги, и потом все разошлись. Дмитрий с Максом пошли на лекцию Бергсона, а меня оставили отдыхать, и вот я одна сижу, вернее, лежу, и на пальце у меня блестит толстое кольцо».

Так, в ткани наших жизней имя Макса — нить знакомой повторяющейся расцветки — мелькает там-здесь.

С годами круг близких людей менялся, но среди них, то зимою в Москве, то летом в Крыму, время от времени появлялась фигура Волошина. Он тоже уж не с нами переживал самое живое, актуальное и только спешил при свидании поделиться, перерассказать все. Коктебель делался людным: комната за комнатой, терраса за террасой пристраивались к волошинской даче. Богемный, суматошный дух коктебельцев был не по нас. Мы с сестрой в те предвоенные годы, точно под нависшей тучей, каждая по-своему, мучаясь, переживали религиозные

искания. Вместе с теми, кто стал нам тогда близок, подходили к православию, отходили — искали чистых истоков его. Вплотную к душе, к совести подступил вопрос о России. Когда Волошин слышал эти разговоры, у него делалось каменно-безучастное лицо. А меня раздражали его все те же, пестро-литературные темы.

— А Россия, Максимилиан Александрович, почему вы никогда не задумываетесь над ее судьбой?

Он поднимает брови, круглит глаза.

— Как? Но я же для этого и жил в Париже, а теперь, чтобы понять Россию, мне нужно поехать на крайний восток, в Монголию. (Он в то время носился с этим планом.)

Я, конечно, огрубляю его слова, было сказано сложнее, но суть та же, и я, смеясь, сообщила кому-то: «Макс, чтобы найти Россию, едет в Париж и в Монголию...»

Но так ли это нелепо? Ведь в последние годы жизни он и вправду нашел, выносил, дал свое понимание России<sup>14</sup>, ухватил срединную точку равновесия в гигантских весах Востока и Запада. Что Восток и Запад — может быть, ему, чтобы выверить положение России и суть ее, нужно было провести звездные координаты...

Здесь, мне кажется, я нащупываю сердцевину его мироощущения вообще, пальцем закрываю одну маленькую точку, на которой — все.

Какой внутренний опыт выковал своеобразие волошинской поэзии с ее прожилками оккультных и древних идей, неотторжимых от самого в ней интимного? Послушаем его признание:

Отроком строгим бродил я  
По терпким долинам  
Киммерии печальной,  
Ждал я призыва и знака.  
И раз перед рассветом,  
Встречая восход Ориона,  
Я понял  
Ужас ослепшей планеты,  
Сыновность свою и сиротство.

Для многих людей отношение их к земле — мера их патетической силы, мера того, что они вообще могут понять. Еще из детства доносится бесхитрое Шиллерово:

Чтоб из низости душою  
Мог подняться человек,  
С древней Матушкой-Землею  
Он вступил в союз навек.

Карамазовы иступленно целуют землю... По-другому и к другой земле склоняется Волошин — к земле в ее планетар-



ном аспекте, к оторванной от своего огненного центра, одинокой. (Замечу в скобках, что это не декадентский выверт: что земля — стынущее тело в бесконечных черных пустотах — это реально так же, как реальны города на этой земле, как реальна человеческая борьба на ней. Кому какая дана память!) Перелистав книгу стихов Волошина, нельзя не заметить сразу, что самые лирические ноты вызывает у него видение земли:

О, мать Невольница, на грудь твоей пустыни  
Склоняюсь я в полночной тишине...

В нем будит жалость «и терпкий дух земли горячей», и «горное величие весенней вспаханной земли». Я могла бы без конца множить примеры:

В гранитах скал — надломленные крылья,  
Земли отверженной застывшие усилья,  
Уста Праматери, которым слова нет!

И в поэте эта немота вызывает ответный порыв — делать ее судьбу:

Быть черною землей...

и опять:

Прахом в прах таинственно сойти,  
Здесь истлеть как семя в темном дерне...

и наконец:

Свет очей — любовь мою сыновью  
Я тебе — незрячей — отдаю.

В своем физическом обличе сам такой материковый, глыбный, с минералом иззелена-холодных глаз, Макс Волошин как будто и вправду вот только что возник из земли, огляделся, раскрыл рот — говорит...

История человека начинается для него не во вчерашнем каменном веке, а за миллионы миллионов лет, там, где земля оторвалась от солнца, осиротела. Холод сиротства в истоке. Но не это одно. Каждой частицей своего телесного состава он словно помнит великие межзвездные дороги. Человек — «путник во вселенной»:

...солнце и созвездья возникали  
и гибли внутри тебя.

Что это значит? Значений может быть много. Возьмем простейшее: впервые в сознании человека раскрывается смысл и строй того, что до него совершалось вслепую, вглухую. Не одной земле — всей вселенной быть оком, быть голосом...

Все это мы вычитаем в его стихах, но это же и ключ к его

человеческому существу, к линии его поведения, ко всему, вплоть до житейских мелочей. Отсюда та редкая в среде писателей свобода, независимость, нечувствительность к уколам самолюбия. Он всегда казался пришедшим очень издалека — так издалека, что суждения его звучали непривычно, порой вычурно. Но вычурность — это не словесная игра: сегодня — так, завтра — этак, а крепкое ветвие из крепкого коренья...



А. Шайкевич

## ПЕТЕРБУРГСКАЯ БОГЕМА

*М. А. Кузмин*

О, богемными преданиями воспитая «Бродячая собака», как обольстителен, как полон неоспоримой, убогой прелести был твой чадный подвальный уют, твоя в свиную кожу переплетенная и входы охранявшая книга, твои от чуть-чуть перепитого вина всегда покривившимися казавшиеся своды. И сколько сейчас забытых, неписаную историю творящих слов было в тебе произнесено в те быстро сгоравшие ночи, когда по твоим склизким и снегом занесенным ступенькам спускались наряду с лоснящимися бархатными тужурками и косоворотками чрезмерно громко смеявшиеся дамы в декольте и своими моноклями игравшие безукоризненно скроенные фраки.

Крошечная, из теса наскоро сколоченная эстрада твоя посвящена была музам. На ней читали свои еще не напечатанные стихи Блок, Гумилев, Мандельштам. На ней Карсавина танцевала под музыку Куперена и Люлли «L'Enlèvement roug Cythère»<sup>1</sup>. Часто на ней футурист Маринетти посылал проклятия соловьиным трелям и лунному сиянию, и на ней же будущий Лжедмитрий в «Старинном Театре», Дризена-Каза-Роза распевала лукавые песенки Тэффи.

Но не успел еще в этот вечер улечься гам и грохот от пыль на эстраде вздымавших и высоко подпрыгивавших стульев, на которых Петя Потемкин и Бабиш Романов<sup>2</sup> восторженно и самозабвенно мимировали «скачки верблюдов в Гелуане», как еще не успевший опьянеть Пронин Борис, «хозяин Собаки», мгновенно водворил в зале тишину, смешав с дымом, говором и смехом столь всех здесь ласкавшее имя Михаила Алексеевича Кузмина.

На эстраду маленькими, быстрыми шажками взбирается удивительное, ирреальное, словно капризным карандашом художника-визионера зарисованное существо. Это мужчина небольшого роста, тоненький, хрупкий, в современном пиджаке, но с лицом не то фавна, не то молодого сатира, какими их изображают помпейские фрески. Черные, словно лаком покры-

тые, жидкие волосы зачесаны на боках вперед, к вискам, а узкая, будто тушью нарисованная, бородка вызывающе подчеркивает неестественно румяные щеки. Крупные, выпуклые, желающие быть наивными, но многое, многое перевидавшие глаза сияют длинными, пушистыми, словно женскими, ресницами. Он улыбается, раскланивается и, словно восковой, Коппелиусом оживленный автомат, садится за рояль.

Какие у него длинные, бледные, острые пальцы.

Приторно сладкая, порочная и дыхание спирающая истома нисходит на слушателей.

В шутке слышится тоска, в смехе — слезы.

...Дитя, не тянися весною за розой, розу и летом  
сорвешь,  
Ранней весною срывают фиалки, помни, что летом  
фиалок уж нет...

Банальные модуляции сливаются с тремолирующим, бархатным голоском, и неизвестно как и почему, но бесхитростно ребячливые слова получают какое-то им одним присущее таинственное значение.

Конечно, это не дитя, которое тянется за розой, а кокетливая, низко декольтированная пастушка, взобравшаяся на забор и обнажившая свою стройную ножку в белом чулке.

Кузмин поет дальше:

Если завтра будет солнце, мы во Фьезоле поедим,  
Если завтра будет дождик, то останемся мы дома.

Ничего в песенке не говорится о кампаниле Джотто, о Паллаццо Веккио, о Давиде, а между тем, в магическом созвучии одного этого имени — Фьезоле, сразу же вспыхивает вся Флоренция. И вот почему если завтра дождика не будет, то мы в Петербурге легко забудем убогость накуренного, чадного и шумного подвала и помечаем, что дом наш с Кронверкского проспекта перекочет к берегам Арно, рядом с Санта-Мария дель Кармине.

Долго не отпускали Кузмина с эстрады, и, чем дальше он пел, тем реже звучал в зале смех.

Почему-то мне лично вспомнилась Иветт Гильбер. Эпоха тогда требовала рыжих, всклокоченных волос, зеленого декольтированного платья и черных перчаток, напоминавших о том, что не было денег для отдавания в чистку перчаток белых. Но за внешним различием модных картинок художественная цель у той, которая позировала Тулуз-Лотреку, была та же, что и на эстраде сейчас поющего поэта, увековеченного Сомовым, в ловко сшитом пиджаке при ярко-зеленом галстуке.

И финал любимой песенки французской дивы «Sur son tombeau un poète symboliste écrit: Ici gît un jeune homme triste»<sup>3</sup>

звучал почти так же, как кузминское: «Помни, что летом фиалок уж нет».

Кончив петь, Кузмин подошел к моему столу. Этим вниманием я был очень тронут. Ведь чем-то для меня отличным он был даже от самых ярких представителей, тайн от меня не имевшей, богемы. Все время мне чудилось, что на нем надета маска, что он наложил на себя какой-то добровольный тяжелый искус, что где-то далеко за пределами смеха, чувственного вожделения и нарумяненной галантности эпохи рококо, которую он так любил в Моцарте, в его душе реют мотивы трагического вдохновения.

И представляется мне сейчас, когда того же Кузмина уже нет больше на свете, что если те же энтузиаст Пронин, лукавые песенки распевающая Каза-Роза, петербургская Форнарина — Олечка Судейкина <sup>4</sup>, Бабиш Романов и вечно пьяный Цыбульский <sup>5</sup> хлопали его по плечу, подливали ему вина в бокал и называли его Мишенькой, то все они, конечно, не подозревали, что так сладко им улыбающийся приятель их, по формации своего дарования, по диапазону заложенной в нем творческой воли, не менее таинствен и не менее решающ для русской романтики, чем Гофман был для Германии или Жерар де Нерваль <sup>6</sup> для Франции.

Но вероятно, что в этот вечер всего этого я еще не чувствовал и не сознавал. Все же какой-то интуитивный пиетет я чувствовал при каждом приближении ко мне того же «Мишеньки», и нелегко мне было находить простые, приветственные слова, которыми бы я мог его приласкать.

Спас ситуацию Романов: «А, вот вы где, Мишенька, вы мне очень нужны. Прости, Толя, что нарушаю вашу беседу».

Без дальних слов он присел к нашему столу.

Дело шло о постановке пантомимы-гротеска «Выбор невесты». Кукольная, фарфоровая девица вышивает на пальцах; страстная, смуглая, экзотичная султанша вихляет бедрами. Ритм итальянской «комедия дель арте» уснащает фон. Кузминская музыка, хотя и лубочна и олеографична, необычайно выразительна в своих сентиментальных модуляциях. Романов удачно раскрыл наивную схему кузминского сценария и насытил подлинным юмором пластический финал, когда над обеими красавицами торжествует в женское платье переодетый юноша.

Скоро «Выбор невесты» стал столь же популярен на петербургских эстрадах, как стихи Игоря Северянина или песенки Изы Кремер.

Слушая изложение пантомимы, я внес в нее несколько смягчающих ее нарочитую эксцентричность поправок. Кузмин как-то очень зорко и настроенно к ним прислушался. И вдруг неожиданный переход: «У вас, наверно, среди ваших книг имеется «Les Diaboliques» Барбе д'Оревилль <sup>7</sup>. Мне они очень нуж-

ны». — «Есть, — ответил я улыбаясь, — и даже в очень редком издании. Я с удовольствием вам их одолжу». — «Когда можно за ними зайти?» — «Да хоть завтра». И на это простое и дружеское мое предложение вдруг чопорная и официальная реплика: «Благоволите мне дать ваш адрес, я навещу вас завтра в 8 часов вечера».

С необычайной аккуратностью он явился ко мне на следующий день в обусловленный час. Его сопровождал несколько нескладный молодой человек. «Позвольте представить вам даровитого молодого литератора — Юркуна<sup>8</sup>. Он — большой библиофил, и я не захотел отказать ему в удовольствии порыться в вашей библиотеке». Я радушно приветствовал этого неожиданного гостя и провел их обоих в мое книгохранилище.

Оно стоит быть описанным: это был высокий, круглый зал, венчаемый белым куполом, который подпирался белыми же колоннами. Стены его были выкрашены в ярко-красный цвет, а пересекающие их наверху черные фризы итальянец Гранди гуашью украсил подобием помпейских фресок. Четыре закругленных шкафа, покрытые фанерой карельской березы, были вкраплены в карминовые стены. С купола свешивалась екатерининская люстра, а посередине комнаты стоял раскидистый восьмиугольный стол из карельской березы, резко вырезывавшийся на фоне черного, пестрыми попугаями испещренного старинного русского ковра. Екатерининские, янтарной патины кресла были покрыты блеклыми, голубыми сарафанами. Кузмин, войдя в эту комнату, даже зажмурился. «Как все это чудесно здесь! — воскликнул он и тут же усмехнулся: — Ведь работать здесь нельзя. Ведь чем пышнее и драгоценнее наряд на юной девушке, тем, конечно, более меркнет ее подлинная, волнующая нас девичья красота. Но все же мне лично здесь было бы чудесно. Я в душе себя чувствую Золушкой и не дождусь дня, когда в золотой карете меня повезут во дворец. Ибо Золушка для меня только тогда становится сказкой, когда на ней сияет парчовое платье. И как хорошо вы придумали смешать русское с заморским. Не должно ведь существовать никаких расстояний ни во времени, ни в пространстве, когда отрешаешься от жизни. И тогда, конечно, Венеция и Петербург не дальше друг от друга, чем Павловск от Царского Села».

Пока мы говорили, Юркун уж подошел к одному из шкафов и погрузился в рассматривание каких-то его заинтересовавших книг.

На среднем столе я уже приготовил для Кузмина мрачные новеллы Барбе д'Оревилли. Он с волнением стал их перелистывать: «Не нравятся мне эти претенциозные иллюстрации. Как люди не понимают, что чувство страха рождается не извне, а изнутри. Нарисуют череп, бледное, ужасом перекошенное лицо на него взирающего человека, назад откинутый корпус

агонизирующей девушки, в грудь которой по рукоятку вонзили кинжал, мрачный склеп с застлавшей оконные стекла паутиной и думают, что страшнее нет ничего, что в тлении и в боли торжество ужаса. А вот я лично полагаю, что одиночество, тишина и молчание страшнее воплей и стучащих выстрелов. Я страшусь обломанной стрелки на часах, опрокинутого стакана, из которого на скатерть льется красное вино, передавленной собаки, подползающей к ногам своего хозяина. Страшен для провожающих отходящий поезд, каллиграфическим почерком написанное письмо, в котором недавнее заветное «ты» заменено бесповоротным «вы», страшен обращенный на вашу грудь стеклянный, все видящий, Рентгеном изобретенный глаз. Страшно внезапное сознание собственной бездарности, которое, конечно, не в силах развеять никакие лавры, никакие пышные гонорары».

В соседней гостиной у меня была зажжена столовая лампа. «Можно туда? — спросил меня Кузмин. — Я вижу, у вас там рояль». Мы подошли к нему. «Сыграйте что-нибудь, Михаил Алексеевич». — «К вашей обстановке моя музыка не подходит. Она у меня вся на диссонансах и на гривуазных мотивах построена». И тут же, сейчас: «А есть у вас что-либо из стариков, из классиков?» — «Есть моцартовские симфонии в четыре руки». — «А вы играете?» — «Я — виолончелист, но так, с листа, немножко читаю». — «Сыграем «Юпитерскую!»» Очередь была за мной усмехнуться: «А не будет вам страшно, здесь ведь все проистечет не извне, а изнутри?» Но он уже сидел у рояля, строго, ученически, прямо и метрономно скандировал ритм первой части. Затем, не взглянув на меня, ударил по клавишам. Боже мой, как же совместить этот его бесспорный, крепкий, отклонений от классических канонов не терпящий музыкальный вкус с его песенками, стилизующими не то тривиальные неаполитанские канцонетты, не то венгерские чардаши? Четко, ритмично, не заглушая эмоциональных нюансов и искусно педалируя, как бы стремясь скрыть подчас недостаток своей техники, он раскрывал моцартовскую кантилену с такой в себе уверенной искренностью, что мне оставалось только слепо подражать ему, когда доминировавшая фраза переходила из дисканта в бас. Мы добрались до менуэта и легко, бравурно и ритмично, без заминок сыграли его. «Повторим его! — воскликнул он. — Только так, как его в танец должен воплотить балетмейстер, хотя бы тот же Бабиш. В начале я вижу формальный, галантный дуэт. На каждый ярко подчеркнутый мужской вопрос слышится жеманный и робкий, но, конечно, влюбленный женский ответ. Так они ритмично дразнят друг друга, пока в трио не забываются, не меняют чопорного, придворного этикета на любовную идею, всю сотканную из сплетающихся и друг от друга ускользающих тел, которые, наконец, замирают в фикальном фермато, в забывшем парчу, мушки и пудренные парики объ-

ятии. А затем, как если бы чей-нибудь нескромный взгляд их спугнул, снова вспоминаются плиз и глассады, и снова завибрируют реверансы, которые будут чередоваться с овално к небу воздетыми ручками, как бы творящими ажурную рамку для что-то познавших, чем-то утешенных и что-то долго, долго помнить пожелавших фарфоровых куколок. Попробуем его так сыграть! Не слишком скоро, раз, два, три!»

«Ну какой же вы молодец, Михаил Алексеевич, всю вашу романтическую концепцию вы лучше звуками выразили, чем словами».

От финала, испещренного жирными и широкими черными полосками, я отказался.

«Пойдемте закусить», — предложил я ему и оторвал Юркуна от книг. Нужно было занять и его. «Над чем вы работаете?» — спросил я. Но вопрошаемый более заинтересовался моей кулебякой, чем моим вопросом, и отвечал мне как-то лениво и сбивчиво. Зато Кузмин оценил мою любезность и пояснил мне, что приятель его не любит о себе говорить, что он в себя ещё не верит, но что его последний роман «Лайковые перчатки» уже является несомненным достижением. «Я вам завтра же его пришлю».

Мой ужин был обилен, и я не ленился подливать вина в бокалы. Нортоновские часы мои играли курантами, рокотовская Екатерина как бы являлась дополнением к только что отзвучавшей моцартовской симфонии, а петровская люстра убаюкивающе звенела своими хрусталиками.

Повторно, но не слишком часто я впоследствии встречался с Кузминым, но странно, словно по какому-то взаимному молчаливому соглашению, мы в беседах наших никогда больше не переступали через грань той бытовой и случайными, посторонними людьми чувствуемой и постигаемой жизни, которая так случайно нас друг с другом свела. Я грустил, что намечавшаяся было уже между нами интимность так внезапно прервалась и что не было у меня никакого повода для ее воскрешения.

Но вот раз, поздно вечером, без предупреждения, он ко мне явился один, без Юркуна. «Простите мое внезапное к вам вторжение, но я срочно нуждаюсь именно в вашем совете. Я получил от крупного издательства большой, ответственный заказ. Давно я ношусь с мыслью о русском «Плутархе», о жизнеописании великих, историей мало освещенных людей. Я всегда очень интересовался Калиостро, и, кроме того, я чувствую в нем нам, русским, какую-то очень понятную и роковую душевную раздвоенность. Короче говоря, я решил первый том моего «Плутарха» посвятить жизнеописанию Джузеппе Балзамо. Вы как-то упомянули мне, что дружны с автором «Четвертого измерения», с Успенским? Это его область. Не согласитесь ли вы его пригласить как-нибудь к себе вместе со



мною?» — «С удовольствием, Михаил Алексеевич, все это я вам устрою без проволочки, через несколько дней».

Встреча эта состоялась, но они не подошли друг к другу.

Кузмину не важны были оккультные знания, в которые посвящен был Калиостро, а прельщали и вдохновляли его романтический энтузиазм, пафос его фантастических инициатив, торжествующая удача его раскаленной воли, легендарный ореол, который его обессмертил, и трагический его конец. Успенский же, мало увлекавшийся мотивами эстетическими, видел в этом мифомане лишь корыстолюбивого и декоративного шарлатана. Но все же беседа их была ярка, и Кузмин с лета ловил все к оккультным доктринам отношение имевшие пояснения Успенского.

Очень скоро эта большая романтическая и несомненно автором остро продуманная и прочувствованная книга появилась в печати. Впервые в ней Кузмин приоткрыл подлинное лицо свое, и было оно волнующим, строгим и даже многотрадальным.

С необычайной экспрессией написан конец ее.

Подлинную, высшую мудрость постигший человек тщетно устремлен противопоставить неотвратимой гибели своей жизненным опытом обретенную власть. Всегда, в самые трагические этапы его жизни, она его спасала. Сейчас нужно только вспомнить о том греховно-отвергнутом и презренном, что вне быта, вне велений рассудка, необходимо воскресить, приласкать и соединить его с раскаленной мыслью о всевластности мистических сил. Увы, что-то кругом него, в атмосфере шелестит. Какие-то тени мерцают, какие-то намеки рождаются мгновенно вспыхивающей надеждой, но спасительный результат не достигается, ибо волхв, маг, чудодей повержен. Отрекшись от истины, Калиостро гибнет как презренная, с высшей мудростью никогда не соприкасавшаяся тварь.

Успех этой книги был большой, но что-то в ней для большинства почитателей Кузмина было и чуждо, и даже враждебно. Очень уже отличен был этот Калиостро от его «Плавающих путешественников» и «Глиняных голубков». Но мне лично эта кузминская книга ответила на многие из тех вопросов, которые никогда я раньше не решался поставить ее автору.

Русский «Плутарх» должен был продолжаться. Второй том его, однако, никогда не увидел света. Наметил ли уже Михаил Алексеевич имя, которым бы он его окрестил, никто никогда не узнает.

Настали дни революции. «Бродячая собака» захирела, заглохла, слилась с сумерками и потонула в тревогах реальной жизни.

На смену ей рождался пышный, бравурный, светом залитый «Привал комедиантов».

Кузмина он не привлек, ни разу я там его не встретил.

Но вот однажды я с ним столкнулся на улице и был поражен его видом. Он потускнел, увял, сгорбился. Обычно блестящие глаза его были мутны, щеки — землисты, кутался он в потертое пальто.

«Что с вами, где вы, отчего вас нигде не видно, почему никогда не зайдете ко мне?» И голосом, уже не звонким и не грассирующим, он пробормотал что-то сбивчивое и тусклое: «Долго рассказывать, да и не стоит. Помните песенку мою: «Если завтра будет дождик, то останемся мы дома»? Вот дождик и полил, как в библейском потопе, дождик бесконечный, без перерыва. Ковчег у меня не оказалось. Сижу я дома». Он протянул мне руку на прощанье. «Михаил Алексеевич, я вас так не отпущу. Домой вы поспеете, никто вас там не ждет. А я так рад вас видеть, я так долго ждал этой встречи. Поедьте ко мне. Вспомним прошлое, закусим, чокнемся!» Услышав последние мои слова, он нервно мотнул головой. О, не могло быть сомнений, он голоден!

И мы поднялись ко мне, и я велел в неурочный час накрыть на стол и старательно не замечал, как жадно, как, стыдясь меня, он ел, как постепенно оживал и приободрялся.

«Подождите, Михаил Алексеевич, не пейте этого красного вина, я велю подать мадеры, вам необходимо подкрепиться».

Он долго сидел, но мало говорил. Насытившись, он пожелал пройти в библиотеку, в кабинет, в гостиную, к роялю. «Теперь не до менуэтов, — промолвил он, — да и Моцарт сейчас как-то далек от меня. Все меняется. Помните, как я вам говорил: «Подлинный страх не извне, а изнутри»? Ошибался я, жестоко ошибался, конечно, извне, как извне обыски, аресты, болезни, смерть».

Я понял, что нужно переменить тему нашего разговора. «Что вы делаете? — спросил я его. — Что пишете, где сотрудничаете, где печтаетесь?» Он безнадежно махнул рукой.

«Слушайте, Михаил Алексеевич: я обеспечен, я скоро покидаю Петербург, я, быть может, долго, долго вас не увижу, а потому я имею моральное право обратиться к вам мою последнюю дружескую просьбу, а вы не имеете права мне в ней отказать. Возьмите на память обо мне эти деньги». И, ничуть не стесняясь своего жеста, я вынул из бумажника пачку керенок.

Руки его дрожали, когда он их брал. Как счастлива для него была эта сегодняшняя встреча наша! Мы поцеловались. «Прощайте». — «Вы хотите сказать: до свиданья?» — «Нет, я сказал: прощайте. Но вы еще услышите обо мне». Это были последние его перед уходом слова.

И я в действительности услышал о нем, но уже после того, как узнал о его кончине.

Не помню где, в Берлине или в Париже, мне передали конверт, на котором значилось имя мое.

А в конверте, на машинке, по новой орфографии, было переписано стихотворение:

Декабрь морозит в небе розовом,  
Нетопленный темнеет дом,  
И мы, как Меншиков в Березове,  
Читаем Библию и ждем.

И ждем чего? Самим известно ли,  
Какой спасительной руки?  
Уж вспухнувшие пальцы треснули,  
И развалились башмаки.

Никто не говорит о Врангеле,  
Тупые протекают дни,  
На златокованом Архангеле  
Блистают сладостно огни.

Пошли нам крепкое терпение,  
И твердый дух, и легкий сон,  
И милых книг святое чтение,  
И неизменный небосклон.

Но если в небе Ангел склонится  
И скажет — это навсегда,  
Пускай померкнет беззаконница —  
Меня водившая звезда.

Но только в ссылке, в ссылке мы,  
О, бедная моя любовь.  
Струями нежными и пылкими  
Родная согревает кровь.

Окрашивает щеки розово —  
Не холоден минутный дом,  
И мы, как Меншиков в Березове,  
Читаем Библию и ждем.



Вера Неведомская

ВОСПОМИНАНИЯ  
О ГУМИЛЕВЕ  
И АХМАТОВОЙ

Судьба свела меня с Гумилевым в 1910 году. Вернувшись

в июле из-за границы в наше имение Подобино — в Бежецком уезде Тверской губ., — я узнала, что у нас появились новые соседи. Мать Н. С. Гумилева получила в наследство небольшое имение Слепнево, в 6 верстах от нашей усадьбы<sup>1</sup>. Слепнево, собственно, не было барским имением, это была скорее дача, выделенная из Борискова, имения Кузьминых-Караваевых<sup>2</sup>. Мой муж уже побывал в Слепневе несколько раз, получил от Гумилева его недавно вышедший сборник «Жемчуга» и был уже захвачен обаянием гумилевской поэзии.

Я, как сейчас, помню мое первое впечатление от встречи с Гумилевым и Ахматовой в их Слепневе. На веранду, где мы пили чай, Гумилев вошел из сада; на голове — феска лимонного цвета, на ногах — лиловые носки и сандалии и к этому русская рубашка. Впоследствии я поняла, что Гумилев вообще любил гротеск и в жизни, и в костюме. У него было очень необычное лицо: не то Би-Ба-Бо, не то Пьеро, не то монгол, а глаза и волосы светлые. Умные, пристальные глаза слегка косят. При этом подчеркнута церемонные манеры, а глаза и рот слегка усмеваются; чувствуется, что ему хочется созорничать и подшутить над его добрыми тетушками, над этим чаепитием с вареньем, с разговорами о погоде, об уборке хлебов и т. п.

У Ахматовой строгое лицо послушницы из староверческого скита. Все черты слишком острые, чтобы назвать лицо красивым. Серые глаза без улыбки. Ей могло быть тогда 21—22 года. За столом она молчала, и сразу почувствовалось, что в семье мужа она чужая. В этой патриархальной семье и сам Николай Степанович, и его жена были как белые вороны. Мать огорчалась тем, что сын не хотел служить ни в гвардии, ни по дипломатической части, а стал поэтом, пропадает в Африке и жену привел какую-то чудную: тоже пишет стихи, все молчит, ходит то в темном ситцевом платье (вроде сарафана, то в экстравагантных парижских туалетах (тогда носили узкие юбки с разрезом). Конечно, успех «Жемчугов» и «Четок» произвел

в семье впечатление, однако отчужденность все же так и оставалась. Сама Ахматова так вспоминает об этом периоде своего «тверского уединенья»:

Но все мне памятна до боли  
Тверская скудная земля.  
Журавль у ветхого колодца,  
Над ним, как кипень, облака,  
В полях скрипучие воротца,  
И запах хлеба, и тоска.  
И те неяркие просторы,  
Где даже голос ветра слаб,  
И осуждающие взоры  
Спокойных, загорелых баб.

После чая мы, молодежь, пошли в конюшню смотреть лошадей, потом к старому пруду, заросшему тиной. Выйдя из дома, Николай Степанович сразу оживился, рассказывал об Африке, куда он мечтал снова поехать<sup>3</sup>. Потом он и Ахматова читали свои стихи. Оба читали очень просто, без всякой декламации и напевности, которые в то время были в моде. Расставаясь, мы сговорились, что Гумилевы приедут к нам на другой же день.

Наше Подобино было совсем не похоже на Слепнево. Это было подлинное «дворянское гнездо» — старый барский дом с ампириными колоннами, громадный запущенный парк, овеванный романтикой прошлого, верховые лошади и полная свобода. Там не было гнета «старших»: мой муж в 24 года распорядился имением самостоятельно. Были тетушки, приезжавшие на лето, но они сидели по своим комнатам и не вмешивались в нашу жизнь.

Здесь Гумилев мог развернуться, дать волю своей фантазии. Его стихи и личное обаяние совсем околдовали нас, и ему удалось внести элемент сказочности в нашу жизнь. Он постоянно выдумывал какую-нибудь затею, игру, в которой мы все становились действующими лицами. И в конце концов мы стали видеться почти ежедневно.

Началось с игры в «цирк». В Слепневе с верховыми лошадьми дело обстояло плохо, выездных лошадей не было, и Николай Степанович должен был вести длинные дипломатические переговоры с приказчиком, чтобы получить под верх пару полурабочих лошадей. У нас же, в Подобине, кроме наших с мужем двух верховых лошадей всегда имелось еще несколько молодых лошадей, которые предоставлялись гостям. Лошади, правда, были еще мало объезженные, но никто этим не смущался. Николай Степанович ездить верхом, собственно говоря, не умел, но у него было полное отсутствие страха. Он садился на

любую лошадь, становился на седло и проделывал самые головоломные упражнения. Высота барьера его никогда не останавливала, и он не раз падал вместе с лошастью.

В цирковую программу входили также танцы на канате, хождение колесом и т. д. Ахматова выступала как «женщина-змея»; гибкость у нее была удивительная — она легко закладывала ногу за шею, касалась затылком пяток, сохраняя при всем этом строгое лицо послушницы. Сам Гумилев, как директор цирка, выступал в прадедушкином фраке и цилиндре, извлеченных из сундука на чердаке. Помню, раз мы заехали кавалькадой человек в десять в соседний уезд, где нас не знали. Дело было в Петровки, в сенокос. Крестьяне обступили нас и стали расспрашивать — кто мы такие? Гумилев, не задумываясь, ответил, что мы бродячий цирк и едем на ярмарку в соседний уездный город давать представление<sup>4</sup>. Крестьяне попросили нас показать наше искусство, и мы проделали перед ними всю нашу «программу». Публика пришла в восторг, и кто-то начал собирать медяки в нашу пользу. Тут мы смутились и поспешно исчезли.

В дальнейшем постоянным нашим занятием была своеобразная игра, изобретенная Гумилевым: каждый из нас изображал какой-то определенный образ или тип — «Великая интриганка», «Дон-Кихот», «Любопытный» (он имел право подслушивать, перехватывать письма и т. п.), «Сплетник», «Человек, говорящий всем правду в глаза» и так далее. При этом назначенная роль вовсе не соответствовала подлинному характеру данного лица — «актера»; скорее наоборот, она прямо противоречила его природным свойствам. Каждый должен был проводить свою роль в повседневной жизни. Забавно было видеть, как каждый из нас постепенно входил в свою роль и перевоплощался. Наша жизнь как бы приобрела новое измерение. Иногда создавались очень острые положения; но сознание, что все это лишь шутка, игра, останавливало назревавшие конфликты. Старшее поколение смотрело на все это с сомнением и только качало головой. Нам говорили: «В наше время были приличные игры: фанты, горелки, шарады... А у вас — это что же такое? Прямо умопомрачение какое-то!»

Но влияние Гумилева было неизмеримо сильнее тетушкиных поучений. В значительной мере нас увлекала именно известная рискованность игры. В романтической обстановке старых дворянских усадеб, при поездках верхом при луне и т. п., конечно, были увлечения, более или менее явные, и игра могла привести к столкновениям. В характере Гумилева была черта, заставлявшая его искать и создавать рискованные положения хотя бы лишь психологически. Помимо этого у него было влечение к опасности чисто физической. В беззаботной

атмосфере нашей деревенской жизни эта тяга к опасности находила удовлетворение только в головоломном конском спорте. Позднее она потянула его на войну. Гумилев поступил добровольцем в лейб-гвардии Уланский полк. Не было опасной разведки, в которую он бы не вызвался. Для него война была тоже игрой — веселой игрой, где ставкой была жизнь. При большевиках он с увлечением составлял заговор среди матросов. Арестованный, он спокойно заявил себя монархистом и непримиримым противником большевизма. Несомненно, что и на расстрел он вышел совершенно спокойно — это входило в правила игры.

Но я забегаю вперед... Мне вспоминается осень 1911 года. В конце августа начались осенние дожди и прекратили наше кочевание по округе<sup>5</sup>. Кому-то явилась мысль о домашнем театре. Мы все забрались в нашу старую библиотеку, где «последней новинкой» было одно из первых изданий Пушкина (там было тоже издание Вольтера, которое можно было читать только в лупу). Все уселись с ногами на диваны, и Николай Степанович стал сочинять пьесу. Называлась она «Любовь-отравительница»; место действия — Испания; эпоха — 13-й век. Желания у нас, актеров, были очень пестры: один настаивал, чтобы были введены персонажи итальянской комедии «Комедиа дель Арте» — Коломбина, Пьеро, Арлекин и т. д.; другой непременно хотел, чтобы был кардинал, третий требовал яда и смертей, еще кто-то просил для себя роли привидения. И Николай Степанович, шутя, тут же при нас создал пьесу в стихах. Текст пьесы остался в России. В свое время мы все знали его наизусть, но за 40 с лишним лет стихи стерлись из памяти, кроме немногих отдельных строчек. Вот краткое содержание этой пьесы.

Раненый рыцарь, возвращаясь из похода против мавров, попадает в провинциальный монастырь. Монашки ухаживают за ним, и он увлекается послушницей, сестрой Марией. Игуменья узнает об этом и возмущена. Влюбленные удручены; но судьба посылает им помощь в лице кардинала, дяди рыцаря. Возвращаясь из Рима от папы, кардинал по дороге узнает, что его племянник лежит в монастыре раненый, и он заезжает навестить его. Кардинал светский и элегантный, и ему сразу ясна ситуация. Он отзывает игуменью в сторону, и между ними происходит очаровательная сцена: кардинал в певучей латинской речи внушает игуменье снисходительность к увлечениям молодежи. Провинциальная игуменья слаба в латыни; она робует, путается в словах и от конфуза на все соглашается. Фокус Гумилева был в том, что весь разговор был только музыкальной имитацией латыни: отдельные латинские слова и латиноподобные звуки сплетались в стихах, а содержание разговора передавалось только жестами и мимикой.

Казалось бы, все улажено; но судьба создает новое препятствие. В свое время отец рыцаря был убит кем-то неизвестным, и рыцарь связан клятвой мести. Неожиданно появляется друг рыцаря и сообщает, что какая-то старая цыганка, умирая, открыла тайну: отец рыцаря был убит отцом сестры Марии. Долг мести препятствует браку. Все мрачны, и соответственно этому сцена темнеет, сверкает молния, гремит гром и начинается ливень. Стук в монастырские ворота, и жалобные голоса просят приюта на ночь. Это труппа странствующих комедиантов, промокших до нитки. Они отряхиваются, осматриваются и очень быстро уясняют положение дела. Коломбина выступает в защиту любви:

Христос велел любить!

*Игуменья:* Как сестры и как братья!

*Коломбина:* По-всячески и верно без изъятья!

Обращаясь к рыцарю, комедианты поют:

Милый дон, что за сон?

Ты ведь юн и влюблен!

Брачного платья мягкий шелк

Забыть поможет тяжкий долг...

Рыцарь колеблется. Кардинал, любитель театра, просит комедиантов показать свое искусство. Коломбина быстро распределяет роли:

Ты будь Агамемнон, ты — Гектор, ты — Парис,

Еленой буду я, а это вот нектар...

(показывает на бутылочку с лекарством). И в течение нескольких минут они разыгрывают «Прекрасную Елену». Мрачное настроение рассеяно, и дело идет к свадьбе. Но тут появляется тень убитого отца и грозит рыцарю проклятием, если он, забыв святой долг мести, соединится с дочерью убийцы. На этот раз положение безысходное: рыцарь в отчаянии закалывается, а сестра Мария принимает яд.

Вся пьеса была шаржирована до гротеска. Николай Степанович режиссировал, упорно добиваясь ложноклассической дикции, преувеличенных жестов и мимики. Его воодушевление и причудливая фантазия подчиняли нас полностью, и мы покорно воспроизводили те образы, которые он нам внушал. Все фигуры этой пьесы схематичны, как и образы стихов и поэм Гумилева. Ведь и живых людей, с которыми он сталкивался, Н. С. схематизировал и заострял, применяясь к типу собеседника, к его «коньку», ведя разговор так, что человек становился рельефным; при этом «стилизуемый объект» даже не замечал, что Н. С. его все время «стилизует».



Между многочисленными тетушками, приезжавшими на лето в нашу усадьбу, была очаровательная тетя Пофинька. Ей было тогда 86 лет. В молодости у нее был какой-то бурный роман, в результате которого она не вышла замуж и законсервировалась, как маленькая, сухонькая мумия. На плечах всегда кружевная мантилька, на руках митенки, на голове кружевная косынка и поверх нее — даже в комнате — шляпа, чтобы свет не слепил глаза. Нам было известно, что тетя Пофинька в течение 50 лет вела дневник на французском языке. Мы все — члены семьи и наши гости — фигурировали в этом дневнике, и Гумилеву страшно хотелось узнать, как мы все отражаемся в мозгу тети Пофиньки. Он повел регулярную осаду на старушку, гулял с ней по аллеям, держал шерсть, которую она сматывала в клубок, наводил ее на воспоминания молодости. Не прошло и недели, как он стал ее фаворитом и приглашался в комнату тети Пофиньки слушать выдержки из заветного дневника. Кончился этот флирт весьма забавно: в одной беседе тетя Пофинька ополчилась на «гигантские шаги», которыми мы тогда увлекались, но которые, по ее мнению, были «неприличны». Для убедительности она рассказала ряд случаев: поломанные ноги, расшибленные головы — все якобы на «гигантских шагах». Николай Степанович слушал очень внимательно и наконец серьезно и задумчиво произнес: «Теперь я понимаю, почему в Тверской губернии так мало помещиков: оказывается, 50 процентов их погибло на «гигантских шагах»! Этой иронии тетя Пофинька никогда не простила Н. С., и дневник ее закрылся для него навсегда.

Была и другая тетушка — тетя Соня Неведомская, для своих 76 лет очень еще живая и восприимчивая. Сначала она возмущалась современной поэзией. Потом — нет-нет да вдруг и попросит: «Пожалуйста, душка, прочти мне... как это: «Как будто не все пересчитаны звезды, как будто весь мир не открыт до конца...» Под конец нашей жизни в Подобине, т. е. накануне мировой войны, тетя Соня уже знала наизусть многие стихи Гумилева и полюбила их.

С 1910 по 1914 год мы каждое лето проводили в Подобине и постоянно виделись с Гумилевым. С Н. С. у нас сложились в то время очень дружеские отношения. Помню осень, если не ошибаюсь, 1912 года. Мы все вместе уезжаем вечерним поездом на зиму в Петербург. На вокзале Гумилев, шутя, импровизирует:

Грустно мне, что август мокрый  
Наших коней расседлал,  
Занавешивает окна,  
Запирает сеновал.

И садятся в поезд сонный,  
Смутно чувствуя покой,  
Кто мечтательно влюбленный,  
Кто с разбитой головой.

И к Тебе, великий Боже,  
Я с одной мольбой приду:  
Сделай так, чтоб было то же  
Здесь и в будущем году.

Это один из многих экспромтов на домашние темы, которым Н. С. не придавал никакого значения и никогда не помещал в печати.

Ахматова — в противоположность Гумилеву — всегда была замкнутой и всюду чужой. В Слепневе, в семье мужа, ей было душно, скучно и неприветливо. Но и в Подобине, среди нас, она присутствовала только внешне. Оживлялась она только тогда, когда речь заходила о стихах. Гумилев, который вообще был неспособен к зависти, ставил стихи Ахматовой в музыкальном отношении выше своих. Я случайно запомнила одно стихотворение Ахматовой, которое, насколько я знаю, не было напечатано:

Угадаешь ты ее не сразу,  
Жуткую и темную заразу,  
Ту, что люди нежно называют,  
От которой люди умирают.

Первый признак — странное веселье,  
Словно ты пила хмельное зелье.  
А потом печаль, печаль такая,  
Что нельзя вздохнуть, изнемогая.

Только третий признак настоящий:  
Если сердце замирает слаще  
И мерцают в темном зоре свечи.  
Это значит — вечер новой встречи.

Ночью ты предчувствием томима:  
Над собой увидишь серафима,  
А лицо его тебе знакомо...  
И накинёт душная истома

На тебя атласный черный полог.  
Будет сон твой тяжек и недолог...  
А наутро встанешь с новою загадкой,  
Но уже не ясной и не сладкой,

И омоешь пыточную кровью  
То, что люди назвали любовью.

Зимой мы с Гумилевыми встречались редко. Они жили у матери Николая Степановича в Царском Селе; ей принадлежала там большая дача со старым садом и оранжереей. Помню один званый вечер у них. Собрались поэты: эlegantный Блок; Михаил Кузмин с подведенными глазами; Клюев — подстриженный в скобку и заметно дичившийся; граф Комаровский, незадолго перед тем вышедший из клиники душевнобольных (Гумилев считал его очень талантливым). Кто-то читал свои стихи. Но было в настроении что-то напряженное, и сам Гумилев казался связанным.

Несколько раз встречали мы Гумилевых в «Бродячей собаке», где собирались поэты, художники и все, кто тянулся к художественной богеме. Там с Гумилевым заметно считались и прислушивались к его мнению; однако я думаю, что близкой дружбы у него не было ни с кем. Ближе других ему был, пожалуй, Блок<sup>6</sup>. Как-то раз у нас с Н. С. зашла речь о пророческом элементе в творчестве Блока. Н. С. сказал:

«Ну что ж, если над нами висит катастрофа, надо принять ее смело и просто. У меня лично никакого гнетущего чувства нет, я рад принять все, что мне будет послано роком».

Надо сказать, что в 1910—1912 годах ни у кого из нас никакого ясного ощущения надвигавшихся потрясений не было. Те предвестники бури, которые ощущались Блоком, имели скорее характер каких-то мистических флюидов, носившихся в воздухе. Гумилев говорил как-то о неминуемом столкновении белой расы с цветными. Ему представлялся в будущем упадок белой расы, тонущей в материализме, и, как возмездие за это, восстание желтой и черной рас. Эти мысли были скорей порядка умственных выводов, а не предчувствий, но, помню, он сказал мне однажды:

«Я вижу иногда очень ясно картины и события вне круга нашей теперешней жизни; они относятся к каким-то давно прошедшим эпохам, и для меня дух этих старых времен гораздо ближе того, чем живет современный европеец. В нашем современном мире я чувствую себя гостем».

По-видимому, это как раз те самые переживания, которые Гумилев передал в стихотворной форме:

Я, верно, болен — на сердце туман.  
Мне скучно все: и люди, и рассказы.  
Мне снятся королевские алмазы  
И весь в крови широкий ятаган.  
Мой предок был татарин косоглазый  
Или свирепый гунн. Я веяньем заразы,

Через века дошедшей, обуян.  
Я жду, томлюсь, и отступают стены...  
Вот океан весь в клочьях белой пены,  
Закатным солнцем залитый гранит  
И город с голубыми куполами,  
С цветущими жасминными садами...  
Мы дрались там... Ах да, я был убит.

Это стихотворение совсем не случайно для Гумилева — он много раз возвращался к этой теме <sup>7</sup>. И это было не позерство, это было очень искренно. Может быть — предчувствие?



Георгий Адамович

## МОИ ВСТРЕЧИ С АННОЙ АХМАТОВОЙ

Не могу точно вспомнить, когда я впервые увидел Анну Андреевну. Вероятно, было это года за два до первой мировой войны в романо-германском семинарии Петербургского университета. К этому семинарию я прямого отношения как студент не имел, но часто там бывал: был он чем-то вроде штаб-квартиры молодого, недавно народившегося акмеизма, а заодно и местом встречи первых формалистов, еще не уверенных в себе и разрабатывавших свои теории скорее по отталкиванию от всякого рода нео-Скабичевских, чем по твердому убеждению. На русское отделение историко-филологического факультета романогерманцы посматривали свысока, и не без основания к этому. Гумилев, например, с насмешливым раздражением рассказывал, что на экзамене по русской литературе — экзамене, на котором он собирался блеснуть знаниями и остротой своих суждений, — профессор Шляпкин <sup>1</sup> спросил его:

— Скажите, как вы полагаете, что сделал бы Онегин, если бы Татьяна согласилась бросить мужа?

В романо-германском семинарии беседы и споры велись на другом уровне, и для меня лично он был окружен особым, таинственным, неотразимо-обаятельным ореолом. Несколько раз в год устраивались там поэтические вечера — не для публики, а для «своих», — и быть причисленным к «своим», пусть и не без снисхождения, казалось великим счастьем. Однажды К. В. Мочульский <sup>2</sup>, мой будущий близкий парижский друг, — по всему своему порывистому, несколько зыбкому душевному строю и болезненной впечатлительности неспособный стать формалистом подлинным, — сказал мне: «Сегодня приходите непременно... будет Ахматова. Вы читали Ахматову?»

Читал ли я Ахматову! С первых ее строк, попавшихся мне на глаза, с обращения к ветру:

Я была, как и ты, свободной,  
Но я слишком хотела жить.  
Видишь, ветер, мой труп холодный,  
И некому руки сложить...<sup>3</sup>—

с этого ритмического перебора «и некому руки сложить» я был очарован и, как тогда любили выражаться, «пронзен» ее стихами — почти так же, как несколькими годами раньше, еще в гимназии, был очарован, «пронзен» первыми попавшимися мне на глаза строчками Блока в «Земле в снегу»:

О, весна без конца и без краю,  
Без конца и без краю мечта...

Ахматова была уже знаменита — по крайней мере в том смысле знаменита, в каком Малларме, беседуя с друзьями, употребил это слово по отношению к Виллье де Лиль-Адану: «Его знаете вы, его знаю я... чего же больше?» В тесном кругу приверженцев новой поэзии о ней говорили с восхищением. Гумилев, ее муж, на первых порах относился к стихам Анны Андреевны резко отрицательно, будто бы даже «умолял» ее не писать, и вполне возможно, что тут к его оценке безотчетно примешались соображения и доводы личные, житейские. Не литературная ревность, нет, а непреодолимая, скептическая неприязнь, вызванная ощущением глубокого, коренного отличия ахматовского поэтического склада от его собственного. Признал он Ахматову как поэта, и признал полностью, без оговорок, лишь через несколько лет после брака. А «вывел ее в люди» — если такое выражение в данном случае уместно — Кузмин, безошибочно уловивший своеобразие и прелесть ранних ахматовских стихов, как уловил это и Георгий Чулков, «мистический анархист», приятель и подголосок Вячеслава Иванова, когда-то рассмешивший пол-России вступительной фразой к большой, программной статье: «Настоящий поэт не может не быть анархистом, — потому что как же иначе?» Авторитет Кузмина был, конечно, гораздо значительнее чулковского, и главным образом именно он способствовал возникновению ахматовской славы. Помню надпись, сделанную Ахматовой уже после революции на «Подорожнике» или, может быть, на «Анно Домини» при посылке одного из этих сборников Кузмину: «Михаилу Алексеевичу, моему чудесному учителю». Однако к концу жизни Кузмина, в тридцатых годах, Ахматова перестала с ним встречаться, не знаю из-за чего.

Анна Андреевна поразила меня своей внешностью. Теперь, в воспоминаниях о ней, ее иногда называют красавицей; нет, красавицей она не была. Но она была больше чем красавица, лучше чем красавица. Никогда не приходилось мне видеть женщину, лицо и весь облик которой повсюду, среди любых красавиц, выделялся бы своей выразительностью, неподдельной одухотворенностью, чем-то сразу приковывавшим внимание. Позднее в ее наружности отчетливее обозначился оттенок трагический: Рашель в «Федре», как в известном восьмистишии сказал Осип Мандельштам после одного из чтений в «Бродячей

собаке», когда она, стоя на эстраде, со своей «ложноклассической», «спадавшей с плеч» шалью, казалось, облагораживала и возвышала все, что было вокруг. Но первое мое впечатление было иное. Анна Андреевна почти непрерывно улыбалась, усмехалась, весело и лукаво перешептывалась с Михаилом Леонидовичем Лозинским<sup>4</sup>, который, по-видимому, наставительно уговаривал ее держаться серьезнее, как подобает известной поэтессе, и внимательнее слушать стихи. На минуту-другую она умолкала, а потом снова принималась шутить и что-то нашептывать. Правда, когда наконец попросили и ее прочесть что-нибудь, она сразу изменилась, как будто даже побледнела: в «насмешнице», в «царскосельской веселой грешнице», — как Ахматова на склоне лет сама себя охарактеризовала в «Реквиеме», — мелькнула будущая Федра. Но не надолго. При выходе из семинария меня ей представили. Анна Андреевна сказала: «Простите, я, кажется, всем вам мешала сегодня слушать чтение. Меня скоро перестанут сюда пускать...» — и, обернувшись к Лозинскому, опять рассмеялась.

Потом я стал встречаться с Анной Андреевной довольно часто, чаще всего в той же «Бродячей собаке», где бывала она постоянно. Этот подвальчик на Михайловской площади, с росписью Судейкина на стенах, вошел в легенду благодаря бесчисленным рассказам и воспоминаниям. Ахматова посвятила ему два стихотворения: «Все мы бражники здесь, блудницы» и «Да, я любила их, те сборища ночные». Сборища действительно были ночные: приезжали в «Бродячую собаку» после театра, после какого-нибудь вечера или диспута, расходились чуть ли не на рассвете. Хозяин, директор, Борис Пронин безжалостно выпроваживал тех, в ком острым своим чутьем угадывал «фармацевтов», т. е. людей, ни к литературе, ни к искусству отношения не имевших. Впрочем, все зависело от его настроения: случалось, что и явным «фармацевтам» оказывался прием самый радушный, ничего предвидеть было нельзя. Было очень тесно, очень душно, очень шумно и не то чтобы весело: нет, точное слово для определения царившей в «Собаке» атмосферы найти мне было бы трудно. Не случайно, однако, никто из бывавших там до сих пор ее не забыл.

Бывали именитые иностранные гости: Маринетти, бойкий, румяный, до смешного похожий на «человека из ресторана» — не хватало только сложенной белоснежной салфетки на руке. Поль Фор, многолетний «король» французских поэтов, Верхарн, Рихард Штраус и другие. Для Штрауса, по настойчивому требованию Пронина, Артур Лурье<sup>5</sup>, считавшийся в нашем кругу восходящей музыкальной звездой, сыграл гавот Глюка в своей модернистической аранжировке, после чего Штраус встал и, подойдя к роялю, сказал по адресу Лурье несколько чрезвычайно лестных слов, но сам играть наотрез отказался.

Бывали все петербургские поэты, символисты, акмеисты, футуристы, еще делившиеся на «кубо», во главе с Маяковским в желтой кофте и Хлебниковым, и «эго», последователей Игоря Северянина, которых полагалось сторониться и слегка презирать. Хлебников уже и тогда казался загадкой. Сидел он молча, опустив голову, никого не замечая, весь погруженный в свои таинственные размышления или сны. Присутствие его излучало какую-то значительность, столь же непонятную, как и несомненную. Помню, Мандельштам, по природе веселый и общительный, о чем-то оживленно говорил, говорил — и вдруг, оглянувшись, будто ища кого-то, осекся и сказал:

— Нет, я не могу говорить, когда там молчит Хлебников!

А Хлебников находился даже не поблизости, а за стеной, разделявшей подвал на два отделения, — второе полутемное, без эстрады и столиков, так сказать, «интимное».

Никогда не бывал в «Бродячей собаке» Блок, вопреки пространенным в эмиграции утверждениям. Кстати, надо было бы категорически опровергнуть и другие рассказы, сложившиеся в эмиграции и до сих пор прочно держащиеся: о каком-то «романе» Блока с Ахматовой, о чем-то вроде «*amitié amoureuse*»<sup>6</sup>, между ними возникшей. Никогда ничего подобного не было, никто об их взаимном влечении в Петербурге не слышал и не говорил. На чем эти выдумки основаны, не знаю. Вероятно, просто-напросто на том, что слишком уж велик соблазн представить себе такую любовную пару — Блок и Ахматова, — пусть это и противоречит действительности.

Анна Андреевна была в «Собаке» всегда окружена, но уж не казалась мне такой смешливой, как тогда, когда я ее увидел впервые. Может быть, она сдерживалась, чувствуя, что на нее с любопытством и вниманием смотрят чужие люди, а может быть, мало-помалу что-то начало изменяться в ее характере, в ее общем складе. К ней то и дело подходили люди знакомые и малознакомые, «полуласково, полулениво» касались ее руки, в том числе и Маяковский, который однажды, держа ее тонкую, худую руку в своей огромной лапище, с насмешливым восхищением во всеуслышание приговаривал: «Пальчики-то, пальчики-то, Боже ты мой!» Ахматова нахмурилась и отвернулась. Бывало, человек, только что ей представленный, тут же объяснялся ей в любви. Об одном из таких смельчаков Анна Андреевна, помню, сказала: «Странно, он не упомянул о пирамидах!.. Обыкновенно в таких случаях говорят, что мы, мол, с вами встречались еще у пирамид, при Рамсесе Втором, — неужели вы не помните?» Были у нее две близкие подруги, тоже постоянные посетительницы «Бродячей собаки», — княжна Саломея Андроникова и Ольга Афанасьевна Глебова-Судейкина, «Олечка», танцовщица и актриса, одна из редчайших русских актрис, умевшая читать стихи.



В первый Цех поэтов меня приняли незадолго до его закрытия, и был я только на пяти-шести его собраниях, не больше. Но круговое чтение стихов часто устраивалось и вне Цеха, то в Царском Селе, у Гумилевых, а иногда и у меня дома, где в отсутствие моей матери, недолюбливавшей этих чуждых ей гостей и уезжавшей в театр или к друзьям, хозяйкой была моя младшая сестра. За ней усиленно ухаживал Гумилев, посвятивший ей сборник «Колчан»<sup>7</sup>. Ахматова относилась к сестре вполне дружелюбно.

За каждым прочитанным стихотворением следовало его обсуждение. Гумилев требовал при этом «придаточных предложений», как любил выражаться, т. е. не восклицаний, не голословных утверждений, что одно хорошо, а другое плохо, но мотивированных объяснений, почему хорошо и почему плохо. Сам он обычно говорил первым, говорил долго, разбор делал обстоятельный и большей частью безошибочно верный. У него был исключительный слух к стихам, исключительное чутье к их словесной ткани, но, каюсь, мне и тогда казалось, что он несравненно проницательнее к чужим стихам, чем к своим собственным. Некоторой пресности, декоративной красоты своего творчества, с ослабленно-парнасскими откликами, он как будто не замечал, не ощущал. Анна Андреевна говорила мало и оживлялась, в сущности, только тогда, когда стихи читал Мандельштам. Не раз она признавалась, что с Мандельштамом, по ее мнению, никого сравнивать нельзя, а однажды даже сказала фразу — это было после собрания Цеха, у Сергея Городецкого, — меня поразившую:

— Мандельштам, конечно, наш первый поэт...

Что значило это «наш»? Был ли для нее Мандельштам выше, дороже Блока? Не думаю. Царственное первенство Блока, пусть и расходясь с его поэтикой, мы все признавали без споров, без колебаний, без оговорок, и Ахматова исключением в этом смысле не была. Но под непосредственным воздействием каких-нибудь только что прослушанных мандельштамовских строф и строк, лившихся, как густое, расплавленное золото, она могла о Блоке и забыть.

Мандельштам ею восхищался, не только ее стихами, но и ею самой, ее личностью, ее внешностью, и ранней данью этого восхищения, длившегося всю его жизнь, осталось восьмистишие о Рашели — Федре. Вспоминаю забавную мелочь, едва ли кому-нибудь теперь известную: предпоследней строчкой этого стихотворения сначала была не «так негодующая Федра», а «так отравительница Федра». Кто-то, если не ошибаюсь, Валериан Чудовский<sup>8</sup>, спросил поэта:

— Осип Эмильевич, почему отравительница Федра? Уверяю вас, Федра никого не отравляла ни у Еврипида, ни у Расина.

Мандельштам растерялся, не мог ничего ответить: в самом

деле, Федра отравительницей не была! Он упустил это из виду, напутал, очевидно, по рассеянности, так как Расина он во всяком случае знал. На следующий же день «отравительница Федра» превратилась в «негодующую Федру». (В двухтомном эмигрантском издании 1964 года я с удивлением прочел в том же стихотворении такие строчки:

Зловещий голос — горький хмель —  
Душа расковывает недра...

Не знаю, воспроизведен ли этот текст по одному из прежних изданий. Но слышал я эти стихи в чтении автора много раз, и в памяти моей твердо запечатлелось «звущий голос», а не «зловещий». Да и ничего зловещего в голосе Ахматовой не было, и не мог бы Мандельштам этого о ней сказать. Кроме того, не «Душа расковывает недра», а конечно, «Души расковывает недра».)

После революции все в нашем быту изменилось. Правда, не сразу. Сначала казалось, что политический переворот на частной жизни отразиться не должен, но длились эти иллюзии недолго. Впрочем, все это достаточно известно и рассказывать об этом ни к чему. Ахматова с Гумилевым развелась, существование первого Цеха поэтов прекратилось, «Бродячая собака» была закрыта, и на смену ей, хотя и не заменив ее, возник «Привал комедиантов» в доме Добычиной на Марсовом поле, где сначала бывал Савинков, военный губернатор столицы, а потом зачастил Луначарский, другая высокая особа. Умер Блок, был арестован и расстрелян Гумилев. Времена настали трудные, темные, голодные. Моя семья, по каким-то фантастическим латвийским паспортам, уехала за границу, а я провел почти два года в Новоржеве...



Дмитрий Святополк-Мирский

ПАМЯТИ

гр. В. А. КОМАРОВСКОГО

Десять лет тому назад, 8(21) сентября 1914 г., умер граф Василий Алексеевич Комаровский. Имя это вряд ли многим что-нибудь скажет. Даже те, кто в последние годы перед войной внимательно следил за русской поэзией, принадлежал к Цеху поэтов и посещал «Бродячую собаку», могли очень легко не заметить его уединенную, чуждую поэтических партий и поэтической политики фигуру. Я помню только две статьи о нем, обе в «Аполлоне»: первую — отзыв Гумилева об единственной книге Комаровского, «Первой пристани», отзыв сочувственный, почти восторженный, но несколько недоуменный (он перепечатан в «Письмах о русской поэзии»<sup>1</sup>), и после его смерти столь же сочувственную и столь же недоуменную статью Н. Пунина<sup>2</sup>. Не помню, в которой из них было сказано (кажется, у Пунина), что Комаровскому современники не простят его оригинальности. «Не простят», пожалуй, здесь неуместно — «не заметят его за его оригинальность» было бы вернее. Потому что даже в наше время, когда культ оригинальности заменил собой почти все другие культы, мы ценим, мы в состоянии усвоить только такую оригинальность, которая уместается в пределы наших ожиданий.

Комаровский не был гением, и его «оригинальность» не была из таких, которые будут со временем оценены и станут пищей общечеловеческой. Она была эксцентрична, необъяснима и для человечества не нужна. В творческом потоке развития он был странным завитком в сторону, никуда не ведущим. Но именно такая оригинальность, совершенно бескорыстная с эволюционной точки зрения, и есть утверждение абсолютной свободы, проявление какой-то божественной игры, избытка сил «творческой эволюции».

В культурно-историческом и историко-литературном плане объяснить Комаровского нетрудно. Он вышел не из той среды, из которой выходили все деятели русской литературы и культуры за последние шестьдесят лет. Отпрыск старой московско-петербургской дворянской фамилии с обширным родством

и сильной семейной традицией, он был совершенно не задет интеллигентской культурой. Культурную почву его составляли семейные предания, старое, более французское, чем русское, воспитание, старая дедовская библиотека, о которой он так хорошо говорит в своей посмертной поэме «Ракша»<sup>3</sup>, наконец, и едва ли не больше всего, свод анекдотов, дипломатических, светских, придворных, с прочным генеалогическим основанием, все услышанное с живых слов — непосредственная традиция, доходящая до самого осьмнадцатого века. К этому старому стволу была непосредственно привита новая «декадентская» культура, и эта культура прививалась к нему тоже больше живым общением с русскими декадентами и чтением французских книг, чем нормальным знакомством с «Весами» и «Аполлоном». В истории литературы место Комаровского довольно ясное — и запоздалое. Он принадлежит к старому декадентству, декадентству 90-х еще годов, не затронутому еще «соловьевщиной» и «достоевщиной», или, лучше сказать, к тому подпольному эксцентрическому течению, к которому принадлежал и Анненский. Именно отсутствие мистической идейности сделало Анненского таким близким к кружку Гумилева, а именно в кружке Гумилева только и сумели хоть немножко оценить Комаровского. Но Гумилев, вождь и учитель, имел неискоренимую потребность всех рассказывать по полочкам, и для Комаровского никакой полочки не прибрать было. Помню, Комаровский мне рассказывал, как Гумилев приставал к нему: «Да к чьей же, наконец, школе вы принадлежите, к моей или Бунина?» К школе Анненского, мог бы ответить Комаровский, если ответить было бы делом жизни и смерти. Анненского он высоко ценил и, хотя почти не встречался с ним (несмотря на то что оба в одно время жили в Царском), хранил благоговейное воспоминание о его личности. Но Анненский был плоть от плоти старой интеллигенции; недаром он был братом одного из столпов «Русского богатства». Нет-нет мелькала в нем (как сказал, кажется, Георгий Адамович) «та же старая шинель Акакия Акакиевича». Этого в Комаровском не было и в помине. Вся его поэзия и вся его изумительная, увы! большей частью неопубликованная проза — совершенно вне эмоционального плана — вся она в плане чистой игры. Вот почему он так любил Анри де Ренье<sup>4</sup>, единственного второго поэта, имевшего с ним что-то общее. «La double maîtresse» и «La canne de jaspe» были в числе его любимых книг.

Но игры Комаровского разыгрывались над бездной, «не так для стиха, а буквально» — над вечной, ежедневной возможностью сумасшествия. К сумасшествию своему он относился двояко: и опасливо, избегая всего того, что могло хоть немножко поколебать его очень шаткое нервное равновесие, и в то же время бесстрашно: много думал и даже писал воспоминания

о своих сумасшествиях. Из воспоминаний этих я запомнил одну фразу: «Несколько раз сходил с ума и каждый раз думал, что умер. Когда умру, вероятно, буду думать, что сошел с ума». Он умер сумасшедшим. Начало войны нанесло такой удар его нервной системе, что она не вынесла, и все силы хаоса снова хлынули на него и затопили уже навсегда. В последний раз я его видел перед моим отъездом в действующую армию. Он был в состоянии крайнего возбуждения; он был обеспокоен мыслью, у кого из знакомых скорее всего он найдет охотничье ружье: он хотел идти защищать Петербург в случае немецкого десанта. Последние его стихи, оставшиеся в черновой тетради, написаны еще до начала военных тревог. Это был тот памятный, исключительно жаркий июль, о котором Анна Ахматова, новая Кассандра, написала такие страшные пророческие стихи<sup>5</sup>.

В стихах Комаровского нет этой тревожной ноты; он не смешивал искусства с хаосом подсознательных предчувствий. Вот эти набросанные им стихи:

Июль был яростный и пыльно-бирюзовый,  
Сегодня целый день я слышу из окна  
Дождя осеннего пленительные зовы;  
Сегодня целый день и запахи земли  
Волнуют душу мне томительно и сладко,  
И, если дни мои еще вчера текли  
В однообразии порядка...

«Однообразие порядка» нарушилось, и через несколько недель его не стало.

Те, кто знает Комаровского только по его стихам, стихам утонченным и очень насыщенным, но на вкус иных неприятно пряным, не могут составить себе понятие об удивительной привлекательности его самого. Та свободная, странно свободная искра, которая так причудливо-необъяснимо и бесцельно горела во всем его существе — в его круглой, коротко остриженной голове, круглом красном лице и сутулом, крепком, широкоплечем, несколько сгорбленном корпусе,— эта искра только отчасти освещает его стихи. Они очень «сделаны», и, хотя для меня они кажутся сделанными превосходно, в них есть привкус эпохи — «вчерашнего дня», который не всем по вкусу. Стихи его, конечно, стоят внимательного отношения, переиздания и изучения. Иные из них (например, изумительное «Бессильному сказать какая малость» и некоторые из «Впечатлений Италии», в которой он, кстати сказать, никогда не был) должны войти в обиход хрестоматий. Но мне кажется, что самый прямой путь к его единственному очарованию для тех, кто не знал и хотел бы узнать его живую личность,— этот путь идет скорее через его прозу. Проза его стоит совсем особняком во всей русской литературе, да, вероятно, и в европейской. К сожалению

нию, большая часть ее осталась неизданной: «Анекдот о любви» (рассказ о его сумасшествии с затейливым обрамлением, от которого пришел бы в восторг Виктор Шкловский); «Исторический роман» (страниц в 30); «До Цусимы»; разговоры в Царском Селе с удивительным местом об Анненском; анекдоты, воспоминания, заметки. Напечатан был только один рассказ, и то под псевдонимом Incitatus (Комаровский утверждал, не знаю, на каком основании, что так звали коня Калигулы), в альманахе «Аполлон», 1911 г. Называется рассказ «Sabinula» и, кажется, никем ни тогда, ни после не был замечен. У меня нет рассказа под рукой (а дорого дал бы!), и я его давно не перечитывал, но и сейчас он жив в моей памяти, каким я его слышал, тому тринадцать лет, от Комаровского и потом столько раз перечитывал.

«Рабы в северных латифундиях, наконец, восстали» — так начинается рассказ. Дело происходит в Риме при Веспасиане. Но Тацит уже старик и вспоминает о своем сверстнике Овидии, молодом человеке, сосланном при Августе. Идет война с «Воллогесами», и Цезарь весьма беспокоится об успокоении этой далекой окраины; второй легион идет из Сены в Рим на карачовых лошадях. Рассказу предпослано предисловие, подписанное «Эразм Роттердамский», в котором Эразм полемизирует с кардиналом Бибиеной, и прибавляет в постскриптуме: а «если бы я желал ему нанести злейшее оскорбление, я написал бы рассказ самому Бибиене». Как видите, стилизация тут ни при чем, но и стилизация (или пародия на стилизацию) использована для божественно свободных и бесцельных движений повествования. Тонкая жилка иронии переплетается с причудливой, совершенно незмоциональной сентиментальностью. Странная струя беспокойной чувственности пробивается кое-где из-под земли. Рим принимает формы то близко знакомого, как бы современного быта, то спускается в какие-то венецианские, чисто формальные, ничему реальному не отвечающие краски. Стиль в основе своей по-пушкински сухой, перебивается то барочными фиоритурами, вроде Ренье, то разговорными интонациями.

И все это чистая, совершенно свободная игра, может быть, и имеющая какую-то подсознательную необходимость, но так как будто лишенная всякого «значения», всякой, как говорил Потебня, «метонимичности». Чистая свобода, т. е. творчество без «Почему?». Если на что-нибудь оно и похоже, то разве только на сны Ремизова, но и в снах Ремизова нет такой свободы чисто «фактурного» элемента. Французы со времен Малларме мечтают о создании «чистой поэзии» — «Poésie pure», из которой было бы устранено все то, что не поэзия. «Sabinula» есть осуществление «чистого творчества», «Création Pure» — чистого, потому что свободного и необусловленного.



Михаил Карпович

## МОЕ ЗНАКОМСТВО С МАНДЕЛЬШТАМОМ

Я не решился бы предложить вниманию читателей эту заметку, если бы не одно обстоятельство. Случилось так, что я познакомился с Осипом Мандельштамом в «доисторический» период его жизни — еще до того, как он стал печатать свои стихи. В литературе о Мандельштаме воспоминаний, относящихся к тому времени, я не нашел. Возможно, поэтому и то немногое, что я могу рассказать, представляет некоторый интерес.

Было это очень давно — без малого полстолетия тому назад. Я жил тогда в Париже и слушал лекции в Сорбонне. Могу точно указать день, когда я впервые встретился с Мандельштамом: 24 декабря 1907 г. Как известно, французы справляют сочельник вроде того, как у нас встречают Новый год. В тот вечер и я «пировал» в одном из кафе на Бульмише, в небольшой компании русской молодежи. По соседству с нами, за отдельным столиком, сидел какой-то юноша, привлечший наше внимание своей не совсем обычной наружностью. Больше всего он был похож на цыпленка, и это сходство придавало ему несколько комический вид. Но вместе с тем в чертах его лица и в красивых грустных глазах было что-то очень привлекательное. Услышав, что мы говорим по-русски, он нами заинтересовался. Было ясно, что среди происходившего вокруг него шумного веселья он чувствовал себя потерянным и одиноким. Мы предложили ему присоединиться к нам, и он с явной радостью на это согласился. Мы узнали, что его зовут Осип Эмильевич Мандельштам.

В этот вечер мы с ним разговорились и быстро установили общность наших литературных интересов. Я дал ему свой адрес, и он пришел ко мне чуть ли не на следующий день. С тех пор и до моего отъезда весной 1908 г. в Россию мы встречались очень часто — не меньше чем несколько раз в неделю. Я не могу вспомнить, где он жил, и из этого заключаю, что обычно он приходил ко мне или, вернее, за мной, так как беседы свои мы вели, либо сидя в кафе, либо бродя по парижским улицам.

Иногда мы ходили вместе на концерты, выставки, лекции. Мандельштаму было тогда семнадцать лет, мне — девятнадцать. Предвидеть, что он станет одним из крупнейших русских поэтов нашего времени, я, конечно, не мог. Да и вообще, в ранней молодости личные отношения носят более непосредственный и бескорыстный характер. Поэтому я Мандельштама не пытался «изучать» или «оценивать» и наших с ним разговоров не записывал. А память моя, увы, сохранила очень немногое.

Больше всего меня поражала в нем его необыкновенная впечатлительность. Казалось, что для него действительно были еще новы «все впечатленья бытия», и на каждое из них он откликался всем своим существом. В нем была тогда юношеская экспансивность и романтическая восторженность, плохо вяжущаяся с его позднейшим поэтическим обликом. Ничего каменного в будущем творце «Камня» еще не было. Не могу вспомнить ничего специфически «мандельштамовского» и в тогдашних его эстетических вкусах и литературных увлечениях. В моем воспоминании они представляются мне довольно эклектическими. Помню, как он с упоением декламировал «грядущих гуннов» Брюсова <sup>1</sup>. Но с таким же увлечением он декламировал и лирические стихи Верлена и даже написал свою версию Gaspard Häuser'a. Как-то мы были с ним на симфоническом концерте из произведений Рихарда Штрауса под управлением самого композитора. Мы оба (каюсь!) были потрясены «Танцем Саломеи», а Мандельштам немедленно же написал стихотворение о Саломее. К стыду своему, ни одного из ранних стихотворений Мандельштама я не запомнил. Были ли среди них те четыре, помеченные 1908 годом, которыми открывается «Камень», — тоже не помню. В апреле 1908 г. я ездил на две недели в Италию. Мандельштам принял очень близко к сердцу это мое первое итальянское паломничество и отозвался на него стихами. Но даже из этого, мне посвященного, стихотворения в памяти сохранилась почему-то только одна строка: «поднять скрипучий верх соломенных корзин» (в моем багаже действительно была такая, вывезенная из России, корзина).

Не помню, чтобы мы когда-либо говорили с ним на общественно-политические темы. В «Шуме времени» Мандельштам, вспоминая свои школьные годы, рассказывает и об эрфуртской программе, на время сделавшей из него «законченного марксиста», и о своем соприкосновении с эсеровской средой в семье Синани <sup>2</sup>. Сомневаюсь, чтобы эти ранние впечатления оставили в его душе какие-либо прочные *политические* следы. Весной 1908 г. в Париже умер Гершуни <sup>3</sup>, и эсерами было устроено собрание, посвященное его памяти. Мандельштам выразил живейшее желание со мной туда пойти, но думаю, что политика здесь была ни при чем: привлекали его, конечно, личность и судьба Гершуни. Главным оратором на собрании был



Б. В. Савинков <sup>4</sup>. Как только он начал говорить, Мандельштам весь встрепенулся, поднялся со своего места и всю речь прослушал, стоя в проходе. Слушал он ее в каком-то трансе, с полуоткрытым ртом и полузакрытыми глазами, откинувшись всем телом назад, так что я даже боялся, как бы он не упал. Должен признаться, что вид у него был довольно комический. Помню, как сидевшие с другой стороны прохода А. О. Фондаминская и Л. С. Гавронская, несмотря на всю серьезность момента, не могли удержаться от смеха, глядя на Мандельштама.

О своей семье Мандельштам мне почти ничего не говорил, а я его не расспрашивал (биографический интерес к людям тоже пробуждается позднее в жизни). Как-то раз только, не помню уж в какой связи, он дал мне понять, что в его отношениях с родителями не все было ладно. Он даже воскликнул: «Это ужасно, ужасно!» — но так как он вообще злоупотреблял этим выражением, то я тогда же заподозрил его в преувеличении. Я и сейчас думаю, что если родители Мандельштама дали ему возможность жить в Париже и заниматься, чем он хочет, то, значит, не так уж равнодушно относились они к его желаниям и не так уж тяжки были лежавшие на нем семейные путы. Во всяком случае, в нем не чувствовалось никакой связанности или ущемленности. Он был беспомощен в житейских делах, но духовно он был самостоятелен и, я думаю, достаточно в себе уверен.

Когда поздней весной 1908 г. я уезжал из Парижа, Мандельштам там еще оставался. В следующий раз я встретился с ним уже в Петербурге. Думаю, что это было в 1909 г., во всяком случае, до его поездки в Германию. Встретились мы с ним очень дружки и в течение моего кратковременного пребывания в Петербурге виделись несколько раз. Помню, что он был вместе со мной и с моей матерью на каком-то концерте и потом провожал нас до нашего дома. Было уже поздно, и потому моя мать не просила его зайти, а ему, видимо, очень не хотелось уходить, и, прощаясь, он сказал: «Всякое расставание всегда болезненно». В эту нашу встречу он дал мне рукопись своей статьи, которую он просил меня передать П. Б. Струве, как редактору «Русской мысли». Содержание этой статьи в памяти моей тоже не сохранилось. Вспоминаю только, что это было нечто лирико-критическое, о поэзии и что центральную роль в статье играл образ Снегурочки (кажется, она даже называлась «Снегурочка»). С П. Б. Струве я тогда еще лично знаком не был и передал ему статью Мандельштама через А. А. Корнилова. О дальнейшей судьбе этой статьи я ничего не знаю, кроме того, что в «Русской мысли» она не появилась.

После того я видел Мандельштама еще один раз — в 1912 г. В промежутке у нас с ним никаких сношений не было. Он жил

в Петербурге (на время уезжал в Германию), а я в Москве, и мы не переписывались. В Петербург я приезжал не так часто, и всегда на короткий срок. В один из таких приездов я случайно, после трехлетнего перерыва, встретился с Мандельштамом на лекции Бурлюка (кажется, в Тенишевском училище <sup>5</sup>). Мандельштам показался мне очень изменившимся: стал на вид гораздо более важным, отпустил пушкинские бачки и вел себя уже как мэтр. Со мною он встретился без особой теплоты и, во всяком случае, без каких-либо следов прежней экспансивности. К тому же мы разошлись в нашем отношении к футуризму. Я испытывал сильное от него отталкивание, а Мандельштам в какой-то мере его защищал и, во всяком случае, был им серьезно заинтересован. На мое замечание, что я «предпочитаю корабль вечности кораблю современности» (теперь я так цветисто не выразился бы), он ответил мне, не без некоторого раздражения: «Вы не понимаете, что корабль современности и есть корабль вечности».

Не думаю, однако, чтобы это теоретическое расхождение сыграло какую-либо роль в фактическом прекращении нашего знакомства. Просто наши жизненные пути разошлись и мы перестали быть друг для друга достаточно интересны. Больше я Мандельштама не видел.



Константин Мочульский

О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ

Умер Осип Эмильевич Мандельштам — самый замечательный из современных русских поэтов после Блока и самый неоцененный. В одном из ранних его стихотворений есть строчки:

За радость тихую дышать и жить  
Кого, скажите мне, благодарить?

Эта «тихая радость» всегда светилась в нем, он был полон ею и нес ее торжественно и бережно. Доверчивый, беспомощный, как ребенок, лишенный всяких признаков «здорового смысла», фантазер и чудака, он не жил, а ежедневно «погибал». С ним постоянно случались невероятные происшествия, неправдоподобные приключения. Он рассказывал о них с искренним удивлением и юмором постороннего наблюдателя. Как пушкинский Овидий,

Он слаб и робок был как дети,

но кто-то охранял его и проносил невредимым через все жизненные катастрофы. И, как пушкинский Овидий,

Имел он песен дивный дар...

Тоненький, щуплый, с узкой головой на длинной шее, с волосами, похожими на пух, с острым носиком и сияющими глазами, он ходил на цыпочках и напоминал задорного петуха. Появлялся неожиданно, с хохотом рассказывал о новой свалившейся на него беде, потом замолкал, вскакивал и таинственно шептал: «Я написал новые стихи». Закидывал голову, выставляя вперед острый подбородок, закрывал глаза — у него веки были прозрачные, как у птиц, и редкие длинные ресницы веером, — и раздавался его удивительный голос, высокий и взволнованный, его протяжное пение, похожее на заклинание или молитву.

Читая стихи, он погружался в «апокалиптический сон», опьянялся звуками и ритмом. И, когда кончал, — смущенно открывал глаза, просыпался.

В 1912 году Осип Эмильевич поступил на филологический факультет Петербургского университета<sup>1</sup>. Ему нужно было сдать экзамен по греческому языку, и я предложил ему свою помощь. Он приходил на уроки с чудовищным опозданием, совершенно потрясенный открывшимися ему тайнами греческой грамматики. Он взмахивал руками, бегал по комнате и декламировал нараспев склонения и спряжения. Чтение Гомера превращалось в сказочное событие; наречия, энклитики, местоимения преследовали его во сне, и он вступал с ними в загадочные личные отношения. Когда я ему сообщил, что причастие прошедшего времени от глагола «пайдево» (воспитывать) звучит «пепаидекос», он задохнулся от восторга и в этот день не мог больше заниматься. На следующий урок пришел с виноватой улыбкой и сказал: «Я ничего не приготовил, но написал стихи». И, не снимая пальто, начал петь. Мне запомнились две строфы:

И глагольных окончаний колокол  
Мне вдали указывает путь,  
Чтобы в келье скромного филолога  
От моих печалей отдохнуть.

Забываю тягости и горести,  
И меня преследует вопрос:  
Приращенье нужно ли в аористе  
И какой залог «пепаидекос»?<sup>2</sup>

До конца наших занятий Осип Эмильевич этого вопроса не решил. Он превращал грамматику в поэзию и утверждал, что Гомер — чем непонятнее, тем прекраснее. Я очень боялся, что на экзамене он провалится, но и тут судьба его хранила, и он каким-то чудом выдержал испытание. Мандельштам не выучил греческого языка, но он *отгадал его*. Впоследствии он написал гениальные стихи о золотом руне и странствиях Одиссея:

И покинув корабль, натрудивший в морях полотно,  
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.

В этих двух строках больше «эллинизма», чем во всей «античной» поэзии многоученого Вячеслава Иванова.

Через несколько лет после греческого экзамена мы встретились с ним в «Профессорском уголке», в Алуште. Он обедался виноградом, объяснял мне свои сложные финансовые операции (у него никогда не было денег), лежал на пляже и искал в песке сердолики. Каменистая Таврида казалась ему Элладой и вдохновляла его своими «кудрявыми» виноградниками, древним морем и синими горами. Глухим голосом, под шум прибоя, он читал мне изумительные стихи о холмах Тавриды, где «всюду Бахуса службы», о белой комнате, где, «как прятка, стоит тишина»<sup>3</sup>.

Мандельштам любил смотреть на далекие судакские горы, на туманный мыс Меганом. О нем написал он строфы, загадочные и волшебные:

Как быстро тучи пробегают,  
    Неосвященную грядой,  
И хлопья черных роз летают  
    Под этой ветреной луной.

И, птица смерти и рыданья,  
    Влачится траурной каймой  
Огромный флаг воспоминанья  
    За кипарисною кормой.

И раскрывается с шуршаньем  
    Печальный веер прошлых лет,  
Туда, где с темным содроганьем  
    В песок зарылся амулет.

Туда душа моя стремится  
    За мыс туманный Меганом,  
И черный парус возвратится  
    Оттуда после похорон.

Житейские катастрофы тем временем шли своей чередой. Осипу Эмильевичу было поручено купить в Алуште банку какао. На обратном пути в «Профессорский уголок» он сочинял стихи и в рассеянности съел все какао. Какие-то кредиторы грозили ему; с кем-то он вел драматические объяснения. Но эти невзгоды были ничто по сравнению с настоящим горем, которое он пережил в конце этого крымского лета 1916 года. Я помню, с каким вдохновением он сочинял одно из лучших своих стихотворений:

Не веря воскресенья чуду,  
На кладбище гуляли мы.  
Ты знаешь, мне земля повсюду  
Напоминает те холмы.

И две последние строки второй строфы возникли сразу в своем законченном великолепии:

Где обрывается Россия  
Над морем черным и глухим...

Но первые две строки? Их не было.

Напрасно Мандельштам повторял эти стихи, надеясь, что они приведут за собой недостающие рифмы,— они не приходили. Я никогда не видел его в таком отчаянии. «Вот я слышу,— говорил он:

Где обрывается Россия  
Над морем черным и глухим...—

а перед этим — пустое место, как бельмо на глазу. Ничего не вижу». Простодушно он просил друзей помочь ему сочинить две строчки. Так они и не сочинились. В сборнике «Tristia» на месте их стоит два ряда многоточий.

Словесное мастерство Мандельштама роднит его с Тютчевым. Вспоминаю его стихотворение о смерти:

Когда Психея-жизнь спускается к теням,  
В полупрозрачный лес вослед за Персефоной,  
Слепая ласточка бросается к ногам  
С стигийской нежностью и веткою зеленой.

И последняя строфа:

И в нежной сутолке не зная, что начать,  
Душа не узнает прозрачные дубравы,  
Дохнет на зеркало и медлит передать  
Лепешку медную с туманной переправы.

Эти стихи беспримерны в русской поэзии. Они вызывают изумление: слова звучат странной, непривычной музыкой. Кажется, что написаны они на чужом языке, древнем и торжественном, как язык Пиндара.

Мандельштам писал мало, с трудом и напряжением; боролся с «материалом», преодолевал «недобрую тяжесть» слов. Он издал два тоненьких сборника стихов: «Камень» и «Tristia» и небольшой сборник статей «Шум времени»<sup>4</sup>.



Артур Лурье

ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

Мандельштам страстно любил музыку, но никогда об этом не говорил. У него было к музыке какое-то целомудренное отношение, глубоко им скрываемое. Иногда он приходил ко мне поздно вечером, и по тому, что он быстрее обычного бегал по комнате, ероша волосы и улыбаясь, но ничего не говоря, и по особенному блеску его глаз я догадывался, что с ним произошло что-нибудь «музыкальное». На мои расспросы он сперва не отвечал, но под конец признавался, что был в концерте. Дальше этого признания Мандельштам на эту тему не распространялся. Потом неожиданно появлялись его стихи, насыщенные музыкальным вдохновением.

За время моей дружбы с Мандельштамом я привык к тому, что он бормотал стихи, сочиняя их на ходу и разговаривая при этом на совершенно посторонние темы,— одно не мешало другому. «Ода Бетховену»<sup>1</sup> сочинялась Мандельштамом довольно долго; я часто слышал, как он выборматывал отдельные строчки и потом строфы во время наших прогулок, причем строчки передвигались то вверх, то вниз, то в середину, пока наконец «Ода» не приняла окончательную форму.

Мне часто казалось, что для поэтов, даже самых подлинных, контакт со звучащей, а не воображаемой музыкой не является необходимостью и их упоминания о музыке носят скорее отвлеченный, метафизический характер. Но Мандельштам представлял исключение; живая музыка была для него необходимостью. Стихия музыки питала его поэтическое сознание, как и пафос государственности, насыщавший его поэзию.

Артур Лурье

## ДЕТСКИЙ РАЙ

*L'aigle a déjà passé,  
L'esprit nouveau m'appelle.*

Gérard de Nerval<sup>1</sup>



1

«Все, даже жизнь, я отдал бы за обретение той экспрессии и той выразительности, которую моя мысль ищет с большей страстью, чем влюбленный ищет свой кумир; я ищу эту экспрессию для того, чтобы *выразить* ее, когда я буду умирать». В этих словах Кьеркегора и заключается тайна искусства. Где же артисты находят эту экспрессию? В раю! Только в раю! Но рай, ведь он открыт одним детям; взрослым он и не доступен, и не нужен. Взрослым в раю скучно; они угрюмы, пресыщены, и первобытная свежесть и непосредственность рая кажется им пресной. Если проводить литературную параллель, то «Ад» Данте гораздо всем понятнее и ближе, чем его «Рай», никому не нужный. Ад — местопребывание взрослых, но удивительнее всего то, что его обитатели почему-то отрицают существование рая, опровергая его «с точки зрения современной науки». Между тем последний комментатор «Божественной комедии» утверждает, что положения, выдвинутые о Тейаром де Шарденом в его прогрессивнейшей книге «Человеческий феномен», нисколько не противоречат теодицее и космогонии, утверждаемой Дантом в его «Рае».

Рай отрицают еще и по той причине, что со второй четверти 20 века уже всякая попытка создания положительной красоты в искусстве была обречена на катастрофическую неудачу. Положительное ведь почти никогда не возможно; только отрицательное осуществимо. Здесь загадка искусства, на которую никогда не было ответа. Быть может, отрицательное осуществляется в плане феноменальном, а положительное живет только в плане ноуменальном. Блок говорит: «Чем больше феноменальной душе, тем ясней миры ноуменальные» (Дневник). Но от ясности постижения до осуществления путь неизмеримый.

Ад современности лучше всех показан Пикассо; артист выразил свое впечатление от безобразной действительности современного мира. «Уродливая» живопись Пикассо — это экспрессия зафиксированной им реальности, его постижение феноменального мира. В силу своей абсолютной артистической



честности Пикассо не может создать прекрасное с точки зрения канона чистой красоты; ноуменальное постижение мира приобретает у Пикассо этот уродливый феноменальный вид. Иногда только он позволяет себе забиться и делает волшебные рисунки своих тореро, масок, амуров и пр.

2

В моей памяти три поэта странным образом связаны с ноуменальным ощущением «детского рая»: Жерар де Нерваль, Хлебников и Мандельштам. Все трое были безумцами. Помешательство Нерваля известно всем; Хлебников считался то ли юродивым, то ли идиотом; Мандельштам был при всех своих чудачествах нормален, и только в контакте с поэзией впадал в состояние священного безумия.

Но все три поэта вполне подходят под высшую категорию тех, о ком говорит Платон:

«Celui qui sans le délire des Muses arrive aux portes poétiques persuadé que par la technique, il deviendra un passable poète, s'est un incomplet, car la poésie de l'homme sensé est eclipsée par celle des délirants (Phèdre) <sup>2</sup>.

Кто же такой Нерваль?

В большом старинном доме на Фонтанке вблизи Летнего сада из окна, выходящего во двор, на соседней глухой стене в сажень толщиной проступала леонардовская плесень; вглядевшись в нее, можно было отчетливо видеть силуэт в цилиндре и плаще, куда-то бегущий. О. А. Глебова-Судейкина <sup>3</sup> говорила, смотря на эту тень: «Вот опять маленький Нерваль бежит по Парижу».

Все друзья, бывавшие в доме на Фонтанке, знали и любили призрачного поэта в призрачном Петербурге. Но в те годы поэзия Нерваля в нашем кругу почему-то не упоминалась; моя встреча с нею произошла несколько лет тому назад в Сан-Франциско, городе, тоже призрачном своими туманами и поющими в тумане рогами со взморья, когда городские огни в провалах холмов блещут сквозь туман, как разноцветные леденцы. Магия сонетов Нерваля сделала для меня в те дни прошлое настоящим, т. е. сознанием целостности связи времен; «звезда воспоминанья» — легендарная тень поэта на стене дома в Петербурге — была неразрывна с его голосом, звучавшим в «Химерах», которые я заново читал в Сан-Франциско.

Нерваль — поэт не только Франции, но и Европы; он — ее оправдание. Несколько таких, как он, — и «Содом» не будет разрушен. Ведь Авраам перестал торговаться с Богом после того, как не нашлось и десяти праведников. «И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом».

Нерваль, которого его друзья называли «Le bon Gérard» <sup>4</sup>, был именно одним из тех взрослых детей, для которых открыт рай. Безумие Нерваля было ноуменальным видениемрая, но его феноменальный разум не был в силах справиться с измерениями невидимого мира. Двенадцать сонетов Нерваля — это наиболее совершенное, таинственное и волшебное выражение синтеза античного мифа и утонченного латинского эстетического опыта европейской культуры. Эти двенадцать жемчужин поэзии не превзойдены никем из поэтов-символистов. Ни Бодлер, ни Рембо, ни Малларме не сделали ничего выше и значительнее. У Нерваля был в его безумии тот же пророческий опыт сознания и чувствования, то же эсхатологическое чувство одержимости поэзией, как у Хлебникова и у Мандельштама, но задолго до них. Тихий, кроткий Нерваль находился в той стихии демонов трансцендентного мира, о котором потом Бодлер скажет:

«Sans cesse a mes côtés s'agite le Démon;  
Il nage autour de moi comme un air impalpable...»

(La Destruction) <sup>5</sup>.

3

В тот же дом на Фонтанке приходил Хлебников. Он был влюблен в Ольгу Афанасьевну Глебову-Судейкину, влюблен восторженно и возвышенно-безнадежно, ничем свою влюбленность не обнаруживая; о ней можно было только догадываться. О. А. выросла среди поэтов, понимала их, любила и знала их судьбу. Мило относясь к Хлебникову, О. А. иногда приглашала его к чаю. Эта петербургская фея кукол, наряженная в пышные, летучие, светло-голубые шелка, сидела за столом, уставленным старинным фарфором, улыбалась и разливала чай. Хлебникова я помню во всем величии его святой бедности: он был одет в длинный сюртук, может быть, чужой, из коротких рукавов торчали его тонкие, аскетические руки. Манжет он не носил. Сидел нахохлившись, как сова, серьезный и строгий. Молча он пил чай с печеньем и только изредка ронял отдельные слова. Однажды О. А. попросила его прочесть какие-нибудь свои стихи. Он ничего не ответил, но после довольно длинной паузы раздался его голос, глухой, негромкий, с интонациями серьезного ребенка:

Волк говорит: я тело юноши ем...  
Нет уже юноши, нет уже нашего  
Веселого короля за ужином.  
Поймите, он нужен нам!

Мы потом часто повторяли эти слова и любили их, с нежностью вспоминая прелестную чистоту этих интонаций. Позднее это стихотворение приняло в печати иную форму:

Где волк воскликнул кровью:  
«Эй! я юноши тело ем...»

Когда говорят о человеке в его присутствии так, как если бы его здесь не было, и человек этот не реагирует на разговор о нем, то это означает, что он достиг какой-то подлинной, высокой степени *человечности*; у таких людей нет эгоцентрической реакции, обращенной на самого себя. Это очень русская черта, являющаяся проявлением чистоты и духовной свободы. Хлебникова в глаза называли идиотом, и я видел, что он обидного, говорившегося о нем, не слышит и не воспринимает. Совсем как Мышкин в «Идиоте»! Хлебников при этом не был «размазней», напротив, он умел становиться очень решительным, властным, саркастичным, но проявлял эти черты всегда только в плане идеи, в аспекте творчества, а не в плане бытовом. Хлебников был единственным встреченным мною в жизни человеком, который был *абсолютно* лишен бытовых реакций и бытовых проявлений. По этой причине он во многих вызывал недоумение: он был не такой, как все, следовательно — «идиот».

Хлебников говорил: «Мы стоим у порога мира, когда будем знать день и час, когда мы родимся вновь, смотреть на смерть как на временное купание в волнах небытия. По мере того как обнажаются лучи судьбы, исчезает понятие народов и государств и остается единое человечество, все точки которого закономерно связаны. Пусть человек, отдохнув от станка, идет читать клинопись созвездий. Понять волю звезд — это значит развернуть перед глазами всех свиток истинной свободы. Они висят над нами слишком черной ночью, эти доски грядущих законов, и не в том ли состоит путь деления, чтоб избавиться от проволоки правительств между вечными звездами и слухом человечества. Пусть власть звезд будет беспроволочной. Один из путей — гамма Будетлянина, одним концом волнующая небо, а другим скрывающаяся в ударах сердца».

В писаниях Хлебникова, как и в нем самом, на первом плане находится детскость и подлинная, высокая чистота. Он был важный и торжественный, как бы творивший обряд жизни и поэзии. Было что-то и от языческого идола в нем, при всей его естественности и простоте. Хлебников пишет или произносит слова так, как если бы они произносились вообще в первый раз. Стихи его не имеют начала и не имеют конца. Это вообще не стихи, а обломки чего-то, обрывки фраз, осколки случайно

столкнувшихся слов. Они соединяются между собой как попало, их согласованию не придается значения. Здесь отсутствует мера и мастерство, но всегда дышит свежесть, чистота и детскость. Вот что он писал о своем «заумном» языке: «Играя в куклы, ребенок может искренне заливаться слезами, когда его комок тряпок умирает, смертельно болен. Во время игры эти тряпочки — живые, настоящие люди, с сердцем и страстями. Отсюда понимание языка как игры в куклы; в ней из тряпочек звука сшиты куклы для всех вещей мира. Люди, говорящие на одном языке, участники этой игры. Для людей, говорящих на другом языке, такие звуковые куклы просто собрание звуковых тряпочек. Итак, слово — звуковая кукла, словарь — собрание игрушек».

Хлебников был для нас моральным авторитетом, нашим духовным старцем от искусства. У него не было и не могло быть никакой позы; быть для Хлебникова «председателем земного шара» совсем не означало дурачества или эпатирования. Он понимал свое председательство совершенно серьезно, как и все, что он говорил и делал. Я никогда не видел Хлебникова смеющимся; очень редко кому-нибудь удавалось его рассмешить, и тогда он улыбался, но ничего не говорил. Но поведение Хлебникова было мало понятно в артистическом кругу Петербурга, и многие злились, считали, что оно — дурачество, чепуха. Престиж эстетики утонченного мастерства, понимаемого в европейском смысле, был еще слишком велик в то время, чтобы можно было оценить подлинную сущность Хлебникова. Между тем М. А. Кузмин, бывший одним из наиболее утонченных эстетов той эпохи, умный, тонкий и иронический, никогда над Хлебниковым не смеялся. И конечно, никакого влияния на Хлебникова Кузмин не имел; напротив, Хлебников совершенно неожиданно оказал влияние на Кузмина, который, раскрыв гностический смысл Хлебникова в последний период своей творческой жизни, нашел у него источник вдохновения для себя. Стихи Кузмина, написанные под влиянием Хлебникова, я слышал от М. А. задолго до их напечатания, и связь их с поэзией Хлебникова была для всех нас настолько очевидна, что мы о ней даже и не говорили.

Теперь мне думается, что в то время Хлебников был тем щитом, которым бешеные мальчики от искусства отгораживались от Запада, от западной механичности и эволюционизма.

О нашем отношении к Хлебникову я летом 1917 года, неожиданно попав в его родной город, Астрахань, сообщил родителям поэта, которых я нашел случайно, по вдохновению, вспомнив о том, что они должны там жить. Движимый желанием увидеть их и рассказать им о сыне, я нашел дом Хлебникова; позвонил у двери, и навстречу мне вышел его отец, до смешного похожий на поэта. Через минуту, узнав о том, что гость из

Петербурга, вышла мать Хлебникова; с первых же слов разговора я понял, как родители Хлебникова страдают от его трагической судьбы — бедности, непризнания и странностей его, которые им, между прочим, совсем не казались таковыми. В родителях Хлебникова, живущих в Астрахани, не было ни провинциальности, ни обывательского мещанства. Оба они расцвели, услышав от меня о том, каким престижем обладает Хлебников в нашей среде и какой преданностью он окружен.

Хлебников умер 28 июня 1922 года в деревне, в Новгородской губернии. О его кончине я узнал от нашего общего друга, художника Петра Митурича, уехавшего в ту же деревню, вероятно, на этюды.

По его словам, он созвал несколько мужиков, которым рассказал о Хлебникове, о том, кем он был и какую он прожил жизнь. После того как Митурич и мужики опустили Хлебникова в землю, они «выкурили на его могиле трубку мира».

Примерно через месяц в Петербурге была устроена большая футуристическая выставка. Через всю главную залу был протянут черный штандарт. На нем громадными буквами было написано: «Памяти Велимира Хлебникова».

Настроение у всех было мрачное, и вся выставка прошла как бы под знаком негодования на судьбу, вырвавшую из среды живого искусства еще одну жертву.

4

Хлебников жил вне страстей; казалось, он был лишен темперамента. Сфера его была лунной. *Завороженный*, лунатик, он мог, казалось, ходить над бездной. Как у лунатика, у него было полное отсутствие страха. Нерваль был безумцем; он жил в огненной, стихийной сфере орфического безумия. Хлебников не был сумасшедшим; он был блаженным и бесстрашным. Хлебников был антиподом Мандельштама, одержимого страхом. «Не превозмочь в дремучей жизни страха» — это как бы формула Мандельштама.

Мандельштам не пил, не курил, и на моей памяти у него не было романов. И подобно тому как Хлебников был влюблен в О. А. Глебову-Судейкину, Мандельштам был безнадежно, тайно и возвышенно влюблен в другую знаменитую петербургскую светскую львицу и красавицу, Саломею А-ву, которой он посвящал свой вдохновенный бред о «соломинке, соломке, Саломее»<sup>6</sup>.

Мандельштам был противоположен как Нервалю, так и Хлебникову; он боялся проявления какого бы то ни было беспорядка. Хаос приводил его в ужас. Мандельштам защищался от хаоса *бытом*, живя исключительно в бытовых проявлениях

ях жизни и цепляясь за них. Подобно новому Гесиоду, он любил строй (порядок) мирной жизни и мирного труда, ужасаясь нарушению гармонии. Мандельштам любил жизнь и обладал громадным запасом жизненных сил, которых, казалось, могло бы хватить на несколько существований; без труда умея переносить голод, холод и лишения, он не мог мириться со злом и несправедливостью. Возмущенный злом, Мандельштам был способен совершить самые неожиданные и самые опасные поступки и не задумывался над тем, к чему они его приведут. Несмотря на «страх перед дремучей жизнью» и перед хаосом, Мандельштам играл с опасностью так, как ребенок играет с огнем или малыш в школе лезет в драку с обидевшими его большими оболтусами.

Быт Мандельштама заключался в его любви к самым простым вещам: он любил пирожные, которых мог съесть хоть дюжину, любил кататься часами на извозчике, восхищаясь свободой и тем, что он видел вокруг; в разгар революции, получив каким-то чудом комнату в «Астории», он по несколько раз в день купался в ванне, пил молоко, которое ему доставляли по ошибке, и ходил завтракать к Донону, где хозяин, потеряв голову, всем оказывал кредит. Мандельштам был смешлив и очень ласков; близких своих друзей он любил гладить по лицу с нежностью, ничего не говоря и глядя на них сияющими и добрыми глазами.

Но «рай» этого Божьего младенца сказывался, конечно, не в приведенных выше мелочах быта, а в абсолютном музыкальном самоизживании творимого образа или идеи. В этом и заключалось его подлинное, пророческое ощущение мира, как старого и обреченного, так и нового, чаемого, но еще неосознанного. Эсхатологическое сознание было главной движущей силой Мандельштама, подлинной творческой интуицией в ее высшей категории и на большой глубине. Больше всего Мандельштаму была необходима *повторность*; ему казалось, что «прекрасное мгновенье», промелькнув, должно повториться вновь и вновь. Как память строит форму в музыке, так история строила форму в поэзии Мандельштама; в ней — музыка чисел и образов, как у Платона и у пифагорейцев, находящаяся вне всякого личного переживания или чувства. Мандельштам жил в трепете и экстазе чужих страстей, никогда не своих, но всегда отраженных. Символы истории, символы государственных форм, имели над ним неограниченную, магическую власть; но застывшие исторические факты и формулы Мандельштам превращал в живой быт эпохи; «язык булыжника» был ему «голубя понятней», и его словесная гравюра революционного Парижа, например, нам видна во всех мелочах повседневного быта. Мы

привыкли думать о революционном Париже как о грозной, бушующей народной стихии, но Мандельштам нам показывает «прабабку городов», где «камни — голуби, дома — как голубятни», где поют песенки, жарят каштаны, а декреты Робеспьера подобны детской игре: «Здесь клички месяцам давали, как котяткам». Этот бытовой «уют», такой неожиданный при описании террора, создан Мандельштамом оттого, что революционная буря отбушует, а камни прабабки городов с ее домами, как голубятни, останутся.

Мандельштам никогда не объяснял того, о чем говорил, и ничуть не сомневался в том, что он будет понят собеседником. С теми, кто, по его мнению, не были способны его понять, Мандельштам вообще не стал бы разговаривать. Когда он сталкивался с пошлостью или глупостью, он злился, смеялся, даже хохотал. Серьезен Мандельштам бывал только в поэтической сфере. Чтение стихов было для него каким-то обрядом; читал он торжественным и спокойным голосом, скандируя на классический лад и сопровождая кадансы пассажами: он то широко разводил руками, то поднимал и опускал их перед собой таким образом, словно успокаивал разбушевавшиеся ритмические волны.

Из чтений Мандельштама мне почему-то запомнился один вечер, проведенный в странной обстановке. Однажды Мандельштам уговорил меня пойти с ним к его «мecenату», который соглашался издать литературный сборник, с тем чтобы напечатать в нем собственные стихи. Жил «мecenат» на окраине Петербурга, за Невской заставой, где находились хлебные склады; старый, громадный купеческий дом «мecenата» напоминал рогожинский дом в «Идиоте». Мы явились туда пешком, под вечер, и застали сборище знакомых и незнакомых; между прочим, там был и С. С. Прокофьев. Ночь прошла за чтением различных стихов, но центром внимания хозяина и его окружения был какой-то человек в сапогах бутылками, кафтане, длинноволосый, не то монах-расстрига, не то домашний мудрец, вроде Фомы Фомича Опискина. Человек этот приволок громадную книгу в полпуда весом, где им были записаны его изречения и назидания на все случаи жизни. Книгу эту он читал некоторое время вслух, при почтительном внимании хозяина, а Мандельштам ерзал на стуле и смотрел на меня смеющимися глазами, показывая мне, что ради издания сборника, в котором у него будет возможность напечататься, он готов все выдержать — и мecenата, и его учителя жизни... Ведь, как и все подлинные поэты, Мандельштам знал, что от пыльных разговоров со скучными людьми можно всегда убежать в «детский рай», полный чудных игрушек,— *Les abolis bibelots d'inanité sonore.*



Георгий Иванов

## КИТАЙСКИЕ ТЕНИ

Всю ночь валил снег, такой обильный, что сугробы вырастали сейчас же, как только дворничьи лопаты переставали на минуту расчищать тротуар. Часов в двенадцать дня ко мне пришел Мандельштам. Он был похож на белого медведя и требовал водки, коньяку, пуншу — иначе он сейчас же простудится и умрет. Я постарался отогреть его, чем мог. Пока мы завтракали, снег стал реже, воздух светлее, блеснуло солнце. Через час мы уже шли по Невскому — наведаться в университет, оттуда зайти в «Гиперборей». На Васильевский остров со Знаменской путь немаленький; но погода стала вдруг так хороша, что мы соблазнились. Соблазн оказался «роковым».

Казанская площадь была полна народа. Флаги, портреты, «Боже царя храни» с одной стороны, с другой — свист, крики «долой», «погромщики». Это была манифестация по случаю взятия Скутари, столкнувшаяся здесь, на Казанской площади, с неблагоприятными элементами.

Мы вмешались в толпу, чтобы поглядеть, что происходит. Толпа нас сжала, потом цепь конных городских с криком «Расходитесь, расходитесь, господа» отгиснула нас в сторону Казанской улицы...

И через несколько минут мы оказались в каком-то узком и мрачном дворе, где околоточный с руганью выстраивал нас в пары. Попались.

Нас долго держали во дворе — с полчаса. Когда вывели — толпы на площади уже не было. «Последние тучи рассеянной бури» — партии таких же, как мы, арестованных, окруженные конвоем, — уводились куда-то вглубь по Конюшенной. Тем же путем последовали и мы.

Мне стоило большого труда успокоить моего спутника. Мандельштам требовал телефона, письменных принадлежностей, чтобы писать кому-то жалобу; кричал, что он знаком с Джунковским<sup>1</sup>, и волновался ужасно. Волноваться же было совершенно бесполезно — никто его не слушал, надо было, покорясь судьбе, сидеть и ждать очереди, пока не вызовут в кабинет пристава.



Пристав оказался человеком любезным и обходительным. Он просил успокоиться начавшего снова доказывать и протестовать Мандельштама.

— Маленькое недоразумение... Сейчас мы это уладим...— Он взялся за карандаш.— Ваши фамилии, господа, адреса...

Когда Мандельштам назвал свою фамилию и «род занятий», пристав приятно осклабился.

— Не сын ли вы известного адвоката, позвольте узнать?

Мандельштам даже привскочил. Он стал весь красный.

— Господин пристав. Даю вам слово... Даже не знаком...

— Но позвольте...

— Даю вам слово... Я сын купца. Сын купца.

— Но позвольте, молодой человек, почему вы так нервничаете? — удивился пристав.— Вы вон писатель... Я и предположил, не из семейства ли нашего известного...

— Нет, нет. Сын купца.

Пристав пожал плечами, попросил нас расписаться, и нас выпустили.

— Почему ты так испугался? — спросил я Мандельштама, когда мы вышли.

Он смерил меня взглядом, полным снисходительного презрения к моей несообразительности:

— Как? Ты не понял? Ты не понял? Так это же была провокация.

Я повторил жест любезного пристава: молча пожал плечами.

В университет было поздно, но в редакцию «Гиперборея» в самый раз. Да и куда же ехать, чтобы поделиться нашими приключениями, как не в эту приятнейшую из редакций.

В зеркальные окна просторного, натопленного, устланного коврами кабинета видна Невка, покрытая зимующими во льду барками, Тучков буян, мост <sup>2</sup>. Все это завалено снегом, залито красным зимним закатом.

Так успокоительно в этом просторном, теплом, уютно освещенном кабинете. Горничная в наkolке разносит чай, бисквиты, коньяк. Уже собрался кое-кто. Хозяина — редактора — еще нет, задержался в типографии. Но вот — скрип двери, шорох портьеры:

Выходит Михаил Лозинский,  
Покуривая и шутя,  
С душой отцовско-материнской  
Выходит Михаил Лозинский,  
Рукой лелея исполинской  
Свое журнальное дитя... <sup>3</sup>

Мало кто помнит о «Гиперборее», да и имя Михаила Лозинского известно только в узких литературных кругах. Поэтому скажу два слова об обоих <sup>4</sup>.

В 1907 году в Париже русские начинающие поэты выпускали журнал «Сириус». Журнал был тощий — вроде нынешних сборников Союза молодых поэтов, поэты решительно никому не известны. Неведомая поэтесса А. Горенко печатала там стихи:

На руке его много блестящих колец  
С покоренных им девичьих нежных сердец,  
Но на этой руке нет кольца моего,  
Никому, никому не отдам я его <sup>5</sup>.

Это имя — Анна Горенко — так и кануло в Лету вместе с напечатанными в «Сириусе» стихами: свои позднейшие произведения поэтесса стала подписывать псевдонимом — Ахматова.

Молодые поэты издавали этот журнал, как и полагается, в складчину. Каждую неделю члены «Сириуса» собирались в кафе, чтобы прочесть друг другу вновь написанное и обменяться мнениями на этот счет. Редко кто приходил на такое собрание без «свеженького» материала, и Гумилев, присяжный критик кружка, не успевал «припечатать» все, что хотел <sup>6</sup>.

Самым плодовитым из всех был один юноша с круглым бабьим лицом и довольно простоватого вида, хотя и с претензией на «артистичность»: бант, шевелюра... Он каждую неделю приносил не меньше двух рассказов и гору стихов. Считался он в кружке бесталанным, неудачником — приносил новое — его опять, еще пуще ругали. Звали этого упорного молодого человека граф А. Ник. Толстой <sup>7</sup>.

Молодые люди разъехались из Парижа, собрания в кафе кончились. «Сириус» прекратился. Но память о нем осталась настолько приятная, что бывшие его сотрудники пытались восстановить «Сириус» уже в Петербурге. Первая попытка — «Остров», бывший по составу сотрудников повторением «Сириуса», скоро прекратился сам собой <sup>8</sup>. Тогда Гумилеву пришла мысль — не реставрировать старый журнал, а основать новый и по духу, и по составу сотрудников, но того же типа, т. е. поэты сами хозяева и «полная независимость».

«Гиперборей» выходил ежемесячно аккуратно изданными книжками в 32 страницы. Книжки были аккуратные, но выходили они крайне неаккуратно — августовская в январе, январская в июле. «Послушайте, — сказали как-то Лозинскому, — ваш «Гиперборей» невозможно опаздывает — перед подписчиками неудобно». Лозинский нахмурился. «Действительно, вы правы, неловко»... Но сейчас же лицо его прояснилось: «Ну ничего, я им скажу»...

Повторяю, редакция «Гиперборея» была приятнейшей из редакций. Даже поэты, чьи стихи, «к сожалению», возвращались, вряд ли могли долго сердиться, так мягко, деликатно и необидно для их самолюбия делал это Лозинский. Были, конечно, случаи черной неблагодарности. Так, какой-то

отвергнутый поэт переменялся с редактором шапкой. Не говоря уже, что взамен своей из великолепного котика Лозинский получил захудалую, потертую кошку, надев ее (так он, по крайней мере, клялся), он сейчас же ощутил в ушах шум скверных рифм и прилив шестистопных строчек без цезуры.

Вряд ли, впрочем, какая бы то ни было сила в мире могла заставить Лозинского чем-нибудь погрешить в области стихотворной формы. О духе его поэзии можно спорить, ее приподнято-отвлеченная пышность может не нравиться и даже раздражать. Но необыкновенное мастерство Лозинского — явление вполне исключительное. Стоит сравнить его переводы хотя бы с такими общепризнанно-мастерскими, как переводы Брюсова или Вячеслава Иванова. Они детский лепет и жалкая отсебятина рядом с переводами Лозинского. Рано или поздно, но не сомневаюсь, что они будут оценены как должно, как будет оценен этот необыкновенно тонкий, умный, блестящий человек, всегда бывший в самом центре поэтической «элиты» и всегда намеренно сам остававшийся в тени.

Лозинский — обаятельный хозяин. Если гости — сотрудники и «подписчики», собравшиеся в его кабинете, — оживлены, болтают и не нуждаются в том, чтобы их занимали, — его не видно — он тихо беседует с кем-нибудь в дальнем углу. Молчание, какая-нибудь заминка или неловкость — и сейчас же как-то незаметно он овладеет разговором, блеснет неожиданной остротой, рассеет неловкость, подымет упавшее оживление.

«Это все равно что Лозинский сделал бы гадость», — говорила Ахматова <sup>9</sup>, когда хотела подчеркнуть совершенную невозможность чего-нибудь. Гумилев утверждал, что, если бы пришлось показывать жителям Марса образец человека, выбрали бы Лозинского — лучшего не найти.

\* \* \*

Итак — в «Гиперборей». Мы пошли к трамвайной остановке. Успокоившийся после ареста и «провокации» Мандельштам сочинил и читает — так задыхаясь от смеха, что трудно его понять, — незамысловатый экспромт.

Не унывай  
Садись в трамвай  
Такой пустой  
Такой восьмой <sup>10</sup>.

Вдруг нас останавливает голос — тихий, но какой-то властный, необыкновенный.

«Скажите, господа, где помещается «Аполлон»?»

Спрашивал это... мужик. Простой мужик в картузе, в вален-

ках, в полушубке. Стоял он спиной к фонарю — лица почти не было видно. Только этот тихий, странный голос и на мгновение блеснувшие пристальные, сверлящие глаза.

«На Разъезжей, 26», — сказали мы хором. Мужик поблагодарил и пошел дальше. На полупустой улице было темно, минуту мы стояли, не понимая, почудилось нам, что ли. Нет, не почудилось, вот уже далеко мелькает его картуз, вот скрылся за угол...

Что ему могло понадобиться в «Аполлоне», этому человеку в валенках и картузе? И — еще странней — как он узнал, что мы можем ответить на его вопрос? Знать он нас не мог. Услыхал обрывок разговора? Нет, он шел нам навстречу и слышать ничего не мог, да и болтали мы какой-то вздор, не о том ли «пустом восьмом трамвае».

Гумилев скептически покачал головой на наш рассказ. «Это вам показалось со страху после участка». Практический Б. Эйхенбаум решил, что это просто швейцар или истопник шел в «Аполлон» наниматься. Позабыл адрес, ну и спросил, может быть, господа знают. Мы поглядели на Эйхенбаума с презрением: нет фантазии у человека, недаром критик. Наша собственная фантазия, разыгравшись, говорила нам совсем другое. Как раз недавно был слух, что в Петербурге видели Александра Добролюбова.

\* \* \*

Имя Александра Добролюбова нынешнему молодому «послевоенному» поколению не говорит ровно ничего. Его просто никто не слышал. А между тем этот таинственный полулегендарный человек, кажется, жив и сейчас. По слухам, бродит где-то в России — с Урала на Кавказ, из Астрахани в Петербург, — бродит вот так мужиком в тулупе, с посохом — так, как мы его видели, как он почудился нам на полутемной петербургской улице: «Скажите, господа, где помещается «Аполлон»?» Впрочем, и старшее поколение, даже те, кто его знали лично, были или звались его друзьями, тоже немного знают об Александре Добролюбова, т. е. о том Добролюбова, который в картузе и с посохом где-то, зачем-то бродит — уже очень долго, с начала девятисотых годов — по России. Они знают только ту часть его жизни, которую он неизвестно почему вдруг прекратил, уйдя от нее, вот так с посохом, куда глаза глядят и без оглядки, порвав со всем навсегда...

Странная и необыкновенная жизнь: что-то от поэта, что-то от Алеши Карамазова, еще многие разные «что-то», таинственно перепутанные в этом человеке, обаяние которого, говорят, было неотразимо. Он был из состоятельной культурной семьи, писал стихи, кажется, был очень избалован и изнежен, кажется,

даже было в его ранней молодости время, когда его считали снобом. Его стихи называли, вполне серьезно, гениальными — я это слышал от таких людей, которые знают, что такое стихи. Но все они знали и Добролюбова лично, и мне кажется, в этом секрет того обаяния, которого не знавшие его, и я в том числе, уже не могут почувствовать в этих бледных, бесплотных, каких-то нечеловеческих, из «четвертого измерения» строчках. Кстати, сборник Добролюбова назывался «Из книги невидимой». Кто знает, может быть, и впрямь «невидимая» — для нас — была видимой кому надо, — кому надо, «объявятся», когда придет срок? Может быть, и гениальная, только без ключа к пониманию ее гениальности. На время? Навсегда? Кто знает, поэзия — дело темное. А гениальными стихи Добролюбова, между прочим, считал Блок.

Из неживого тумана  
Вышло больное дитя <sup>11</sup>.

Это Добролюбову посвящено. И эпитафия пушкинская к нему: «А. М. Д. своєю кровью...» — имеет двойной смысл: рыцарь бедный — Александр Михайлович Добролюбов.

...Где теперь помещается «Аполлон», господа?..

Вряд ли это все-таки был Добролюбов. Петербургский снобический «Аполлон» — ну зачем он мог понадобиться «Рыцарю бедному», давно порвавшему начисто и навсегда со всеми вообще «Аполлонами», какие только от века существовали на земле? Вряд ли это был он. А впрочем...



Георгий Иванов

## НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ

Я «вступил в литературу» осенью 1910 года. «Вступил» несколько необычно: по газетному объявлению.

«Редакция большого художественного еженедельника приглашает начинающих писателей присылать свои произведения...»

Это было напечатано петитом на последней странице «Вечерней биржевой» между извещениями о сдаче квартиры и о продаже велосипеда. Как оно попало мне на глаза? Ни велосипедами, ни квартирами я не интересовался, велосипед у меня и без того был, а о квартире в шестом этаже размышлять было несколько рано — своевременней было думать о переэкзаменовках.

Позже, став сотрудником этого «большого художественного журнала», я узнал, что объявление было дано только раз. И вот попало-таки мне, никогда никаких объявлений не читавшему. И, разумеется, не мне одному — десяткам таких же начинающих, поторопившихся, как и я, прислать с первой же почтой свои «произведения». Так что не о повторении объявления пришлось заботиться, а о том, как устроиться с горой всевозможных рукописей, заполнивших все столы и шкафы гостеприимной редакции.

\* \* \*

Посылая стихи по этому объявлению, я не питал больших надежд. Я был уже человеком искушенным. Отлично знал, куда бы ни отправлять стихи, как бы «разборчиво», согласно редакционным правилам, они ни были переписаны, как ни тонко составлено препроводительное письмо с маркой на ответ и «указанием желаемого гонорара», результат получался всегда один и тот же. По прошествии трех, четырех, иногда пяти томительных недель приходил толстый конверт со штемпелем журнала. С бьющимся сердцем я его вскрывал. И всегда одно и то же — из конверта вываливалась моя рукопись и клочок

бумаги: «М. Г., к сожалению...» Первые ответы такого рода меня потрясали; с течением времени я несколько привык к этому. Но, конечно, не переставал посылать, не переставая каждый раз безнадежно надеяться. На объявление в «Вечерней биржевой» я ответил, впрочем, с некоторым упованием: приглашались ведь начинающие авторы, а права на это звание никто не мог у меня отнять. И еще — раз приглашались начинающие, значит, нет в редакции того засилья признанных, знаменитых, кем я считал каждого, чью подпись видал в печати и чьим интригам приписывал свои неудачи на поприще славы.

Да, надежда на этот раз была больше, чем обычно. Но все-таки очень отдаленная. Настолько отдаленная, что, когда дня через три я получил ответ: «Ваши стихи приняты, просим зайти лично...», я был ошеломлен не менее, чем первым: «М. Г., к сожалению...» Даже больше, пожалуй. Я получил это письмо, сидя в корпусе<sup>1</sup>, на «вечерних занятиях». Воспитатель мой, старичок подполковник, укоризненно покачал головой, передавая мне вскрытое им (все письма читались воспитателем) письмо. Он относился скептически к поэзии и к листку с моими четвертными отметками приписал недавно: «Преждевременное увлечение новейшей литературой вредит успехам и не обещает в будущем ничего хорошего...» Стихи Бальмонта и собственные им подражания, которыми была полна моя голова, «успехам» в самом деле вредили. Отметки у меня были отчаянные, не исключая и отметок по русскому языку, блеск которого собирался я обновлять.

\* \* \*

«Ваши стихи приняты, просим зайти...» Я перечитывал по многу раз эти магические слова, и они казались мне музыкой. Музыкой казалось и название, декадентскими литерами выведенное на бланке: «Редакция журнала «Все новости русской литературы, искусства, театра, науки, техники, промышленности и гипноза». Это «и гипноза» несколько меня смущало. Какой-то смутный инстинкт подсказывал, что все-таки лучше бы обойтись без гипноза.

Отправляя стихи на этот раз, я благоразумно не указал «желаемого гонорара». И хорошо сделал: чтобы не уронить достоинства, я обычно назначал гонорар скромный, но солидный — пятнадцать копеек за строчку. Редакция «Новостей гипноза», начинание молодое и неокрепшее, как я справедливо догадался, таких бешеных денег платить не могло. Гонорар был мне уплачен по пять копеек за строчку, всего рубль восемьдесят копеек. Прибавив три двадцать собственных, сэкономленных на пирожных и папиросах, я внес эти деньги в полугодовую подписку на «Аполлон»<sup>2</sup>.

Собственно, подписываться на «Аполлон» было излишней роскошью — можно было бы его по-прежнему брать в библиотеке. Но, отправляясь подписываться, я имел смутный неопределенный план, питал смутную надежду на возможный счастливый случай. Вдруг в конторе «Аполлона» заговорит со мной Блок! Вдруг я заведу знакомство с Брюсовым! Надежда оказалась неосновательной. В пустой конторе на Мойке усатый красноносый конторщик жег на печке клейкий лист, облепленный мухами. Мухи, погибая, отчаянно жужжали. На вешалке висело несколько пальто и шляп — может быть, какая-нибудь из них и принадлежала Бальмонту, кто знает, — и я посмотрел на вешалку с почтением. Но я никого не увидел, никаких знакомств не завел. Красноносый конторщик, оставив мух, вяло принял мои пять рублей, вяло выписал квитанцию и потребовал еще пять копеек за марку. Пять копеек, по счастью, у меня нашлись — последние, на трамвай. Я отдал их конторщику, спрятал квитанцию, посмотрел еще раз на вешалку и пошел пешком домой на Каменноостровский...

\* \* \*

«Новости гипноза» скоро закрылись, кажется на четвертом номере. Но великая вещь — напечататься в первый раз, хотя бы и в «Новостях гипноза». Остальное делается уже само собой...

Вернее, делалось само собой в старые (добрые или недобрые) времена. Теперь времена, конечно, изменились...

Вспоминая прошлое, как не пожалеть нынешнюю литературную молодежь. Старое правило: «Поэт, не нашедший типографию для своих стихов, — не поэт» — к ней неприменимо. Можно быть трижды поэтом, и «типографии» все-таки не найти. Да и не в одной типографии дело. Если даже удастся пристроиться в журнал или выпустить книжку, то положение мало меняется. Ведь найти типографию — не значит еще найти читателя. А где теперь этот читатель, особенно читатель стихов?..

Кто наполнял когда-то до отказа литературные вечера, до дыр зачитывал и поэзию, и беллетристику, и критику, делал на полях то восторженные, то негодующие пометки, свидетельствовавшие если не о хорошем вкусе, то о повышенном страстном интересе к литературе. Кто, в сущности, создавал всероссийскую, мгновенную, часто совершенно незаслуженную славу? Студенты и курсистки.

Да, «главным читателем» в России было, конечно, студенчество. Этот «главный читатель» был не особенно разборчив, в голове у него был порядочный сумбур. Но у него было



драгоценное свойство: он читал «до дыр», а не почитывал в часы досуга, восторгался, а не снисходительно одобрял, негодовал, а не откладывал, пожав плечами, непонравившуюся книгу. Это повышенное, страстное отношение огромной и «влюбленной» в литературу аудитории было настоящим «воздухом» для искусства.

\* \* \*

Главное было сделано — я напечатал первые стихи. Остальное пошло самой собой. Через год я был в самой гуще «литературной жизни», правда, не особенно «первосортной».

...Какие-то залы, набитые какими-то слушателями. Залы всегда большие, слушателей всегда много. Вечер стихов, диспут о стихах. Стихи — чушь, споры — бестолковщина. Но кто-то благодарит, кто-то жмет руки, просит автографов, подносит цветы. Потом, по снегу, на нескольких извозчиках в шумную и бестолковую «Вену» большой компанией, за сдвинутыми столами шумный, бестолковый, веселый разговор. «Вена» закрывается, снова сани летят куда-то по снегу. В небе звезды, голова кружится от вина, в голове обрывки стихов, в ушах шум незаслуженных аплодисментов. Завтра опять диспут, надо дать отпор кубо-футуристам. Да здравствует эго-футуризм! Сани летят, и не от одного вина кружится голова — еще от тщеславной мысли: неужели это я, только год назад...

Сколько знакомств завязывалось тогда, сколько неожиданных встреч! Вот хотя бы С. <sup>3</sup>.

Поэт С., сын крестьянина, круглый сирота, поступил двенадцати лет в страховое общество лифт-боем. А в двадцать пять был директором этого общества, получал огромное жалованье, держал рысака, одевался у Калина, прочел по-французски, итальянски, гречески все, что можно было на этих языках прочесть, и был близким другом «Таврического мудреца» — Вячеслава Иванова.

Я познакомился с С. в «Гаудеамусе», студенческом эстетическом журнале. Его редактировал Вл. Нарбут <sup>4</sup>, в нем печатала свои первые стихи начинающая поэтесса Анна Ахматова. Однажды я зашел в редакцию. Но зашел неудачно. Нарбута нет, никого нет. Я сел подождать. Кроме меня в приемной ждал еще один посетитель — розовый молодой человек, щегольски одетый, со странно-неподвижным взглядом удивительных серо-холодных глаз. Нарбут не приходил. Мы разговорились. Так началась наша дружба...

Странная это была дружба. Что нас связывало — не знаю. О чем вели мы с С. бесконечные беседы, о чем на десяти страницах переписывались летом? Не помню. Вылетело из го-

ловы. О стихах, конечно, о литературе. Но, конечно, не стихи С., умелые и довольно бесцветные, не его литературные мнения меня привлекали. Что же? «Что-то», что было в С. Какая-то тень тайны на его жизни. Иногда он вел со мной странные разговоры:

— Ты дворянин.

— Дворянин, а что?

— А вот я мужик. Дед крепостным был.

— Так что же? Ты ведь не крепостной, чего тебе беспокоиться?

— Ты не поймешь этого...

— Чего же?

— Важности быть дворянином... в иных случаях.

— Действительно не понимаю.

— Видишь ли. Как тебе объяснить. Вот ты дворянин, и, значит, у тебя есть герб и корона. Герб твой дурацкий, сочиненный писарем в департаменте геральдики, какой-нибудь лафет и груда ядер. А другому дан герб с тремя лилиями и с соломоновой звездой, дан господином, за доблесть, и он должен таить его от всех, потому что не имеет дворянства, которое каждый отставной генерал имеет.

— Это не тебе ли дан герб с тремя лилиями?

— Может быть, и мне.

— И у тебя не хватает для него короны? За чем же дело стало. Давай, я тебя усыновлю, и ты украсишь моей короной свой замечательный герб,— шутил я.

В 1914 году весной С. собирался за границу, я уехал в деревню. Вдруг получаю от него письмо с Кавказа. Недоумеваю, почему он отложил свою поездку в Германию, совсем решенную, даже паспорт, кажется, был уже взят. Ответ загадочный: теперь поздно. Скоро будет война. Это в июне 1914 года. Вернувшись в Петербург, спрашиваю С.:

— Откуда ты знал?

Улыбка.

— Так показалось...

— Если тебе часто так кажется, ты мог бы, право, как мадам Тэб, заниматься предсказаниями.

Улыбка делается насмешливой.

— Как мадам Тэб? Спасибо! Это бы и ты мог. Она в этих делах, поверь, совершенная невежда.

Может быть, С. просто смеялся надо мной. Не знаю. Может быть, никакой тайны в нем не было. Может быть. Но если бы оказалось, что он и впрямь человек необыкновенный, с двойной жизнью, с таинственными познаниями, я бы не удивился...

И другие встречи того времени все не похожи одна на другую, каждая по-своему «пронзительна». Например, Гатчина — мещанский кривой домишко, жаркие заставленные

барахлом комнаты, чад кухни, дым дешевых папирос, бульканье водки, человек десять каких-то оборванцев-собутыльников и среди этого нищий, пьяный, грязный, всклокоченный — Фофанов. Умирающий Фофанов <sup>5</sup>.

Жена Фофанова — сумасшедшая. Дети — сколько их — всех возрастов тут же вместе с отцом, пьющим водку стаканами, — дети сумасшедшей и алкоголика. Собутыльники — шулера, взломщики, агенты охранного отделения. Фофанов с искаженным лицом опрокидывает стакан, страшно, дико кошунствуя, тянется к киоту — закурить от лампадки. И, икая, читает стихи, ворох стихов, на каждом из которых сквозь вздор и нелепость отблеск ангельского вдохновения, небесной чистоты.

Шулера и агенты охраны внимательно слушают. На глазах у них слезы. Фофанов шатается. Потом, изможденный стихами, водкой, усталостью, валится под стол, на плевки и окурки, на грязные сапоги сыщиков. Валится с невнятным бормотанием: «Бессмертия мне!..»

Это была его любимая фраза. Это были его последние слова, когда он умирал от белой горячки.

Утром вспоминаешь такие встречи как сон. Страшный сон — только бы он не повторился. И с особенным удовольствием одеваешься в чистой комнате, моешься в белой ванной, завтракаешь в залитой скупым петербургским солнцем столовой.

Вечером снова диспут — надо подготовиться. Да здравствует «эго-футуризм» <sup>6</sup>, долой «кубо» — Бурлюков и компанию.

Снова какие-то залы, набитые какими-то слушателями. Залы всегда большие, слушателей всегда много. Аплодисменты, споры, восторженный или негодующий «главный читатель». И снова сани летят куда-то по сияющему петербургскому снегу...

2





Владимир Барятинский

«ПЯТНИЦЫ ПОЛОНСКОГО»  
И «ПЯТНИЦЫ  
СЛУЧЕВСКОГО»

*Из серии воспоминаний  
«Догоревшие огни»*

В доме Я. П. Полонского на Знаменской улице по пятницам бывали очень симпатичные вечеринки. Собиралось довольно много гостей вокруг большого чайного стола, и беседы велись на всевозможные темы. Престарелый поэт принимал живейшее участие в этих беседах. Говорил он слегка нараспев и в нос, что придавало его речи некоторую торжественность, усугубляющуюся его внешностью библейского патриарха. Его супруга, Жозефина Антоновна (она была его второй женой и значительно моложе его), мастерски справлялась с ролью хозяйки, бдительно следя за тем, чтобы никому не было скучно и чтоб все «угощались». Впрочем, никому никогда и не бывало скучно, потому что в доме Полонских всегда царило самое радужное настроение.

Вечеринки эти — или приемы — не носили характера «литературного». Собирались просто знакомые поэта и его семьи; иногда, впрочем, читали стихи.

После смерти Якова Петровича<sup>1</sup> его вдова и сын, при участии нескольких приятелей — в числе которых и я имел честь находиться, — основали, в память поэта, кружок под названием «Пятницы Полонского». Собрания происходили, конечно, по пятницам, в помещении, теперь не помню, какому-то предприятию принадлежавшем (кажется, одной из крупных фортепианных фирм), в большом доме на углу Невского проспекта и Морской улицы.

Число членов кружка быстро разрослось. Собирались выпить чая, слегка закусить и прослушать всегда интересную музыкально-вокальную и литературную программу, над составлением которой усердно работал сын покойного поэта, милейший Борис Яковлевич Полонский. Артисты и чтецы всегда охотно отзывались на приглашение принять участие в программе, и успех «Пятниц Полонского» все возрастал. Но опять-таки собрания эти не носили характера профессионально-литературного, а являлись лишь воспроизведением — в более широком масштабе — вечеринок, устраивавшихся при жизни поэта в его доме.

Но параллельно с этим кружком возник вскоре еще другой, преследовавший иные задания и связанный с памятью Полонского лишь тем обстоятельством, что собрания его происходили тоже по пятницам.

После смерти Полонского старейшим русским поэтом явился К. К. Случевский<sup>2</sup>, который и возымел мысль, в память своего покойного собрата, устраивать — так сказать, в порядке преемственности — у себя на дому собрания по пятницам.

Собрания эти скоро стали известны в литературном мире под наименованием «Пятниц Случевского».

Попасть в члены этого кружка можно было только после строгой баллотировки, и к тому же непременно условием вменялась принадлежность, или хотя бы причастность, к поэтической или стихотворной области литературы, если можно так выразиться.

Я никогда не был поэтом, ни даже простым «рифмоплетом», но более или менее владел стихом, перевел две или три пьесы в стихах с французского языка на русский, а целый ряд русских стихотворений на французский (некоторые из этих переводов были напечатаны в свое время в «Nouvelle Revue», журнале, издававшемся известной Madame Adam, поныне еще здравствующей и доживающей десятый десяток лет со дня своего рождения).

При добром отношении ко мне со стороны как самого Случевского, так и некоторых членов его кружка я был принят в кружок, несмотря на мои определенно ничтожные заслуги перед русской поэзией. На таких же, хотя и гораздо менее шатких, основаниях был избран и Ф. Ф. Фидлер<sup>3</sup>, друг всех русских писателей, от самых маститых до самых заурядных журналистов. Преподаватель немецкого языка в нескольких учебных заведениях, между прочим, в Екатерининском институте, он с редким талантом переводил на немецкий язык произведения чуть ли не всех русских поэтов — до Кольцова и Никитина включительно, и переводы его охотно издавала известная германская фирма «Universal Reclams Bibliothek», маленькие книжечки которой, наподобие суворинской дешевой библиотеки, расходились по всему миру.

Кстати сказать, у Фидлера была редчайшая коллекция писательских автографов, которую он завещал Петербургской публичной библиотеке. Мне посчастливилось обогатить эту коллекцию тремя письмами: Жуковского к Н. Н. Пушкиной (я получил его в подарок от внука Пушкиной), Чехова и Эдм. Ростана<sup>4</sup>; последние два письма были авторами их адресованы мне. Письмо Чехова касалось предполагавшегося и не состоявшегося, вследствие протеста Московского Художественного театра, представления «Чайки» на сцене «Нового театра Л. Б. Яворской<sup>5</sup>»; письмо же Эдм. Ростана, с которым

я был когда-то в приятельских отношениях, относилось к постановке его знаменитой пьесы «Сирано де Бержерак» и подробно описывало первое представление этого едва ли не лучшего драматического произведения Ростана.

Но возвращаюсь к «Пятницам Случевского», или, как досужие юмористы окрестили их, к «Сборищам птичек певчих». Случевский жил во втором этаже дома — если память мне не изменяет — под номером 7 по Николаевской улице. Собирались между восемью и девятью часами вечера. Завсегдатаями были — по крайней мере, в первое время — Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, С. А. Андреевский, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб, А. А. Коринфский (ныне незаслуженно забытый), К. М. Фофанов, иногда Вл. С. Соловьев, присутствие которого вносило всегда особое оживление, О. М. Чюмина, Т. Л. Щепкина-Куперник, В. Величко, «Лейтенант С.» — сын Случевского, молодой поэт, подававший большие надежды, мой товарищ по морскому училищу, погибший во время русско-японской войны <sup>6</sup>, и еще несколько человек, имена которых теперь не припомню <sup>7</sup>. Часов в девять собрание открывалось. Спешу оговориться, не собрание открывалось — это было бы чересчур торжественно! — а начиналось собеседование. Кто-нибудь из присутствующих (действительных поэтов!) прочитывал свое последнее, еще не появившееся в печати произведение, а вслед за тем слушатели высказывали свое откровенное мнение об этом произведении.

Когда присутствовал Фофанов, то на него поглядывали (особенно хозяин дома) не без некоторого беспокойства: этот, быть может, один из последних талантливых русских поэтов-лириков чистейшей воды был, к сожалению, подвержен страсти алкоголизма и приходил на наши собрания иногда в состоянии, близком к невменяемости. Он изрекал в таких случаях, не стесняясь присутствия дам, такие «слова», что мы не знали, как говорится, куда деваться. Помню, но не расскажу о ней, одну его выходку по поводу какой-то статуэтки, стоявшей в кабинете Случевского.

Но это, так сказать, анекдотический эпизод...

Обыкновенно после прослушивания того или иного поэтического произведения высказывали свое мнение о нем самые маститые представители поэзии — Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, С. А. Андреевский и сам хозяин дома. Первые двое говорили, так сказать, на два клироса: один договаривал или развивал мысли другого, что было весьма интересно. Их критика была иногда сурова, но всегда облечена в очень корректную форму. С. А. Андреевский высказывался гораздо более резко, почти всегда отрицательно и в академически сжатой форме. После его отзыва автор прочитанного произведения чувствовал себя на скамье подсудимых после речи прокурора.



Тогда выступал Случевский, сглаживавший добродушием и благожелательностью своей речи все шероховатости создавшегося положения, примирявший автора с критиком, восстанавливавший душевное равновесие и — по окончании речи приглашавший присутствующих перейти в столовую поужинать.

Меню ужина было всегда одно и то же: несколько закусок и окорок превосходной холодной телятины. Вина не было: графин водки и несколько кувшинов кваса заменяли вина.

Эти ужины, по правде говоря, были самой приятной и интересной частью вечера. Хороший стол, гостеприимный хозяин и приятные собеседники — что может быть лучше?

Было весело и уютно. Под конец ужина Случевский задавал какую-нибудь тему, на которую все присутствовавшие должны были написать экспромты в стихах. Я писал всегда что-нибудь краткое и юмористическое — единственное, на что я был способен. В. С. Соловьев, который умел соединять в своей многогранной душе крупнейшего философа, блестящего поэта и неподражаемого весельчака, тоже писал всякие «благоглупости», конечно, несравненно более удачные, нежели мои; Федор Сологуб тоже следовал по этой легкомысленной дорожке. Кое-кто явно не сочувствовал такому легкомыслию... Бальмонт писал очень серьезные и выспренные строфы. Получался некоторый «диссонанс». В конце концов шутники взяли верх. Это разредило число участников ужинов, но усугубило приятность оных.

За одним из таких приятных ужинов Случевский поделился с нами пришедшей ему в голову мыслью — создать маленькую еженедельную газетку под заглавием «Словцо», которой каждый из участников кружка должен был отдать свою посильную дань, помещая в ней хотя бы по несколько стихотворных строк.

Мысль эта имела успех, и газетка начала выходить. Не помню, сколько времени она просуществовала: что-то, кажется, не особенно долго. Примешались к делу и личные отношения и даже отчасти политические воззрения, что уж совершенно не соответствовало духу нашего сообщества и принципам его основателя: Случевский, гофмейстер Двора и главный редактор «Правительственного вестника», был человек беспартийный, и, во-первых, — поэт. Поэзию он ставил выше всего. Вдобавок он был человек чрезвычайно добрый, незлобивый и миролюбивый; свойства душевные, мало вязавшиеся с активной политической деятельностью. Создавая свои «пятницы» в память Полонского (который тоже был чужд политики, несмотря на то что носил чин действительного статского советника и был даже одно время — о, ужас! — цензором), Случевский хотел создать среди дебрей политических распрей, в которых блуждала русская литература (я не говорю, конечно, о публицистике, предназначенной к таковым блужданиям), оазис с кристально чистым

родником поэзии, и только поэзии, или хотя бы со скромным ручейком безобидного стихотворства. И все шло благополучно, не слишком уклоняясь от задания, поставленного себе Случевским, пока его «пятницы» сводились к чтениям, прениям и писаниям экспромтов за ужином. Но как только в дело вмешались типографский станок и гласность — в виде печатания и продажи газеты,— мираж начал блекнуть, а затем и окончательно исчез. Такова сила печатного слова и даже «Словца»!.. С осени 1899 года я начал реже посещать собрания у Случевского, всецело отдавшись созданию моей газеты «Северный курьер». А затем опять-таки примешалась «политика». Я дал в «Словцо» какое-то юмористическое стихотворение, в котором высмеивал редактора-издателя «Гражданина», князя В. П. Мещерского. В. Л. Величко, политический единомышленник кн. Мещерского, заявил протест против напечатания моих шуточных виршей. Я в свою очередь вспылил и — по молодости лет! — поставил вопрос очень остро. В результате не помню, были или не были напечатаны мои стихи, кажется, все-таки были, но во всяком случае «гармония была нарушена», и я перестал быть завсегдаем «Пятниц Случевского»; сперва посещал их изредка, а затем и совсем перестал посещать.

Затрудняюсь сказать — долго ли еще эти собрания просуществовали. Не знаю — как, почему и когда они прекратились<sup>8</sup>. Но вспоминаю я о них тридцать лет спустя с самым теплым чувством, а об основателе их — милым, благородным идеалисте-поэте Константине Константиновиче Случевском — с искренним преклонением...

Николай Арсеньев



О МОСКОВСКИХ  
РЕЛИГИОЗНО-  
ФИЛОСОФСКИХ  
И ЛИТЕРАТУРНЫХ  
КРУЖКАХ И СОБРАНИЯХ  
НАЧАЛА XX ВЕКА

«Кружок ищущих христианского просвещения». Собирался он в особняке доктора Корнилова на Нижней Кисловке — между Никитской и Воздвиженской. Участниками его были замечательнейший ученый и глубокий христианский мыслитель Владимир Александрович Кожевников, философы князь Евгений Николаевич Трубецкой<sup>1</sup> и С. Н. Булгаков<sup>2</sup>, Федор Дмитриевич Самарин — старший из братьев Самариных, славянофил, ученый-богослов и председатель кружка; далее, бывший толстовец М. А. Новоселов; П. Б. Мансуров (директор Московского архива м-ва иностранных дел, знаток христианского Востока), граф Д. А. Олсуфьев, Г. А. Рачинский<sup>3</sup> — человек изумительной, утонченной культуры, знаток Канта, японского искусства и западной литературы, архимандрит Феодор (впоследствии епископ и ректор Московской духовной академии), священник Фудель, доктор-бессребреник Трифоновский, старичок с кротким, детским лицом и седой веерообразной бородой, истинно Божий человек; иногда граф К. А. Хрептович-Бутенев, наконец, сам доктор Корнилов — тоже «Божий человек», благоворитель и бессребреник. Это был круг лиц, тесно объединенных своей христианской верой и укорененностью в жизни православной церкви и вместе с тем живших научными, богословскими и религиозно-философскими интересами.

Имена князя Трубецкого и С. Н. Булгакова достаточно известны, но хочу остановиться на главной вдохновляющей силе кружка, одном из самых выдающихся ученых, с которым я вообще имел дело в своей жизни, человеке огромных знаний, сильной и пытливой научной мысли, талантливым, глубоко самостоятельным исследователем, прямо поражающем ширью своего захвата и из ряда вон выходящей эрудицией — не той, которой довольствуются заурядные ученые, а более вглубь идущей, основанной на умении пытливо искать и находить все новые и новые данные, характеризующие предмет или данную эпоху. И вместе с тем это был мыслитель и человек, чувствующий трепет красоты и охваченный горячей верой. Говорю о Владимире Александровиче Кожевникове. Он был серьезным

специалистом в самых различных областях, как, например, в области истории религий, которая была особенно близка его сердцу. Еще в юности он написал серьезнейшее исследование, основанное на самостоятельном изучении первоисточников, о религиозной жизни римского общества во II и III веках нашей эры; под старость он написал огромный двухтомный труд «Буддизм и христианство». Все более или менее значительные исследования и монографии из этой обширной области были ему хорошо знакомы, особенно все, что касается эпохи эллинизма и религиозной истории Индии, а также религиозной жизни и всей духовной культуры средних веков. Далее, он был выдающимся специалистом по истории итальянского Возрождения. Огромное исследование по культуре Ренессанса, и особенно по истории его эстетических идеалов, лежало у него готовым в 14 рукописных томах, но так и осталось ненапечатанным. Он был также большим знатоком идейных и философских течений XVIII века, в особенности тех, которые шли вразрез с господствующим в этом веке рационализмом. Им было напечатано обширное исследование (в 700 убористых печатных страниц) о «Философии чувства и сердца Фрица Якоби». Но чтобы верно воспроизвести тот философский задний фон эпохи, против которого восставала философия Якоби, он не ограничился ссылками на руководящих философов или на исследования и монографии, характеризующие то время. Он сам по первоисточникам проделал интересную, хотя и неблагодарную работу — восстановить «философское лицо» эпохи по ее средним представителям, по всем тем многочисленным популярным философам-рационалистам, главным образом вольфианского направления, которые читали в многочисленных тогдашних германских университетах. Для этого нужно было проработать огромное количество тяжеловесного и неудобоваримого материала — все эти печатные лекции рядовых школьных философов. Но Кожевников эту работу проделал и начертил яркую картину идей эпохи, той идейной мещанской мелкоты и умственного бескровия, против которого боролся Якоби.

Кожевников был крупный богослов, огромный знаток истории древней церкви, большой знаток отцов; он не только особенно хорошо знал мистико-аскетическое богословие великих мистико-аскетических учителей восточной церкви, но также и мистиков христианского Запада. Он занимался сравнительным изучением аскетических идеалов и написал небольшую, но чрезвычайно ценную и насыщенную знанием книжку об истории христианского аскетизма. Центром всех его научных и философских устремлений были евангельское благовестие и личность Иисуса Христа. Она, как мы увидим, была идейным, вдохновляющим стимулом для всей его мыслительной и научной работы.

Кожевников был не только ученый, но и мыслитель с очень сильно проявленным эстетическим чувством. Его манила и привлекала красота в мире и искание красоты в истории человеческого духа и человеческой культуры. Он был знатоком литературы, т. е. главным образом лирической поэзии разных стран. Две противоположные темы при этом его особенно волновали и интересовали: переживание красоты, чувство красоты природы в литературе и вообще в сознании человечества и... смерть, уничтожение красоты, уничтожение всего, т. е. бессмысленность всего, раз все — самое прекрасное, самое дорогое — подлежит уничтожению.

Осознание мыслью человека этой проблемы: красота жизни и природы и — обреченность жизни и природы; разочарованность жизнью, томление, смятение духа, ищущего удовлетворения и не находящего; великие созерцатели этого — Паскаль, Леопарди, Будда, Альфред де Виньи, французская поэтесса Луиза д'Аккерман — все это глубоко захватывало и интересовало Кожевникова. Он хотел, с одной стороны, видеть и ощутить красоту в жизни и изучить ее отражение в духовном творчестве человечества и вместе с тем погрузиться взором в страдания человеческого духа, мятущегося перед пропастью смерти. Для него самого эта проблема была решена, и положительно: **в явлении Слова Божия**, «через Которое все начало быть и без Которого ничего не начало быть, что начало быть», — **во плоти**, в том, что Слово стало плотью. Этим реабилитировалось все созданное Им творение, и красота мира получала смысл, ибо «смерть будет поглощена победой», ибо в Нем, в Его воплощении, кресте и воскресении уже совершалась эта победа Вечной Жизни.

Это глубоко христианское, глубоко православное мирозерцание Кожевникова было как бы светочем, который он вносил в различные области жизни и знания, тем внутренним огнем, который воспламенял его к умственному и научному труду, вдохновляя его в его служении Слову. Все области жизни приобретали для него интерес, исходя из этого центра — творческого Слова Божия, принявшего плоть. Отсюда его живой интерес и к проблемам естествознания, которыми он усиленно занимался. Им написана и напечатана была работа о преодолении материализма в современном естествознании («Современное научное неверие. Его рост, влияние и перемена отношения к нему». 1912 год). Но его точно так же интересовало поэтому и искание правды в нашей человеческой жизни, искание справедливых норм человеческого общества. История социальных идей и проблем была областью, в которой он был не менее дома, чем в истории эстетических идей или сравнительной истории религий. И здесь, в этом искании правды, он видел разрозненное действие лучей Слова, хотя большей частью искаженное, сме-

шанное с действием злых, противобожеских сил, ибо он ясно видел действие темных, демонических сил в истории. Он болезненно ощущал всю внутреннюю неправду и ложь многих современных социальных и радикально-революционных течений, особенно марксизма. Он был большим специалистом по истории социализма. Им была напечатана книжка «Социализм и христианство», в которой он на основании подробного и внимательного изучения источников (постановлений партийных конгрессов, речей партийных лидеров, передовых статей социалистических газет, партийной литературы) с неопровержимой ясностью раскрывал исконную, неискоренимую ненависть марксистского социализма против христианства.

Кожевников был отчасти учеником философа-подвижника, мудреца и оригинала Николая Федоровича Федорова. Он был единомыслен с ним в его высокой оценке знания, науки, умственных дарований человека как средств служения в жизни и мире Божественному Логосу, как даров Логоса. Чрезмерную идеализацию технического прогресса человечества, которая у Федорова играла такую роль, Кожевников не разделял. Но вместе с Федоровым он, как я уже указал, видел в Слове Божием не только Творческую Причину, но и динамический Центр, просветляющую и преображающую Цель творения. «В Нем была Жизнь, и Жизнь была Свет человек». Этот христианский космический динамизм, вытекающий из веры в творческое Слово Божие, **в воплотившееся Слово Божие**, характерен для Кожевникова. Отсюда его глубокий и убежденный **христианский реализм**, вера в реабилитацию плоти — тела и всей природы. Вера **в воплощение Слова и Его воскресение** — краеугольный камень его мирозерцания. И это — что гакже характерно — не ослабляло, не расхолаживало его горячего умственного интереса, но — повторяю — давало ему импульс, вливало в него огромную духовную энергию, преображало его духовным динамизмом. Этой духовной энергией дышала вся личность Кожевникова — большого ученого и истинного христианина.

Во всей своей научной деятельности он был проповедником и служителем Слова, не насилуя науки, не нарушая се внутренней свободы, напротив того — его научные интересы расцветали, раскрывались более богатым цветом на фоне этой духовной динамики. Христианский реализм, любовь к красоте творения Божия, сознание высокого его достоинства, высокого достоинства телесного начала, эстетический подъем и... пример трезвенного, мужественного аскетизма, соединенного с деятельным, трудолюбивым подвигом на ниве научного и жизненного служения Истине. И наряду с этим, как мы видели, яркое, незатуманенное, неприкрашенно-трезвое ощущение ужаса смерти и гибели всего, и бессмысленности жизни... если торжествует смерть, — ощущение, преодоленное радостной верой

в Воскресение. Это была мужественная и просветленная философия Воскресения, гимн воплощенному и воскресшему Слову, сотканный из самых различных областей знания, из различных лучей, сходящихся к одному центру — Христу. Высокого роста, широкоплечий, геркулесовского сложения, с небольшой седеющей окладистой бородой, Кожевников и физически производил впечатление «атлета мысли», «атлета веры».

Привлекательна была атмосфера этих собраний в светлые зимние вечера в особняке Корнилова. Вдоль стен сидят на стульях гости — больше дамы, молодежь, иногда кое-кто из духовенства. Помню, из молодых, Сережу Мансурова, Ольгу Александровну Михалкову (ныне Глебову) на этих вечерах. Мой брат Юрий и я бывали на них регулярно (я даже под конец, когда уже был кончающим студентом, прочитал доклад о пессимизме и «томлении духа»). Часто бывали на них обе наши тети, далее Анна Димитриевна и София Димитриевна Самарины, Анна Васильевна Мартынова — маленькая, худенькая, с совсем седыми волосами и еще молодым лицом. Посередине зала вокруг стола сидели сами члены кружка — человек 12—15. Вместе с гостями собиралось человек 60—80. Особенно замечательны были вдохновенные, мастерские по стилю, горящие огнем доклады Кожевникова о буддизме и христианстве, о святом Игнатии Богоносце <sup>4</sup>, доклад Федора Димитриевича Самарина о первых временах иерусалимской церкви, научно очень ценный. Интересны и оживленны были дискуссии о Ветхом Завете, о рассказах книги Бытия, поднятые Олсуфьевым. Помню замечательный доклад Кожевникова «Исповедь атеиста» (по поводу одноименной книги знаменитого физика-материалиста Ледантека), осветивший самые глубины материалистического миросозерцания, и его убийственное отрицание всякого смысла, всякой цели в жизни, его внутреннюю отрицание смертоносность, отравляющую самую основу жизни. Весь тон, вся атмосфера этих вечеров были исполнены духовного горения и трезвения, будили и оплодотворяли духовно.

Более смешанное, хотя тоже интересное впечатление производили гораздо более многочисленные собрания «Религиозно-философского общества памяти Владимира Соловьева» в красивом особняке Маргариты Кирилловны Морозовой, в Мертвом переулке (перед тем они происходили в зале Польской библиотеки на Мясницкой). Здесь охватывало вас веяние яркого (иногда и пряного) «Александрийского» культурного цветения. Пышный культурный цвет, но не всегда без червоточины, не всегда без некоторой гнили, не всегда свободный от некоторого «декаданса», зато часто без всякого «трезвения». В этом была черта некоторого отличия, тонкая линия водораздела между атмосферой корниловского кружка и «Общества памяти Соло-

вьева». Но какое богатство тем и тонов представляло это Соловьевское общество! И много было искренних и интересных исканий, искренних порывов, столкновений мнений! Это была религиозность, но в значительной степени (хотя не исключительно) внецерковная или, вернее, не церковная рядом с церковной (ибо участвовали тут, между прочим, и те же князь Евгений Николаевич Трубецкой, и С. Н. Булгаков, принадлежавшие к числу руководящих членов), а главное, порой вливалась сюда и прыная струя «символического» оргианизма, буйно-оргастического, чувственно-возбужденного (иногда даже сексуально-языческого) подхода к религии и религиозному опыту. Христианство втягивалось в море буйно-оргастических, чувственно-гностических переживаний.

Характерны для этой атмосферы были выкрики одного из участников о «святой плоти» или стихотворения Сергея Соловьева (племянника философа) о чаше Диониса, которая литературно и безответственно смешивалась с чашей Евхаристии, как Дионис так же литературно и безответственно сближался с Христом (правда, Сергей Соловьев не выступал со своими стихами на этих собраниях, но они были типичны для этих настроений: смеси христианства со стихийным языческим экстазом). Забывались строго разделяющие, поставляющие предел слова апостола Павла: «Не можете пить чашу Господню и чашу бесовскую». Кое-где в этих настроениях «литературно-символического оргианизма», вливавшегося и в «Общество памяти Соловьева» (но отнюдь не безраздельно в нем царившего — здесь встречались разные течения), кое-где в этих настроениях, мощным потоком захвативших нашу предвоенную литературу и многие проявления тогдашней «религиозной философии», определенно сказывался дух буйного и разлагающего хлыстовства. Этим духом веет, например, из книги Андрея Белого «Серебряный голубь» (хотя она повествует о скопцах), этого особенно характерного памятника мутных и болезненно-уродливых веяний эпохи, как и вся литературная и литературно-«философская» деятельность Андрея Белого напитана этим духом хлыстовства. Этот разлагающий, глетворно-болезненный, «кликушеский» дух с особой силой обдает нас из его талантливых, но и духовно уродливых «Воспоминаний об А. Блоке».

Кстати, помню выступление Андрея Белого на одном из собраний Соловьевского общества. Докладчиком был князь Евгений Николаевич Трубецкой, читавший с большим внутренним жаром о смысле и бессмыслице жизни (этот доклад был зародышем его замечательной, местами вдохновенной книги «Смысл жизни»). В прениях выступал Белый; у него был почти голый череп и всклокоченные по обе его стороны жиденькие волосенки. С медленной расстановкой он начал: «Смысл —



бессмыслицы! Бессмыслица — смысла!» — и пошел... Я чувствовал резкое отталкивание от духа оргиазма и от «символически»-кликушеских выкриков, от запаха разложения,пряного и развратного, которым несло из значительной части тогдашней литературы (назову, например, лишь «Алтарь победы» или «Огненного ангела» Брюсова; из позднейших революционных произведений вполне в стиле той же эпохи — два отвратительных произведения Мережковского «Тутанхамон на Крите» и «Мессия» — самое нездоровое из всего, что он написал). Тем отраднее было на собраниях религиозно-философского Соловьевского общества — в противовес часто господствующему болезненно-сладоэротическому кликушеству — слышать веские и трезвенные, духовно-мужественные выступления князя Евгения Николаевича Трубецкого, полные внутреннего чувства меры и религиозной подлинности. Другим — более свежим, здоровым, «чистым воздухом с высот» веяло в такие минуты.

Вообще же собрания Соловьевского общества, в котором дух псевдорелигиозного «оргаанизма», смешивающий религиозное с безудержным иступлением плоти, отнюдь, повторяю, не был господствующим, а лишь одним из представленных течений, вообще же эти собрания оставили во мне, вопреки всему, благодарную память. Масса интересных лиц, большой подъем религиозного, научного и философского интереса, глубоко искренние и вдохновенные выступления С. Н. Булгакова (его председателя) в защиту христианства против марксистского грубого нигилизма, богатство тем — «Бранд» Ибсена, Франциск Ассизский, христианство и социальный вопрос, Владимир Соловьев в ранний период своего философствования, средневековая мистика, Гегель как мистик, Ницше и христианство, античная религиозность, смысл жизни с христианской точки зрения и т. д., а главное, огромная культура и умственная чуткость и некий динамизм духовный, воплощенный в лице одного из столпов общества, Григория Алексеевича Рачинского, — все это оплодотворяло и зажигало. Получался, несмотря на существенные различия всей атмосферы и духа, некий параллелизм к «Кружку ищущих христианского просвещения» благодаря тому, что Булгаков, Рачинский и князь Е. Н. Трубецкой участвовали и здесь и там. Там, в Соловьевском обществе, была еще некая мешанина и некая периферичность, иногда даже хаотичность и соблазнительность духовных исканий, некая, может быть, подготовительная работа, подготовительная фаза, во всяком случае, несомненное разрыхление духовной почвы (при всех сомнительных и отрицательных сторонах). Здесь, в корниловском кружке, была крепкая укорененность в жизни церкви, при всей широте научного кругозора и подхода, и просветленная трезвенность, проникавшая всю работу. Это была духовная

лаборатория; там — шумная арена. Но арена, где можно было учиться выступать в защиту своих религиозных и философских убеждений, где скрещивалось оружие, где сталкивались различные контрасты и различные точки зрения и где царил дух широкой культуры, терпимости и духовно-религиозной заинтересованности (хотя бы и направлявшиеся нередко вкривь и вкось), — эта арена, несмотря на некоторую сенсационность, эмоциональность и тлетворную пряность отдельных выступлений, была полезна. Более того, главным заданием «Общества памяти Владимира Соловьева» была именно борьба за права духа, за права религиозного начала в жизни, против нигилистического отрицания его.

В первый, более боевой его период, когда публичные собрания происходили в помещении Польской библиотеки — в 1907, 1908 и 1909 годах, это чувствовалось особенно сильно, и «прямой» дух религиозного александризма был менее заметен. Помнится, с каким захватывающим интересом и внутренним возбуждением посещал я эти собрания, когда нужно было еще известное мужество, чтобы выступать в качестве христианина. Позднее, когда религия все более стала входить в моду в кругах передовой, некогда радикальной интеллигенции, стали все заметнее и эти aberrации религиозного чувства в связи с ростом символистически-оргиастических течений в литературе и мысли. Но выступления, например, С. Н. Булгакова как на публичных собраниях, так и за пределами общества (вспоминаю, например, его публичные лекции перед обширной смешанной аудиторией в больших залах Исторического и Политехнического музеев) всегда носили преимущественно характер мужественной и вдохновенной защиты и исповедания христианской истины. Нельзя поэтому не признать, несмотря на все, не только культурную, но до известной степени и **миссионерскую** роль общества, особенно в лице некоторых из его «столпов» — С. Н. Булгакова и близких ему по духу.

Студентом 1-го курса бывал я на интимных литературных вечеринках на квартире молодого поэта Сергея Соловьева, племянника философа Владимира Сергеевича (попал я туда через его бабушку, старушку Александру Григорьевну Коваленскую, дружившую с моими тетями). Собирались там его друзья и товарищи, также молодые поэты-символисты или начинающие ученые. Постоянно бывал там Андрей Белый, классический филолог Нилендер (очень милый, но какой-то изломанный; он так перевел темного Гераклита на русский язык, что, чтобы понять русский перевод, нужно было справиться с более понятным и менее темным греческим текстом), кажется, поэт Эллис-Кобылинский; приходил иногда уютный, остроумный, веселый, талантливый и добродушный толстяк, тогда приват-доцент по русской народной словесности, Сергей

Константинович Шамбинаго. Тон задавал Сергей Соловьев, плодовитый и не лишенный таланта поэт. Он особенно увлекался «чистой поэзией», культом красоты, в первую очередь античной или антикизирующей по содержанию и по форме, но одновременно и христианскими темами. Особенным предметом его увлечений были некоторые полузабытые французские лирики XVIII века антично-антологического содержания. Так, он восторженно нараспев читал какую-то старинную элегию на смерть Юноши-пастуха (Адониса). Одна из строф кончалась словами: «Je le demande aux bois et les bois me repetent: Il n'est plus, il n'est plus»<sup>5</sup>. Он читал и свои новые произведения вслух, тоже полунараспев, речитативом, между прочим одно, написанное дантовскими терцинами, где изображалось смиренное русское сельское благочестие: погост с крестами, деревенская церковь, тонкие облака ладана в лучах вечернего солнца. Стихотворение было сильно и звучно написано, отточенным языком. Оно вошло потом в сборник «Цветы и ладан», в котором, между прочим, воспевалась античным размером («Алкеевой строфой») и «Нимфа Айсидора» (Айседора Дункан). Другой сборник, главным образом сказок, носил вычурное название «Sturifragium», которое я никак сначала не мог понять. Потом с помощью словаря я выяснил, что это означало «Перебитие голеней». Впоследствии Сергей Соловьев всецело обратился к религиозным интересам. Он окончил после университета Московскую духовную академию, был православным священником, перешел в католичество, потом, кажется, опять вернулся в православие и, как я слышал, умер в большевистской тюрьме как исповедник христианства.

Это был несколько неуравновешенный (ибо очень несчастный в личной жизни: в один и тот же день он 16-летним юношей потерял и отца и мать, причем мать лишила себя жизни, чтобы не пережить мужа), но несомненно одаренный и благородный человек. Впрочем, я не больше трех-четырёх раз был в его кружке — он был мне все-таки чуждым. Вообще я преднамеренно тогда изолировал себя от окружающих волн столь модного в то время радикально-интеллигентского, несимпатичного мне кликушества в стиле Леонида Андреева с его смехотворными потугами на глубокомыслие, а также и от не менее мне несимпатичного оргиастического символизма. В первом кружок Сергея Соловьева был, впрочем, чист, а оргиастический символизм при личном общении тоже был в нем мало заметен. В нем ощущался искренний идеалистический порыв — борьба за права красоты, за права духа и религиозного начала, против материалистического отрицания. Он носил поэтому имя «кружка аргонавтов»<sup>6</sup>. Но при искренних исканиях не ощущалось внутреннего равновесия, крепкой точки опоры, внутренней «соли».

Я чувствовал себя, когда там бывал, все же принадлежащим к другому берегу. Для меня против модных тогда течений —

радикального заигрывания с революцией или квазирелигиозного, ярко-чувственно окрашенного литературного «экстазма», эстетизирующего кликушества — создавали своего рода «иммунитет» мои любимые писатели, в произведения которых я тогда погружался, — из мира поэзии: в первую очередь Данте (по-итальянски), затем Шелли, гетевский «Фауст», немецкие романтики — Новалис и Эйхендорф, А. К. Толстой, стихи Хомякова; из мыслителей и произведений религиозных: Библия, далее Платон, Плотин, Паскаль, памятники раннего христианства («Мужи апостольские», Акты первых мучеников, «Оды Соломона»), великий испанский мистик и поэт Иоанн Святого Креста, «Цветочки» Франциска Ассизского и средневековые мистики, Макарий Египетский, Дмитрий Ростовский, опять Хомяков, книги князя С. Н. Трубецкого, а также серьезная историческая литература. И еще больше, конечно, — семейно-религиозные традиции и служба Страстной седмицы и вся та атмосфера духовной трезвости и умиренности, в которой мы с детства росли и которой я был окружен.

Это общение с писаниями великих мистиков и эта окружающая меня духовная атмосфера нашли себе отзвук, например, в следующем стихотворении, написанном мною несколько позднее, через полгода после того, как я покинул Россию.

### Из Терезы Испанской

О чистота безмерной глубины!  
О глубина безбрежного сиянья!  
О, в час ночной, в глубокий час молчанья,  
Таинственные, трепетные сны!

Все тайники моей души полны  
Безмолвных слов, и снов, и воздыханья,  
И слышно мне, как будто трепетанья  
Приносятся на крыльях тишины.

И раскрывается простор нежданный,  
Простор бездонный радостных лучей,  
Торжественный, безмерный и желанный,

И молкнет звук затверженных речей.  
И мир померкнул, бледный и туманный,  
Перед сиянием Твоих очей!

Хочу закончить уютным воспоминанием нашей собственной попытки — моей, брата и нескольких ближайших товарищей и друзей — организовать наш собственный кружок, тоже религиозно-философский, хотя он носил у нас название попросту

«философского». Собирались мы в двух домах — у Сидомон-Эристовых и у Комаровских, семьи проф. графа Леонида Александровича Комаровского. Все это было довольно наивно, но симпатично. Мы решили читать вслух избранные тексты — памятники религиозной жизни народов или выдержки из некоторых великих философов, религиозно заинтересованных, притом читать вслух лишь то, что подходит для чтения именно вслух, т. е. эти тексты должны были быть эстетически привлекательны, классически выразительны, прекрасны и по форме изложения. Эти тексты должны были потом обсуждаться. Отдельные члены кружка брали на себя по желанию обязательство приготовить какой-нибудь текст, т. е. выбрать отрывки интересные, характерные и подходящие для чтения, и снабдить его некоторыми краткими замечаниями и пояснениями. Кроме того, предполагались и собственные доклады членов кружка.

Мы начали, я помню — то было у Комаровских в доме Григорьева в Калошином переулке около Арбата, должно быть, в конце октября 1909 года, — с моего доклада «Античный мир и раннее христианство». Со следующего потом раза (собирались мы приблизительно раз в две недели) началось чтение текстов с дискуссиями. Первым по очереди было чтение отрывков из знаменитой индусской мистической поэмы «Бхагават-Гита» в русском стихотворном переводе (Казначеевой), после чего завязались горячие прения по вопросу о теизме в пантеизме. Главными участниками прений были Котя Трубецкой и я. На следующих собраниях читали мы отрывки из Платона (из «Апологии Сократа», «Критона» и «Федона»), затем мистические места из «Эннеад» Плотина (из Эннеады 1, кн. 6 о красоте и особенно из Эннеады 6, кн. 7 и кн. 9), отрывки из Марка Аврелия и Эпиктета, из мужей апостольских (послания Игнатия Богоносца, «Послание к Диогнету»), из «Исповеди» Августина. Мой брат Юрий прочитал реферат о жизни цветов. Собирались мы далее читать отрывки из Паскаля, из средневековых мистиков, но уже не успели. Участниками собраний кроме меня и брата Юрия, Эристовых (Петя и его сестра) и Комаровских (две молодые графини и их брат) были: Котя Трубецкой (сын С. Н. Трубецкого, впоследствии знаменитый ученый-филолог и профессор Венского университета), мой друг Борис Милорадович, братья Миша и Федя Петровские (Миша был очень привлекательный, духовно утонченный человек, большой знаток литературы и музыки, позднее крупный ученый; Федя — теперь известный классический филолог Советской России). Из барышень еще: Верочка Базилевская, вышедшая потом за Котю Трубецкого, моя сестра Вера, наша кузина Катя Обухова, две сестры баронессы Фелькерзам, Верочка Мартынова — всего 12—15 человек. Я очень этим увлекался. Не знаю, все ли в равной степени были этим заинтересованы: для некоторых

была интересна некая атмосфера флирта (вполне, впрочем, невинная и симпатичная), от которой не совсем свободны были эти собрания. Собрались мы раз девять в течение зимы 1909/10 года; в следующем году я уехал за границу, другие также «разбрелись» по своим делам, и собрания не возобновлялись.

В общем итоге много я получил духовно-ценных вкладов, умственно будящих импульсов в дни моей юности. Богат посев, богаты были мною не заслуженные и не заработанные дары духовной культуры, данные мне и ряду моих сверстников. Какую великую налагало это ответственность, какого требовало бы подвига жизни, чтобы оплатить такую юность. Я глубоко благодарен за эту свою юность. Особенно же благодарен своим родителям и родительскому дому, о чем я здесь мало сравнительно написал, ибо это — слишком святое и интимное, но в этом была предпосылка, основа для всего другого хорошего и высший дар из всех, мною полученных. Итак, были все данные, чтобы быть благодарным, но не было никаких данных, чтобы кичиться или самовлюбленно рисоваться (от чего автор настоящих строк, может быть, и не всегда свободен). Ибо страшное слово, может быть, будет произнесено и уже произносится над многими из нас: «Он больше обещал дать, чем дал». Тут, впрочем, дело уже не во внешнем, не во внешних результатах и «достижениях» — здесь весь вопрос в духовном напряжении, в постоянном преодолении себя, в горении внутренней жизни. И хотя мы призваны к мужеству и к подвигу — мы гораздо больше ведомы, чем сами идем.



Бронислава Погорелова

«СКОРПИОН» и «ВЕСЫ»

Москвичам хорошо был известен выстроенный в конце XIX века дом «Метрополь» на Театральной площади. Импозантный пятиэтажный модерн с вычурными декадентскими фресками, украшавшими верх фасада. Всю переднюю часть здания, выходящую на площадь, занимали первоклассная гостиница, роскошный ресторан с обширной залой и кабинетами и — что по тому времени являлось небывалой новинкой — нарядный бар, в котором днем и ночью развлекались московские кутилы. А задняя часть здания, выходящая на древнюю Китайгородскую стену, была занята дорогими квартирами, снабженными всем мыслимым в ту пору комфортом. В одну из таких небольших квартир вселилось только что возникшее книгоиздательство «Скорпион»<sup>1</sup>.

О нем можно сказать, что оно «вывело в люди» символистов, более известных вначале под кличкой «декадентов», о которых широкая публика в доскорпионовскую пору черпала все сведения из грубоиздательских статей малокомпетентных газетчиков. Над символистами посмеивались, никто их не печатал. А если немногим из них и удавалось самостоятельно выпускать свои произведения, то они появлялись в виде неказистых книжонок, изданных буднично и небрежно. Но счастье неожиданно улыбнулось смелым новаторам, когда они в лице Сергея Александровича Полякова встретили щедрого мецената и деятельного издателя.

С. А. Поляков был одним из владельцев Знаменской мануфактуры, а это означало миллионы. Прекрасно помню С. А. Небольшого роста, довольно тщедушного телосложения, с рыжеватой растрепанной бородкой. Одет неизменно в серый помятый костюм. Первое впечатление — какой-то чуть ли не монашеской скромности и нервной застенчивости. А между тем С. А. был на редкость образованным человеком с широким диапазоном знаний и интересов, настоящим знатоком живописи и безошибочно разбирался во всех стилях, эпохах и школах. Владел чуть ли не пятнадцатью иностранными языками, а нор-

вежский изучил настолько, что очень порядочно переводил ставших в то время модными норвежских авторов.

Родившись в патриархальной купеческой семье в тихой замоскворецкой улице, С. А. впервые ощутил Божий мир в опрятных, небольших, сильно натопленных комнатах с низким потолком. Одна старушка, родственница С. А., так рассказывала моей сестре И. М. Брюсовой о его детстве: «А тараканов пришлось бросить морить. Сереженька никак не мог заснуть, если ему не приносили в кровать коробочки с тараканами. Послушает-послушает, как они в коробочке-то шушат, ну, плакать перестанет, улыбнется, да и уснет!» Вслед за «тараканьей экзотикой» — когда ребенок подрос — наступила гимназия, а там и Московский университет, в котором С. А. окончил математический факультет. Ни происхождение, ни образование — ничто, казалось, не предвещало той неожиданной эволюции, которая преобразила С. А. в подлинного эстета и незаурядного ценителя всех исхищрений символизма как в литературе, так и в живописи<sup>2</sup>.

«Скорпион» приступил прежде всего к изданию книг. Сборники стихов Бальмонта («Будем как солнце», «Только любовь»), Брюсова («Urbi et Orbi», «Стефанос» и др.), Андрея Белого («Золото в лазури»), И. Коневского<sup>3</sup> и др. Романы Пшибышевского, Брюсова, Андрея Белого... Затем, по совету и настояниям Брюсова, «Скорпионом» начато было периодическое издание сборников «Северные цветы», в которых появлялись и стихи и проза символистов. Каждая книга, изданная «Скорпионом», являла собою верх изящества. Все, начиная с формата, обложки и печати, было художественно, оригинально и нарядно. Наконец, кажется, в 1903 году «Скорпион» предпринял издание ежемесячного журнала «Весы», ставшего своего рода академией символизма<sup>4</sup>. Каждая из помещавшихся там статей отличалась не только смелым, новаторским содержанием, но и тщательностью и изысканностью языка. На страницах «Весов» читатель встречался с полным отречением от «штампа», от затасканной обезличенности языка, от того устарело-условного стиля, который царил в газетах, толстых журналах и ходких романах того времени.

Руководил «Весами» Валерий Брюсов. Почти в каждом номере помещал он свои статьи — боевые и серьезные, где выступал как теоретик и апологет символизма. Его предшественницей он считал школу парнасцев, с которыми его роднили культ формы и пафос величия. На страницах «Весов» Брюсов печатал Э. Верхарна. Переводы Верхарна были мастерски исполнены Брюсовым, а также переводы стихов Эредиа и Т. Банвиля, помещенные в «Северных цветах». Кстати, о переводах. В статье, озаглавленной «Фиалки в тигле», были даны Брюсовым почти откровения в области тайны искусства перевода стихов<sup>5</sup>.



К. Бальмонт между иными интересными статьями — о польской, английской, испанской литературах — поместил в ряде номеров «Весов» очень ценные заметки о своем путешествии по Мексике, излагая по тогдашним новейшим источникам историческое прошлое этой далекой страны и знакомя читателей с своеобразным искусством древних мексиканцев и с тайной символов их скульптуры и архитектуры.

Константин Дмитриевич Бальмонт редко появлялся в редакции «Весов», так как чаще всего находился за границей. Впрочем, незримо присутствовал всегда. Главным образом напоминал о себе телеграммами, приходившими с разных концов света. В телеграммах этих было почти всегда одно и то же: «Переведите 500». И С. А., не откладывая, посылал Бальмонту требуемые деньги.

Однажды Брюсов, вскрыв одно из таких очередных посланий, спросил С. А.:

— Как тут быть?

— Пошлем, конечно. И скажем: слава Богу, что он не требует тысячи, — ответил смеясь С. А.

Обычно в редакции собирались часам к четырем, так как к этому времени появлялся С. А., освободившись от занятий в правлении своей фирмы, где заведовал контролем и отчетностью по многотысячным операциям. Между собравшимися писателями и художниками нередко возникали споры, иногда из-за каких-нибудь разногласий в области чисто внешней — качество бумаги, шрифт, тон краски и т. д., но иногда — на почве более глубоких расхождений во взглядах на сущность того или иного произведения или по теоретическим вопросам искусства. С мягкой, доброжелательной улыбкой прислушивался С. А. ко всем этим, часто пылким, спорам. Сам говорил чрезвычайно мало. Только в глазах светился живой огонек понимания, соединенного не то с хитрецой, не то с насмешкой.

Когда приступали к изданию какой-нибудь книги, то как-то так повелось, что вопрос о ее будущей внешности обсуждался всеми присутствовавшими сообща. Решали, кому из художников заказать обложку, заставки, шмуцтитул. Присяжным «скорпионовским» художником состоял Н. Феофилактов, но нередко иллюстрации поручались и Судейкину, и Лансеру, и Сомову, и др. Много принималось во внимание при выпуске книги: личный вкус автора, подходящая бумага, нарядность оригинальной обложки, от которой требовалась безусловная гармония с содержанием. Но один вопрос не возникал никогда: о стоимости. Этого вопроса в «Скорпионе» просто не существовало, ибо его не пугали никакие расходы. Иные клише изготовлялись в Германии; оттуда же выписывали специальную бумагу-картон для обложек. Все, что выпускал «Скорпион», печаталось в одной из лучших типографий и на дорогой бумаге

«верже». Понятно, что такая чисто московская, баснословная щедрость С. А. Полякова привлекала в редакцию «Весов» немало художников и писателей.

Вспоминается один приезд в Москву Мережковских. О дне и часе своего прихода в редакцию они предварительно дали знать. Цель этого прибытия уже заранее была известна. Дмитрий Сергеевич Мережковский, совместно с Г. Чулковым, намеревался издавать религиозно-революционный журнал «Новый путь», и на это ему были нужны 40 000 рублей. Целый день супруги Мережковские разъезжали по Москве. Встречи, деловые свидания, очень умные мистически-пророческие разговоры с рядом влиятельных, могучих москвичей. Заодно чета Мережковских посетила и Донской монастырь, где Д. С. принял участие в каком-то диспуте, на котором выступали ученые-богословы. (Злые языки утверждали, что и там Мережковские тщетно, правда, но пытались получить нужные им деньги.)

Странное впечатление производила эта пара: внешне они поразительно не подходили друг к другу. Он — маленького роста, с узкой впалой грудью, в допотопном сюртуке. Черные, глубоко посаженные глаза горели тревожным огнем библейского пророка. Это сходство подчеркивалось полуседой, вольно растущей бородой и тем легким взвизгиваньем, с которым переливались слова, когда Д. С. раздражался. Держался он с неоспоримым чувством превосходства и сыпал цитатами то из Библии, то из языческих философов.

А рядом с ним — Зинаида Николаевна Гиппиус. Соблазнительная, нарядная, особенная. Она казалась высокой из-за чрезмерной худобы. Но загадочно-красивое лицо не носило никаких следов болезни. Пышные темно-золотистые волосы спускались на нежно-белый лоб и оттеняли глубину удлинённых глаз, в которых светился внимательный ум. Умело-яркий грим. Головокружительный аромат сильных, очень приятных духов. При всей целомудренности фигуры, напоминавшей скорее юношу, переодетого дамой, лицо З. Н. дышало каким-то грешным всепониманием. Держалась она как признанная красавица, к тому же — поэтесса. От людей, близко стоявших к Мережковским, не раз приходилось слышать, что заботами о семейном благоденствии (т. е. об авансах и гонорах) ведала почти исключительно З. Н. и что в этой области ею достигались невероятные успехи.

Атака на С. А. повелась с обоих флангов. Д. С. пророчески заговорил о грядущей революции, в которой «выступит не народ... а Христос». И к этому событию следует подготавливаться, т. е. нужен был журнал. А З. Н., расхваливая «Скорпион» и его издания, настаивала на том, что без «мистического венца» это дело останется незавершенным. С. А. Поляков вежливо слушал, улыбался, но не выражал ни протеста, ни согласия.

А вечером того же дня все встретились у Брюсовых. С. А. и З. Н., несколько отдалившись от прочих гостей, пили вино. На этот раз С. А. был на редкость разговорчив. Вел себя как откровенно ухаживающий кавалер. Подливая вино в бокал своей дамы и став неожиданно находчивым, он весело сказал:

— А знаете, какая в ваших стихах самая мудрая мысль?

— Нет...

— Вот какая:

И только одно я знаю верное:

Надо всякую чашу пить до дна...

З. Н., подняв бокал, смеялась:

— Я имела в виду совсем не такую чашу!

Заканчивая вечер отправились всей компанией в отдельном кабинете «Метрополя». Там хлопали пробки, подавалось шампанское, читались стихи. Расстались около двух часов ночи. Так как вопрос о сорока тысячах не был все же решен, Мережковские взяли с С. А. слово, что он на следующий день зайдет к ним в отель. Но к этому времени по адресу З. Н. была послана огромная корзина роз и элегантная бонбоньерка с конфетами. С. А. не поехал к Мережковским, и вопрос о субсидии отпал.

В разговоре с Брюсовым по этому поводу С. А. дал такое объяснение нежеланию поддерживать своими деньгами намечаемое Мережковскими издание журнала:

— Ни к чему это. Я сказал Мережковскому: «Если в вашем журнале будет то же, что и в «Весах», то он не нужен, а если — иное, то он будет вреден нам как конкурент»... Ну, объявят Христа социал-демократом, какой в этом толк?

К Мережковским относились с каким-то недоверием. Конечно, за Д. С. признавали талант большого писателя, а З. Н. считали умной и интересной поэтессой. Но была у этой четы какая-то невероятная неразборчивость: монахи, социал-демократы, анархисты, сектанты, к представителям всех толков и всех идеологических оттенков влекло Мережковских. И чувствовалось, что ни в одном стане они не пользовались полным доверием. По старой французской пословице: «Ничьим другом не может быть тот, кто дружит со всеми». В литературных кругах о Мережковских всегда ходило много странных разговоров. В особенности о З. Н. Гиппиус. З. Н. действительно обладала какими-то и душевными и, главное, физическими свойствами, делавшими ее непохожей на своих современниц, и все поэты соглашались с тем, что Вл. Соловьев имел в виду З. Н., когда написал известную сатиру, начинавшуюся так:

Я — молодая сатириесса,

Я — бес.

Я вся живу для интереса

Телес.  
Таю под юбкою копыта  
И хвост...  
Посмотрит кто на них сердито  
— Прохвост!

Однажды появился в редакции «Весов» Максимилиан Александрович Волошин. Он был редким посетителем, так как проживал в Париже, где учился живописи. Его стихи охотно печатались в «Северных цветах». Вспоминаю его не тем вдохновенным, чуть ли не библейским старцем, каким в наши дни его описывают люди, встречавшиеся с ним в Крыму незадолго до его смерти. Тому Волошину, который хранится в моей памяти, было лет тридцать — тридцать пять. Небольшого роста, широкоплечий, приземистый, с крупной головой, казавшейся еще больше из-за пышной гривы золотистых волос. Добродушное мясистое лицо все заросло бородой — густой, беспорядочной, по-видимому, не знавшей никакого парикмахерского вмешательства. Насмешники за его спиной называли его «кентавром», и, пожалуй, это было удачно. Одет Волошин был дико до невероятности. Какой-то случайный пиджак, широкий и очень несвежий. Бумажного рубчатого бархата брюки (их в то время носили в Париже все бедные художники) были прикреплены к теплому жилету двумя огромными английскими булавками. Совершенно откровенно и у всех на виду сверкала сталь этих неожиданных, ничем не закамуфлированных булавок. В позднюю холодную осень он ходил без пальто. Чувствовалось, что у Волошина какая-то невзрослая, не искушенная жизнью душа и что поэтому его совершенно не смущало ни то, как он одет, ни то, что об этом думают люди.

Тогда же посетил Волошин и брюсовскую «среду». Та же нечесаная борода, те же английские булавки. Говорил с сильной одышкой, сипловатым, сдавленным голосом. Рассказывал много интересного о парижских импрессионистах, об их нравах и картинах. А потом прочел несколько прекрасных стихотворений, посвященных французской революции. В то время вся русская интеллигенция была настроена в пользу революции. Но у Волошина все прочитанные в тот вечер стихи, по какому-то, может быть неосознанному, духу противоречия, были исполнены явной симпатией не к революционерам, а к их жертвам.

По словам парижан из мира художников и писателей, с которыми Волошин вел знакомство, он производил там большое впечатление: «Настоящий сын степей!» Впрочем, все такое часто говорилось русским из французской вежливости. А между собой французы, может быть, над ним и посмеивались. Они не могли постичь ни его сущности, ни даже его французского языка. Одна дама из этого круга, жена

поэта Рене Гиля, рассказывала моей сестре: «Этот Макс прямо удивителен! Тут у нас произошла история... Мы так хохотали... Приходит однажды Макс и приглашает нас к определенному часу в ресторанчик, по случаю приезда... *de mon mère*... Приглашение мы приняли, но были в большом недоумении: кого же мы увидим? Что подразумевал Макс: *ma mère* или *mon père*? Рене заявил, что вечером в ресторане выяснится. Друзья собрались в указанном месте. Появляется наконец и Макс в сопровождении... женщины, но волосы стриженные и... в брюках! Оказалось, что и матушка у Макса — довольно оригинальная дама. Она ходила стриженная и в брюках!» (Все это происходило лет пятьдесят тому назад!)

Рассказывали в Париже и о том, как однажды на собрании художников-импрессионистов (а Волошин принадлежал к их числу) он выступил с речью. Говорил о Древнем Востоке, который и по сей день вдохновляет художников, ищущих подлинной красоты. Волошин, конечно, говорил по-французски. Но язык этот был настолько экзотичен, что председатель собрания, благодаря оратора, отметил с чисто французской вежливостью, что слушатели поняли почти полностью речь, произнесенную на языке загадочного, отдаленного Востока.

В «Весах» Волошин печатал статьи об импрессионизме и пространные отчеты о парижских выставках. Но и поэтом Волошин считался настоящим.

Изредка появлялся на московском горизонте Константин Дмитриевич Бальмонт. И тогда все шло вверх дном. С. А. ценил в Бальмонте не только одного из лучших поэтов современности, но также и незаменимого собутыльника. В трезвом состоянии Бальмонт отличался замкнутостью и горделивой нелюдимостью. Молчал и капризно показывал, что никого не слушает. Вино же совершенно перерождало его. Он сразу становился общительным и разговорчивым. Принимался очень навязчиво ухаживать за дамами. Так и сыпал стихотворными экспромтами. Начинал вдруг рассказывать невероятно смелые истории, где правда сливалась с безудержной фантазией в стиле Э. По.

Среднего роста, рыжеватый блондин с бородкой. Когда он читал свои стихи, то слова звучали не по-русски. Происходило это не только от презрительной небрежности в произношении, но также и от какого-то прирожденного дефекта: некоторых согласных он не произносил.

У публики Бальмонт пользовался огромным успехом. При его выступлениях зал был всегда переполнен, и овациям и аплодисментам не было конца. «Скорпион» отводил почетное место его прозе в «Весах» и стихам в «Северных цветах». Книги стихов его расходились больше всего. Его читали и ценили и пожилые люди, и молодежь, и правые, и левые. Сам он был

убеждений левых и прихода революции ожидал как откровения. Бальмонт был всегда нарядно одет и надушен крепкими английскими духами. Любил дальние путешествия и разъезжал по всему свету. Жена его, Екатерина Алексеевна, происходила из именитого московского купечества и обладала хорошими средствами. Кроме того, высокие гонорары, постоянные авансы...

Когда Бальмонт приезжал в Москву, то жизнь его проходила в усидчивых занятиях дома, чередовавшихся с длинными и бурными попойками и кутежами. Случалось, что он пропадал из дому по нескольку дней. Тогда встревоженная Е. А. принималась разыскивать его по всему городу.

Однажды в редакции Брюсов, держа в руках довольно объемистую рукопись, обратился к С. А.:

— Как-то не решаюсь сдавать в набор. Прислано В. Ивановым «О дионисовом действе». Статья очень большая. И к символизму, собственно, мало отношения...

— А вы все-таки пустите. Я ее прочел. Уж больно хорош язык. Такое богатство редко где встретишь... Нужно, нужно напечатать... За автором, кстати, большой аванс...

Потом вскоре в «Северных цветах» Вяч. Иванов был представлен огромным циклом стихотворений. Все то же эллинско-дионисийское содержание, еще более изысканный язык. И наконец однажды в редакции появился сам Вяч. Иванов с женой, поэтессой Л. Д. Зиновьевой-Аннибал. Вяч. Иванов был пухлый блондин с брюшком. Небольшого роста. Красное лоснящееся лицо. Вокруг головы пушистые волосы венчиком. Небольшая борода. За стеклами ринсе-нез недоверчивые маленькие глаза, и от их взгляда становилось неуютно. Фигура Л. Д. Зиновьевой-Аннибал была много импозантнее. Высокая, очень полная блондинка даже уже не средних лет. Как только В. Иванов заговорил, сразу бросилась в глаза та сосредоточенная изысканность, в которую он облакал самые обыденные мысли. Манера держаться какая-то двойственная. Он одновременно давал понять, что знает себе цену, и вместе с тем проявлял какую-то нерусскую утонченность в обращении. С. А. явно благоволил этой чете. Певцу вакхических радостей и его жене никогда не было отказа в щедрых авансах.

Совсем особняком среди утонченных художников и писателей стоит у меня в памяти Василий, служивший в «Скорпионе» чем-то вроде артельщика. Ко всем изданиям «Скорпиона», ко всем его сотрудникам Василий относился с почти нескрываемым презрением. Одно время я исполняла там секретарские обязанности и помню, между прочим, такой его разговор с С. А., который, заехав в редакцию в неурочный час, довольно несмело обратился к Василию:

— Вот что, голубчик, мне нужны сто рублей.

— Откуда же я вам их возьму?

— Я думал... из книжных магазинов... за наши книги... Я же вас просил обойти...

— Да ведь книги-то ваши не продаются... А если что и собрал, так это одни пустяки! За квартиру надо было платить... Опять же наемдни — за электричество... мое жалованье...

— М-м... значит, денег нет?... Мне кажется, что все-таки нам надо тут книги завести и все записывать...

Несомненно, в многомиллионной фирме Поляковых велась настоящая бухгалтерия и соблюдалась строжайшая отчетность, без которой нельзя себе представить процветающее коммерческое предприятие. Но, по-видимому, С. А. смотрел на «Скорпион» как на свою заветную причуду, от которой не ждал никаких доходов. Вероятно, он решил раз и навсегда жертвовать на «Скорпион» какую-то долю из зарабатываемых им денег, и, появившись в редакции, он переставал быть дельцом, превращаясь в барина, которому совершенно чужд мир расчетов и бухгалтерии.

Гонорары сотрудникам, типографские счета, авансы, покупка бесчисленных художественных изданий — все это оплачивалось С. А. из туго набитого бумажника, в который Василий старался не прибавить ни одного рубля из денег, вырученных за «скорпионовские» издания. Он иногда любил поговорить со мной. Рассказывал, что всех Поляковых знает, и никто из родни С. А. этого «Скорпиона» не одобряет.

Но всему приходит конец. После большевистского переворота С. А. лишился своего состояния. Большевики выселили «Скорпион» из здания «Метрополь», реквизировали запасы бумаги и даже мебель. Незадолго до моего отъезда из России С. А. зашел к Брюсовым. Оказалась там и я. Он похудел и постарел. В растрепанной бородке появилось много седины. Глаза стали совсем грустными, и из них исчез задорный огонек.

— Где вы теперь живете, С. А.? — спросил кто-то.

После некоторого молчания он ответил с горькой улыбкой:

— Да, собственно, нигде. Говорят, так — безопаснее... И мало с кем встречаюсь... Одни уехали, другие скрываются... К тому ж со мной теперь рискованно встречаться, наш брат купец в опале и на подозрении... Впрочем, — тут он улыбнулся прежней улыбкой... — виделся не раз с... Василием. Поселился он у какого-то коммуниста и стал крупным спекулянтom. Мы, говорит, пролетарии, вот и «пролетели в люди». Очень великодушно снабжает меня маслом и мукой и даже, представьте, деньги отказывается брать: ну, что с вас взять? говорит...

Кто-то стал советовать С. А. уехать за границу. Некоторое время С. А. не поднимал опущенных глаз, ничего не говорил. И только после нескольких грустных минут сказал:

— За границу? А что мне там делать... без денег? Будь у меня прежнее состояние — на худой конец устроился бы там. Завели бы русскую типографию, основали бы какую-нибудь отдушину вольному русскому духу наперекор здешней удушливой уравниловке... Но уезжать за границу нищим нет смысла... Для нищих самая подходящая страна — Россия... Нас тут будет огромное большинство. А пожилому человеку всегда выгоднее принадлежать к большинству. Оно и безопаснее.

Впоследствии, уже за границей, я получила два сообщения о судьбе С. А. В одном письме сестра писала, что С. А. выселили из Москвы, запретив проживание в больших городах. А в другом, что о С. А. давно нет никаких вестей, что прежде он нет-нет да появлялся в столице (вопреки предписанию), а что вот прошло уже около года, а о нем ни слуху ни духу.





Ариадна Тыркова-Вильямс

## ТЕНИ МИНУВШЕГО ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ

Литературные мои встречи и впечатления распадаются во времени на три ступени. В раннюю пору моей жизни я видела лица, слышала голоса писателей, которых в учебниках зовут реалистами, а некоторых из них и классиками. Позже я знала их учеников и последователей. Еще позже встречала их эстетических противников, тех новаторов, которых одни ругали декадентами, другие почтительно величали символистами. Я не собираюсь распределять их по школам. Я хочу воскресить мои живые впечатления. Улыбка, выражение глаз, звук голоса, случайно брошенное слово помогают подметить то неповторимое, единственное, что есть в каждом человеке, особенно в художнике.

Мои встречи с литераторами начались рано. Первый писатель, которого я увидела, был Достоевский. Но назвать это встречей нельзя. Мне было лет восемь. Моя мать, поощрявшая мою раннюю склонность к чтению, повела меня в Соляной Городок на детское утро.

— Пойдем. Я покажу тебе большого писателя,— сказала она.

Имя Достоевского не действовало на мое детское воображение. Но слово «писатель» волновало. Я уже знала наизусть много стихов: «Цыган», «Демона», «Евгения Онегина». Достоевский читал «Мальчик у Христа на елке». Электричества еще не было. На эстраде была полутьма, придававшая тещу таинственный вид сказочника. Я запомнила звук его глуховатого голоса. Это, пожалуй, и все, что осталось в памяти. Мнится мне, что запомнилось и его наклоненное над книгой бледное, изможденное лицо, слабо освещенное двумя свечами, стоявшими на столике. Но, может быть, раннее впечатление слилось позже с портретами Достоевского. Когда мне много лет спустя приходилось говорить с той же платформы в Соляном Городке, печальное лицо Достоевского иногда проносилось передо мной.

Подростком видела я Гончарова, Гаршина, Глеба Успенского. Позже, по поручению брата, была у Вл. Соловьева. Аркадий был в ссылке, в Шуше, куда позже был сослан Ленин.

Мой брат перевел с французского учебник психологии, списался с Вл. Соловьевым и по его просьбе прислал ему рукопись. Комната Вл. Соловьева была завалена книгами и рукописями, в которых безвозвратно потонул перевод моего брата. Философ был этим смущен, сконфужен и, стараясь заглазить свой грех, принял меня очень приветливо.

Жил он на Исаакиевской площади, в гостинице «Англия». В большой комнате было пыльно, беспорядочно. Сквозь открытую дверь виднелась другая комната, по-видимому спальня, где царил еще больший беспорядок. Настоящее логовище холостяка. В старом, потрепанном пальто, из-под которого виднелась мятая рубашка, полуприкрытая теплым шарфом, непричесанный, бородатый, Соловьев не мог не поразить меня своим видом, неряшливым и, несмотря на это, барственным и значительным. Это был очень красивый человек. У него была голова пророка. Длинные, полуседые волосы, бледное, выразительное лицо, глубоко запавшие, горячие глаза — я не могла не залюбоваться им. Но мне было лет двадцать. Философских книг я не читала, чудесных стихов Соловьева не знала. По молодости и по невежеству я только смутно подозревала, что стою перед человеком необыкновенным. Но подойти ближе, стать послушной ученицей, посидеть у его ног я не сумела.

Я вообще не умела этого делать, не умела искать духовных учителей. Слишком долго не понимала, как они нужны. Не знаю, мой ли это недостаток или общерусский, вернее, общинтеллигентский. Народ в России умел находить наставников. Ну а мы, умники, думали, что надо набираться мудрости не от живых людей, а от книг. Как-то раз изучавший Россию эдинбургский профессор Шарль Саролеа, автор нескольких очень дельных книг о России, в один из своих приездов в Петербург сказал мне: *Vous autres, russes, vous n'avez pas la base de vénération. C'est très dangereux...*<sup>1</sup>

Я только позже поняла верность его замечания. Но случилось и мне переживать волнующее чувство преклонения. Так было, когда кн. Д. И. Шаховской возил меня в Ясную Поляну. Мы вошли в переднюю. Лакей поднялся во второй этаж доложить, и вдруг на верхней площадке лестницы появился длиннородый старик с некрасивым, мужицким лицом. Два дня провела я у него в гостях в Ясной Поляне, и с каждым часом во мне крепло и нарастало ощущение его необычности. Его превосходства.

Еще более волнующий, незабываемый след оставил во мне его духовный противник, отец Иоанн Кронштадтский. К несчастью, я, как и при встрече с Соловьевым, не поняла, даже не постаралась понять, почему присутствие о. Иоанна меня так волнует, какая благодатная сила струится из его глаз. В те времена для меня была яснее, ощутительнее магия Толстого

и его творчества. Из живых писателей один Толстой заставил меня так внятно ощутить эту магию. Сходное, но несравненно менее покоряющее ощущение исключительности вызывал во мне только Александр Блок.

Когда я вошла в общественную жизнь, политические волнения и связанные с ними события, как общерусские, так и в моей отдельной, личной жизни, на время заслонили от меня чисто литературные интересы. Революционная волна принесла народное представительство. То, что происходило в Таврическом дворце и вокруг него, тоже ведь составляет целую поэму, напоминающую Шекспира, а порой и Гоголя, чего мы тогда не сознавали. Но мало-помалу политическая проза вступала в свои права. Революция, с ее эксцессами, утопиями, безумием, преступлениями, надеждами, высокими взлетами и низкими падениями, понемногу угасала, отживала. Действенных революционеров было все меньше видно и слышно. Одни погибли, другие были в ссылке, в тюрьме, бежали за границу, притаились. Многие изменились. Изменились и те, кто им помогал, сочувствовал, ими восторгался. Жизнь налаживалась. Перед теми, кто хотел строить, а не разрушать, открывалось все больше возможностей. Общее благосостояние росло, ускорялся темп и хозяйственной и умственной жизни. Россия вошла в полосу небывалого расцвета. Хотя тогда мало кто отдавал себе в этом отчет. После японской войны и революции 1905 г. Россия спешила использовать новые условия, кипела работой, не шла, а мчалась вперед. Но интеллигенты продолжали ныть, брюзжать, бранить русские порядки, скучали без революционной пряности. Вчерашние попутчики и пособники революции испытывали чувство пустоты. Чтобы ее заполнить, некоторые из них сменили прежнюю игру в бунт на игру биржевую или карточную, которая шла в новых клубах, носивших громкое название художественных.

Побывали и мы с Вильямсом в одном из них. Он помещался на Литейной, против Тимеоновской, в построенном при Екатерине особняке князей Юсуповых. Дом давно стоял необитаемый. На огромные зеркальные окна время навело перламутровые отливы. Тускло, пренебрежительно, точно меркнувшие глаза знатной старухи, смотрели они на прохожих, на соседей, на посетителей. Дом был облицован крупными, гранитными плитами. Вокруг тяжелых, высоких дубовых дверей виднелись каменные украшения. Барственный особняк угрюмо выделялся среди обступавших его более новых домов. Нашлись юркие предприниматели, которые превратили небольшой дворец в доходный клуб, точнее сказать, в игорный дом, где по ночам, вокруг лото и карточных столов, толпились игроки. Говорили, что в задних комнатах идет тайная игра в запретную рулетку. Многие приходили в Юсуповский особняк просто из любопыт-

ства, полюбоваться на старину. С обтянутых тяжелым штофом стен кавалеры и дамы в нарядах XVIII века смотрели на развалившихся в креслах разночинцев, которых старые хозяева не пустили бы дальше прихожей. В просторных покоях царила призрачная тусклость. Хрустальные люстры, похожие на те, что блестели под высокими потолками Таврического дворца, висели так высоко, что гости бродили в полусумерках. Ходила легенда, что в этом доме умерла статс-дама Великой императрицы, с которой Пушкин писал Пиковую даму, что по ночам она бродит по своему дворцу. Все кругом напоминало о пышном прошлом, но на гостях лежала печать опрошенности XX века.

Нам с Вильямсом понравились обтянутые шелком стены, ковры, кресла, портреты, но не посетители. В карты мы с ним не играли, только посмотрели, как другие играют, как вокруг игорных столов волнуются те, кого еще недавно мы видели и слышали на митингах, где они волновались, бросая в толпу подстрекающие возгласы:

— Долой! Долой! Углубляйте революцию!

Теперь вчерашние попутчики революции искали в особняке Пиковой дамы, у зеленого стола, новых возбуждений, новой остроты. Это было угрюмое зрелище. Бурный прилив, отбегая, оставляет после себя мутную пену. Все же эта муть понемногу отстаивалась, и жизнь принимала все более нормальное течение.

По мере того как политика сосредоточивалась в Государственной думе и от разговоров и буйных споров переходила в будничную практическую парламентскую работу, все кругом становилось степеннее. Только в искусстве эта общая устойчивость не отражалась. Было что-то неладное, нездоровое в русской литературе начала века. Подготовляя публичные лекции о тогдашних писателях, пристально вдумываясь в их прозу и стихи, я была поражена зияющей пустотой, моральным нигилизмом наиболее талантливых поэтов. Форма, звук стиха, выбор слов — все было изысканно, подкупало мастерством. Но это был блестящий убор, прикрывавший метание опустошенных душ.

По исконной, из дали времен идущей русской потребности упиваться стихами читатели тянулись к поэтам, твердили их стихи. Но поэты обнищали. Им нечего было дать, нечем было поделиться \*. Они точно утратили ощущение вечности. Пушкинская формула — что чувства добрые я лирой пробуждал — вызывала в них усмешку, даже не всегда снисходительную. Я не

\* Через десять лет после того, как я это написала, я прочла в статье Александра Блока, напечатанной в 1908 г. в № 2 «Золотого руна»: «К современной лирике подходит много незнающих и просят хлеба и получают камни». *Прим. А. Тырковой-Вильямс.*

могла не указывать в моих лекциях на эту, небывалую в русской поэзии, опустошенность. Поэты обижались.

Приготовила я лекцию «Любовь и смерть в современной поэзии». Звонкое название привлекло столько народа, что половина желающих не могли попасть в зал. Я сама с трудом пробралась через толпу, заполнившую лестницу и даже часть тротуара на Невском. Пришли и поэты узнать, что я о них скажу. Прямо передо мной, в одном из первых рядов, сидел Федор Сологуб с А. Чеботаревской. Моя оценка внутренней мертвенности его стихов так их обидела, что они среди лекции шумно поднялись и демонстративно ушли. Меня это не смутило. Я сама, как критик, как читательница, даже как общественная деятельница, была встревожена тем, что большие поэтические таланты чадят, тлеют, а не светят. Они меня обидели, а не я их. Я ведь и себя причисляю к тем, о ком А. Блок сказал, что они ждали от поэтов хлеба, а получили камень.

Я пишу не критику. Я только восстанавливаю некоторые особенности литературного быта и духа того времени, ту обстановку, которая окружала поэтов, отражалась в их личных свойствах. Личность художника — тоже часть его творчества. Работая над биографией Пушкина, я особенно явственно это поняла, вдумалась в эту связанность. Мои наблюдения над поэтами, какими я их видела, сплетаются с их стихами. А видела я всех крупных поэтов той эпохи. У меня в доме бывали А. Блок, А. Ахматова, Вячеслав Иванов, Ф. Сологуб, С. Городецкий, А. Ремизов, Ю. Верховский, Б. Садовской. Моя жизнь так сложилась, что я больше общалась с политиками, чем с поэтами. Общественная и политическая среда мне была так же близка, как деревенская стихия. С той разницей, что все деревенское было не вне меня, а во мне, было частью меня самой. Даже теперь, когда, судя по карте Волховского фронта \*, которую я случайно увидела в немецкой газете, можно предположить, что ни от Вергежской усадьбы, ни от деревни Вергежа ничего не осталось, я все-таки чувствую неразрывную свою связь с каждым деревом, с каждой тропинкой и травинкой на родных местах.

Еще до революции 1905 г. встречала я Куприна, Бунина, Максима Горького, Мережковских и немало других писателей, менее значительных и известных. Свое к ним отношение я никогда не мерила модой на них. Когда была мода на Горького, я этому массовому увлечению не поддавалась. Как человек он не

\* Это писано в Гренобле под немецкой оккупацией. Случайно даже сохранилась на странице дата — 4.IX.1943 г.

Тогда немцы стояли на нашем левом берегу Волхова. На противоположном берегу стояли советские войска. При таком расположении двух воюющих армий окрестные деревни и усадьбы не могли уцелеть. Прим. А. Тырковой-Вильямс.

казался мне привлекательным. Угловатый, костистый, некрасивый, он напоминал полотера. В детстве, когда приходили полотеры, я не спускала с них глаз. Забиралась с ногами на большой диван и наблюдала, как полотер отрывисто машет правой рукой, встряхивая в такт головой, чтобы отбросить назад падающие на лоб пряди волос. Мне казалось, что они не настоящие, что их вырезали из дерева. Что-то похожее на их деревянность, на их потряхивание головой было и у Горького, но детского любопытства он во мне уже не возбуждал. И взгляд его, исподлобья, ускользающий, мне не нравился. Точно щупальца выбросит и опять втянет. Это не помешало мне с увлечением прочесть два первых тома его рассказов. Но перечесть их мне ни разу не захотелось.

В первый раз встретила я с Горьким в самом конце XIX в. у Лиды Туган-Барановской. Горький был начинающим, но уже обратившим на себя внимание писателем. Кроме него и его приятеля, серенького марксистского публициста Неведомского<sup>2</sup>, Лида позвала еще Мережковского и его жену, Зинаиду Гиппиус. Эта чета производила странное впечатление в тесной, простой, небрежно убранной квартирке Туганов<sup>3</sup>. В Зинаиде все было рассчитано на эффект, все было деланное. Точно она приготовилась выйти на сцену. Странное дело, Лида, некрасивая, небрежно причесанная, равнодушно одетая, была несравненно женственнее, чем хорошенькая поэтесса со всеми своими ухищрениями, включая вызывающий бело-розовый грим. Лицо Лиды светилось такой неотразимой, непритворной, всеобъемлющей приветливостью. Около нее каждому становилось теплее. А от блестящей Зинаиды шли холодные сквознячки.

Зинаидой ее звали за глаза знакомые и незнакомые. Она была очень красивая. Высокая, тонкая, как юноша, гибкая. Золотые косы дважды обвивались вокруг маленькой, хорошо посаженной головы. Глаза большие, зеленые, русалочьи, беспокойные и скользкие. Улыбка почти не сходила с ее лица, но это ее не красило. Казалось, вот-вот с этих ярко накрашенных тонких губ сорвется колючее, недоброе слово. Ей очень хотелось поражать, притягивать, очаровывать, покорять. В те времена, в конце XIX века, не было принято так мазаться, как это, после первой войны, начали делать женщины всех классов во всех странах мира. А Зинаида румянилась и белилась густо, откровенно, как делают это актрисы для сцены. Это придавало ее лицу вид маски, подчеркивало ее выверты, ее искусственность. И движения у нее были странные, под углом. Она не жестикулировала, не дополняла свои слова жестами, но, когда двигалась, ее длинные руки и ноги вычерчивали геометрические фигуры, не связанные с тем, что она говорила. Высоко откинув острый локоть, она поминутно подносила к близоруким глазам золотой лорнет и, прищурясь, через него рассматривала людей,

как букашек, не заботясь о том, приятно ли им это или не приятно. Одевалась она живописно, но тоже с вывертом. К Туганам пришла в длинной белой шелковой, перехваченной золотым шнурком тунике. Широкие, откиннутые назад рукава шевелились за ее спиной точно крылья.

Перед приходом Мережковских Лида, со своим обычным юмором, описала мне свой недавний визит к Мережковским. Горничная ввела Туганов в просторную, полутемную гостиную. Горела только одна свеча, да и то под темным абажуром. Кто-то брал на рояле отрывистые аккорды. Зинаида восседала посреди комнаты. Ее платье смутно белело в полумраке. Мережковский, не здороваясь с входящими гостями, предостерегающе поднял руку:

— Тише! Садитесь вот здесь. Мы создаем настроение. Будем вместе молчать...

Гости торопливо уселись, притихли, стали слушать аккорды, к которым Мережковские, муж и жена, прибавляли отрывистые слова, то ритмические, то прозаические. Так весь вечер и прошел.

— Ну а настроение создалось?

— Не знаю. Мы с Мишей с трудом удерживались от смеха. А они, может быть, и настроились. Кто их знает? Они поэты.

Лида всегда старалась найти оправдание для чужих глупостей. Но все-таки не выдержала и залилась серебристым смехом:

— Знаете, Мережковский был как шаман. Мы с Мишей до самого дома хохотали.

Шаманили Мережковские и в тот вечер, когда я их встретила у нее. Зинаида, войдя в столовую, перенесла свой стул от чайного стола, вокруг которого мы сидели, на середину комнаты и уселась так, точно с нее сейчас начнут писать портрет. Ее изысканная фигура в белом платье просилась в бальную залу, была не на месте в скромной столовой молодого экономиста, уже закладывавшего фундамент для марксизма в России. Но выглядела она очень эффектно. Ей этого и хотелось, хотелось поразить Горького, взять его приступом. Она наводила на него золотой лорнет, поворачивала свою белокурую головку в тот угол, где он мешковато уселся и молчаливо просидел весь вечер. Говорили главным образом Мережковские.

Он завел со своей женой своеобразный диалог, бросал туманные слова. Она откликалась на них междометиями. Вышло достаточно нелепо. Мережковский сидел за чайным столом, поодаль от жены и, прихлебывая чай, помогал ей приманить Горького, в котором они чуяли восходящую звезду. Зинаида явно и решительно шла на приступ. Вопросы Горькому задавала в упор:

— Вы что обо мне думаете?

Горький пробурчал что-то бессвязное, а Мережковский, голосом чревовещателя, пояснил:

— Зинаиду Николаевну понять не легко. У моей жены душа темная. У моей жены душа чугунная.

Зинаида, закинув ногу на ногу, наклоняла свое гибкое тело в сторону Горького и, не сводя с него лорнета, светлым, четким голосом вторила своему мужу:

— Да, у меня душа темная. Да, у меня душа чугунная.

На ярко-красных губах, казавшихся еще краснее от густо набеленного лица, змеилась ненадежная улыбка.

Когда мы с Горьким вышли на улицу, Неведомский спросил его:

— Ну как, Алексей Максимович, понравились вам Мережковские? Им очень хотелось вам понравиться...

Горький хмуро отмахнулся:

— Тоже, выдумаете. На что я им? А впрочем, все это ни к чему. Так, штукачество одно...

Они проводили меня до дому, но больше мы из Горького так ничего и не вытянули. Как художник, он не мог не отметить забавного контраста между собой и Зинаидой. После этого вечера Мережковских я встречала только на больших собраниях. Немного ближе могла к ним присмотреться уже в эмиграции, где они как будто опростились, стали меньше актерствовать.

Горького я видела в Ялте, когда туда приезжал Художественный театр. У меня он никогда не бывал. Видела я его раз в толпе, где на него неумеренно бросились поклонницы. Это было в Петербурге. Литературный фонд давал в зале Кредитного общества вечер. Зал был, как всегда, переполнен. И вдруг, когда кто-то из поэтов начал с эстрады читать свои стихи, по рядам побежал шепот, зрители привстали, начали оборачиваться. В этом шуме голос чтеца потонул. Я оглянулась, чтобы понять, в чем дело, и увидела Горького. В длинной толстовке, сутулясь, пробирался он к своему месту, но не успел дойти до середины зала, как половина присутствующих вскочила и, повернувшись спиной к эстраде, начала аплодировать и вопить:

— Горький! Горький!

Он искал глазами свободное место, чтобы скорее нырнуть в ряды, скрыться.

Все стулья были заняты. Он торопливо шел дальше. Рукоплескания и беспорядок росли. Главный распорядитель вечера, все тот же милейший Н. Ф. Анненский<sup>4</sup>, бессменный председатель литературных банкетов и неутомимый церемониймейстер многих интеллигентских затей, вышел на эстраду и шуточками, остротами навел порядок. Публика нехотя заняла места, но слушать певцов и чтецов ей уже не очень хотелось. Все выворачивали себе шеи, стараясь рассмотреть Горького. А он, как



только прозвонили перерыв, бегом бросился в артистическую. Тут уже пошло настоящее безобразие. Толпа пыталась ворваться в артистическую, но распорядители успели захлопнуть двери. Опять раздались крики:

— Горького! Горького! Выйдите к нам! Скажите нам что-нибудь!

Большинство осаждающих были женщины. Они ломались в двери, барабанили кулаками, что-то вопили. У запертой двери, как неумолимый страж, стоял Н. Ф. Анненский. Артистическая превратилась в крепость. Кто-то спросил:

— Алексей Максимыч, может быть, лучше вам к ним выйти?

Горький сердито отмахнулся:

— К этим диким зверям? Зачем? Пусть вопят, если им это нравится.

На его костлявом лице видно было отвращение. Ясно было, что истерическая слава его мало тешит. Должно быть, такое же было у него лицо, когда он, на другом вечере, бросил такой же беснующейся толпе:

— Что вы за мной бегаете? Что я, балерина или утопленница?

В последний раз встретила я Горького во время войны 1914—1918 гг. При царском режиме в России существовал, сначала тайно, потом полуявно, политический Красный Крест, для помощи революционерам, попавшим в тюрьму или в ссылку. Члены этой организации устроили в ее пользу лекцию на квартире моих близких знакомых, С. Э. и В. Я. Евдокимовых. Он молодым офицером еще в 60-х годах попал в крепость как народник. Потом из революционера превратился в крупного и удачливого промышленного деятеля, стал управлять заводами у кого-то из наших знатных богачей, кажется у Шувалова. Евдокимовы были люди на редкость отзывчивые, добрые, просвещенные. В их просторной квартире было уютно, несмотря на то что все шесть комнат были заставлены слишком редкими, драгоценными вещами. Это был настоящий музей. В кабинете портьеры были сделаны из штофных сарафанов придворных дам Елизаветы Петровны и Екатерины II. В гостиной стены были обтянуты алым шелком, когда-то украшавшим стены в спальне одного из пап. Каждый стул, каждая безделка были связаны с каким-нибудь историческим местом или лицом. У каждой вещи был свой оправдательный документ, своя генеалогия. В углу гостиной стояла арфа, когда-то принадлежавшая несчастной любимице Марии Антуанетты, графине де Ламбаль. В столовой, под окном, на большом столе, стоял художественный, белый с золотыми лебедями, сервиз, который декабрист Ивашев заказал к своей свадьбе. Свадьбу справить он не успел, так как попал в Сибирь.

Золотые лебеди изо дня в день украшали стол капиталиста, который не утратил молодого сочувствия ко всему оппозиционному. Евдокимовы были кадеты, но и революционерам они не отказывали в поддержке. В их квартире, застрахованной в два миллиона рублей, иногда устраивались лекции в пользу тех, кто всеми способами старался взрывать тот буржуазный мир, к которому сами Евдокимовы принадлежали. Так буржуи добродушно и простодушно рыли себе яму.

На лекцию в пользу Красного Креста пришел и Горький. Войдя в столовую, он остановился в изумлении и сказал:

— Фарфоры-то какие!

В это время он уже хорошо зарабатывал, что мог позволять себе разные прихоти, вплоть до собирания дорогого фарфора.

Меня рассмешило это удареие на первом слоге. Но хозяйка, которая свои редкости выискивала и собирала, почувствовала в нем любителя и обратила внимание Горького на синие голландские старинные тарелки, развешанные по стенам. Горький обошел всю комнату и внимательно их рассмотрел.

Прошло еще несколько лет. Революция разорила всю Россию, включая Евдокимовых. Они стали гонимым классом. Горький занял место в рядах советской аристократии. Он состоял в учреждении, которое охраняло памятники искусства. Евдокимовской коллекции фарфоров он не забыл. Мне их родственники-эмигранты об этом рассказали. В 1921—1922 гг. в Ленинграде свирепствовал голод. Евдокимовы в своей роскошной, взятой каким-то музеем на учет квартире пропадали от холода и голода. Горький пришел к ним проверить, в сохранности ли их музей. Мельком сказал, что может разрешить им продать их голландские тарелки и даже согласился их сам купить. Отказать такому покупателю было нельзя, хотя цену он назначил ничтожную. На эти деньги Евдокимовы купили несколько поленьев дров и немного картошки.

Так этот певец революции и пролетариата за гроши приобрел от голодных стариков приглянувшиеся ему фарфоры.

Из писателей-реалистов мне был больше всего по душе Александр Иванович Куприн. Отставной пехотный офицер, попав из провинциальной глуши в столицу, он быстро освоился с новой для него обстановкой петербургских издательств, редакций, литературных кружков. Его первые рассказы имели большой успех, но голова у него не закружилась. У него было много юмора, необходимая для беллетриста, острая пронизательность и понимание людей. К человеческому материалу он относился с насмешливой снисходительностью, к героям своим подходил мягко, по-дружески. Так делали и его учителя, Пушкин, отчасти Толстой, но далеко не все современные ему писатели.

Куприна я встречала у А. А. Давыдовой. Как издательница,

она с ним носилась, его заласкивала, старалась прикрепить его к своему «Миру Божьему». Такой свежий талант мог стать большой приманкой для подписчиков. Но привязать на веревочку общительного, независимого Куприна было нелегко. Ему надо было всех и все повидать, всюду побывать. Он был полон любопытства к вещам, к происшествиям, к людям, к зверям. Цирк любил больше, чем театр. Знал по имени наездников, клоунов, лошадей, ученых собак, гусей. Бражничал с цирковыми артистами еще охотнее, чем с писателями. Бражничать он был великий мастер, и в Петербурге у него довольно скоро завелись излюбленные трактиры, где он был почетным гостем. Окруженный свитой из малоизвестных, но многошумных маленьких журналистов и писателей, он часто появлялся в «Вене» и еще в каком-то кабачке на Владимирском, который, кажется, назывался «Гамбринус». Этому «Гамбринусу» Куприн создал большую славу. Туда ходили нарочно, чтобы посмотреть на автора «Поединка», окруженного прихлебателями и поклонниками, которых он щедро кормил, еще щедрее поил. Пил он гораздо больше, чем следовало. Ему и из полка пришлось выйти, потому что он, под пьяную руку, наскандалил в еврейском городишке, Проскурове, где стоял его полк. Но когда я, сразу после его появления в Петербурге, встретила его у Давыдовых, Куприн еще в этих кругах пьяным не показывался. Собеседник он был остроумный и заразительно веселый. Мы с ним усаживались в уголке гостиной, и Куприн немного бормочущим голосом рассказывал меткие, забавные, совершенно фантастические небывальщины про гостей. В его болтовне не было ядовитых сплетнических намеков, которые придают зубоскальству неприятный оттенок. Он не пересуживал того, что они думают, что им приписывают, а изображал их такими, какими они ему видятся. Выходило преуморительно. Куприн, несмотря на свой разгул, был джентльмен и людей зря не чернил. Если кто-нибудь был ему не по душе, он старался с ним не разговаривать, становился вежлив до дерзости. Говорят, он мог быть очень груб, но я его таким не видала.

Куприн чутко угадывал чужие мысли и настроения, умел заметить каждое облачко, пробежавшее по лицу собеседника. С ним можно было говорить полусловами, улыбкой, взглядом. Он не ораторствовал, не красовался, не собирал вокруг себя слушателей и слушательниц. Он любил тихо болтать в углу с двумя, тремя собеседниками, которые были ему по душе. Такой третьей часто была Муся Давыдова. Она была лет на десять моложе своей недавно умершей названной сестры, Лиды Туган-Барановской. Муся была подкидыш. Ее новорожденным младенцем принесли к дверям Давыдовых. Возможно, что она была его дочерью. Лида ее очень любила, и они были очень близки. Со смертью Лиды осиротевшая Александра Аркадьевна болезненно привязалась к Мусе.

Муся была странная девушка. Очень хорошенькая. Стройная, с правильным лицом, с нежной кожей, с темными волосами и темными, насмешливыми глазами. Ее портил смех, недобрый, немолодой. Точно смехом своим она говорила:

— Какие вы все дураки, и до чего вы все мне надоели...

С раннего детства видела Муся вокруг себя знаменитостей, музыкантов, певцов, артистов, писателей, чьи имена повторялись с восхищением, иногда с искренним почтением. В Мусе все эти знаменитости дразнили беса насмешки. Она была очень неглупая девушка, но не было в ней ни крупинки энтузиазма ни к идеям, ни к людям. Беспощадно отмечала она в них все дурное, глупое, ничтожное и очень зло всех и все высмеивала. В ней не было злости, не было желания делать людям что-нибудь неприятное, дурное. Но сердце у нее было не молодое, подсушенное. Возможно, что на нее с детства шли холодные сквозняки от женщины, которую она звала мамой. Все же Муся была очень общительная, у нее было много приятельниц, приятелей, поклонников. Ей нравилось, когда за ней ухаживали. Кокетничать она была мастерица. Но мне думается, что любила она только Лиду, смерть которой и для нее была большим горем. Ко мне Муся относилась теплее, чем ко многим, точно унаследовала от Лиды часть ее привязанности ко мне.

И вот в эту Мусю, которая была лет на десять моложе его, Куприн, впечатлительный, сердечный, горячий, влюбился без памяти. Ее это забавляло. Всякий новый поклонник тешит девичье самолюбие, а тут автор «Поединка», за которым все бегают, остроумный, веселый, может зубоскалить еще почище, чем сама Муся.

Куприн был среднего роста, широкоплечий, ловкий, хороший гимнаст. А лицо было у него некрасивое, простецкое, армейское. Маленькая бородка неопределенного цвета, широкие скулы. Глаза живые, но небольшие, глубоко сидевшие. Нос ему приплюснули в боксе, что его не красило. Не внешностью мог он приманить воображение избалованной молодой девушки.

Странная, неладная, вопросительная улыбка была на пригожем лице Муси, когда она сказала мне:

— Знаешь, Дина, маме хочется, чтобы я вышла замуж за Куприна.

Я постаралась понять, теплится ли что-нибудь за этой усмешкой, или только все тот же холодок. Но Мусю разгадать было нелегко.

— А вам-то самой хочется? Ведь не Александре Аркадьевне, а вам Куприн делает предложение. Вам за него замуж выходить.

Глядя куда-то мимо меня, Муся ответила с непривычной серьезностью:

— Не знаю. Он очень талантливый и добрый. Надо же когда-нибудь замуж выйти.

— Муся, не выходите зря. Не надо. Тем более что он в вас по-настоящему влюблен. А что вы ему дадите?

Она пожала плечами. Потом вдруг засмеялась:

— Знаете, что мне мама сказала? Выходи за Куприна. У нас будет ребенок, может быть, похож на Лиду. А потом, если Куприн тебе надоест, можно его сплавить, а ребенок у нас останется.

Я знала, как тоскует Александра Аркадьевна без Лиды, какое опустошение произвела в ее жизни смерть дочери. Но все-таки я была поражена, что она может цепляться за такую фантастику. Правда, это уже была не прежняя энергичная Александра Аркадьевна. Она стала полуинвалидом. Ее мучила астма, которая скоро и свела ее в могилу. Между двумя тяжелыми припадками астмы она успела-таки обвенчать Мусю с Куприным. Хорошего из этого не вышло. Они друг другу не подошли. Даже толстокожий муж может разобрать, любит его жена или нет. А Куприн был художник, наблюдательный и тонкий. Влечение к Мусе прошло не сразу, но на смену нежности пришла борьба. Куприн стал пить, вернее, снова стал пить. Он и в полку трезвостью не отличался. Под конец своей жизни с Мусей он совсем опустился.

Я как-то захала к Куприным попросить его читать на литературном вечере, который я устраивала. Мы с ним были друзьями, и мои просьбы он обычно исполнял. Войдя вечером в знакомую гостиную «Мира Божьего», я нашла там несколько человек гостей. Насколько помню, все были писатели. Муся поцеловала меня и с кривой усмешкой, точно предупреждая, показала глазами на мужа.

Куприн сидел в кресле в совершенно растерзанном виде. Пиджак и жилет были расстегнуты, распахнуты. Воротника не было. Волосы всклокочены. Лицо красное, припухшее. Взгляд мутный. У меня сердце упало. Мне было за Александра Ивановича и больно, и стыдно. Я его любила.

Он не встал мне навстречу, хотя узнал меня. Сделал бессмысленный жест, попытался пробормотать бессвязное приветствие. Это было уже во времена думские, когда общественная жизнь раздвинулась. Меня в Петербурге видали на митингах, читали в газетах мои статьи. Мои повести и романы печатались в толстых журналах. Мое имя уже было внесено в ту табличку, куда общественное мнение вписывает тех, кто чем бы то ни было привлек его внимание. Событьельники Куприна нашли, что выгоднее убрать его с моих глаз долой. Это было нелегко. Он сопротивлялся, пытался сказать мне что-нибудь приятное. Всеми правдами и неправдами его подняли с кресла и увели в спальню. Я поспешила уйти. Просить его читать было бес-

полезно. Жалко мне было бедную Мусю, хотя она упорно старалась улыбаться.

У них уже был ребеночек, о котором мечтала покойная Александра Аркадьевна. Только и здесь вышло не так, как ей хотелось. Девочка ни внешностью, ни тем более внутренним складом не походила на Лиду. Чем больше она подрастала, тем больше сказывалось в ней что-то жестокое, беспощадное. Мать свою она мучила упорно и умело. Не было ли это бессознательной мстью за отца? Хотя и с ним она была неприветлива.

Недолго прожили Куприны вместе. Муся вышла второй раз замуж. На этот раз за Н. И. Иорданского, того самого, который, будучи сотрудником ленинской «Искры», приезжал в Штутгарт писать для Струве статьи в либеральном «Освобождении», а потом, вернувшись в Женеву, писал резкие полемические статьи против Струве. В русской журналистике было не принято так перебрасываться, Иорданский был человек и ненадежный, и несимпатичный. Я никогда не могла понять, почему Муся сдалась на его настойчивые домогательства и вышла за него? Приманчивого в некрасивом Иорданском было мало. Сама Муся как-то сказала мне со своей невеселой, кривой усмешкой:

— Не везет мне, Дина. Первый муж был пьяница. Второй социал-демократ. Не знаю, что хуже.

После большевистской революции Иорданский стал советским дипломатом. Несколько лет был послом в Риме. Муся, наверно, хорошо разыгрывала роль амбасадриссы. У нее были хорошие манеры, она хорошо знала языки. Она умела войти в гостиную. Ее обходительность могла скрасить неотесанность коммунистического амбасадора.

Женился и Куприн второй раз. Но он устроил это умнее, чем Муся. Его вторая жена была совсем молоденькая свояченица и воспитанница Мамина-Сибиряка. Она была всем существом своим предана Александру Ивановичу. Взяла его таким, каким он был, даже таким, каким я увидала его в гостинной «Мира Божьего». Она почуяла, что в этом внешне опустившемся человеке живет не только большой и искренний талант, но и хорошее, искреннее сердце. Понемногу эта малозаметная молодая женщина с пригожим, чистым личиком, в которой не было ни тени Мусиного блеска и утонченности, стала для него самым близким на свете человеком, его пестуньей и целительницей. Совсем не пить он уже не мог, но от сплошного, дикого пьянства она его отвела. Куприн мог опять писать, стал жить по-человечески. Они были очень счастливы. Уже в эмиграции, в Париже, он не раз говорил мне, как много жена внесла в его жизнь. Но с годами его здоровье распаталось. Пришла расплата за прежние кутежи. За ним, больным, жена ухаживала самоотверженно, как за ребенком.

Потом она увезла его обратно в Россию. Я не знаю, как это случилось, что ее на это навело, кто ее уговорил. Может быть, она не выдержала тяжелых условий беженской жизни с больным мужем на руках. И просто стосковалась на чужбине. Беспомощный, жалкий, наполовину разбитый параличом, он, говорят, совсем не хотел ехать под власть ненавистных ему большевиков. Советское правительство обещало вернуть Куприным дом в Гатчине, который они оба очень любили... И пенсию ему обещали. Оба обещания они сдержали. Как Куприн себя там чувствовал, не знаю. Оказала ли ему преданная жена последнюю услугу, или перестаралась и отравила ему последние годы жизни?

Другой большой прозаик, с которым я и мой муж встречались гораздо чаще, чем с Куприным, и с которым больше сблизилась, был Алексей Михайлович Ремизов. В первый раз увидела я его в конце 1905 г., вскоре после моего возвращения из эмиграции в Петербург. Я наняла у Д. Е. Жуковского половину квартиры, в которой помещалась редакция журнала «Вопросы жизни». Я еще не совсем разобралась в новых людях и литературных кружках, которые за полтора года моего пребывания в эмиграции расплодились, как грибы. Жуковский, сдавая мне квартиру, с неуверенным смешком предупредил меня:

— У нас Ремизов — секретарь редакции. Он к вам войдет. Вы не пугайтесь.

Я не обратила внимания на его слова. Утром раздалось осторожное постукиванье в дверь моей гостиной.

— Войдите.

Дверь медленно приотворилась, и в нее тоже медленно, точно боясь наступить на что-то хрупкое, не вошел, а втиснулся невысокий человек. Он сутулился, втягивая голову в широкие плечи, на которых висел толстый байковый шарф. Из-под круглых очков темные глаза смотрели на меня сбоку, но пристально. На широком, скуластом, азиатском лице ползла не улыбка, только усмешка, приподымавшая углы плотно сжатого, не по росту большого рта.

Я стояла в другом конце комнаты, у окна. Мой странный гость пошел ко мне не прямо через комнату, а стал неторопливо, точно крадучись, пробираться кругом, вдоль стен. Я не могла понять зачем. Позже, присматриваясь к Ремизову, я поняла, что его необычные ухватки сплетались из целого ряда часто противоречивых соображений, настроений, толчков, шуток. Он мистификатор, любит одурачить человека, заставлять поверить в какую-нибудь чепуху. Быть может, ему вздумалось разыграть передо мной робкого, молодого писателя, который дерзает только бочком входить в гостиную эмигрантки? Тогда это еще было почетное звание. Может быть, хотелось посмотреть, не стану ли я пыжиться, важничать. Вот будет забавно.

Этого удовольствия я ему не доставила. Мне важничать было решительно нечем. Я это твердо знала, и Ремизов это сразу понял. Его разговор, такой же своеобразный, как его наружность, его стиль, что-то в его голосе мне понравилось.

Ремизов москвич, с очень чистым русским говором, подлинность которого он закрепил, изучая фольклор, апокрифы, местные говоры, песни, поговорки. Он плавал, нырял в народных сказках, добывая со дна то забытое словечко, которым любил ошарашивать читателя. В разговоре он таких местных слов не употребляет, но и затасканных иностранных выражений, которые уродуют письменный и устный язык городской интеллигенции, от него не услышишь. Он и говорит и пишет по-русски. Ритм у него, как у сказочника, а ведь расстановка слов, падение и повышение ударений тоже определяют народность речи. Когда Ремизов читает себя вслух, невольно следуешь за его музыкой, заражаешься его складом. Чтец он замечательный.

За последнее время русский язык так бесстыдно, глупо-бездарно коверкают, что пора создать Сенат Блустителей Русского Языка и первоприсутствующим сенатором назначить Алексея Михайловича Ремизова.

Как писатель Ремизов шел и продолжает идти тяжелым путем. Он одержим художественной гордыней и никогда ни с чьим мнением не считался. Его чудачества, житейские и литературные, сочетаются с большим, трезвым и ясным умом, с редкой верностью суждений. Отвесные тропинки, по которым он, чаще всего с большим усилием, тащит свои «узлы и закруты», не ведут к легким успехам, к широкой популярности. Он это отлично знает. Но в нем есть непреклонное, беспощадное к самому себе упорство, которое им владеет, не допускает снисхождения и поблажек моде, ко вкусу толпы и критиков, которые порой разбираются хуже, чем толпа.

Ремизов самолюбив. Успех любит. И жизнь свою, в особенности жизнь своей жены, хотел бы обставить как можно лучше. На это нужны средства. У Ремизовых никогда никаких средств не было, кроме его заработка, сравнительно ничтожного. Случалось, что и она зарабатывала. Ее специальностью были старинные грамоты. На этом денег много не наживешь. Их всегда было у них мало. Его талант был признан немногими, а деньги писателю приносит только широкая популярность. Да и то не всегда. Он никогда не писал, думая только о гонораре, как это делали многие писатели, даровитые и бездарные. Он мог бы хорошо зарабатывать, если бы писал в газетах фельетоны, короткие рассказы, критические статьи и заметки, а не сказочки, как «Посолонь». Но Ремизов, весь в долгу, без гроша, сидел, закутавшись в платок, за своим письменным столом и не спеша выводил своим полууставом одну строку за другой, один расчерк за другим. Ничто не могло его заставить отложить сказку



и написать хотя бы отзыв на чужие стихи. Гонорар был бы не Бог знает какой, но зато быстрый. Критик он несравненно более образованный, понимающий, вдумчивый, чем большинство профессиональных критиков, из которых многие сурово расправляются с чужими романами и повестями, потому что сами не способны что бы то ни было сочинить. Ремизов одержим своей формой творчества. Иначе писать он не хочет. Может быть, и не может.

Я пишу, а рядом с ним мне видится его жена, Серафима Павловна \*. Высокая, полная, белотелая и белолицая, с пышными белокурыми волосами и широкими голубыми глазами, она плыла через сутолоку и толкотню литературного Петербурга, точно боярыня допетровской Руси. Серафима Павловна была из старинного литовского рода Довгелло, родственного Ягеллонам. У них в Черниговской губернии был замок. Настоящий замок, старинный, с высокими каменными стенами, с башнями, напоминавшими о тех далеких временах, когда южно-русские степи были под литовскими князьями. В наших русских вотчинах таких замков не строили. Наш уютный вергезский дом на замок совсем не походил, хотя усадьбой этой Тырковой владели тоже столетиями.

Когда Серафима Павловна вышла замуж за Алексея Михайловича и привезла его в родовой замок, вся семья сразу шарахнулась от такого зятя. Маленький, почти горбатый, ни на кого не похож, университета не кончил, состояния никакого, пишет сказки. И притом из купцов. Где она такого выкопала?

Выкопала она его в Сольвычегодске, в ссылке. Серафима Павловна училась на курсах в Москве и там была арестована по с.-р. делу. Ремизов также был арестован и выслан этапным порядком в те же места. Он об этом сам рассказал в красочных автобиографических заметках, печатавшихся в «Новом русском слове» в 1953 г. Ровно за 50 лет перед этим в Ярославле, где я была членом редакции местной газеты «Северный край», я в первый раз услышала его имя, увидела не его самого, только его причудливый почерк. Он присылал нам в редакцию свои белые стихи. Мои товарищи по редакции были в политике передовыми людьми, а в литературе упрямыми староверами. Стихи неизвестного поэта я брала под свою защиту, чаще всего безуспешно.

Ремизов в своих заметках сам рассказал нам, как он и его приятели чудили и куролесили в ссылке. Он и жену себе подобрал не такую, как все. Оба они чудили, каждый по-своему. Только его чудачества больше бросались в глаза, больше привлекали внимания, чем ее. В ней не было его подчеркнутой

---

\* Это было писано, когда Серафима Павловна еще была жива.  
Прим. А. Тырковой-Вильямс.

угловатости. Она вдоль стенки не пробиралась. Она входила в комнату уверенно, плавно, смотрела открыто, улыбочиво, с людьми обращалась ласково. Но характер у нее был кипучий. Вдруг рассердится, вспылит, прижмет белые руки к пышной, как у кормилицы, груди и такого сразу наговорит, не дай Бог. Вспылить она могла по разнообразным поводам: из-за литературного расхождения, из-за какого-нибудь поступка, показавшегося ей неблагородным, из-за того, что к Алексею Михайловичу или к ней проявили мало почтения. Тогда на сцену выступали предки Серафимы Павловны, знатный род Довгелло. Раздавался телефонный звонок, слышался низкий, четкий голос Ремизова, который вызывал моего мужа:

— Гарольд Васильевич дома? Нам необходимо с ним переговорить. По важному делу. Посоветоваться. Срочно. Он поймет. Он англичанин. Дома? Сейчас приедем.

Ремизовы были домоседы. Раз решились вылезти из своей норы, значит, их что-то взбудоражило. Мы ждали их с любопытством, но без волнения. Они оба Вильямса не только любили, но почитали, всецело доверяли его суждению, его такту, его нравственному чутью. И были в этом правы. Немалое значение придавали они и тому, что он англичанин.

Ремизовы появлялись и, перебивая друг друга, начинали рассказывать путаную, нелепую историю о каких-то недоразумениях, ссорах, обидах, чаще всего пустяковых или мнимых. Алексей Михайлович, как умный человек, отлично разбирал, что существенно, что нет. Серафима Павловна тоже была женщина неглупая, образованная, начитанная, хорошая специалистка по палеографии. Она понимала людей, еще лучше понимала литературу. Но иногда вокруг них обоих поднимались, крутились маленькие пыльные смерчи, застилали им мозги. Серафима Павловна рассказывала сбивчиво, бестолково, всплескивая руками, поправляя сползавшую с широких плеч цветистую шаль.

Алексей Михайлович, стараясь ей помочь, рассказывал своему, но тоже не очень вразумительно, хотя вообще был отличный рассказчик. Я пыталась поглубже заглянуть в его острые глаза, понять, мелькает ли там бес издевки, редко оставлявший его в покое, или и он всю эту чепуху принимает всерьез? Проникновенным голосом он спрашивал:

— Гарольд Васильевич, вы англичанин. Англичане джентльмены. Они знают, что надо делать и чего не надо. Вот мы с Серафимой Павловной и пришли вас спросить, как нам надо поступить?

Ясные глаза Вильямса ласково смотрели на них. Возраста он был одного с Ремизовым, но по житейскому опыту и такту много старше его. Первый его совет был всегда тот же:

— Может быть, лучше всего не обращать внимания? Стоит ли?

Тут Серафима Павловна начинала ходить ходуном, быстро перебирала крупные прозрачные зерна янтарей, низко спускавшихся на грудь. Из ее широких глаз сыпались искры:

— Но как же так, Гарольд Васильевич? Я не могу. Ведь он мне сказал... Ведь я ему так и заявила... Ведь это вопрос чести... Нельзя стерпеть... Конечно, к мировому я не пойду, но, может быть, третейский суд?

Алексей Михайлович бросал на нее быстрый боковой взгляд и, понижая голос, точно сообщая государственную тайну, выразительно пояснял:

— Гарольд Васильевич, если бы так со мной, мне было бы все равно. Но Серафима Павловна, она Довгелло. Она не может позволить... Она не привыкла... Вы понимаете, она из дома Ягеллонов...

Это Ремизов произносил с расстановкой, с подчеркиванием. Точно эти когда-то внушительные, владетельные имена он выписывал перед нами своим самым крупным, самым черным полууставом. А Серафима Павловна, стесняясь своей знатности, тихо подтверждала:

— Это правда. Я из Ягеллонов...

Вильямсу сословные чувства были совершенно чужды. Он всюду был равный между равными. Он едва удерживался от смеха, но все-таки находил для Ремизовых какой-то исход, умел их успокоить, умиротворить ошестинившееся самолюбие этих двух больших ребят. Нет. Ребенком была только она. Алексей Михайлович, может быть, даже в детстве не был ребенком. Горькое было у него начало жизни. Его тесное детство прошло в Замоскворечье на задворках просторных купеческих хором. Он не знал укрепляющих радостей деревенского раздолья, среди которого выросла его жена. Деревенские люди дольше сохраняют ребяческие свойства — непосредственность, открытость, доверчивый подход к людям. В Серафиме Павловне все это было, и Ремизову в ней все было мило. Она освежала его, вносила в их петербургскую жизнь давние обряды, традиции. Он их искал в книгах, фольклорных и исторических, она впитала их в себя с детства в старом родовом гнезде. В их часто менявшихся городских квартирках праздники Рождества и Пасхи справлялись с бытовыми подробностями, как на ее родной Украине. Рождество торжественнее, чем Пасха. В Сочельник на стол, под скатерть, клали сено, ели кутью и взвар, хотя вряд ли постились до звезды. Потом зажигали елку. Тут уже Алексей Михайлович вносил свою мелодию. В елке принимали участие не только его зверюшки, но и его чертенята, целые роты. Они висели в его кабинете на веревочках, протянутых от стен к центральной висячей электрической лампе. Кого тут только не было. Зайчата и мышки разного роста и происхождения, дареные, купленные, вырезанные из бумаги самим Ремизо-

вым. Были собачата, утята, лягушата, змеи, птички, обезьяны, целый зверинец. А между ними толпились чертенята всех видов и цветов. Черти веселые, черти страшные, черти напуганные, черти злющие, бесенята растерянные и ядовитые, бесенята лукавые, с издевкой, норотившие подвести, поддеть, если не погубить. Среди них Ремизов, сказочник и выдумщик, бродил, как колдун, повелитель гадов и бесов. Он и прическу себе устроил с двумя вихрами, похожими на рожки. Не то козел, не то кто-нибудь похуже.

Игрушки свои он любит. Среди них живет по-своему. Они помогают ему писать всякую небывальщину про таких же, как они, мохнатых, рогатых, хвостатых, про зверье и бесовщину, про все видимое и невидимое, что живет и копошится около человека. Ремизов пишет о них с нежностью, общается с ними, как с себе подобными. Людей он жалеет. Зверюшками и чертенятами утешается. Свои игрушки гостям он представляет, как чадолюбивый дедушка представляет своих внучат. Когда очередь доходит до чертенят, Ремизов ухмыляется широко, лукаво и как-то особенно фыркает, радуясь, что около него ютятся такие забавники, озорники. Я никогда не могла понять, что это, только мистификация? Или он так сжился со своими уродцами, они так владеют его воображением, что он уже сам сбился, где всамделишная бесовщина, а где его собственное пересмешичество?

Ремизов не раз говорил, что верит в черта, в живого черта. И тут не знаю, всерьез он это говорит или шутя? Страх перед дьяволом, какой был у Мережковского, которым мучился Гоголь, у Ремизова я никогда не замечала. Если и был в нем страх Паскаля перед «вечным безмолвием бесконечных пространств», то с нами он им никогда не делился, хотя с Вильямсом вел задушевные беседы, говорил о самых сложных проблемах. Пожалуй, говорили они больше о языковедении и этнографии, чем о религии. Насколько помню, Ремизов в России в церковь не ходил. А Серафима Павловна ходила. В эмиграции, в Париже, в соборе на рю Дарю, иногда рядом с ней, за колоннами, появлялась и сутулая спина Алексея Михайловича.

Среди петербургских романистов и поэтов Ремизов занимал особое место. Бывал в «башне», бывал и в других кружках, но ни к одному из них нельзя было его приписать. И отдельного кружка вокруг себя не собрал, хотя почитателей у него было немало. Никто не мог считать его своим — ни Мережковский, ни Вячеслав Иванов, ни, позже, Федор Сологуб. Но с ним все они считались, прислушивались к его оценкам, справедливым и честным. В своих суждениях о литературе он был свободен от личного пристрастия или личной неприязни. Это не часто бывает. Для Ремизова самое существование в жизни — это слово. Когда он говорит о словесности, он перестает чудачить.

Ремизов тонко разбирается в людях, видит их слабости, страсти, пороки. Но в нем неожиданная для такого острого, насмешливого ума снисходительность к ним. Он любит людей, часто повторяет снисходительную формулу — обвиновать никого нельзя. В нем нет ни тени карающего негодования сатирика или юродивого. Только снисходительное и горькое признание ничтожества людского. Человеческая комедия его забавляет как наблюдателя, шевелит его любопытство. Ему нравится, позвякивая бубенцами, дурачить всех, важных и маленьких, незаметных и именитых, дураков и умников. Особенно именитых глупцов.

Вглядываясь в причудливый характер Ремизова, я понимаю значение и положение придворного шута при средневековом короле. Шут должен быть умнее своего повелителя и уж конечно умнее его придворных. Шут должен быть тонким психологом, сердцеведом. В «Пляшущем Демоне» Ремизов рассказывает, как в одном из своих прежних воплощений он был скоморохом, вертелся кругом людей, издевался над ними. И жалел их. Ремизов и в нынешнем своем воплощении их жалеет.

Через писательскую толпу он проходит, как мог бы проходить через толпу придворных, с молчаливой усмешкой, которая идет к его странному, угловатому и привлекательному облику.



Леонид Сабанеев

## МОИ ВСТРЕЧИ

«ДЕКАДЕНТЫ»

### I

В те годы их только так и называли. Это уже потом их вежливее стали именовать «символистами». Центральное их ядро, «старшие символисты», были на «полпоколения» старше меня. Младшие были мои ровесники. С Андреем Белым («в миру» — Боря Бугаев, сын нашего физико-математического декана) я вместе учился в университете. Но как раз его я меньше других знал. Ближе и лучше всех я знал Юргиса Балтрушайтиса, с которым был даже на «ты», что вообще со мною редко бывало, и Вячеслава Иванова. Потом в порядке близости следовали Бальмонт, Брюсов, Блок и Белый.

Фигуры всех их для меня неотделимы от личности Сергея Александровича Полякова, их объединителя (что было далеко не легкой задачей) и издателя. Сами символисты в своих писаниях никогда его не поминали<sup>1</sup>, а между тем ему очень многим обязаны. Ведь на его деньги издавался и руководящий орган символистов — «Весы», и на его средства существовало и издательство «Скорпион», где все они публиковались. Даже названия «Скорпион» и «Весы» были придуманы Поляковым. Он был преоригинальнейшей фигурой.

Крупный текстильщик, один из трех братьев-совладельцев одной из крупнейших подмосковных мануфактур, он был наделен самобытным, нетрафаретным умом. Его звали «декадентский батька» — в те времена среди русской крупной буржуазии была мода на самые «крайне левые» течения в искусстве. Старообразный даже в молодости, сутулый, с наружностью не то Сократа, не то Достоевского, он был математик по образованию, энциклопедист по знаниям, владел пятнадцатью языками (в том числе норвежским, турецким, персидским, арабским и древнееврейским).

Его звали «гений без точки приложения» — он мог дельно и глубоко говорить по любому вопросу, начиная от богословия и до филологии и математики, высказывал всегда что-то самобытное, оригинальное, но все это терялось в разговорах, никогда не было никем зафиксировано. Жизнь вел бурную, «ловил

миги», что, как известно, было специальностью символистов. Думаю, что этим его «символизм» и ограничивался — для «приятя» веры символистов у него не хватало наивности и был избыток скепсиса и иронии. Что-то от тонкой иронии было у «декадентского батьки» в отношениях с «призреваемыми» и «издаваемыми» им поэтами — властителями дум тогдашней передовой России. Думаю, что поэты это чувствовали. Во всяком случае, я замечал, что они больше видели в нем издателя, чем единомышленника и друга. А он их видел слишком насквозь. Но «ловить миги» он умел не хуже их, тем более что средства позволяли ему это с большой легкостью.

В его бюро в «Метрополе», в закоулке на московской театральной площади, можно было увидеть весь выводок или всю плеяду символистов. Чаще других там оказывались Балтрушайтис, Брюсов и Бальмонт. В бюро было две небольших комнаты, заваленных книгами и бумагой. Обычно поэты сживали во второй, где хозяин любил вытаскивать из шкафа, имевшего совершенно серьезный вид книжного склада, несколько бутылок вина и количество стаканов по числу присутствующих, а из каких-то незримых щелей между наваленными изданиями появлялась колбаса, ветчина, сыр и проч., и начиналась импровизированная трапеза. Балтрушайтис и сам Поляков были очень «охочи» до вина и могли поглотить его чрезвычайно много, причем мой друг Балтрушайтис, который в нормальном состоянии был молчаливейшим из людей (мог просидеть в гостях часа три, не сказав ни слова), после трапезы оживлялся и становился интереснейшим и глубокомысленным собеседником. Бальмонт тоже был весьма склонен к «принятию алкоголя», но у него очень быстро наступал «кризис» — он, и без того всегда надменный и заносчивый, делался просто неприятным. Лицо его становилось каким-то театрально-жестоким, точно он разыгрывал чью-то злодейскую роль. Раз во время одного такого колбасно-винного сеанса он избрал Балтрушайтиса объектом своих высокопарных неприятностей. А тот, зная хорошо все повадки своего собрата, упорно молчал. Бальмонт впал в свирепость и обратился ко мне: «Послушайте, музыкант... Освободите меня от этого **инострнца!**»

Так как я, как и все, отмалчивался (единственный метод не расширять конфликта), Бальмонт шумно поднялся и, произнеся с драматической вибрацией в голосе: «Пути наши различны!» — вышел из бюро.

«В нем непоправимо сидит провинциальный трагик», — промолвил «иностронец» Балтрушайтис, невинный виновник конфликта.

Я был, в сущности, большим почитателем стихов Бальмонта. Но его делающая надменность, вечный «театр в жизни»,

в который он был погружен, и некая во всем этом безвкусица, провинциальность были порой непереносимы. В нем не чувствовалось человечности. Он был «демоном» или неким «стихийным» духом, и из него исходили какие-то отталкивающие психические токи.

В минуты раздражения на него С. А. Поляков говорил: «Не демон, а просто черт из провинциального театра... Он думает, что со своей огненной шевелюрой он похож на бога Солнца, а на самом деле — вылитый архиерейский певчий из «забористых», которыми увлекаются богомольные старушки».

Правда, бывали моменты, когда наш поэт внезапно становился симпатичным. Часто после очередной ссоры, вроде описанной выше, на другой день, если он помнил происшедшее, приносил извинения, и при этом у него была трогательная, застенчивая, какая-то детская улыбка. Сами же извинения нередко были отредактированы в чрезвычайно витиеватом изложении.

Помню вечер в «Свободной эстетике»<sup>2</sup> (общество, объединявшее или пытавшееся объединить левых деятелей искусства). В порядке дня чтение Бальмонтом новых стихов. Присутствуют почти все наличные в Москве поэты, кроме Брюсова, с которым Бальмонт несколько дней назад повздорил. Бальмонт опаздывает, как почти всегда. Наконец он появляется, надменный, с орхидеей в петлице, держа вперед свою бородку, он «восходит» по лестнице Литературного кружка. Его встречает председатель «Свободной эстетики» милейший доктор Иван Иванович Трояновский... Он начинает говорить ему приветствие. Бальмонт высокомерно, с видом «царя от поэзии» его перебивает:

— Кто вы такой?

Смущенный Трояновский пробормотал:

— Я... доктор. (Бальмонт прекрасно знал, кто такой Трояновский.)

— Меня должен встречать не доктор, а поэт, — с вежливостью отчеканивает Бальмонт и восходит далее, не удостоив выслушать приветствия.

Сущность была в том, что он ожидал, что его встретит Брюсов, а тот не явился, получилось дипломатическое осложнение.

Другой эпизод. Я и Поляков должны были пойти на какой-то концерт. Зашли по дороге в гостиницу «Альпийская роза», где жил художник Россинский, чтобы взять его с собой. У Россинского сидел Бальмонт, и у него уже было настроение вздернутое — до нас тут пили коньяк. Так как Бальмонт не хотел (да и не мог) пойти вместе на концерт, решили, что пойдем втроем, а он посидит тут, нас подождет. Для безопасности, видя его состояние, сказали служащему, чтобы ему ни в каком случае не давать ни вина, ни коньяку, сказать, что «нет больше».



Мы ушли. В наше же отсутствие произошло следующее.

Оставшись один, Бальмонт немедленно спросил еще коньяку. Ему, как было условлено, ответили, что коньяку нет. Он спросил виски — тот же ответ. Раздраженный поэт стал шарить в комнате, нашел бутылку одеколона и всю ее выпил. После того на него нашел род экстаза. Он потребовал себе книгу для подписей «знатных посетителей». Так как подобной книги в отеле не было, то ему принесли обыкновенную книгу жильцов с рубриками: фамилия, год рождения, род занятий и т. д. Бальмонт торжественно с росчерком расписался, а в «роде занятий» написал: «Только любовь!» Что было дальше, точно выяснить не удалось, но когда мы вернулись с концерта, то в вестибюле застали потрясающую картину: толпа официантов удерживала Бальмонта, который с видом Роланда наносил сокрушительные удары по... статуям негров, украшавшим лестницу. Двое негров, как трупы, с разбитыми головами валялись уже у ног его, сраженные. Наше появление отрезвило воинственного поэта. Он сразу стих и скис и дал себя уложить спать совершенно покорно. Поляков выразил желание заплатить убытки за поверженных негров, но тут выяснилось, что хозяин отеля — большой поклонник поэзии, и в частности Бальмонта, что он «считает за честь» посещение его отеля такими знаменитыми людьми и просит считать, что ничего не было. Но сам поэт об этом своем триумфе не узнал — он спал мертвым сном.

Позднее я часто виделся с Бальмонтом у Скрябина. Их познакомил Балтрушайтис. Бальмонт относился к «музыкальной» группе символистов, вместе с В. Ивановым и Балтрушайтисом, тогда как Брюсов, Белый и Блок образовывали другую группу — маломузыкальную и вовсе не музыкальную. Бальмонт хорошо и глубоко чувствовал музыку — что далеко не часто встречается именно среди поэтов. Скрябинскую музыку он тоже «почувствовал» — думаю, что он угадал в ней известное, несомненное родство со своей собственной поэзией. Чем-то они были между собой схожи — Скрябин и Бальмонт: этой вечной приподнятостью, некоторой заносчивостью, неким постоянным «допингом» в своем творчестве, органически лишенном «трезвости». Оба были искателями «новых звучаний», оба считали, что пред ними все поэты (композиторы) предтечи. Внутри себя Скрябин был едва ли не еще более «самомящ», чем Бальмонт, но его деликатность и образцовая воспитанность скрадывали это. И в жизни Бальмонт был ярче, острее и «невыносимее», чем Скрябин, довольно ординарный в жизни. С другой стороны, Бальмонт при всем своем самомнении был умереннее Скрябина в мечтаниях: он, правда, считал себя царем поэтов, но не собирался, подобно Скрябину, ни свершать мировых катаклизмов, ни овладевать всеми искусствами, ни быть «Мессией».

В своих высказываниях о музыке Скрябина Бальмонт тонко

подмечал некоторые характерные черты. Об его игре на Ф. П. он выразился так, что «он целует звуки пальцами», — это было очень удачно и тонко отмечало эротическую природу скрябинской неповторимой игры. После одного из скрябинских исполнений он подошел ко мне и сказал взволнованно своим отрывистым и как бы «искусственно-надменным» голосом:

— Вы знаете, что я считаю себя большим, очень большим поэтом... Но мое искусство бледнеет пред искусством этого... музыканта...

Потом он продолжал: «Вагнер и Скрябин... это два гения равнозвучных и равно мне дорогих. Вагнер мне представляется титаном, который мог низвергать лавины в бездны своей мощью... но мог ткать и узоры из лун-н-ных (он протянул н-н-н) лучей...»

«Скрябин — не титан... Он — эльф, который умеет только ткать ковры из лун-н-ных лучей... Но иногда... он... коварством своим мог... подкрадываться... и тоже низвергать лавины в бездны...»

Несмотря на такое восторженное отношение, Бальмонт все-таки не смог так акклиматизироваться в оранжерейной атмосфере скрябинского дома, как Вяч. Иванов и Балтрушайтис. Думаю, что он был и недостаточно гибок, и слишком сам похож на Скрябина. Притом Скрябин был, в сущности, **единственным** музыкантом-символистом, со всей характерной идеологией символизма, с идеями художника-«теурга», слияния искусства с жизнью и с религией. А Бальмонт гораздо в большей степени был чистым поэтом, чем Скрябин — чистым музыкантом. Из всей плеяды символистов Бальмонт был **наименее** всех символист. Вяч. Иванов с этой точки зрения больше подходил Скрябину для его мечтаний о крушении мироздания под грохот «соединенных искусств».

Странная, с нашей теперешней точки зрения, была эта ушедшая эпоха. Она кажется далекой, как античные времена. По-видимому, у всех нас тогда была масса свободного времени. Мы проживали время в «пиршественном» состоянии духа, в нескончаемых разговорах все об одних и тех же высочайших и, в сущности, беспредметных материях. Место разговоров менялось, то у Скрябина, то у Вяч. Иванова, или у меня, или в «Скорпионе», а разговор продолжался все тот же — о судьбе мира и искусства, о конечных задачах культуры, о мистерии Скрябина, о «мистическом анархизме», о самих символистах. Помню, раз в «Скорпионе» вели беседу о том, кто из символистов подлинный символист и кто, так сказать, «соглашатель» с низшей сферой «просто-искусства». Участники — все те же: Поляков, я, Балтрушайтис, Брюсов и присоединившийся к нам чудак — Жилиев, про которого я уже писал. Не выдержав диалектического напряжения беседы, он «недипломатично» воскликнул:

— Да кто же, наконец, должен почитаться символистом?

С. А. Поляков немедленно и серьезнейшим тоном ответил:

— Так это же совершенно ясно: те, которые начинаются на букву Б: Брюсов, Бальмонт, Балтрушайтис, Блок, Белый.

— Так ведь есть и несимволисты на Б: Батюшков, Баратынский, Бенедиктов...

— Ну, это «предтечи» символистов. А самый настоящий символист — Белый, потому что он и Белый, и Борис, и Бугаев.

Такого рода юмористически-ироническое завершение «важных» вопросов было характерно для «декадентского батюки», милейшего Сергея Александровича Полякова. Оно разряжало слишком густую и слишком заоблачную атмосферу мыслей.

Где он теперь? Ему должно было быть за 85 лет<sup>3</sup> — он был ровесник Мережковского. Последние годы, после «октября», он, как все «исчадия буржуазного класса», жил плохо, его средства исчезли, а потребности в «мигах» остались. Я его устроил научным сотрудником в «Когановскую академию художественных наук». Жил переводами, но духом не падал. Последнее о нем известие из Москвы я получил в 1929 году: ему было запрещено жить в пяти городах Советского Союза, включая, конечно, обе столицы, — по-видимому, нашли, что он идеологически был «чужд»... Конечно, он был «чужд» как законченный и совершенный скептик-анархист. Но надо отдать ему должное: и потерю богатства и даже средств к жизни, и всю тяжкую большевистскую жизненную реальность он принял с философско-добродушным равнодушием и даже любил находить в большевиках положительные качества и значимость, в то же время испытывая к ним, как он сам выражался, «невероятное презрение». Вряд ли он сохранился в живых, да еще при его невоздержанном и остром языке.

## II

Из «декадентов» лично мне были ближе всех Балтрушайтис и Вяч. Иванов. Связывала их со мною и их заинтересованность музыкой, в частности скрябинской музыкой, под чарами которой они в то время всецело пребывали<sup>4</sup>, рассмотрев в нем своего музыкального собрата — символиста. Балтрушайтис был беспредельно молчалив и замкнут. Вяч. Иванов, наоборот, был неиссякаемым фонтаном первоклассного красноречия. В этом отношении в нем было нечто от любимой им античности — подлинный культ речи и слова. Он был воскреснувшим ритором древности.

Совершенно исключительный виртуоз беседы, он с неопишуемой легкостью приспособлял огромный инвентарь своих по-

знаний к пониманию собеседников. Его речь шла сплошным потоком, без запинок, всегда пышно украшенная научным декорумом, блистая обилием цитат, которые у него возникали как-то самопроизвольно, совершенно естественно. Его познания во всех областях были колоссальны, а подача этих познаний — артистична. Из русских людей я не знал никого, кто мог бы сравниться с ним в этом искусстве серьезной и содержательной элоквенции. Вообще, на меня он производил впечатление наиболее глубокого, проникновенного и одаренного из всех символистов. В его стихи перешла лишь незначительная часть его общечеловеческого обаяния. Он был как некая крепчайшая настойка из всей человеческой культуры — и русской, и европейской, и античной, и средневековой, и светской, и религиозной.

Он не был красив: бледно-рыжий, «слегка согбен, ни стар, ни молод», как его описал Блок. Красноватое лицо, «медвежий» глазки, которые умели смотреть вбок... Голос его был теноровый, вкрадчивый и со сладостью. Нечто «католическое» было в его повадке и тогда, хотя в те времена он еще прочно сидел на платформе «неохристианства» и «дионисийских» упований. Его упокоение в лоне католической церкви меня нимало не удивило — это было совершенно в его стиле. Свою, в сущности, мало примечательную наружность он, однако, умел «подать» так, что она была и глубокомысленна, и значительна, и от него действительно исходило некое «излученье тайных сил», как говорил Блок.

В. Иванов, как и все символисты, считал, что живет в «катастрофическое время», — в ожидании некоего «События» с большой буквы, которое имело не столь контуры войны или революции, сколь некое эсхатологическое акта, в стиле второго пришествия. Но война и революция приветствовались (как и Скрябиным) как предтеча, предзнаменования. Но все же в большевистское время Вяч. Иванов — со всем своим эсхатологизмом — имел вид человека, совершенно растерявшегося, сошедшего с рельс.

Течение реальных событий он не умел примирить и сочетать со своей теорией. Иногда он брал очень «левый» камертон, «принимал» революцию и даже утверждал, что он значительно «левее» большевиков, потому что он — за «революцию Духа». Впрочем, для коммунистов это даже и тогда не звучало убедительно: они не интересовались революциями Духа. В те приснопамятные дни «военного коммунизма» я вместе с ним профессорствовал в Государственном институте слова (ГИС), основанном неким Сережниковым, изобретателем «коллективной декламации». Вместе с нами был и князь С. М. Волконский<sup>5</sup>, который читал курс «искусства произнесения». Я читал о «музыке речи». Потом мы втроем возвращались с лекций по Воздвиженке, где три месяца зимой посередине улицы и напротив

института слова лежала дохлая лошадь, которую сначала ели собаки, потом вороны и мелкие пташки. Вяч. Иванов, очень зябкий, был облачен в две чрезвычайно старые шубы и какие-то глубокие ботфорты. Князь Волконский — во что-то вроде костюма альпиниста, в теплых чулках и коротких штанах. Я был в какой-то телячьей куртке, которую мне выдал Дом ученых, и оттого имел «коммунистический» вид. Конечно, во время лекций все эти костюмы не снимались, ибо отопления не было. В эти годы у Вячеслава Ивановича начала созревать мечта о «бегстве». Тогда многие просто «бежали», но это было рискованно и при его «интеллигентском составе» неосуществимо. И он стал хлопотать о законном «выезде» через Каменеву, тогда всесильную и покровительствовавшую «наукам и искусствам». Его очень долго не пускали, тянули, отказывали. Он даже написал Каменевой «Сонет», в котором говорилось, что у нее «профиль Лукреции Борджия». Не знаю, было ли ей недостаточно лестно быть похожей на Лукрецию, или она вовсе не представляла себе, что это за зверь (по образованию она была дантисткой), и потому не оценила этой литературной лести, но и «Сонет» не подействовал — ему опять отказали.

Помню, в те дни Юргис Балтрушайтис, уже ставший из поэтов полномочным посланником Литвы в Москве, говорил мне:

— Ты знаешь, что по существу Вячеслав вообще **придворный** поэт, и не его вина, что ему-при таком поганом дворе приходится служить.

— Но ведь ты тоже,— отвечал ему я,— при том же дворе состоишь посланником.

В конце концов Иванова отпустили более или менее «с миром». За границей мне с ним уже не удалось встретиться.

Брюсова я узнал раньше, но знал его гораздо меньше и повөрхнее. Мое самое раннее впечатление от него: Брюсов-студент в сюртуке с синим воротником у Танеева, моего профессора, еще совсем молодой, но, в сущности, почти такой же, как и потом. И голос его тогда был тот же: сочный, смакующий баритон, который его поклонники уподобляли «орлиному клекоту». Впрочем, надо ему отдать справедливость: стихи — и свои и чужие — он читал превосходно, не по-актерски, а по-«поэтски», не разрушая ритма экспрессией.

Потом я его часто видал в годы его «управления поэзией», часто с ним говорил, но не сблизился никогда. В наружности его в противоположность «солнечному» Бальмонту, «магическому» В. Иванову и безумному Белому не было ничего поэтического — обычная наружность интеллигента. Скорее всего, он походил на «приват-доцента». Опасаюсь, что и внутри у него немного было поэзии... но это уже другой вопрос. Он был «книжник и фарисей» от поэзии, как его звал С. А. Поляков,

теоретически он должен был быть «демоничен», но на самом деле в нем было нечто не демоническое, а, скорее, «фармацевтическое», и, быть может, в связи с этим возглавлявшийся им Литературно-художественный кружок оказался переполненным именно фармацевтами<sup>6</sup>. Его сильно скуластое, темное лицо имело не русский, а какой-то «инородческий» тип. С. Поляков звал его «цыган-конокрад из Лебедяни». В нем был научный дух и научная усидчивость — я думаю, что он мог бы быть хорошим ученым. Даже и те «миги», которые символисты любили «ловить», он ловил как-то «по-научному», словно на предмет исследования, вроде насекомых. Меня от него отвращала его абсолютная антимузыкальность. Помню, как-то в Лит.-худ. кружке он сделал мне такое признание:

— Для меня решительно все равно — симфония Бетховена или биты в медные тазы...

И это говорилось, как все у него, многозначительно и уверенно, как будто это «все равно». А его сестра, Надежда Яковлевна, похожая на него скуластостью и многозначительностью своей речи, как на смех была музыкантшей, не Бог весть какой, но все же всю жизнь провела с музыкой, к которой, впрочем, относилась тоже «научно», как ее брат к поэзии.

При водворении на Руси большевиков Брюсов немедленно записался в партию. «Понял — мы в раю», — писал он в те годы. Однако карьеры в раю он не сделал, был объявлен «несозвучным» современности. Очевидно, музыкальный слух изменил ему и на этот раз.

С Блоком я виделся всего раз шесть, не считая того, когда бывал на его выступлениях. Познакомил меня Вяч. Иванов, признававший в нем «первого» поэта символической плеяды.

При близком знакомстве Блок показался мне прежде всего гораздо менее красивым, чем он был на портретах, хотя это было далеко не в последние годы его жизни; у него был тяжелый подбородок, который огрублял красивые формы его лица, придавая ему нечто лошадиное. После вдохновенно-виртуозной речи Вяч. Иванова блоковский разговор был просто косноязычен — в нем было что-то тяжелое, туповатое, казалось, он не находил сразу слов для своих высказываний. Мне он не казался и умным, впрочем, меня предупредили некоторые его друзья, что такое впечатление может составить. «Поэзия должна быть глуповата», — впрочем, сказал Пушкин. А Блок есть чистое олицетворение поэзии. Сам Пушкин, впрочем, глуповат ни в какой мере не был. Очевидно, тут бывает поразному. А факт был тот, что из всех символистов самый молчаливый был Балтрушайтис, самый виртуозно-говорливый — Вяч. Иванов и самый косноязычный — Блок.

Потом я его встречал у проф. П. Когана<sup>7</sup>, его страстного поклонника. Впечатление то же: что-то вроде медиума, мало

способен к разговору. Как всегда в моих сношениях с поэтами, я позондировал почву об его отношении к музыке. Тут меня тоже ждало разочарование: Блок предпочитал цыганскую музыку. Отмечу еще одно обстоятельство: все символисты, которых я знаю, в своей «внешности» были выполнены как бы в соответствии со стилем своих стихов. Вяч. Иванов был «похож» на свои стихи, молчаливый Балтрушайтис — тоже. «Солнечный» Бальмонт со своей огненной шевелюрой и надменной речью, растрепанный Белый и «господинчистый» Брюсов — все были подобны вполне своим произведениям. Блок же совсем не походил на свои стихи. Он был гораздо тяжелее, земнее, физичнее их. Однако что поделать? Вспомним стихи Фета и наружность хозяйственного, черносотенного помещика Шеншина — их автора. Всякое бывает...

В заключение расскажу о моих двух встречах с еще одним поэтом, тоже символистом, почему-то причисляемым к «второстепенным», — Макс Волошиным.

Первая встреча. Мне четырнадцать лет, и у нас сидит ученик моего тогдашнего наставника Н. В. Туркина — массивный юноша лет семнадцати. Называется Макс Волошин. Из казаков, как и мой наставник Туркин. Только что кончил гимназию. Говорит, что пишет стихи.

Вторая встреча — через тридцать лет. Я, Петр Семенович Коган и бородатый, огромный Максимилиан Волошин — уже известный поэт, проживающий в Крыму, в Коктебеле, — шествуем втроем в Кремль на свидание с Каменевым. Волошин хочет прочесть Каменеву свои «контрреволюционные» стихи и получить от него разрешение на их опубликование «на правах рукописи». Я и Коган изображали в этом шествии Госуд. академию худож. наук, поддерживающую ходатайство.

Проходили все этапы, неминуемые для посетителей Кремля. Мрачные стражи деловито накальвают на штыки наши пропуска. Каменевы обитают в дворцовом флигеле направо от Троицких ворот, как и большая часть правителей. Дом старый, со сводчатыми потолками — нечто вроде гостиницы: коридор и «номера», в него выходящие. Все, в сущности, чрезвычайно скромно. Я и раньше бывал у Ольги Давыдовны по делам ЦЕКУБУ и Дома ученых, и обстановка мне, как и П. С. Когану, хорошо знакома, но Волошин явно нервничает. Хозяева, которые были предупреждены, встречают нас очень радушно. Каменева подходит ко мне с номером парижских «Последних новостей» и говорит:

— Послушайте, что «они» о нас пишут!

И действительно, выясняется из статьи, что Россией управляет Каменев, а Каменевым... его жена.

Она страшно довольна и потому в отличном расположении духа.

Волошин мешковато представляется Каменеву и сразу приступает к чтению «контрреволюционных» стихов.

Это было в высшей степени забавно созерцать со стороны. «Рекомый» глава государства (он был тогда председателем Политбюро) внимательно слушал стихотворные поношения своего режима, которые громовым, пророческим голосом, со всеми проклятиями, в них заключенными, читает Волошин, напоминая пророка Илию, обличающего жрецов. Ольга Давыдовна нервно играет лорнеткой, сидя на маленьком диванчике. Коган и я с нетерпением ждем, чем окончится эта контрреволюция в самых недрах Кремля.

Впрочем, в самой семье Каменевых гнездилась контрреволюция в лице его сына — это был партийный секрет, но его все знали.

Волошин кончил.

Впечатление оказалось превосходное. Лев Борисыч — большой любитель поэзии и знаток литературы. Он хвалит, с аллюром заправского литературного критика, разные детали стиха и выражений. О контрреволюционном содержании — ни слова, как будто его и нет вовсе. И потом идет к письменному столу и пишет в Госиздат записку о том же, всецело поддерживает просьбу Волошина об издании стихов «на правах рукописи».

Волошин счастлив и, распрощавшись, уходит. Я и Коган остаемся: ему необходимо кое-что выяснить с Каменевым относительно своей академии. Тем временем либеральный Лев Борисыч подходит к телефону, вызывает Госиздат и, совершенно не стесняясь нашим присутствием, говорит:

— К вам придет Волошин с моей запиской. Не придавайте этой записке никакого значения.

Даже у искусственного в дипломатии П. С. Когана физиономия передернулась. Он мне потом говорил:

— Я все время думал, что он это сделает. Но не думал, что так скоро и при нас.

А счастливый Волошин уезжал к себе в Коктебель с радужными надеждами на напечатание «на правах рукописи» своих стихов.



Мстислав Добужинский

ВСТРЕЧИ  
С ПИСАТЕЛЯМИ  
И ПОЭТАМИ



1. ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ  
И «БАШНЯ»

С осени 1906 года я начал преподавать вместе с Бакстом<sup>1</sup> в частной художественной мастерской («Школа Бакста и Добужинского»), которая была основана Е. Н. Званцовой, бывшей ученицей Репина. Школа тогда помещалась на углу Таврической и Тверской улиц, против Таврического сада, как раз под квартирой Вячеслава Иванова, которая была на самом верхнем этаже этого большого дома с угловой башней-фонарем. «Башня» и стала знаменитым названием собраний у Вяч. Иванова, его «сред» — нового литературного центра Петербурга.

Приезжая два раза в неделю в школу, я очень скоро через Званцову познакомился с «верхними жильцами» и не пропускал случая заходить к ним и очень скоро сблизился с Вячеславом Ивановичем и его женой, всегда чем-то горевшей, Лидией Дмитриевной. С ними жила дочь ее от первого брака, Вера Шварсалон, девушка с ангельски-голубыми глазами и золотой косой вокруг головы.

Званцова была своим человеком у Ивановых и была близка ко всему их кругу, а Волошин, один из ближайших друзей Вяч. Иванова, даже и поселился в квартире Званцовой<sup>2</sup> и женат был на учившейся в нашей школе Маргарите Сабашниковой. Все это как-то домашним образом сближало школу с «башней», и школа не могла стоять в стороне от того, что творилось «над ней». Некоторые ученики, по примеру Бакста и моему, бывали тоже посетителями гостеприимной «башни». Сама же школа под «башней» становилась не только школой, а маленьким «очагом», как бы содружеством, где в исключительной атмосфере зрело немало будущих художников.

Я хочу вспомнить тут одну мою необыкновенно талантливую ученицу, Елену Гуро, маленькое, болезненное, некрасивое существо (она умерла очень скоро), которая была очень тонким и очаровательным поэтом. Она успела напечатать только одну маленькую книжку стихов, ею самой предельно иллюстрированную и посвященную ее сыну, который существовал лишь в ее воображении<sup>3</sup>...

Вячеслав Иванов приехал тогда из Италии, прожив в Риме и отчасти в Афинах почти всю жизнь \*, и был великим знатоком античного мира и уже давно сложившимся поэтом.

Как собеседник он обладал совершенно особенным обаянием, и хотя я не забывал, что передо мной ученый-философ и глубокий поэт, но это не пугало — так он был внимателен, даже к такому профану, как я, и так порой весело-умны были его реплики, и так заманчиво и интересно он заводил разные тонкие споры. Льстило и то, что он показывал особенно бережное уважение к художнику как обладателю какой-то своей тайны, суждения которого ценны и значительны. Его собственные проникновенные мысли об искусстве бывали мне очень интересны. Впоследствии он с необыкновенным прозрением высказался на тему о синтезе искусства по поводу творчества Чюрлениса <sup>4</sup>.

Мне казалось, что от него веяло какой-то чистотой, чем-то надземным. Кто-то написал о нем: «Солнечный старец с душой ребенка» (ему тогда было, впрочем, лет сорок), а Блок в одном из своих писем сказал: «Он уже совсем перестает быть человеком и начинает походить на ангела, до такой степени все понимает и сияет большой внутренней и светлой силой». Это показывает, как всем хотелось идеализировать этого замечательного человека. Он же был столь «горним», что мог себя считать выше морали...

Вяч. Иванов тогда носил золотую бородку и золотую гриву волос, всегда был в черном сюртуке с черным галстуком, завязанным бантом. У него были маленькие, очень пристальные глаза, смотревшие сквозь пенсне, которое он постоянно поправлял, и охотно появлявшаяся улыбка на розовом лоснящемся лице. Его довольно высокий голос и всегда легкий пафос подходили ко всему облику Поэта. Он был высок и худ и как-то устремлен вперед и еще имел привычку в разговоре подыматься на цыпочки. Я раз нарисовал его в этой позе «стартующим» к звездам с края «башни», с маленькими крылышками на каблуках, но эту не очень злую карикатуру я показал только своему другу Сюннербергу <sup>5</sup>, все-таки боясь, что Вяч. Ив. обидится...

В «башне», на еженедельных «средах», которые я одно время почти не пропускал, я встречал всех тогда и уже знаменитых, и еще начинавших молодых поэтов — Александра Блока, только что окончившего СПб университет; приезжавшего из Москвы Андрея Белого; загадочного Кузмина, впервые тогда появившегося в Петербурге; встречался с имевшим тогда облик древнего старца Федором Сологубом, и с лохматым маленьким Ремизовым, и другими. Завсегдатаями «башни» были и зевоподобный Волошин, и Георгий Чулков.

\* «Я учился древности у Моммзена, Рима и Афин», — сказано им в автобиографии. *Прим. М. Добужинского.*

Гости на «средах» оставались иногда до раннего утра. Лидия Дмитриевна, любившая хитоны и пеплумы, красные и белые, предпочитала диванам и креслам ковры, на которых среди подушек многие группировались и возлежали. Помню, так было при приезде Брюсова, который, сидя на ковре в наполеоновской позе, читал свои зловещие стихи, и свет был притушен. Но до «кадильниц» и тем более до каких-то «оргий», о чем ходили слухи, в «башне», разумеется, не доходило. К этому «театру» мы (а из художников бывали Сомов, Бакст, Лансерэ и наши общие друзья Нувель и Гржебин) относились очень не всерьез, но с любопытством. Очевидно, ко всему по-философски равнодушно относился и сам хозяин.

Обыкновенно в «башне» читались самые свежие, еще не напечатанные стихи, и, разумеется, читались, как было принято тогда, торжественно и нараспев; этот стиль, кажется, пошел от Андрея Белого, у которого такая декламация была своего рода пением (но он как-то внезапно вдруг утратил эту способность), и это сделалось общим увлечением; читать иначе, реалистически, «с выражением», казалось неприличным и пошлым. (Профаны же, помнится, тогда называли эту модную монотонную декламацию «акафистом» или «панихидой».)

Собрания проходили по-семейному, за чаепитием, многие бывали с женами. После же чая кроме стихов часто читались доклады на одну из животрепещущих символических тем, и тогда возникали нередко весьма горячие прения. Больше всего горячился Чулков — после Бориса Пронина (зачинателя «Бродячей собаки» и «Привала комедиантов») и Н. Н. Евреинова самый неистовый энтузиаст, каких я знал. По внешности он тогда походил на молодого апостола или Предтечу с бородой и большой шевелюрой, что было весьма в стиле его несколько театрального пафоса. Ни один доклад не проходил без его участия в прениях — тут он бывал порой блестящим или оппонентом, или апологетом. Помню, как он неистовствовал, вещая на тему «Демоны и художники!» Чулков носился тогда с идеей «мистического анархизма», системы, кажется, и для него самого довольно туманной, но в самом названии содержалось уже нечто многообещающее, магическое и заинтриговывающее.

Заинтересовало оно... и градоначальство. И однажды, кажется в конце 1906 года, когда в «башне» было одно из самых многочисленных собраний и был в самом разгаре «чай», внезапно раскрылись двери передней (как раз против самовара), и театральной жестью, как настоящий «*deus ex machina*»<sup>6</sup>, появился полицейский офицер с целым отрядом городских. Всем велено было остаться на своих местах, и немедленно у всех дверей поставлены были часовые. Забавно, что никакого переполоха не произошло и чаепитие продолжалось как ни в чем не бывало. Однако по очереди все должны были удаляться в одну

из комнат, где после краткого допроса, к всеобщему уже возмущению, началась чрезвычайно оскорбительная операция личного обыска. Сначала допрашиваемые старались шутить и дерзить, но, когда руки городских стали шарить в карманах, сделалось уже не до шуток.

Процедура эта тянулась до самого утра, и обысканные с негодованием обсуждали, как же реагировать. Среди «пострадавших» присутствовала мать Максимилиана Волошина, только что приехавшая из Парижа, дама почтенного возраста, молчаливая и безобидная, но внешности весьма для полиции оскорбительной: стриженная, что было по тем временам еще очень либеральным, и, पुше того, ходившая, что, впрочем, и нас, и весь Петербург удивляло, в широких и коротких шароварах, какие когда-то носили велосипедистки. Она-то и стала искупительной жертвой за всех нас. Полицейский офицер решил, что она и есть самый главный и опасный «мистический анархист», и забрал ее, уже совершенно растерявшуюся и расплакавшуюся, в градоначальство. Пробыла она, впрочем, там недолго, так как утром кто-то полетел к Трепову<sup>7</sup>, сумел пристыдить начальство, и ее утром же освободили. Всех же остальных на заре, по окончании обыска, отпустили с миром. Отобранные документы мы все получили обратно из градоначальства, и никаких последствий ни для кого это глупое происшествие не имело.

Но кончилось оно еще одним анекдотом. Дм. Серг. Мережковский при разъезде после обыска в «башне» не нашел своей бобровой шапки: «утащили мерзавцы», и сейчас же напечатал в «Руле» язвительное открытое письмо министру внутренних дел: «Ваше Превосходительство, где моя шапка?» Но произошел большой конфуз: шапка на другой день нашлась застрявшей за каким-то сундуком в передней...

У Вячеслава Иванова я еще бывал и по поводу затеянного им его собственного издательства «Оры». Он торжественно нарек меня почетным именем «художника «Ор», и я сделал несколько обложек для крошечных книжек этого издательства, удовлетворяя Вячеслава Иванова моими символическими рисунками. (Эти книжки были: антология «Цветник «Ор», «Трагический зверинец» и «33 уroda» Лидии Дмитриевны, писавшей под именем Зиновьевой-Аннибал, и «По звездам» Вячеслава Иванова).

Помню и почти экспромтный спектакль, затеянный в «башне» Мейерхольдом и Судейкиным, — «Поклонение Кресту» Кальдерона; пьеса эта была поставлена в ширмах, очень изысканно и поэтично<sup>8</sup>.

Лидия Дмитриевна, нами искренно любимая, неожиданно скончалась от дифтерита летом 1909 года<sup>9</sup>, и «башня» кончилась. Вячеслав Иванов вскоре переехал в Москву. Позже он женился на своей падчерице Вере Шварсалон, и это было большой сенсацией...

С отъездом Вячеслава Иванова в Москву наши отношения

оборвались — подобные чисто внешние причины, увы, не раз в моей жизни кончали даже и близкую дружбу. В Москве я видел его лишь мельком в первые годы после революции (он польсесл и носил черную ермолку), слышал затем о внезапном и парадоксальном, но, несомненно, искреннем энтузиазме, который неожиданно для всех возник у этого человека не от мира сего к «Великому Эксперименту», узнал о смерти бедной Веры (от голода, как утверждали) и затем об отъезде Вячеслава Иванова в Италию уже безвозвратно. Там он перешел в католичество, так же, несомненно, со всей искренностью своего пафоса... То же, что он поселился в Риме на Тарпейской скале, не удивляло, а скорее, радовало — как некий законченный штрих в образе Поэта.

## 2. СОЛОГУБ

В тот год, как возникла «башня», особенно в следующем, 1907 году, я стал часто бывать у Федора Кузьмича Сологуба, обычно вместе с моим приятелем Сюннербергом, тогда начинавшим поэтом.

Поэзия Сологуба уже давно меня пленяла, мне нравилась его презрительная гордость, и горечь, и сама музыка медленного и тяжелого стиха, а главное, его «Творимая легенда», мир, который он создавал над действительностью и где мечта хотела быть настоящей реальностью.

Поэзия его не только восхищала своим ядом и прелестью образов, она отвечала настроениям тогдашнего моего «двойного бытия». Именно тогда я со всей остротой чувствовал спасительность иронии и собственным опытом узнал настоящий смысл «неприятя» и отрешенности, чем так часто звучала поэзия Сологуба. Она только утвердила во мне то, что я узнал самостоятельно, и хотя никогда не говорил об этом Сологубу и особенной близости у нас не создавалось (он был значительно старше меня), но во мне он, конечно, чувствовал понимание.

Он жил в те годы на 8-й линии Васильевского острова, на казенной квартире в качестве инспектора городского училища и был «в миру» Тетерников. Тогда только что вышел его «Мелкий бес», роман, так его прославивший, в издательстве Гржебина (с моей обложкой). Роман все мы уже читали, и было странно видеть, что Сологуб жил в такой мещанской и банальной обстановке, достойной быть интерьером самого героя «Мелкого беса» Передонова, с обоями в цветочках, с фикусами в углах гостиной и с чинно расставленной мебелью в чехлах. Циник Нувель, который тоже часто у него бывал, уверял, что Сологуб и есть сам Передонов, и потому и купается в пошлости! Но тут-то и рождалась его «Творимая легенда».

Федор Кузьмич в то время имел весьма патриархальный вид лысого деда с седой бородой, что как раз не вязалось с изысканностью и греховностью его стихов и было, в сущности, его загадочной маской. После уютного чая с обильными бутербродами, который разливала гостям пожилая сестра Сологуба, худая и молчаливая Ольга Кузьминична, придававшая столовой сугубую чиновничью патриархальность, все перебирались в кабинет слушать чтение стихов. Часто читали Блок и Кузмин и сам хозяин своим глухим и бесстрастным голосом, а в книжном шкафу за стеклом выглядывала «недотыкомка», мной нарисованная. У Сологуба бывал и Сомов, и из поэтов также Пяст, и впервые на нашем горизонте появился только что начавший писать Потемкин, необыкновенно молчаливый, в застегнутом на все пуговицы сюртуке, студент.

Тогдашний облик Сологуба мне больше был по душе, чем тот (новая маска!), который он принял несколько лет спустя, когда уже был женат на Настасье Чеботаревской. Он стал бритым, причем обнаружилась большая бородавка у носа (портрет Сомова). Чеботаревская его окружила «роскошной» обстановкой с золотой рыночной мебелью и шелковыми гардинами. Было обидно за Сологуба, и, как он мог все это выносить, непонятно. В этом «салоне» Чеботаревской (на Преображенской улице) устраивались не только литературные вечера, но однажды был и наделавший много шума маскарад.

Чеботаревскую у нас не полюбили, но у нее был ужасный конец, за который ей все хотелось простить.

После революции она стала впадать все в большее нервное расстройство и в глухой осенний вечер 1921 года не вернулась домой: кто-то видел — бросилась в воду с Тучкова моста. Говорили, что Сологуб, несмотря на всю очевидность, не верил смерти и ждал, что она вернется. С ужасом передавали, что он каждый день ставил для нее обеденный прибор. Весной, когда тронулся лед, ее нашли, и Сологуб снял с ее руки обручальное кольцо.

Я встречал Федора Кузьмича и в самые тяжелые годы, после этой катастрофы. Он снова был с бородой и стал какой-то просветленный и тихий, и обычный сарказм его стал добродушнее. Он рассказал мне: «Сажу на бульваре на скамейке, подошли беспризорные. «Дай, дяденька, папироску». — «А мандат на курение есть?» — Рассыпались во все стороны».

Каков был его одинокий конец, я не знаю.

### 3. РЕМИЗОВ

И в «Шиповнике», и у Вячеслава Иванова я часто встречался с Алексеем Михайловичем Ремизовым и его женой Серафимой

Павловной Довгелло и затем стал у них бывать на Казачьем переулке (одном из самых жутких в Петербурге).

Внешность Ремизова была необыкновенной: маленький, горбленный (в старости, в Париже, он уже совсем согнулся), курносый, в очках, с огромным лбом и торчащими во все стороны вихрами, он походил на «чертяку» или колдуна из его сказок. Его жена была необычайной полноты и гораздо выше его, с правильными чертами красивого лица и добродушной улыбкой. Были они «на Вы». Она была ученым — специалистом по русской палеографии, Ремизов же удивительным мастером писаного шрифта; его рукописи — поразительно каллиграфического почерка. Он умел писать и «уставом», и «полууставом» и выкручивал самые замысловатые завитки. Часто он уснащал свои писания и рисунками, довольно странными, — был в них настоящим сюрреалистом еще до сюрреализма.

Квартира их была полна всевозможной курьезной чепухи, висели припиленные к обоям разные сушеные корни и «игры природы», вербные чертики и пр. Ремизов собирал и берег и всякие пустячки, которые ему что-нибудь напоминали, пуговицу, которую потерял у него Василий Васильевич, коночный билет, по которому он ехал к Константину Андреевичу, и т. д. В советское же время его квартира (тогда на Васильевском) превратилась уже совсем в колдовское гнездо, разный чудовищный вздор был развешан на веревках, и стены были самим Ремизовым расписаны по обоям чертями и кикиморами.

Одной из чудаческих затей Ремизова было учреждение им «Великой Вольной Обезьяньей Палаты», или «Обезволпала», Озорной Академии, вроде «всешутейшего собора», куда он единолично оптировал членов, нарекая их разными пышными титулами и выдавая дипломы, которые «собственноручно» подписывал Царь Обезьяний Асыка. Подобный диплом заслужил после многолетнего томительного ожидания и я, причем возведен был в сан «Старейшего (Митрофорного) Кавалера Обезьяньего Знака». Бенуа, Сомов, Нувель, Сюннерберг, Н. Бердяев, Булгаков и немногие другие — были одни «Князьями Обезьяньими», иные «кавалерами», а иные и просто «обезьянья служба». Дипломы были шедеврами ремизовской каллиграфии, и каждый был украшен изображением печати с портретом самого «кавалера» или «князя».

Во всех этих чудачествах Ремизова в жизни и в смехотворных его рассказах большой веселости для меня не было, даже многое бывало мучительным, как смех от шекотки. Но все-таки в иных его вещах сквозь это шутовство, мудреные словечки и утомительно-филигранный слог веяло большой поэзией и даже нежностью и вообще чем-то очень милым. Такова «Посолонь».

Общим у нас с Ремизовым (это и объединило нас очень искренне) была наша любовь к детскому миру, особенно к народным лубкам и игрушкам, и первая мной иллюстрированная книжка для детей была «Морщинка» Ремизова. У меня собралась большая коллекция всевозможных народных игрушек, и Ремизов, бывая у меня, вдохновился одной и написал забавные стишки, мне посвященные, «У Лисы Бал». Тогда же, в 1907 году, издавался его «Пруд»<sup>10</sup>, и этот крайне мрачный его роман в духе Достоевского на меня сильно подействовал, и я с охотой сделал обложку (пожалуй, одну из самых удачных того времени), а потом «Пруд» толкнул меня написать и маслом картину на тему этого романа.

В то время как готовили спектакль Старинного театра с моими декорациями и костюмами Robin et Marion, неожиданно мне предложено было сделать декорации и костюмы в театре Комиссаржевской для «Бесовского действия над неким мужем» Алексея Ремизова.

В начале ноября 1907 года меня позвал к себе Ремизов на чтение своего нового произведения. Были Аничков, Чулков, Волынский, Сюннерберг и Мейерхольд. Пьеса оказалась очень забавной и чудаческой, как всегда у этого затейника, с потешными словечками и именами и по содержанию являлась русским «искушением св. Антония» с чертями, Грешной Девой, ангелами, масляничным беснованием, с монастырем и адом, все в духе русского апокрифа, и все это было весьма соблазнительно для художника! Присутствующие вместе с автором точно сговорились и решили, что поставить это в театре должен непременно я с Мейерхольдом.

На другой день я с этим был у Бенуа и получил его «благословение», был у Билибина, чтобы он не ревновал... И не ожидая еще согласия Веры Федоровны, уже начал с Мейерхольдом и Ремизовым обдумывать постановку.

Вскоре после начала нашей работы произошел разрыв между Комиссаржевской и Мейерхольдом, и он ушел из ее театра \*. Но перебоя не произошло: я продолжал с братом Комиссаржевской Федором Федоровичем. «Бесовское действие» была его первая театральная постановка; она была первой и для меня, так как спектакль Robin et Marion был поставлен несколько позже. Комиссаржевский взялся горячо, у него было много юмора и выдумки, и мы продолжали работу дружно.

Задача была для меня новой и по теме, хотя я давно знал и любил русский лубок, а именно им и навеяны были Ремизову «Бесовское действие» и «Прение Живота со Смертью» (иначе говоря, русская сказка «Аника-воин и Смерть»), пролог пьесы.

\* Уход Мейерхольда и последовавший третейский суд (Ариадна Тыркова, Ф. Сологуб и прис. пов. Пергамент) стали сенсацией в петербургском театральном мире. *Прим. М. Добужинского.*



Тут для инспирации я снова обратился к тем самым лубочным картинкам, которые, когда я был еще студентом университета, впервые мне показывал в Публичной библиотеке старик Стасов и, можно сказать, «в гроб сходя благословил» на изучение народного искусства.

Опускаю все подробности этой постановки, которая получилась очень острой (музыку к «Бесовскому действию» написал Кузмин), но премьера вызвала настоящий скандал в театре. Мое первое «боевое крещение» было под свист публики, которая не оценила наших дерзаний. Оценил их лишь Александр Бенуа, написавший фельетон, приветствовавший ремизовскую выдумку и мои первые шаги в театре...

#### 4. КУЗМИН

В «башне» же впервые в 1906 году появился Кузмин. Удивила его тогдашняя внешность: он носил синюю поддевку и, своей смуглостью, черной бородой и слишком большими глазами, подстриженный «в скобку», походил на цыгана. Потом он эту внешность изменил (и не к лучшему) — побрился и стал носить франтовские жилеты и галстуки. Его прошлое окружала странная таинственность — говорили, что он не то жил одно время в каком-то скиту, не то был сидельцем в раскольниковской лавке, но что по происхождению был полуфранцуз и много странствовал по Италии. Появился он в нашей среде уже готовым поэтом и в «башне» был сразу признан. Всех поражала его замечательная литературная образованность, особенно во французской литературе.

Хотя теперь иное в его стихах может казаться вычурным и жеманным и, «прости Господи, глуповатым» (последнее, впрочем, не есть укор), но рядом с глубокомыслием и сложностью символической поэзии стихи Кузмина, простенькие, хотя и очень изысканные по форме, часто фривольные и забавные и всегда чрезвычайно музыкальные, были действительно новым и свежим явлением. Новым и оригинальным было у него и необыкновенно причудливое сочетание народного, чего-то староверческого и сектантского с XVIII веком — та пикантная смесь «французского с нижегородским», которая может оправдываться и быть убедительной лишь при большом вкусе и мастерстве творчества.

Кузмин был одновременно и музыкантом (был учеником Римского-Корсакова), писал очень милую музыку на слова своих собственных стихов и сам себе аккомпанировал, пел, вернее, напевал эти романсы и сонеты — и в «башне», и у своих друзей, хотя и безыскусственно, но неподражаемо своеобразно.

Его песенки сразу сделались очень популярными в петербургских богемных и полубогемных кругах. Их с большим

тогда, казалось, шармом исполняла в «Бродячей собаке» маленькая Каза-Роза. Самым любимым было «Дитя, не гонися весною за розой».

Поэзия Кузмина отвечала многим уклонам тогдашних настроений и была поэтому необыкновенно современной. Дразнил и тайный, и явный ее эротизм. В этом был ее успех, впрочем, довольно дешевый. Но то, что было действительно ценным у Кузмина (кроме того что он был увлекательный рассказчик и этим уменьем он, пожалуй, больше всего был схож с Лесковым), — это то, что он создал свой собственный стиль, очень искусно воскрешая архаический и наивный язык сантиментальных мадригалов и старинной любовной лирики. Кузмин был в этом такой же ретроспективист, как Сомов. Их сближала и общая обоим грустная нота скептицизма. Подобно искусству Сомова, поэзия Кузмина вводила в страну воспоминаний, и в то же время оба они любили пленительность здешнего «милого мира», «дух мелочей прелестных и воздушных»<sup>11</sup>. Его романтизм и недоговоренность давали большой простор воображению и могли чрезвычайно волновать иллюстратора, но для меня было особенно привлекательным то, что у Кузмина было наваяно Гофманом. Поэтому именно для его «Графа Калиостро» и для сонетов «Лесок» я с особым увлечением делал свои иллюстрации.

С Михаилом Александровичем мы встречались очень часто, сначала на «средах» у Вячеслава Иванова, потом у нашего общего друга Сомова, бывал он и у меня, и у многих других приятелей. Сблизила нас и общая работа с ним и Бор. Романовым — маленькая постановка его забавной пантомимы «Выбор невесты» в «Привале комедиантов». Так же как и к «Бесовскому действу», им была написана и музыка к пантомиме.

Последний раз я видел Кузмина перед окончательным моим отъездом из Петербурга в 1924 году. После революции он как-то внезапно постарел и, когда-то красивый, стал страшен со своими ставшими еще громаднее глазами, сединой в редких волосах, морщинами и выпавшими зубами. Это был портрет Дориана Грея.

## 5. БЛОК

С Блоком, как и со многими другими нашими поэтами, я тоже познакомился на «средах» у Вячеслава Иванова зимой 1906/07 года. Это был у Блока период «Прекрасной Дамы» и «Незнакомки», и тогдашняя поэзия его действовала на меня еще глубже, чем поэзия Сологуба, и отраднее, чем она. Я испытывал к ней даже какое-то чувство благодарности. Блок был самым петербургским из современных поэтов, и одним этим уже многое у него было для меня дорого и близко. Тогда только что был поставлен у Комиссаржевской его «Балаганчик» с декора-

цией Сапунова — истинно поэтический, и до сего дня незабываема его странная и острая прелесть.

Сам Блок, как личность, мне казался в полной гармонии с его поэзией. Он был в те годы юн и строен, с гордо поставленной головой, в ореоле вьющихся волос и с лицом молодого Гёте. Он был более красив, чем на довольно мертвенном портрете Сомова. Как Вячеслав Иванов, Бальмонт, Брюссев, Волошин и другие, Блок носил тогда черный сюртук и черный шелковый галстук бантом (и, в отличие от других, «байроновские» отложные воротнички). Это сделалось как бы формой поэта того времени. Традиция еще держалась...

Свои волнующие стихи Блок читал медленно, с полужакрытыми глазами, слегка нараспев и монотонно, и у него это вовсе не было позой, и действовало его чтение неотразимо, хотя у него был несколько глухой голос и он чуть-чуть шепелявил.

Прочтя стихотворение, он, точно спускаясь на землю, иногда говорил «вот» или «все».

Блок жил одно время по соседству со мной, на углу Офицерской и речки Пряжки. Из окон его был тот же самый вид, что я часто рисовал из моей квартиры: далекие эллинги Балтийского завода и его железные краны, корабельные мачты и маленький кусочек моря. Впереди узенькая речка описывала дугу.

Вначале у меня с Блоком встреч бывало немного. Раз мы с ним и Вячеславом Ивановым поехали вместе в одном купе в Москву (на конкурс, устроенный «Золотым руном» на тему «Дьявол») <sup>12</sup>. Ехали в спальном вагоне III класса, было очень холодно, и Блок, забравшись на верхнюю «полку» над моей головой, улегся, как был, в шубе с поднятым воротником, в мохнатой круглой шапке и в калошах. Мне это показалось глубоко символическим (особенно калоши!), точно этим выразилась бронированность поэта от «презренной действительности». Я это ему заметил и насмешил.

Наши встречи с Блоком участились во время подготовки для сцены его пьесы «Розы и Крест» в Московском Художественном театре (1916—1917). Блок тогда был призван на военную службу, служил в инженерных войсках, где-то в Пинских болотах, и официально именовался «табельщиком 13-й строительной дружины», там в тылу проводил дороги и целыми днями не слезал с седла (что Блок был вообще спертивен и ездок, я только тогда узнал и дивился). Когда он приезжал в Петербург, было странно видеть его в военной форме, в галифе и крагах, с обвстренным лицом и коротко стриженного, что ему очень не шло.

В свои приезды он стал бывать у меня, навещал и я его. Тогда же я познакомился с его матерью Александрой Андреевной, маленькой худенькой женщиной, по всему было видно, обожавшей своего сына. Любовь же Дмитриевну, жену Блока,

дочь Менделеева, я знал давно, еще по театру Комиссаржевской \*. Встречались мы с Блоком и в Москве, где велись беседы с Вл. И. Немировичем-Данченко о режиссерских планах и обсуждали мои постановки «Розы и Креста».

Мне чрезвычайно нравилась «Роза и Крест». К удивлению, Блок настаивал на реальности постановки, и лишь в некоторых сценах (Гаэтана и Изоры) он допускал «условность» и «призрачность».

Блок мне очень помогал материалами. От него я получил интереснейшие средневековые французские романы и новеллы, из которых я извлек все, что относилось к разным деталям быта и могло быть применено для постановки. Он мне дал также очень много фотографий Бретани и Прованса, места действия драмы, и подарил многотомную «Galerie de Versailles», ценный труд по французской геральдике времен крестовых походов, чем очень тогда меня тронул.

Между тем постановка «Розы и Креста» готовилась с необыкновенной медлительностью и трудом; прошло почти два года, и было несчетное число репетиций. Все переждали, и все перезрело. Я сам, вначале увлеченный, застрял в том самом реализме, которого хотел Блок, и все засушил и уже делал через силу. Этого не мог не видеть Блок и недаром в своем дневнике написал: «Эскизы Д. какие-то деревянные», — и был прав, а в одном письме к матери я прочел: «Видел у Д. эскизы — очень красиво, а четвертое действие, боюсь, слишком пышно». В заключение случилась настоящая катастрофа: на первой генеральной репетиции вся наша работа была забракована Станиславским, в ту пору чрезвычайно нервничавшим и точно потерявшим почву. Были обижены все — и Блок, и Немирович, и я.

Тут наступила Октябрьская революция, и, хотя Станиславский пытался сам продолжать работу и перedelывал постановку, из этого ничего не получилось. «Роза и Крест» так и не была поставлена, может быть, потому, что эта вещь слишком была тонка для сценического воплощения. Года через три после революции Станиславский хотел хоть что-нибудь сделать в интересах Блока, и пьеса официально была передана в театр Незлобина. Благодаря этому Блок был до некоторой степени удовлетворен материально, но уже не верил в постановку: пожалуй, она была бы и не по времени...

В самые темные первые годы после революции появились «Двенадцать» Блока. Гениальное произведение вызвало совершенно противоположные толкования. Блоку приходилось тратить время и силы на тогдашние неизбежные, бесконечные,

\* От Менделеева, сибиряка, Л. Д. унаследовала узкие глаза и монгольские скулы; у Блока же от деда по матери, другого знаменитого ученого — Бекетова, были тяжелые веки и курчавость. *Прим. М. Добужинского.*

часто бессмысленные заседания, и он мало писал. Хотя посмертная критика и утверждала, что он всецело принял Октябрь, но вряд ли все было так просто. Не было ли в одном из его ранних замечательных стихотворений, из «Посвящений», настоящего пророчества, когда он говорил:

Весь горизонт в огне и близко появленье...  
...Но страшно мне — изменишь облик ты».

Последний раз я видел Блока в Москве в мае 1921 года, т. е. за несколько месяцев до его кончины. Он был уже болен, и, кажется, окончательно надорвался тогда на одной из своих лекций. В Петербурге ему жилось чрезвычайно тяжело; достаточно сказать, что он, уже будучи совсем больным, несмотря на протесты и отчаяние своих близких, чтобы избавить их от физического труда, сам ежедневно носил в квартиру тяжелую ношу дров.

Чтобы вырвать его из невозможных условий жизни, стали хлопотать о его выезде за границу и о санатории в Финляндии, но, несмотря на все хлопоты (особенно старался Горький), разрешение пришло слишком поздно, он не дождался. Блок умер в августе в больших страданиях — и физических и моральных. Говорили, что перед смертью он лишился рассудка\*.

Я жил тогда в деревне, и на похоронах его не пришлось быть. Юрий Анненков нарисовал Блока в гробу, его заострившийся и ужасно искажившийся профиль.

---

Я встречался с Блоком за пятнадцать лет нашего знакомства реже, чем мог бы. Но я не искал близости. У меня в душе к нему было не только большое поклонение, но и род душевной влюбленности, и мне казалось нужным некое отдаление и хотелось видеть его всегда как бы на пьедестале...

---

\* Я позднее узнал (об этом упоминает лучший его биограф, его тетка Бекетова), что Блок особенно терзался какими-то неладными между самыми ему близкими и дорогими людьми — матерью и женой, по-видимому, болезненно все преувеличивая. *Прим. М. Добужинского.*



Модест Гофман

## ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Мне едва исполнилось 19 лет, когда я познакомился и, смело могу сказать, подружился с Вячеславом Ивановым (ему в это время было 40 лет). Я подчеркиваю слово «подружился» не для того, чтобы похвастать своей дружбой с ним, а для того, чтобы указать на одно очень редкое в людях и, с моей точки зрения, драгоценное качество Вячеслава Иванова: он всегда говорил, что уважать нужно не только старость, но и юность; и действительно, по-настоящему уважал юность, за все четыре года моей большой дружбы с ним (1906—1910) не дав мне ни разу почувствовать нашу разницу лет.

Мое знакомство с В. Ивановым произошло летом 1906 года, в то богатое и счастливое для русской поэзии время, когда так часто появлялись новые поэтические таланты, открывавшиеся нашему поэтическому миру, казавшемуся нам целой вселенной и который был для нас вселенной: за его пределами для нас ничто не существовало. Никогда еще, разве кроме пушкинской эпохи, так не кипела *поэтическая жизнь*.

Летом 1906 года я жил на даче в Лесном на Парголовской улице. В то время я еще не напечатал ни одной строчки, но был уже причастен к литературе и мог считать, что у меня есть солидный литературный багаж, о котором благовестил всему поэтическому миру мой товарищ Сергей Городецкий: у меня был увесистый рукописный том лекций по истории русской литературы (тогда же по окончании 1-го кадетского корпуса я стал читать лекции по истории русской литературы на учительских сельскохозяйственных курсах Барташевича) и, кроме того, у меня была рукописная статья «Per aspera ad astra»<sup>1</sup> и несколько стихотворений, посвященных сестре Городецкого (изданных мною тоненькой тетрадошкой осенью 1906 года<sup>2</sup>). Но главное — я бредил Пушкиным и новыми поэтами. Едва ли не каждый день я бегал на Новосильцевскую улицу к Городецким — к Сергею и его сестре Татьяне. У него я познакомился уже со многими настоящими поэтами: с умным поэтом Владимиром Пястом, но, конечно, гораздо важнее было для меня

знакомство с Александром Блоком, который стал моим кумиром. Блок в это время написал свои «Вольные мысли», которые казались мне самым совершенным из всего, что создала русская поэзия после Пушкина, достойным стать рядом с Пушкиным. Я очень скоро сблизился с Блоком и до сих пор горжусь этой дружбой. Я думаю, что культ Пушкина более всего способствовал нашему с ним сближению. У Блока был настоящий культ Пушкина. Недаром в первом томе сочинений Пушкина под редакцией С. А. Венгерова (издание Брокгауза и Ефрона) было помещено множество примечаний за подписью А. Блока, и недаром одно из самых последних стихогворений Блока (если не самое последнее) было посвящено Пушкинскому дому; да и последней его лебединою песней была речь о Пушкине в Доме литераторов, в которой он так резко говорил о большевиках, будто хотел искупить свой грех — поэму «Двенадцать», понятую как дифирамб Советской власти.

Блок дарил меня своей дружбой и вниманием<sup>3</sup> и, между прочим, дал мне свои университетские книги (он только что окончил университет, а я поступил в него), а в 1917 году манускрипт своего сборника стихов «Снежная маска». Подружиться с Блоком было нелегко. Когда-то (но это было давным-давно) он дружил с Андреем Белым, был дружен с Вл. Пястом; дружил с Сергеем Городецким (вернее, поддерживал его при его первых шагах на поэтическом поприще, и очень скоро стал остывать к нему), но по-настоящему дружил он только с казавшимся очень сдержанным, незаметным человеком с рыжей бородкой — с Евгением Павловичем Ивановым. Вячеслава Иванова он уважал, признавал и высоко ценил, но другом его, собственно, никогда не был и не мог быть: Блок был в высшей степени целомудрен, боялся красных слов и аффектов:

Молчаливые мне понятны,  
Я люблю обращенных в слух,—

а велеречивого Вячеслава Иванова меньше всего можно было назвать «молчаливым» (молчаливым был Е. П. Иванов).

Блок был одним из членов-учредителей возобновленного в 1907 году Религиозно-философского общества, но очень скоро разочаровался в нем, так как находил, что члены его (конечно, кроме А. В. Карташева<sup>4</sup>, который весь горел и сгорал на огне веры) больше занимаются блудословием, чем богословием, и нецеломудренно играют высокими и красивыми фризами и мыслями. Блок казался всегда серьезным и задумчивым — точно какая-то грусть покрывала его лицо и делала его более похожим на маску (с такой маской и нарисовал его портрет К. А. Сомов). Но Блок любил и шутки: я помню, как летом 1907 года он вместе с Городецким и Пястом шуточнo-издевательски переделывали имена поэтов и их произведений, не щадя при этом и себя: так, Вячеслав Иванов сделался «Языкачесано-

вым», его «Прозрачность» — «Невзрачностью»; Валерий Брюсов превратился в Похерия Злюсова, его «Urbi et Orbi» в «Вырви и порви», «Венок» в «Веник»; «Стихи о Прекрасной Даме» Блока в «Хи-хи, напрасно вы сами» А. Плоха; его «Нечаянная радость» в «Отчаянную гадость», «Золото в лазури» Андрея Белого в «Здорово надули» (что было особенно зло, так как после «Золота в лазури» от Белого ждали великих поэтических откровений, которых так и не дождались), «Трагический зверинец» Л. Д. Зиновьевой-Аннибал в «Таврический гостинец» («башня» В. Иванова находилась в доме № 25 по Таврической улице), «Перун» Сергея Городецкого — в «Перуин» Гордея Безуздецкого, мой «Соборный индивидуализм» — в «Заборный ерундилизм» и проч. и проч.

Семейная жизнь Блока мне была мало понятна: он был женат на очень красивой и очень привлекательной Любове Дмитриевне (дочери Д. И. Менделеева), был очень дружен с нею, но пренебрегал ею как женой. Зимы 1906/07 и 1907/08 годов я часто бывал у Блоков и не пропускал ни одного представления «Балаганчика», причем одно представление этой пьесы не походило на другое. Мы радовались друг другу при встречах, но все больше и больше молчали — «молчаливые мне понятны...» — и в конце концов оказалось, что нам не о чем говорить, и если продолжали встречаться, то только потому, что Блок считал себя как бы обязанным быть верным дружбе. Последний раз я видел Блока весной 1920 года, когда после всех моих южных перипетий я вернулся в Петербург, и эта встреча показала мне, что мы стали уже чужими людьми.

Возвращаюсь к знакомству с Вяч. Ивановым. Сергей Городецкий так много и восторженно рассказывал мне о нем, что я больше, чем о знакомстве с Блоком, мечтал увидеть «самого» Вячеслава Иванова. Восторги Городецкого были вполне понятны: так много сделал для него В. Иванов, открывший мифотворческий талант Городецкого (в ту эпоху для Иванова ничего не было значительнее мифотворчества и соборности) и объявивший об этом всему нашему миру. Вяч. Иванов сразу уверовал в поэтический талант Сергея Городецкого и только постепенно стал охладевать к нему: каждый новый сборник стихов Городецкого казался ему слабее предыдущего; больше всего он любил «Ярь», «Перун» ему казался слабее, а после «Дикой воли» и «Ии»<sup>5</sup> он почти даже перестал интересоваться своим мифотворцем.

Итак, я все ждал дня, когда наконец увижу Вячеслава Иванова, и уже начинал отчаиваться. Наконец этот день наступил: прибегает ко мне, запыхавшись, Сергей Городецкий: Модест, иди скорее, Вячеслав приехал!

Конечно, я сейчас же побежал с Сергеем и увидел Вячеслава Иванова и его жену, Лидию Дмитриевну Зиновьеву-Аннибал (Зиновьева была ее настоящая девичья фамилия, она была



сестрой шталмейстера А. Д. Зиновьева, б. предводителя петербургского дворянства; Аннибал — думаю, что присвоенная, хотя она уверяла, что в ее жилах течет кровь Аннибалов). Какое было мое первое впечатление от них?.. Я бы сказал — двойственное. Вячеслав Иванов мне показался и очень старым (пойнятно, что человек в 40 лет должен казаться 19-летнему юноше стариком), и очень молодым, и очень просветленным со своими золотистыми волосами (у него была очень редкая шевелюра), и каким-то неприятно плотоядным (у него был неприятный, сладострастный подбородок, который он очень долго скрывал маленькой бородкой). Лидия Дмитриевна с первого взгляда мне не понравилась. Она была какой-то громоздко-неуклюжей в непривычном для нее городском платье и большой, немодной шляпе (дома она всегда ходила, впрочем, она редко ходила, а больше лежала или полулежала на софе, в разлетающемся хитоне, и я иначе ее — Диотиму Вячеслава Иванова, перед которой он благоговел, — и не представляю себе). Мы очень недолго оставались у Городецких и почти тотчас же пошли гулять втроем — Вячеслав Иванов, Городецкий и я — в Лесновский парк, в прозрачно-светлую, золотую осень. О чем мы разговаривали? Вернее, о чем мы не разговаривали? Больше всех был слышен голос Вячеслава Иванова. Он в это время был еще под впечатлением последней книжки своих стихов «Прозрачность», манифеста, написанного им в сотрудничестве с Георгием Чулковым, — «Мистический анархизм»<sup>6</sup> (который вызвал почти всеобщее осуждение и который не понравился даже нам, самым ярким поклонникам Вячеслава Иванова, что я не побоялся высказать ему в эту же прогулку) и самых прекрасных стихотворений, которые в следующем году составили его сборник «Эрос»<sup>7</sup>. Вячеслав Иванов много декламировал (да и вообще вся речь его была больше декламацией, чем разговором): у него была манера чтения стихов, близкая к Александру Блоку, напевная (все тогда читали нараспев, а Андрей Белый и просто пел свои стихи), но менее в нос и более семантически — актерская. Помню, в какой восторг мы пришли от заключительного стихотворения в «Эросе»:

Млея в сумеречной лени, бледный день

(понижение голоса)

Миру томный свет оставил, отнял тень.

И зачем-то загорались огоньки,

И текли куда-то искорки реки.

И текли навстречу люди мне, текли

(повышение и ускорение),

Я вблизи тебя искал, ловил вдали.

Вспоминал: ты в околдованном саду,

Но твой облик был со мной, в моем бреду.

Но так как Вячеслав Иванов был малоэгоцентричен (не то что Сологуб), то очень скоро разговор зашел обо мне. Вячеслав Иванов стал расспрашивать меня, чем я дышу, что пишу, заставил сбегать домой, принести статью «Per aspera ad astra» и тут же прочесть. Очень одобрил ее и стал мне же ее объяснять (он очень любил растолковывать авторам их произведения, и от его толкований они становились или казалось, что становились, более значительными). Беседа окончилась тем, что Вячеслав Иванов пригласил меня быть постоянным гостем его «сред» на «башне», о чем я так мечтал.

Вскоре эти «среды» открылись. Конечно, я был на первой «среде»<sup>8</sup> и вообще до 1910 года не пропускал ни одной «среды», а через очень короткое время стал ежедневным гостем на Таврической улице. Но прежде чем говорить о знаменитых «средах» Вячеслава Иванова (чего только ни болтали о них досужие люди и петербургские газетчики!), скажу несколько слов о домашней стороне жизни «башни», о том, что менее всего известно.

Я приходил на «башню» около пяти часов дня, до «утреннего» кофе Вячеслава Ивановича, и оставался до утра — до семи-восьми часов, когда младшие его дети, пасынок Костя, вскоре поступивший в 1-й кадетский корпус, и 12-летняя веселая Лидия, в то время усиленно занимавшаяся скрипкой, впоследствии ставшая композиторшей, уходили в школу; в отдаленной комнате «башни» жил и старший пасынок Вячеслава — хмурый и скучный 19-летний Сергей Константинович Шварсалон; изредка появлялась дочь Вячеслава Иванова от первого брака, серая старая дева, еще реже брат Лидии Дмитриевны — А. Д. Зиновьев.

На «башне» почти не было домашней жизни: Вячеславу Иванову было не до того, а Л. Д. весь день полулежала на софе и писала свои рассказы «Трагический зверинец» (почему он назывался трагическим — не понимаю: ничего трагического в нем не было, как не было, собственно, и зверинца). Все хозяйство, все заботы о детях, как и о практической стороне жизни, лежали на Марии Михайловне Замятиной, всецело посвятившей себя этой семье. Когда вставала Л. Д. — я не знаю, я всегда застаивал ее в хитоне: Вячеславу Ивановичу около пяти часов дня привосили кофе в постель; вскоре после этого он вставал и начинал свои беседы с Л. Д., со мною, с приходившими гостями. Эти беседы прерывались около восьми часов вечера обедом и продолжались затем до глубокой ночи.

Вся жизнь Вячеслава Иванова, по крайней мере в эту эпоху, проходила, собственно, в разговорах — работал он очень мало, а когда работал, то трудно и горжественно. Я помню, как он писал статью о «Цыганах» Пушкина, заказанную ему проф. С. А. Венгеровым для Брокгауза и Ефрона;

он писал ее бесконечно долго, и весь дом ходил на цыпочках и шептал: «Вячеслав пишет». Выезжал он очень редко, только в исключительных случаях, зато принимал очень охотно и радушно. Кто только не бывал на «средах»! И признанные знаменитости, и совсем никому не известные люди. Сам Вячеслав Иванов не мог знать по имени всех своих посетителей, но всех дружески принимал. Бывали художники, поэты, музыканты. Хотя Вячеслав Иванов и любил музыку и думал, что понимает ее, но... к музыке он подходил очень странно: так, выше всего ставил он Девятую симфонию Бетховена за ее финал с хорами и солистами и говорил, что Бетховен верно понял необходимость слова в музыке: музыка должна была перейти в слово, потому что ее одной оказывается недостаточно. Постоянными гостями «сред» были: вечно живой и волнующийся Александр Бенуа, Лев Бакст, милый, тихий Константин Сомов, сдержанный, молчаливый Мстислав Валерианович Добужинский (этажом ниже «башни» помещалась художественная школа Званцовой, в которой они преподавали). Иногда, но очень редко, появлялась громадная фигура С. П. Дягилева с петровскими усиками и немного снисходительной улыбкой. Из переводчиков постоянными посетителями были сестры Чеботаревские: старшая — симпатичнейшая, умная и спокойная Александра Николаевна и младшая — Анастасия, впоследствии утопившаяся. Петербургские поэты все бывали на «башне», но чаще всех в этом году — Городецкий, Блок, Пяст, Потемкин, получивший премию в «Золотом руне» за свое стихотворение «Дьявол», Кондратьев и Михаил Кузмин; открыл Кузмина, собственно, Валерий Брюсов, но пустил в ход Вячеслав Иванов. Кузмин всех пленил своими «Александрийскими песнями», а потом «Курантами любви» и «Любовью этого лета». Каждую среду можно было слышать, как Кузмин, аккомпанируя себе на пианино, пел приятным баском свои стихотворения, переносившие нас в XVIII век. Само собой разумеется, что «среды» посещались и совсем юными, начинающими поэтами, из которых память мне сохранила только два облыка — Георгия Иванова и Владислава Ходасевича, стихи которого уже тогда стали обращать на себя некоторое, но не особенно большое внимание.

Иногда приезжал на «среды» из Москвы друг-враг Вячеслава Иванова — Андрей Белый. Он очень дружески беседовал с Ивановым и объяснялся ему в любви, а через несколько дней Вячеслав с гневом говорил о новой измене «предателя» Андрея Белого. Несколько раз я видел на «башне» Бунина, в высшей степени надменно и презрительно смотревшего на всех молодых и «декадентов». Нужно сказать, что и «декаденты» не оставались перед ним в долгу и не очень почтительно говорили, что старозер Бунин попал в почетные члены разряда изящной

словесности только потому, что подражал стихам августейшего поэта К. Р., президента Академии наук.

Из молодых писателей часто бывали Б. К. Зайцев и А. М. Ремизов. К Зайцеву отношение было неопределенное — не то он «наш», не то он староверческое «Знание», но дарования его никто не отрицал. Другое дело Ремизов: он был всецело наш, и если далеко не все понимали его новую ритмическую прозу, то восторг выражали все. Я думаю, что больше всех понимали и ценили Ремизова трое: Вяч. Иванов, Н. А. Бердяев (и его жена Л. Ю.) и я. Странное впечатление производил этот интереснейший человек, обладающий громадным талантом: он все время играл роль почти шута, но достаточно было видеть его несколько раз, чтобы понять, что за этой маской скрывается трагическое лицо. И эта трагедия Ремизова чувствовалась сквозь все его шуточки-прибауточки, сквозь все «Обезьяньи палаты», для чего-то им придумываемые. Ремизовым всегда не везло, и, когда они жили в Петербурге на Кавалергардской улице, им приходилось голодать и нуждаться \*. Их поддерживали сердечно относившиеся к ним Бердяевы, и даже я приходил к ним и на несколько дней варил им кашу (у меня долгое время сохранялись открытки Алексея Михайловича, начинавшиеся словами: «Кашу съели»). А в это время Ремизов сочинял свои прекраснейшие вещи, которые приводили многих в восторг, он был несомненной ведеттой<sup>9</sup> в новых кружках.

Другой ведеттой, но избалованной, был в это время Михаил Алексеевич Кузмин. В нем тоже было что-то от маски, но никак нельзя было разобрать, где кончалась маска и где начиналось настоящее лицо. Одно время я был с ним дружен и часто бывал у него; помню, как я был поражен, когда он после всех «Курантов любви» заиграл мне совсем другую музыку — вдохновенную староверческими скитами, в которых он когда-то жил. Где же был настоящий Кузмин — в этой ли насыщенной мистическим трепетом музыке или в таких стихах, как —

Если завтра будет солнце,  
Мы во Фьезоле поедем...

Часто на «средах» можно было видеть Юрия Никандровича Верховского, небольшого, скромного поэта, влюбленного в пушкинскую эпоху — в Пушкина, Дельвига и Баратынского, изучавшего их и находившегося под их формальным влиянием. При этом он обладал большим, привлекавшим к нему добродушием. Наши вкусы во многом сходились, и в эти годы мы были с ним в самых дружеских отношениях.

\* В то время Вячеслав Иванов, Бакст и Кузмин, да и вообще та среда, в которой был Ремизов, жили в полном довольстве. *Прим. М. Гофмана.*

Посетители «сред» были так бесконечно разнообразны и многочисленны, что никогда нельзя было угадать, кого увидишь в громадной столовой-зале: там, где в эту среду сидел Блок и читал свою «Незнакомку» или новые стихи из «Снежной маски», в следующую среду сидит... А. В. Луначарский. Сосчитать гостей было невозможно: только немногие оставались в столовой, большинство маленькими группами рассыпалось по всем комнатам «башни», и то, что делалось в одной комнате, было не слышно в другой...

С каждой «средой» у меня все увеличивался интерес к этим собраниям, и я буквально жил этими «средами»; но едва ли я не еще более ценил мои ежедневные визиты к Вячеславу Иванову, когда никого у него не застал, кроме него, его жены и изредка Максимилиана Волошина. Тогда можно было свободно разговаривать с умнейшим и тонким человеком и «работать» с ним. А разговоров и «работы» было много. Я готовил к печати свой религиозно-философский очерк «Соборный индивидуализм» и каждую строчку читал Вячеславу Иванову. Все написанное тут же обсуждалось и переделывалось. Работы особенно прибавилось, когда началась корректура. Все корректуры тщательно прочитывались по нескольку раз, и после этого «чтения» я, собственно говоря, не имел бы права поставить одно свое имя в качестве единственного автора очерка. Книжка моя вышла в феврале 1907 года.

Кроме работы над «Соборным индивидуализмом» мы много занимались «Кормчими звездами» Вячеслава Иванова. Он подарил мне экземпляр «Кормчих звезд», но, конечно, без его помощи я никогда не осилил бы этой замечательной по содержательности, эрудиции и уму книги стихов. В. Иванов напечатал ее, будучи еще в Женеве в 1904 году, но никто ее не покупал, никто ее не читал и не понимал (она была слишком трудна), и все экземпляры ее лежали на «башне». В. Иванова тогда еще никто не знал, только в следующем году, приехав в Петербург, он как-то сразу стал во главе всей петербургской поэтической жизни. Он читал мне каждое стихотворение «Кормчих звезд» и снабжал его такими богатыми и интересными комментариями, что мне открывался новый мир, и я понял и «Кормчие звезды», и их автора, человека с богатейшей духовной и душевной жизнью.

Часто Вячеслав Иванов разбирал мои стихи (не отсюда ли у него возникла мысль о поэтической академии, которая вскоре и начала свое существование на «башне»?) и растолковывал их мне самому — их автору. Кстати, о поэтической академии. Эти лекции Вячеслава Иванова посещались многими поэтами и писателями, между прочим, Гумилевым и Алексеем Толстым и были действительно очень интересными и полезными для поэтов, хотя, может быть, и слишком трудными. И вот я по-

мню, как, кажется, Алексей Толстой, обладавший большим стихийным талантом, но не интеллектом, отличился. Во время одной очень замысловатой лекции он вдруг прервал Вячеслава Иванова вопросом:

— А что вы, собственно, Вячеслав Иванович, называете ямбом?

Вскоре после выхода «Соборного индивидуализма» мне пришла мысль написать книгу о новых поэтах. Я поделился этой мыслью с Пястом и Леманом-Диксом, и мы решили вместе составить сборник, в который вошли бы очерки, посвященные новым поэтам, их автобиографии и избранные стихотворения. Мы составили план и распределили работу: я редактирую книгу и пишу вступительную статью и очерки о Мережковском, Гиппиус, Сологубе, Александре Блоке и Сергее Городецком; Пяст пишет о Валерии Брюсове и Вячеславе Иванове (так как мне же очень хотелось написать о Вячеславе Иванове, то я прибавил к его статье P.S.— сжатый очерк); Дикс — о Бальмонте, Кузmine и Волошине. Мы считали необходимым включить в книгу и Минского (это была ошибка), но никто из нас не считал его поэтом и не хотел писать о нем, поэтому мы уговорили товарища Пяста — Анатолия Попова, маленького и милого человека, — написать о Минском.

Нечего говорить о том, с каким энтузиазмом отнесся к нашей мысли составить «Книгу о русских поэтах последнего десятилетия» Вячеслав Иванов и как он следил за ее осуществлением. С особенным интересом отнесся он к моей большой вступительной статье «Романтизм, символизм и декадентство», но его сразу же задела моя заключительная фраза (впоследствии мы много спорили с ним по поводу этой фразы, и она же послужила поводом для окончательной ссоры и разрыва моего с Вячеславом Ивановым). Утверждая, что новые поэты являются символистами, декадентами и романтиками, и повторяя мысль Аполлона Григорьева о том, что романтизм является предвестием новой эпохи, я заканчивал свою статью словами: «И кто знает — находимся ли мы накануне величайшего расцвета искусства в России или накануне его гибели?» Вячеслав Иванов в первый же раз, как прочел мою статью, потребовал от меня, чтобы я кончил ее не вопросительным знаком, а тем или другим положительным утверждением, но я был тверд и не исполнил его требования.

Писание книги подвигалось быстро, и к началу лета она была почти закончена. В мае месяце я простился с Вячеславом Ивановым и дорогой мне «башней» и уехал сперва в деревню Тамбовской губернии к Мосоловым<sup>10</sup>, с которыми подружился у Пяста, а потом в Крым. На обратном пути я заехал в Харьковскую губернию к Бердяевым (и Николая Александровича,

и Лидию Юдифовну, его жену, я очень любил) и провел с ними целый день. Мы много разговаривали об истекшем годе. Бердяев говорил, что зима 1906/07 года была такая вихревая, что этот вихрь должен унести кого-нибудь из жизни. И как раз в это время умирала Лидия Дмитриевна — Диотима Вячеслава Иванова. Незадолго до того приехала из Швейцарии ее старшая дочь — 18-летняя Вера. Умирала Л. Д. от детской болезни — кори<sup>11</sup> и, умирая, оставляла Вячеслава на свою Веру: «Вера — твой весы».

Когда я вернулся в Петербург, то прежде всего навестил осиротевшую «башню». Меня познакомили с Верой, и мы при знакомстве («Модест» — «Вера») поцеловались, как будто бы век были близкими друзьями. Я стал посещать их ежедневно. Кроме мистических разговоров у меня с Вячеславом Ивановым были и другие — издательские: он открыл издательство «Оры» и предложил мне быть секретарем с очень большим жалованьем для такой маленькой работы: 100 рублей в месяц. Мне, дававшему грошовые уроки, эта сумма казалась громадной, и я всегда совестился брать у него деньги. Издательство «Оры» выпустило за этот год четыре книги — «Трагический зверинец» Л. Д. Зиновьевой-Аннибал, «Эрос» Вячеслава Иванова, «Снежную маску» Александра Блока и «Лимонарь» Алексея Ремизова, а также альманах «Кошницу». В смысле редакторском Вячеслав Иванов мне, безусловно, доверял, спрашивал моего мнения и, если я одобрял рукопись, поручал сдать ее в набор, а сам читал уже в корректуре. Но по поводу одного рассказа «Лимонаря» произошел скандал, чуть было не перешедший в настоящую ссору. «Лимонарь» Ремизова с его ритмической прозой приводил нас обоих в восторг. Я часто бывал у Ремизова, который читал мне новые рассказы из «Лимонаря», и я приносил их Вячеславу Иванову. Помню, я как-то пришел к Алексею Михайловичу, и он прочел мне новый рассказ — «О страстях Господних», который произвел на меня громадное впечатление. Я сейчас же побежал на «башню» и хотел прочесть эту вещь Вячеславу Иванову.

— А она действительно хороша?

— Изумительна! Может быть, это лучшая вещь в «Лимонаре»!

— Ну так сдайте ее в набор,— сказал Вячеслав Иванов, очень бегло просмотрев рукопись.

Я сдал ее в набор и вскоре принес корректуру. Вячеслав взял ее, пошел в свою комнату и через четверть часа влетел в столовую, где сидел я, со страшным криком (он легко воспламенялся и бывал почти страшен в своем гневе):

— Как вы смели без моего ведома сдать в набор такую гадость! Неужели эта ходячая истерика в синей рубашке (я всегда носил русские рубашки) не понимает, что этот рассказ

богохульство, гадость и никак не может быть напечатан в моем издательстве!..

Чего-чего он только не кричал. Я отвечал очень спокойно:

— Во-первых, Вячеслав Иванович, очень прошу вас не кричать на меня; во-вторых, я показывал вам этот рассказ, и вы сказали мне, что я могу сдать его в набор; и в-третьих, не беспокойтесь: эта вещь не будет напечатана в «Лимонаре», а за набор я уплачу сам.

Вячеслав Иванов еще покричал-покричал, потом успокоился, но остался при своем мнении. Я заказал отпечатать рассказ в нескольких экземплярах, кажется в 25, заплатил за это и принес их А. М. Ремизову. Ремизов был очень взволнован и сказал мне слова, которые я навсегда запомнил: «Модест Людвигович, я вас люблю и потому даю вам совет: держитесь подальше от меня, потому что я приношу людям несчастье». Я думаю, что, говоря о «несчастье», Ремизов имел в виду не столько настоящее несчастье, сколько путаницу, неразбериху, недоразумение, своего рода скандал; действительно, из-за чрезмерной любви его к шуткам, у него происходили недоразумения с людьми, не понимающими и не любящими шуток.

Я продолжал каждый день ходить на «башню» и проводить время в разговорах с Вячеславом Ивановым вплоть до того дня, когда со мной случился сильнейший припадок невроза сердца. Несколько поправившись, я через две-три недели уехал в Швейцарию, в Женеву, к большому другу Вячеслава Иванова — Л. Н. Веберу, который был женат на рано умершей талантливой русской художнице Машеньке Якунчиковой. Я оставался в Швейцарии полгода и вернулся в Петербург другим человеком — гораздо более позитивным (Вячеслав Иванов не мог бы уже говорить обо мне, как об истерике в синей рубашке). Я продолжал увлекаться поэзией, но мистика уже не имела над мной той власти, как в 1907 году. Я неизменно посещал «среды» Вячеслава Иванова, но редко бывал в другие дни, реже вел мистические разговоры с Вячеславом и не смотрел уже на него как на непогрешимого бога. Сезон 1908/1909 года мало сохранился у меня в памяти. С осени 1909 года я стал все более отдаляться от Вячеслава Иванова и от «башни». Произошло это по множеству причин: прежде всего потому, что я стал более заниматься университетом. Но главной причиной нашего расхождения было мое разочарование в новом течении, которое, по-моему, явно шло на убыль. 1908 и 1909 годы не были таким взлетом, как 1906-й и 1907-й. С другой стороны, большую роль в нашем расхождении сыграло желание Вячеслава Иванова удалить меня от себя, а в особенности от Веры. В 1909 году я думал, что женюсь на Вере, хотя до меня и доходили слухи, которым я не верил, что Вячеслав Иванов стал мужем своей падчерицы; в 1910 году стало совершенно несомненным,



что моей женьбы никогда не будет. Не только Вячеслав удалял меня от Веры, но и сама Вера явно избегала меня.

Летом 1910 года я принимал участие в экскурсии Ф. Ф. Зелинского в Грецию, принимала участие в этой экскурсии и Вера. По возвращении из Греции я издал книжечку стихов «Гимны и оды», единственную, которую я любил и продолжаю любить. Этой книжечкой я не мог не похвастаться перед Вячеславом Ивановым. Как только она была отпечатана, я пошел с нею на «башню». Я совершенно был уверен, что Вячеслав Иванов поймет и оценит мои «Гимны и оды», насквозь проникнутые античностью и имеющие точки соприкосновения с ним. Я уверен был, что он заинтересуется моими опытами передачи разных античных строф по-русски и признает меня своим достойным учеником.

Вячеслав Иванов принял меня в круглой зале; Вера не выходила. Я сделал большую надпись на книге: «В день Преображения Господня 6 августа 1910 года» — и дал ее Вячеславу. Он очень небрежно посмотрел и сейчас же стал говорить о... «Книге о русских поэтах последнего десятилетия».

— Ну что же, можете вы наконец ответить на вопрос, который вы кончаете свою вступительную статью?

— Да, могу: я был не прав в самой постановке этого вопроса; я неправильно связывал судьбу русской поэзии с судьбой одного маленького и преходящего течения в ней. Русская поэзия, создавшая Пушкина, Баратынского и Тютчева, будет существовать вечно, а это течение, которому посвящена моя книга, уже умирает, если еще не умерло. — И я стал было развивать свою мысль: — Во что превратился Бальмонт? Что стало с Брюсовым, с Федором Сологубом и другими поэтами? Даже Блок, несомненно самый большой поэт современности, пишет иногда прекрасные отдельные стихотворения, но что он сделал после 1907 года, что могло бы стать наравне с «Нечаянной радостью», «Балаганчиком», «Незнакомкой» и «Снежной маской»? Нет, новые поэты уже мертвы. — Развивая эту мысль об ущербе современной русской поэзии, я внезапно был прерван истерическим криком Вячеслава Иванова:

— Как вы смеете являться к поэту и говорить ему, что он мертв...

Мне ничего не оставалось, как встать, поклониться и, не простившись за руку с Вячеславом Ивановым, уйти, с тем чтобы больше никогда не приходиться на «башню».

Еще раз я увидел Вячеслава Иванова в 1921 году, когда он печально жил в Москве, потеряв Веру, оставившую ему сына. Мы с ним помирились, но это примирение было больше официальное: мне было от всего сердца жаль Вячеслава Иванова, и поэтому я и пошел помириться с ним, но о возобновлении дружбы не могло быть и речи: он стал для меня уже чужим человеком, и только прошлое осталось навсегда в сердечной памяти.



Александр Биск

РУССКИЙ ПАРИЖ

1906—1908 гг.

*Не мудрствуя лукаво...*

Настоящие записки представляют собой «малую историю».

Когда подумаешь, сколько труда кладут исследователи, чтобы обнаружить новые материалы о жизни какого-нибудь третьестепенного поэта пушкинского времени, какие архивы приходится разворачивать, то поневоле решаешь, что самые незначительные факты из эпохи серебряного века нельзя отбросить, а нужно как-то сохранить для будущих поколений.

Если хочешь говорить только о том, чему свидетелем пришлось быть — личность автора таких воспоминаний поневоле становится в центре событий, приходится упоминать о себе чаще, чем это «полагается».

Ничего сенсационного я не обещаю. Тем не менее эпизоды из повседневной жизни, отрывки разговоров, короче, несколько анекдотов и сплетен — это долг «зажившегося» тем, кто ушел раньше меня.

\* \* \*

Весной 1906 года Бальмонт жил в тихой улице за Люксембургским садом. Молодой поэт, только что приехавший из России, автор настоящих записок шел на поклон к королю поэтов. Нынешнее поколение и представить себе не может, чем был Бальмонт для тогдашней молодежи. Блок был новичком, он недавно только напечатал в «Новом пути» свои первые стихи о Прекрасной Даме; Брюсов еще не был признанным мэтром; все остальные поэты — Андрей Белый, Сологуб, Мережковский, Гиппиус, Вячеслав Иванов — считались второстепенными. Безраздельно царил Бальмонт. Правда, «Будем как солнце» было уже позади, начинался медленный спуск с вершины, но обаяние Бальмонта было еще в полной силе.

На Boulevard St. Michel бушевала парижская весна, воздух был напоен непередаваемым парижским ароматом и шумом,

синей прозрачностью, силуэтами парижанок, но, когда я вошел в Люксембургский сад, я был охвачен тишиной и осенней грустью: в саду осыпались каштаны. Я был так поражен этим контрастом, что сел на скамью и стал сочинять стихи.

Телефонные звонки тогда были редкостью, всегда можно было ожидать неожиданных посетителей; Бальмонт меня не ждал, и так я просидел целый час в поэтическом раздумье, раньше чем продолжать мое паломничество.

Я ожидал увидеть нечто сверхъестественно-огневое, вроде обложки Фидуса к первому изданию «Будем как солнце», где был изображен полуобнаженный человек с волосами, расходящимися во все стороны, как лучи солнца. Но меня встретил корректнейший мужчина лет сорока, ниже среднего роста, в наглухо застегнутом пиджаке, с черным пластроном. Единственно более или менее поэтичной была копна рыжих волос. Речь чуть высокопарная, но одобренная типичным русским гостеприимством. Поразила меня идеальная аккуратность его письменного стола, где, казалось, каждая вещь имела свое место. На столе стояло несколько египетских статуэток и лежал лист бумаги, исписанный мелким каллиграфическим почерком — прямая противоположность знаменитым первым пушкинским рукописям. Подали чай, такой крепкий, какого я ни до, ни после никогда не пил. Со страху я его пил. Не помню, о чем шла речь, помню лишь, что я рассказывал Бальмонту об одном моем друге, человеке, не получившем почти никакого образования, не говорившем правильно ни на одном языке, но сыгравшем огромную роль в кружке нашей молодежи. Он обладал абсолютным слухом, он сделал нас вагнерьянцами. Он был старше нас, побывал уже в Париже и вернулся оттуда в мифистофельском плаще на красной подкладке и в бархатной куртке. Он был ментором наших любовных похождений и посвящал нас в парижские тайны. Бальмонт хотел знать, как его имя, я назвал его: Сиркез. Тут Бальмонт спросил, не литвин ли он?..

Прошло ведь 57 лет, и больше я из разговора ничего вспомнить не могу.

Бальмонт был первый, кого я посетил в Париже, поэтому я спросил его, где собираются русские поэты и писатели. «Ротонды» тогда еще не существовало. Он послал меня к Елизавете Сергеевне Кругликовой<sup>1</sup>. Это была известная художница, у которой был прием по четвергам, когда собиралось разношерстное общество — русские и французы, знаменитости и малые сии.

Кругликова была гостеприимной хозяйкой, часто устраивала костюмированные вечера с обильным угощением. Сама хозяйка, женщина уже немолодая, выступала в мужском костюме, что по тому времени считалось смелостью. Она сочиняла куплеты и пела их на парижский лад. Не знаю, как это случилось, но я запомнил последние три строчки одной из ее chansons:

Et si je vous ennuie trop,  
Fichez moi z'a la porte —  
Je prendrai le metro <sup>2</sup>.

\* \* \*

Память Кругликовой обессмертил Вячеслав Иванов, побывавший в Париже до меня. Я его никогда не видел. Он посвятил ей изумительный сонет «Латинский квартал». Сонет этот написан немного трудным, тяжелым, якобы неповоротливым, типично ивановским языком, но ценители и сегодня найдут, что это подлинный *chef-d'oeuvre* <sup>3</sup>.

Кто знает край, где свой — всех стран школяр,  
Где молодость стопой стремится спешной,  
С огнем в очах, чела мечтой безгрешной  
И криком уст, а уличный фигляр

Толпу зевак собрал игрой потешной,  
Где вам венки — поэт, трибун, маляр,  
В дыму и визгах дев, где мрак крошечный  
Дант юный числил, мыслил Абеляр.

Где речь вольна, а гении косматы,  
Где чаще все, родных степей Сарматы,  
Приходит сонм ваш, распрей обуян.

Где ткет любовь средь мраморных Диан  
На солнце ткань, а Рима казематы  
Черны в луне? То град твой, Юлиан! <sup>4</sup>

\* \* \*

Когда появлялся новый гость, Кругликова, назвавши его, представляла присутствующих сначала громким отчетливым голосом: Бальмонт, Минский, Волошин, Плехановы, а затем уже менее внятно: Биск, Смирнов и прочая молодежь.

Плехановы, дочери знаменитого Плеханова, были две красавицы девушки, получившие воспитание в одном из лучших швейцарских пансионатов и одетые всегда по последней моде. Какое они имели отношение к искусству, я не помню.

Смирнов, Александр Александрович, один из трех студентов Сорбонны, изучавших кельтский язык. Через 55 лет я встретил его имя как редактора по переводам Сервантеса. Он стал профессором в Советской России.

На вечерах Кругликовой я впервые столкнулся с нетрезвым Бальмонтом. Пить Бальмонт не умел, хмелел от 1—2 рюмок, и тогда проявлялось в нем это стремление: хочу быть дерзким, хочу быть смелым (и, как заметил один критик, хочу, потому, что не могу). Он гордо заявлял: «Я есмь Бальмонт». Когда обносили яблоки, он дерзко кричал: «Я хочу все яблоки». Тут же он вынимал крохотную книжечку и «как Дельвиг пьяный на пиру» читал своими близорукими глазами, сильно картавя и ни на кого не обращая внимания, свой перевод из Мицкевича, а я ходил за ним и запоминал. Эти стихи, кажется, вошли в его «Песни мстителя». Бальмонт был настроен очень революционно.

Татарку выберу я в жены,  
Татарку в жены — говоря:  
Быть может, выношен, как стоны,  
Родится Пален для царя <sup>5</sup>.

А возвращаясь утренним метро домой, он бормотал уже по-французски: «Je lis des vers, des vers immortels» <sup>6</sup>.

Польская колония его боготворила — не только за Мицкевича, но и за стихи:

Нежнее, чем польская панна,  
И, значит, нежнее всего.

Нынешнее поколение неблагодарно Бальмонту, но я уверен, что когда-нибудь его вновь «откроют». И нет сомнения, что из всего им напечатанного можно составить один том прекраснейших стихов.

И в статьях его иногда попадались замечательные мысли. Так, он писал: «То, что в медицине считается подлежащим устранению, может быть в искусстве исключительно ярким цветком».

Заметить также: его фамилию надо произносить с ударением на О, а не на А, как принято среди публики. И он сам, и его окружение называли его всегда Бальмо́нт.

\* \* \*

Каждый костюмированный вечер у Кругликовой имел определенную тему. Один был задуман очень оригинально: Минский должен был изображать гувернантку, а мы все, молодежь мужского пола, — воспитанниц Смольного института. Предполагалось выпустить всю эту кавалькаду строгими парами, в самый разгар вечера. Не помню уже почему, этот выход не состоялся.

\* \* \*

У Кругликовой я познакомился с молодым художником Киселевым, сестра которого оказалась поэтессой. Он читал мне по рукописи только что полученные из Москвы ее первые стихи о «Красном плюще». Звали эту поэтессу Любовь Столица <sup>7</sup>.

Была там и художница Фальк, которую я знал еще по России. Комплекция у нее была со всех сторон солидная, и, когда на одном маскарадном вечере она надела мужской костюм, кто-то написал на нее карикатуру под названием «Vénus masculine».

\* \* \*

Я упомянул о Волошине. Тогда это не был еще Максимилиан Волошин, он назывался просто Макс (как его, впрочем, звала в будущем Цветаева). Он был старшим парижанином нашей эпохи <sup>8</sup>, его стихи:

В дождь Париж расцветает,  
Точно серая роза <sup>9</sup>,—

были известны каждому любителю поэзии. Он имел громадное ателье, так как был и художником, носил, конечно, бархатную куртку и принимал у себя тоже раз в неделю. Как-то он подвел меня не то к Рене Гилю, не то к Реми-де-Гурмону, не помню уже, и с чисто парижской изысканностью представил меня: *Voici un jeune poete russe qui a traduit admirablement Heuredia* <sup>10</sup>. Конечно, это было типично французским словоблудием.

С совершенно другим Волошиным я встретился через 12 лет в Одессе. Шел 1918 год, когда почти вся русская литература была сосредоточена в этом последнем пристанище. Бунин, Алданов, Алексей Толстой, Крандиевская, Волошин, Цейтлин <sup>11</sup> и, вероятно, многие другие, которых не упомяну. Тут, в кружке «Среда», Максимилиан Волошин впервые читал свои замечательные стихи о России. Стихи эти были ни за революцию, ни против нее, но они неподражаемо передавали весь сумбур русского бунта. Я назвал тогда Волошина «поэтом Сенатской площади». На мой взгляд, вся Россия от февраля до октября представляла собой гигантскую Сенатскую площадь, на которой мы, подобно нашим предкам, беспомощно толпились, не зная, что нам делать.

Совершенно озадачила меня статья Бунина после смерти Волошина (в «Последних новостях»). Правда, Волошин казался смешным человеком — толстый, с большой копной волос, с густой бородой, начинавшей у самых глаз, он любил говорить о своих успехах у женщин. У себя, в Крыму, он ходил

босиком, в длинной хламиде, чуть не с венком на голове, и в таком же виде разъезжал на велосипеде. Но Бунин писал только об этом и почти ничего о его произведениях. Конечно, Бунин остается Буниным, и одна фраза в его статье была замечательной: он говорил, что Волощина с равным правом могли бы расстрелять и белые, и красные <sup>12</sup>.

Как-то в моем доме, за чаем, злой и талантливый критик Габриэль Осипович Гершенкройн буквально уничтожил Волощина: впрочем, последний отнесся к этой пристрастной критике весьма благодушно.

\* \* \*

1906-й и следующие годы были эпохой похмелья после вспышки 1905 года, но в Париже еще царило революционное настроение. Минский читал на русских вечерах стихотворение, которое начиналось: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Я был совершенно вне политики, но ввиду того, что моя сестра была эсеркой, я читал сочиненное мной бравурное стихотворение «В борьбе обретаешь ты право свое».

Но были и другие вечера, более консервативные. На одном из них одна высокопоставленная дама читала «стихи поэта Гумилева», где, помню, рифмовались «кольца» и «колокольца». Гумилев только недавно начал писать. Я читал там свои «Парижские сонеты», и Гумилеву особенно понравились последние строчки одного из них:

Лютеция молчала, как и ныне,  
И факелы чудовищные жгла.

Он пригласил меня участвовать в журнальчике, который он издавал <sup>13</sup>.

Он успел уже побывать в Африке и спросил меня, люблю ли я путешествовать. Я ответил, что люблю, но для Африки у меня нет достаточно денег, на что Гумилев ответил: у меня тоже денег нет, а я вот путешествую.

Очень скоро я с Гумилевым рассорился из-за того, что он не прислал мне номера журнала, где были помещены мои стихи.

\* \* \*

Как-то был получен новый номер «Весов», в котором были напечатаны первые стихи двух молодых поэтов — Сергея Городецкого и Михаила Кузмина. Я встречаю Бальмонта и спрашиваю, понравились ли ему стихи. От Городецкого Бальмонт был в восторге. Это были знаменитые «Звоны, стоны, перезвоны —

зеоны-вздохи, звоны-стоны»<sup>14</sup>. Не забыть, что в эту эпоху Бальмонт увлекался славянским фольклором, поэтому неудивительно, что стихи эти пришлись ему по вкусу. О Кузмине же он высказался весьма определенно: «Это — идиот».

Еще Брюсов сказал про Бальмонта:

Мы пророки, ты поэт.

Бальмонт действительно оказался плохим пророком. Сергей Городецкий почил на лаврах своих первых действительно замечательных стихов и дальше не пошел, что же касается Кузмина, то он создал свой особый жанр — «дух мелочей прелестных и воздушных». Это был тончайший эстет, русский Оскар Уайльд, полный лукавства.

\* \* \*

Позже я попал к Мережковским, которые принимали по воскресеньям. У Мережковских царилла или, вернее, свирепствовала Зинаида Николаевна Гиппиус, кокетливая женщина лет сорока, с вечным лорнетом. В одно из воскресений явился приехавший только что из Лондона Минский, который всегда был немного влюблен в Гиппиус.

Зинаида Николаевна огорошила его таким приветом: «А вы, Николай Максимович, все еще душитесь «Шипром»?» Гиппиус была беспощадным критиком и в литературе, и в жизни. Мне порядком доставалось от нее. Из Москвы пришел номер «Перевала»<sup>15</sup>, где было напечатано мое стихотворение «Антей». Антей — древний герой, в моем представлении он был чем-то вроде вагнеровских великанов Фазольта и Фафнера, поэтому естественны были первые строчки:

Зажженный мстью, взыв с отвагой львиной,  
Антей — я шел на отклики борьбы.  
Младой гигант с зеленою дубиной —  
Валить столетние дубы.

Гиппиус встретила меня словами: «Как это вы там «взвыли!»» Я был юношей самолюбивым и обидчивым, пришел домой и изменил первую строчку, и в первой своей книге поместил исправленный текст. И только гораздо позже вернулся к первой редакции. В другой раз Гиппиус сообщила мне весьма торжественно, что вышел первый сборник стихов Сергея Соловьева<sup>16</sup>. Конечно, все, что исходило из семейства Соловьевых, сугубо почиталось у Мережковских. Гиппиус предложила дать мне этот сборник для прочтения. Я очень вежливо, но без излишнего энтузиазма принял предложение и поблагодарил, но Зинаида Николаевна возмутилась таким равнодушием и заяви-



ла: вы книгу не получите. И не дала. Признаюсь, что до сегодняшнего дня я стихов Сергея Соловьева не знаю.

Один-единственный раз я столкнулся у Мережковских с Андреем Белым, который на короткое время приезжал в Париж. Поразил меня его высочайший лоб, признак гениальности<sup>17</sup>.

Высказывания Белого были всегда неожиданны, и, несмотря на мою философскую малообразованность (далее Виндельбандта я не пошел), я вступил с ним в спор и был очень горд тем, что Бальмонт меня поддержал.

У Мережковских постоянно присутствовал и неизменно-изысканный Философов.

Мережковский устраивал собрания, на которых мы, зеленая молодежь, храбро обсуждали религиозно-философские вопросы, а сам Мережковский играл роль «учителя».

\* \* \*

Помню еще собрание какой-то кассы взаимопомощи литераторов. Амфитеатров был не то казначеем, не то членом правления. Собрание было очень шумное: некий Кричевский, если я правильно запомнил имя, обвинял Амфитеатрова в самоуправстве и дерзком обращении с ним, Кричевским. По обвинению Кричевского, Амфитеатров заявил, что он «выбросил» Кричевскому 200 франков.

Амфитеатров — человек очень тучный, бойкий писатель, но говорить не умел; он, заплетаясь, оправдывался, что он сказал не «выбросил», а «выпросил» для Кричевского 200 франков, но желчный Кричевский не унимался: вы хорошо говорите по-русски, вы ясно сказали «выбросил», а не «выпросил». Страшно, как иногда такие мелкие сценки запечатлеваются навеки в памяти.

Амфитеатров издавал журнал «Красное знамя», где Бальмонт печатал свои «Песни мстителя» («Куда конь с копытом...»). Я тоже напечатал там «Песни юродивого» и подписался своим полным именем.

Когда мой отец узнал об этом, он пришел в ужас. Он созвал в Одессе консилиум из лучших адвокатов, которые должны были решить, могу ли я вернуться в Россию. Адвокаты судили и рядили, подбирали статьи. Один из них, кажется, Цвиллинг, все время молчал. Наконец мой отец обратился к нему: «Каково ваше мнение?» Цвиллинг ответил: «Скажите, г. Биск, если бы ваш сын, написавши эти стихи, находился теперь в России, сколько бы вы дали, чтоб он очутился за границей?»

И только в 1910 году, когда в высших сферах было решено поставить крест на всех старых делах и даже Бальмонт вернулся в Россию<sup>18</sup>, тогда и для меня путь был открыт.

\* \* \*

Лет через пять-шесть я встретился снова с Бальмонтом, на этот раз в Одессе.

Приближался 25-летний юбилей Бальмонта, и «Одесская литературка» (Одесское литературно-художественное общество) решила отпраздновать его с большой помпой. За две недели до вечера пустили широковещательные объявления и статьи. Первым читал Василевский-Небуква, вторым выступал Петр Пильский, который доказывал, что поэзия Бальмонта не мужская, а женская. Третий доклад под названием «Усталый май» был мой.

После вечера — грандиозные отчеты, карикатуры на всех участников и на Бальмонта, которого, по рецепту Пильского, изобразили в платье девочки.

В следующем (1913) году Бальмонт приезжал в Одессу читать лекцию. Когда-то в Париже молодежь забрасывала его цветами. Здесь мы остались троим: он, его вторая жена да я. Мы закончили вечер за бутылкой вина. Бальмонт горько сказал: «Где же ваши девушки с цветами?» Потом спросил, как справляли его юбилей. Когда он услышал название моего доклада — «Усталый май», он спросил меня: «Разве май может быть усталым?» Но я возразил ему: «А чьи это стихи?

О, чудо мая  
Неотвратимо;  
Но время, тая,  
Проходит мимо.  
Но май устанет  
И онемает,  
И ветер встанет,  
Цветы развеет...»

Бальмонт слушал как зачарованный, и казалось, что эти свои собственные стихи он слышит впервые...

\* \* \*

Париж всегда был в моде у русских. И какие только «родных степей Сарматы» не посетили его в те годы! Упомяну лишь тех, кто прошел в моем поле зрения: старый друг Леонид Гроссман<sup>19</sup>, будущий литературовед, исследователь Достоевского, он слушал тогда лекции в Сорбонне. Григорий Рабакидзе, молодой красавец грузин, в модной панаме, тогда уже начитанный философ, прекрасный оратор (с сильным грузинским акцентом), от которого сильно доставалось нашим партийцам: «марксисты» громились им нещадно на всех собраниях. По-фран-

цузски он не знал ни слова. Он был влюблен в одну прелестную одесситку и писал ей философские письма, называя ее «мое Ты».

Макс Гохшиллер, талант на все руки, посылавший в «Весы» корреспонденции из Байрейта, будущий ближайший помощник Франсуа Понсэ.

Камышников, тогда еще провинциальный журналист. Зигфрид Ашкинази, будущий профессор мексиканского университета. Когда я привел его к Кругликовой, он храбро подошел к Минскому и с апломбом произнес: знаете, я пришел к монизму. Минский, хитрая бестия, посмотрел на него как-то боком и только произнес: да?

Конечно, нашей территорией был Латинский квартал. Позже, когда Boulevard St. Michel стал слишком «шикарным», богема перекочевала на Montparnasse. «Столовались» мы в польской столовке Скаковской; иногда, «если денег было много», — у Chartier. У Скаковской обедали большей частью польские студенты из Пе-се-эн (P. C. N. — Physique, Chimie, Naturelles), да и русских было немало. Один из верных посетителей Скаковской, Кима Маршак (будущий доктор), издавал рукописный журнал «Клопс» (соль в том, что в клопсе всегда много соли). Старший брат его, Лема Маршак, был художником, он провел меня контрабандой на знаменитый Bal de Quat'z Arts, предназначенный только для художников. Зрелище истинно незабываемое. Цель этого бала — *pour montrer le nu en mouvement* <sup>20</sup>. В том году темой была Персия, не помню уже, какого века. Мужчины были все в персидских халатах, а большинство женщин *sans uniforme* <sup>21</sup>.

\* \* \*

«Люблю я не свершение — возможность» (Гиппиус). Главные соблазны Парижа были на правом берегу, но мы упорно проводили вечера за покером в своем квартале, в Cafe d'Harcourt, лишь изредка баловали себя оперой, Сарой Бернар <sup>22</sup>, Жоресом (конечно, в Трокадеро), выставкой Маринетти, божественной Режан. До сих пор помню ее в «Ma cousine». Когда герой, любовник ее кузины, целует ее в плечо, она произносит — но как! — «Ah, il embrasse, bien, le miserable». Разве можно забыть?

«И все они умерли, умерли».



Владислав Ходасевич

МОСКОВСКИЙ  
ЛИТЕРАТУРНО-  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
КРУЖОК

Чтобы проникнуть в это святилище, пришлось сшить черные брюки и к ним — двусмысленную тужурку — не гимназическую, потому что черную, но и не студенческую, потому что с серебряными пуговицами. Должно быть, я в этом наряде похож был на телеграфиста, но все искупалось возможностью попасть наконец на вторник: по вторникам происходили в Кружке литературные собеседования. Говорила о них вся Москва. Гимназистам в Кружок ходу не было.

Первый вторник, на который мне удалось пройти, был посвящен поэзии Фета. Нужно думать, что было это по случаю десятилетия со дня его смерти, т. е. в конце 1902 или в начале 1903 года. Следовательно, мне было шестнадцать лет, я был в седьмом классе гимназии.

Доклад читал Брюсов. На освещенной ярко эстраде, за длинным столом, на котором по темно-зеленому сукну были разложены листы бумаги и карандаши, осанисто восседали люди тогда еще мне неизвестные. То были члены литературной комиссии. Брюсов стоял у пюпитра, сбоку, и говорил, обращаясь к публике, а не к ним.

«Лицо — зеркало души». Это, конечно, верно. Но так называемая наружность, все то, что в человеческом облике подвержено обработке при помощи парикмахера и портного, мало сказать: обманчиво. Оно лживо. В Брюсове были замечательными только огненные глаза да голос — «орлиный клекот», которым выбрасывал он резкие, отрывистые слова. Весь же он, некрасивый, угловатый, в плохоньком сюртучке и в дешевом галстуке, был просто невзрачен по сравнению с олимпийцами, величаво и неблагосклонно ему внимавшими. Оно и понятно: литературная комиссия состояла из видных адвокатов, врачей, журналистов, сиявших достатком, сытостью, либерализмом. В ней председательствовал председатель правления — психиатр Баженов<sup>1</sup>, толстый, лысый, румяный, курносый, похожий на чайник с отбитым носиком, знаток вин, «знаток женского сердца», в разговоре умевший французить, причмокивать губами

и артистически растягивать слова, «русский парижанин», автор сочинения о Бодлере — с точки зрения психиатрии. Лет тринадцать спустя, во время великой войны, чайник забурлил патриотизмом; очутившись во главе какой-то санитарной организации и будучи в чине действительного статского советника, Баженов облекся в шинель на красной подкладке и в военный генеральский мундир с золотыми бахромчатыми эполетами; кто-то его назвал зауряд-фельдмаршалом. Но тогда, в 1902 г., он с явным неодобрением слушал речь непризнанного декадентского поэта, автора «бледных ног»<sup>2</sup>, восторженно говорившего о поэзии Фета, который, как всем известно, был крепостник, да к тому же и камергер. Неодобрение разделялось и остальными членами комиссии, и подавляющим большинством публики. Когда начались прения, поднялся некто, имевший столь поэтическую наружность, что ее хватило бы на Шекспира, Данте, Гете и Пушкина вместе. То был Любошиц, фельетонист из «Новостей дня»<sup>3</sup>. Рядом с ним Брюсов имел вид угнетающе-прозаический. Любошиц объявил напрямик, что поэзия Фета похожа на кокотку, скрывающую грязное белье под нарядным платьем. Этот образ имел успех потрясающий. Зал разразился бурей аплодисментов. Правда, говоря о Фете, Любошиц приписал ему чьи-то чужие стихи. Правда, бурно выскочивший на эстраду юный декадентский поэт Борис Койранский тут же и обнаружил это невежество, но его уже не хотели слушать. Ответное слово Брюсова потонуло в общественном негодовании.

После доклада и прений настала самая оживленная часть вечера — в столовой. Когда я вошел, в ней было еще пусто. Лишь за одним столиком, занимая всю ширину его, сидел толстяк в сюртуке. Крахмальная салфетка, засунутая углом за воротник, покрывала его грудь. Огромная светло-русовая борода была распушена веером по салфетке. Блестя золотыми очками и лоснясь лицом, толстяк жевал, чмокал, чавкал, посапывал. Столовая наполнялась, к нему подходили знакомые, он молча пожимал руки, продолжая жевать. Ужинали до позднего часа, но и когда все уже уходило, он все так же сидел и ел. Я спросил, кто это. Мне ответили: писатель Михеев<sup>4</sup>. По юношеской наивности я счел нужным притвориться, будто он мне известен.

Таких литературных деятелей, как Михеев, в Кружке было видимо-невидимо. В сущности, они даже задавали тон. Не скажу, однако, чтобы Кружок показался мне учреждением ничтожным. Напротив, и тогда, и много еще лет, до самой его кончины в 1917 г., я был, подобно другим уверен, что в нем совершаются важные литературные события. Сперва нелегально, потом на правах гостя, потом в качестве действительного члена побывал я на бесчисленном множестве вторников и чьих только докладов не слышал. Бальмонт, Андрей Белый. Вячес-

лав Иванов, Мережковский, Венгеров, Айхенвальд, Чуковский, Волошин, Чулков, Городецкий, Маковский, Бердяев, Измаилов — не припомнишь и не перечислишь всех, кто всходил на эстраду Кружка. В Кружке происходили постоянные бои молодой литературы со старой. Андрей Белый потрясал его стены истерическими филиппиками, во время которых иной раз дирекция приказывала экстренно опустить занавес. Тогда все это казалось ужасно значительно и нужно — на поверку вышло не так. Действительная литературная жизнь протекала вне Кружка, осаждаясь в нем лишь сумятицей и шумихой, подчас вредной и пошлой. Если случалось кому-нибудь сказать слово действительно ценное, содержательное — оно тонуло в прениях, в которых участвовать мог любой профессиональный краснбай, любой просто невежда, уплативший полтинник за вход и за право публично высказаться. Для серьезной беседы аудитория Кружка была слишком многочисленна и пестра. На вторники шли от нечего делать иль ради того, чтобы не пропустить очередного литературного скандала, о котором завтра можно будет болтать в гостиных. Эта аудитория влияла и на докладчиков, которые нередко приспособлялись к ее понятиям и вкусам или напротив — старались ее подразнить. На эту тему расскажу анекдот.

Дело было в 1907 году. Одна приятельница моя где-то купила колоссальнейшую охапку желтых нарциссов, которых хватило на все ее вазы и вазочки, после чего остался еще целый букет. Вечером взяла она его с собой, идя на очередную беседу. Не успела она войти — кто-то у нее попросил цветок, потом другой, и еще до начала лекции человек пятнадцать наших друзей оказались украшенными желтыми нарциссами. Так и расселись мы на эстраде, где места наши находились позади стола, за которым восседала комиссия. На ту беду докладчиком был Максимилиан Волошин, великий любитель и мастер бесить людей. В годы гражданской войны белые багровели от его большевизанства, а красных доводил до белого каления речами вовсе противоположными. В тот вечер вздумалось ему читать на какую-то сугубо эротическую тему — о 666 объятиях или в этом роде. О докладе его мы заранее не имели ни малейшего представления. Каково же было наше удивление, когда из среды эпатированной публики восстал милейший, почтеннейший С. В. Яблоновский<sup>5</sup> и объявил напрямик, что речь докладчика отвратительна всем, кроме лиц, имеющих дерзость открыто украшать себя знаками своего гнусного эротического сообщества. При этом оратор широким жестом указал на нас. Зал взревел от официального негодования. Неофициально потом почтеннейшие матроны и общественные деятели осаждали нас просьбами принять их в нашу «ложу». Что было делать? Мы не отрицали ее существования, но говорили, что доступ в нее очень труден, требуется чудовищная развратность натуры. Аспиранты клялись, что они как раз этому требованию

отвечают. Чтобы не разочаровывать человечества, пришлось еще раза два покупать желтые нарциссы.

Вернемся, однако, к докладам. Многие из них были просто плохи. Из песни слова не выкинешь — пора признаться, что самый плохой прочел я: в 1911 году, о Надсоне. Конечно, я был мальчишка, но все-таки стыдно вспомнить, что это был за претенциозный и пустой набор слов. Да, из песни слова не выкинешь: после доклада настали прения — и тут мне изрядно и поделом влетело от В. Потемкина, недавнего полпреда парижского. Чтобы меня утешить, друзья меня чествовали ужином. Я бодрился, но на душе было отвратительно: не от провала, но от того, что сам понял, каких слов наговорил.

Была у Кружка библиотека с читальней. И то, и другое было поставлено образцово. В библиотеке имелось много ценных и даже редких изданий, в читальне получались газеты и журналы в большом количестве, русские и иностранные. Однако рядовые члены Кружка сравнительно мало пользовались этими благами, потому что старыми книгами не слишком интересовались, а новые предпочитали покупать, чтобы поскорее быть «в курсе литературы». В читальню заходили редко и главным образом для того, чтобы вздремнуть или подождать, когда соберутся партнеры в винт или в преферанс. В последние годы Брюсов затеял издавать «Известия» Кружка — нечто вроде критического и историко-литературного журнала. Вышло всего книжек десять.

Гораздо более жизни сосредоточено было в кружковской столовой. Часам к 12 ночи она всегда наполнялась. Съезжалась, действительно, вся интеллигентская и буржуазная Москва — из театров, с концертов, с лекций. Здесь назначались свидания — литературные, деловые, любовные. Официально считалось, что цель столовой — предоставить дешевые ужины деятелям театра, искусства, литературы, но на самом деле было не так. Действительно нуждающихся в столовой Кружка никто, кажется, не видал, а дешевые ужины запивались дорогими винами. Вина и люди, естественно, распределялись по столикам. Золотые горла бутылок выглядывали из серебряных ведер со льдом на столиках Рябушинских, Носовых, Гиришманов, Востряковых<sup>6</sup>. Здесь ужинали не шумно и не спеша. Шум, говор, приходы, уходы, писание стихов и любовных записок, тревога, порой истерика господствовали за столиками «декадентов», где коньяк и мадера считались «национальными» напитками; коньяк принято было пить стаканами, иногда — на пари: кто больше? Поодаль располагались «знаньевцы» и «реалисты», в большинстве — поклонники Удельного Ведомства. Почему-то всегда мне казалось, что как гимназисты хотят быть похожими на индейцев, так «реалисты» — на охотников (может быть, в честь Толстого и в память Тургенева). Им не хватало только

собак и ружей. Некоторые плохо умели обращаться с ножом и вилок и пускали в ход натуральные пятерни — быть может, опять-таки из желания быть ближе к природе. С этого столика поминутно доносилось: «Лев Николаевич», «Антон Павлович» или коротко — «Леонид»: все старались прихвостнуть близостью к Толстому, Чехову, Леониду Андрееву. Изредка появлялся сам Леонид Андреев — в зеленой бархатной куртке, шумный, тяжелый, с тяжелым взглядом. Перед ним заискивали — он был похож на своего «Человека», окруженного «Гостями». Однажды видел я там Скитальца <sup>7</sup> — как бы живое удешевленное издание Максима Горького: те же сапоги, блуза, ременный пояс, но на лице — незначительность даже замечательная. Около часу ночи появлялся Л. М. Лопатин <sup>8</sup>, и тогда как бы начинал бытие стол профессорский, тихий, скучный, с бутылкой «благоразумного Бордо» и многими бутылками сельтерской. Журналисты смешивались с артистами, с писателями, с профессорами, семена от столика к столику и стараясь показать, что они везде — свои люди. Иногда вваливался Дорошевич <sup>9</sup>, изображавший барина и европейца. Нюхая табак и всех хлопая по плечу, всем говоря «ты», походкой Тараса Бульбы, лысый и сивоусый, прохаживался милый старик Гиляровский <sup>10</sup>, стараясь придать свирепое выражение добрейшему своему лицу. Были еще столы общественных деятелей. За ними порой появлялись именитые гости, члены Государственной думы, приезжавшие из Петербурга, чтобы, подобно былым гусарам,

...явиться, прогреметь,  
Блеснуть, пленить и улететь.

За этими столиками говорилось, должно быть, столько же, сколько за всеми остальными вместе. Речи были предерзкие и чуть ли не революционные, но не надобно было пугаться их. Вновь говоря словами поэта,

Сначала эти заговоры  
Между Лафитом и Клико.  
Всё это были разговоры,  
И не входила глубоко  
В сердца мятежная наука.  
Всё это было только скука —  
Безделье молодых умов,  
Забавы взрослых шалунов <sup>11</sup>.

Часам к четырем ночи жизнь в столовой начинала замирать, но бурно еще продолжалась в самой живой части Кружка — в картонных комнатах. Но прежде чем покинуть Кружок, заглянем в нижний этаж, туда, где узенький коридор ведет мимо кассы в бильярдную. Здесь полумрак, но освещены зеленые плоскости бильярдных. Тихо, никого уже нет. В углу дремлет маркер. М. П. Ардыбашев, автор «Санина» <sup>12</sup>, один пощелкивает шарами.





Д. Аминадо

## ПОЕЗД НА ТРЕТЬЕМ ПУТИ

Все, чем жила писательская, театральная и музыкальная Москва, находило немедленный отзвук, эхо и отражение в огромном раскидистом особняке купцов Востряковых, что на Большой Дмитровке, где помещался Литературно-художественный кружок, являвшийся тем несомненным магнитным полюсом, к которому восходили и от него же в разные стороны направлялись все центробежные и центростремительные силы, определяемые безвкусным стереотипом представителей, деятелей, жрецов искусства.

Кружком управлял совет старшин, скорее напоминавший директорию.

Из недр этой директории и вышел первый консул, Валерий Брюсов.

Оказалось, что у первого консула есть не только имя, но и отчество и что именуют его, как и всех смертных, то есть по имени-отчеству, то есть Валерий Яковлевич.

Для непосвященного уха звучало это каким-то оскорбительным упрощением, снижением.

Низведение с высот Парнаса на обыкновенный, дубовый, просто натертый полотерами паркет.

А как же сияние, ореол, аура, золотой лавровый венок вокруг мраморного чела?

И разве не ему, Валерию Брюсову, посвящены эти чеканные строки Вячеслава Иванова, который хотя тоже оказался Вячеславом Ивановичем, но, по крайней мере, пребывание имел в Башне из слоновой кости, где, окруженный толпою раскаявшихся весталок, так и начертал в своем знаменитом послании:

Мы два грозой зажженных ствола,  
Два пламени полунощного бора.  
Мы два в ночи летящих метеора,  
Одной судьбы двужалая стрела! <sup>1</sup>

А на поверку оказывается, что Брюсовы хотя и ведут свой род от Брюса и Фаренгейта, но на самом-то деле старые москвичи, домовладельцы и купцы второй гильдии.

Вот тебе и двужалая стрела.

Одной убогой справкой больше, одной иллюзией меньше.

Пришлось помириться на том, что, по определению Бальмонта, у Брюсова все-таки не обыкновенное, а настоящее лицо нераскаявшегося каторжника, надменно и в бледности своей обрамленное жесткой, черной, слегка тронутой проседью бородой; зато высокий лоб и красные, неестественно красные губы... вампира.

Вампир... — в этом все же была какая-то уступка романтическому максимализму, который во что бы то ни стало требовал творимой легенды, а не прозаической биографии.

А ведь вот от Ивана Алексеевича Бунина никто ничего не требовал.

Ни бледного мраморного чела, ни олимпийского сияния.

Проза его была целомудренна, горячей мыслью выношена, сердечным холодом охлаждена, беспощадным лезвием отточена.

Все воедино собрано, все лишнее отброшено, в жертву прекрасному принесено красивое, и вплоть до запятых — ни позы, ни лжи.

Не случайно, и не без горечи и зависти, уронил Куприн:

— Он, как чистый спирт в девяносто градусов; его, чтоб пить, надо еще во как водой разбавить!

Но Брюсов, помилуйте! — Цевницы, гробницы, наложницы, наяды и сирены, козлоногие фавны, кентавры, отравительницы колодцев, суккубы. в каждой строке грехопадение, в каждом четверостишии свальный грех — и все пифии, пифии, пифии...

А ведь какой успех, какое поклонение, какие толпы учеников, перипатетиков, обожателей, подражателей и молодых эротоманов, не говоря уже о вечных спутницах, об этих самых «молодых девушках, не лишенных дарования», писавших письма бисерным почерком и на четырех страницах, просивших принять, выслушать, посоветовать и, если можно, позволить принести тетрадку стихов о любви и самоубийстве...

Одна из самых талантливых, Наталья Львова, не только добилась совета и высокого покровительства, но, исчерпав всю гамму авторских надежд, которым в какой-то мере суждено было осуществиться, проникновенно и поздно поняла, что человеческие и женские иллюзии не осуществляются никогда.

Что-то было непоправимо оскорблено и попорно.

В расцвете лет она покончила с собой, книжка стихов, которая называлась «Вечная сказка», вышла вторым посмертным изданием.

О молодой жертве поговорили сначала шепотом, потом все громче и откровеннее.

Потом наступило молчание.

Потом пришло и забвение.

\* \* \*

Поклонение Брюсову было, однако, прочным и длительным. Из поэтической школы его, где стихи чеканились, как монеты, а эмоции сердца считались признаком отсталости и архаизма и где священным лозунгом были презрительно брошенные строки:

Быть может, в се есть только средство  
Для звонко-певучих стихов!..

Из школы этой вышло немало манерных последователей и несколько несомненных, хотя и изуродованных дарований.

Скабичевского уже не было в живых, почтенный Стасюлевич тоже умер, не успев опубликовать своей папской буллы и предать анафеме шумных и посягнувших на традицию еретиков.

Львов-Рогачевский <sup>2</sup> и Петр Коган хотя и считались присяжными критиками и цензорами литературных мод в «Мире Божьем» и в «Русском богатстве», но в усердной преданности своей кто — марксизму, кто — народной воле до всего этого парнасского колдовства и волхвования не снисходили и от символистов, декадентов, акмеистов и имажинистов, кубистов и футуристов отгораживались высокой стеной.

И только умнейший, прозорливый и обладавший редким слухом Ю. И. Айхенвальд правды не убоился и так во всеулышание и заявил:

— Не талант, а преодоление бездарности!

Формула относилась и к властителю дум, и к усердствовавшим ученикам.

Многие съезжались и постепенно стали отходить на старые, пушкинские позиции.

А талантливый, бесцеремонный, чуть-чуть разухабистый Корней Чуковский и еще подлил масла в огонь.

«Конечно, нельзя отрицать,— писал он в «Свободных мыслях» Василевского (Не-буквы),— версификаторы дошли до точки и многие из них, как в крыловском луке, достигли пределов изысканности и вычурного совершенства.

Но из лука уже стрелять нельзя, стоит натянуть тетиву, как весь он трещит и распадается на мелкие части.

А ужас в том и заключается, что кто ж теперь в этой необъятной России не пишет гладких стихов?!

От Белого моря до Черного — ни одной корявой строчки, хоть со свечой ищи, не найдешь.

Все правильно, и все по стандарту.

А поэзии и в помине нет».

\* \* \*

Как сейчас помнится:

У входа в большой зал, на площадке мраморной лестницы, опершись головой о дверной косяк, в застывшей, неудобной, упрямой позе, стоит властитель дум и, еле улыбаясь, принимает гостей.

В Литературно-художественном кружке большой вечер.

Из Парижа приехал Поль Фор, принц поэтов <sup>3</sup>.

Все притворяются, что знают принца чуть не с колыбели.

На самом деле никто о нем понятия не имеет.

Ни князь А. И. Сумбатов-Южин <sup>4</sup>, который, быстро пожав руку хозяину, виноватой походкой проходит прямо в игорный зал.

Ни молодой Найденов <sup>5</sup>, скромно стоящий и счастливый: «Дети Ванюшина» в сотый раз подряд идут у Корша и публика и критика захлебываются от восторга.

Семенит, шаркая ножками, со всеми здоровается, всех ласково приветствует милейший, добрейший, благосклоннейший, слегка пунцовый Юлий Алексеевич Бунин, брат Ивана Алексеевича, старшина клуба <sup>6</sup>.

Массивный, светлоглазый, окруженный дамами, проходит Илья Сургучев <sup>7</sup>, автор «Осенних скрипок», многозначительно поглаживает полумефистофельскую бородку и как улыбается, как улыбается!..

Дальше — больше.

Что ни человек, то толстый журнал, или альманах «Шиповника», или сборник «Знания» в зеленой обложке.

Арцыбашев, Телешов, Иван Рукавишников.

Алексей Толстой об руку с Наталией Крандиевской.

Сергей Кречетов с женой, актрисой Рындиной <sup>8</sup>.

Иван Алексеевич и Вера Николаевна Бунины.

Осип Андреич Правдин, обязательный кружковский заседатель.

Рыжебородый Ив. Ив. Попов.

Морозовы, Мамонтовы, Бахрушины, Рябушинские, Тарасовы, Грибовы — все это московское просвещенное купечество. на все откликающееся, щедро дающее когда угодно и на что угодно — на Художественный театр, на Румянцевский музей, на «Освобождение» Струве, на «Искру» Плеханова, на памятник Гоголю, на землетрясение в Мессине.

Молодая, краснощекая, пышущая здоровьем, еще только вступающая в жизнь и на Парнас Марина Цветаева, которую величают Царь-девица.

Летит сломя голову в полинявшей визитке, в полосатых брючках, худосочный, подвижной, безобидный, болтливый, всех и все знающий наизусть, близорукий, милый, застольный чтец-декламатор, Владимир Евграфович Ермилов.

Непременный член присутствия, Николай Николаевич Баженов, не успевший переодеться и так и приехавший со скачек в сером рединготе и с серым котелком под мышкой.

Молодой, блестящий, в остроумии непревзойденный, про которого еще Дорошевич говорил — расточитель богатств, театральные рецензент «Русского слова» Александр Койранский<sup>9</sup>.

Старый москвич и старый журналист, В. Гиляровский, по прозвищу дядя Гиляй.

И за ними целая ватага молодых, начинающих, ревнующих, соревнующих поэтов, литераторов, художников, актеров, а главным образом присяжных поверенных и бесчисленных, надеющихся, неунывающих «помприсповов».

Декольтированные дамы, в мехах, в кружевах, в накидках, усердные посетительницы первых представлений балета, оперы, драмы, комедии, не пропускающие ни одного вернисажа, ни одного благотворительного базара, ни одного литературного события, от юбилея до похорон включительно.

Но им и сам Бог велел принимать, чествовать приехавшего из Парижа, из города-светоча, из столицы мира напомаженного, прилизанного, расчесанного на пробор, хлипкого, шуплого, необедительного, но, наверное, гениального, ибо коронованного в *Café des Lilas*, принца поэтов Поля Фора.

Толпа проплыла, прошла, проследовала.

Брюсов покинул дверной косяк, медленно вошел в притихший зал, сел на председательское место, поднял колокольчик, звонить не стал — и так поймут.

И глухим голосом, приятно картавя и, конечно, нараспев, как будто в сотый раз читал разинувшим рот ученикам:

Я раб, и был рабом покорным  
Прекраснейшей из всех цариц...—

представил Москве высокого гостя.

Гость улыбался, хотя ничего не понимал.

Потом и сам стал читать.

И тоже картавя, но по-иному, по-своему.

Москва аплодировала, приветствовала, одобряла, хотя не столько слушала стихи, сколько разглядывала напомаженный пробор, черные усики и пуговицы на жилете.

Потом, когда первая часть была кончена и был объявлен антракт, все сразу задвигали стульями и искренно обрадовались, кроме самого Брюсова, который хмурился и смотрел куда-то вдаль, поверх толпы, поверх декольтированных дам и братьев-писателей.

После антракта толпа в зале сильно поредела, зато огромное помещение кружковского ресторана наполнилось до отказа. «Пир» Платона длился, как известно, недолго.

Ужин в особняке на Большой Дмитровке продолжался до самого утра.

Хлопали пробки, в большом почете было красное вино Удельного Ведомства. Подавали на серебряных блюдах холодную осетрину под хреном; появился из игровой комнаты утомленный Сумбатов и стал вкусно и чинно закусывать.

О принце поэтов и думать забыли, и только один Баженов ва жеманный вопрос какой-то декольтированной московской Венеры: как вам, Николай Николаевич, понравились стихи господина Фора? Правда, прелестно? — непринужденно ответил:

— Ну что вам сказать, дорогая, божественная! Конечно, понравились. По этому поводу еще у Некрасова сказано:

А ситцы все французские,  
Собачьей кровью крашены...

Цитата имела большой успех, ибо метко определила не то что неуважение к знатному иностранцу или неодобрение к попытке «сближения между Востоком и Западом», а то манерное, нарочитое и надуманное, что сквозило во всей этой холодной, отвлеченной и не доходившей до внутреннего слуха и глаза постановке, автором которой был не столько бедный Поль Фор, сколько самоуверенный и недоступный Каменный Гость — великолепнейший Валерий Брюсов.

\* \* \*

Кружились дни, летели месяцы, проходили годы.

О влиянии литературы на жизнь писались статьи, читались рефераты, устраивались дискуссии.

«Хождение по мукам» Алексея Толстого еще только выплывало и созревало в каких-то лабиринтах души, в путаных мозговых извилинах входившего в известность автора.

Роман, в котором, как в кривом зеркале, отразится обреченная эпоха предвоенных лет, будет написан много позже — то в лихорадочных вспышках раздраженного вдохновения, то с перерывами и вразвалку, между припадками мигреней, с ментоловыми компрессами вокруг знаменитой шевелюры и отдохновительными антрактами на берегу океана, в Sables d'Olonne, где, еще не ведая и не предвидя грядущей придворной славы и зернистой икры, ненасытное воображение питалось лишь скудными образами первой эмиграции, а неумный кишечник — общедоступными лангустами под холодным майонезом.

А эпоха, которой будет посвящена первая часть романа, развертывалась вовсю — в великой путанице балов, театров, симфонических концертов и всего острее — в отравном

и ядовитом и нездоровом дыхании литературных мод, изысков, помешательств и увлечений.

Десятилетия спустя, за редкими, малыми, счастливыми исключениями, ничто не выдержит напора времени, беспощадного суда отрезвевшего поколения, неизбежной переоценки ценностей и просто здравого смысла и честности с собой.

Кого соблазнят, увлекут, уведут за собой в волшебный бор, на зеленый луг, в блаженную страну за далью непогоды все эти Навьи Чары и Чавьи Нары, первозданные Лиллит, шуты, которых звали Экко, герцоги Лоренцо и из пальца высосанные Франчески, вся эта сологубовщина и андреевщина, увенчанная «Чертовой куклой» Зинаиды Гиппиус, и задрапированной в плащ неизвестной фигурой, которая годы подряд стояла на пороге и называлась — Некто в сером?!

Кто будет прогуливать козу в лесную поросль для сладкого греха?

Капризно требовать, настаивать, твердить:

О, закрой свои бледные ноги...

Узлекаться Сергеевым-Ценским, спокойно уверявшим, что «у нее было лицо, как у лица»?

Кто помнит рассказы Чулкова, стихи Балтрушайтиса, поэмы Маринетти в переводе Давида Бурлюка?

А ведь все это были только цветочки, ягодки были впереди.

В Политехническом музее изо дня в день судили то «Катерину Ивановну», то «Анфису».

О «Василии Фивейском» спорили до хрипоты.

В мраморном дворце Рябушинского, который назывался «Черный лебедь», — только и всего! — выпито было море шампанского по случаю выхода в свет первого номера «Золотого руна»<sup>10</sup>.

А в «Руне» ввали вруны всего света, как четко выразился Влас Дорошевич.

Арцыбашевского «Санина» уже давно переболели, на очереди был новый роман — «У последней черты».

А за чертой двойным взводом стояли доценты, референты, критики, докладчики, дискуссия в полном ходу, слово принадлежит профессору Арабажину<sup>11</sup>, а Арабажин и в ус не дует, разезжает из города в город, из Петербурга в Москву, из Москвы в Харьков, из Харькова в Курск и все разрешает проблемы пола по Вейнингеру, по Фрейдю, по последним произведениям Михаила Петровича Арцыбашева.

Тут и «Бездна» Андреева, и «Слаще ада» Федора Сологуба, и «Двадцать шесть и одна» Максима Горького, вали все в кучу, там видно будет! А публика валом валит, друг другу в затылок дышит, смакует, переживает. — Да здравствует свободный человек на свободной земле!..

Не успели отдышаться, является Иван Рукавишников, прямо с Волги.

Роман называется «Проклятый род».

Опять тех же шей, да пожиже лей.

Услада, сумасшествие, радость обреченности, предназначение, мойра, фатум, судьба.

Самолюбование, самоуничтожение, самосожжение, хованщина.

То было оскудение дворянское, теперь оскудение купеческое.

Все вымрут, все погибнут, и ты, и я, и весь Проклятый род, и все пятьдесят две губернии, до последней волости включительно!

И оттого так пьяно и весело и, должно быть, пришлось по вкусу горькая услада, ибо опять дискуссии, опять захлебываются.

Кругом одни упадочники, утонченники, и все нараспев декламируют, профанируют, цитируют, растлевают.

То Андрея Белого, то Зиновьеву-Аннибал, а пуще всего «Незнакомку» и стихи о Прекрасной Даме, в которых еще и намек нет на грядущее послесловие, на заключительный аккорд, на последнюю поэму, которая будет называться — «Двенадцать».

И напрасно в многоуважаемом Обществе любителей российской словесности старики Градовский, Грузинский, Батюшков, Венгеров и Хирьяков с Гольцевым и Ашешовым стараются спасти вечные ценности.

— Долой пожилую немощь, синедрион мудрецов, советы старейшин!

— Вывести из стойла Пегаса, застоявшегося коня, оседлать и вознестись на воздуши. к Бурлюкам, к бурлакам, к «Облаку в штанах», к желтой кофте Маяковского, к тому, что не бывает, никогда не бывает!

А тут еще в суматохе-неразберихе в придачу, заблудившись между Христом и Антихристом, великий краснотубый грешник с прозрачными глазами, прочитавший всю Публичную библиотеку и наизусть знающий и Четы-Минси, и полное собрание сочинений Баркова, второй год подряд печатает свой исторический роман — Дмитрий Сергеевич Мережковский.

Роман называется «Александр I».

Все, как полагается: ангелы, архангелы, юродивые, скопцы, масоны, мистики, гвардейские офицеры, Антихрист-Буонапарте, а в следующем томе восстание декабристов, первая революция.

Есть разгуляться где на воле!

С Господом Богом обращение либеральное и гибкости непревзойденной. Поначалу сказано:

— Неть власти, аще не от Бога.

И Бог Мережковского благословляет самодержавие.

Сто страниц печатного текста корявым пальцем отслюнить,



а на сто первой, не дальше, Господь благословляет восстание, революцию, анархию, баррикады.

«И смущенные народы не знают, что начать — ложиться спать или вставать».

В Религиозно-философском обществе смущение.

Путаница в умах, в облаках, в святцах.

И так будет еще тридцать лет подряд.

Вплоть до целования руки Начальнику Государства, Пилсудскому.

Потом — Светлому дуче Бенито Муссолини.

И, наконец, гениальному фюреру, под самый занавес.

Соблазнитель малых сих, великий лжец и одаренный словоблуд, в одиночестве, в презрении, в забвении, дожив до глубокой опозоренной старости, умрет в Париже, в самый канун освобождения.

\* \* \*

Что же было еще? «В те баснословные года»?

Читали Чирикова.

Тепло и без дискуссий принимали Бориса Зайцева.

Иван Шмелев написал своего «Человека из ресторана».

Приветствовали, умилялись.

Тоже не знали, чем эта писательская карьера кончится.

Потом узнали...

Струей свежего воздуха потянуло от бунинского «Суходола».

Появился «Хромой барин» Алексея Толстого.

Пользовался немалым успехом нарочито сентиментальный, чуть-чуть слащавый «Гранатовый браслет» Куприна.

Читали, перечитывали, учили наизусть стихи Анны Ахматовой.

Немало спорили, переживали, обсуждали нашумевший роман В. Ропшина «То, чего не было».

На тему, становившуюся срочной, модной и неотложной, — революционное убийство и человеческая совесть.

В романе были захватывающего интереса, отлично написанные главы — московское вооруженное восстание, экспроприация в Фонарном переулке, баррикады на Пресне.

От Ропшина — опять к Андрееву, к «Сашке Жигулеву», к буйству, к лихости прославленного комаринского мужичка.

Прозревать еще никто не прозрел, но суровую, нелюбимую правду сказал об Андрееве все тот же единственный, недавно покинувший мир Лев Николаевич Толстой.

— Он пугает, а мне не страшно.

И от всего, что он написал, останется один небольшой рассказ, называется «Ангелочек».

На которого — в обожании и в восторге — глядели во все глаза бедные прачкины дети.

А только беда была в том, что в прачечной стояла адова жара.

А ангелочек был из воска и от жару и пару начал таять и таять.

И вот и вовсе исчез, растаял.

И дети до того убивались, до того горько плакали.

\* \* \*

Восторг, успех, слава, поклонение, обожание — все приходило и уходило, «за приливом отлив, за отливом прибой», как сказано было в стихах, скромно подписанных вынужденными инициалами — П. Я.

Из далекой ссылки приходили и печатались то в «Русском богатстве», то в общедоступном и любовно-сделанном миролюбовском «Журнале для всех» его стихи и переводы из Сюлли-Прюдона и Бодлера.

Молодые люди брусювской школы, декламировавшие нараспев, сразу наложили сектантский запрет и безапелляционно заявили, что поэт он никакой.

Спорить с ними никто не стал, но не было ни одной студенческой вечеринки, ни одного более или менее значительного эстрадного выступления, на которых стихи П. Я. не вызывали бы бури аплодисментов.

Благодарность поколения относилась не к чеканности и музыкальной форме, которых, может быть, и не хватало вдумчивому и искреннему автору, старому революционеру Якубовичу-Мельшину.

Но в том, что он писал, было столько не модной по тому времени честности, человечности и чистоты, что воспринималась эта редкая гамма не избалованным внешним слухом, а иным чутьем и иным, внутренним слухом еще не окончательно порабощенных сердец.

Мы пройдем. И другие пройдут, вместо нас,  
С кровью чистой и свежей, в которой не раз  
Благородная вспыхнет отвага.

Поколенья идут, как волна за волной,  
За приливом отлив, за отливом прибой,  
И в бессменном их беге — их благо.

Что и говорить, в «Золотом руне», в «Аполлоне», в «Весак», в альманахах «Шиповника» и в иных бесконечных журналах и сборниках, отмеченных штампом крайнего модернизма

и украшенных концовками Судейкина и Сапунова, печатали, конечно, не Якубовича-Мельшина, а Михаила Кузмина, Николая Гумилева, Максимилиана Волошина, Сергея Кречетова, Бориса Садовского, Мариэтту Шагинян, Анну Ахматову и даже таких давно и, вероятно, навсегда забытых молодых поэтов, как Яков Годин, Эдуард Багрицкий, Дмитрий Цензор, Сергей Клычков, Семен Рубанович и иных, и прочих, имя им легион.

Ни в хрестоматию, ни в антологию они не вошли, а такого литературного департамента, в который можно было бы подать жалобу о несправедливом забвении, даже и в советской республике не придумали.

«Поколенья идут, как волна за волной»...

Кто и когда будет перечитывать не то что стихи Димитрия Цензора или прозу Сергеева-Ценского, а даже такое прилежное, солидное и многоуважаемое чистописание, проникнутое общественным духом и передовыми идеями, как статьи, фельетоны, брошюры и многотомные сочинения, подписанные почтенными именами Николая Рубакина, Горбунова-Посадова, Богучарского, Ашешова, Григория Петрова?

«Опавшие листья» В. В. Розанова или «История славянофильства» М. Гершензона, может быть, и уцелеют перед натиском разрушительных десятилетий, из коих складывается век.

И кто его знает, потомки Бурцева<sup>12</sup> или правнуки Алданова чему-то, возможно, научатся и что-то поймут и почерпнут из пожелтевших томов, помеченных в каталоге Императорской Публичной библиотеки.

Но в эпохе, о которой идет речь, многописавшей и многосторонней, уже так ли много было Гершензонов и Розановых?

\* \* \*

Впрочем, недаром сказано:

— Нет большей бессмыслицы, нежели плющ благоразумия на зеленых ветках молодости.

Мудрость Экклезиаста постигается на склоне дней.

Переоценка ценностей приходит не сразу.

И как утверждали римляне:

— Поздно мелют мельницы богов.

В «Стоиле Пегаса» и в «Десятой музе», в прокуренном до отказа ресторане «Риш» на Петровке, всюду, где собирались молодые таланты и начинающие бездарности, козырные двойки и всякая проходящая масть, никакой мизантропии, само собой разумеется, и в помине не было, ни о каких переоценках и речи быть не могло.

В каждом мгновении была вечность.

Гораций нерукотворный памятник воздвигался прижизненно.

Бессмертие обеспечивалось круговой порукой присутствующих.

За неожиданную рифму, за звонкое четверостишие, за любую удачную шутку полагались лавры, признание, диплом, запись в золотую книгу кружка, ресторана, кафе Каде, Трамбле, даже кондитерской Сиу на Кузнецком мосту.

Одним из таких закрытых собраний литературной богемы, где за стаканом вина и филипповской сайкой с изюмом происходило посвящение рыцарей и калифов на час, был небольшой, но шумный кружок, собиравшийся в Дегтярном переулке, в подвальной квартирке Брониславы Матвеевны Рунт<sup>13</sup>.

Родом из обрусевшей чешской семьи, она была сестрой Жанны Матвеевны, жены Валерия Брюсова.

Столь близкое родство с властителем дум уже само по себе окружало некоторым ореолом одаренную, на редкость остроумную, хотя и не отличавшуюся избыточной красотой хозяйку дома.

Невзирая, однако, на столь удачное, хотя и случайное преимущество блистать отраженным блеском, миниатюрная, хрупкая Бронислава Матвеевна или, как фамильярно ее называли. Броничка не желала, справедливо претендуя на несомненное личное очарование и собственный, а не заемный блеск.

Надо сказать правду, что в этом самоутверждении личности Броничка бывала даже несколько беспощадна в отношении высокопоставленного деверя, и, чем злее было удачное словечко, пущенное по адресу первого консула, или острее эпиграмма, тем преувеличеннее был ее восторг и откровеннее и естественнее веселый взрывчатый смех, которым она на диво заливалась.

Бронислава Матвеевна писала милые, легкие, как дуновение, и без всякого «надрывчика» рассказы, новеллы и так называемые «Письма женщин», на которые был тогда большой и нелепый спрос.

Литературный почерк ее называли японским, вероятно потому, что в нем было больше скольжений и касаний, чем претензии на глубину, чернозем и суглинок.

Кроме того, она славилась в качестве отличной переводчицы, обнаруживая при этом большой природный вкус и недюжинную добросовестность.

Но так как одной добросовестностью жив не будешь, то не для души, а для денег она скрепя сердце еще редактировала пустопорожний еженедельник «Женское дело», официальным редактором которого состоял Ив. Ив. Полов, сверкавший глазами, очками и, вероятно, какими-то неощутимыми, но несомненными добродетелями.

Издательницей журнала тоже официально значилась «мамаша Крашенинникова», а за спиной ее стоял мамашин сын, великолепный, выхолонный присяжный поверенный Петр

Иванович, адвокатурой не занимавшийся и развивавший большую динамику в настоящем издательском подворье на Большой Дмитровке.

Календари, справочники, газеты-копейки — главное быстро стряпать и с рук сбывать.

В квартире у Бронички все было мило, уютно, налажено.

Никакого художественного беспорядка, ни четок, ни каштанов, ни одной репродукции Баллестриери на стенах, ни Льва Толстого босиком, ни Шалапина с Горьким в ботфортах, ни засушенных цветов над фотографиями молодых людей в усиках.

— Если б я всех своих кавалеров на стенку вешала, да еще засушенными цветочками их убирала, то у меня уже давно был бы целый гербарий. А уж сколько моли развелось бы, можете себе представить! — с обезоруживающей откровенностью заявляла хозяйка дома.

По вторникам или средам, а может быть, это были четверги — за дальностью лет не упомнишь, — во всяком случае, поздно вечером начинался съезд, хотя все приходили пешком и расстоянием не стеснялись.

Непременным завсегдатаем был знаменитый московский адвокат Михаил Львович Мандельштам, седой, грузный, представительный, губастый, с какой-то не то кистой, затвердевшей от времени, не то шишкой на пухлой щеке.

С этого и начиналось.

— А у Алжирского бея под самым носом шишка выросла!..

Приветствие было освящено обычаем, в ответ на что следовала неизменная реплика:

— Вот и неправда! Не под носом, а куда правее!

После чего знаменитый адвокат смачно целовал ручки дамам и усаживался на диван.

По одну сторону Анакреона — так его не без ехидства, оправдывавшегося мужской биографией, прозвала хозяйка дома, — усаживалась томная и бледная Анна Мар, только что выпустившая свой новый роман под обещающим названием «Тебе Единому согрешила».

По другую сторону — могий вместити да вместит, — «дыша духами и туманами», загадочно опускалась на тихим звенением откликавшиеся пружины молодая беллетристка Нина Заречная.

Колокольчик в прихожей не умолкал.

В длиннополом студенческом мундире, с черной подстриженной на затылке копной густых, тонких, как будто смазанных лампадным маслом волос, с желтым, без единой кровинки, лицом, с холодным нарочито равнодушным взглядом умных темных глаз, прямой, неправдоподобно худой, входил талантливый, только что начинавший пользоваться известностью Владислав Фелицианович Ходасевич.

Неизвестно почему, но всем как-то становилось не по себе.

— Муравьиный спирт,— говорил про него Бунин,— к чему ни прикоснется, все выедаёт.

Даже Владимир Маяковский, увидя Ходасевича, слегка прищуривал свои озорные и в то же время грустные глаза.

Веселая, блестящая, умница из умниц — кого угодно за пояс заткнет,— с шумом, с хохотом, в сопровождении дежурного «охраняющего входы» и, несмотря на ранний час, уже нетрезвого Володи Курносова, маленького журналиста типа проходящей масти, появлялась на пороге Е. В. Выставкина.

Разговор сейчас же завязывался, не разговор, а поединок между Екатериной Владимировной и Мандельштамом.

Да иначе и быть не могло.

Только на днях напечатана была в столичных газетах статья московского Златоуста — кстати сказать, Златоуст изрядно шепелявил — с коллективном помешательстве на женском равноправии и ответная статья Ек. Выставкиной, в которой Мандельштаму здорово досталось на орехи.

Адвокат отбивался, защитница равноправия нападала, парировала каждый удар, сыпала сарказмами, парадоксами, афоризмами, высмеивала, уничтожала, не давала опомниться, и все под дружный и явно одобрителный смех аудитории и уже не обращая ни малейшего внимания ни на смуглого чертовски вежливого Семена Рубановича<sup>14</sup>, застывшего в дверях, чтобы не мешать, ни на художника Георгия Якулова, чудесно улыбавшегося одними своими темными восточными глазами, ни на самого Вадима Шершеневича, вождя и возглавителя московских имажинистов, со ртом до ушей, каплоухого и напудренного.

А когда появилась Маша Каллаш в крахмальных манжетах, в крахмальных воротничках, в строгом жакете мужского покроя, с белой гвоздикой в петличке, с красивым вызывающим лицом — пепельного цвета волосы барашком взбиты,— ну тут от Златоуста, хотя он и хохотал вовсю, и тряс животом, одно только воспоминание и оставалось.

Прекратил бой Маяковский.

Стукнул по обыкновению кулаком по хозяйскому столу, так что стаканы зазвенели, и крикнул зычным голосом:

Довольно этой толочи,  
Наворотили ком там...  
Замолчите, сволочи,  
Говорю вам экспромтом!

Экспромт имел бешеный успех.

Нина Заречная пила вино и хохотала.

Анна Мар зябко куталась в шаль, но улыбалась.

Жорж Якулов, как молодой карабахский корек, громко ждал от радости. Хозяйка дома шептала на ухо Екатерине Выставкиной, подмигивая в сторону предводителя Буржуев:

— Все-таки в нем что-то есть.

Рубанович теребил свои усики и утешал Шершеневича, подавленного чужим успехом.

И только один «Муравьиный спирт» угрюмо молчал и щурился.

Зато неутомимый Манделыштам жал ручки дамам, то одной, то другой, прикладывался мокрыми губами под нависшими седыми усами и, многозначительно выпив красного вина из бокала Нины Заречной, стал в позу и неожиданно для всех по собственному почину начал читать, шепелявя, но не без волнения в голосе:

В день сбиранья винограда  
В дверь отворенного сада  
Мы на праздник Вакха шли.  
И любимца Купидона,  
Старика Анакреона  
На руках с собой несли.

\* \* \*

Много юношей нас было.  
Бодрых, смелых, каждый — с милой!  
Каждый бойкий на язык.  
Но — вино сверкнуло в чашах —  
Вдруг, глядим, красавиц наших  
Всех привлек к себе старик.

\* \* \*

Череп, гроздьями увитый,  
Старый, пьяный, весь разбитый,  
Чем он девушек пленил?!  
А они нам хором пели,  
Что любить мы не умеем,  
Как когда-то он любил!..

\* \* \*

Все сразу захлопали в ладоши, зашумели, заговорили.  
Броня Рунт чокнулась с Златоустом и так в упор и спросила:  
— Это что ж? Автобиография?  
Маяковский не удержался и буркнул:  
— Дело ясное. Манделыштам требует благодарности  
за прошлое!

Старый защитник и не пробовал защищаться.

Воспользовавшись минутной паузой, он явно шел на реванш.

— Вот вы, господа поэты, писатели, мастера слова, знатоки литературы, скажите мне, сиволапому, а чьи ж это, собственно говоря, стихи?

Эффект был полный.

Знаменитый адвокат крикнул, грузно опустился на диван и, торжественно обведя глазами не так уж чтоб очень, но все же смущенную аудиторию, произнес с несколько наигранной простотой:

— Аполлона Майкова, только и всего.

Маяковский, конечно, сказал, что ему на Майкова в высокой степени наплевать.

Имажинисты прибавили, что это не поэзия, а лимонад.

И только один Ходасевич не выдержал и, впервые за весь вечер разжав зубы, не сказал, а отрезал:

— С ослами спорить не стану, а скажу только одно: это и есть настоящая поэзия, и через пятьдесят лет ослы прозреют и поймут.

Толчок был дан, и шлюзы открылись.

Опять хлопали пробки, опять Бронислава Матвеевна протягивала, обращая то к одному, то к другому, свой опустошенный бокал и томно и в который раз повторяла одну и ту же ставшую сакраментальной строфу Пушкина:

Пьяной горечью Фалерна  
Ты наполни чашу, мальчик!

В ответ на что все чокались и хором отвечали:

Так Постумия велела,  
Председательница оргий.

До поздней ночи, до слабого утреннего рассвета кричали, шумели, спорили, превозносили Блока, развенчивали, защищали Брюсова, читали стихи Анны Ахматовой, Кузмина, Гумилева, говорили о «Железном перстне»<sup>15</sup> Сергея Кречетова, глумились над Майковым, Меем, Апухтиным, Полонским.

Маяковский рычал, угрожал, что с понедельника начнет новую жизнь и напишет такую поэму, что мир содрогнется.

Ходасевич предлагал содрогнуться всем скопом и немедленно, лишь бы не томиться и не ждать.

Анна Мар поджимала свои тонкие губы и пыталась слабо улыбаться.

Рубанович снова теребил усики и вежливо, но настойчиво доказывал, что первым поэтом он считает Сергея Клычкова, и грозился продекламировать всего его наизусть.



\* \* \*

А в кабаках и ресторанах все чаще и чаще звенел, замирая, и снова звенел надрывный, навязчивый мотив танго.

Стремглав летели голубки и тройки, позвякивая бубенцами.

Расцвела и осыпалась сирень, приученная к позднему цветению.

Дворники, в белых холщовых фартуках, делали весну, за маем июнь.— Перловка, Малаховка, Удельная, Томилино.— в сосновый лес, в рощи словые, на зеленые лужайки, на речные берега, на ладно срубленные дачи, на отдых, на покой, на лень великую...

И так как поздно мелют мельницы богов и неизвестно будущее, то кто мог знать, предчувствовать, предвидеть, что «вшиско скончица дзвоном», как писал Мицкевич в «Пане Тадеуше», и что, жалобно прозвучав в последний раз, замрет и растает в нестеровских сумерках печальный звон?

Что Анна Мар, как описанная ею белошвейка, наполнит свой бокал обыкновенной серной кислотой и велит похоронить себя в подвенечном платье, а на небьющееся сердце положить портрет Дорощевича с засушенными цветами?

Что поэт с озорными глазами никакой поэмы, от которой содрогнется мир, никогда не напишет.

А, прождав годы и дождавшись своего, просто напечатает на серой бумаге по новой орфографии:

Мы на горе всем буржуйам  
Мировой пожар раздуем!

После чего будет разъезжать в кремлевском автомобиле, расточать и уродовать свой неумный талант, насиловать себя и насиловать других и, наконец, не выдержав, пустит себе пулю в лоб, оставив scandalную память и имя Маяковского на унылом речном баркасе?

Кто мог знать и предвидеть, что Жорж Якулов напишет портреты советских вождей и получит звание народного артиста, а Владислав Фелицианович Ходасевич, после голодных петербургских зим, купно с Горьким и Андреем Белым приобщится к казенному толстому журналу, но уже не в Питере, а в Берлине<sup>16</sup>, потом спохватится, перекочет в белогвардейский русский Париж и в неуклюжем гукасовском «Возрождении», снова ненавидя и проклиная незадачливую судьбу, станет печатать свои злые, умные критические статьи, а по ночам, задыхаясь от астмы, перечитывать «Египетские ночи» и на обрывках и клочках бумаги то лихорадочно-торопливо, то мучительно-медленно писать своего «Державина»?

А милая наша насмешница Броня Рунт, «председательница оргий», могло ли ей прийти в шалую ее голову, замученную

пальютками, обрамленную завитушками, что много, много лет спустя где-то в угловом парижском кафе, на бульвар Мюра, два когдатошних аборигена, два усердных посетителя ее «вторников» или «сред» в Дегтярном переулке, будут не без печали, смешанной с благодарностью, вспоминать далекое прошлое, и воспоминания опять закончатся стихами, и на экземпляре «Счастливого домика», подаренного поэтом Ходасевичем автору настоящей хроники, будут написаны последние, грустным юмором овеванные гекзаметры?

Общею Музою нашей была Бронислава когда-то.  
Помню остроты ее, и черты, к сожалению, помню.  
Что ж? Не по-братски ли мы сей девы дары поделили?  
Ты унаследовал смех, а мне досталось уродство.



Лидия Рындина

## УШЕДШЕЕ

В Москву я приехала в 1906 году из Варшавы и сразу попала в гущу литературно-художественной жизни.

Причина моей поездки была романтическая. Летом я ездила с отцом в Германию. Возвращаясь обратно, заговорившись, мы пропустили нужную нам пересадку и оказались ночью на станции Бромберг. Отец не хотел терять времени, а так как до пограничной станции Александрово было только полтора часа езды, то мы сели в первый идущий до границы поезд. Он оказался переполненным. В купе, куда мы вошли, все места были заняты, но мне сразу уступил место молодой человек, оказавшийся русским. Я предложила это место отцу, а сама с молодым человеком стала в коридоре, и мы разговорились.

Он возвращался в Москву. Тут же он мне сказал, что он Сергей Алексеевич Соколов, поэт Сергей Кречетов, редактор книгоиздательства «Гриф». Он дал мне свой адрес и взял мой. Полтора часа разговора в полутемном коридоре вагона решили мою дальнейшую жизнь.

Между мной и Грифом, как все его звали в Москве, завязалась переписка. В ней не было ни слова о любви. Я писала, что стремлюсь на сцену, а он звал меня в Москву, как в центр русской театральной жизни.

Я уже давно мечтала о сцене, но мои родители были против, и под их влиянием я занималась живописью, которую тоже очень любила. Училась я живописи в Варшавской академии, которая по своей программе была как бы преддверием к Петербургской академии художеств. Встреча с Грифом и переписка с ним дали мне смелость идти против воли родителей. Я твердо заявила, что хочу идти на сцену и для этого поеду в Москву. О своих чувствах к Грифу я, конечно, не заикалась. Отец, видимо, чувствовал, что мое решение идти на сцену и ехать для этого в Москву связано с моим знакомством в вагоне, так как в Москве у меня ни родных, ни знакомых не было. Как-то вечером он пришел ко мне в комнату и стал меня уговаривать не ехать. «Ты никого не знаешь в Москве, а этот человек, может

быть, тебе все наврал. Может, он не Соколов, а Сидоров, ты в темноте его и не разглядела, может, он не брюнет, а рыжий. Может, он женат?» Я стояла на своем. Что Гриф женат, я знала; в одном из писем он мне даже писал, что его жена очень интересный человек и он будет рад меня с ней познакомить.

Разве какие-нибудь доводы разума в силах побороть неожиданно охватившее чувство! Гриф меня звал, и я поехала в Москву.

Никогда не забуду своего волнения, когда я подъезжала к Москве. Я боялась, что Гриф на вокзале меня не узнает, но он узнал. Только, верно, первое его впечатление было не в мою пользу, он вскрикнул: «Какая вы желтая!» Воображаю, какой глупой и желтой я была от волнения.

После патриархального уклада жизни моей семьи и очень выдержанной дисциплинированной атмосферы Варшавской школы живописи я оказалась одна в чужой и незнакомой Москве, да еще в среде, ничего общего с моей предыдущей жизнью не имеющей. Нелегко мне было войти в эту жизнь и ей меня принять.

Благодаря Грифу, я попала в литературную среду символистов, «декадентов», как тогда их называли. Течение это было ново в то время, модно и молодо. Было в нем, рядом с серьезным, талантливым и глубоким, много и озорства. Главным образом для того, чтобы поразить толпу. Мог же большой эрудит, строгий к себе и другим, поэт Валерий Брюсов держать пари, что он напишет стихотворение, которое будут знать все, даже те, кто других его стихов никогда не читал. И он поместил на отдельной странице в своей книге глупую строку: «О! Закрой свои бледные ноги!» Пари он выиграл: эту строку многие тогда с возмущением повторяли. Еще и сейчас слышишь ее иной раз от людей, не знающих других произведений Валерия Брюсова.

Как только я приехала, Гриф познакомил меня со своей женой Ниной Ивановной. Она писала под псевдонимом Нина Петровская<sup>1</sup>. Она действительно была очень интересным человеком. Со взлетами и падениями, отражавшими жизнь и литературу того времени.

Меня она встретила очень ласково. Их отношения с Грифом были весьма сложны. Они мирно жили на одной квартире, но это была жизнь только хороших друзей. Нина была в это время влюблена в Андрея Белого. Любовь эта была какая-то болезненная, мучительная. Андрей Белый считал свою любовную связь с Ниной грехом и темным пятном на своем духовном облике. Он то бросал ее, то снова возвращался. Нина мучилась, одевалась во все черное, носила на груди большой деревянный крест. Но тут же, чтобы забыться, ходила чуть не каждый день играть в железку в литературный клуб.

Странный человек был вообще Андрей Белый. Тэффи как-то

писала, что все отмеченные талантом люди стоят в жизни под особым знаком. Все они с «сумасшедшинкой». Поклонник и последователь Владимира Соловьева, Белый весь был в отвлеченных мыслях и темах. Мог пророчески предсказать свою кончину от солнечного удара:

Золотому блеску верил,  
А умер от солнечных стрел.  
Думой века измерил,  
А жизнь прожить не сумел<sup>2</sup>.

Иногда вдруг он мог вообразить себя каким-то полумифическим существом, заказывал визитные карточки с надписью «Кит Китович Кентавров» и рассылал их знакомым. В мире символистов у него было много поклонников, считавших его гениальным, но там же писали пародии на его стихи с намеками на его материализм:

Поет докучный граммофон  
Давно знакомые романсы,  
Жду, не несет ли почтальон  
Златистопирные авансы?

Запомнился его спор у нас с Федором Сологубом, когда я была уже замужем за Грифом. Это было в пасхальную ночь после заутрени. Спорили на какую-то философскую тему. Белый уходил в своих утверждениях куда-то высоко в облака. Сологуб возражал кратко, ясно и жестоко. Белый был побежден. Но и тут проявилась доля его «сумасшедшинки». Он распростер руки у стены и как-то дико взывал: «Я распят! Я распят!» При споре присутствовал и ныне живущий в Париже писатель Борис Зайцев<sup>3</sup>. Получилась тяжелая, незабываемая сцена, под звон всех колоколов тогдашней Москвы. Но Белый умел быть и простым, глубоким и ясным. Кто знает, может, в его «сумасшедшинке» были предчувствия грядущего — тогда они могли казаться безумием.

Когда я приехала в Москву, за Ниной Петровской уже ухаживал влюбленный в нее Валерий Брюсов. Тогда он писал свой роман «Огненный ангел», в котором она выведена под именем Ренаты. Брюсов окончил свой роман — и Андрей Белый ушел из жизни Нины: она увлеклась Валерием Брюсовым.

В это время в Москве местом встреч и деятельности разных литературно-художественных групп был Литературно-художественный кружок. Его много ругали, но все туда шли. У Кружка была художественно-исполнительная комиссия (устройство спектаклей, концертов, выставок картин), была литературная комиссия — знаменитые «вторники» с лекциями и диспутами. Было в Москве и еще объединение — «Всероссийское общество деятелей периодической печати и литературы», куда стекались

и работали разные и разных окрасок литературные организации. У старой реалистической школы была «Среда», у символистов — «Общество свободной эстетики», там самодержавно главенствовал Валерий Брюсов. Жили эти организации разное, но по вторникам часто объединялись. На диспутах бывало, что распри разных направлений принимали шуточный характер, но бывали и жестокие словесные бои, когда председателю (им ряд лет был Гриф) приходилось прекращать диспут и опустить занавес.

Публика в Литературно-художественном кружке, кроме писателей и артистов, была очень разная, она состояла главным образом из поклонников литературы и искусства. Это не было место кутежей, ресторан был приличный, но скромный, азартная карточная игра была тоже не очень крупная. Стоявшие во главе кружка люди делали все, чтобы сохранить его литературно-художественный характер; кто-то из посетителей однажды сказал: «Карты... но все для искусства!»

Кто только из литературно-артистического мира не посещал этот кружок! Одним из заправил в нем был Валерий Брюсов. Кроме литературных дел он заведовал одно время и кухней. Часто удивлялись этому совмещению, но у Брюсова, как и у Андрея Белого, была своя «сумасшедшинка». Большой ум, талант, эрудиция — и вдруг желание следить за числом битой посуды и работой прислуги на кухне.

Роман Брюсова с Ниной носил тоже тяжелый характер, кто тому виной, я не могу судить. Мне кажется, что виной была вся эпоха, когда часто хотели превращать жизнь в роман, а Брюсов из этого хотел еще извлекать материал для своего творчества.

Эти годы как раз были временем расцвета русского модернизма. В Москве его представляли два издательства: «Скорпион» с его журналом «Весы», где издателем был Поляков<sup>4</sup>, а полновластным редактором Валерий Брюсов, и издательство «Гриф», в котором и издателем и редактором был Сергей Алексеевич Соколов — поэт Сергей Кречетов. Эти два издательства были, как писал Брюсов в шуточном стихотворении, «два врага в едином стане». Поляков был человеком очень состоятельным, Соколов — только с известными средствами. Траты на издание книг были продиктованы Сергеем Кречетову большой любовью к литературе и желанием помочь начинающим писателям. В «Гриф» была напечатана первая книга Александра Блока «Стихи о Прекрасной Даме», первая книга Владислава Ходасевича, которого тогда еще никто не знал, книга Иннокентия Анненского «Кипарисовый ларец»; там же вышло несколько книг Бальмонта (включая его чудесные «Фейные сказки»), Белого, Ауслендера, Кондратьева и других. Между прочим, в «Гриф» вышла и первая переведенная на русский книга Оскара Уайльда «Саломея», потом его

же «Де профундис» и «Замыслы» и в красивом издании «Портрет Дориана Грея» с рисунками Модеста Дурнова. В книгоиздательстве «Гриф» были изданы и первые книги Игоря Северянина — «Громокипящий кубок» и «Златолира». Всего было издано 37 книг. Издательство прекратило свою деятельность с началом великой войны 1914 года, когда Сергей Кречетов ушел на фронт<sup>5</sup>.

Когда Сергей Алексеевич начал свой развод с Ниной, чтобы жениться на мне, наши отношения с Ниной охладели, хотя развод был по обоюдному согласию. Вспоминая Нину, вижу, что в ней как-то особенно ярко отразилась та эпоха, когда из жизни делали литературу и литература творила жизнь. Не зря Николай Николаевич Евреинов написал тогда свой драматический «парадокс», как он назвал свою пьеску «Такая женщина». Девицы из разных драматических школ тогда пели:

Я не такая, я иная.  
Я вся из блесков и минут.  
Во мне живут истома рая,  
Интимность, нега и уют.

То, что у других было часто позой, у Нины было искренне. Она вся была типом литературы того времени. Смесь Гамсуна с Пшибышевским. Тяжелый, мучительный человек для близких, она сама больше всех мучилась.

Жизнь по литературе в те времена носила иной раз и комический характер. Например, в подражание героям Пшибышевского стали пить коньяк не рюмками, а стаканами — по ошибке переводчика: слово «рюмка» он заменил «стаканом». Злые языки говорили, что за свою ошибку больше всех пострадал сам переводчик, симпатичный и красивый Володя Высоцкий. Забыв, что при его слабых легких это опасно, он так увлекся, что серьезно заболел из-за желанья быть подобным героям Пшибышевского. Литература тогда не была чем-то отвлеченным, ею жили. «Быть может, все в жизни лишь средство для ярко певучих стихов!» — писал Валерий Брюсов.

Одной из самых колоритных фигур литературной Москвы того времени был Константин Бальмонт. Он оказывал большое влияние на молодых поэтов и вообще на молодежь. Его всюду читали, им увлекались, ему подражали. Он был большим другом Сергея Кречетова и когда, между своими скитаниями по всем странам света, попадал в Москву, они часто виделись. Вечно влюбленный в какую-нибудь даму, он то прославлял ее в стихах, то готов был прыгнуть ради нее в окно, а после писать:

И пять воздушных саженей  
Моих надежд не оправдали! —

прыгнув однажды, он отделался только синяками. Было это пять или меньше саженей, я не помню точно, но не ниже второго этажа<sup>6</sup>. Он был всегда в мире своих образов и высоких призраков. Тем, кто знал его в последние годы жизни, трудно судить о прежнем Бальмонте. Его конец был печальным, и он это сознавал перед тем, как окончательно сошел с ума. Помню последнюю встречу с ним в Париже. Я спросила его, что он пишет теперь, он грустно посмотрел на меня и сказал: «Что-то пишу. Но Бальмонт умер, понимаете, Бальмонт умер? Я что-то пишу, но это не важно, Бальмонта больше нет».

В Москве было иначе. Он и тогда любил выпить и часто бывал нетрезв. В таких случаях я избегала встреч с ним. Помню: вдруг телефонный звонок в шесть часов утра. К телефону подошел муж. «Гриф, я хочу к тебе приехать читать стихи!» Я запротестовала. Муж говорит: «Жена просит, чтобы ты приехал днем, Бальмонт!» На это резкий ответ: «Твоя жена мещанка!» — и трубка была повешена. Утром у дверей нашей квартиры мы нашли сига с визитной карточкой Бальмонта во рту. Значит, он все-таки приходил, но не позвонил. Зато когда Бальмонт не был под властью вина, он был необычайно интересен как собеседник. Это был человек с колоссальными знаниями в самых различных областях. Он знал чуть ли не двенадцать языков, объездил весь свет. И несмотря на свои странности, был очень верным другом. «Изменчивый, но верный», — написал он на одной из своих карточек, подаренных мужу. Однажды они шли откуда-то, по дороге встретили каких-то дам, это были знакомые мужа, Бальмонт знал только одну из них, свою поклонницу, по фамилии Жеребкова. Бальмонт тут же родил экспромт:

Перед тобой мелькают лица,  
Все лица, лица без конца.  
А предо мной лишь кобылица,  
Что носит имя жеребца.

Поэт Божьей милостью, он был и в жизни поэтом. Как-то весной приходит домой муж и говорит: «Знаешь, кого я встретил? Бальмонта. Иду по Козицкой, еще не растаявший грязный снег, падает что-то вроде дождя. Вижу, идет в своей крылатке Бальмонт и что-то кидает. Подхожу, у него корзиночка с фиалками, и он их раскидывает по пути. Увидел меня, страшно смутился: «Не смейся, Гриф, Благовещение — праздник весны, а видишь, какая скверность вокруг, вот я и решил...» Что-то детски трогательное иной раз было в этом человеке. Как верно он себя определил:

Не кляните мудрые.  
Что вам до меня?



Я ведь только облачко,  
Полное огня.  
Я ведь только облачко,  
Видите, плыву.  
Я зову мечтателей,  
Вас я не зову<sup>7</sup>.

В моей памяти Бальмонт остался таким, каким я его знала в Москве, с падениями в минуты опьянения и с подъемами в часы незабываемых бесед на самые, часто неожиданные, интересные темы. Сейчас он не в моде, но истинный поэт, каким был Бальмонт, останется жить для любящих поэзию людей.

Многие тогда говорили, что Валерий Брюсов сатанист. Насколько знаю, это не так, но тяготение к этому у него было. Он был большой эрудит по оккультным вопросам и занимался какими-то вызываниями с литератором Миропольским<sup>8</sup>. Одна книга Миропольского, «Лествица», была издана в «Гриффе». Кроме литературы Миропольский занимался еще скульптурой. Две свои вещи, которые, по его словам, он лепил в ясновидческом трансe, он подарил Грифу. Сделаны они были неплохо, но я их не любила, от них веяло жутью. Этот Миропольский вдруг начал уверять, что его преследует какой-то дух, чтобы спастись, он бросил все и уехал из Москвы куда-то в глухую деревню. Что было дальше с ним, я не знаю, в Москве он больше не появлялся.

Магия и оккультизм интересовали и волновали тогда многих. Гриф тоже очень интересовался спиритизмом, дружил с издателями спиритического журнала «Ребус», выписал даже модного тогда медиума Гузика. Я никогда не любила спиритизма и держалась от сеансов в стороне. Живое участие в них принимали Валерий Брюсов, Нина Петровская и еще кое-кто из литераторов. Сеансы с Гузиком часто бывали безрезультатными, иной раз, чтобы спасти свою репутацию сильного медиума, он пытался жулить. Но эти занятия спиритизмом еще далеки от сатанизма. Думаю, что Брюсова занимало внешнее: кутаться в тогу «черно-мага»<sup>9</sup>, вообще играть роль темного начала — и считать Белого символом начала светлого. Он писал Белому:

Светлый Бальдур, мне навстречу  
Ты как солнце взносишь лик.  
Чем лучам твоим отвечу?  
Опаленный, я поник.

Роман Нины Петровской с Брюсовым становился с каждым днем трагичнее. На сцене появился алкоголь, морфий. Нина грозила самоубийством, просила ей достать револьвер. И, как ни странно, Брюсов ей его подарил. Но она не застрелилась, а, поспорив о чем-то с Брюсовым в передней Литературного кружка,хватила револьвер из муфты, направила его на Брю-

сова и нажала курок. В спешке она не отодвинула предохранитель, и выстрела не последовало. Стоявший с ней рядом Гриф выхватил из ее рук револьвер и спрятал в карман. К счастью, посторонних в передней не было. Потом этот маленький револьвер был долго у меня.

Когда Нина всякого рода наркотиками и переживаниями душевными была доведена до тяжелой болезни, Гриф с Брюсовым решили отправить ее из Москвы на юг Франции. Они рассчитывали, что новая обстановка и юг излечат ее морально и физически. Мы с Грифом и Брюсов проводили ее на вокзал. Меня поразило, что Брюсов на дорогу подарил ей бутылку коньяку. Так Нина ушла из нашей жизни совсем. Гриф с ней переписывался и поддерживал ее материально, но они больше не встречались.

После отъезда Нины у Грифа с Брюсовым завязались очень дружеские отношения. Они даже решили издавать журнал под общей редакцией. Разрешение на этот журнал, «Врата», осталось в письменном столе Грифа, когда он уходил на фронт.

В начале моего пребывания в Москве Гриф был еще и редактором литературно-художественного журнала «Золотое руно». Издателем был один из братьев семьи крупных московских купцов, Николай Павлович Рябушинский. Журнал был поставлен на широкую ногу и печатался на двух языках — на русском и французском. Французским переводом ведали двое: московский француз Тастевен, корректуру вел специально выписанный из Парижа французский поэт Эсме Вальдор. Редактором «Золотого руна» Гриф был всего год, из-за каких-то литературных расхождений с издателем Гриф вышел из редакции. После этого он основал другой журнал, чисто литературный, «Перевал». Издателем его был Линденбаум, тоже поэт и глубоко преданный литературе культурный юноша. К сожалению, он был болезненный и с сильным пристрастием к алкоголю, что его окончательно губило. Юный издатель, состав редакции тоже был молодой — кажется, самым старым там был Гриф, а ему было тогда всего 29 лет. Но он сам себя и все в редакции считали его чуть не стариком. И настроение в редакции, несмотря на болезни издателя, было веселое: наряду с серьезным отношением к литературе ее работники были склонны к веселому времяпрепровождению. Помню строки сатирического стихотворения на издателя:

Наш издатель Липодрев  
С Вакхом очень дружен.  
Наш издатель Липодрев  
Закатил нам ужин.

Секретарем редакции был красивый юноша Гасанов, прозванный почему-то «Кассандра». Назначил он как-то свидание

одной из своих симпатий, конечно, после закрытия редакции. А в этот день как раз пришли Андрей Белый и приехавший из Петербурга Вячеслав Иванов. Поэты заспорили на какую-то философско-мистическую тему и забыли обо всем остальном на свете. Час закрывать редакцию, а они в самом разгаре беседы. Гриф в кабинете спокойно просматривал рукописи за столом, а Кассандра в ужасе из-за своего свидания. Прервать беседу такого почтенного и уважаемого гостя, как Вячеслав Иванов, Гриф считал неудобным. Часы шли, а спор не прекращался. Вдруг Гриф услышал, как чихнул один из собеседников, потом другой, наконец оба вместе, дальше пошел сплошной чих. Гриф заподозрил неладное — Кассандра смотрел смущенно. Занятые своими мыслями, поэты-философы ничего особого в своем чихании не усмотрели; выругав, как полагалось, скверную погоду, прекратили спор и, попрощавшись, покинули редакцию, Кассандре же пришлось еще выветривать чихательный порошок. Гриф все же пожурил его за ребяческую выходку, хотя сильно бранить не хватало духу: понятно, что опаздывать на свидание не полагается. Кассандра оправдывался: «Ведь они без этого всю ночь проспорили бы, а это же совсем безвредно».

Тут же, в редакции, ближайшие сотрудники писали пародии. К сожалению, я многие забыла. Запомнила на знаменитые стихи Сергея Городецкого «Стоны, звоны, перезвоны»:

Кочки, почки, перекочки,  
Кочки мохи, кочки пни.  
Веселы мои кусточки,  
Кустокочки зелены.  
Ноги вымыть добела —  
Мать игуменья велела  
У ворот монастыря  
Не шататься зря.  
Ах какой веселый малец!  
Очень ласковый такой.  
Он казал мне чертов палец.  
Где мой девичий покой?

Или еще на городские стихи Андрея Белого:

У ворот большого дома  
Все давным-давно знакомо,  
А приятно погулять.  
И лакеи и швейцары  
Курыт барские сигары —  
Господа, ни дать ни взять!

Пародии были дружеские, никого не обижали и писались и воспринимались весело, как забава.

Больной издатель «Перевала» Линденбаум очень ласково

относился ко мне. Он посвятил мне ряд стихов, все они были грустные и говорили о близкой смерти, которую он предчувствовал:

Темной ночью умру я  
И не увижу тебя.  
Гаснут вечерние зори,  
Близится сумрак ночной.  
Друг мой, и в счастье и в горе  
Я неизменно с тобой.

Предчувствия его не обманули: журнал «Перевал» просуществовал только год и за смертью издателя закрылся.

Это были годы первых гастролей в России Айседоры Дункан и ее влияния — не только на танцы. Молодые девицы в Литературном кружке стали одеваться в нечто вроде туник. Часто эти туники, из-за недостатка ли средств, а иногда и из-за отсутствия вкуса, бывали очень курьезны. Влияния этого не избегли и более серьезные люди: Максимилиан Александрович Волошин, например, стал в Крыму на своей даче в Коктебеле носить греческую тунику и сандалии на босу ногу, а свою пышную рыжеватую шевелюру сдерживать золотым обручем. Красивые черты лица, густая борода — он был похож на Зевса Громовержца, как говорили его поклонницы. В Москве открылся ряд танцевальных школ по системе Айседоры Дункан. Так как в них уделялось много внимания общей пластике и движениям рук, я тоже решила поступить в одну такую школу.

В это время на нашем с Грифом горизонте появилась еще одна своеобразная фигура Москвы: граф Алексей Алексеевич Бобринский. Он тоже основал школу, в которой по изображениям на греческих вазах восстанавливал пляски и религиозные ритуалы Эллады. Я поступила к нему, меня интересовала не только пластика, но и мистическая сторона ритуалов. Алексей Алексеевич Бобринский участвовал в раскопках в Греции и привез оттуда много ценных вещей. Мне он подарил светильник и кувшин для жертвенных ритуальных возлияний. Кувшин разбился при переездах, а светильник я хранила, он погиб со всеми моими вещами в Берлине.

Крупный, с правильными чертами лица, темной окладистой бородой, когда Бобринский надевал греческое одеяние, то был воплощенным эллином. К сожалению, в его школе я пробыла недолго, он вскоре заболел, и занятия прекратились. Во время его болезни ко мне неожиданно приехал Александр Александрович Ленский, сын артиста Ленского, скульптор, и от имени графа Бобринского просил поехать с ним навестить больного. Я поехала. Бобринский лежал в постели, лицо его сильно изменилось. Я знала, что болезнь смертельна, знал ли он это сам, я не знаю, думаю, что знал. Он вдруг стал просить меня тут же,

в его комнате, проделать погребальный ритуал. Я была поражена, но его настойчивой просьбе не могла отказать. У него нашелся запасной хитон и пеплум. Еле сдерживая слезы, я воспроизводила ритуал. Что он переживал, я не видела: была погружена в своего рода молитву, как он меня учил тому.

Алексей Алексеевич как-то даже восторженно благодарил и сказал, что теперь умрет спокойно. В это время мимо полуоткрытой двери по коридору проходила его жена. Она не сочувствовала его увлечению Грецией и, видя происходящее, проговорила: «Не могут без комедии!» Почему-то в Москве ее звали «товарищ Варвара». Может быть, она думала, что я исполняла ритуал по своему желанию? Больше Бобринского живым я не видела. Куда делись его коллекции, не знаю.

В этих религиозных ритуалах много глубокого и красивого. Однажды я воспроизводила один из них в присутствии поэта Александра Кондратьева, знатока эллинской культуры, который так хорошо перевел на русский язык нашумевшую книгу Пьера Луиса «Песни Билитис». Он посвятил мне стихи:

К вам посылаю мой стон, небожители,  
Полные страстной тоски,  
Две к вам воздетых с мольбой захотите ли  
Женских отринуть руки? <sup>10</sup>

С этими ритуалами был связан один трагикомический случай в моей жизни. Многие находили, что они выходят в моем исполнении неплохо, вероятно, поэтому приехал раз ко мне журналист Сергей Саввич Мамонтов, сын знаменитого Саввы Ивановича Мамонтова <sup>11</sup>, и предложил участвовать в одном из вечеров в Литературном кружке. Исполняя ритуал, я должна была читать «Молитву Афродите» — стихи Сафо в переводе Вересаева — под музыку композитора Василенко и на фоне декорации, которую напишет Поленов. Я была в восторге! Подумать только, я, начинающая актрисенка, — и такие киты, как Поленов, уже известные имена — Вересаев, Василенко! Я старательно выучила стихи, ритуал прорепетировала и попросила дать репетицию. Василенко встретился со мной, проиграл мою тему и предупредил, что до и после он будет еще играть другое на эту же тему, но меня это не касается, я на это время должна замереть в какой-либо соответствующей позе. В репетиции этой музыки он мне отказал: «Некогда!» Наставить я не посмела.

Пришел вечер спектакля. Я была, конечно, в страшном волнении. Декорации Поленова чудесны, но на небольшой сцене стояла откуда-то привезенная Поленовым очень большая статуя Афродиты. И в стихах говорилось, что ночь и темно, я должна идти со светильником в руках, а к своему изумлению я видела на сцене полное освещение. Мне сказали, что без этого

обидится Поленов: он велел, чтобы был полный свет, иначе пропадут декорации, публика, дескать, и так поверит, что темно, если я буду читать хорошо. Я огорчилась. Волнуясь, выхожу на сцену, играет музыка, но не на мою тему, я замерла и жду довольно долго. Меня охватывает ужас. Но вот моя тема, я читаю, исполняю ритуал — и снова музыка, я замираю, но музыка длится, как мне кажется, бесконечно... я в полном отчаянии, хотелось бы бежать со сцены, но нельзя, получится скандал. Наконец, я могу подняться с колен и бежать. На аплодисменты не вышла, а бросилась в уборную и горько там рыдала. Кто-то тронул меня за плечо. Передо мной Сергей Саввич и еще среднего роста пожилой господин с седой бородкой. Это был Савва Иванович Мамонтов. Он ласково взял меня за руку: «И читали вы неплохо, и движения у вас правильные, и руки красивые, а что плачете сейчас — это хорошо, значит, переживаете и любите вашу работу, а неслаженность постановки пустяки». Я слушала, как зачарованная, ободряющие слова этого большого человека, давшего столько русскому искусству. Домой я ехала уже более или менее успокоенная. Что же, еще одно испытание на артистическом пути пройдено, они учат меня.

Вскоре после нашей свадьбы с Грифом я познакомилась с одним из примечательных лиц литературного мира — с Федором Сологубом. Еще до знакомства я много о нем слышала. Говорили тогда о его романе «Мелкий бес», имевшем большой успех. Знали его все как преподавателя какой-то гимназии Федора Кузьмича Тетерникова. Жил он в Петербурге замкнуто, со своей сестрой, старой девой, дамой пожилой, одетой во все темное, малоразговорчивой, любезно угощавшей чаем немногочисленных посетителей. Сологуб обычно принимал гостей в кабинете, обставленном мрачной безличного вида мебелью, за письменным столом, над которым висел «портрет» сатаны. Полутьма и обстановка кабинета автора «Мелкого беса» производили неуютное впечатление, посетителям мерещилось, что где-то здесь шныряет «недотыкомка».

Я знала о таком Федоре Сологубе, когда впервые встретила с ним. Седобородый старик, наглухо застегнутый во все черное, неразговорчивый, на лице ироническая усмешка. Говорили, что он сатанист, и это внушало жуть и в то же время интерес. Среди литераторов его таинственная фигура в связи с его полными темных намеков стихами пользовалась несомненным признанием и почитанием. Быть сатанистом в те времена было интересным, загадочным: придавало новые краски.

Муж пользовался большой симпатией Федора Сологуба, и потому, приезжая в Москву, он всегда был нашим гостем. Они с мужем говорили о всяких делах, а я, как хозяйка, лишь «поддерживала разговор».

Прошло некоторое время — и вдруг сенсационный слух: сестра Федора Сологуба умерла, он бросил службу и женится. Дальше шли слухи, один невероятнее другого: женится Федор Сологуб на переводчице Анастасии Чеботаревской, они сняли хорошую квартиру и приобрели розовую мебель. Подумать только: «сатанист», а женится и заводит розовую мебель! «Еще, чего доброго, и образа заведет!» — острил кто-то из знакомых.

Федор Сологуб приехал с женой в Москву. Они пришли к нам. Я его не сразу узнала: он сбрил бороду, оделся в обычный пиджак и даже надел пестрый галстук. Помолодел он лет на двадцать, стал разговорчивым. Рядом с ним средних лет, кругленькая, симпатичная Анастасия Николаевна. И они все время обменивались ласковыми взглядами, улыбками, видимо, очень довольные друг другом. С этого дня Сологубы стали и моими друзьями. Помню строки из одного письма Анастасии Николаевны ко мне: «Я простужена, лежу. Но болеть мне так уютно, окруженной цветами, конфетами и заботами Федора Кузьмича».

Таинственность, окружавшая Сологуба, исчезла, его творчество приняло несколько другую окраску. В Александринском театре была принята его пьеса «Заложники жизни». Театр Незлобина в Москве решил ставить переделку его романа «Мелкий бес». Тут Федор Кузьмич оказал мне большую услугу, рекомендовав меня Незлобину на роль Дарьи, где надо было петь и танцевать. Я в то время играла в Киеве, и попасть в Москву, в такой театр, как Незлобина, было для меня большой радостью. После этого Анастасия Николаевна сочла меня находящейся под ее покровительством. Это имело много приятных сторон, но иногда было и очень затруднительно. Анастасия Николаевна, при ее очень ласковом и добром отношении ко мне, была человеком властным, она считала, что я должна жить, одеваться и говорить по ее вкусу, что часто не совпадало с моими желаниями и вкусами. Чтобы не обидеть ее, приходилось лавировать, что не всегда удавалось. У Сологуба была хорошая квартира с гостиной вроде залы, где по стенам стояли золоченые стулья, обитые розовым атласом, так смутившим литературный мир. Довольно часто у них бывали вечера, на которые приходило много писателей, артистов. Читали стихи, прозу, пели, танцевали. Когда я оказывалась на таком вечере, то обычно читала стихи Федора Кузьмича, конечно, по выбору Анастасии Николаевны.

Один такой вечер я особенно запомнила. Было много народа. Когда я пришла, танцевал очень известный в артистических кругах Петербурга юноша Поздняков. Танцевал в стиле Дункан; красивое тело было прикрыто только замотанным на бедрах муслином. Движения были пластичны и красивы. И вдруг Анастасии Николаевне пришла мысль заставить танце-

вать и меня, тоже в стиле Дункан. Мои протесты, ссылки на то, что нет подходящего костюма, не имели успеха: она надела на меня какую-то свою рубашку, перепоясала пестрой лентой и настаивала, чтобы я танцевала, да еще что-нибудь вакхическое. Отказать — значит обидеть, пришлось согласиться.

И я перед строгой, изысканной публикой стала скакать в этой дикой рубашке. Редко в жизни я ощущала такой стыд. С ужасом смотрела я на окружающую публику; помню почему-то сидевшего на полу по-турецки Мейерхольда, который, как мне казалось, неодобрительно качал головой и улыбался. Когда я кончила свое постыдное «козлование», мне, конечно, из вежливости похлопали, а я бросилась переодеваться и грустила, что еще надо будет выходить к ужину. После ужина я решила уйти.

В те годы всегда было кому-нибудь со мной «по пути». На этот раз «по пути» оказалось Николаю Николаевичу Евреину <sup>12</sup>. До конца своих дней Н. Н. был исключительно интересным человеком и собеседником. А тогда он был в расцвете своих сил и дарований, полный новых театральных идей и планов. О моем вакхическом «козловании» Евреинов ничего не сказал, но, может быть, в связи с ним стал убеждать побывать на «афинских вечерах», которые устраивала Паллада Богданова-Бельская <sup>13</sup>. Николай Николаевич уверял, что ничего такого, что было бы мне неприятно, я там не увижу, а там есть много занятого и я встречу ряд интересных людей. Я обещала пойти. Час был поздний, и мы с Николаем Николаевичем долго бродили по пустым ночным улицам Петербурга. Гулять и беседовать с блестящим режиссером для меня, молодой актрисы, было приятно и лестно. Я навсегда запомнила эту прогулку. На «афинские вечера» Богдановой-Бельской я все же не пошла, уж очень много говорили в Петербурге об этих вечерах такого, что меня смущало. За год до смерти, в день своего рождения, в Париже Николай Николаевич вдруг напомнил мне о нашей прогулке. Мне было приятно, что и он не забыл нашу беседу и блуждание по Петербургу в ту ночь.

В следующий приезд в Петербург я заметила, что некоторые лица, составлявшие раньше общество Сологубов, у них теперь не бывают. Я спросила о причине Анастасию Николаевну, она сухо сказала: «Не хочу их видеть». Федор Кузьмич по обыкновению молчал. С ними я больше этого вопроса не поднимала, но, встретив Алексея Николаевича Толстого, раньше частого гостя Сологубов, спросила, в чем дело. Толстой со свойственным ему юмором ответил: «Да все из-за обезьяньего хвоста!» Тут уж я совсем заинтересовалась, что это за зловерный обезьяний хвост. Оказывается, литераторы устраивали маскарад. Одевались кто во что мог, Ремизов, как всегда иронически, сказал: «Мне бы только дали обезьяний хвост, вот я и буду обезьяна». А Сологубы для этого маскарада одолжили у своих знакомых



две драгоценные обезьяньи шкурки. Толстой, не смущаясь, у одной из этих шкурок отодрал хвост и прицепил Ремизову. Маскарад прошел очень весело. После Анастасия Николаевна стала просить отдать ей шкурки,— одна оказалась без хвоста. Как ни искали этот хвост, не нашли. Анастасию Николаевну возмутила дерзость Толстого, оторвавшего хвост... Одним словом, произошла ссора. Часть писателей была на стороне Сологубов, другая защищала Толстого, и дружная раньше компания раскололась. Вот откуда родились у Алексея Ремизова его Обезьянья палата и ее сановники.

С Сологубами я встретила снова уже во время мировой войны, приехав в Петербург, как и прежде, на гастроли с незлобинским театром. Последняя встреча носила несколько неожиданный характер. Я тогда начала сниматься в кино, имела успех и была увлечена своей работой. Анастасия Николаевна, считая меня по-прежнему своей подопечной, стала упрекать за это увлечение и буквально потребовала, чтобы я кино оставила. Я не соглашалась. «Если вы любите искусство, вы должны бросить это и не искать таким дешевым антихудожественным способом популярности!» В свою защиту я ссылалась на писателей и артистов, тоже сотрудничавших в кино. Она не сдавалась. «Те это делают ради заработка, а вы ради популярности!» При этой беседе присутствовала жена Леонида Андреева, которую я видела в первый раз, и резкий тон Анастасии Николаевны был мне поэтому особенно неприятен. Ссориться с ней все же не хотелось, и я, не возражая слишком твердо, постаралась лишь сократить свой визит и поскорее уехать. Попрошалась Анастасия Николаевна со мной довольно холодно.

Расстроенная, я поехала к Надежде Александровне Тэффи. Она была в своей очень уютной ярко-синей комнате, а у ее ног сидела на скамеечке очередная «рабыня», как мы называли поклонниц Тэффи. На этот раз «рабыней» была Каза-Роза, экзотического вида, с золотой браслеткой на ноге. Она очаровательно пела песенки, особенно кузминскую: «Дитя, не тянися весною за розой»; помню и на слова и музыку Тэффи, о карлике, который хранил в сундуке ее браслеты, кольца, а потом ушел и «сундучок унес».

Тэффи, увидев, что я расстроена, спросила, в чем дело. Я рассказала. Она сумела все обратить в шутку: «Во-первых, почему искать заработка лучше, чем искать популярности? А вообще, снимаетесь, имеете успех — и слава Богу, продолжайте вовсю, не смущаясь». У Тэффи получалось все так спокойно и весело, что и я успокоилась и от нее поехала в театр, играть в переведенной ею пьесе «Король Дагобер», которая шла с большим успехом.

С Сологубами я больше не встречалась. Знаю, что при советской власти им жилось тяжело и они хлопотали о выезде.

После долгих хлопот разрешение они наконец получили. Анастасия Николаевна была все время в очень нервном состоянии. Как-то она ушла из дому по предвыездным делам и не вернулась. Федор Кузьмич ждал ее, стоял накрытый на двоих стол. Она не пришла ни в этот день, ни на другой. Это было поздней осенью. Кто-то видел, как женщина бросилась в Неву. Искали — не нашли. А Федор Кузьмич все ее ждал, говорил, что она вернется. Жить одному было трудно, его приютила семья знакомого художника, жившая на другом конце города. Весной дети художника прибежали и сказали, что к дому приплыла льдина, а в ней женщина. Это оказалась Анастасия Николаевна. Ее вынули из льдины и похоронили. Больше Федор Кузьмич не ждал: она вернулась к нему. Так мне рассказали. Я в это время в Петербурге не была и не могу ручаться за слышанное. Знаю, что мистика в СССР не в ходу, говорить о таинственных вещах не рекомендовалось. Сурово и одиноко закончил свои дни Федор Сологуб.

В Москве, вернее, под Москвой сохранялся еще перед революцией пережиток старых лет — ямщицкое сословие. Было оно немногочисленно, но довольно строго держало свой особый уклад в жизни, уже сильно ушедшей от прошлого.

Меня познакомила с этим сословием поэтесса Любовь Столица, урожденная Ершова. Сейчас о ней не вспоминают, а прежде ее имя часто встречалось в журналах и газетах. Я не литературный критик и не берусь судить о художественной ценности ее произведений, я просто любила и люблю ее легкий, глубоко русский стих. Почему-то ни у кого я не чувствую такого яркого, сочного описания Москвы, как у Любви Столицы:

Вот она пестра, богата,  
Как игрушки берендейки.  
Русаки и азиаты,  
Картузы и тибетейки,  
И роскошные франтихи,  
И скупые староверки,  
И повсюду церкви, церкви  
Ярки, белы, звонки, тихи.

Помню вечера «Золотой грозди», которые она устраивала: приглашения на них она посылала на белой карточке с золотой виноградной кистью сбоку. В уютной квартире выступали поэты, прозаики со своими произведениями, в числе их и хозяйка. В платье наподобие сарафана, на плечи накинут цветной платок, круглолицая, румяная, с широкой улыбкой на красивом лице. Говорила она свои стихи чуть нараспев, чудесным московским говором. Под конец вечера обычно брат хозяйки пел ямщицкие песни, аккомпанируя себе на гитаре. И над всем этим царил дух широкого русского хлебосольства. Не богатства, не

роскоши, а именно хлебосольства. Это были приятные вечера, давно канувшие в вечность, как и вся тогдашняя московская жизнь с ее причудами и особенностями.

Говоря о своих друзьях из литературного мира, я с особой благодарностью вспоминаю Вячеслава Иванова. Не могу сказать, чтобы нас связывала дружба: это было скорее отношение старшего к младшему, но отношение, полное ласки и доброжелательства. Я находила у него ответы на волновавшие меня вопросы искусства и религии. Вечерами я всегда была занята в театре и потому приходила к нему на «башню» к пяти часам дня, когда он вставал: он жил и работал ночью. Их квартиру называли «башней»: она была высоко и одна комната в ней с круглой стеной.

Вячеслав Иванов в пять часов дня пил утренний чай. Хозяйка за столом — его красивая падчерица, Вера Шварсалон, на которой он после женился. Часто был на этом чае и поэт Михаил Алексеевич Кузмин, снимавший у них комнату. Говорили о многом и о многих, Иванов всегда мягко и доброжелательно. Конечно, были поэты, особенно близкие ему по духу, такие, как Андрей Белый, Блок, но и о других я никогда не слышала от него ничего злого. Наши личные с ним беседы мы вели в его рабочем кабинете. Много нужных советов он мне дал, некоторым из них я следовала всю жизнь. Мне понятно, что последний этап он провел в Риме, где почти до последнего дня своей жизни работал как поэт и мыслитель; вся его поэзия — своего рода философия в певучих строках:

Вновь арок древних верный пилигрим,  
В мой поздний час вечерним «Ave Roma»  
Приветствую, как свод родного дома,  
Тебя, скитаний пристань, вечный Рим <sup>14</sup>.

Конечно, Сологубы относились иронически к моей дружбе с Вячеславом Ивановым. «Что общего между вами, актрисой, и таким человеком, как он?» Я не задумывалась, в чем общее, просто мне были интересны и ценны общество и советы Вячеслава Иванова.

Вращаясь в литературно-художественной среде Петербурга, трудно было не побывать в «Бродячей собаке». После спектакля я всегда норовила пойти домой, но в «Бродячую собаку» мои друзья, писатель Ауслендер с женой, несколько раз меня затянули. Подвальчик был разрисован Судейкиным, в нем душно, накурено, но весело и приятно. Заранее подготовленной программы не было, но так как кабачок всегда полон художественно-литературной братией, то программы налаживались сами собой. Иной раз программа была лучше, в другой — слабее, всегда, однако, было интересно. При мне, помню, пел свои «Куранты любви» Кузмин. Голоса у него было мало, мотивы

скорее примитивны, но была своя особая, элегантная и интересная передача. Пел он, сам себе аккомпанируя на рояле:

Всех впуская, выпуская,  
Дней, ночей не досыпая,  
Я, привратница, стояла  
И ключи в руках держала,  
А любовь прошла тайком.

Читал стихи Сергей Городецкий, декламировала хорошенькая, как фарфоровая куколка, жена художника актриса Олечка Судейкина, пела Каза-Роза... Одно выступление сменяло другое, а в подвальчике было шумно, весело и время от времени раздавался голос Пронина, хозяина, приветствовавшего вновь пришедших. Недаром Кузмин сказал:

Здесь цепи многие развязаны,  
Все сохранит подземный зал.  
И те слова, что ночью сказаны,  
Другой бы утром не сказал.

Все это прошлое, когда много было и легкомыслия, но много было и таланта, искреннего, бескорыстного искания в литературе и искусстве. Теперь это — ушедший век.

С. А. Виноградов



О СТРАННОМ ЖУРНАЛЕ,  
ЕГО ТАЛАНТЛИВЫХ  
СОТРУДНИКАХ  
И МОСКОВСКИХ ПИРАХ

*Из моих записок*

На отдаленном от центра Москвы Новинском бульваре, близ особняка Шаляпина, стоял старинный деревянный домик в три окошечка. Вот уж никак нельзя было подумать, что в этом домике ютится редакция богатейшего, роскошного художественного и странного журнала. Журнал этот был «Золотое руно»<sup>1</sup>. Оказалось, что домик, будучи по фасаду в три окошечка, в глубину был довольно вместительный и в нем кроме ряда комнат был уютный салон, в котором раза два в неделю по вечерам собирались люди, близкие журналу.

Люди особенные: поэты Валерий Брюсов, Андрей Белый, Макс Волошин, Любовь Столица; приезжавшие из Петербурга Ремизов, поэт Михаил Кузмин; группа молодых тогда художников: чудесный талант Н. Сапунов, Павел Кузнецов, Арапов, Ларионов, изысканный Милиоти, Феофилактов. Последнего «открыл» мой друг Модест Дурнов<sup>2</sup>, очень талантливый архитектор-художник, который часто говорил: «Люблю красивых и талантливых людей».

Сам Модест был изящен, очень элегантный, отлично одетый, умный, смелый почти до дерзости; чуть-чуть по-японски подтянуты углы карих глаз, волнистые черные волосы, хороший рост, весь облик его был очень заметный. Часто встречал его на Кузнецком мосту, этой сердцевине Москвы, стоящим около Садовниковского пассажа с красивым плюшевым экипажным пледом на руке в «шикарный» час, когда вся нарядная и именитая Москва на Кузнецком, и остро-зорко глядящим японскими глазами на московских красавиц.

Он немного построил зданий, но то, что построил, оригинально очень. Его вокзал в Муроме совсем неожиданная вещь и менее всего железнодорожная. Какая-то фантастика даже в нем есть. Это было смело. А в Москве он построил театр «Омон», оригинальный чрезвычайно, и, если бы театр был доведен до конца, была бы красивейшая отметина в московском новом строительстве. Но у «Омона» не хватило денег, и здание осталось вчерне — в кирпиче. А я видел у Модеста

чудно написанный акварелью проект фасада театра. Весь он должен быть очень цветной, покрыт керамической блестящей облицовкой, а по бокам огромного полукруглого входа два панно — женщины в танце, тоже керамика. Самый вход должен быть по проекту залит морем огня, как ад. Театр-то ведь был кафе-шантан. Модест очень жалел, что не удалось довести до конца смелую и красивую свою затею.

Был он и поэт, его немногие напечатанные стихотворения своеобразны и жутки. Брюсов, Бальмонт считали его своим, ценили, а Бальмонт свою книгу «Будем как солнце» среди других посвящает и «твердому, как сталь, Модесту Дурнову»<sup>3</sup>.

А в своей квартире, которую он устроил в доме, им же построенном для друга своего Данилова, прокурора суда, в Левшинском переулке, самая большая комната была туалетная, зеркальная, так что видишь себя в ней со всех сторон, сильный свет ламп в ней, а стол полон всевозможными туалетными приборами и парфюмерией. И почему-то у него стояли всегда увядшие гвоздики на столе. Мастерская была уже меньше, а столовая и совсем маленькая.

Так-то вот и жил Модест Дурнов. Теперь это уже нет. Я любил бывать с ним, любил бывать у него. Всегда было с ним интересно. Очень выражена была его общая талантливость, а это ведь так притягивает. Дружили мы с ним со школьной скамьи. Великолепный акварелист-мастер, член нашего славного Союза русских художников и всегдашний участник его выставок. Отличный портрет акварельный Бальмонта написал он.

Где-то увидел Модест рисунки какого-то безвестного автора, они его очень заинтересовали. Оказалось, что рисовал их какой-то юный писец на почтамте. Дурнов разыскал его и извлек из почтамта. Это и был Феофилактов. Как-то быстро совершилось превращение из почтамтского человека в «сверхэстета». На лице появилась наклеенная мушка, причесан стал как Обри Бердслей<sup>4</sup>, и во всем его рисовании было подражание этому отличному, острому английскому графику. Сильно проявлен и элемент эротики, как у Бердслея. Эротика была главенствующим мотивом в рисунках Феофилактова. Облик его был интересен. Он все старался держаться к людям в профиль, так как в профиль был похож на Оскара Уайльда. При всей талантливости его рисунки все же были на уровне любительства и дилетантизма.

У всей этой компании молодых художников были какие-то особые ботинки с очень высокими каблуками, которыми они непомерно громко стучали, и все очень громко и очень «веско» отрывисто говорили. Точно гвозди вколачивали. Уж такой у них был стиль. В салоне редакции стуков не слышно было, там все было в коврах и как-то удушливо, жарко и пряно. Ароматы самых тончайших вин, ликеров,

шампанского с дымом дорогих папирос и духов в небольшом салоне несколько удушали. Кузмин в жилете из золотой парчи сопровождал себя на рояли и пел — как-то без всякого мотива свои «стансы». И сейчас еще помнятся отдельные фразы его: «Мой чуткий слух пронзил петух...», или: «Приходите ко мне с Сапуновым — я буду новым...», или: «Не люблю я Вены, я боюсь какой-то измены...» («Вена» — это артистический ресторан на улице Гоголя в Петербурге).

Читал новые свои стихи Валерий Брюсов, не читал, а пел стихи свои Андрей Белый, читали и другие. Много беседовали, много пили тонких вин, шампанского, выдержанных коньяков из фужеров и рюмок на длинных ножках. Так как журнал печатался на русском и французском языках и на обложке название журнала было также и французское, принято было по-французски приговаривать при питье: «Вив ла туазон д'ор»<sup>5</sup>.

Внешность журнала была необычна: излишне большой размер книги, почти квадратный по форме, обложка украшена рисунком, каждый номер разным, иногда довольно странным; рассылался журнал подписчикам перевязанным золотым шнуром. Вначале журнал был со многими нарочитостями, озорной, но потом отстоялся, и достаточно сказать, что были номера, посвященные прекрасным художникам, как великий Александр Иванов, Врубель, Нестеров, с очень глубокой статьей — характеристикой В. В. Розанова и много других.

Портил иногда книги Павел Кузнецов<sup>6</sup>, которого было очень много помещаемо, а он не всегда был хорош, но его как-то особенно любил издатель. Кузнецов все рисовал каких-то недоношенных, еще «нерожденных младенцев». Но наряду с этими неприятными вещами у него были чудесные, как «Голубой фонтан» (Третьяковская галерея) и др.

Самым очаровательным талантом из этой тогда молодой плеяды художников был Сапунов, трагически погибший: он утонул, катаясь с Кузминым в лодке на взморье в Петербурге. Кузмин как-то спасся, а Сапунов пошел ко дну<sup>7</sup>...

Издатель журнала — богатейший человек, мой друг-приятель — Николай Павлович Рябушинский со вкусом и красиво проживал свои наследственные десять миллионов золотых рублей. В Петровском парке у него была богатая вилла «Черный лебедь». Стилизованное изображение черного лебедя было на всем — на фарфоре сервизов, на хрустале, на стекле, на всяком белье. Был лебедь и на фронтоне виллы.

Помню, в замерзшей, голодной, обовшивевшей Москве 20-х годов на Смоленском рынке в разном барахле увидел я несколько тарелок и хрусталь с черным лебедем — так мне близким. Нелепо было видеть это...

В вилле был большой холл и в нем огромный фриз — роспись Павла Кузнецова «Нерожденные младенцы». Неприят-

ный фриз. Зато были хорошие картины только что вошедшего в славу Ван-Донгена и особенно драгоценны несколько Ван Гогов и других мастеров. При вилле был очень большой яблоневоый сад, обнесенный каменной стеной, у которой были большие клетки для диких зверей, но зверей пока не было, но были другие — затянутые проволочными сетками, в них масса была экзотических и райских птиц красочного оперения, порхающих по деревьям...

Любил и умел Николай Павлович устраивать пиры-праздники, и в первую весну «Черного лебедя», когда буйно зацвел яблоневоый огромный сад, был устроен «Праздник яблоневого цветения». Элегантная Москва, много красивых женщин съехало на пир этот. Ну уж, конечно, все было сделано так богато, так пышно, что, кажется, уж и не придумать ничего лучше и изысканнее. Обед был сервирован на огромной открытой террасе, выходившей в цветущий яблоневоый сад. Это же было действительно чудесно! А когда стемнело — то вдруг все цветущие деревья засветились маленькими разноцветными огнями и еще меньшие огоньки светились в густой весенней траве между яблонями, как светлячки. Даже я, близкий к Коле, не знал о приготовленной иллюминации. Это было волшебно. По всему саду были сервированы небольшие столы, и пировали до утренней зари в благоухающем, цветущем саду. Под яблонями около столиков были пущены прыгающие, ползающие, летающие заводные, вывезенные из-за границы кузнечики, лягушки, бабочки, ящерицы, пугавшие дам, а это еще прибавляло веселья. Игрушечками кто-то невидимо заведовал.

Николай Павлович похож был на доброго, молодого, незлобивоого лесного бога Пана. Пышные, волнистые, русые волосы, голубые глаза, усы были уничтожены, а борода довольно длинная, холеная, «ассирийская». Одевался он замечательно. Пирь и праздники очень шли к нему, и устраивал он их действительно красиво и талантливо.

По случаю годовщины существования «Золотого руна» в начале января был устроен банкет в «боярском» кабинете «Метрополя». Посредине, в длину огромного стола, шла широкая густая гряда ландышей. Знаю, что ландышей было 40 тысяч штук, и знаю, что в садоводстве Ноева было уплачено 4 тысячи золотых рублей за гряду. Январь ведь был, и каждый ландыш стоил гривенник. На закусочном огромном столе, который и описать теперь невозможно, на обоих концах стояли оформленные ледяные глыбы, а через лед светились разноцветные огни, как-то ловко включенные в лед лампочки. В глыбах были ведра с икрой. После закусочного стола сели за стол обеденный. Перед каждым прибором было меню и рядом подробный печатный отчет о журнале. Оказалось, что «Золотое руно» дало убытку 92 тысячи рублей за первый год.



Банкет был многолюдный, но никого посторонних журналу не было. Люди были все талантливые, но очень разные, и вид их тоже был различен. Мы были в отличных фраках. Валерий Брюсов в своей «форме» — длинном черном сюртуке, всегда застегнутом. Сюртук Брюсова действительно как «форма» его был. Типично Брюсов передан в чудесном портрете Врубеля, сделанном для «Золотого руна». Это одна из последних и очень высоких работ М. А. Врубеля. На портрете Брюсов, по-моему, гораздо значительнее, чем он был. Врубель вложил свою великость в портрет. Было несколько дам, и была молодежь — «богема» — в разноцветных пиджачках и в оттопанных сзади штанах, кончающихся бахромой. Но все были независимы, горды, смелы. Потому должно быть, что талантливы и молоды.

Много было говорено речей очень своеобразных. Много говорил Брюсов, глядя по обыкновению мимо, куда-то в пространство. Говорил Андрей Белый, — напевая, что говорил — понять невозможно. Брюсов в ту пору царил в журнале, так что издатель и за ним и некоторые еще обращались иногда к Брюсову, называя «учитель». Говорила «богемная» молодежь, говорили дамы, говорил издатель, а между речами аршинные стерляди, разукрашенные фазаны и иные изысканности и шампанское, шампанское обильно. Долго пировали, наконец стала нарушаться стройность стола, многих одолела истома, стали отходить от стола в мягкие кресла, курили и пили. Помню совсем юного поделеповатого скульптора с не очень хорошим лицом, талантливого, оригинального в творчестве своем. У него-то особенно сильно оттоптаны сзади штаны были и кончались бахромой. Забавно было, как он, разомлевший, развалившись в кресле, в третьем часу ночи все просил себе теплую ванну. Метрдотели убеждали его в невозможности ванны, а он все негромко, изнеженно тянул свое — «теплую ванну мне, теплую ванну» — да так и заснул в кресле.

Одна из дам, очень красивая, высокая, молодая, стройная, с волосами цвета льна, с длинной красивой шеей, на которой, говорили, она носит иногда как ожерелье наученного живого ужа, в черном бархатном платье, пошла вдоль стола, горстями срывая с гряды, как траву, душистые ландыши в подол платья, искалечила всю грядку и с трех балконов, выходящих из «бойрского» кабинета в общий зал ресторана, стала бросать ландыши на столы ужинающих внизу недоумевающих людей. Полон подол разбросала красавица светлокудрая дивных цветов.

Николай Павлович распорядился, чтобы не было ни в чем отказа остающимся, и мы уехали с ним в «Черный лебедь». В вилле была «бабушкина комната», в которой я иногда ночевал. Конечно, никакой бабушки не было, да и «Черный лебедь» только что построен был. Но комната была действитель-

но такой, точно давно и долго в ней жила бабушка. И божница, и ширмочки старинные, и сундуки-укладочки, и бисерные всякие вышивки, и вся нехитрая мебель красного дерева — ну совсем, совсем все бабушкино. Контрастно было с фризом из «Нерожденных младенцев» Кузнецова и картинами Ван-Донгена и Ван Гога.

Собственно, хотя в «Золотом руне» сотрудничали и мы — некоторые «старики», но, конечно, лицо журнала составляла главным образом та молодежь, о которой я уже говорил. Вся плеяда этих талантливых и очень оригинальных художников вышла из выставок «Голубая роза», которые основал тот же Николай Павлович Рябушинский, издатель «Золотого руна». Помню первую выставку (их всего-то было две), но течение «Голубой розы» вошло в русское искусство и было такое самобытное, особенное, свое, не похожее ни на предшествующий дягилевский «Мир искусства», ни на родившийся затем «Бубновый валет». Искусство «Голубой розы» было какое-то изнеженное, недосказанное, эфемерное и очень в большинстве красивое. Название «Голубая роза» как-то совершенно выражало его. Такой дивный, такой редкий художник, как Николай Крымов, родился в «Голубой розе» и уж потом, все ища новых путей в искусстве, резко меняясь, отлился в форму, далекую от эфемерности «Голубой розы», и в нашем Союзе русских художников уже трудно было узнать Крымова, светлого, лучезарного, мягкого, прежнего. Первая выставка «Голубой розы» была сенсацией в московском мире искусства. И устроена она была с такой исключительной изысканностью красоты, что подобного не видали никогда. Благоухала выставка цветами, невидимый оркестр как-то тихо и чувственно играл, красота нежных мягких красок в картинах, наряднейшая, красивая толпа, небольшой размером каталог, на обложке его по рисунку Сапунова голубая роза, нежная, блеклая,— все так было стармонировано, чарующе, так цельно, красиво и радостно, да и было это весной, что так хотелось жить, жить, красиво и радостно жить!..

Николай Павлович — очень одаренный художник-самородок. Много писал красками, и вообще — человек талантливый. Его вещи неожиданны и фантастичны, и в них огромная фантазия была. Вот уж ничего банального, ординарного, надоевшего в них не было. Помню, особенно нравилась мне картина Коли на выставке «Голубая роза» — «Бог трав и лугов». На картине какой-то с загадочным выражением и веселостью в лице зорко-зорко глядящий человек, голенький, полногрудый, почти по-женски, и без ушей, по пояс в нежной утренней росистой траве — в лугу. Картину купил Алексей Викулович Морозов, владелец единственного по богатству музея старинного фарфора и картин-панно М. А. Врубеля на тему «Фауст». Много путешествуя по всему миру, бывая и в странах экзотических

(живал даже в хижинах, устраиваемых дикими племенами на деревьях), он оттуда черпал свои впечатления, а потому картины его были оригинальны до чрезвычайности. Было чуть-чуть сближение с превосходным художником Гогеном, работавшим на островах Таити у чернокожих. Коля участвовал на выставках «Голубой розы» и в «Золотом руне». В журнале печатал он и свои стихи. Помимо «Голубой розы» была им устроена и выставка французских художников. Замечательная выставка по подбору вещей и по тому, как она дивно была устроена...

Конечно, вся эта яркость жизни Николая Павловича была популярна у Москвы, была на языке — многие злобно шипели, осуждали, других радовала, иных забавляла, а его ни то, ни другое совершенно не трогало... А сколько красивейших женщин было с его жизнью связано! Да ведь какой красоты-то! Помню, в Биаррице я встретился с его только что покинутой им первой женой. Боже мой, до чего же она была прекрасна и печальна.

Она так была трогательна в своем одиночестве и печали, что я все время — месяца полтора, пока жил в Биаррице, — не оставлял ее и всюду сопровождал. Да и надо правду сказать, льстило мне, что дама моя такой невиданной красоты. Даже в местной газете было напечатано о русском художнике в обществе красивейшей женщины. Конечно, Коля ее обеспечил совершенно.

Помню, мы приехали с ней на бой быков в Сан-Себастьян, шли по трибунам на свои места, и, проходя мимо ложи короля Альфонса XIII, я увидел, как молодой король воззрился на очаровательную даму мою. Я глубоким поклоном ответил на это. Вернувшись в Москву, я рассказывал Коле о моей встрече в Биаррице с его бывшей женой и говорил ему, как она прекрасна и как глубоко печальна, и почему же Коля оставил ее?

«Ах, Сережа, я же знаю, что она исключительно красива и доброго сердца, но... знаешь ли... мала... мала...» Действительно, Мария Осиповна была миниатюрная, изящнейшая красавица...

Все жены и не жены, с которыми затем расставался добро и незлобливо Николай Павлович, были всегда щедро, богато обеспечиваемы им. Помню его жену — раскрасавицу испанку. Разведясь с ней, он помимо всего подарил ей дивную виллу на Ривьере с гаражом и с машиной в нем, а в машине все металлические части были из серебра...

Дивился я его энергии. Казалось, что в темпе его жизни что-нибудь сделать прямо невозможно, а оказывается, у него мастерская была полна картинами, и мы в ней иногда работали вместе. Помню, в мастерской на диване сидела большущая, нарядная и какая-то выразительная кукла. Мы с Колей ее

писали. Я свой большой этюд оставил у него и забыл о нем. Каково же мое удивление было, когда я после страшных и долгих лет, приехав в Париж, увидел у него в парижской квартире мою куклу. Чудом каким-то, убегая из России, перевез он и мой этюд. Как воскресло в памяти, глядя на этюд, все пережитое, радости, молодость — все безвозвратно ушедшее.

Таяли миллионы, но в темпе жизни Николая Павловича ничто не менялось. Только журнал стал печататься на одном русском языке — без французского, да книги журнала поэтому стали меньше размером и не перевязывались уже золотым шнуром. И точно апофеоз своей красивой жизни устроил Коля волшебный «праздник роз». Было это в половине лета. В приглашениях был указан час отхода специального поезда Н. П. Рябушинского в подмосковное имение «Кучино». Поезд составлен был из нескольких салон-вагонов.

На вокзал к поезду съехалась наряднейшая, красивая Москва. Когда я приехал на вокзал, меня встретил управляющий Николая Павловича, такой тревожный, и сообщил, что ночью, едучи домой в «Черный лебедь», экипаж Коли в парке столкнулся с другим. Ник. Павл. выброшен был на шоссе, его переехали, и теперь он лежит, при нем доктор, и еще неизвестно, каковы результаты, на празднике быть он не может и очень просит меня принять роль хозяина, до приезда в Кучино никому не сообщать, что он на празднике не будет.

Мне совсем эта роль не по душе была, и очень порадовался я, увидав в Кучине, что там был один из братьев Николая Павловича, который и сообщил приехавшим гостям о несчастье и что хозяина праздника не будет с нами. Среди приезжих гостей было некоторое смятение, но потом оно быстро улеглось, уж очень впечатлял вид всего приготовленного для праздника.

К приходу поезда на станции гостей ожидали ечкинские тройки — много, много троек. На тройках нарядные гости поехали в Кучино. Усадьба была близко. От станции до парка была устроена аллея из пальм. Перед домом-дворцом — а дворец-то строен Растрелли (имение Кучино прежде было гр. Разумовских) — на поляне-газоне стояло несколько павильонов-беседок, все столбы их густо увиты темно-красными розами, крыша-потолок из красной, в тон роз, с белой материей в складку радиусами к центру. А внутри по потолку — радиусы от столбов из роз густо, густо собраны в висящие корзины и из них гроздьями свисали чудесные цветы. На всех столах также были только розы, и все — темно-красные. В павильонах были сервированы отдельные круглые столы — много их. Художественное меню, конечно, также украшено розами. Несколько оркестров, не мешая один другому, мягко играли беспрерывно. Скоро совсем забыли, что пир без хозяина.

Оживление было чрезвычайное, повышенное, праздник удался и волновал роскошью и необычностью. Вдруг разнеслась весть, что Николай Павлович едет. Слышны стали гудки автомобиля. И правда — скоро показался его темно-красный открытый сильный «мерседес». Был еще оркестр из длинных-длинных желто-медных труб, сиявших на солнце, устремленных кверху, к небу. Фанфарами этих труб и был встречен Николай Павлович торжественно. Он объехал тихо все беседки-павильоны, приветствуя гостей. Вот когда он особенно похож был на Пана! В мягкой широкой фланели верблюжьего цвета, в мягкой цветной незастегнутой рубашке, без шляпы, со спутанными от ветра волосами, добрый, улыбающийся; забинтованная вытянутая нога под английским пледом, а у ноги внизу машины доктор.

В нашей беседке сдвинули теснее столы, освободили место посередине, и машина въехала в павильон. Стало еще оживленнее. Николай Павлович напевно заговорил, глядя кверху на свисающие розы. Заговорил, точно декламируя, о том, что здесь есть властительница его сердца, она его услышит, она его не оставит одного, она придет к нему, она будет с ним здесь рядом, с ним недвижимым, она слышит, слышит, слышит его, и он ждет, ждет, ждет ее, еще, еще говорил.

И вдруг из-за соседнего стола поднимается красавица и идет к машине, входит в нее, садится рядом. Лакей быстро сервирует в машине стол, и быстро украшают его розами. А за нашим столом оказался муж красавицы — черноглазый, черноусый, как цыган; так заволновался, что стало страшно — вот-вот разыграется ужасающий скандал. Мы все, соседи, из всех сил старались успокоить его, заверяя, что это же не серьезно, что Николай Павлович — «известный декадент», что это инсценировка, что не надо ничем омрачать такого небывалого праздника. Метрдотели с винами также старались успокаивать Алексея Назаровича, и он наконец утих. А пара в автомобиле, уже не обращая ни на что внимания, чокалась хрустальными звенящими бокалами с золотистым, искрящимся вином.

Все, к общей нашей радости, прошло благополучно... Были потом группами и парами прогулки по парку, возвращения в павильоны, а в них все было, чего только пожелается... и так прошел день, а затем ужин. И вот когда совершенно стемнело — зажегся фейерверк, но какой! Я ничего подобного никогда не видел. Это так было волшебно, такая была красота — чудо чудес! И долго, долго огненная сказка делала ночь эту фантастичной...

Ну а затем... растаяли Колины миллионы, и как раз вовремя, так как зажглись новые, страшные огни и сожгли краски жизни и все... Прошло много лет, я приехал в Париж уж совсем иным, не прежним рантье, а унылым беженцем. Да и Париж

стал иной — серый, не прежний — блистательный. Нашел милого мне Николая Павловича, нашел его такого же жизнерадостного, как и прежде, совсем не потерявшегося. Оказывается, он стал антикваром, и не каким-нибудь, а одним из первых, даже в Париже. Его магазин не где-нибудь, а на авеню Клебер, против отеля «Мажестик». Магазин полон самой превосходной стариной.

Отличная квартира полна его экзотическими, фантастическими картинами, время от времени он устраивает свои выставки в Париже. По ночам с его балкона видна волшебной иллюминированная Ситроеном Эйфелева башня. В квартире прекрасная, юная, 20-летняя последняя жена, русская, так любовно-ласково смотрящая всегда на Колю.

И когда он успел накопить знания и такое чутье к старине? Талант! И тут сказался талант! Не понравилось ему, что я уныл, и он стал говорить: «Что ты, что ты, Сережа, разве мы можем теряться, ведь ты же знаешь, что мы не таковы, как все, мы должны и будем иметь еще по собственному отелю» (во Франции не говорят — свой дом,— свой отель)...

Но вот и жизнь подходит к концу, а отелей своих ни у Коли, ни у меня пока нет...



Георгий Иванов

## «БРОДЯЧАЯ СОБАКА»

*Из петербургских  
воспоминаний*

«Бродячая собака» была открыта три раза в неделю: в поне-

дельник, среду и субботу. Собирались поздно, после двенадцати. К одиннадцати часам, официальному часу открытия, съезжались одни «фармацевты». Так на жаргоне «Собаки» звались все случайные посетители от флигель-адъютанта до ветеринарного врача. Они платили за вход три рубля, пили шампанское и всему удивлялись.

Чтобы попасть в «Собаку», надо было разбудить сонного дворника, пройти два засыпанных снегом двора, в третьем завернуть налево, спуститься вниз ступеней десять и толкнуть обитую клеенкой дверь. Тотчас же вас ошеломляли музыка, духота, пестрота стен, шум электрического вентилятора, гудевшего, как аэроплан.

Вешальщик, заваленный шубами, отказывался их больше брать: «Нету местов». Перед маленьким зеркалом толкуются прихорашивающиеся дамы и загораживают проход. Дежурный член правления «общества интимного театра», как официально называется «Собака», хватает вас за рукав: три рубля и две письменные рекомендации, если вы «фармацевт», полтинник — со своих. Наконец все рогатки пройдены. Директор «Собаки» Борис Пронин, «доктор эстетики гонорис кауза», как напечатано на его визитных карточках, заключает гостя в объятия. «Ба! Кого я вижу?! Сколько лет, сколько зим! Где ты пропадал? Иди! — жест куда-то в пространство. — Наши уже все там».

И бросается немедленно к кому-нибудь другому. Свежий человек, конечно, озадачен этой дружеской встречей. Не за того принял его Пронин, что ли? Ничуть! Спросите Пронина, кого это он только что обнимал и хлопал по плечу. Почти, наверное, разведет руками: «А черт его знает»...

Сияющий и в то же время озабоченный Пронин носится по «Собаке», что-то переставляя, шумя. Большой пестрый галстук бантом летает на его груди от порывистых движений. Его ближайший помощник, композитор Н. Цыбульский<sup>1</sup>, по про-

звищу граф О'Контрэр, крупный, обрюзгший человек, неряшливо одетый, вяло помогает своему другу. Граф трезв и поэтому мрачен.

Пронин и Цыбульский, такие разные и по характеру, и по внешности, дополняя друг друга, сообща ведут маленькое, но сложное хозяйство «Собаки». Вечный скептицизм «графа» охлаждает не знающий никаких пределов размах «доктора эстетики». И, напротив, энергия Пронина оживляет Обломова-Цыбульского. Действуй они порознь, получился бы, должно быть, сплошной анекдот. Впрочем, анекдотического достаточно и в их совместной деятельности.

Раз, выпив не в меру за столиком какого-то сановного «фармацевта», Пронин, обычно миролюбивый, затеял ссору с адвокатом Г. Из-за чего заварилась каша, я не помню. Из-за какого-то вздора, разумеется. Г. был тоже немного навеселе. Слово за слово — кончилось тем, что Г. вызвал директора «Собаки» на дуэль. Наутро проспавшийся Пронин и Цыбульский стали совещаться. Отказаться от дуэли? Невозможно — позор. Решили драться на пистолетах. Присмиривший Пронин остался дома ждать своей участи, а Цыбульский, выбритый и торжественный, отправился секундантом к Г. на квартиру. Проходит полчаса, час. Пронин волнуется. Вдруг — телефонный звонок Цыбульского: «Борис, я говорю от Г. Валяй сейчас же сюда — мы тебя ждем! Г. — замечательный тип, и коньяк у него великолепный».

Другой раз Пронин под руку с Цыбульским прогуливались по левой стороне Невского в людное время и пригласили всех более-менее знакомых встречных на обед в итальянский кабачок Франческо Танни на Екатерининском канале праздновать что-то из них рождение или именины. К обеду явилось человек пятьдесят. Пронин шумит, распорядится, заказывает меню и вина, наконец съедено очень много, выпито еще больше. Хозяин подает Пронину счет. Тот берет с явным недоумением. «Что это?» — «Счетик-с». Пронин читает вслух внушительную трехзначную цифру, обводит окружающих диким взглядом и вдруг восклицает: «Хамы! Кто же будет платить?»

Комнат в «Бродячей собаке» всего три. Буфетная и две «залы» — одна побольше, другая совсем крохотная. Это обыкновенный подвал, кажется, в прошлом ренсковой погреб. Теперь стены пестро расписаны Судейкиным, Белкиным, Кульбиным<sup>2</sup>. В главной зале вместо люстры выкрашенный сусальным золотом обруч. Ярко горит огромный кирпичный камин. На одной из стен большое овальное зеркало. Под ним длинный диван — особо почетное место. Низкие столы, соломенные табуретки. Все это потом, когда «Собака» перестала существовать, с насмешливой нежностью вспоминала Анна Ахматова:



Да, я любила их — те сборища ночные,  
На низком столике — стаканы ледяные,  
Над черным кофеом голубоватый пар,  
Камина красного тяжелый зимний жар,  
Веселость едкую литературной шутки...<sup>3</sup>

Есть еще четверостишие Кузмина, кажется нигде не напечатанное:

Здесь цепи многие развязаны —  
Все сохранит подземный зал.  
И те слова, что ночью сказаны,  
Другой бы утром не сказал.

Действительно — сводчатые комнаты «Собаки», заволоченные табачным дымом, становились к утру чуть волшебными, чуть «из Гофмана». На эстраде кто-то читает стихи, его перебивает музыка или рояль. Кто-то ссорится, кто-то объясняется в любви. Пронин в жилетке (пиджак часам к четырем утра он регулярно снимал) грустно гладит свою любимицу Мушку, лохматую и злую собачонку: «Ах, Мушка, Мушка, зачем ты съела своих детей?» Ражий Маяковский<sup>4</sup> обыгрывает кого-то в орлянку. О. А. Судейкина, похожая на куклу, с прелестной, какой-то кукольно-механической грацией танцует «полечку» — свой коронный номер. Сам «метр Судейкин», скрестив понаполеоновски руки, с трубкой в зубах мрачно стоит в углу. Его свиное лицо неподвижно и непроницаемо. Может быть, он совершенно трезв, может быть, пьян — решить трудно. Князь С. М. Волконский, не стесняясь временем и местом, с жаром излагает принципы Жака Далькроза. Барон Н. Н. Врангель<sup>5</sup>, то вкидывая в глаз, то роняя (с паразитической ловкостью) свой монокль, явно не слушает птичьей болтовни своей спутницы, знаменитой Паллады Богдановой-Бельской, закутанной в какие-то фантастические шелка и перья. За «поэтическим» столом идет упражнение в писании шуточных стихов. Все ломают голову, что бы такое изобрести. Предлагается наконец нечто совсем новое: каждый должен сочинить стихотворение, в каждой строке которого должно быть сочетание слогов «жора». Скрипят карандаши, хмурятся лбы. Наконец время иссякло, все по очереди читают свои шедевры.

Обжора вор арбуз украл  
Из сундука тамбурмажора.  
«Обжора,— закричал капрал,—  
Ужо расправа будет скоро».

Или:

Свежо рано утром. Проснулся я наг.  
Уж орангутанг завозился в передней...

Под аплодисменты ведут автора, чья «жора» признана лучшей, записывать ее в «Собачью книгу» — фолиант в квадратный аршин величиной, переплетенный в пеструю кожу <sup>6</sup>. Здесь все: стихи, рисунки, жалобы, объяснения в любви, даже рецепты от запоя, специально для графа О'Контрэр. Петр Потемкин <sup>7</sup>, Хованская, Борис Романов, кто-то еще — прогнав с эстрады поэта Мандельштама, пытавшегося пропеть (Боже, каким голосом!) «Хризантемы» — начинают изображать кинематограф. Цыбульский душераздирающе аккомпанирует. Заменяя надписи на экране, Таиров <sup>8</sup> объявляет: «Часть первая. Встреча влюбленных в саду у статуи Купидона». (Купидона изображает Потемкин, длинный и худой, как жердь.) «Часть вторая: Виконт подозревает... Часть третья...»

Понемногу «Собака» пустеет. Поэты, конечно, засиживаются дольше всех. Гумилев и Ахматова, царскоселы, ждут утреннего поезда, другие сидят за компанию. За компанию же едут на вокзал «по дороге» на Остров или Петербургскую сторону. Там в ожидании поезда пьют черный кофе. Разговор уже плохо клеится, больше зевают. Раз так за кофеем пропустили поезд. Гумилев, очень рассердившись, зовет жандарма: «Послушайте, поезд ушел?» — «Так точно». — «Безобразие — подать сюда жалобную книгу!»

Книгу подали, и Гумилев исписал в ней с полстраницы. Потом все торжественно расписались. Кто знает, может быть, этот забавный автограф найдут когда-нибудь... Столкновения с властями вообще происходили не раз при возвращении из «Собаки». Однажды кто-то, кажется Сергей Клычков <sup>9</sup>, похвастался, что влезет на чугунного коня на Аничковом мосту. И влез. Разумеется, появился городовой. Выручил всех Цыбульский. Приняв грозный вид, он стал вдруг наступать на городового. «Да ты знаешь, с кем ты имеешь дело, да ты понимаешь ли... Как смеешь дерзить обер-офицерским детям», — вдруг заорал он на весь Невский. Страж закона струсил и отступился от «обер-офицерских детей».

На улицах пусто и темно. Звонят к заутрене. Дворники сгребают выпавший за ночь снег. Проезжают первые трамваи. Завернув с Михайловской на Невский, один из «праздных гуляк», высунув нос из поднятого воротника шубы, смотрит на циферблат Думской каланчи. Без четверти семь. Ох! А в одиннадцать надо быть в университете.



Николай Могилянский  
О «БРОДЯЧЕЙ СОБАКЕ»

П. П. Потемкину принадлежит счастливая мысль собрать за товарищеским обедом членов и посетителей «покойной «Бродячей собаки»<sup>1</sup>. Предполагается, кажется, возродить популярный в предвоенное время «подвал», помещавшийся на углу Михайловской площади и Итальянской улицы, рядом с Михайловским театром.

Несколько слов воспоминаний хочется мне сказать здесь для тех из знавших «покойницу», кому приятно будет воскресить в памяти ее своеобразные черты, а также и для тех, кто не знал уютного подвала «Бродячей собаки», чтобы дать некоторое понятие об этом своеобразном и интересном начинании, отошедшем уже в историю.

Случайно мне пришлось играть хотя и пассивную, но все же некоторую роль при самом возникновении «Бродячей собаки», а потом быть усердным ее посетителем, особенно первого времени ее существования, и мои воспоминания дополнят некоторые из тех заметок и описаний, которые появились уже в печати.

\* \* \*

В один из ненастных вечеров осени 191...— точно не помню года, знаю лишь, что это было после 1910 года<sup>2</sup>,— ко мне вихрем ворвался мой земляк, которого я знал еще гимназистом в родном городе Чернигове, Борис Константинович Пронин, проще Борис Пронин, а для близких и просто Борис, как всегда, розовый, с взъерошенными каштановыми кудрями, возбужденный, как всегда, с несвязной, прерывистой речью и оборванными фразами.

— Понимаешь! Гениальная идея! Все готово! Замечательно! Это будет замечательно! Только вот беда — надо денег! Ну я думаю, у тебя найдется рублей двадцать пять. Тогда все будет в шляпе! Наверное! То есть это, я тебе говорю, будет замечательно.

Я был завален спешной работой, и мне давно были известны всякие проекты, планы и «замечательные» предприятия Бориса Пронина. Но сразу мелькнула мысль: за 25 рублей можно моментально прекратить беседу, которая грозила стать очень длинной, ибо Борис уже снял барашковую серую шапку и длиннейший белый шарф, но второпях забыл снять пальто — до такой степени был во власти своей блестящей идеи.

— Денег, рублей двадцать пять, я тебе дам, но скажи же в двух словах, что ты еще изобрел и что затеваешь. Только в двух словах, ясно?

— Мы откроем здесь «подвал» — «Бродячую собаку», только для себя, для своих, для друзей, для знакомых. Это будет и не кабаре, и не клуб. Ни карт, ни программы! Все это будет замечательно — уверяю тебя. Интимно, понимаешь... Интимно прежде всего.

Я вынул деньги и, вручая их Пронину, сказал:

— Выбирайте меня в члены «Собаки», но я прошу лишь одного: пусть это будет по соседству со мной, иначе не буду ходить.

— Ты уже избран, ты будешь членом-учредителем, ты будешь больше — крестным отцом «Бродячей собаки». Дело в шляпе! — И он уже бросился со всех ног в переднюю и засемянил быстро по ступенькам лестницы вниз.

Б. Пронин исчез. «Еще одно мертворожденное предприятие!» — подумал я.

\* \* \*

Вспоминаю о Пронине потому, что без Пронина какая же могла быть «Бродячая собака»! Говорю это серьезно, и даже думаю: ну если, в самом деле, возродится на берегах Сены, вместо берегов Невы, такой «подвал» опять, то как же будет с Прониным при этой новорожденной «Собаке»? И может ли вообще быть «Бродячая собака» без Пронина? Сомневаюсь.

Беспутный был он человек. Работу по театру он начал в студии у Станиславского. Одно время казалось: вот-вот в люди выйдет — приняли помощником режиссера в Александринский театр в Петербурге. Увы! недолго продолжалось режиссерство Бориса на казенной сцене — удалили за политическую неблагонадежность!

\* \* \*

И вот затеял наш Борис «Бродячую собаку».

Я и думать, конечно, забыл и о «Собаке», и о Борисе. Ведь

не в первый раз затевал он разные затеи, выдумки и предприятия, ничем не кончавшиеся.

Но вот, о удивление! получаю повестку: «собака лает» тогда-то, и адрес приложен. Борис все исполнил честно и точно. «Собаку» открыл, и открыл ее ровно по диагонали через площадь от моей квартиры.

Иду еще раньше назначенного открытия. Сам Борис, без пиджака, носится, что-то прибывает, что-то мастерит в темном, сыром подвале старого Данковского дома № 5 на Михайловской площади.

— А! Ты! Вот видишь — тут будет «сцена», — при этом указывается на три квадратных аршина помоста в одном углу подвала. — Вот, иди сюда — это комната для артистов: щель в два аршина ширины, столько же длины. Разве нам много места надо! Здесь будет камин — его еще поставят; будут трещать дрова, будет уютно! Стены пока голые, но... их распишет нам Судейкин!

«Пока» было холодно и далеко не «уютно».

Но ко дню открытия все необходимое было готово: были деревянные столы (посредине круглый — белый), некрашенные, были с соломенным сиденьем стулья, сидеть на которых было весьма «неуютно», висела «люстра» с тремя свечками на деревянном обруче, был даже «буфет», где кипел самовар и лежала колбаса для изготовления бутербродов.

Но... дорого начало!

\* \* \*

Вот «Собака» в полном блеске своего успеха и в апогее своей славы. Первый час ночи. К воротам дома № 5, у которых стоит закутаный в тулуп дворник, подъезжают извозчики, лихачи и автомобили. Съезд в полном разгаре. Нужно пробраться на второй грязный двор, чтобы открыть неудобную скользкую лестницу, по которой вы входите в «зал» «Бродячей собаки». Тесно везде: и в прихожей-клетушке, и в гардеробе — второй клетушке, и в самом «салоне», где нормально вмещалось человек тридцать — сорок, а бывало при уплотнении до ста и более.

И кто не перебивал в этом скромнейшем по размерам и по обстановке «подвале», кто не оставил в «свиной книге» — гордость Пронина — своей подписи или автографа!

И какое оживление царило на некоторых удачных ее вечерах «без программы»! Засиживались до петухов, а в Петербурге зимою петухи поют поздно.

И в дыму сигар и папирос над всем носилась вездесущая фигура Бориса Пронина. Он всех восторженно приветствовал, одних заключал в свои объятия, других целовал, третьих тащил в буфет.

К этому времени уже весь почти подвал был расписан орнаментом и фигурами в медальонах Судейкиным. Подвал подсох — посетители «Собаки» высушили ее стены своими легкими. Что случилось теперь с этой стеной живописью?

\* \* \*

Я любил больше первоначальную пору «Бродячей собаки». В этот период ее малой известности действительно там бывало уютно и приятно. Публики с улицы, всех, кто мог заплатить 3 рубля за вход на вечер с программой, еще не пускали в «подвал». Все приходящие или уже были раньше знакомы между собой, или тут же познакомились.

В этот период действительно не было программы.

Потом в подвал «Собаки» ворвалась улица. Уже об «интимности» не могло быть и речи, и многие из первых посетителей подвала стали реже заглядывать в его стены.



Георгий Иванов

## КИТАЙСКИЕ ТЕНИ

*Литературный Петербург  
1911—1921 гг.*

Петербургские редакции делились на две неравные части: журналов толстых, «идейных», и других, более легковесных и по содержанию, и по объему. О первых рассказать почти нечего. Солидная скука очередного номера «Вестника Европы» или «Современного мира» царила и в редакционных помещениях. Большая пропыленная унылая квартира, бородастые сотрудники в очках, жидкий чай с лимоном, и в редакционном кабинете — «известный критик и публицист».

Каждая редакция такого рода была, в мнении их руководителей, храмом, оплотом и т. п. В одном священнодействовал Иванов-Разумник, в другом — Львов-Рогачевский, в третьем — Овсяннико-Куликовский. Между собой редакции глухо враждовали и на сотрудников, печатавшихся и там и там, смотрели косо.

Другое дело были редакции прочие. Здесь было бесконечное разнообразие особей и видов, нравов и вкусов. И конечно, очень много забавного.

\* \* \*

Шебуев, прославившийся своим «Пулеметом», где на последней странице был воспроизведен октябрьский манифест с отпечатком кровавой руки («свиты Его Величества генерал-майор Трепов руку приложил»), отсидев в тюрьме<sup>1</sup> сколько полагалось, почувствовал себя эстетом. Это было и спокойней и более соответствовало вкусам публики — политика надоела. Но как соединить служение чистому искусству с бесдефицитностью? Шебуев придумал. Он открыл «Весну».

«Весна» был журнал страниц в шестнадцать, формата большой газеты, сложенной наполовину. На обложке была марка — голая дама, опутанная лилиями и девизами о исканиях и красоте. Формат журнала, повторяем, был очень большой. Шрифт, напротив, самый убористый и мелкий. И сплошными столбца-

ми шли стихи, стихи и стихи, напечатанные тесно, как объявления о кухарках. Были и рисунки, и рассказы, конечно, но их подавляли стихи без счету.

Несколько десятков авторов в номере, несколько сот стихотворений. Идея, пришедшая Шебуеву, была не лишена остроумия — объединить графоманов. Из тысяч «непризнанных талантов», во все времена осаждающих редакции, Шебуев без труда выбирал стихи, которые можно было печатать без особого «позора». Естественно, журнал «пошел». Поэты, которых он печатал, подписывались на журнал, распространяли его и раскупали десятки номеров «про запас». Другие, менее счастливые, тоже подписывались, не теряя надежды быть напечатанными по «исправлению погрешностей размера и рифмы», как им советовал «Почтовый ящик «Весны». Самые неопытные и робкие, не мечтающие еще о «самостоятельном выступлении», — таких тоже было много — раскупали «Весну» в свою очередь. Для них главный интерес сосредоточивался на отделе «Как писать стихи». Вел его, понятно, сам Шебуев. Под его руководством восторженные и терпеливые ученики перелагали «Чуден Днепр при тихой погоде» последовательно в ямб, хорей, дактиль, потом в рондо, газеллу, сонет. Все это печаталось, обсуждалось, премировалось, и число «наших друзей-подписчиков» неуклонно росло. Анкеты «Весны» о «Нагоде в искусстве» и т. п. тоже привлекали многих. Набор и скверная бумага стоили недорого, гонорара, конечно, никому не полагалось.

Но вряд ли Шебуевым руководил денежный расчет. Я думаю, он ничуть не притворялся, изливаясь на страницах «Весны», как дорога ему пестрая аудитория его «весенних» (так он их звал) поэтов и художников. Стоило поглядеть на его фигуру в рыжем пальто и цилиндре, на его квартиру, полную ужасных «Nu» и японских жардиньерок, прочесть какую-нибудь его «поэму в прозе» или выслушать из его уст очередную сентенцию о «красоте порока», чтобы понять, что в этом море пошлости и графомании он не самозванец, а закошный суверен.

\* \* \*

«Нива». Сотни тысяч подписчиков во всех углах России. Самый популярный из журналов. В каком имени средней руки не висела в гостинной «роскошная олеография в 24 краски» — бесплатное приложение к «Ниве» — «Бабушка с внучкой» или «Замок в Шотландии»? В чьей библиотеке не было Тургенева или Достоевского, потом, когда «хорошие писатели» все вышли, Вересаева или Л. Андреева тоже в «роскошных коленкорных переплетах». Недаром в России издается «Красная нива». Госиздат «правильно учел» вес этого имени в уме русско-



го обывателя. «Нива» — звучало гордо. Влияние ее, и прекрасное и дурное, было очень велико. Вместе с Тургеневым и Достоевским насаждалась «История русской литературы» Полевого, где почтительным внуком было отведено братьям Полевым («нет глупее до Алтая Полевого Николая, и подлее нет от Понта Полевого Ксенофонта») столько же места, сколько Гоголю и Пушкину. Насаждались «роскошные олеографии» и коленкоровые крышки, и редактор «Старых годов» Вейнер рассказывал, что даже им получались требования о коленкоровых переплетах. (Для «Старых годов»!..)

Глубокое почтение к «Ниве» было даже в сравнительно культурных кругах. Мой б. корпусный воспитатель Жерве, видный военный писатель, помню, спрашивал меня, говоря о моих литературных занятиях: «Нет, что «Аполлон». Но скажи, как ты решился первый раз пойти в «Ниву»? Как решился!»

И смешно, до чего не хитер был механизм этой машины. Во главе стояли люди, не имевшие к литературе ни вкуса, ни интереса. Сначала Светлов, известный «знаток» балета. Потом некто Эйзен, очень корректный и благовоспитанный господин, но искусству вполне посторонний. Писатели писали рассказы и стихи и носили в «Ниву». Что брали, что возвращали, по вдохновению. Материала всегда было слишком много — «Нива» в нем не нуждалась. Одних рождественских рассказов Потапенки, как рассказывал мне секретарь «Нивы», было в «портфеле редакции» на двенадцать лет вперед!

Этот секретарь — Марков, господин Марков, как его все звали, милейшее и кротчайшее существо, — был занят изо дня в день кропотливым механическим трудом. Он часами сидел над рукописями, присланными в редакцию, не читая их (где там читать), а лишь выписывая адрес и традиционное: М. Г., присланная Вами рукопись, к сожалению, не подошла.

В 1912 году Ахматову, только что прославившуюся, кто-то из заправил «Нивы» очень просил дать стихи. Ахматова немного поломалась: «У меня сейчас ничего нет, я вам пришлю». И действительно скоро прислала. Месяц спустя она получила от г-на Маркова свои стихи с запиской: «М. Г. К сожалению...» Марков был не виноват — он делал свое дело. Об Ахматовой его не предупредили.

Однажды в «Ниве» решились на реформы: расширить и обновить отдел рецензий и уничтожить знаменитые «Объяснения к рисункам»: «Голуби (с. 127). Кто из нас не любит голубей? Талантливый художник Фукс изобразил этих милых птиц, когда они...»

Но реформы публике не понравились. В письмах читателей пошли жалобы и на отсутствие объяснений, и на то, что новые рецензенты (Гумилев, Кузмин, Зноско-Боровский) пишут непонятное и о непонятном. Не помню, были ли восстановлены объяснения, но модернистов сократили, и в отделе критики

снова воцарились вечные, как сама «Нива», А. Никонов и Б. Тихонов, не мучившие читателей Мейерхольдом и Гюисмансом.

В последние годы «Ниву» купил Сытин, и общий надзор за ней перешел в культурные руки. Увы, ненадолго.

\* \* \*

Когда в 1914 году весной М. Суворин открыл «Лукоморье», по литературным кругам пошел глухой «ропот»: Суворин хочет купить русскую литературу. К волнению тех, кто особенно «благородно негодовал», явно примешался вопрос: «А если купил, то купит ли меня?»

Удался ли Суворину его «адский план»? Если он состоял в том, чтобы привлечь в свой журнал многих известных писателей и художников, печатать их вещи и платить хорошие гонорары, то да, удался. Сологуб, Кузмин, Городецкий, Судейкин, Нарбут, Чехонин — «все были там». Кое-кого и не было, конечно, например Блока. За отказавшимися редакция особенно не гонялась. Тех, кто согласился, обставили материально очень хорошо и «идейно» не притесняли. В последнем, впрочем, не было и надобности: началась война, и все, «объединившись», стали писать только о ней.

Сам Суворин почти не мешался в дела журнала. Всем заправлял М. Бялковский, человек неизвестно откуда взявшийся, южный, бойкий, мягкий в обращении, никогда не отказывавший в авансах. Помещалось «Лукоморье» в знаменитом доме на Эргелевом. Редакционное помещение было очень роскошным, обычаи тоже. К чаю, не в пример прочим редакциям, подавались птифуры от Берена.

Это роскошное помещение соединялось непосредственно с уже совершенно дворцовыми апартаментами «Нового времени». Там были какие-то огромные залы, кабинеты, статуи, вазы, штофные обои. Иногда из этих недр показывался какой-нибудь плюгавый старичок и медленно проплывал по коврам дальше.

Атмосфера чаев с птифурами, почтительного редактора, вынимавшего по первому слову чековую книжку, штофных обоев и бюро красного дерева действовали на творчество крайне благоприятно. Я говорю на творчество, не вступая в его оценку. Качество его было... военного времени. Были и шедевры в обратном смысле. Стихи Городецкого такие патриотические, что даже «Лукоморье» смеялось. Или огромный роман Сологуба «Острие меча», где повествовалось о трех генеральских дочерях-невестах. Жених одной — прекрасный француз, другой — джентльмен-англичанин, третий — немец, исчадие ада. Союзные женихи совершают чудеса доблести и благородства, немец насилует детей, взрывает Реймский

собор и «коварно» убивает в бою жениха-француза. Попутно три сестры ходят босыми ногами по предутренней росе и «видят вещие сны».

Если Сологуб «такое» писал, можно ли осуждать Бялковского, что он печатал это на лучшей бумаге и оплачивал полновальными царскими сторублевками!

Были и еще разные курьезы. Полное собрание сочинений Юрия Слезкина, отпечатанное в «Сириусе» \* с необыкновенной роскошью, с гербами рода Слезкиных на обложке. Была марка издательства, изображавшая безобразную кошку («У лукоморья дуб зеленый...») на цепи около пня. Кошку эту нарисовал Бакст за баснословный гонорар...

Нововременские сотрудники из второстепенных (киты «Лукоморьем» явно гнушались) не особенно любезно — как это ни странно — принимались редакцией.

Их стыдились... как купчик-эстет стыдится папеньки, на деньги которого он меценатствует. Бялковскому, после Сологуба и Кузмина и (особенно) Александра Рославлева, претили Леонид Афанасьев или Бурнакин. Между сторонами было взаимное непонимание. «Что вы мне говорите, что у меня стих хромает, — горячился какой-то нововременский поэт, — меня писать стихи сам Тыгинкин \*\* учил!» Бялковский презрительно улыбался. Для него Тыгинкин перестал быть авторитетом!

После февральской революции и «Лукоморье» попробовало перекраситься из защитного в революционный. Но природа взяла свое, да и денег стало заметно меньше. Журнал стал чахнуть.

\* \* \*

Не один Суворин пытался «купить русскую литературу». В 1916 году эта же идея, говорят, пришла Протопопову: была основана «Русская воля» <sup>2</sup>.

Был ли Протопопов действительно пайщиком «Русской воли», я не знаю. Говорят, нет дыму без огня. «Какой-то дым», вернее, туман вокруг этой газеты был. Слишком уж была она гордо-оппозиционной, слишком американский был у нее размах. Слишком... Все было в ней немного слишком.

Однажды мне позвонил по телефону В. Брусянин, беллетрист средней руки. «Мне нужно с вами поговорить по делу». Я удивился, какое дело — Брусянина я почти не знал. Оказалось, насчет участия в «Русской воле».

Следующий разговор был уже в редакции с Леонидом Анд-

\* Лучшие петербургские типографии, где печатались только очень дорогие художественные издания. *Прим. Г. Иванова.*

\*\* Тыгинкин — редактор «Иллюстрированного приложения» к «Новому времени». *Прим. Г. Иванова.*

реевым, заведовавшим литературным отделом. Знаменитого автора «Анфисы» и «Красного смеха» я увидел впервые.

В его внешности, в аффектации его речи, трагических складках на лбу было что-то от монмартрских (не монпарнасских) художников. Тех, которые в бархатных куртках и беретах сидят в ночных кабаках, толкуя о своих великих замыслах. Слишком вдохновенный вид, слишком скорбные очи. И внешность, и имя Леонида Андреева чрезвычайно подходили ко всему «антуражу» газеты. В огромном кабинете под огромным абажуром, меланхолически дымя папиросой, он долго и витиевато говорил со мной о современности и войне, о вечности и Боге. Я выждал паузы и спросил о гонораре. Он сделал широкий и презрительный жест рукой: «Назначьте сами — это безразлично».

За мое недолгое сотрудничество в «Русской воле» (до революции 1917 года, когда газетам стало не до литературы) я несколько раз виделся с Андреевым, обедал у него, вел долгие разговоры. Он выигрывал при знакомстве более близком. Это был затравленный и робкий человек, скрывавший свою сущность за эффектной маской «великого писателя». Он понимал свое ложное положение в «большой литературе», понимал, кажется, и невозможность изменить его. Больше всего Андреева раздражало, что его «не пускают» в замкнутый круг писателей-модернистов, к которому его чрезвычайно тянуло. «Но ведь я ваш, я с вами. Я в прозе делал то же, что Брюсов с Бальмонтом в поэзии!» Что можно было ему на это ответить!

Помню один разговор. Андреев попросил меня написать о Надсоне к какому-то юбилею. Я сказал, что не могу. Сочувственного ничего не скажешь, то, что я о Надсоне думаю, говорить неуместно. Андреев очень взволновался: «Нет, нет, это партийная узость! Надсон — поэт, не может не быть поэтом, раз сотни тысяч русской молодежи плакали и плачут над его стихами». Он очень волновался, очень горячился, явно защищая (может быть, бессознательно) в Надсоне самого себя. Ведь и над ним тоже плакала та же русская молодежь...

И в редакционном кабинете, и в квартире все у Андреева было грандиозное, как его писания, как его фигура. Гигантские кресла и шкафы, гигантский письменный стол, гигантские панно на стенах. Эти панно, кстати, были воспроизведены в «Огоньке» с пояснением, что «наш знаменитый писатель в то же время и недурной художник. Печатаемые нами картины его кисти, уступающей, конечно, его гениальному перу, отлично иллюстрируют его литературные замыслы...» Картины были копиями Гойи.

\* \* \*

Я сейчас упомянул «Огонек». Говоря о петербургских редакциях, невозможно пройти мимо этого художественно-литературного журнала.

На Галерной, номер 40, были расположены мрачные и унылые на вид владения С. А. Проппера — типография, две «Биржевые», утренняя и вечерняя, и «Огонек».

Особого помещения у «Огонька» не было. Редакция притыкалась то там, то тут в каких-нибудь двух комнатах. Потом эти комнаты понадобились под что-нибудь другое, и «Огонек», то есть два-три стула, писчая машинка и секретарь, маленький человек с трахомными веками и внушительной фамилией Лев, перебирался в новое, тоже временное помещение. Внешностью, показным блеском в «Огоньке» не интересовались. К чему! Так американский миллиардер, презирая элегантность, носит три года подряд свой потертый серый пиджак.

В. А. Бонди, мозг «Огонька», его душа, он же не редактор, нет, диктатор «Вечерней биржевки» в редакции никогда не бывал. Если вы хотели видеть его, то вас вели по бесконечным коридорам и лестницам, через наборные и машинные отделения в маленькую комнату, скорее клетку. В ней был стол, заваленный макулатурой и рукописями, стул, на котором сидел сам Бонди, и стул для возможного посетителя. Третий стул уже не мог бы поместиться. Сходство с клеткой увеличивалось тем, что сбоку кресла редактора, к стене, было окошко — пол-аршина в квадрате. Иногда оно распахивалось, доносился рев и грохот ротационных машин, и волосатая рука, вся в типографской краске, сунув Бонди пачку гранок и схватив другую, исправленную, снова захлопывала дверцу.

В. А. Бонди прежде был гвардейским офицером. Не знаю, как пришла ему фантазия переменить саблю на перо. Первые опыты его были, кажется, не очень удачны: он издал книжку новелл, которых критика не оценила. Но, став во главе «Огонька» и «Биржевой», я думаю, он не имел оснований жаловаться, что его литературная карьера не удалась.

Он был обходительный человек, хотя и суровый на вид. Когда сотрудник приносил ему рукопись, он говорил: «Ну, посмотрим, что вы нам налагоухали». Если тот просил аванс, Бонди морщился очень свирепо, но по большей части давал. Повторяю, суровость его была напускная. В душе он был (могло ли быть иначе?) лордом Генри.

Однажды я, войдя в его клетку, на вопрос: «Что вы нам налагоухали?» — сказал, что пока ничего, и попросил денег. Бонди страшно нахмурил брови, молча написал синим карандашом на клочке бумаги: «В контору выдать...» — протянул мне и вдруг, смерив меня глазами с головы до ног, таинственно спросил: «Гашиш любите?»

Я несколько растерялся. Но, не желая ударить лицом в грязь, ответил: «Очень».

Он самодовольно усмехнулся: «Я это знал. Я физиономист. У вас есть складка, вот тут, около глаз. Гашиш. Приходите ко мне завтра, мне прислали дивный. Я вчера курил. Что за красочные

грезы — озера, пирамиды, пальмы... Рукопись-то когда пришлете? — прибавил он, возвращаясь от красочных грез к суровой жизни. — Авансы берете у нас, а рассказы носите в «Аргус»<sup>3</sup>.

Гашиш оказался толстыми папиросами с какой-то зеленовато-серой прослойкой внутри табака. «Красочных грез» я не испытал, но легкую тошноту — да. «Я ошибся, — сказал на это Бонди, — вам нужен не гашиш, а эфир, морфий. Вот эта складка у рта — морфий. Я физиономист». Должно быть, он придумал этот гашиш, чтобы похвастаться своей новой, только что отделанной квартирой. Квартира была действительно замечательная. Из кабинета, просто и со вкусом отделанного в виде избы с конусообразным потолком и с облицовкой из красного дерева, мы вышли в круглую залу. Посередине ее бил маленький фонтан, распространявший сильнейший запах «Садо-Якко». В спальней, устланной шкурами, как раз над изголовьем кровати висела мраморная лампада, на глаз пуда в три весу. Она держалась на трех несоответственно тонких цепочках. «Фатум, — пояснил мне Бонди, — дамоклов меч. Каждую ночь она может размозжить мне череп. Что ж. Пусть. Я готов».

В зале с фонтаном из одеколона мы присели на нишу. «Хотите шампанского?» Не дожидаясь ответа, Бонди нажал кнопку в стене. Откинулась дверца — за ней маленький ледник — шампанское, фрукты. «Впрочем, — он захлопнул дверцу, — здесь как-то неуютно — пересядем к камину». У камина опять: кнопка, дверца, шампанское.

За шампанское, гашиш и дамоклов меч была, конечно, и неизбежная расплата: радушный хозяин прочел мне несколько своих стилизованных новелл.

Уходя, я сделал непростительную «гафф». В конусообразном кабинете-избе я забыл поднесенный мне автором экземпляр этих новелл.

\* \* \*

Всего не перечислить. Был еще «Аргус», с редактором-«американцем» В. Регининым, евшим в редакции какую-то особую кашу от запоя. Было издательство Каспари, издававшее одновременно «Тайны венценосцев» и изящнейший журнал Философова. Был «Весь мир», где редакторша, баронесса Таубе, принимала, сидя в гробу, окруженная скелетами и чучелами змей. Теперь она в России издает что-то революционное и гордо называет себя «красной баронессой...». Да,

...Все это было

И это никогда не повторится!..



Всеволод Пастухов

## СТРАНА ВОСПОМИНАНИЙ

*Когда они вспоминают нас — мы оживаем.*  
Метерлинк

Нью-Йорк. Квинсборо Плаза. Ночь. Огни. Направо откуда-то из бездны взвиваются в воздухе автомобили и падают в черноту. Это мост. Поток автомобилей. Они появляются и устремляются на ночной мир «сумасшедшие глаза». Сумасшедшие глаза — откуда это сочетание слов пришло мне в голову? И внезапно из глубин подсознания выплывают полузабытые строки:

Я проезжаю всю Россию,  
Но предо мной одно — вокзал,  
А в нем горят твои слепые  
И сумасшедшие глаза.

Это стихи Рюрика Ивнева <sup>1</sup>. Как это было давно. И у него самого глаза были «полоумными». Они светятся здесь на этом вокзале, глаза, которые я видел так много лет тому назад. И вот воспоминания оживают, цепляются одно за другое. Выплывает пестро расписанный подвал. Михайловская площадь. «Бродячая собака». Я сижу за столиком с Михаилом Алексеевичем Кузминым и еще с кем-то — не помню. К нам подходит высокий, тонкий (мне тогда подумалось «щуплый») молодой человек. Впрочем, совсем молодым он мне не показался. Ему было «уже за двадцать», а мне семнадцать. Возраст, когда тридцатилетние кажутся стариками. Кузмин говорит: «Вот наш Рюрик Ивнев, о котором я говорил». А говорил он мне о нем, что считает его за самого талантливого из молодых поэтов. Что в его стихах все неожиданно. Не всегда удачно, но всегда «остро». Слово «острый» было в устах Кузмина большой похвалой. Он ненавидел трафареты. Как-то в одном из моих стихотворных опытов я написал «шаткие тени». Он сказал, что «шаткие тени» когда-то написал Фет. Я, впрочем, этого тогда не знал, но все же спросил у него — если тени действительно шаткие, то почему бы этого и не сказать снова. «Если ничего нового ты сказать о тенях не можешь, то никто тебя не просит о них говорить. Говори о том, что ты увидел «новыми глазами». Острота восприятия мира такая интенсивная, как

будто ты увидал мир в первый раз — сегодня родился, завтра умрешь — только и создает настоящую поэзию, — говорил он молодым поэтам. А поэтические побрякушки — вздор, никому не нужны».

Я встретил М. А. Кузмина, когда период его «дендизма» и «эстетизма» был окончательно им пережит. Впрочем, он сам отрицал, что такой период вообще был. Говорил, что это больше легенда о нем, чем действительность. Он говорил: «Я сама простота». Простота и «прекрасная ясность» были основами его поэзии (по крайней мере, я неоднократно от него это слышал). Все поэтические приемы допустимы, если в них есть острота и новое восприятие мира (не повторение и не подражание).

И в Рюрикe Ивневе, несмотря на частые срывы, он видел остроту и новизну.

В этот день был «вечер поэтов». Сам Кузмин тоже выступал. Он читал как раз стихи, направленные против приписываемого ему «эстетизма»:

Довольно таять, мы не бабы  
И не эстеты, черт возьми!

Кузмин читал стихи слегка скандируя, но с какой-то нарочитой скромностью. А после него на эстраду поднялся Рюрик Ивнев и несколько «истошным» и каким-то юродивым голосом прочел:

Все забыть и запомнить одно лишь,  
Что Архангельск не так уж далек,  
Если, жизнь, ты меня обезволишь  
И сломаешь как стебелек,  
Все забуду, запомнив одно лишь,  
Что Архангельск не так уж далек.

По дороге узкоколейной  
Я всегда к тебе доберусь,  
Хорошо, что я не семейный,  
Хорошо, что люблю я Русь,  
По дороге узкоколейной  
Я всегда к тебе доберусь.

А уж там пароходом недолго  
И до вас — мои острова,  
Не увижу тебя я, Волга,  
Не вернусь я к тебе, Нева.  
А уж там пароходом недолго  
И до вас, мои острова.



И никто, никогда не узнает,  
В чем смешное несчастье мое,  
Только ветер, веслом загребая,  
Как водится, запоеет.  
И никто, никогда не узнает,  
В чем смешное несчастье мое.

Кузмину эти стихи понравились. Несмотря на то что «ветер не может загребать веслом».

Я этими стихами был тогда очарован. И когда Рюрик Ивнев подошел к нам, я сказал: «Я вас считаю выдающимся поэтом». Несколько позднее он ответил мне стихами, начинавшимися строфой:

При первом знакомстве, играя лорнетом,  
Вы мне сказали из вежливости или из кокетства,  
Я вас считаю выдающимся поэтом,  
А мне почему-то припомнилось мое детство...

Когда я ему заметил, что я не мог «играть лорнетом», потому что у меня его, конечно, не было, он мне сказал, что это «общее впечатление». Я на него произвел впечатление человека 18-го века, и это он выразил словом «лорнет». Я же подумал, что ему просто была нужна рифма на слово «поэт», а «кокетство» он (совершенно необоснованно) вставил, чтобы срифмовать с «детством».

С этого вечера начались мои дружеские отношения с Рюриком Ивневым. Это был псевдоним. В жизни он был Михаил Александрович Ковалев. Два имени — два человека. Рюрик Ивнев был «полоумным» и «исступленным» поэтом. Стремился к монашеству, к «самоожжению» (так назвал он первый сборник своих стихов<sup>2</sup>), к жертвенности, к страннической жизни.

Михаил Александрович Ковалев был аккуратным, благо-разумным чиновником, воспитанным молодым человеком, не без склонности к мелкому разврату. Его отец был не то губернатором, не то вице-губернатором где-то на юге. Дядя занимал крупное положение в государственном контроле, куда каждое утро ходил на службу М. А. Ковалев. Он резко отличался от поэтической богемы, которая не знала, хватит ли денег завтра на обед, и эти деньги бросала на вино в надежде, что кто-нибудь даст взаймы. М. А. Ковалев был корректен и бережлив. Но иногда на несколько дней он бросал службу: не для пьянства или в «опьянении страсти», а для поездок по монастырям, «на богомолье».

Вся его комната была заставлена какими-то иконами, ладанками, кипарисовыми веточками и другими «сувенирами» из разных монастырей. На улице он снимал шляпу и крестился (торопливо и смущенно) перед каждой церковью. Но его рели-

гиозность была какая-то сектантская, истерическая, хотя он считал себя тогда вполне православным.

Но в стихах его всегда жила «Россия изуверов и хлыстов». Может быть, в его религиозности и была «поза», как думал М. Кузмин (не любивший никаких неистовств). Но это объяснение явно недостаточно. Был элемент и «позы». Но ведь человек, склонный к истерии, легко внушает себе, своими же стихами, все, что угодно. С другой стороны, в стихах, может быть, яснее всего выражается подсознание.

Рюрик Ивнев был очень рассеян, ходил с каким-то растерянным видом и чуть ли не стремился «выходить в окна и зеркала вместо дверей», как о нем говорил М. Кузмин, любивший рассказывать о том, как однажды Рюрик Ивнев именно с таким вот рассеянным видом вошел в редакцию журнала «Лукоморье». В этом журнале (издававшемся на деньги А. С. Суворина) наряду с бульварными и «нововременскими» писателями стали неожиданно печатать «модернистических» поэтов. М. Кузмин, Г. Иванов, Рюрик Ивнев и многие другие часто в нем писали. И вот (рассказывал Кузмин) Рюрик Ивнев, придя в редакцию «Лукоморья», был так рассеян, что наталкивался на стулья и на людей. Но, когда ему в счете поставили меньше строчек, чем он написал, он сразу это заметил и точно, на память, сказал, какую сумму надлежит ему получить. Но когда он получил то, что следует, он ушел не в дверь, а в окно, стукнулся об стену...

Квартира его была тоже странная. Это была какая-то переплетная мастерская, в которой он снимал комнату. Вечером он был там один, а кругом были темные большие комнаты. Его жилище напоминало мне квартиру портного Капернаумова, в которой жила Соня Мармеладова. И мне всегда казалось, что за стеной сидит Свидригайлов.

В этой квартире я впервые увидел С. Есенина.

Рюрик Ивнев созвал много поэтов и писателей для того, чтобы познакомить их с Есениным и его поэзией. Есенин только что появился в Петербурге, о нем ходили слухи как о поразительном «крестьянском поэте», но мало кто его знал. Он пришел в голубой косоворотке, был белокур и чрезвычайно привлекателен. Он читал стихи каким-то нарочито деревенским говорком.

На этом вечере были Кузмин, Георгий Иванов, Георгий Адамович, О. Мандельштам, а рядом с ними такие «невозможные» писатели и поэты, как, например, Владимир Гордин и Дмитрий Цензор.

Георгий Иванов с обычной своей язвительностью, я бы сказал, очаровательной язвительностью прошептал мне: «И совсем он не из деревни, он кончил учительскую семинарию (или что-то в этом роде)».

Кузмина стихи Есенина «оставили холодным», зато группа В. Гордина — Д. Цензора (и иже с ними) была в каком-то телячьем восторге. Но когда они (посторонние) ушли и Есенин начал петь нецензурные частушки, пришли в восторг «оставшиеся холодными», в том числе и я. Кузмин сказал: «Стихи были лимонадцем, а частушки водкой».

Есенин в то время был очень скромным и милым и был похож на балетного «пейзана». Когда я его встречал, то у меня в ушах неизменно звучала «Камаринская» Глинки. И как-то хотелось, чтобы он пустился плясать вприсядку. Я его потом часто встречал и у Рюрика Ивнева, и в других местах, но «разговора» у меня с ним никогда не выходило. Я думаю, что во мне было что-то отталкивающее для «крестьянских талантов». Я это замечал на Есенине, а также на Клюеве, который, впрочем, и мне был чрезвычайно неприятен какой-то фальшивой елейностью и сусальным русским стилем.

В квартире Рюрика Ивнева я провел много часов в бесконечных разговорах о поэзии, религии, метафизике... В разговорах, типичных для «русских мальчиков». В одну из таких ночей, когда мы были вдвоем и уже много было выпито и переговорено, с Рюриком случилась внезапная перемена. Он посмотрел на меня полусумасшедшим взглядом и сказал: «Валя, ты такой хороший, и я боюсь, что тебя испортит жизнь, я хочу теперь, сейчас же убить тебя».

Я сначала подумал, что это шутка, и ответил: «Что же, это хорошая мысль». Он же подбежал к письменному столу, достал револьвер и навел его на меня. Было что-то в его нервно подергивающемся лице, что вдруг меня испугало, но я равнодушным голосом сказал: «Рюрик, бросьте ваши глупые штучки. Вы меня своим незаряженным револьвером не напугаете».

И тут же я подумал, что мы в пустой квартире, окно выходит в глухой двор и никто выстрела не услышит. Подумал также, что сказанная мною фраза могла его только больше раззадорить. Так и вышло. «Незаряженный!» — крикнул он и выстрелил... Пуля пробила чью-то карточку на стене, около которой я сидел на диване. Раздался звон разбитого стекла. Я возмущенно встал. Он выронил револьвер и упал на колени. «Прости меня, я нечаянно», — закричал он тоном провинившегося ребенка. Я вышел и через темные комнаты мастерской прошел в переднюю, надел пальто и начал открывать дверь квартиры. Он выбежал в переднюю и стал умолять меня не уходить, остаться, простить. У меня же было одно желание — поскорее уйти из этой квартиры на улицу — к нормальным людям и больше никогда не встречать Рюрика. Чтобы избавиться от него, я пожал ему руку и сказал, что приду завтра, но, выходя, твердо знал, что никогда не перешагну этого порога.

Всего больше я на него сердился за свой испуг, который

поставил меня в смешное положение перед самим собой, к тому же я уже тогда терпеть не мог никаких «надрывов» и патетических сцен. Рюрик мне стал невыносимо противен. Это, в сущности, был конец нашей дружбы. Он мне много раз звонил по телефону, но я каждый раз, услышав его голос, вешал трубку, не отвечал. Через некоторое время он звонить перестал. Я же перестал бывать во всех местах, где мог с ним встретиться. Впрочем, скоро страшные события оставили мало места для личных обид и переживаний.

Вспоминая впоследствии эту сцену, я пришел к убеждению, что он в остром истерическом припадке душевного садизма хотел напугать меня, посмотреть, «что будет».

Я думал, что никогда не увижу его, но судьба судила иначе.

\* \* \*

Годы 1917—1921-й, со дня февральской революции до моего отъезда из России, остались в воспоминании тяжелым сном.

В 1918 году, после ареста, чуть было не кончившегося расстрелом (это было время убийства Урицкого), и после неудачной попытки бегства в Финляндию, для того чтобы хоть как-нибудь «упрочить» свое положение, я попросил моего товарища по консерватории, милейшего и талантливейшего Артура Сергеевича Лурье, взять меня на работу в музыкальный отдел Наркомпроса.

О Рюрике Ивневе я слышал, что он заделался большевиком и «заведовал где-то там провиантами»... И вот не то в 1919-м, не то в 1920 году я поехал в Москву на съезд по реформе музыкального образования.

В последний день съезда я на улице встретил Рюрика Ивнева. Мы друг другу искренне обрадовались. Он меня уговорил остаться на один день после съезда. Так как тогда все было сложно, особенно путешествия, он обещал мне устроить удобный проезд, в индивидуальном порядке, помимо группы, приехавшей на съезд. Таким образом, мы провели с ним день и вечер вместе.

Он тогда был занят организацией группы имажинистов. Мы пошли в какое-то кафе поэтов. Там можно было пить вино. Мы встретили Есенина и Мариенгофа. Но перед ними я, конечно, боялся начать разговор о «переходе» Рюрика к большевикам.

Уже гораздо позже, вечером, мы очутились с ним в какой-то странной, пустой квартире. В комнате не стояло ничего, кроме двух стульев и некрашеного столика. С потолка на шнурке свешивалась электрическая лампочка без колпачка. После грязных умиравших улиц мы попали в эту пустую и странную комнату. Здесь я начал упрекать его, что он, считавший себя «церковником», теперь служит антихристу.

«Нет, нет, ты ничего не понимаешь. Они — настоящие христиане. Эта бедность Христова. И муки тоже Христовы...» И так далее, и так далее в этом роде. Это был какой-то младенческий, юродивый бред самооправдания. И чувствовалось, что он сам себе не верит. Потом уже гораздо позже, когда много было выпито вина, он начал читать стихи. И так как талант всегда правдив, стихи заговорили о совсем других «причинах»:

И я отравлен жалом свободы,  
Чума запахнулась в мои уста.  
Как государства и как народы,  
Я отвернулся от креста.  
Но мертвый холод все бьется, бьется  
В костях, как пойманная мышь.  
Кто от креста не отвернется  
Тот будет голоден и наг.  
А неба черного широкий бак  
Морозом мрамора в лицо мне дышит.

Здесь о своих переживаниях говорит не Рюрик Ивнев, а ловкий чиновник Михаил Александрович Ковалев.

Но потом были стихи, где опять кричала юродивая, сатанинская и полусвятая душа Рюрика Ивнева.

Уже когда рассветало, он прошептал: «Послушай, ты все поймешь...» — и цепкими бледными пальцами он обхватил кисть моей руки:

Как сладко слышать и больно  
Тугие шаги убийц.  
В крови их тонкие руки  
И губы у губ моих.

Как сладок животный их запах,  
Вкус крови, и соли, и сна;  
Чего еще, Господи, надо  
Душе закаленной моей?

Не розою ль темная язва  
В мозгу моем диком горит,  
И смрад моих чувств и желаний  
Не кажется ль легче вина?

О темной, шершавой веревке  
Убийц крутодушных прошу,  
По смерти позорной и смрадной  
В позоре и смраде томлюсь.

Его пальцы все сильнее и сильнее обхватывали мою кисть. В сером свете утра они казались желто-мертвыми. Его глаза

все пристальнее смотрели на меня и казались совершенно безумными.

Чувство невыразимой жути охватило меня, точно я прикоснулся к полуразложившемуся трупу. «Зачем я здесь, зачем я здесь», — звенело у меня в голове. И вдруг кто-то моим голосом равнодушно сказал: «Вы пишете очень интересные стихи, но зачем брать такие ужасные темы?» Это произвело на него отрезвляющее впечатление. Он разжал свои пальцы. «Не понял?» — «Не понял».

И опять, как тогда в Петербурге, единственным моим желанием было уйти и больше никогда его не встречать...

Когда я сходил с лестницы, я услышал, что он гонится за мной. Я остановился. Неужели еще не все кончено? Но предомной стоял корректный и вежливый чиновник М. А. Ковалев.

«Я позабыл вам передать билет и пропуск в специальный вагон». Оказывается, он тогда заведовал пропагандным поездом имени Луначарского и имел большие связи в железнодорожном ведомстве.

На следующий день он пришел провожать меня на вокзал и даже принес необычайную в те времена редкость — коробку «настоящих» сливочных помадок, а к ней был прилеплен конверт. Я ехал в одном купе с Александрой Чеботаревской, сестрой Анастасии Николаевны, жены Сологуба. Рюрик Ивнев казался усталым, поникшим, печальным. Он передал мне коробку, поздоровался с Чеботаревской и ушел, как-то сутулясь, маленькими, семенящими шагами — в умирающие улицы Москвы. Так уходил в петербургские туманы «чудак Евгений».

В вагоне Чеботаревская раскладывала какие-то кульки и «щебетала»: «Вот везу своим (Сологубу и А. Чеботаревской) гостинцы. Сестра хочет того и другого, Федор же Кузьмич говорит: «А мне фунтик сахара».

Я распечатал конверт — там был листок, на котором было написано:

Как все пустынно. Пламенная медь.  
Тугих колоколов язвительное жало,  
Как мне хотелось бы внезапно умереть,  
Как Анненский у Царскосельского вокзала.  
И чтоб не видеть больше никогда —  
Ни этих язв на человеческой коже,  
Ни эти мертвые пустынные года,  
Что на шары замерзшие похожи.  
Какая боль. Какая тишина.  
Где ж этот шум когда-то теплокровный?  
И льется час мой, как из кувшина  
На голову — холодный, мертвый, ровный.

\* \* \*

Это была моя последняя встреча с Рюриком Ивневим. Я скоро уехал из Страны Советов. В конце двадцатых годов, не помню от кого, я услышал, что он был полпредом в Персии. Приблизительно в это время мне попался в руки его роман «Открытый дом», произведение советско-бульварного характера, в котором не было никаких откликов прежнего Рюрика. Первый его роман «Несчастный ангел» вышел в свет еще до революции и, несмотря на многие технические промахи, был тесно связан с поэзией «юродивого Рюрика» и присущим ему своеобразным, немного извращенным очарованием. Очевидно, чиновник победил поэта, и Рюрик как поэт и писатель заглох, как и все со временем заглохло в душном воздухе социалистического рая.

Рюрик Ивнев прочно забыт. А между тем как много настоящей поэзии бродило в этой больной и странной душе. Может быть, в ней было больше подлинной поэзии, больше взлетов и падений, чем в гладких строках многих прославленных поэтов. Да ведь и Кузмина начинают уже забывать, а ведь он создал эпоху в истории русской поэзии и был одним из лучших мастеров стихотворного творчества.

Но все больше и больше сгущается атмосфера поэтической глухоты. Вспоминать незачем. Да и кому вспоминать?

Автомобили устремляют в темноту сумасшедшие глаза...



Лев Рубанов

КЛУБ  
«МЕДНЫЙ ВСАДНИК»

Прошло пятьдесят лет со времени основания в С.-Петербурге клуба деятелей искусств «Медный всадник», который начал свое существование осенью 1914 года<sup>1</sup>. Он должен был бы оставить по себе какой-то след, а между тем нигде в мемуарной литературе не приходилось встречать упоминаний о нем. Революция стерла из памяти людей многое и более важное, чем клуб «Медный всадник», но все же долги последних современников напомнить об этом незаслуженно забытом явлении, которое имело место полвека назад.

Мне пришлось быть секретарем этого клуба со дня его основания и до моего ухода на фронт в июне 1916 года, и почитаю себя обязанным рассказать о клубе то, что осталось в памяти.

\* \* \*

В студенческие годы в Петербурге попал я как-то, в качестве представителя своего землячества, в комиссию по устройству спектакля, который ставили петербургские писатели в пользу студентов. Это был 1914 год, первые месяцы войны, когда немецким наступлением были отрезаны западные губернии Царства Польского и многие студенты из этих губерний потеряли связь с родными, оставшимися на оккупированной немцами территории, и лишены были материальной помощи из дома.

Сейчас трудно восстановить в памяти, кто был инициатором постановки этого спектакля в пользу студентов. Ставили пьесу Горького «На дне» в театре, незадолго перед тем арендованном Лидией Борисовной Яворской, по мужу княгиней Барятинской; она только приехала из Англии, где, как писали газеты, ее спектакли имели шумный успех. Театр этот, на Офицерской, 29, назывался у петербуржцев театром Комиссаржевской — в недавнее еще время в нем играла Вера Федоровна Комиссаржевская, в память которой среди фойе второго этажа



стояло скульптурное изображение покойной В. Ф. в натуральную величину: она сидит в кресле в задумчивой позе, опершись подбородком о ладонь. Старожилы называли иногда театр эгот еще театром Луна-парка: некогда здесь был также и сад с этим увеселительным предприятием.

Кроме группы писателей в постановке спектакля горячее участие принимала сама Л. Б. Яворская и администратор ее театра Любомиров-Стотвинский.

Постановке спектакля предшествовали многократные собрания участников: выбиралась пьеса, обсуждались детали постановки. Начались репетиции — в дневное время в театре, в фойе или на сцене, а иногда и на квартире Яворской (она жила неподалеку от театра).

Выполнение мелких поручений, связанных со спектаклем, — оповещение по телефону о репетициях, переговоры с портными и костюмерами и т. д. — было возложено на представителей землячества, что дало мне возможность близко познакомиться со многими из живших в то время в Петербурге писателей, как и с самой Яворской и мистером Кэнтэбом, который приехал вместе с ней из Англии и всегда сопровождал ее в театр. Жил мистер Кэнтэб в том же доме, где и Яворская, дверь его квартиры была против двери квартиры Яворской, на той же площадке. В спектакле кроме Яворской, игравшей Настю, принимали участие: Юрий Львович Слезкин <sup>2</sup>, взявший себе роль Алеши «ахового парня», Евгений Николаевич Чириков в роли Луки «старца лукавого», Борис Александрович Лазаревский <sup>3</sup> в роли барона, Казимир Станиславович Баранцевич, игравший слесаря Клеща, Дмитрий Митрофанович Цензор <sup>4</sup>, Анатолий Павлович Каменский <sup>5</sup>, жена И. Н. Потапенко <sup>6</sup> Наталия Грушко <sup>7</sup>, жена Чирикова Валентина Иолшина, Адам Бельский (псевдоним Пенькевича), Михаил Долинов <sup>8</sup>, Борис Садовской <sup>9</sup>, Александр Рославлев, Леонид Добронравов <sup>10</sup>, П. П. Потемкин и другие, фамилии которых забылись. Назывался спектакль «Писатели — студентам».

Успех спектакля был обеспечен широко известными именами участников, и газеты в течение нескольких дней помещали о спектакле рецензии.

После спектакля Яворская, пополнявшая труппу, предложила мне поступить в ее театр, на что я, разумеется, охотно согласился. Начав с выходов, к концу сезона я уже был на вторых ролях, иногда довольно ответственных.

Каждая пьеса подготовлялась в театре Яворской долго и тщательно. Кроме многочисленных репетиций, полных и частичных, по разным поводам постоянно устраивались совещания то с известным тогда в Петербурге горбатым режиссером Ратовым, то с режиссером Александринки Долиновым. Пьесы шли по нескольку дней кряду, но, несмотря на это, театр был всегда полон.

В первый сезон после приезда Яворской из Англии в труппе у нее выступал на первых ролях Рафаил Адельгейм, дублер его Рамазанов, брат Мамонта Дальского, красавец Арановский и его жена Татьяна Викторовна, сестра Мамонта Дальского, Андреев-Бурлак, Мясникова, Васильев, Ангулянский, Константинков, Ангаров, Ламдян, Соболевский, Вольский, Барабанов и другие, всего свыше двадцати артистов.

В ущерб лекциям я не пропускал ни одной репетиции, и с каждой новой пьесой мои роли становились интереснее. В пьесе «Мадемуазель Фифи» я играл молодого немецкого лейтенанта, в пьесе Анатолия Каменского «Завтра», переименованной потом по требованию цензуры в «Может быть завтра», у меня была роль профессора Лерха, в веселой пьесе «Заза» мне была поручена роль журналиста Лекамя, а в «Мадам Санжен», которая шла много раз без перерыва, Яворская поручила мне сразу три роли: в первом акте я играл гвардейца Варбутрэна, во втором — сапожника Коппа, примеряющего богинки уже вошедшей в силу мадам Санжен, а для третьего и четвертого актов мне вновь приходилось переприглашаться для роли телохранителя Наполеона мамелюка Рустана. Роль Наполеона играл, разумеется, Рафаил Адельгейм, иногда его дублировал Рамазанов.

В это же время, после спектакля «Писатели — студентам», Юрий Львович Слезкин пригласил меня однажды на собрание писателей и артистов вести запись высказываемых мнений. Собрание было посвящено вопросу необходимости создания в Петербурге литературно-художественного объединения, в которое вошли бы писатели — прозаики и поэты, крупные артисты, музыканты, композиторы. Горячо обсуждались вопросы, как назвать такое объединение, следует ли ему быть открытым для всех желающих, или надо строго ограничить круг участников и т. п.

В результате совещаний решено было создать «закрытый клуб деятелей искусств» и назвать его «Медный всадник». Председателем выбран был проф. К. Арабажин, а вице-председателем — Юрий Львович Слезкин. Впрочем, впоследствии оказалось, что действительным председателем был Слезкин, а проф. Арабажин на вечера клуба почти не являлся. Секретарские обязанности в клубе так и остались за мной.

Эмблемой клуба решили взять изображение памятника Петру I работы Фальконе, и эмблема эта, по эскизу художника Мозалевского, окруженная витой надписью с названием клуба, была на бланках клуба. Экземпляр такого бланка случайно уцелел у меня и по сей день.

В обязанности секретаря входила рассылка повесток о времени и месте очередного «закрытого вечера» клуба как его членам, так и приглашаемым иногда гостям, а также прием

повесток у лиц, приходивших на «закрытые вечера». Без предьявления таких повесток никто на вечера не допускался.

Юрий Львович Слезкин был тогда в Петербурге одним из популярных молодых писателей, и его произведения — «Ольга Орг», «Помещик Галдин» и другие — пользовались известностью и успехом. Он обычно заблаговременно запиской или по телефону сообщал мне о дне следующего «закрытого вечера», давал программу и список приглашенных гостей помимо постоянных членов.

«Закрытые вечера» эти происходили раз или два в месяц на частных квартирах — то у проф. Святловского, то у проф. Степанова на Большой Пушкинской, на Петербургской стороне, то в квартире проф. Рейснера, на Первой линии Васильевского острова, то в квартире самого Слезкина, на Почтамтской, а изредка в ресторане «Вена», где раздвигались стенки нескольких кабинетов, чтобы получился зал, способный вместить всех приглашенных. На таких «закрытых вечерах» поэты и писатели знакомили присутствующих со своими новыми произведениями, а композиторы предлагали на их суд свои.

Мне было двадцать с небольшим лет. Приехал я из провинциального губернского города и работе в театре и особенно в клубе отдавался с большим увлечением. Постепенно познакомился с большинством постоянных членов клуба — все они по тому времени были широко известны. И мне пришла в голову мысль собирать автографы. Для этой цели был куплен простенький альбомчик с цветочками на обложке.

Активные члены клуба, с которыми мне часто приходилось непосредственно сталкиваться, порой бывать по делам клуба у них на дому, запомнились мне хорошо. Но были и такие, которых я знал отдаленно: они редко посещали вечера клуба. Например, из часто упоминаемых помню Галати <sup>11</sup>, Ахматову, Гумилева, Адаеву, Юнгера <sup>12</sup>, но вспомнить их ясно, положительно не могу. Пожалуй, Гумилев был уже на военной службе <sup>13</sup>, а остальные, видимо, не были частыми гостями в клубе. Совершенно не помню Потапенко, хотя хорошо помню его жену, Наталию Грушко. Пришлось как-то посетить по делам клуба на его квартире, насколько помню, на Каменноостровском проспекте, Осипа Мандельштама, но и его не запомнил. Однажды поручили мне «проводить домой» в таксомоторе (так тогда называли такси) кого-то из сестер Лохвицких, кажется Тэффи, которая в ту пору ничем не привлекла моего внимания. Случалось не раз бывать на Пушкинской у Бориса Александровича Лазаревского. Подаренные им книги с авторскими надписями — «Три тополя», «Белые вагоны», — к сожалению, бесследно исчезли в перипетиях эмигрантских метаний. Приходилось, разумеется, и не раз, бывать у Юрия Львовича Слезкина, в кабинете которого висел портрет его отца — жандармского

генерала. Помню милovidную молодую жену его Татьяну... Пришлось быть как-то по поручению клуба у писателя Юрия Юрьевича Юркуна, который поразил меня, показав две этажерки, заполненные томами его произведений. А сейчас никто о нем и не вспомнит. Подаренных им книг тоже не осталось, сохранился только автограф в альбоме. Приходилось часто встречаться с Дм. Цензором и его милой женой Агнией. Почти ежедневно встречался с Л. Б. Яворской, в театре которой служил.

Помнятся и отдельные эпизоды. Однажды — было это на квартире проф. Рейснера — во время исполнения Сергеем Сергеевичем Прокофьевым его коротеньких оригинальных пьес, названных им «Сарказмами», в момент наибольшей экспрессии под ним сломался стул, и он очутился на полу. Упавшего тут же подхватили, подставили другой стул, и через минуту Прокофьев продолжал концерт как ни в чем не бывало.

Запечатлелось в памяти чтение Рославлевым его нового стихотворения «Бык»<sup>14</sup>, которого потом нигде мне не удалось найти. Стихотворение это, прочтенное с большой силой, было необычно своими аллитерациями и созвучиями, очень удачно передававшими мощь массивного быка, идущего к водопою.

Как-то в программе вечера был концерт на арфе Ксении Эрдели, которая руководила в консерватории классом арфы. Сергей Митрофанович Городецкий привел с собой на этот вечер белокурого юношу в странной курточке, без галстука, что противоречило общему тону собрания. Юноша просидел в углу весь вечер, не привлекая ничьего внимания. Теперь лишь, сопоставляя это посещение с тем, что Городецкий в этот период начал «выводить в свет» Сергея Есенина, можно предположить, что, пожалуй, это был Есенин.

Однажды Лариса Рейснер<sup>15</sup> прочла стихотворение «Песнь красных кровавых шариков», запомнившееся из-за необычной темы и оригинального содержания. Красные кровавые шарики веселой толпой бегут по артериям, оживляя омертвевшие клетки организма и внося в них новую жизнь. В те времена стихотворение это произвело на всех большое впечатление оригинальным отклонением от обычных поэтических тем. А сейчас думается: уж не была ли эта тема прообразом, намеком, что ли, на грядущую революцию? Ведь Лариса Рейснер оказалась одной из первых примкнувших к коммунизму и приветствовавших новый строй.

Много интересного можно было услышать на «закрытых вечерах» клуба. И, как отдаленный отзвук того времени, остались лишь автографы членов клуба на выцветших листках старого альбома.

Начало автографам положил Анатолий Каменский, начертавший на первой странице только что купленного альбома: «Почин дороже денег».

Казимир Станиславович Баранцевич еще во время спектакля «Писатели — студентам» записал:

Ах, за спектакль наш трепеща,  
Играл я слесаря Клеца.

Тогда же и Слезкин, от которого осталось несколько разных автографов и визитных карточек с записками, написал: «На память об Алешке, аховом парне».

Яворская, тоже во время спектакля, записала слова Горького: «Человек — это великолепно! Это звучит гордо!» Какой шумный успех она имела, несмотря на свой простуженный, осипший голос! И какой ужасный конец ее ждал в подвале Ялтинской чрезвычайки, где ее расстреляли матросы за то, что она была в костюме сестры милосердия.

Сергей Прокофьев набросал в виде автографа несколько тактов из своего опуса № 12. И композитор Шапошников, «скрябинист», как его называли, дал в виде автографа несколько первых тактов музыки к поэме Сологуба «Отравленный сад».

Вот какое четверостишие записал Сергей Митрофанович Городецкий, впоследствии советский поэт:

Какая радость жить в России,  
В России чуя и в себе  
Неукротимые стихи,  
Ничьей не певшие судьбе.

И при этом отметил, что написано это в Благовещение.  
От Георгия Иванова осталось восемь строк:

Черемухи цветы в спокойный пруд летят,  
Заря деревья озлащает,  
Но этот розовый сияющий закат  
Мне ничего не обещает.  
Напрасно ворковать слетает голубок  
Сюда, на тихий подоконник;  
Я скоро лягу спать, и будет сон глубокий,  
И утром не открою сонник...<sup>16</sup>

Поэт Михаил Долинов, сын режиссера Александринского театра, записал в альбом:

.....  
И на пути, как демон бледный,  
Срывая мантию с плеча,  
Прорезал воздух Всадник Медный,  
По рифмам Пушкина стуча.

Воспоминанием о Викторе Мозалевском<sup>17</sup>, или, как он себя любил почему-то называть, «Модзалевском», остались строки:

Милый, милый, мир прелестный,  
Я вернусь к тебе опять,  
Чтобы вновь объятьем тесным,  
Милый мир, тебя обнять,  
Снова нежить ветви эти,  
Целовать эмаль листвы,  
Тосковать... ах не о лете,  
А о том, что в Лете вы...

П. Романов записал несколько слов из своей поэмы «Люцифер»:

Замолк красотою любви побежденный,  
Лампады, как звезды, зажглись.  
И Демон мятежный с Христом пригвожденным  
В одном поцелуе слились...

В трудное для меня время, в период экзаменов, когда приходилось метаться между секретарскими обязанностями в клубе, театром и аудиториями, Татьяна Львовна Щепкина-Куперник<sup>18</sup> написала такие утешающие строки:

Всегда на жизнь смотрите бодро,  
Вслед за ненастьем будет ведро!

Маститый старик, писатель Иероним Иеронимович Ясинский<sup>19</sup>, писавший под псевдонимом Максим Белинский, записал:

### Бог войны

Вздых его — дыханье гроба,  
Дым пожаров — плащ и знамя,  
Мысль — томительная злоба,  
Взгляд — смертельных молний пламя.

Дмитрий Цензор дал такой автограф в альбом:

Сказать по правде, как ни ново  
Играть мне роль картузника Бубнова,  
Но кто осудит соль моих чудачеств,  
Когда она на пользу для землячеств!

И во время посещения меня дома оставил два длинных стихотворения, возможно, неизданных, так как писал как будто экспромтом.

Раз уж привожу стихотворные автографы поэтов, то уместно будет процитировать более поздний автограф армянского поэта Оноприоса Яковлевича Анопиана, которого называли

армянским Пушкиным. Писал он стихи по-армянски, но в альбом записал одно из своих стихотворений, переведенное Г. Г. Паниным<sup>20</sup>, по-русски:

Черными стаями в синих высотах  
Тучи идут,  
Чайки над водами кличут кого-то,  
Кличут и ждут,  
Мечется ветер со злобой безумной,  
Плачет без слез,  
Темные волны без умолка шумно  
Бьют об утес...  
Жизнь моя — море. Она негодую  
Грозно ревет,  
Чайкою серой над ширью парю я  
В сини высот.  
Брошена в волны любовь моя пленной  
Темной скалой,  
Бьет ее зло разъяренная пена  
Вечной тоской.

Перевод очень точно передает ритм и даже созвучия армянского текста этого стихотворения.

Очень острую, но не для печати, эпиграмму на памятник Александру III на Знаменской площади дал А. С. Рославлев.

Ныне почти забытый, неутомимый исследователь петровского периода русской истории, писавший романы из жизни Петра I и царицы Софьи, Борис Александрович Садовской вписал в альбом:

### Моя эпитафия:

Под этой мраморной доской  
Лежит писатель Садовской.

По нескольку теплых приветливых слов оставили Б. А. Лазаревский, С. А. Ауслендер<sup>21</sup> (которого друзья в шутку называли Фендрик-Ауслендрик), П. П. Потемкин, А. С. Грин, Рафаил Адельгейм, Адам Бельский (Пенькевич), Аркадий Аверченко, жена Чирикова Валентина Иолшина, детская писательница Яковлева-Карич, Юрий Юркун. Были и такие писатели, у которых я так и не удосужился взять автограф,— они редко приходили на «закрытые вечера» клуба,— например, у манерного оригинальничающего Кузмина. Некоторые оставили только свои подписи — писательница Черевкова, Ксения Эрдели, профессор консерватории по классу арфы, и другие.

Много автографов добавилось потом к собранным в клубе

«Медный всадник»: писателей Ренникова, Осоргина, Крымова, Вербицкой, Горького (помеченный Сорренто), Дорошевича, Наживина, Алданова, Шульгина, Петрова-Скитальца; художников Сварога, баталиста Самокиша, Пинегина, ездившего с капитаном Седовым к Северному полюсу; артистов Мозжухина (во время немого кино его называли «королем экрана»), Липковской, Королевой, Книппер-Чеховой, Собинова, Шаляпина, Качалова, Морфесси, Лифаря, балерин Тумановой, Вырубовой и многих других. Но основу этому собранию положил клуб «Медный всадник».

Последний «закрытый вечер» клуба, на котором я присутствовал перед отъездом на фронт, происходил в июне 1916 года в ресторане «Вена». Когда программа была исчерпана и приступлено было к ужину, поэт Михаил Долинов, бывший слегка навеселе, спел песенку, впервые тогда мною услышанную: «По улицам ходила большая крокодила». Песню дружно хором поддержали все присутствующие.

После этого прощального для меня вечера большинства членов клуба видеть мне не пришлось. И только автографы остались воспоминанием о клубе.

В сентябре 1918 года, после неудачной попытки пробраться в Архангельск, мне пришлось по пути в Крым прожить около месяца в Москве. Как-то под вечер, выйдя с Малой Дмитровки на Страстной бульвар, встретил я неожиданно под стенами монастыря стоявших понуро в пальто с поднятыми воротниками Ю. Л. Слезкина и А. С. Рославлева. Мы обрадовались встрече. Но настроение у них было подавленное. После первых расспросов они поллюбопытствовали: «А куда вы теперь?» Я ответил: «На юг». — «А мы на поклон», — сказал кто-то из них. «К кому?» — «К Луначарскому», — был ответ. Поговорив еще минут пять, мы расстались.

Здесь, в эмиграции, пришлось в последний раз вспомнить о клубе «Медный всадник» с Георгием Ивановым. Но и тот уже покинул этот свет.



Зинаида Гиппиус

ОБ АЛЕКСАНДРЕ  
ДОБРОЛЮБОВЕ

Печатается по кн.: *Гиппиус З.* Дмитрий Мережковский. Париж: YMCA-Press, 1951. С. 65—66.

Добролюбов Александр Михайлович (1876— ок. 1944) — поэт, оказавший влияние и личностью своей, и стихами на многих современников. В 1900 г. вышло его «Собрание стихов»; в 1905 г. в издательстве «Скорпион» — «Из книги невидимой». В 1903 г. основал секту добролюбовцев. Д. Философов, близкий друг Мережковских, называл его высшим аристократом духа. Блок встречался с ним, интересовался его судьбой, читал его книги и посвятил ему стихи:

Из городского тумана,  
Посохом землю чертя,  
Холодно, странно и рано  
Вышло б о л ь н о е дитя.

Будто играющий в жмурки  
С Вечностью — мальчик больной,  
Странствуя, чертит фигурки  
И призывает на бой.

В. Брюсов писал о нем в свой период «бури и натиска»:

Месяц безжизненный встал и на самом  
Пике горы вдохновенно-больную фигуру отметил.  
Небо раскинулось вдруг недосказанным храмом,  
Это ты мне мелькнул, и бесстрастно-восторжен, и светел...

Поэт-символист И. Коневской в статье «К исследованию личности Александра Добролюбова» говорит о нем как о «великом духе», который встал на путь «умного деланья», а на заре своей деятельности стремился осуществить эту задачу «в творчестве словесной красоты».

Над книгой, из которой мы печатаем отрывок о Добролюбове, З. Гиппиус (1869—1945) работала в конце своей жизни и не успела ее завершить. Воспоминания обрываются на зиме 1920/21 г. Замысел же был довести повествование до 1941 г., т. е. до времени смерти Дмитрия Сергеевича Мережковского (1865—1941). З. Гиппиус и Мережковский венчались 8 января 1889 г. и с того времени неразлучно (разлучившись лишь однажды на один день) прожили вместе без малого пятьдесят три года. Об этом браке, имевшем определенные последствия для литературной и общественной жизни серебряного века, лучше всех написал человек, особенно близко знавший Мережковских, — их секретарь поэт Вл. Злобин: этот брак «для обоих несомненно спасителен: он их спасает

от впадения в ничтожество окончательное, от метафизического небытия». «Производительная способность Мережковского феноменальна. Но идей — собственных, творческих — у него нет... З. Н. угадывает его настоящую природу». И далее: «Конечно, сказать, что каждая его строка внушена его — нельзя. Она дает главное — идею, а там уж его дело, он свободен оформить, развить ее по-своему» (*Злобин В.* Зинаида Гиппиус. Ее судьба // *Новый журнал.* 1952. № 31).

<sup>1</sup> Гиппиус Владимир Васильевич (1876—1941) — поэт-символист, критик, переводчик. Сдружился с Александром Добролюбовым в старших классах гимназии. Вместе издавали гимназический гектографированный журнал «Листики». Именно под влиянием В. Гиппиуса созревали и развивались художественные вкусы «первого русского декадента» Александра Добролюбова, как и его отталкивание от идеологии шестидесятников. В. Гиппиус выступал с новыми идеями раньше других, но это происходило в личном общении; в литературном же творчестве обычно опаздывал, печатая свои стихи и статьи, когда новизна его идей уже была подхвачена другими. Так, А. Добролюбов именно под влиянием В. Гиппиуса исповедовал музыку как цель поэзии.

<sup>2</sup> Речь идет об одном из «малых поэтов» серебряного века, Леониде Дмитриевиче Семенове (1880—1918), который, как и Добролюбов, «ушел в народ» и искал спасения в экзотической религиозности и в странничестве. В 1905 г. он издал свой единственный сборник «Собрание стихотворений», который открывается стихами:

В темную ночь над памятью снов вдохновенных  
песни раздались мои стонами робко-звонкими.  
В теплую ночь так цветы на могилах священных  
тянутся в звездную высь стéблями нежно-тонкими.

<sup>3</sup> Брюсов впервые встретился с А. Добролюбовым в июне 1894 г. и назвал в своем дневнике эту встречу «неделей символизма»: «...явился ко мне маленький гимназист, оказавшийся петербургским символистом Александром Добролюбовым. Он поразил меня гениальной теорией литературных школ, переменяющей все взгляды на эволюцию всемирной литературы, и выгрузил целую тетрадь странных стихов... Мои стихи он подверг талантливой критике и открыл мне много нового в поэзии».

Следующая встреча Добролюбова и Брюсова — в Петербурге 7 апреля 1896 г. 17 июля 1898 г. Брюсов записал в дневнике: «Бальмонт и Добролюбов были для меня в прошлом два идеала». Через десять дней после этой записи Добролюбов пришел к Брюсову. Эту встречу, вероятно, и имеет в виду З. Гиппиус. «Когда-то он был как из иного мира, неумелый, безмерно самоуверенный... Теперь он стал прост, теперь он умен говорить со всеми... И все невольно радостно улыбались на его слова... Он шел из Пудожа. Последней зимой он уехал в Олонецкую губернию. «Прежде всего, чтобы порвать со всем прежним», — как говорил он сам... Несомненно он талантливейший и оригинальнейший из нас, из числа новых поэтов... Эда и сестра моя Надя были совсем зачарованы... Они смотрели на него, как на пророка, готовы были поклоняться... Наконец, он читал и свои стихи. Он предупреждал, что это прошлое, что это уже не интересует его. Но я заметил все же, что художника в душе своей он не мог одолеть окончательно» (*Брюсов В.* Дневники. 1891—1910. М.: Изд-во Сабашниковых, 1927. С. 41—45).

<sup>4</sup> Славянская душа (*фр.*).

Осип Дымов

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ  
ДОБРОЛЮБОВ

Печатается по «Новому русскому слову» (Нью-Йорк) от 3 июля 1955 г.

Дымов (Перельман) Осип Исидорович (1878—1959) — писатель-прозаик и драматург. Первое выступление в печати — «Рассказ капитана», напечатанный в журнале «Вокруг света», когда начинающему писателю было 14 лет. По поводу этой мальчишеской публикации был создан педагогический совет, который вынес свое решение, что эта публикация — «не преступление». Литературная известность пришла к О. Дымову в 1904 г., когда в Петербурге была поставлена его драма «Голос крови». В следующем году вышла первая книга — «Солнцеворот», за ней последовали другие сборники рассказов, повесть «Новые голоса», роман «Бегущие креста», пьеса «Вечный странник». Встретивший О. Дымова на «Башне» у Вячеслава Иванова С. Городецкий отнес его к «эстетам — Рафалович, Осип Дымов, Сергей Маковский, Макс Волошин». После революции О. Дымов эмигрировал и в эмиграции печатался редко.

<sup>1</sup> Эта книга называется иначе: «Natura naturans. Natura naturata» (Спб., 1895. 99 с.).

<sup>2</sup> Москвич В. Брюсов в 90-е годы бывал в Петербурге лишь наездами и встречался там с Добролюбовым в апреле 1896 г. Коневской Иван (псевдоним Ивана Ивановича Ореуса) (1877—1901) — поэт. В 1897 г. он поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, где в это же время учились А. Добролюбов и Владимир Гиппиус (у О. Дымова ошибка: Василию Гиппиусу, брату Владимира, было тогда семь лет). Инициал Фридберга у Дымова перепутан. Фридберг Дмитрий Наумович (1883—?) начинал как поэт-декадент, был знаком со многими молодыми поэтами-модернистами, встречался с Блоком, бывал у Мережковских. Впоследствии стал партийным работником.

<sup>3</sup> Речь идет о конце 1904 г. или о начале 1905 г. «Добролюбов эту зиму гостил у меня около месяца, — писал Брюсов С. А. Венгеру. — Живя у меня, он прочел литературу за последние 5 лет, которые он провел в уединении, в пустыне. Особенно ему полюбился Ив. Коневской и философские книги Метерлинка» (Литературное наследство. Т. 85. М., 1976. С. 678).

<sup>4</sup> В августе 1901 г. в газетах сообщалось, что Добролюбов был судим в г. Троицке и приговорен к отбыванию восьми месяцев в тюрьме за подстрекательство к уклонению от призыва на воинскую службу. В начале 1902 г., когда Добролюбов находился в Петербурге, его обвиняли в оскорблении святынь, и ему грозила каторга.

Бронислава Погорелова

ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ  
И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ

Печатается по «Новому журналу» (Нью-Йорк) (1953. № 33. С. 176—198).

Погорелова Бронислава Матвеевна (до замужества — Рунт) — сестрица В. Брюсова (сестра его жены — Иоанны Матвеевны). Писала рецензии для журнала «Весы», вела переписку с читателями журнала, правила корректуры, с 1905 г. была секретарем «Весов». Б. Погорелова переводила с французского Вилье де Лиль-Адана, Эрмана-Шатриана, Анри де Ренье. В 1923 г. эмигрировала. В эмиграции печаталась редко. См. также ее мемуарный очерк «Скорпион» и «Весы», включенный в настоящее издание.

<sup>1</sup> Боборыкин Петр Дмитриевич (1836—1921) — писатель, автор огромного количества рассказов, статей, повестей, романов, пьес. «Свои романы он всегда диктовал стенографистке и в два часа сочинял два печатных листа, — вспоминал о нем И. Ясинский. — На время работы он одевался как паяц: в красную фуфайку, облипавшую тело, в такие же красные, невыразимые красные туфли и в красную феску с кисточкой; при этом он прыгал по кабинету и страшно раскрывал рот, чтобы каждой букве придать выразительность».

<sup>2</sup> День рождения В. Я. Брюсова 13 декабря 1873 г.

<sup>3</sup> Сборник стихотворений «Me eum esse» вышел в 1897 г.

<sup>4</sup> Брюсов сдал университетские выпускные экзамены весной 1899 г. Относительно «блестящих государственных экзаменов» Брюсов записал в дневнике: «Для меня самым неудачным экзаменом был греческий. Единственный раз тут получил я отметку «удовлетворительно».

<sup>5</sup> Яблоновский Сергей (псевдоним Сергея Викторовича Потресова) (1870—1954) — писатель, журналист. Начал свою литературную деятельность как переводчик Овидия; в 1895 г. вышла его первая книга — «Стихи». С 1901 г. стал сотрудником «Русского слова». Писал о Л. Андрееве, Бунине, Горьком, о театре, о скандальности футуристов и др. Эмигрировал (до 1921 г.). Сотрудничал в эмигрантских газетах и журналах. В 1950 г. опубликовал в «Возрождении» (№ 12) очерк «В. Я. Брюсов», в котором писал: «...в глубине пересеченного лужами двора в одноэтажном — кажется — домике жил Брюсов. Так это не вязалось с мыслью о представителе высшей, утонченной культуры, главе эстетов... Не вязалась и его в то время служба, кажется, в каком-то кредитном учреждении». Газета «Новое русское слово» издается в Нью-Йорке с 1910 г.

<sup>6</sup> «Зима эта неудачна, — записывал Брюсов в дневнике в конце 1900 г., — она вся разделена между работой у Бартенева в «Русском архиве» и свиданиями с Ш. То и другое надоело и опротивело. То и другое любопытнее будет в биографии, чем в жизни» (Дневники. 1891—1910. С. 100).

<sup>7</sup> Говорится о Петровской Нине Ивановне (1884—1928). Колоритная личность, «мятающаяся туда и сюда», вдохновительница нескольких поэтов и героиня ряда мемуаров, заметная фигура на горизонте московского модернизма начала века. Была замужем за поэтом Сергеем Кречетовым (Соколовым). Брюсов ее вывел под именем Ренаты в романе «Огненный ангел» (1908—1909) и посвятил ей более десяти стихотворений. Петровской посвящено одно из известнейших стихотворений А. Белого, «Друзьям» (1907):

Золотому блеску верил,  
А умер от солнечных стрел.  
Думой века измерил,  
А жизнь прожить не сумел.

Ей же посвящено стихотворение В. Ходасевича «Sanctus amor» (1906—1907) в его первом сборнике «Молодость». В 1908 г. издана была книжка рассказов Петровской под тем же названием, что и стихотворение В. Ходасевича, — «Sanctus amor», т. е. святая любовь. В журналах время от времени появлялись ее рецензии: «О творчестве О. Дымова», рецензия на книгу О. Дымова «Земля цветет», на книгу М. Крицкого «Рассказы», на рассказы В. Муйжеля и др. Они печатались в журналах символистов — в «Золотом руне», «Перевале» и у В. Брюсова в «Весях». Говоря о ее писательской карьере, В. Ходасевич писал в мемуарном очерке «Конеп Ренаты»: «Но такое прозвание как-то не вполне к ней подходит. По правде сказать, ею написанное было незначительно и по количеству, и по качеству. То небольшое дарование, которое у нее было, она не умела, а главное — вовсе не хотела «истратить» на литературу. Однако в жизни литературной Москвы между 1903—1909 гг. она сыграла видную роль». (Ходасевич В. Некрополь: Воспоминания. Париж: YMCA-Press, 1976. С. 7).

В ноябре 1911 г. Петровская навсегда уехала из России. Метания продолжались и в этот период (перезезды из страны в страну). Она покончила самоубийством в Париже «в нищенском отеле нищенского квартала, открыв газ», как писал В. Ходасевич в «Некрополе». 24 февраля 1928 г. Бунин записал в дневнике: «...она пила, прибегала к наркотикам. 45 дней назад умерла ее сестра... она тыкала в несбулавки, а затем колола себя, чтобы заразиться трупным ядом. Но яд не брал ее. Жутко представить, что было в ее душе... Почему-то все вспоминается какая-то выставка в Строгановском училище, пустые залы, в одном — безжизненная фигура Брюсова в застегнутом сюртуке и мохнатая черная голова Нины на маленьком туловище...»

<sup>8</sup> Хронология скорее обратная: роман с А. Белым и затем роман с В. Брюсовым. О времени знакомства и сближения с Брюсовым Н. Петровская писала в «Воспоминаниях»: «Что же отметил тогда во мне Валерий Брюсов, почему мы потом не расставались 7 лет, влача нашу трагедию не только по всей Москве и Петербургу, но и по странам?.. Он угадал во мне органическую родственность моей души с одной половиной своей, с той — тайной, которую не знали окружающие, с той, которую он в себе и любил... Во мне он нашел многое из того, что требовалось для романтического облика Ренаты: отчаяние, мертвую тоску по фантастически прекрасному прошлому, готовность швырнуть свое обесцененное существование в какой угодно костер, вывернутые наизнанку, отравленные демоническими соблазнами религиозные идеи и чаяния... оторванность от быта и людей, почти что ненависть к предметному миру, органическую душевную бездомность, жажду гибели и смерти — словом, все свои любимые поэтические гиперболы и чувства, сконцентрированные в одном существе — в маленькой начинающей журналистке...» (Литературное наследство. Т. 85. С. 782).

<sup>9</sup> Из стихотворения А. Белого «На горах» (1904) в сборнике «Золото в лазури»:

Голосил  
Низким басом:  
В небеса запустил  
Ананасом.

<sup>10</sup> Балтрушайтис Юргис Казимирович (1873—1944) — поэт. Брюсов сблизился с Балтрушайтисом в 1899 г. О первой книге стихов

«Земные ступени» Брюсов писал: «Что Ю. Балтрушайтис истинный поэт, это чувствуешь сразу, прочтя два-три его стихотворения... Балтрушайтис как-то сразу, с первых своих шагов в литературе обрел себя, сразу нашел свой тон, свои темы и уже с тех пор ни в чем не изменял себе» (*Брюсов В.* Далекие и близкие. М.: Скорпион. 1912. С. 173).

Соловьев Сергей Михайлович (1885—1943) — поэт, прозаик, критик и переводчик, племянник философа Вл. Соловьева, троюродный брат А. Блока. Первая запись о С. Соловьеве в дневнике Брюсов: относится ко времени, когда С. Соловьеву было шестнадцать лет и когда он редактировал сочинения Вл. Соловьева, архив которого перешел к Сергею Михайловичу с 1905 г. сотрудничая в брюсовских «Весях». О первом сборнике стихов С. Соловьева «Цветы и ладан» Брюсов писал как о «книге попыток»; это «еще не книга поэзии, а только книга стихов». Осторожна брюсовская оценка и второго сборника — «Апрель». И в этой книге, по словам Брюсова, С. Соловьев остается «талантливым учеником, поэтом, «обладающим надеждой».

Гофман Виктор Викторович (1882—1911) — один из молодых поэтов в окружении Брюсова. На протяжении всего 1902 г. Гофман, по словам Брюсова, «усердно посещал» его. А. Белый оставил шаржированный портрет В. Гофмана: «Студентик позирующий, с тонкой талией, с губками-розанчиками, слащавенький, розоволицый, капризный красавчик, весьма некультурный во всем, что не стих... Все восхищались его рифмой и образами». Свой художественный метод Гофман называл «интимизмом» — чем субъективнее художник, тем более он способен схватить реальность в беспредельной ее глубине. Интимизм и крайний индивидуализм Гофман понимал как дело самопознания. По его словам, художественный субъективизм ведет к мировому всеединству. В возрасте 29 лет в состоянии депрессии Гофман покончил с собой. Брюсов несколько раз писал о стихах Гофмана, всегда отмечая его «дар напевности». Посмертно вышло двухтомное собрание сочинений В. Гофмана со вступительной статьей Брюсова.

Муни — псевдоним поэта Киесина Самуила Викторовича (1885—1916).

<sup>11</sup> Что позволено Юпитеру, не позволено быку (*лат.*).

<sup>12</sup> Брик Осип Максимович (1888—1945) — критик.

<sup>13</sup> Брак втроем (*фр.*).

<sup>14</sup> «Ананасы в шампанском» — сборник стихотворений Игоря Северянина, вышедший первым и вторым изданием в 1915 г. Об отношении Брюсова к И. Северянину свидетельствует тот факт, что Брюсов ставил себе в заслугу поддержку еще не утвердившегося в литературе поэта («Я один из первых приветствовал стихи Игоря Северянина»). По инициативе Брюсова в обществе «Свободная эстетика» в конце 1912 г. был устроен вечер И. Северянина. В письме Анастасии Чеботаревской, жене Ф. Сологуба, Брюсов говорит о своем отношении к молодому поэту: «Ваш «Игорь» мне тоже нравится, и в его будущее я верю». Об отношении И. Северянина к Брюсову определеннее всего говорится в сонете «Брюсов», написанном в 1926 г. и вошедшем в книгу И. Северянина «Медальоны. Сонеты и вариации о поэтах, писателях и композиторах» (Белград, 1934).

БРЮСОВ

Его воспламенял призывный клич,  
Кто б ни кричал — новатор или Батый...  
Немедля честолюбец суховатый,  
Присемля бунт, спешил его постичь.

Взносился грозный над рутиной бич  
В руке самоуверенно зажатой,  
Оплачивал новинку щедрой платой  
По-европейски скроенный москвич.

Родясь дельцом и стать сумев поэтом,  
Как часто голос свой срывал фальцетом,  
В ненасытимой страсти все губя!

Всю жизнь мечтая о себе, чугуном,  
Готовый песни петь грядущим гуннам,  
Не пощадил он, — прежде всех, — себя...

<sup>15</sup> Речь идет о поэссе Адалис (Аделина Ефимовна Ефрон, 1900—1969).

Н. Валентинов

БРЮСОВ И ЭЛЛИС

Печатается из книги: *Валентинов Н.*

Два года с символистами / Под редакцией, с предисловием и примечаниями проф. Г. П. Струве. Стэнфорд (Калифорния), 1969. С. 139—149, 151—159.

Вольский (псевдоним — Валентинов) Николай Владиславович (1879—1964) — публицист, экономист, мемуарист. Некоторые автобиографические сведения Валентинов сообщил редактору книги «Два года с символистами» Г. П. Струве: «Под этим псевдонимом известен всем старым большевикам... и как Валентинова меня бесприщадно критиковал Ленин. Естественно, что книгу мою о «Встречах с Лениным» я мог написать, именуясь только Валентиновым, а не Е. Юрьевским, такой при Ленине не существовал. Подписываться Юрьевским стал в 1931 г., уйдя в эмиграцию... Всю свою жизнь, пользуясь десятком, если не больше, псевдонимов, написал кучу всякой макулатуры (брошюр, газетных статей)... В одном из писем к Струве Валентинов писал: «Я бы многое Вам мог сообщить о московских символистах — то, что никто не знает, то, что в печать никогда не попадало».

Вольский учился в Горном и в Технологическом институтах в Петербурге. Под влиянием М. И. Туган-Барановского заинтересовался марксизмом. Сидел в тюрьме, жил в ссылке, затем на нелегальном положении; в 1904 г. бежал за границу. В Женеве встретился с Лениным; результатом встреч был переход Вольского от большевизма к меньшевизму. Вернувшись в Россию, редактировал вместе с В. Дорошевичем «Русское слово». После революции работал в «Торгово-промыш-

ленной газете». Был командирован за границу и по приезде в Париж перешел на положение невозвращенца. Много печатался в русской зарубежной периодике. Опубликовал книгу «Доктрина правого коммунизма». Написал несколько книг, которые остались в рукописях (архив Колумбийского университета).

<sup>1</sup> Ликиардопуло Михаил Федорович (1883—1925) — секретарь журнала «Весы», критик, переводчик Уайльда; после революции эмигрировал.

<sup>2</sup> Валентинов имеет в виду очерк «Герой труда», в котором М. Цветаева писала о Брюсове, что он «греховен насквозь» и что, «поскольку чтение — соучастие, чтение Брюсова — сопреступление» (*Цветаева М. Проза. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова. 1953. С. 257*).

<sup>3</sup> Первые строки стихотворения А. Белого «В. Я. Брюсову» (написано в марте 1904 г.).

<sup>4</sup> Цитируется (с ошибкой в третьей строке) стихотворение В. Брюсова «З. Н. Гиппиус» (1901). Третья строка: *И все моря, все пристани.*

<sup>5</sup> Имеется в виду статья М. Кузмина «О прекрасной ясности», напечатанная в январском номере «Аполлона» за 1910 г.

<sup>6</sup> *Мочульский К. В. Александр Блок / Вступл. М. Кантора. Париж: YMCA-Press, 1948.*

<sup>7</sup> В очерке «Пленный дух. Моя встреча с Андреем Белым» М. Цветаева писала об Эллисе: «...поэт Эллис (Лев Львович Кобылинский), сын педагога Поливанова, переводчик Бодлера, один из самых страстных ранних символистов, разбросанный поэт, гениальный человек... Эллис, дороживший нашим домом, всем миром нашего дома: тополиным двором, мезонином, моими никем не слышанными стихами, полновластным царством над двумя детскими душами... Эллис жил в меблированных комнатах «Дон», с синей трактирной вывеской, на Смоленском рынке. Однажды мы с Асей, зайдя к нему вместо гимназии, застали посреди темной, с утра темной, всегда темной с опущенными шторами — не выносил дня! — и двумя свечами перед бюстом Данте — комнаты что-то летящее, разлетающееся, явно на отлете — ухода. И прежде чем мы опомниться могли. Эллис: — Борис Николаевич Бугаев» (*Цветаева М. Проза. С. 289*).

<sup>8</sup> *Fervet opus* — работа кипит, *ad hoc et ab hoc* — к этому и об этом, *exempli gratia* — например, *amicus humani generis* — друг рода человеческого, *in medias res* — к самому главному, в середину дела (лат.).

<sup>9</sup> *Homo (sum), humani nihil (a me) alienum puto* — латинское изречение: я человек, считаю, что ничто человеческое мне не чуждо.

<sup>10</sup> Тургенева (Ася) Анна Алексеевна (1890—1966) — первая жена А. Белого, художница.

## Борис Зайцев

### БАЛЬМОНТ

Печатается по книге: *Зайцев Б. Далекое. Ваннингтон: Interlanguage Literary Associates. 1965. С. 38—47.*

Зайцев Борис Константинович (1881—1972) — писатель. Первый рассказ двадцатилетнего Зайцева напечатал Леопид Андриев в московском «Курьере», и с того времени до года своей смерти Зайцев отдал



русской литературе семьдесят лет. Он эмигрировал (1922) уже маститым прозаиком, опубликовавшим к тому времени не одно собрание своих сочинений. К Зайцеву в эмиграции, в особенности после смерти Бунина, относились как к единственной живой связи между литературой серебряного века и современностью. Важная часть наследия Зайцева — лирические биографии русских классиков: Жуковского, Тургенева, Чехова. Писал он также и мемуары о своих современниках — Вячеславе Иванове, А. Белом, А. Блоке, А. Бенуа, Н. Бердяеве, П. Муратове.

<sup>1</sup> Воспоминания об этом кружке оставил В. Ходасевич, упоминающий, в частности, и Бальмонта: «...побывал я на бесчисленном множестве «вторников» и чьих только докладов не слышал. Бальмонт, Андрей Белый, Вячеслав Иванов, Мережковский, Венгеров, Айхенвальд, Чуковский, Волошин, Чулков, Городецкий, Маковский, Бердяев, Измайлов — не припомнишь и не перечислишь всех, кто входил на эстраду Кружка».

<sup>2</sup> «В безбрежности» — этот сборник вышел в свет в конце 1895 г., «Тишина» — в 1898 г., «Под северным небом» — в 1894 г., «Будем как солнце» — в конце 1902 (на титульном листе 1903), сборник «Только любовь» издан в ноябре 1903 г.

<sup>3</sup> Андреева Екатерина Алексеевна (1867—1950) — вторая жена Бальмонта, переводчица. Вместе с ней Бальмонт переводил Гауптмана. Совместно же переведена ими «Саломея» Оскара Уайльда.

<sup>4</sup> Цитируются слова из посвящения к сборнику «Будем как солнце»: «Посвящаю эту книгу, сотканную из лучей, моим друзьям, чьим душам всегда открыта моя душа: брату моих мечтаний, поэту и волхву Валерию Брюсову, — не жно му, к а к м и м о з а, С. А. П о л я к о в у, — угрюмому, как скала, Ю. Балтрушайтису... и весеннему цветку Люси Савицкой, с душой вольной и прозрачной, как лесной ручей».

<sup>5</sup> Эта попытка самоубийства описана в автобиографическом рассказе Бальмонта «Воздушный путь» (Русская мысль. 1908. Кн. 11), впоследствии вошедшем в одноименный сборник рассказов «Воздушный путь» (Берлин: Огоньки, 1923).

<sup>6</sup> Неточно цитируется заключительная строфа знаменитого бальмонтовского стихотворения, которым открывается сборник «Будем как солнце»:

Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце,  
А если день погас,  
Я буду петь... Я буду петь о солнце  
В предсмертный час!

<sup>7</sup> Это мнение прочно держалось в литературных кругах эмиграции. Н. Берберова в своих мемуарах «Курсив мой», отражая это мнение, утрирует его: «Бальмонт был поэтом пятнадцать лет» (Нью-Йорк: Russica, 1983. С. 282). Ср. также с воспоминаниями В. С. Яновского: «Думаю, что даже весь русский серебряный век мог бы оказаться удачей, если бы только его главные герои — Вячеслав Иванов, Бальмонт, Брюсов, Сологуб, Андреев и многие другие — не следовали упрямо за выдуманной ложной иконой...» (Яновский В. С. Поля Елисейские. Книга памяти. Нью-Йорк: Серебряный век, 1983. С. 199). И в той же книге о встрече с Бальмонтом в Клараме в тридцатые годы: «День рождения Бальмонта... У опустевшей клумбы сидит поэт с перья-

шливой, но львиной гривой. Одурающе пахнет французскими цветами. Дряхлый, седой, с острой бородкой, Бальмонт все же был похож на древнего бога Сварога или Дажбога, во всяком случае, нечто старославянское. Земля кругом покрыта сугробами розовых лепестков; Сосинский хозяйственно собрал ведро этого французского летнего снега и преподнес поникшему отставному громовержцу. Чужой каменный божок Бальмонт сонно улыбнулся, поблагодарил. Когда заговорили о техническом прогрессе, поэт, словно очнувшись, взволнованно зашептал:

— Чем заниматься разными глупостями, лучше бы они отправили экспедицию к берегам Азорских островов, ведь ясно, что там похоронена Атлантида!

На дереве запело, засвистело пернатое создание, и мы, молодежь, заспорили, что это за птица... Когда уже беседовали о другом, Бальмонт, вдруг очнувшись, укоризненно бросил в нашу сторону:

— Пеночка» (С. 219—220).

<sup>8</sup> О последних днях Бальмонта и его смерти узнаем некоторые подробности из скурых строк и других мемуаристов. Юрий Терапиано писал в очерке «К. Д. Бальмонт»: «Во время оккупации он поселился в Нуази-ле-Гран, в русском общежитии, устроенном матерью Марией. Немцы относились к Бальмонту безразлично, русские же гитлеровцы попрекали его за прежние революционные убеждения.

Больной поэт все время находился, как передавали, в очень угнетенном состоянии. О смерти Бальмонта в Париже узнали из статьи, помещенной в тогдашнем органе Жеребкова «Парижский вестник». Сделав, как тогда полагалось, основательный выговор покойному поэту за то, что в свое время он «поддерживал революционеров», жеребковский журналист описал грустную картину похорон: не было почти никого, так как в Париже лишь очень немногие знали о смерти Бальмонта. Шел дождь, и когда опустили гроб в яму, наполненную водой, гроб всплыл, и его пришлось придерживать шестом, пока засыпали землей могилу» (Терапиано Ю. Встречи. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1953. С. 21).

Почти то же самое пишет в воспоминаниях «На берегах Сены» Ирина Одоевцева: «Во время оккупации Бальмонт поселился в Нуази-ле-Гран в русском общежитии матери Марии, где и умер в декабре 1942 года. На похоронах его ни поэтов, ни поклонников не было. Шел сильный дождь. Когда гроб стали опускать в могилу, она оказалась наполненной водой, и гроб всплыл. Его пришлось придерживать шестом, пока засыпали могилу».

Поэт М. Цетлин (Амари), часто встречавшийся с Бальмонтом в Париже, писал о его последнем периоде: «Самая горькая обида была в том, что те молодые люди, которые ушли в эмиграцию подростками и не только сохранили русский язык и любовь к литературе, но и сами писали стихи; те десятки, а может быть, даже сотни молодых поэтов, сосредоточенных главным образом в Париже, но и в других центрах эмиграции, тот «солоньяный сад» эмигрантской поэзии, о котором хорошо писал Г. П. Федотов, совершенно не интересовались Бальмонтом. Эти молодые (вернее, среднего возраста) поэты поклонялись Блоку, открывали Анненского, любили Сологуба, читали Ходасевича, но были равнодушны к Бальмонту. Он жил в духовном одиночестве. И тут он, вероятно, мог вспомнить свои собственные прекрасные стихи. Они были написаны в момент растущей славы, тогда в них был гуманный

смысл благородной жалости, но теперь они звучали не жалостью, а жалобой:

Тише, тише совлекайте с древних идиолов одежды,  
Слишком долго вы молились, не забудьте прошлый свет.  
У развенчанных великих, как и прежде, горды вежды,  
И слагатель вещей песен был поэт и есть поэт.

Дети солнца, не забудьте голос меркнувшего брата,  
Я люблю вас в ваше утро, вашу смелость и мечты.  
Но и к вам придет мгновенье охлаждения и заката.  
В первый миг и в миг последний, будьте, будьте, как цветы».

(Новый журнал. 1943. № 5. С. 359—360)

Еще один штрих к портрету Бальмонта в последние годы жизни находим в воспоминаниях журналиста и писателя Андрея Седых: «В последнюю нашу встречу, когда Константин Дмитриевич был уже по-настоящему болен, подавлен душевно, как-то особенно высокомерен, словно бросал вызов всему миру, он прочел мне мрачную поэму Эдгара По о «Вороне». И я слышу еще сейчас его голос: рыкающий, неровный, резкий и в то же время певучий:

И сидит, сидит зловещий, Ворон черный, Ворон вещий.  
С бюста бледного Паллады не умчится никогда,  
Он глядит уединенный, точно демон полусонный,  
Свет струится, тень ложится, на полу дрожит всегда,  
И душа моя из тени, что волнуется всегда,  
Не восстанет — никогда!

Мне рассказывали, — заканчивает воспоминания А. Седых, — Бальмонта хоронили глубокой осенью. Свежевырытая могила была наполовину затоплена водой. Так в эту холодную мутную воду и опустили гроб Поэта» (Новый журнал. 1958. № 5. С. 159).

<sup>9</sup> Заключительные строки стихотворения А. С. Пушкина «Воспоминание» (написано 19 мая 1828 г.).

Н. А. Тэффи

БАЛЬМОНТ

Печатается по журналу: Возрождение. 1955. № 47. С. 60—68.

Тэффи — псевдоним Надежды Александровны Бучинской (урожденная Лохвицкая) (1871—1952) — писательница. Оставила также воспоминания о Ф. Сологубе (включены в настоящее издание), о Зинаиде Гиппиус, А. Куприне, Г. Чулкове, В. Мейерхольде (Возрождение. 1955. № 43). Ее первое выступление в печати — стихи в журнале «Север» в августе 1901 г. («Когда я увидела первое свое произведение напечатанным, мне стало очень стыдно и неприятно. Все надеялась, что никто не прочтет»). Как автор юмористических рассказов к 1910 г. завоевала широкую популярность. В 1910 г. была опубликована ее первая книга

«Юмористические рассказы», и к этому времени имя Тэффи уже пользовалось широким признанием. Ее первая книга выдержала ко времени революции 10 изданий. Другие ее книги, изданные до эмиграции (1919): «И стало так...», «Дым без огня», «Восемь миниатюр», «Карусель», «Миниатюры и монологи», «Ничего подобного», «Житье-бытье», «Неживой зверь», «Вчера». В эмиграции вышло около 18 ее книг, в том числе «Воспоминания» (Париж, 1932), а отдельные ее рассказы на протяжении десятилетий регулярно печатались в эмигрантских газетах и журналах.

<sup>1</sup> Неточно приводится первая строфа стихотворения «В моем саду» (сборник «Будем как солнце»). У Бальмонта:

В моем саду м е р ц а ю т розы белые...

<sup>2</sup> Стихотворение вошло в сборник «Только любовь» (первое издание — 1903).

<sup>3</sup> Н. Тэффи цитирует подряд первый и последний стих «Песни без слов» Бальмонта. Это стихотворение вошло в сборник «Под северным небом» (1894).

<sup>4</sup> «Пелеас и Мелисанда» (1892) — пьеса бельгийского драматурга Мориса Метерлинка. Премьера состоялась в театре В. Ф. Комиссаржевской в Петербурге 10 октября 1907 г.

<sup>5</sup> Приведена первая строфа стихотворения «Тебя я хочу, мое счастье» (написано 28 ноября 1894 г., вошло в сборник «В безбрежности»).

<sup>6</sup> Знакомство с Миррой Александровной Лохвицкой (1869—1905) состоялось не позднее ноября 1897 г. Бальмонт посвятил ей несколько стихотворений — из них, возможно, самое раннее — «Я знал»:

Я знал, что, однажды тебя увидав,  
Я буду любить тебя вечно,  
Из женственных женщин богиню избрав,  
Я жду — я люблю — бесконечно.

17 сентября 1905 г. Бальмонт написал в память Лохвицкой четверостишие:

О, какая тоска, что в предсмертной тиши  
Я не слышал дыханья певучей души,  
Что я не был с тобой, что я не был с тобой,  
Что одна ты ушла в океан голубой.

На раннюю смерть поэтессы Бальмонт отозвался также стихотворением «Мирра» (1905):

Мне чудится, что ты в одежде духов света  
Витаешь где-то там — высоко над землей,  
Перед тобой твоя лазурная планета,  
И алые вдали горят за дымной мглой.

<sup>7</sup> Это пребывание за границей длилось семь лет: Бальмонт уехал в самом конце 1905 г., смог вернуться лишь в 1913-м.

Н. А. Тэффи

ФЕДОР СОЛОГУБ

Печатается по «Новому русскому слову» (1949, 9 января).

О Тэффи см. в примечаниях к ее очерку «Бальмонт».

О Федоре Сологубе (1863—1927) кроме Тэффи оставили воспоминания Г. Чулков, Г. Иванов, З. Гиппиус (см. в настоящем издании), П. Пильский (в кн. «Затуманившийся мир»), А. Белый («Начало века» и «Между двух революций»), П. Перцов («Литературные воспоминания 1890—1902») и др.

<sup>1</sup> Из стихотворения Ф. Сологуба «В поле не видно ни зги» (написано 18 мая 1897 г.).

<sup>2</sup> Цитируются две первые строки стихотворения Ф. Сологуба, написанного 30 августа 1906 г. и напечатанного в «Русской мысли» в 1907 г. (кн. 11).

<sup>3</sup> У Ф. Сологуба:

Хоть белых раковин случайно  
Набрать бы у ручья,—  
Нет, умираем, плача тайно,  
Сестра и я.

<sup>4</sup> Оба события — смерть сестры и увольнение в отставку — имели место в 1907 г. Анастасия Чеботаревская, жена поэта, писала: «1907 г. явился поворотом и в смысле служебной деятельности Сологуба; по выслуге 25-летней пенсии он был уволен в отставку и уже всецело и окончательно предался литературе. В 1907 г. Сологуб лишился любимой и единственной сестры, скончавшейся летом в Финляндии от наследственной чахотки. Памяти ее посвящена написанная непосредственно вслед за ее смертью трагедия «Победа смерти»... (Русская литература XX века. Т. 2/Под ред. С. А. Венгерова. М., 1915. С. 12).

<sup>5</sup> О вечерах у Сологуба оставлено немало мемуарных зарисовок. Рассказывает об этих вечерах и В. Пяст: «...на одном из своих «журфиксов» этот небольшой, седой и старобразный, профессионально злой Федор Сологуб как-то начал такой шуточный экспромт:

Из леса криптомерий  
Встает Комплиментарий, —  
И это не Валерий,  
А просто ересь — Арий...

Я хочу сказать, — лукаво пояснил он, — «ерисиарх» Арий... распространитель еретических учений. Подразумевалось: «мистический анархизм» (Пяст В. Встречи. М.: Федерация, 1929, С. 48—49).

Изобретатель этого «мистического анархизма» Г. Чулков вспоминал о вечерах у Сологуба в книге «Годы странствий»: «В кабинете хозяина, где стояла темная, несколько холодная кожаная мебель, сидели чинно поэты, читали покорно по желанию хозяина свои стихи и послушно выслушивали суждения мэтра, точные и строгие, почти всегда, впрочем, благожелательные, но иногда острые и беспощадные, если стихотворец рискнул выступить со стихами легкомысленными и несовершенновыми. Это был ареопаг петербургских поэтов» (М.: Федерация, 1930. С. 146—147).

<sup>6</sup> Ср. с воспоминаниями Г. Чулкова: «Но обидчив и мнителен он был в самом деле болезненно. Несколько раз даже у меня с ним были недоразумения по разным незначительным поводам. Правда, эти недоразумения кончались благополучно и очень скоро, потому что Сологуб всегда чувствовал, что я его ценю и люблю, и охотно мирился».

Однажды мне пришлось даже получить от него довольно неприятное письмо, написанное им под впечатлением только что напечатанной тогда повести Кузмина «Картонный домик». К несчастью, эта повесть напечатана была в альманахе «Белые ночи», в коем я принимал ближайшее участие и где я напечатал также стихи самого Сологуба. А в повести Кузмина — надо признаться — не очень скромно описан был интимный вечер в театре В. Ф. Комиссаржевской, где Сологуб читал свою пьесу. И сам поэт изображен был Кузминым насмешливо, как некий «седой человек, медлительным старческим голосом, как архимандрит в великий четверг», возглашавший реплики своей пьесы. Оскорбительного, впрочем, ничего не было. Но Сологуб обиделся. Мне это было особенно тяжело, потому что вся эта история совпала с мучительною предсмертною болезнью сестры поэта» (Годы странствий. С. 147--148).

<sup>7</sup> Аничков Евгений Васильевич (1866--1937) — литературовед и критик, писавший о символистах, автор книги «Новая русская поэзия» и др. В дневниках, письмах, мемуарах находим многочисленные упоминания Аничкова, лично встречавшегося почти со всеми значительными писателями и поэтами серебряного века.

<sup>8</sup> Ср. с воспоминаниями И. Ясинского: «Тетерников служил учителем и смотрителем городской школы на Васильевском острове, где имел квартиру; женат не был и жил с сестрой, был уже сед. Приютил его у себя «Северный вестник», напечатавший его рассказ «Тени». Содержание «Теней» понравилось критике; Венгеров восторгался, а состояло оно в том, что мать, делая из пальцев зайчиков на стене своему ребенку, сама проникается суеверным ужасом к игре теней и сходит вместе с сыном с ума» (Роман моей жизни. М.: Л., 1926. С. 255).

<sup>9</sup> Обратившемуся к нему за автобиографией Модесту Гофману Сологуб ответил: «Я с большим удовольствием исполнил бы всякую Вашу просьбу, но это Ваше желание не могу исполнить. Моя биография никому не нужна. Биография писателя должна идти только после основательного внимания критики и публики к сочинениям».

<sup>10</sup> Цитата не точна. У Сологуба:

Когда я в бурном море плавал  
И мой корабль пошел ко дну,  
Я так воззвал: «Огень мой, Дьявол,  
Спаси, помилуй, я тону».

<sup>11</sup> Цитируется неточно.

<sup>12</sup> Любопытная параллель в воспоминаниях Г. Чулкова: «Сологубу можно было тогда дать лет пятьдесят и более. Впрочем, он был один из тех, чей возраст определяется не десятилетиями, а по крайней мере тысячами — такая давняя человеческая мудрость светилась в его иронических глазах» (Годы странствий. С. 146).

<sup>13</sup> Стихотворение Ф. Сологуба «Чертовы качели», написано 14 июня 1907 г.

<sup>14</sup> Ср. со свидетельством другого мемуариста: «...измучившаяся в Советской России, издерганная обещаниями коммунистов, с ними

никогда не имевшая ни единой точки соприкосновения, как и сам Сологуб, отчаявшись попасть за границу, Чеботаревская бросилась в Неву. Ее тело нашли только через год. Непостижимо, каким образом Сологуб пережил этот ужас» (*Пильский Петр*. Затуманившийся мир. Рига, 1929. С. 66).

Зинаида Гиппиус

ОТРЫВОЧНОЕ (О СОЛОГУБЕ)

Печатается по кн: *Гиппиус З.* Живые лица. Т. 2. Прага: Пламя, 1925. С. 95—113. Впервые напечатано в «Последних новостях» 14 апреля 1924 г.

<sup>1</sup> В 1908 г. в «Речи» (№ 273) была напечатана статья З. Гиппиус о Сологубе «Слезинка Передонова»; в 1912 г. З. Гиппиус напечатала статью в «Русской мысли» (№ 12) — «Иринушка и Ф. Сологуб».

<sup>2</sup> Минский — псевдоним поэта, публициста и переводчика Николая Максимовича Виленкина (1855—1937). Об одной из ранних встреч Сологуба с Минским находим упоминание в дневнике В. Брюсова: «...попал к Ф. Сологубу. Были там разные люди — Гиппиус, Минский, Коринфский, Лебедев (человек дикий и угрюмый) и молодецкий студент Ореус. Мы с Бальмонтом держались в стороне. Самым замечательным было чтение Ореуса, ибо он прекрасный поэт... Минский посмеивался смешком и говорил не очень глубокомысленные шуточки. Сологуб молчал по обыкновению и не читал ничего, хотя у него есть стихи замечательные...» (*Брюсов В.* Дневники. 1891—1910. С. 57).

<sup>3</sup> Перцов Петр Петрович (1868—1947) — редактор журнала «Новый путь», критик, мемуарист, автор «Литературных воспоминаний. 1890—1902» (М.; Л., 1933), в которых говорится, в частности, и о Ф. Сологубе.

<sup>4</sup> Ср. с рассказом В. Ходасевича о его первой встрече с Ф. Сологубом: «Я впервые увидел его в начале 1908 года, в Москве, у одного литератора. Это был тот самый Сологуб, которого на известном портрете так схоже изобразил Кустодиев. Сидит мешковато на кресле, нога на ногу, слегка потирает маленькие, очень белые руки. Лысая голова, темя слегка заостренное, крышей, вокруг лысины — седина. Лицо чуть мучнистое, чуть одутловатое. На левой щеке, возле носа с легкой горбинкой, — большая белая бородавка. Рыжевато-седая борода клином, небольшая, и рыжевато-седые висящие вниз усы. Пенсне на тонком шнурке, над переносицей складка, глаза полузакрыты. Когда Сологуб их открывает, их выражение можно бы передать вопросом: «А вы все еще существуете?»

Таким выражением глаз встретил и меня Сологуб, когда был я ему представлен. Шел мне двадцать второй год, и я Сологуба испугался. И этот страх никогда уже не проходил» (*Ходасевич В.* Некрополь. С. 159—160).

Сравним с этим еще и воспоминания Георгия Иванова о его первой встрече с Сологубом: «Движения медленные, натянуто-угловатые. Лысый, огромный череп, маленькие сверлящие глазки. Лицо бледное, неподвижное, гладко выбритое. И даже большая бородавка на этом лице — каменная. И голос такой же... — читает Сологуб, и кажется, что

это не человек читает, а молоток о стену выстукивает эти ровные, мерные, ничего не значащие слова. «Обращение» тоже соответствующее... Когда меня впервые подвели к Сологубу и он уставил на меня бесцветные ледяные глазки и протянул мне, не торопясь, каменную ладонь (правда, мне было семнадцать лет), зубы мои слегка шелкнули — такой «холодок» от него распространялся» (Иванов Г. Петербургские зимы. Нью-Йорк, 1952. С. 177—178).

<sup>5</sup> Имеется в виду цикл стихотворений Ф. Сологуба «Звезда Маир».

<sup>6</sup> О той же встрече Сологуба с Вяч. Ивановым писал В. Пяст: «Приведу здесь рассказывавшийся самим Вячеславом Ивановым анекдот об этой особой силе Федора Сологуба. Только что с ним познакомившись и в первый раз к нему придя, Вячеслав Иванов никак не мог от него выйти: на улице моросило, и ему казалось, что это, т. е. дурную погоду, сделал нарочно Федор Сологуб. Но чтобы выйти под дождь, необходимо было надеть калоши. В передней было много калош, в том числе и его, В. И., в которых он пришел. Однако на всех калошных парах Вячеслав Иванов видел одни и те же буквы: Ф. Т. — настоящая фамилия Сологуба была Тетерников... По этому поводу было написано, между прочим, такое четверостишие:

Невысокая порода  
Колдовских его забав,—  
То калоши, то погода,  
То... Иванов Вячеслав».

(Пяст В. Встречи. С. 111).

<sup>7</sup> Этими словами Розанова начинается свои воспоминания о Сологубе Г. Иванов: «Кирпич в сюртуке» — слово Розанова о Сологубе. По внешности действительно не человек — камень» (Петербургские зимы. С. 177).

## Сергей Маковский ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ ИННОКЕНТИИ АННЕНСКОМ

Впервые напечатано в литературно-художественном альманахе «Веретено» (Берлин, 1922. С. 233—247). В 1949 г. этот же очерк в переработанном виде появился в журнале «Новоселье» (№ 39—41. С. 117—129). В настоящем издании воспоминания Маковского печатаются по нью-йоркскому «Новоселью». Позднее Маковский писал об Анненском в своих двух мемуарных книгах: «Портреты современников» (1955) и «На парнассе серебряного века» (1962).

Кроме Маковского воспоминания об Анненском оставили В. Кривич, Э. Голлербах, Ю. Анненков, В. Пяст, Г. Чулков, В. Рождественский, А. Кондратьев, Д. Кленовский и др.

Маковский Сергей Константинович (1877—1962) — историк искусства, художественный критик, поэт, редактор, издатель, организатор художественных выставок. Впервые выступил в печати в 1898 г. В 1905 г. вышел в свет его первый поэтический сборник «Собрание стихов». Участвовал в создании журнала «Старые годы» и был одним из его



редакторов. В 1909 г. основал журнал «Аполлон», в котором в последний год своей жизни печатался И. Ф. Анненский. Автор двух мемуарных книг (третья осталась неизданной), девяти сборников стихотворений и ряда книг по искусству, из которых наиболее известная — трехтомник «Страницы художественной критики».

<sup>1</sup> В отношении «неузнанности» характерно свидетельство В. Пяста, который впервые встретился с Анненским весной 1909 г. Для Пяста, хорошо знавшего современную русскую поэзию и лично знавшего многих из петербургских и московских поэтов, встреча с Анненским явилась полной неожиданностью. «К тому времени,— писал В. Пяст,— кажется, была выпущена им только одна книга стихов — да и то под псевдонимом Ник. Т-о, который можно было расшифровать как хотя бы «Николай Терещенко». А между тем это был последний год довольно долгой жизни почтенного поэта, «под знаком» которого действовало все восходившее в те годы поэтическое творчество: акмеисты и первые футуристы. Признаться, я лично ни разу об И. Ф. Анненском до этой весны и не слыхал».

<sup>2</sup> Подобную оценку находим и у других поэтов-эмигрантов (Г. Иванов, Н. Оцуп, Г. Адамович и др.). В статье «Иннокентий Анненский», написанной к пятидесятилетию со дня смерти, Г. В. Адамович сформулировал точку зрения, которую разделял и С. Маковский: «Эпоха «ликвидации» девятнадцатого века — то, что на обывательском языке называется декадентством, — не имела более чистого выражения, чем Анненский». И еще в той же статье: «Все молчаливо, но с глубоким убеждением согласились, что после Тютчева у нас не было ничего прекраснее и значительнее. Любимейшие из русских символистов, Сологуб и Блок, как-то померкли перед ним, уступили ему первое место» (Звено. 1924. 28 июля).

<sup>3</sup> Эта статья называется «О современном лиризме», и две первые главы носят подзаголовки «Они», а последняя (третья) глава — «Оне», поскольку в ней речь идет о поэтессах (З. Гиппиус, П. Соловьевой, И. Гриневской, Т. Щепкиной-Куперник, Л. Вилькиной, М. Пожаровой, М. Шагинян, О. Беляевской, А. Герцык, Л. Столице и Черубине де Габриак).

<sup>4</sup> Об этой способности Анненского подметить неочевидную, новую грань чего-либо общеизвестного писал во «Встречах» Владимир Пяст: «Но как сухо то, что я вот записываю здесь! Как проникновенно-лирично излагал это самое покойный поэт-учитель. Как-то все сразу, несмотря на то что в мире изящной литературы Анненский еще пока ничем не проявил себя, не имел не только шумного успеха, как какой-нибудь Леонид Андреев, имени, но и тихого, как Вячеслав Иванов, — все сразу, без спора признали этого старика, в сущности, одним из самых н о в ы х л о д е й вне ученой области — своим учителем, авторитетом почти непререкаемым» (с. 147 —148).

<sup>5</sup> В мемуарной литературе об Анненском, по-видимому, не существует портрета более выразительного, чем нарисованный С. Маковским. Дополним этот портрет наброском, оставленным нам поэтом-параскопелом Д. Кленовским: «Он выступал медленно и торжественно, с портфелем и греческими фолиантами под мышкой, никого не замечая, вдохновенно откинув голову и заложив правую руку за бортик форменного сюртука. Мне он тогда напоминал Козьму Пруткову с того известного «портрета», каким обычно открывался томик его произведений. Анненский был окружен плотной, двигавшейся вместе с ним тол-

пой гимназистов, любивших его за то, что с ним можно было совершенно не считаться. Стоял несусветный галдеж. Анненский не шел, а шествовал, медленно, с олимпийским спокойствием, с отсутствующим взглядом... Так или иначе, но среди смертных Анненского в те минуты не было. В стенах Царскосельской гимназии находилась только его официальная, облеченная в форменный сюртук оболочка» (Николай Гумилев в воспоминаниях современников/Под ред. В. Крейда. Париж; Нью-Йорк, 1989. С. 26—27).

<sup>6</sup> «Кипарисовый ларец» был издан приблизительно через пять месяцев после смерти поэта. А. Ахматова, читавшая эту книгу в корректуре, переданной ей Н. Гумилевым в апреле 1910 г., вспоминала: «Когда мне показали корректуру «Кипарисового ларца» Иннокентия Анненского, я была поражена и читала ее, забыв все на свете» (*Ахматова А.* Тайны ремесла. М.: Советская Россия, 1986. С. 17). «Кипарисовый ларец» вышел сравнительно большим по тем временам тиражом — 1200 экз. и не переиздавался до 1923 г. Продолжительное время книга оставалась библиографической редкостью. «С годами,— вспоминал Г. Адамович,— «Кипарисовый ларец» стал величайшей редкостью. Еще недавно в России можно было видеть рукописные экземпляры «Ларца», сделанные теми, кто отчаялся где-либо достать его» (Звено. 1924. 28 июля).

<sup>7</sup> О том, как Анненский читал стихи (не свои, а стихи любимых им поэтов), рассказал в своих мемуарах В. Пяст: «Выхожу один я на дорогу»... начал он каким-то несравненно задушевным тоном; в голосе его прямо слышалась, прямо дышала тишина вечернего поля и большака в неособятных просторах. И при этом — необычайная мягкость, притушенность каждого звука» (*Пяст В.* Встречи. С. 146).

<sup>8</sup> «Художественный идеализм Гоголя» — речь, произнесенная Анненским в Царскосельской Николаевской гимназии 21 февраля 1902 г. по поводу пятидесятилетия со дня смерти Гоголя. В том же году эта речь Анненского была напечатана в журнале «Русская школа».

<sup>9</sup> Маковский говорит здесь о статье Ходасевича «Об Анненском», оконченной 14 марта 1935 г. и позднее вошедшей в составленную Н. Берберовой книгу (*Ходасевич В.* Литературные статьи и воспоминания). Статья написана как доклад и была прочитана 14 декабря 1921 г. в Петроградском Доме искусств. В 1922 г. напечатана в московском альманахе «Феникс». В новой редакции опубликована уже в эмиграции в берлинском журнале «Эпопея» (декабрь 1922 г.); в 1935 г. Ходасевич основательно переработал эту статью.

<sup>10</sup> Маковский полностью привел стихотворение И. Анненского «То было на Валлен-Коски» без разделения на строфы, с ошибкой в первой строке и с интересным разночтением в третьей с конца строке. В «Кипарисовом ларце» эта строка читается: «Что с ним родился только страх». Ритмически и эвфонически вариант, сообщенный Маковским, не раз слышавшим это стихотворение в чтении Анненского, заслуживает, может быть, большего доверия, чем вариант в «Кипарисовом ларце».

<sup>11</sup> О судьбе этой статьи ничего не говорится у других мемуаристов, писавших об Анненском. Однако не исключено, что С. Маковский в результате какой-то aberrации вспомнил о статье Анненского «Искусство Леонида Андреева», напечатанной как вторая часть статьи-триптиха «Иуда» во «Второй книге отражений» (1909).

<sup>12</sup> С. Маковский имеет в виду большой очерк Анненского «Бальмонт-лирик», в котором говорится о Бальмонте как о лучшем представителе новой поэзии. В отличие от Анненского почти все

«модернисты позднейшего поколения» (т. е. поколения Гумилева) отзывались о поэзии Бальмонта далеко не восторженно.

<sup>13</sup> Эта статья Анненского вызвала много противоречивых и даже взаимоисключающих толков в литературных кругах. Ср., например, со свидетельством другого современника: «Когда «Аполлон» предложил ему высказаться на его страницах с полной свободой и откровенностью, старик так обрадовался и растерялся, что, позабыв свой строгий и острый критический жанр, написал две или три водянистые статьи, где слишком щедро расточал похвалы второстепенным и даже сомнительным поэтам» (Чулков Г. Годы странствий. С. 191). Подобные разнотолки заставили Анненского выступить с открытым письмом в «Аполлоне»:

«Многоуважаемый Сергей Константинович!

Моя статья «О современном лиризме» порождает среди читателей «Аполлона», а также и его сотрудников немало недоумений: так, одни и те же фразы, по мнению иных, содержат глумление, а для других являются неумеренным дифирамбом. Если бы дело касалось только меня, то я воздержался бы от объяснений, но так как еще больше, чем меня, упрекают редакцию «Аполлона», то я и считаю необходимым просить Вас о напечатании в «Аполлоне» следующих строк.

О выполнении моей задачи я судить, конечно, не могу. О стиле распространяться также едва ли стоит. Каков есть. Я живу давно, учился много и теперь все еще постоянно учусь, и, наконец, я печатаюсь более двадцати лет. Трудно при таких условиях не выработать себе кое-каких особенностей в слого. Но я хочу сказать несколько слов о замысле, о самой концепции статьи.

Я поставил себе задачей рассмотреть нашу современную лирику лишь эстетически, как один из планов в перспективе, не считаясь с тем живым, требовательным настоящим, которого она является частью. Самое близкое, самое дразнящее я намеренно изображал прощлым или, точнее, безразлично-переходящим: традиции, credo, иерархия, самолюбия, завоеванная и оберегаемая позиция,— все это настоящее или не входило в мою задачу, или входило лишь отчасти. И я не скрывал от себя неудобств положения, которое собирался занять, трактуя литературных деятелей столь независимо от условий переживаемого нами времени. Но все равно. Мне кажется, что современный лиризм достоин, чтоб его рассматривали не только и сториически, т. е. в целях оправдания, но и эстетически, т. е. по отношению к будущему, в связи с той перспективой, которая за ним открывается. Это я делал — и только это.

Все вышеописанное, впрочем, pro domo.

Хотя и считаю свою задачу строго аполлонической, но, ввиду того что это — лишь мое мнение, да и выполнение могло замысел мой не оправдать, я прошу Вас, многоуважаемый Сергей Константинович, напечатать в «Аполлоне», во избежание дальнейших недоразумений, что редакция лишь допускает мою точку зрения, но вовсе не считает ее редакционной,— если, конечно, Вы найдете возможным это сделать.

Примите уверение в совершенном моем почтении и преданности.

*Ин. Атенский».*

<sup>14</sup> С осени 1908 г. Анненский читал древнегреческую литературу на Высших историко-литературных курсах Н. П. Раева в Петербурге.

<sup>15</sup> Поэтическая академия, или Академия стиха,— кружок поэтов, возникший на «башне» Вячеслава Иванова, а с осени 1909 г. преобразованный в «Общество ревнителей художественного слова» и перенесенный в редакцию журнала «Аполлон». В 1909 г. и позднее в кружке участвовали И. Анненский, Вяч. Иванов, С. Маковский, Н. Гумилев, В. Пяст, А. Толстой, В. Недоброво, А. Кондратьев, Г. Иванов, А. Ахматова, А. Скалдин, А. Белый, А. Блок, М. Кузмин, М. Волошин, Е. Зноско-Боровский, М. Лозинский, Иоганнес фон Гюнтер, С. Городецкий, В. Чудовский, Ф. Сологуб, Ю. Верховский, О. Мандельштам, В. Нарбут, В. Бородаевский, профессор Ф. Зелинский, Л. Гуревич, Е. Дмитриева (Черубина де Габриак), В. Брюсов, Василий Гиппиус, В. Жирмунский, П. Потемкин, Г. Чулков, Б. Садовской, В. Рождественский. Состав Академии никогда не был постоянным. Менялось даже основное ядро его — президиум, или «Совет общества ревнителей». В книге «Портреты современников» Маковский говорит, что блистательные выступления Анненского продолжались в Академии «в течение двух первых месяцев», т. е. в октябре и в ноябре 1909 г. до самой смерти (30 ноября 1909 г.). Однако из воспоминаний Пяста известно, что Анненский выступал в Академии («Проакадемии») еще в ранний период ее становления — весной 1909 г. в квартире Вячеслава Иванова на Таврической улице (см.: *Крейд В. Петербургская Академия стиха*//Стрелец. 1987. № 8).

<sup>16</sup> Кривич Валентин, сын поэта, в мемуарном очерке «Иннокентий Анненский по семейным воспоминаниям и рукописным материалам» писал о последнем дне жизни и внезапной смерти отца: «Последний день его сложился очень утомительно.

Утром и днем — лекции на Высших женских курсах Раева, Учебный округ, заседание Учебного комитета; вечером — заседание в Обществе классической филологии, где был назначен его доклад о «Таврической жрице у Еврипида, Руччелаи и Гете», и, наконец, отец обещал своим слушательницам-курсисткам побывать перед отъездом в б. Царское, на их вечеринке.

В промежутке он должен был обедать у одной дамы, близкого друга нашей семьи, жившей неподалеку от вокзала.

Уже там, у О. А. Васильевой, он почувствовал себя нехорошо, и настолько нехорошо, что даже просил разрешения прилечь.

От доктора, однако ж, отец категорически отказался, принял каких-то домашних безразличных капелек и, полежав немного, уехал, сказав, что чувствует себя благополучно.

А через несколько минут упал мертвым на подъезде вокзала в запахнутой шубе и с зажатым в руке красным портфельчиком с рукописью доклада о Таврической жрице» (Литературная мысль. Вып. 3. Л.: Мысль, 1925. С. 211—212).

Сергей Маковский

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ  
В РОССИИ

Печатается по «Новому журналу» (1952. № 30. С. 135—151). Позднее этот очерк вошел как отдельная глава в кн.: *Маковский С. Портреты современников*. Нью-Йорк: Изд-во им. Чехова, 1955.

<sup>1</sup> Тираж книги «Человек» всего лишь 200 экз., из них 20 авторских, в продажу не поступивших.

<sup>2</sup> Первая жена Вяч. Иванова (с 1886 г.) — Дарья Михайловна Дмитриевская; на Лидии Дмитриевне Зиновьевой-Аннибал Вяч. Иванов женился в 1899 г.

<sup>3</sup> Статья Михаила Кузмина «О прекрасной ясности» появилась в январском номере «Аполлона» за 1910 г.

<sup>4</sup> Маковский имеет в виду манифест акмеизма — статью Н. Гумилева «Наследие символизма и акмеизм». Эта статья была напечатана ровно через три года после публикации знаменитой статьи М. Кузмина «О прекрасной ясности» — в январском «Аполлоне» за 1913 г. Однако еще 18 февраля 1912 г. на собрании «Общества ревнителей художественного слова» Н. Гумилев открыто отмежевался от символизма, а весной того же года провозгласил программу акмеизма на собрании Цеха поэтов. В печати же слово «акмеизм» Гумилев впервые употребил, насколько нам известно, в сентябрьском номере «Аполлона» за 1912 г.

<sup>5</sup> Статья Блока «О современном состоянии русского символизма» была напечатана в «Аполлоне» (1910, № 8) и представляла собой вариант его доклада, прочитанного в апреле 1910 г. в «Обществе ревнителей художественного слова», т. е. в Академии стиха. Недели за две до этого доклада Вяч. Иванов выступил в том же «Обществе» со своей речью «Заветы символизма», и доклад Блока явился откликом на выступление Вяч. Иванова.

<sup>6</sup> — От реального к более реальному (*лат.*).

<sup>7</sup> Зелинский Фаддей Францевич (1859—1944) — филолог-классик, профессор Петербургского университета, участник «Общества ревнителей художественного слова». Ростовцев Михаил Иванович (1870—1952) — историк, профессор Петербургского университета; ему посвящено греческое стихотворение Вяч. Иванова в сборнике «Нежная тайна». Рачинский Григорий Алексеевич (1853—1939) — филолог, переводчик, председатель московского Религиозно-философского общества. Кроме посвященного Рачинскому греческого стихотворения в «Нежной тайне» в этот же сборник включено стихотворение «На получение греческой молитвы», также посвященное Рачинскому.

<sup>8</sup> Вольинский (псевдоним Акима Львовича Флексера) (1863—1926) — литературный критик, историк искусства, автор книг «Русские критики» (1896), «Леонардо да Винчи» (1899 и 1909), «Борьба за идеализм» (1900), «Царство Карамазовых» (1901), «Книга великого гнева» (1904), «Ф. М. Достоевский» (1906 и 1909) и др.

<sup>9</sup> В связи с этой строкой небесполезно привести малоизвестное воспоминание эстонского поэта Алексиса Раннита, посетившего Вяч. Иванова в 1949 г. за несколько недель до его смерти: «На прощанье я спросил поэта, что он думает о будущем европейской мысли. Он ответил мне улыбаясь, что ничего не знает о судьбах европейской культуры, но о д н о знает наверное: если ему на том свете не дадут возможности читать, говорить и писать по-гречески, он будет глубоко несчастен» (О Вячеславе Иванове и его «Свете вечернем» // Новый журнал. 1964. № 77. С. 94).

## Борис Зайцев

### ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ

Печатается по кн.: *Зайцев Б. Дале-*

кое. Вашингтон, 1965. С. 48—57.

О Б. Зайцеве см. в настоящем издании в примечаниях к его очерку «Бальмонт».

<sup>1</sup> Родился Вяч. Иванов в Москве 16 (28 по н. ст.) февраля 1866 г.

<sup>2</sup> Мачтет Григорий Александрович (1852—1901) — писатель-прозаик. Посмертно (в 1902 г.) вышло 12-томное собрание его сочинений. Баранцевич Казимир Станиславович (1851—1927) — писатель; в 1908 г. было предпринято издание его 14-томного собрания сочинений.

<sup>3</sup> Подобное же представление о стихах Вяч. Иванова отразилось в одном анекдотическом диалоге. В Петербургский кадетский корпус, где учился Костя Шварсалон, приемный сын Вяч. Иванова, пришел поэт К. Р.— Великий князь Константин Романов. Обходя ряды выстроившихся кадетов, К. Р. остановился перед одним из них:

— Поэт Вячеслав Иванов твой отчим?

— Так точно, ваше императорское высочество.

— Ты читал его стихи?

— Так точно, ваше императорское высочество.

— И понял их?

— Так точно, ваше императорское высочество.

— Значит, ты умнее меня, я ничего в них не понял.

<sup>4</sup> «У нас было полушуточно принято выражение «аудисенция». Вячеслав Иванович, Н. Н. просит назначить ему аудисенцию». Н. Н. приходил, они с Вячеславом удалялись вдвоем и долго беседовали наедине. Я на «банине» больше не боялась Вячеслава, как в Женеве, но все же простоты в наших отношениях не было, и я сильно робела при нем. Однако случилось раз, что у меня возникла проблема, сильно меня смущавшая и которую мне не удавалось самой разрешить. В гимназии как-то одна девочка отвела меня с подружкой в сторону и говорит: «Слушайте! Бог всемогущий?» Мы в ответ: «Да». — «А может ли он создать такой камень, какого он сам не сумел бы поднять?» Мы не смогли ответить. Я пришла домой, и этот вопрос меня все больше и больше беспокоил. Настолько, что я набралась храбрости и как-то, улучив момент, сказала Вячеславу: «Можно ли мне иметь у тебя аудисенцию?» Вячеслав отнесся к моей просьбе с ласковым уважением и с крайней вежливостью. Условился со мной о времени. Он всегда обращался с уважением и вежливостью со всеми, и даже с маленькими детьми.

С сильным волнением я явилась в назначенный час в комнату Вячеслава на «банине». Он любезно принял меня, предложил мне сесть в важное черное кресло (ренессанс) и спросил, в чем дело. Он выслушал внимательно вопрос гимназистки и дал мне сразу ответ, по моему мнению, достойный Соломона: «Бог не только может, он уже создал такой камень. Это есть человек с его свободной волей». После этого Вячеслав подробно начал объяснять мне, что значит свободная воля, и я ушла от него счастливая и с легкой душой.

Осмелев, я позже еще раз попросила у него аудисенцию и была так же ласково и внимательно принята» (*Иванова Лидия. Воспоминания о В. Иванове*//Новый журнал, 1982. № 149).

<sup>5</sup> «Аграфена», повесть Б. Зайцева, была опубликована в марте 1908 г. в альманахе «Шиповник» (кн. 4). В «Русском слове» появилась рецензия на этот выпуск альманаха, подписанная инициалами К. Ф. Рецензент писал, что этот выпуск «Шиповника» вызывает «раздражение — до такой степени он слаб, бессодержателен и неинтересен». Ю. Айхенвальд, откликнувшийся на выход кн. 4 «Шиповника», писал в «Русской мысли» о повести «Аграфена» как о лучшем произведении, представленном в альманахе, и назвал ее «акафистом человеческой души» (Русская мысль. 1908. № 5).

<sup>6</sup> В 1918 г. Вяч. Иванов начал работать в только что открывшемся театральном отделе Наркомпроса, которым заведовала О. Д. Каменева.

<sup>7</sup> Неточно: Дмитрий Вячеславович Иванов родился в 1912 г. Под его редакцией (совместно с О. Дешарт) вышло в Брюсселе Собрание сочинений Вяч. Иванова (т. 1—4, 1971—1987).

<sup>8</sup> Вячеслав Иванов уехал в Баку в 1920 г. Дочь поэта Лидия Вячеславовна Иванова писала об отъезде из Москвы в своих воспоминаниях об отце: «После смерти Веры (жены Вяч. Иванова.— В. К.) на Вячеслава напал ужас от мысли оставаться еще другую зиму в Москве. Он попросил на службе командировку... куда угодно на юг... Чтобы дать ему отдохнуть, его послали пока что вместе с семьей (Дима и я) на шесть недель в санаторий в Кисловодск и даже устроили удобное путешествие в 1-м классе какого-то привилегированного поезда. Мы выехали очень скоро после смерти Веры, еще в августе, после одной из панихид по ней (Вера умерла 8 августа 1920 г.— В. К.). Путешествие в Кисловодск было не лишено осложнений». И далее Л. Иванова рассказывает о захвате Кисловодска зелеными, о закрытии санатория, о предоставившемся выборе: возвращаться в Москву или переезжать в Баку. «Вячеслав неустрашимо выбрал Баку,— писала Л. Иванова,— юг, да и граница близка. Кто знает, не удастся ли оттуда перебраться через нее, а потом окольным путем в Италию? В назначенный день приехал санитарный поезд № 14, на котором нам было отведено три плацкарты. Вагоны были все 3-го класса. Посредине каждого стояла железная печка, на которой пассажиры себе варили в общем котле пшеничную кашу и кипятили воду для чая. Когда нужно было топливо для печки, поезд любезно останавливали и пассажиры носили дрова, заготовленные вдоль полотна. Путешествие до Баку длилось 9 дней» (Новый журнал. 1982. № 149. С. 123--124). С ноября 1920 г. до мая 1924 г. Вяч. Иванов преподавал в Бакинском университете на кафедре классической филологии.

Константин Бальмонт

ТРИ ВСТРЕЧИ С БЛОКОМ

Печатается по газете «Звено» (1923. 19 марта).

А. Блок впервые лично встретился с Бальмонтом 11 января 1904 г. Об этой встрече находим некоторые подробности в воспоминаниях А. Белого: «Блок приехал в субботу, десятого, а в воскресенье, одиннадцатого, он с женой оказался в кругу «аргонавтов», попавших ко мне:

принимали по времени первые, может быть, в России восторженные почитатели Блока... были: Бальмонт, Брюсов, два Кобылинских, Поярков... Всех человек двадцать пять... Поэт был любезен; хотя озабочен, попав в это «недро» Москвы... Со «старшими», с Брюсовым, с К. Д. Бальмонтом, Блок держался любезно, с достоинством: просто, естественно и независимо... А с Бальмонтом, которому он не понравился, он не общался почти; на последнего произвела впечатление супруга поэта» (*Белый А.* Начало века. М.: Худож. лит., 1990. С. 323—325).

А. Блок писал об этой встрече матери: «...едем к А. Белому на собрание: Бальмонт, Брюсов, Батюшков... Бальмонт приходит с Ниной Ивановной. Мой разговор с Брюсовым. Бальмонт читает стихотворение «Вода»... После ухода Бальмонта, Брюсова, Соколовой мы с Андреем Белым читаем массу стихов».

Следующая встреча с Бальмонтом состоялась через день — на собрании у владельца издательства «Гриф» С. Соколова (Кречетова). Об этой встрече также находим свидетельство в письмах А. Блока: «Входит пьяный Бальмонт... Грустный, ребячливый, красноглазый. Разговаривает с Любой, со мной... Бальмонт просит меня читать. Читаю. Бальмонт в восторге, говорит, что «не любит больше своих стихов»... «Вы выросли в деревне» и мн. др. Читает свои стихи полупьяно, но хорошо» (письмо Блока от 14—15 января 1904 г.). В тот свой приезд в Москву Блок провел там две недели и позднее писал, что встретился с Бальмонтом несколько раз.

Накануне этой поездки в Москву Блок читал последние сборники Бальмонта. В ноябре 1903 г. к Блоку приехал его троюродный брат поэт Сергей Соловьев, вспоминавший, что как раз тогда он «усиленно советовал» Блоку заняться чтением «Истории теократии». «Но вместо этого,— писал С. Соловьев,— нашел у него на столе «Будем как солнце» и «Только любовь» Бальмонта» (Письма Александра Блока / Вступит. статьи и примеч. С. М. Соловьева и др. Л., 1925).

Отношение к поэзии и личности Бальмонта у Блока не было однозначным, что следует как из его собственных высказываний, так и из мемуаров современников. Например, один из ближайших друзей Блока, В. Зоргенфрей, вспоминал, что на вопрос, «кого он более ценит как поэта, Бальмонта или Брюсова, А. А. ответил не колеблясь, что — Бальмонта» (Александр Блок в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 1980. С. 11). Более позднее свидетельство мемуариста (поэта А. Сумарокова) указывает на охлаждение Блока к поэзии Бальмонта: «Его бесконечные сонеты уже не увлекают» (там же. С. 192). Речь шла о сборнике Бальмонта «Сонеты солнца, меда и луны» (1917). Однако десятью годами раньше Блок восторженно отзывался о книге Бальмонта «Жар-птица»: «Когда слушаешь Бальмонта — всегда слушаешь весну... Никто до сих пор не равен ему в его «певучей силе» (Золотое руно. 1907. № 6). Статья «Бальмонт», написанная Блоком в 1909 г., напротив, выдержана в тонах иронических и резких: «...Когда пошли новые книги — одна за другой все пухлей и пухлее, всякое терпение истощилось».



## Зинаида Гиппиус

### МОЙ ЛУННЫЙ ДРУГ

О Блоке

Печатается по кн.: *Гиппиус З. Живые лица*. Т. 1. Прага, 1925. С. 5—70. Впервые в альманахе «Окно» (1923. Вып. 1).

В автобиографии Блок подчеркнул событийность этого знакомства: «Из событий, явлений и веяний, повлиявших на меня так или иначе, я должен упомянуть: встречу с Вл. Соловьевым... знакомство с З. Н. и Д. С. Мережковскими...» Знакомство состоялось 26 марта (ст. ст.) 1902 г. Блок посвятил З. Гиппиус несколько стихотворений, писал о ее произведениях, переписывался с ней с 1902 г. О стихах З. Гиппиус Блок говорил как об «оригинальнейших» в русской поэзии.

Личные отношения двух поэтов всегда были сложными. Суммируя их, Блок писал Зинаиде Гиппиус 18 мая 1918 г. (письмо осталось неотправленным): «В наших отношениях всегда было замалчиванье чего-то; узел этого замалчиванья завязывался все туже, но это было естественно и трудно, потому что все узлы были затянуты туго — оставалось только рубить» (Собр. соч. Т. 7. С. 336). А. Белый, которого Гиппиус часто упоминает в очерке «Мой лунный друг», говорит об отношении к ней Блока: к ней он «относился с сдержанной благожелательной объективностью, т. е. двойственно, в конце концов сочувственно, но с чуть-чуть добродушной улыбкой, признавая ее необыкновенность, даже личную (отнюдь не писательскую) гениальность» (*Белый Андрей*. Воспоминания об Александре Александровиче Блоке // Записки мечтателей. 1922. № 6).

<sup>1</sup> Имеется в виду 1903 г. Блок женился на Л. Д. Менделеевой 17 августа. Венчание было в церкви в селе Тараканове, и на следующий день Блок вернулся в Петербург.

<sup>2</sup> 10 октября умерла мать З. Гиппиус. «Жизнь перевернулась — но все-таки требовала своего. Мы все это знали, однако сразу вернуться к повседневности, к начатому — неоконченному, было трудно», — писала об этом периоде своей жизни З. Гиппиус в книге «Дмитрий Мережковский» (С. 120).

<sup>3</sup> З. Гиппиус познакомилась с А. Белым 6 декабря 1901 г., т. е. на несколько месяцев раньше, чем с Блоком. Первая личная встреча Блока и А. Белого — 10 января 1904 г.

<sup>4</sup> Плеве Вячеслав Константинович (1846—1904) — консервативный министр внутренних дел, убитый эсером-террористом Сазоновым. Блок в письме В. Розанову назвал Плеве «вреднейшим государственным животным». На смену Плеве пришел князь П. Д. Святополк-Мирский, оставшийся на посту министра внутренних дел с 26 августа 1904 по 22 января 1905 г. При вступлении на должность он провозгласил свою программу правительственного доверия обществу. Этот период имперской внутренней политики З. Гиппиус называет «весной» Святополк-Мирского».

<sup>5</sup> Ежедневная газета «Русская молва», начавшаяся 9 декабря 1912 г. и закрывшаяся в 1913 г. Об Ариадне Тырковой см. в примечаниях к ее воспоминаниям в настоящем издании.

<sup>6</sup> «Любовь к трем апельсинам» — журнал, издававшийся Вс. Мейерхольдом в 1914—1916 гг. «Сирин» — альманах, издававшийся в 1913—

1914 г. в Петербурге. Вышло три выпуска. В первом выпуске напечатана драма Блока «Роза и крест», в третьем — семь его стихотворений.

<sup>7</sup> Блок и З. Гиппиус были на репетиции «Зеленого кольца» в Александринском театре 5 февраля 1915 г.

<sup>8</sup> Речь идет о встрече с З. Гиппиус 25 апреля 1916 г. Статья Гиппиус «Судьба Аполлона Григорьева (По поводу статьи А. Блока)» была напечатана в том же году в сборнике «Огни». Блок писал об этой встрече: «Мережковские совершенно закрыты для внешних влияний, ничего нового они не увидят ни в ком и ни в чем. Зинаида Николаевна все-таки живее» (Записные книжки. М., 1965. С. 297).

<sup>9</sup> Аналогичную запись, относящуюся к октябрю 1917 г., видим и в дневнике З. Гиппиус: «Бедное «потерянное дитя» Боря Бугасв приехал сюда... Безответственно. Возится с этим большевиком — Ив. Разумником... Это теперь несчастный! Другое «потерянное дитя», похожее — А. Блок. Он сам сказал, когда я говорила про Бору: «И я такое же потерянное дитя»... Ведь год тому назад Блок был за войну («Прежде всего весело!» — говорил он)... (Гиппиус З. Петербургские дневники. Нью-Йорк: Орфей, 1982. С. 266—267). Еще одна запись на ту же тему, датированная июнем 1919 г.: «Блок! Он и вертится где-то около, в левых эсерах. Он и А. Белый — это просто «потерянные дети», ничего не понимающие, аполитичные отныне и до века» (там же. С. 27).

<sup>10</sup> Здесь говорится о концовке стихотворения Блока «З. Гиппиус» (при получении «Последних стихов»), датированного 1—6 июня 1918 г.:

Страшно, сладко, неизбежно, надо  
Мне — бросаться в многопенный вал,  
Вам — зеленоглазую наядой  
Петь, плескаться у ирландских скал.  
Высоко — над нами — над волнами —  
Как заря над черными скалами —  
Веет знамя — Интернационал!

Борис Зайцев

ПОБЕЖДЕННЫЙ

В настоящем издании печатаются три первые главы очерка «Побежденный» по кн.: Зайцев Б. Далекое. Вашингтон, 1965. С. 7—10. Очерк написан в 1925 г.

Встреча Б. Зайцева с А. Блоком произошла около 1 апреля 1907 г. Вскоре после этой встречи Блок откликнулся на первую книгу писателя (Рассказы. СПб., 1906): «...книжку его рассказов можно рассматривать как вступление к чему-то большому и яркому. Зайцеву очень понравилось что-то свое, им найденное, и на этом, найденном уже, он медлит пока в какой-то размывчатой, весенней прелести» (Собр. соч. Т. 5. С. 124). В конце 1907 г. Блок еще раз писал о Зайцеве: он «открывает все те же пленительные страны своего лирического сознания: тихие и прозрачные. И повторяется» (Т. 5. С. 224).

В апреле 1907 г. Блок записывает: «Зайцев остается еще пока приготавливающим фон — матовые видения, а когда на солнце — прозрачные. Если он действительно творец нового реализма, то пусть он разошьет по этому фону пестроту свою» (Блок А. Записные книжки. С. 94).

Последние встречи Блока и Зайцева — в начале мая 1921 г., когда Блок приезжал в Москву и читал стихи в Политехническом музее и в Итальянском обществе, в котором состоял Б. Зайцев. В этой «Studio Italiano» Блок читал свои стихи об Италии.

Юрий Анненков

АЛЕКСАНДР БЛОК

Здесь печатается отрывок из кн.:  
*Анненков Ю.* Дневник моих встреч. Цикл трагедий. Т. 1. Нью-Йорк: Международное литературное содружество, 1966. С. 56—63.

Анненков Юрий Павлович (1889—1974) — художник-график, иллюстратор многих книг, знаменитый портретист, театральный художник и режиссер, художник французского кинематографа. Под псевдонимом Б. Тимирязев выступал в печати с повестями и рассказами. Как писатель получил признание своей «Повестью о пустяках», вышедшей в 1934 г. в Берлине. Другое его крупное произведение — «Рваная эпопея» — печаталось в 1957—1958 гг. в нью-йоркском «Новом журнале». В ряде зарубежных журналов были опубликованы его мемуарные очерки о Гумилеве, Зощенко, Хлебникове, Пильняке и др., впоследствии собранные в двухтомник «Дневник моих встреч». Анненков иллюстрировал «Двенадцать» Блока — книга вышла в издательстве «Алконост» в Петрограде в 1918 г. Блок писал Анненкову в августе 1918 г.: «Рисунков к «Двенадцати» я страшно боялся и даже говорить с Вами боялся. Сейчас, насмотревшись на них, хочу сказать Вам, что разные углы, части, художественные мысли — мне невыразимо близки и дороги, а общее — более чем приемлемо, — т. е. просто я ничего подобного не ждал, почти Вас не зная» (Собр. соч. Т. 8. С. 513).

<sup>1</sup> Рославлев Александр Степанович (1883—1920) — поэт, печатался также под псевдонимом Баян. «...Если кто осмелится сказать ему, — писал Блок о Рославлеве, — что стихи его — жалкая трескотня и чудовищная пошлость, он потребует указать ему, чем он хуже Верхарна и Брюсова?» Автор ряда поэтических сборников, сборников рассказов, повести «Записки полицейского пристава» (Пг., 1916), романа «Человек с печатью» (Пг., 1916) и др.

<sup>2</sup> Годин Яков Владимирович (1887—1954) — поэт.

<sup>3</sup> Цензор Дмитрий Михайлович (1877—1947) — поэт; в 1946 г. в журнале «Ленинград», № 5, были опубликованы его «Воспоминания об А. Блоке».

<sup>4</sup> Чириков Евгений Николаевич (1864—1932) — писатель-прозаик и драматург. Впервые в печати выступил со стихами (1885). Первый рассказ был напечатан в 1886 г. До революции вышло несколько собраний его сочинений. Эмигрировал в 1921 г.

Борис Зайцев

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

Печатается по кн.: *Зайцев Б.* Далекое. Вашингтон: Interlanguage Literary Associates, 1965. С. 20—32.

Впервые этот очерк был напечатан в «Мостах» (1963. № 10).

<sup>1</sup> В это время А. Белый учился на физико-математическом факультете Московского университета.

<sup>2</sup> М. Осоргин, встречавший А. Белого в университетские годы, вспоминал о нем: «Печатью исключительности он был отмечен даже внешне: и юношей, и в преклонных годах. Я его помню в университете тихим и застенчивым, в хорошем форменном сю-ртучке; внимание всех останавливали его глаза, очень светлые и в туманном сиянии — нездешние...» (*Осоргин М.* Встречи с Андреем Белым // Сегодня. 1934. № 18).

<sup>3</sup> Стражев Виктор Иванович (1879—1950) — поэт, беллетрист, критик. Грифцов Борис Александрович (1885—1950) — критик, философ; автор статьи «А. Белый. Символизм. Луг зеленый. Арабески», напечатанной в «Русской мысли» (1911. № 5). Муратов Павел Павлович (1881—1951) — писатель, искусствовед, автор известных в свое время «Образов Италии» (посвящены Б. Зайцеву «в воспоминание о счастливых днях»). Койранский Александр Арнольдович (1884—?) — поэт, критик, художник; печататься начал в альманахе «Гриф». Эмигрировал (не позднее 1920 г.).

<sup>4</sup> Муни (псевдоним Киссина Самуила Викторовича) (1885—1916) — поэт. «...В сущности, ничего не сделал в литературе. Но рассказать о нем надо и стоит, потому что, будучи очень «сам по себе», он всем своим обликом выражал нечто глубоко характерное для того времени, в котором протекала его недолгая жизнь. Его знала вся литературная Москва конца девятисотых и начала девятьсот десятых годов» (*Ходасевич В.* Некрополь. С. 100).

<sup>5</sup> Этот конфликт — «комедия», как пишет Б. Зайцев, — имел место 14—25 сентября 1907 г.

<sup>6</sup> Об этом см. в кн.: *Мочульский К.* Андрей Белый. Париж: YMCA-Press, 1955 (предисловие к книге написано Борисом Зайцевым).

<sup>7</sup> Соколов Сергей Алексеевич (псевдоним — Сергей Кречетов) (1878—1936) — поэт, издатель; в его издательстве «Гриф» вышел первый сборник Блока «Стихи о Прекрасной Даме» (октябрь 1904 г.).

<sup>8</sup> Об этом эпизоде писала также и Л. Рындина в очерке «Ушедшее» (см. в наст. изд.).

<sup>9</sup> Это случилось 27 января 1909 г., и на следующий день репортер «Русского слова» писал о происшествии: беллетрист Федор Федорович Тищенко обвинил А. Белого в беспринципности, и Белый крикнул в ответ: «Вы подлец. Я оскорбляю вас действием». А. Блок писал по поводу этой истории А. Н. Чеботаревской: «Вы слышали, что делается с А. Белым? Право, я понимаю его и только не хочу распускаться. А можно бы». В. Брюсов по тому же поводу писал Н. Петровской: «Конечно, всячески защищаю Белого. Но и он хорош, лезет в эту помойную яму... и еще не умеет презирать ее» (Литературное наследство. Т. 85. С. 520).

Федор Степун

ПАМЯТИ АНДРЕЯ БЕЛОГО

Печатается по кн.: *Степун Ф.* Встречи. Мюнхен: Товарищество зарубежных писателей, 1962. С. 162—175.

Степун Федор Августович (1884—1965) — философ, публицист, беллетрист. Познакомился с А. Белым зимой 1909/10 г. Сотрудничал в журнале «Логос». В 1917 г. вышла его книга «Из писем прапорщика артиллериста» — интереснейший образец философско-художественной прозы (второе издание: Прага, 1926). В 1922 г. Степун был выслан Советским правительством за границу. В эмиграции его считали одним из ведущих публицистов. В «Современных записках» печатался его роман «Николай Переслегин» (1923—1925). В 1956 г. в издательстве им. Чехова вышли в свет воспоминания Степуна «Прошедшее и непреходящее».

О книге «Встречи» восторженный отзыв дал поэт Кирилл Померанцев: «Именно потому, что Степуну удалось встретиться с теми, о ком он пишет,— с Достоевским, Толстым, Буниным, Зайцевым, Вячеславом Ивановым, Белым, Леоновым — на действительно «высшем уровне», так захватывающе интересна, так по-особенному нова его книга, несмотря на то что пишет он о как будто всем известных писателях и всем известным вещах. Его «высший уровень» затрагивает такие глубины нашего сознания, что, прикасаясь там, в глубине глубин, со своего рода дремлющими юнговскими «первотипами», он, вызывая их к жизни, тесно роднит и нас с теми, с кем встречался сам автор.

Таков «секрет» степенуновского метода писать «воспоминания», рассказывать о своих впечатлениях о людях и их духовном облике, о их творчестве.

В отношении Андрея Белого, с долей некоторого приближения, можно было бы сказать, что как Тютчеву пришлось дожидаться Владимира Соловьева, так и Андрею Белому пришлось потерпеть до Федора Степуна. Глава об Андрее Белом всего лишь одна из девяти глав «Встреч». Я остановился больше на ней потому, что она, по-моему, — новое слово об этом поэте и писателе, и потому, что она, быть может, наиболее характерна для «метода Степуна». Она написана с вдохновением и подъемом, не только в сотрудничестве с глубоким пониманием Белого, но и в сотворчестве с любовью к нему».

<sup>1</sup> Блок вчерне закончил драму «Балаганчик» в январе 1906 г.; сборник «Нечаянная радость» вышел в свет в том же году в декабре. «Нечаянную радость» Блок намерен был посвятить А. Белому и, передумав, писал ему: «Теперь это было бы ложью, потому что я перестал понимать Тебя» (письмо от 9 августа 1906 г.). Это отчуждение было многоплановым и вызвано как стечением обстоятельств, так и многими причинами: 2 февраля — объяснением А. Белого в любви Л. Д. Блок; «мучительной перепиской» с ней; рассказом Белого «Куст», в котором Л. Д. Блок усмотрела пасквиль; вызовом Блока на дуэль (10 августа 1906 г.), затем объяснением с А. Блоком и Л. Д. Блок в конце августа или в начале сентября. Сам Белый период «общений и встреч» с Блоком в 1905—1907 гг. назвал «замкнутой главой воспоминаний». «Здесь стиль наших встреч, общений и разговоров иной — тревожный и сложный» (*Белый А.* Воспоминания об Александре Александровиче Блоке // Записки мечтателей. 1922. № 6).

<sup>2</sup> Гершензон Михаил Осипович (1869—1925) — историк литературы, философ.

<sup>3</sup> Морозова Маргарита Кирилловна (1873—1958) — учредительница Религиозно-философского общества, прототип героини поэмы А. Белого «Первое свидание» Надежды Зариной.

А. Тургенева

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ  
И РУДОЛЬФ ШТЕЙНЕР

Печатается по альманаху «Мосты»  
(1970. № 15. С. 236—251).

Тургенева Анна (Ася) Алексеевна (1890—1966) — первая жена А. Белого, антропософка, художница.

<sup>1</sup> В альманахе «Мосты», № 11, была опубликована фактически не статья, а небольшая заметка Ф. Степуна «Андрей Белый и Рудольф Штейнер» (послесловие к письмам Бердяева Белому). В этой заметке Степун писал: «Белый всю жизнь шелушился изменами, что не означало в нем ни безнравственности, ни предательства, а составляло какую-то неотделимую от его таланта оптику... Нельзя оспаривать, что встреча со Штейнером была одним из самых крупных событий в душе Белого, но нельзя и не видеть, что описание этой встречи представляет собой одно из самых беспомощных и даже бездарных мест в его творчестве».

<sup>2</sup> Степун писал в названной заметке: «Не думаю, чтобы воспроизведенный выше портрет носил в себе признаки хаотического состояния: он полон злобы и ненависти...» Речь идет о сатирическом образе доктора Доннера в романе «Москва под ударом».

<sup>3</sup> Эти воспоминания Б. Зайцева, впервые напечатанные в «Мостах», № 10, и позднее в книге Б. Зайцева «Далекое», включены в настоящее издание.

<sup>4</sup> «Допускает ли Штейнер творчество как абсолютно оригинальное создание человеком небывалого, как откровение самой человеческой природы,— писал Бердяев Андрею Белому.— Не есть ли путь посвящения лишь путь пассивного усвоения и обучения... Может быть, перед Вами станут эти вопросы и Вы получите на них ответ» (Мосты. № 11. С. 362). В очерке А. Тургеновой ошибочно указан десятый номер «Мостов».

<sup>5</sup> Зохар — авторитетнейший из каббалистических трактатов. Ни дата написания, ни авторство с точностью не установлены. Существует мнение, что трактат был написан испанским каббалистом Мозесом де Леоном (умер в 1305 г.); другие считают, что де Леон был не автором, а скорее редактором неких древних анонимных текстов, к которым, возможно, добавил кое-что и от себя.

<sup>6</sup> С этим кратким конспектом мемуаров Н. Кошеватого можно сопоставить воспоминания А. Бахраха, относящиеся к началу двадцатых годов: «...Жизнь моя так сложилась, что в начале 20-х годов в ненадолго затянувшийся период пребывания Белого за рубежом я довольно хорошо его знал, часто с ним встречался, много и подолгу с глазу на глаз беседовал и даже короткое время жил с ним в одном пансионе — наши комнаты были рядом... Я и по сей день вижу перед собой выражение его лица и неожиданно охвативший его суеверный ужас, когда после долгих блужданий по сонному Берлину он на каком-то перекрестке вдруг заметил дощечку с названием улицы, и как он бросился от нее наутек. Улица называлась «Гейсбергштрассе», а он в полутьме прочитал «Гейстбергштрассе», и это лишнее «т» привело его в паническое состояние, потому что, как он мне объяснял, нам грозило вступить в обиталище злых духов. Конечно, «гейст» по-немецки — дух,

но почему он непременно злой? Только спустя много лет я мог обнаружить, что подлинную причину своего внезапного возбуждения он тогда от меня утаил: именно на этой в те времена пустынной улице помещалась штаб-квартира берлинских антропософов.

Без преувеличения могу сказать, что из его уст я десятки раз слышал рассказ о его тогдашней встрече с Штейнером в Берлине, тем более его разочаровавшей и не перестававшей угнетать, что она была долгожданной. Еще будучи в Москве, он мечтал о поездке к Штейнеру и первой своей жене в Дорнах, антропософскую цитадель под Базелем, в которой до того Белый принимал деятельное участие в постройке недолговечного «храма». Но Штейнер его якобы туда не пустил, и швейцарской визы он добиться не мог. Когда они наконец встретились, Штейнер — так передает Белый — с язвительной холодностью спросил его: «Ну, как поживаете?» И в ответ Белый только насмешливо буркнул: «Да вот, кое-какие осложнения с квартирой». После такого удара по его самолюбию в глазах Белого все зло в его судьбе, в его метаниях, в его неприкаянности и чуть и не в потере рукописи сборника стихов, действительно причинившей ему много горя и так и не восстановленной, все объяснялось кознями «доктора», его враждебностью» (Новое русское слово (Нью-Йорк). 1982. 17 октября. С. 5).

## Георгий Адамович

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ

И ЕГО ВОСПОМИНАНИЯ

Печатается по «Русским запискам» (1938. Май. С. 139—143). В настоящее издание включен лишь имеющий мемуарную ценность отрывок из этой статьи.

Адамович Георгий Викторович (1892—1972) — поэт, литературный критик. Впервые выступил в печати в 1915 г. В 1916 г. вышел его первый поэтический сборник — «Облака». Незадолго до эмиграции был издан второй сборник — «Чистилище». С 1923 г. жил во Франции. Статьи Адамовича печатались во всех без исключения лучших журналах русского зарубежья. В течение десяти лет писал литературно-критические статьи для парижских «Последних новостей». В краткой автобиографии Адамович упомянул, что «сотрудничал в большинстве эмигрантских периодических изданий». За рубежом вышли его сборники стихов «На Западе» (1939) и «Единство» (1967), а также книги «В. Маклаков», «Одиночество и свобода», «Комментарии» и др.

Адамович написал воспоминания о Блоке, З. Гиппиус, Ахматовой, Бунине, Мандельштаме и многих других выдающихся современниках, которых он знал по Петербургу или по эмиграции. Эти воспоминания остаются разбросанными по периодическим изданиям порой как вкрапления — абзац-другой — в многочисленные «Литературные беседы», «Комментарии» и др. Собранные воедино, они составили бы одну из замечательных книг русской литературной мемуаристики.

<sup>1</sup> Г. Адамович, вероятно, вспоминает о лекции «Современный человек», читанной А. Белым в аудитории Соляного городка в Петербурге 23 февраля 1912 г.

<sup>2</sup> А. Белый добровольно откликнулся на резолюцию XIII съезда

РКП по вопросу об отношении партии к литературе: «Программа политики партии в области художественной литературы представляется мне и гибкой и гуманной; в рамках ее (при условии проведения программы в жизнь) возможны и нормальный рост, и безболезненное развитие нашей художественной литературы, программа прекрасно предусматривает и разрешает ряд ненормальностей, возможных в наше переходное время... Мне, принимавшему социальную революцию (и тем самым принявшему Октябрьскую революцию в момент революции), место не «при» революции, а в самой ней, поэтому-то и к группе «по»-путчиков я не могу себя причислить...» (Дни (Париж). № 1063).

Евгения Герцык

ВОЛОШИН

Печатается по кн.: *Герцык Е.* Воспоминания. Париж: YMCA-Press, 1973. С. 73—97 (глава пятая).

Герцык Евгения Казимировна (1878—1944) — переводчица, мемуарист.

<sup>1</sup> Сестра Е. К. Герцык — поэтесса Аделаида Казимировна Герцык (1874—1925).

<sup>2</sup> Сабашникова Маргарита Васильевна (1882—1973) — художница, жена М. Волошина.

<sup>3</sup> М. Волошин познакомился с Сабашниковой 11 февраля 1903 г. в Москве.

<sup>4</sup> М. Волошин женился на М. В. Сабашниковой 12 апреля 1906 г. Поселились же они в Петербурге после свадебного путешествия в октябре 1906 г.

<sup>5</sup> Гурмон Реми де (1858—1915) — французский писатель-прозаик и критик. Волошин часто цитировал в своих статьях отзывы де Гурмона о французских писателях и о театре и самим стилем своих статей отчасти обязан влиянию Реми де Гурмона.

<sup>6</sup> Клодель Поль (1868—1955) — французский поэт, драматург, эссеист. Два эссе Волошина о Поле Клоделе были опубликованы в журнале «Аполлон» — 1910, № 9 и 1911, № 7. Говоря о сущности творчества французского поэта, Волошин писал в заключении своего второго эссе: «Т а к о г о сознания земли и своей сыновности до сих пор не было ни у кого на Западе».

<sup>7</sup> Башмаки (*фр.*).

<sup>8</sup> Макс — бог (*фр.*).

<sup>9</sup> Роман Гёте «Сродство душ» (1809).

<sup>10</sup> Мантенья Андреа (1431—1506) — итальянский живописец падуанской школы.

<sup>11</sup> По-видимому, речь идет о статье «Город в поэзии Валерия Брюсова», которая была опубликована в газете «Русь» 22 января 1908 г. Несколько ранее (29 декабря 1907 г.) в той же газете была напечатана рецензия Волошина на том I «Собрания стихов» Брюсова.

<sup>12</sup> Дмитрисва Елизавета Ивановна (1887—1928), в замужестве Васильева, печаталась под псевдонимом Черубина де Габриак и под другими псевдонимами. Два цикла ее стихотворений появились в «Аполлоне». Там же была опубликована статья Волошина «Гороскоп Черубины де Габриак» (1909. № 2).



<sup>13</sup> Жуковский Дмитрий Евгеньевич (1866—1943) — в это время жених Аделаиды Герцык.

<sup>14</sup> Уместно в этой связи привести отрывок из практически неизвестного воспоминания о Волошине, принадлежащего перу некоего А. Б.: «Когда дошла очередь до Волошина, все единогласно просили его прочесть сперва стихотворение «Святая Русь». Он не отказывался, а только спросил: «Разве не надоело?» — и прочел его наизусть. Слезы градом лились из моих глаз, и у меня не было сил и даже желания их остановить. Таково же впечатление было и у остальных присутствовавших. Для нас в то время подлинная Россия доживала последние часы. Она была в агонии — это все чувствовали и плакали. Стихотворение своей лирикой отвечало общему настроению, а темой — всему виденному, подразумеваемому и прочувствованному» (А. Б. Встречи с М. А. Волошиным // Возрождение. 1932. I. 09.).

Андрей Шайкевич

ПЕТЕРБУРГСКАЯ БОГЕМА

(М. А. КУЗМИН)

Печатается по альманаху «Орион» (Париж) (1947. С. 136—144).

Этот очерк автор озаглавил также: «Из книги «Мост вздохов через Неву». Книга эта не была опубликована.

Кроме того, что автор говорит о себе самом в этом очерке, известно о нем очень мало: виолончелист, редактировал вместе с поэтами Ю. Одарченко и В. Смоленским отличный альманах «Орион», в котором напечатаны два его очерка: «Петербургская богема» и «Мысли о современном балете».

<sup>1</sup> «Отплытие на Цитеру» (фр.).

<sup>2</sup> Романов Борис Григорьевич (1891—1957) — артист балета. Эмигрировал. Опубликовал в эмигрантских журналах несколько мемуарных очерков: «Театральное училище», «Александринский театр и балетные воспитанники», «На масляной в Петербурге», «Павлова и Нижинский».

<sup>3</sup> Sur son tombeau un poète symboliste écrivra: Ici gît un jeune homme triste — На его могиле поэт-символист напишет: «Здесь покоится печальный человек» (фр.).

<sup>4</sup> Судейкина Ольга Афанасьевна (девичья фамилия Глебова) (1885—1945) — актриса театра Мейерхольда, жена художника Сергея Юрьевича Судейкина, подруга А. Ахматовой, посвятившей ей стихотворения «Голос памяти» и «Пророчишь, горькая, и руки уронила». В 1924 г. О. Глебова-Судейкина эмигрировала.

<sup>5</sup> Цыбульский Николай Карлович — композитор; был кем-то вроде распорядителя в «Бродячей собаке». О Цыбульском писал в своих воспоминаниях Г. Иванов (Петербургские зимы. 1952. Гл. 4).

<sup>6</sup> Нерваль Жерар де (1808—1855) — французский поэт.

<sup>7</sup> Барбе д'Оревилль Жюль Амеде (1808—1889) — французский писатель.

<sup>8</sup> Юркун Юрий Иванович (1895—1938) — писатель-прозаик.

<sup>9</sup> Успенский Петр Демьянович (1878—1947) — мистик, ученик Гурджиева; впоследствии разрабатывал самостоятельное учение; автор ряда книг по мистицизму, из которых «Четвертое измерение» (до эмиграции Успенского) была наиболее известной. Имел многочисленных последователей во многих странах.

## Вера Неведомская

### ВОСПОМИНАНИЯ

### О ГУМИЛЕВЕ И АХМАТОВОЙ

Печатается по «Новому журналу» (1954. № 38. С. 182—190).

Неведомская Вера — художница, знакомая Гумилева и Ахматовой.

<sup>1</sup> Знакомство Неведомской с Гумилевым и Ахматовой произошло вскоре после их свадебного путешествия в Париж. Во Франции они оставались около месяца. В начале июня приехали в Царское Село; 10 июня Ахматова впервые читала друзьям Гумилева, аполлоновцам, свои стихи. На чтении присутствовали, в частности, Михаил Кузмин и секретарь редакции «Аполлона» Е. Зноско-Боровский. Через три дня Гумилев представил Ахматову на «башне» Вяч. Иванова, где Ахматова впервые читала свои стихи. В июле они едут в Слепнево (Бежецкий уезд Тверской губернии), оставаясь там до конца августа. В автобиографии Ахматовой находим описание окрестностей Слепнева: «Это не живописное место: распаханное ровными квадратами на холмистой местности поля, мельницы, трясины, осушенные болота, «воротца», хлеба, хлеба...» (Коротко о себе // *Ахматова А.* Тайны ремесла. М.: Советская Россия, 1986).

<sup>2</sup> Кузьмин-Караваев Д. В. — один из трех синдиков основанного Гумилевым в 1911 г. Цеха поэтов, единственный участник Цеха не поэт. По образованию юрист, он исполнял в Цехе обязанности «стряпчего». Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева (1891—1945) — жена Д. В., поэтесса, участница Цеха поэтов, автор нескольких поэтических сборников, первый из которых — «Скифские черепки» (1912) — рецензировал Н. Гумилев. После революции Елизавета Юрьевна, теперь уже по второму мужу Скобцова, эмигрировала, окончила богословский факультет духовной академии, приняла монашеский постриг и имя монахиня Мария, вошедшее как в историю эмигрантской литературы, так и в историю русского духовного подвига.

<sup>3</sup> 25 сентября 1910 г., т. е. вскоре после описываемых событий, Гумилев уехал в Африку. Путешествие продолжалось полгода — он вернулся в Царское Село 25 марта 1911 г.

<sup>4</sup> Сохранилось также и воспоминание о «цирковом представлении» Ахматовой на «башне» у Вяч. Иванова. Его дочь писала в своих мемуарах: «Один раз на ковре посреди собравшихся Анна Ахматова показывала свою гибкость: перегнувшись назад, она, стоя, зубами должна была схватить спичку...» (*Иванова Лидия.* Воспоминания о Вячеславе Иванове // *Новый журнал.* 1982. № 147. С. 153—154).

<sup>5</sup> В 1911 г. Гумилев жил в Слепнево с мая до августа. Здесь он был занят подготовкой к изданию альманаха «Аполлон», написал эссе о Теофиле Готье и переведил его стихи.

<sup>6</sup> О том, что Гумилев чувствовал себя одиноко в современной ему литературной среде, находим указания в мемуарах Г. Иванова и Н. Оцуца. Но о близости к Блоку не имеется решительно никаких достоверных свидетельств.

<sup>7</sup> У Гумилева интерес к теме перевоплощения оформился, по-видимому, в Париже в 1906—1907 гг. под влиянием чтения французских оккультистов (Папюса и др.). В числе других стихотворений Гумилева, в которых говорится о перевоплощении, назовем «Прапамять» и «Унижение».

Георгий Адамович

МОИ ВСТРЕЧИ  
С АННОЙ АХМАТОВОЙ

Печатается по альманаху «Воздушные пути» (Нью-Йорк) (1967. № 5. С. 99—114).

О Георгии Викторовиче Адамовиче см. прим. к его очерку «Андрей Белый и его воспоминания».

<sup>1</sup> Шляпкин Илья Александрович (1858—1918) — профессор историко-филологического факультета Петербургского университета. О нем имеются воспоминания в «Записках старого книжника» Ф. Г. Шилова (М., 1959).

<sup>2</sup> О Мочульском см. в прим. к его очерку «О. Э. Мандельштам».

<sup>3</sup> Из стихотворения А. Ахматовой «Хорони, хорони меня, ветер!» (написано в декабре 1909 г., вошло в первый сборник Ахматовой «Вечер»).

<sup>4</sup> Лозинский Михаил Леонидович (1886—1955) — поэт, переводчик, член Цеха поэтов, друг Гумилева и Ахматовой.

«С Михаилом Леонидовичем Лозинским я познакомилась в 1911 году, когда он пришел на одно из первых заседаний Цеха поэтов. Тогда же я в первый раз услышала прочитанные им стихи» (Михаил Лозинский // *Ахматова А.* Стихи и проза. Л., 1976). И там же: «В трудном и благородном искусстве перевода Лозинский был для двадцатого века тем же, чем был Жуковский для века девятнадцатого».

<sup>5</sup> Пронин Борис Константинович — актер и режиссер, персонаж многих мемуаристов, писавших о кабаре «Бродячая собака», которое и было основано Прониным.

Лурье Артур Сергеевич — композитор. См. его воспоминания в настоящем издании и примечания к ним.

<sup>6</sup> Любовь-дружба (*фр.*).

<sup>7</sup> Сборник «Жолчан» посвящен Татиане Викторовне Адамович (1896?—1970) (в замужестве Высоцкая). В эмиграции жила в Варшаве, где открыла балетную школу. Написала по-польски воспоминания: *T. Wysocka. Wspomnienia. Czytelnik, 1962.*

<sup>8</sup> Чудовский Валериан Адольфович — критик, литературовед. Его статья о сборнике «Вечер» в «Аполлоне» (1912. № 5) — один из первых отзывов об Ахматовой в печати. Ахматова, писал Чудовский в этой статье, «умеет по большой дороге современной художественной культуры идти с такой самобытной независимостью личной жизни, как

будто бы эта большая дорога была причудливой тропинкой ее заповедного сада». В доме у Чудовского собирались петербургские поэты — символисты, акмеисты, футуристы — независимо от их принадлежности к литературному направлению. «Бродячая собака», — писал в «Полутораглазом стрелце» Бенедикт Лившиц, — была не единственным местом, где футуристы встречались со своими литературными противниками. К числу таких мест нужно прежде всего отнести нейтральные «салоны», вроде собраний у Чудовских. Жена Валерьяна Чудовского, художница Зельманова, женщина редкой красоты... была прирожденной хозяйкой салона, умевшей вызвать разговор и искусно изменить его направление».

Дмитрий Святополк-Мирский

ПАМЯТИ гр. В. А. КОМАРОВСКОГО

Печатается по газете «Последние новости» (1924, 22 сентября).

Святополк-Мирский Дмитрий Петрович (1890—1939) — литературный критик.

Василий Алексеевич Комаровский (1881—1914) — поэт исключительного дарования, царскосел, друг Гумилева, член Цеха поэтов, автор единственного сборника стихов (второй сборник готовился им незадолго до смерти, и судьба рукописей неизвестна). В «Литературном альманахе», изданном редакцией «Аполлона», напечатан был его рассказ «Sabinula», о котором редактор «Аполлона» С. Маковский позднее писал, что видит в нем родство с «Веселыми братьями» Гумилева — повестью, оставшейся неоконченной. Ценитель, знающий «Sabinula», не может не пожалеть остро, что остальная проза Комаровского утрачена или в лучшем случае затеряна в архивах. Комаровский был также переводчиком. В его книгу «Первая пристань» (1913) включены переводы из Китса и Бодлера. «Путешествие» Бодлера в переложении Комаровского (1903) в чем-то послужило стимулом для «Капитанов» Гумилева.

Кроме Д. Мирского о В. А. Комаровском писали Г. Иванов, А. Ахматова (стихи), Г. Адамович, С. Маковский, Н. Пунин и Н. Гумилев. Писал о нем и царскосел Э. Голлербах: «Есть люди, знающие, что автор «Первой пристани»... принадлежит к наиболее значительным явлениям нашей символической поэзии. В нем было нечто от Бодлера и Теофиля Готье, но в стихах его звучали и совсем особые мотивы, в которых ирония и надменность сплетались с русской тоской и польским изяществом. Он «Питер променял, туманный и угарный, на ежедневную прогулку по Бульварной» и, став «примерным царскоселом», лечил свою буйную душу «в аллеях липовых скептической Минервы». Комаровский как бы вынашивал в себе ритмы и сам казался олицетворением ритмической речи, когда бродил мерным шагом по глухим аллеям парка. Всегда один, с головой, откинутой назад, с тростью, засунутой в карман пиджака, рассеянный, словно прислушивающийся к каким-то далеким созвучиям, он проходил своей легкой походкой в глубь парка, часами кружил по аллеям, внезапно

останавливался, декламировал вполголоса стихи и вновь шагал, глядя куда-то вдаль».

Биографических подробностей известно немного. Детство прошло в Тамбовской губернии, затем Петербург. Отец был шталмейстером при дворе. От отца получил титул графа, от матери — тяжелый душевный недуг (одни говорят о паранойе, другие — об эпилепсии, третьи — о шизофрении). В конце девяностых годов переехал в Царское. Жил там с тетушкой, фрейлиной. Знаком был с Анненским. Увлекался иностранными языками. Отлично читал по-латыни. Изучал живопись, рисовал сам. Долго был студентом Петербургского университета, который окончил незадолго до смерти. Периодически был помещаем в психиатрическую лечебницу, где и умер в состоянии буйного помешательства, по словам Мирского, 21-го, а по словам Маковского, 23 сентября 1914 г. Маковскому он рассказывал о двух полюсах своего несчастного сознания: с одной стороны, навязчивые кошмары, от которых волосы становились дыбом; с другой же — минуты, приносившие «нечеловеческую радость». «За эти минуты или, скорее, секунды блаженства,— сказал Комаровский Сергею Маковскому,— я готов претерпеть опять ту же боль, ужас...»

Мемуаристы писали об общей одаренности, незаурядной личности, и она, безусловно, просвечивает в его крепких, насыщенных, утонченных, порой не безупречных, но всегда, во всяком случае, оригинальных стихах. Гумилев отмечал в «Первой пристани» глубину мысли и значительность формы стиха. За исключением нескольких ранних стихотворений, этот сборник, в оценке Гумилева,— книга, написанная мастером.

Но, по-видимому, стихотворение «Гляжу в окно вагона-ресторана» сколько-нибудь сильного впечатления на Гумилева не произвело. Стихотворение это входит в отдел «Итальянские впечатления». Стихотворение писал: «Третий отдел — «Итальянские впечатления» — менее значителен, чем предыдущие, хотя, может быть, совершеннее в ритмическом отношении». Сам Комаровский в Италии никогда не бывал — от дальних путешествий его удерживала болезнь. Стихотворению «Гляжу в окно...» предпосланы гумилевские строки, как раз из его итальянского цикла. Этот эпиграф, очевидно, является результатом каких-то разговоров Гумилева и Комаровского об Италии, где Гумилев провел апрель и май 1912 г.

Незадолго до ареста Гумилев говорил о Комаровском с Георгием Адамовичем. «Единственный подлинный великий поэт среди символистов — Комаровский», — сказал Гумилев. И добавил, что собирается писать о нем большую статью.

В заключение приведем неизвестное стихотворение Комаровского. Его нет ни в «Первой пристани», ни в вышедшей под редакцией Иваска в 1979 г. книге: *Комаровский В. А. Стихотворения и проза.*

То летний жар, то солнца глаз пурпурный,  
Тоска ветров и мокрый плен аллея,  
И девушка в тоске своей скульптурной  
В осенний серый день еще милей.

Из черных урн смарагдовых полей  
Бежит вода стремительно и бурно,

И был тяжел ей лета пыл мишурный,  
И ей бодрей бежать и веселей.

Над стонущей, величественной медью  
Бежит туман взволнованною твердью,  
Верхушки лип зовут последний тлен.

<sup>1</sup> Н. Гумилев писал в своем отзыве на «Первую пристань»: «Книга, очевидно, не имела успеха, и это возбуждает горькие мысли. Как наша критика, столь снисходительная ко всему без разбору... отвернулась от этой книги не обещаний (их появилось так много неисполненных), а достижений десятилетней творческой работы несомненного поэта?.. Под многими стихотворениями стоит подпись «Царское Село», под другими она угадывается. И этим разгадывается многое. Маленький городок, затерянный среди огромных парков с колоннами, арками, дворцами, павильонами и лебедями на светлых озерах, городок, освященный памятью Пушкина, Жуковского и за последнее время Иннокентия Анненского, захватил поэта, и он нам дал не только царскосельский пейзаж, но и царскосельский круг идей... Кроме того, в его стихах сильна... обладающая властью зачаровывать любовь к Византии или, вернее, к византийской идее» (*Гумилев Н. Собр. соч. Т. 4. Вашингтон, 1968. С. 328—329*).

<sup>2</sup> Статья Николая Пунина напечатана была в сентябрьском номере «Аполлона» за 1914 г.

<sup>3</sup> В осенней сырости и в холоде зимы  
Равно еще стоят средь серой полутьмы  
Шкапы, где спутаны и мысли и форматы,  
Дела военные и мирные трактаты;  
Где замурованы, уснувшие вполне,  
Макиавелли, Дант, и Байрон, и Вине.  
Бывало, от возни, мальчишеского гама  
Сюда я уходил,— Колумб, Васко да Гама,—  
В новооткрытый сад и ядов и лекарств,  
Где пыль моршанская легла над пылью царств...

<sup>4</sup> Ренье Анри де (1864—1936) — французский поэт и прозаик.

<sup>5</sup> Стихотворение «Июль 1914» в сборнике А. Ахматовой «Белая стая»:

Сроки страшные близятся. Скоро  
Станет тесно от свежих могил.  
Ждите глада, и труса, и мора,  
И затмения небесных светил.

Михаил Карпович

МОЕ ЗНАКОМСТВО

С МАНДЕЛЬШТАМОМ

Печатается по «Новому журналу»  
(1957. № 49. С. 258—260).

Карпович Михаил Михайлович (1888—1959) — профессор-историк, редактор старейшего эмигрантского «Нового журнала» с 1946 по 1959 г.

Краткие воспоминания Карповича о Мандельштаме — единственные в своем роде. Кажется, из мемуаристов никто, кроме Карповича, не оставил воспоминаний, относящихся к столь раннему периоду жизни поэта. Встреча, как вспоминает Карпович, произошла 24 декабря 1907 г. в Париже, куда Мандельштам поехал после окончания Тенишевского училища. К тому же времени относится интерес Мандельштама к новой французской поэзии, в особенности к Верлену. В Париже он планировал остаться до начала лета 1908 г., лето собирался провести в Италии и затем, вернувшись в Петербург, поступить в университет на историко-филологический факультет. В одном из самых ранних известных нам писем Мандельштама, написанном через четыре месяца после первой встречи с Карповичем, поэт сообщает матери о том, как проходят его дни в Париже: «Утром гуляю в Люксембурге. После завтрака устраиваю у себя вечер — т. е. завешиваю окно и топлю камин и в этой обстановке провожу два-три часа... Потом прилив энергии, прогулка, иногда кафе для писания писем и там обед... После обеда у нас бывает общий разговор, который иногда затягивается до позднего вечера; это милая комедия. К последнему времени у нас составилось маленькое интернациональное общество из лиц, страстно жаждущих обучиться языку... и происходит невообразимая вакханалия слов, жестов и интонаций...»

Ко времени знакомства с Карповичем этого «интернационального общества» еще не составилось, и Мандельштам чувствовал себя очень одиноким, о чем он и писал из Парижа поэту Владимиру Гиппиусу: «Живу я здесь очень одиноко и не занимаюсь почти ничем, кроме поэзии и музыки».

<sup>1</sup> В письме Владимиру Гиппиусу (поэту, преподавателю литературы в Тенишевском училище) Мандельштам пишет о своем увлечении Брюсовым, стихи которого пленяют его «гениальной смелостью отрицания». Стихотворение «Грядущие гунны», о котором вспоминает Карпович, написано Брюсовым в 1905 г. и относится, пожалуй, к числу самых «разрушительных» в наследии поэта. Видимо, с мыслью об этом стихотворении Мандельштам писал В. Гиппиусу о «чистом отрицании», найденном им в поэзии Брюсова.

<sup>2</sup> В вышедшем при жизни Мандельштама «Словаре русских писателей XX в.» (под редакцией Б. Козьмина) говорится, что в шестнадцатилетнем возрасте Мандельштам «занимался пропагандой на массах». Весной 1908 г. он уже не без иронии вспоминал свое «детское увлечение марксистской догмой». В старших классах Тенишевского училища Мандельштам познакомился с марксизмом по «Эрфуртской программе» и брошюре Каутского. «Капитал», за который он принимался, остался недочитанным. В нем «обжигало» мощное антицерковное начало. Но некий аспект марксизма оказался все же усвоенным. Об этом сам Мандельштам признавался в «Шуме времени»: «Я весь мир почувствовал хозяйством, человеческим хозяйством». О семье Синани см. отдельную главу в «Шуме времени» Мандельштама.

<sup>3</sup> Гершуни Григорий Андреевич (1870—1908) — один из основателей партии эсеров.

<sup>4</sup> Савинков Борис Викторович (1879—1925) — революционер, один из вождей партии эсеров, прозаик и поэт.

<sup>5</sup> Давид Бурлюк читал в Петербурге лекцию в ноябре 1912 г. Об этой лекции см., например, статью Александра Бенуа в газете «Речь» (23 ноября 1912 г.). В частности, Бенуа писал: «Пусть себе работают над

разгромом всего существующего... Весь смысл культуры в том, чтобы не останавливаться. Бурлюк и ему подобные погоняют, тревожат, вносят смуту и не дают застояться».

## Константин Мочульский

О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ

Печатается по альманаху «Встреча». Сборник второй (Париж, 1945. Ноябрь. С. 30—31). Этот второй сборник, изданный «редакционной коллегией под председательством Сергея Маковского», оказался последним. В сборнике участвовали И. Бунин, Н. Бердяев, Б. Зайцев, Г. Адамович, С. Маковский, А. Ремизов и др. Воспоминания Мочульского были вызваны дошедшими до русской эмиграции вестями о смерти О. Мандельштама. До большинства интересующихся литературой эмигрантов эти вести дошли лишь после окончания войны.

Мочульский Константин Васильевич (1892—1948) — литературовед и критик, автор многих статей и ряда книг — монографий о Достоевском, Гоголе, Вл. Соловьеве, Блоке, Белом, Брюсове.

В начале двадцатых годов, когда Мочульский часто публиковал в эмигрантской периодике статьи об акмеистах и рецензии на их книги, он написал пародию на Мандельштама, кажется все еще остающуюся неизвестной:

### Эллада

Я солью Аттики натер свои колени, --  
Что для девицы -- соль, то для матроны мед --  
В глуши Акрополя еще мелькают тени:  
Се — марафонский бег, — Валькирии полет!

Не Клитемнестра, нет, быть может, Навзикая ---  
Вы перепутались, святые имена! --  
Нам вынесет воды. А только та, другая, ---  
Совсем не женщина и, кажется, пьяна.

<sup>1</sup> Мандельштам поступил в Петербургский университет осенью 1911 г.

<sup>2</sup> Это восьмистишие Мандельштама стало известным только благодаря воспоминаниям Мочульского.

<sup>3</sup> Здесь допущена хронологическая неточность. Мочульский далее говорит, что эта крымская встреча произошла летом 1916 г., тогда как стихотворение Мандельштама «Золотистого меда...», которое упоминает Мочульский, было написано в августе 1917 г.

<sup>4</sup> Когда Мочульский писал эти воспоминания, он не знал вышедшей при жизни Мандельштама его «Второй книги» (1923), а также «Стихотворений» (1928), сборника статей «О поэзии» и книги прозы «Египетская марка», в которую вошел и «Шум времени».



## Артур Лурье

### ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ

Этот отрывок из очерка «Чешуя в неводе» печатается по альманаху «Воздушные пути» (Нью-Йорк) (1961. № 2. С. 202—203).

Лурье Артур Сергеевич (1892—1967) — композитор, автор оперы «Арап Петра Великого» и оперы-балета «Пир во время чумы»; писал также камерные и симфонические произведения. Учился в Петербургской консерватории у А. Глазунова. Познакомился с Мандельштамом не позднее 1912 г. В эмигрантских периодических изданиях опубликовал несколько воспоминаний — о Глебовой-Судейкиной, Хлебникове, Мандельштаме.

Стихотворение Ахматовой о «Бродячей собаке» («Да, я любила их, те сборища ночные...») первоначально было посвящено Артуру Лурье.

<sup>1</sup> «Ода Бетховену» написана в декабре 1914 г. и впервые напечатана в 1915 г. в «Альманахе стихов» под ред. Дм. Цензора. (Пг.: Цевница, 1915.) Первопечатный текст «Оды» и тот, что напечатан в третьем издании «Камня» (1923), отличаются друг от друга.

## Артур Лурье

### ДЕТСКИЙ РАЙ

Печатается по альманаху «Воздушные пути» (Нью-Йорк) (1963. № 3. С. 161—172).

<sup>1</sup> Орел уже улетел, новый дух взывает ко мне. Жерар де Нерваль (*фр.*).

<sup>2</sup> Тот, кто без одержимости музами является к вратам поэзии, думая, что благодаря своей технике он станет приемлемым поэтом, он незрелый человек, ибо поэзия разумного человека будет превзойдена поэзией одержимых («Федр») (*фр.*).

<sup>3</sup> В очерке, посвященном памяти Глебовой-Судейкиной, А. Лурье писал: «Ольга Афанасьевна Глебова-Судейкина, волшебная фея Петербурга, вошла в мою жизнь за год до первой мировой войны. К ней меня привел Николай Иванович Кульбин... Она жила только искусством, создав из него культ... Страсть к театру масок сбила Ольгу Афанасьевну с нормального пути. Ей, актрисе Александринского театра, ученице Варламова, покровительствовал всеильный тогда Суворин. Восхищенный талантом Ольги Афанасьевны, Суворин звал ее в свой театр, но под влиянием Судейкина она ушла в модернизм, к Мейерхольду, и пожертвовала громадной карьерой, которая перед ней открывалась так легко и свободно. На сцене тогда царили пьесы Беляева, и Ольга Афанасьевна играла весь его репертуар — «Псишу», «Даму из Торжка», «Путаницу»; о созданном ею образе Ахматова говорит в посвящении своей «Поэмы без героя» («Ты ли, Путаница-Психея» и т. д.)... Ольга Афанасьевна была одной из самых талантливых натур, когда-либо встреченных мною» (*Лурье А. Ольга Афанасьевна Глебова-Судейкина // Воздушные пути. 1967. № 5. С. 139—140.*)

<sup>4</sup> Добрый Жерар (*фр.*).

<sup>5</sup> Демон без конца суетится около меня; он плавает вокруг, невоспринимаемый, как воздух («Разрушение») (*фр.*).

<sup>6</sup> Саломея Николаевна Андроникова (в замужестве Гальперн) — в ее салоне в Петербурге собирались поэты и художники. А. Лурье, вероятно, имел в виду стихи О. Мандельштама:

Я научился вам, блаженные слова:  
Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита.

Соломинкой называли Саломею Андроникову в кругу близких друзей.

## Георгий Иванов КИТАЙСКИЕ ТЕНИ

Печатается по газете «Последние новости» (1930. 22 февраля). За основу этого очерка Г. Иванов взял свои воспоминания о Мандельштаме, напечатанные в газете «Дни» (1926. № 972).

Георгий Владимирович Иванов (1894—1958) — поэт, автор многочисленных мемуарных очерков, прозаик, критик, переводчик. Дата знакомства Г. Иванова с Мандельштамом осталась неизвестной — всего вероятнее, знакомство состоялось весной 1912 г., когда Г. Иванов был принят в Цех поэтов.

Имя Мандельштама встречается в нескольких шуточных стихотворениях Г. Иванова. В 1919 или 1920 г. написана Г. Ивановым шуточная «Баллада» о столкновении Мандельштама с Гумилевым. Тогда же была написана и «Басня» Г. Иванова по поводу обострившихся из-за актрисы О. Арбениной отношений между Мандельштамом и Гумилевым. Упоминается имя Мандельштама и еще в одном шуточном стихотворении Г. Иванова — «Баллада об издателе», авторство которого до сих пор несправедливо приписывают то Гумилеву, то Мандельштаму, то называют это стихотворение плодом коллективного творчества.

Стихи Мандельштама и Г. Иванова, начиная с 1912 и до 1922 г., т. е. до отъезда последнего из России, часто печатались в одних и тех же журналах и альманахах: в «Гиперборее», «Аполлоне», «Аргусе», «Ниве», «Ежемесячных литературных и популярно-научных приложениях «Нивы», «Доме искусств», «Альманахе муз», «Тринадцати поэтах», в альманахе Цеха поэтов.

Мандельштама и Г. Иванова объединяла как личная дружба, так и совместное их участие в «Гиперборее», «Аполлоне», Цехе поэтов, Академии стиха, встречи в редакциях журналов, в «Бродячей собаке», «Привале комедиантов», в некоторых петербургских салонах и кружках, например в кружке «Физа», на чтениях стихов у Сологуба, в Царском Селе у Гумилева, позднее — в издательстве «Всемирная литература», в Доме искусств, в петроградском Союзе поэтов и др.

В наследии Г. Иванова имя Мандельштама первый раз встречается в статье, опубликованной в январском номере «Апполона» за 1913 г.

Здесь он пишет о журнале «Гиперборей», который «является тем руслом, куда стремится все подлинно живое в русской поэзии, прошедшей искусство символизма». Среди поэтов «Гиперборейя», которыми журнал может гордиться, Г. Иванов называет Ахматову, Гумилева, Городецкого, Мандельштама.

Много ценного биографического материала содержится в небольшой статье «Ответ гг. Струве и Филиппову» (в кн.: *Иванов Г.* Третий Рим / Редакция и комментарии В. Крейда. Эрмитаж (США), 1987). Добавим к этому перечню еще и очерк Г. Иванова «Закат над Петербургом». Здесь несколько раз цитируются стихи Мандельштама, причем в таком контексте, который легко помогает выявить истинное отношение Г. Иванова к поэтическому наследию Мандельштама.

К образу Мандельштама Георгий Иванов многократно возвращался в своих воспоминаниях. Первая мемуарная страничка о Мандельштаме была написана им менее чем через два года со дня эмиграции — летом 1924 г. В своем эссе «Китайские тени», открывавшем целую серию очерков под аналогичным названием, он вспоминает заседания в редакции журнала «Гиперборей» и его сотрудников — Гумилева, Лозинского, Мандельштама: «Вбегал Мандельштам и, не здороваясь, искал «мecenата», который бы заплатил за его извозчика. Потом бросался в кресло, требовал коньяку в свой чай, чтобы согреться, и тут же опрокидывал чашку на ковер или письменный стол. Мандельштам вечно мерз, шубы не имел, кутался поверх осеннего пальто в башлыки и шарфы, что плохо помогало. Однажды он ехал с Гумилевым в «Гиперборей» на извозчике и вел какой-то литературный спор. В пылу спора Гумилев не заметил, что ядовитые реплики из-под башлыка становились все реже и короче. И вдруг уже недалеко от гиперборейского подъезда на колени Гумилеву падает совсем бесчувственный Мандельштам. Споря, он замерз. И его долго растирали, тормошили и отпаивали, прежде чем привели в чувство. Поэт Владим. Нарбут требовал себе медали за спасение погибающего. Он уверял, что, пока все без толку хлопотали над замерзшим, он догадался поднести к его носу трехрублевку. Близость столь крупной суммы будто бы и подействовала оживляюще на всегда безснежного поэта» (Звено. 1924. 7 июля. С. 2).

В следующем очерке «Китайские тени» Г. Иванов вспоминает шуточные стихи, написанные членами Цеха поэтов. В частности, он приводит шуточную надпись Мандельштама «к портрету художника Натана Альтмана»:

Этто есть художник Альтман,  
Отшень старый шеловек.  
По-немецки значит Альтман,  
Отшень старый человек.  
Он художник старой школы,  
Целый свой трудился век —  
Оттого он и веселый,  
Отшень старый человек.

Г. Иванов вспоминает, что Мандельштам читал этот экспромт «с немецким акцентом». В том же очерке говорится об альбоме Розы, о которой столь охотно рассказывали многочисленные мемуаристы — от К. Чуковского до Вс. Рождественского. Торговка Роза открыла лавочку в помещении издательства «Всемирная литература» и отпускала

в кредит сотрудникам издательства курево и съестное. Экспромт Мандельштама, записанный им в альбом Розы, хорошо известен, в частности, по четырехтомному Собранию сочинений Мандельштама. Но Г. Иванов приводит несколько иной вариант этого двустишия:

Не сожалей, что тебе задолжал я одиннадцать тысяч:  
Помни, что двадцать одну мог я тебе задолжать.

Еще в одном очерке (под тем же названием «Китайские тени») говорится о Мандельштаме, только что вернувшемся после двухлетних скитаний (1920). «Он читал новые чудесные стихи, потом вошедшие в «Tristia». Слушателями его были Г. Иванов и Гумилев, и чтение происходило в квартире Гумилева на Преображенской улице. Мандельштам рассказывал о своих приключениях «у белых, где его арестовали за коммунизм (он действительно участвовал в каком-то коммунистическом съезде, проходившем для конспирации на пляже во время купания) и чуть не расстреляли. Однако смилостивились и отправили в Грузию. В Грузии его, в свою очередь, хотели расстрелять, уже безо всякой вины. Какие-то грузинские поэты его спасли и —

В Петербурге мы сойдемся снова,  
Словно солнце мы похоронили в нем.

Мы трое, разбросанные было в разные углы Европы, снова сидели вместе у огня и читали друг другу стихи, точно в Царском в дни первого Цеха.

Мандельштам, напуганный своими недавними арестами, очень волновался, как ему легализироваться, т. е. достать советский паспорт — трудненьку.

— Тебе надо представить в совдеп какое-нибудь удостоверение личности. Есть ли оно у тебя?

— Есть, есть, — радостно закивал Мандельштам и выгнул из кармана смятое и порванное свидетельство на право жительства в Севастополе, выданное каким-то градоначальством... генерала Врангеля» (Звено. 1924. 3 ноября).

В одном из мемуарных очерков той поры (1925) Г. Иванов рассказал об истории создания хорошо известного поэтического альманаха. Он так и назывался «Альманах стихов» и издан был в Петрограде в 1915 г. с маркой загадочного издательства «Цевница». Впрочем, эфемерных начинаний, наподобие этого издательства, в истории книгопечатания было много. Поистине загадочным представляется здесь состав авторов. Рядом с признанными петербургскими поэтами — Кузминым, Сологубом, Гумилевым, Ахматовой, Г. Ивановым и Мандельштамом, давшим в этот альманах пять своих стихотворений, находим имя некоего С. Барта, поместившего свои стихи как раз между стихами Ахматовой и Гумилева. И другое странное обстоятельство: альманах, в котором преимущественно представлены стихи акмеистов, вышел под редакцией Д. Цензора, чьи стихи вызывали насмешки акмеистов. Из повествования Г. Иванова следует, что инициатором альманаха был Мандельштам, которого в своем очерке Г. Иванов называет «поэт М.».

«Поэт М. был специалистом по основанию издательств, правда, эфемерных. Он был необыкновенно изобретательным в способах склонить какого-нибудь денежного человека на издание альманаха или журнала. На меценатов у него был нюх, как у гончей.

Познакомившись с кем-нибудь и найдя его «подходящим», М. принимался его обрабатывать. Иногда срывалось, но бывали и удачи. Тогда М. подымал вихрь заседаний, проектов обложки, типографских смет, планов. Неважно было, если сборник, задуманный in folio в 200 страниц, появлялся спустя много месяцев в виде тощей маленькой книжки. На М. уже был новый «костюмчик» и новые «сапожки». Подкормившийся и приодевшийся, он искал нового мецената.

— Что же ваш журнал? — спросили его как-то. — Что-то о нем не слышно?

— Я разошелся с издателем.

— И он ничего не издал?

— Издал... вопль.

Однажды утром М. позвонил мне по телефону.

— Георгий Владимирович, простите за беспокойство. Не приедете ли вы сейчас к «Альберу» по литературному делу?

— Что с тобою? (Мы уже лет пять на ты, и вдруг Георгий Владимирович!) Что за чушь! Приезжай ко мне сам».

Прежде чем продолжить эту длинную выписку из «Китайских теней», здесь уместно задаться вопросом о достоверности свидетельства Г. Иванова о времени его знакомства с Мандельштамом. Напомним, что «Альманах стихов» вышел в 1915 г. И если мемуарист не ошибся в хронологии, это значит, что его знакомство с Мандельштамом состоялось в 1910 г. Некоторое подтверждение этой дате находим в книге Г. Иванова «Петербургские зимы», где говорится, что он познакомился с Мандельштамом в 1910 г. у Гумилева в Царском Селе. Однако мы знаем, что с Гумилевым Г. Иванов познакомился только весной 1912 г. Таким образом, вопрос о времени знакомства Мандельштама и Г. Иванова еще больше запутывается — тем более что и во втором издании «Петербургских зим», подготовленном им к печати уже в конце жизни, рассказ о своем знакомстве с Мандельштамом Г. Иванов оставил без изменений.

Итак, продолжая повествование, Г. Иванов вспоминает, как он приехал в ресторан «Альбер», где его ждал «М.». За столом напротив него сидел грустный человек с большим горбом. Он не завтракал, он пил «Нарзан».

— Вот и Георгий Иванов! — оживился, неестественно ласково на меня глядя, М. — Он может быть редактором.

Маленький седой горбун посмотрел на меня грустно и неодобрительно. Должно быть, мой вид не соответствовал его представлению о редакторе. Дело было следующее. М. познакомился с этим Фридрихом Фридриховичем в пригородном поезде. Познакомился, определил как «подходящего» и, чтобы не терять времени, привел прямо к «Альберу». Горбун был ликерным фабрикантом и писал сонеты о драгоценных камнях. Он соглашался издать сборник, но желал солидного редактора.

— Да,— говорил он с сильным немецким акцентом, грустно глядя на нас.— Альманах очень хорошо, но я хочу редактора с большим именем. Ну, Бальмонта, Сологуба...

Что было делать? Но М. нашелся.

— Сологуба? Бальмонта? Вы их хотите? Пожалуйста. Это нетрудно... Да что Сологуб! Я с а м о г о Дмитрия Цензора берусь уговорить!

Имя Цензора вполне удовлетворяло издателя. Через полчаса появился «сам» Цензор, очень заспанный. Дело устроилось. Вышел еще маленький разговор насчет псевдонима самого мецената. Он осведо-

мился, как будут печатать стихи — по алфавиту или нет. Ему сказали — по алфавиту.

— Значит, кто будет первым? Ахматова?

— Да, Ахматова.

— Ну так я выбираю себе псевдоним «Аврамов».

На Аврамова мы не согласились. Фридриху Фридриховичу пришлось примириться с каким-то псевдонимом на «Б».

Кроме упомянутых очерков Г. Иванов опубликовал еще несколько эссе, полностью посвященных Мандельштаму: «Петербургские зимы» (Дни. 1926. № 972); «Китайские тени» (Звено. 1927. № 210) и «Китайские тени» (включенные в настоящее издание).

Что-то из написанного Г. Ивановым дошло до Мандельштама. Дошло, скорее, из вторых рук, через Ахматову, с ее слов. В феврале 1926 г. Мандельштам писал жене: «Сейчас был у Пуниных. Там живет старушка. Встретила меня «сплетнями»: Георгий Иванов пишет в парижских газетах «страшные пашквили» про нее и про меня...» Очевидно, Ахматова прочитала очерк Г. Иванова «Петербургские зимы», напечатанный в газете «Дни». Об Ахматовой в этом очерке сказано, что в 1907 г. она опубликовала свое первое стихотворение под псевдонимом Анна Г. в журнале Гумилева «Сириус». Раскрытие псевдонима, по-видимому, вызвало негодование Ахматовой. Сам же Мандельштам отнесся к новости спокойнее — отсюда и его выражение, поставленное в кавычки: «страшные пашквили».

<sup>1</sup> В. Ф. Джунковский — командир жандармского корпуса; с 5 февраля 1913 г. по 19 августа 1915 г. был товарищем министра внутренних дел.

<sup>2</sup> Редакция «Гиперборей» помещалась в доме № 2 по Волховскому переулку на Васильевском острове.

<sup>3</sup> Это стихотворение приводится в книге И. Одоевцевой «На берегах Невы» (Париж: La Presse Libre, 1983. С. 51—52). Первая строфа в передаче Одоевцевой значительно отличается от строфы, цитируемой Г. Ивановым:

Выходит Михаил Лозинский,  
Покуривая и шутя,  
Рукой лаская исполинской  
Свое журнальное дитя.

У Николая Гумилева высоко задрана нога,  
Для романтического лова, нанизывая жемчуга.  
Пусть в Царском громко плачет Лева,  
У Николая Гумилева  
Высоко задрана нога.

Печальным взором и молящим  
Глядит Ахматова на всех,  
Был выхухолем настоящим  
У ней на муфте драный мех...

<sup>4</sup> «Гиперборей», имевший подзаголовок «Ежемесячник стихов и критики», выходил с октября 1912 по декабрь 1913 г. Всего вышло десять номеров. Редактором и издателем был Михаил Леонидович Лозинский, поэт и переводчик, автор сборника стихов «Горный ключ» (два издания: 1916 и 1922). Лозинский дебютировал

именно в «Гиперборее». Журнал издавался «при непосредственном участии Сергея Городецкого и Н. Гумилева», как было сказано на 31-й странице, где печатались выходные данные и информация о подписке. «Гиперборей» стал периодическим изданием нового типа. Поэтический отдел был всегда главным, а в некоторых номерах «Гиперборей» — единственным. Критический отдел занимал подчиненное место и полностью посвящался разбору новейшей поэзии. Главными сотрудниками были акмеисты. Однако «Гиперборей» не был узко кружковым изданием, и редакция стремилась расширить круг авторов. Здесь печатались такие разные поэты, как Блок, Эренбург, Грааль Арельский, Павел Радимов, Михаил Кузмин, Владимир Гиппиус (Бестужев), Кузьмина-Караваева, С. Гедройц, В. Гарднер. Напечатано было стихотворение художника С. Судейкина. Журнал предоставлял место и начинающим авторам. Так, стихи Радимова были приняты в «Гиперборей» через несколько месяцев после того, как он впервые выступил в печати. Г. Иванов был автором единственной маленькой книжки, когда стал сотрудничать в «Гиперборее». Здесь, в частности, печатались его стихи, впоследствии вошедшие в сборник «Горница»; опубликованы были его рецензии (см. кн.: *Иванов Г.* Третий Рим. С. 181 и прим. на с. 353—354). В № 2 за 1912 г. было опубликовано письмо Г. Иванова и Грааля Арельского:

«М. Г. Господин Редактор! Не откажите поместить на страницах «Гиперборей» следующее: Кружок «Его» продолжает рассылать листки манифеста «Его-футуристов», где в списке членов «ректоровата» стоят наши имена. Настоящим доводим до общего сведения, что мы из названного кружка вышли и никакого отношения к нему, а равно к газете «Петербургский глашатай» не имеем». В том же номере журнала опубликовано стихотворение «26 августа 1912 г.», не включенное ни в один из прижизненных сборников. Оно перепечатано в книге Г. Иванова «Несобранное» (*Antiquary*. 1987). В № 6 за 1913 г. была напечатана рецензия Городецкого на «Камень» Мандельштама: «Счастливы поэты, которым с первой же книжки дано выявлять главные черты своего художественного облика. Им не приходится тратить сил на бесплодные поиски самого себя. К их числу принадлежит и О. Мандельштам. Его книга невелика, но ценна и характерна. Обладая личным чувством ритма, образы для своих переживаний схватывая остро и своеобразно, поэт «Камня» поистине кладет прочный камень в угол создаваемого им мира. О. Мандельштам особенно хорошо чувствует весомость мира, «прекрасное» он создает «из тяжести недоброй». Арки и своды пленяют его, и он смело подходит к глыбам косного материала.

Сдержанность и скромность наряду с непоколебимым сознанием своей силы отличают его как художника. Его строфы наполнены и напряжены, его рифмы внезапны.

Сборник этот составлен слишком скупой, даже для первого выступления...»

<sup>5</sup> Это стихотворение Ахматовой было ее первым выступлением в печати. Опубликовано оно было во втором номере «Сириуса». Всего вышло три номера.

<sup>6</sup> Напротив, «Сириусу» не хватало материалов, и Гумилев подписывал свои произведения псевдонимами, чтобы не бросалось в глаза, что он практически единственный пишущий.

<sup>7</sup> А. Н. Толстой не печатался в «Сириусе».

<sup>8</sup> По составу сотрудников «Остров», напротив, резко отличался от

«Сириуса». В «Острове» (вышло только два номера) печатались Анненский, Кузмин, Волошин и др. Единственным поэтом, кто печатался и в том и в другом журнале, был Гумилев.

<sup>9</sup> Ахматова, познакомившаяся с Лозинским осенью 1911 г., писала в «Слове о Лозинском»: «Когда зарождался акмеизм и ближе Михаила Лозинского у нас никого не было, он все же не захотел отречься от символизма, оставаясь редактором нашего журнала «Гиперборей», одним из основных членов Цеха поэтов и другом нас всех».

<sup>10</sup> Это шуточное стихотворение Мандельштама известно только благодаря воспоминаниям Г. Иванова.

<sup>11</sup> А. Блок, стихотворение «А. М. Добролюбов». Первая строка у Блока: «Из городского тумана».

## Георгий Иванов

### НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ

Печатается по газете: Последние новости. 1928. 20 июля.

<sup>1</sup> Г. Иванов учился во втором Петербургском кадетском корпусе (окончил в 1912 г.).

<sup>2</sup> «Аполлон» — петербургский журнал, редактировавшийся Сергеем Маковским. Первый номер вышел 24—25 октября 1909 г. Журнал издавался до 1917 г. Начиная с января 1913 г. в «Аполлоне» довольно часто печатался Г. Иванов; его первой публикацией была обзорная статья «Стихи в журналах 1912 г.». В 1914 г., когда заведовавший в «Аполлоне» литературным отделом Н. Гумилев был зачислен «охотником» в лейб-гвардии уланский полк, на его месте в редакции журнала начал работать Г. Иванов.

<sup>3</sup> Речь идет о прозаике и поэте Алексее Дмитриевиче Скалдине (1889—1943). Более подробно о Скалдине Г. Иванов писал в первом издании «Петербургских зим»; во втором издании страницы, повествующие о Скалдине, изъяты. Биографию Скалдина см. в предисловии к его роману (фактически последнему роману серебряного века) «Странствия и приключения Никодима Старшего» (Антиквариат (США), 1989 и 1990). Под ред. и с предисловием Вадима Крейда.

<sup>4</sup> В «Гаудеамусе» было напечатано несколько стихотворений Г. Иванова, позднее вошедших в его первый сборник стихотворений, — «Отплывте на о. Цитеру» (1912). «Гаудеамус» закрылся в апреле 1911 г. Владимир Иванович Нарбут (1888—1938) — редактор «Гаудеамуса», участник гумилевского Цеха поэтов, поэт-акмеист.

<sup>5</sup> Фофанов Константин Михайлович (1862—1911) — поэт. Хорошо определил его значение Гумилев: «Он был подлинный поэт, но из тех скромных поэтов, о котором в своем знаменитом стихотворении мечтал Лонгфелло, на вечер отрекаясь от «грандиозных поэтов, носителей громких имен, чьи стоны звучат еще эхом в глухих коридорах времен». В последний период жизни Фофанова вышли его книги «Иллюзии», «Необыкновенный роман (Поэма в октавах)» и «После Голгофы (Мистерия-поэма)». Фофанов повлиял на Игоря Северянина и провозглашенный им эго-футуризм. В январе 1912 г. эта группа возвестила о своем существовании манифестом Академии эго-поэзии, подписанным, в частности, Георгием Ивановым и Константином Олиповым.



сыном Фофанова. Этот лаконичный манифест уже в первой своей строке объявлял своими предшественниками К. М. Фофанова и Миру Лохвицкую.

Г. Иванов посвятил Фофанову мемуарный очерк — «Наследник Пушкина» (Сегодня. 1933. № 327).

<sup>6</sup> В 1911 г. Г. Иванов знакомится с Игорем Северяниным и участвует в создании и разработке коллективной программы эго-футуризма. Эта программа была напечатана 5 февраля 1912 г. в «Нижегородском листке», а 12 февраля вышел первый номер «Петербургского глашатая» — газеты эго-футуристов.

## Владимир Барятинский

«ПЯТНИЦЫ ПОЛОНСКОГО»  
И «ПЯТНИЦЫ СЛУЧЕВСКОГО»  
(ИЗ СЕРИИ ВОСПОМИНАНИЙ  
«ДОГОРЕВШИЕ ОГНИ»).

Барятинский Владимир Владимирович, князь (1874—1941) — писатель-прозаик, драматург, журналист. Окончил морской корпус. Первое выступление в печати — в газете «Санкт-Петербургские ведомости». Сотрудничал в газете «Новое время». В 1897 г. издавал газету «Северный курьер». В 1897 г. вышла его книга «Потомки», в 1899 г. — «Лоло и Лала», в 1901 г. — сборник статей «Мысли и заметки». Автор пьес «Перекааты», «Карьера Наблоцкого», «Пляска жизни», «Во дни Петра», «Последний Иванов», «Светлый царь». Некоторые из этих пьес шли в петербургском «Новом театре», которым князь Барятинский руководил.

После революции эмигрировал, опубликовал в эмигрантских журналах и газетах ряд рассказов и мемуарных очерков.

<sup>1</sup> Поэт Полонский Яков Петрович умер 18 октября ст. ст. 1898 г. на 79-м году жизни.

<sup>2</sup> Случевский Константин Константинович (1837—1904) — поэт, театральный критик.

<sup>3</sup> Фидлер Фридрих (Федор Федорович) (1859—1917) — переводчик, поэт. Перевел на немецкий язык стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета, А. К. Толстого, Кольцова, Никитина, Надсона, Вяч. Иванова, Брюсова. Составитель известного сборника автобиографий русских писателей «Первые литературные шаги» (М.: типография Т-ва И. Д. Сытина, 1911). Основатель частного литературного музея, который в течение десятилетий пополнял материалами, относящимися к жизни и творчеству писателей, преимущественно писателей русских. Брюсов, впервые встретивший Фидлера в кружке Случевского, оставил в своем дневнике запись о нем: «...Тут подползла ко мне некая фигура на двух ногах и заговорила. «Я много читал о вас и слышал, очень рад познакомиться. У меня есть альбом, который украшен автографами многих замечательных лиц, не согласитесь ли и вы украсить его этим стихотворением». Я согласился и украсил, а едва кончил, владелец альбома, оказавшийся немецким поэтом Фидлером, спросил меня: «А есть ли с вами ваш портрет?» Моего портрета со мной не оказалось. «Будьте любезны прислать мне с автографом, у меня портретная

галерея замечательных лиц» (*Брюсов В.* Дневники. 1891—1910. С. 55). Блок, побывавший у Фидлера на именинах, записал в дневнике 4 ноября 1911 г.: «Уютная квартира, вся увешанная портретами — одна комната; карикатурами — другая... Народ прибывает непрестанно, и к полуночи уже некуда яблоку упасть» (*Собр. соч. Т. 7. С. 80*). Иероним Ясинский писал в своих воспоминаниях о судьбе некоторых чеховских писем: «Кое-какие письма его были напечатаны мною по просьбе биографов Чехова, когда он умер. Одни письма хранятся еще у меня, а остальные я подарил... Фидлеру» (*Роман моей жизни. С. 273*).

<sup>4</sup> Ростан Эдмон (1868—1918) — французский драматург.

<sup>5</sup> Яворская Лидия Борисовна (1871—1921) — актриса, жена кн. В. В. Барятинского.

<sup>6</sup> Случевский Константин Константинович (1873—1905) — поэт, сын знаменитого поэта Константина Случевского (1837—1904). Как и автор настоящих мемуаров, младший Случевский получил образование в морском корпусе. Печатался в «Новом времени» под псевдонимом «Лейтенант С.». Погиб в Цусимском сражении. Посмертно был издан сборник его стихотворений.

<sup>7</sup> Этот список Барятинского можно дополнить еще именами Гумилева, Ахматовой, Городецкого, Блока, А. Каменского, Е. Аничкова, П. Соловьева (*Allegro*), Быкова, Хвостова, Вишневского-Черниговцева и многих других, а также, как писал участник этого кружка И. Ясинский, именами многих начинающих поэтов «с прелестными лицами и слабыми стихами». Встречи участников кружка устраивались не только на дому у Случевского, но также и у В. П. Авенариуса, М. Г. Веселковой-Кильштет и др.

<sup>8</sup> «Был это последний кружок поэтов, дотянувших свое бытие до революционного перелома. Его можно помянуть во всяком случае добрым словом» (*Ясинский И.* Роман моей жизни. С. 214).

## Николай Арсеньев

### О МОСКОВСКИХ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ И ЛИТЕРАТУРНЫХ КРУЖКАХ И СОБРАНИЯХ НАЧАЛА XX ВЕКА

Печатается по журналу: *Современник* (Торонто). 1962. № 6. С. 30—41.

Арсеньев Николай Сергеевич (1888—1977) — религиозный мыслитель, мемуарист, поэт, автор книги воспоминаний «Дары и встречи жизненного пути». Арсеньев родился в Стокгольме в семье русского дипломата, первого секретаря русской миссии в Швеции. В 1905 г. Арсеньев поступил на историко-филологический факультет Московского университета, слушал лекции по истории у Ключевского. В студенческие годы посещал собрания «Общества памяти кн. С. Н. Трубецкого» и «Религиозно-философского общества памяти Вл. Соловьева». В 1912 г. начинает преподавательскую деятельность в Московском университете на кафедре западноевропейской литературы. По установлению советского режима дважды арестовывался и сидел в тюрьме.

В 1920 г. бежал на Запад через польскую границу. Читал лекции по истории русской культуры, по русской литературе, по истории религий и др. в Кенигсбергском, Рижском, Варшавском университетах, в Сорбонне, в парижском Католическом институте и др. С 1948 г. жил в штате Нью-Йорк и преподавал в Свято-Владимирской духовной академии. Арсеньев — автор трех десятков книг, некоторые из них переведены на немецкий, французский и английский языки.

Арсеньев остался чужд эстетическому сознанию серебряного века. «Новый трепет», который явился источником новых течений в литературе и искусстве, почти не коснулся его. В своих мемуарах «Годы юности в Москве» (Мосты. 1959. № 3) Н. Арсеньев писал: «Меня отталкивал дух сладострастно-истерического кликушества, которым дышали многие представители нового эстетско-«религиозного» направления, лишённого всякой внутренней трезвости, сдержанности и целомудренного трепета перед святыней и переходившего нередко в смесь квазирелигиозного, полухлыстовского крикливого оргиазма с безкусной самолюбующейся литературщиной. Думаю, например, об Андрее Белом, о кругах эмоционально-возбужденных «соловьистов», о Вячеславе Иванове, Мережковском, о «блокистах», о Бальмонте, С. Н. Дурылине. Но Соловьёвское общество, в котором некоторые из этих оргиастов отчасти задавали тон, отнюдь не может быть вполне отождествлено с этими кругами: оно давало простор и место и другим направлениям и было насыщено большой и подлинной культурой (иногда, правда, несколько александрийски-упадочного характера)».

<sup>1</sup> Трубецкой Евгений Николаевич (1863—1920) — философ, после Октября эмигрировал. Написал мемуарные книги «Из прошлого» и «Воспоминания», изданные посмертно за рубежом.

<sup>2</sup> Булгаков Сергей Николаевич (отец Сергей) (1871—1944) — философ, богослов. В 1922 г. был выслан Советским правительством за границу. В плане мемуарной литературы особенную ценность представляют его «Автобиографические заметки», посмертно изданные в Париже (УМСА-Press, 1946).

<sup>3</sup> Ср. с воспоминаниями А. Белого о Г. А. Рачинском: «С юных лет эрудит, вытвердивший наизусть мировую поэзию, перелиставший философов... Г. А. — энциклопедия по истории христианства, поражающая нас отсутствием церковного привкуса» (Начало века. М.: Худ. лит., 1990. С. 102).

<sup>4</sup> Святой Игнатий Богоносец (ум. в 107 г.) — ученик апостола Павла, автор нескольких посланий, адресованных христианским общинам; первым употребил в своих эпистолах слово «католический».

<sup>5</sup> Я спросил лес, и лес мне ответил: «Этого больше нет, больше нет» (*фр.*).

<sup>6</sup> А. Белый писал об «аргонавтах» как о кружке в очень условном смысле. Название было дано Эллисом, имевшим в виду аргонавтов греческой мифологии, плававших на корабле «Арго» за золотым руном. «Они сливались с «символистами»... — писал А. Белый, — но отличались, так сказать, стилем своего выявления. В них ничего не было от литературы; и в них не было ничего от внешнего блеска, а между тем ряд интереснейших личностей... прошел сквозь «аргонавтизм» (Начало века. М., 1990. С. 124).

Бронислава Погорелова  
«СКОРПИОН» И «ВЕСЫ»

Печатается по «Новому журналу»  
(1955. № 40. С. 168—178).

О Брониславе Погореловой (Рунт) см. в прим. к ее очерку «Валерий Брюсов и его окружение» в настоящем издании.

<sup>1</sup> Издательство «Скорпион» было основано в 1899 г.

<sup>2</sup> О С. А. Полякове см. также в очерке Леонида Сабанеева «Мои встречи».

<sup>3</sup> Посмертное собрание сочинений «Стихи и проза» Ивана Коневского с предисловием от издателей «Скорпиона» и статьей В. Брюсова вышло в 1904 г.

<sup>4</sup> Журнал «Весы» издавался в 1904—1909 гг. «...История «Весов»,— писал Н. Гумилев,— может быть признана историей русского символизма в его главном русле» (Собр. соч. Т. 4. С. 234).

<sup>5</sup> Статья Брюсова «Фиалки в тигле» впервые напечатана в «Весях» (1905. № 7). В этой статье он писал: «Кроме з н а н и я языка, нужно еще особое ч у т ь е к его тайнам... Передать создание поэта с одного языка на другой — невозможно; но невозможно и отказаться от этой мечты... Воспроизвести при переводе стихотворения все эти элементы полно и точно — невысказано. Переводчик обычно стремится передать лишь один или в лучшем случае два (большею частью образы и размер), изменив другие (стиль, движение стиха, рифмы, звуки слов). Но есть стихи, в которых первенствующую роль играют не образы, а например, звуки слов... Выбор того элемента, который считаешь наиболее важным в переводимом произведении, составляет м е т о д перевода».

Ариадна Тыркова-Вильямс

ТЕНИ МИНУВШЕГО.  
ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ

Печатается по журналу «Возрождение» (1955. № 37. С. 77—94).

Тыркова-Вильямс Ариадна Владимировна (псевдоним — Вергежский; по мужу, англичанину, — Вильямс) (1869—1962) — писательница, мемуаристка. Родилась в Новгородской губернии в родовой усадьбе Вергежа (отсюда и псевдоним). Была арестована за революционную деятельность, приговорена к тюремному сроку, бежала за границу и вскоре после распоряжения об амнистии вернулась на родину. Входила в центральный комитет партии «Народная свобода». Ее рассказы, повести и романы печатались во многих журналах.

Живя в эмиграции, опубликовала на английском роман «Василиса Премудрая», много печаталась в русских зарубежных журналах и газетах. Отдельным изданием вышли ее мемуары «На путях к свободе» (1952) и «То, чего больше не будет» (1954).

<sup>1</sup> Вы, русские, другие, у вас нет основы для благоговения. Это слишком опасно (*фр.*).

<sup>2</sup> Неведомский — псевдоним Миклашевского Михаила Петровича (1866—1943) — публицист, критик.

<sup>3</sup> Семья Тугана-Барановского (1865—1919), известного в то время эконоμισа-марксиста.

<sup>4</sup> Анненский Николай Федорович (1843—1912) — публицист-народник, брат поэта Иннокентия Анненского.

## Леонид Сабанеев

### МОИ ВСТРЕЧИ. «ДЕКАДЕНТЫ»

Печатается по «Новому русскому слову» (1953. 5 и 19 июля).

Сабанеев Леонид Леонидович (1881—1968) — музыковед, автор монографии о Скрябине (1916) и книги «Музыка речи» (1923). В эмиграции издал книгу «С. И. Танеев. Мысли о творчестве и воспоминания о нем» (1930). Автор статей, печатавшихся в «Современных записках»: «А. К. Глазунов», «Морис Равель», «Музыкальное творчество в Советской России», «О Мусоргском», «Творческий кризис в музыке», «Толстой в музыкальном мире». Печатался также в «Мостах» и в «Новом журнале».

<sup>1</sup> Книга К. Д. Бальмонта «Будем как солнце» посвящена Брюсову, Балтрушайтису и др. — в том числе «нежному, как мимоза, С. А. Полякову». О Полякове писал в своих мемуарах «Начало века» А. Белый.

<sup>2</sup> Общество свободной эстетики было основано в 1906 г. и существовало до 1917 г.

<sup>3</sup> Даты жизни С. А. Полякова — 1874—1948.

<sup>4</sup> Вяч. Иванов многократно выступал с речами и лекциями о Скрябине, а также написал статьи «Взгляд Скрябина на искусство» и «Скрябин и дух революции».

<sup>5</sup> Волконский Сергей Михайлович (1860—1937) — «художественный деятель, высокоодаренный писатель-мыслитель», по словам знавшего его в течение полувека Сергея Маковского. В 1899—1902 гг. Волконский был директором императорских театров. Сотрудничал в журнале «Аполлон». Автор книг «Человек на сцене», «Выразительный жест», «Разговоры». В эмиграции издал у Сергея Кречетова (книгоиздательство «Медный всадник») книгу «Декабристы», исторический роман «Последний день», двухтомные «Мои воспоминания», сборник статей «В защиту русского языка», книгу «Быт и бытие. Из прошлого, настоящего, вечного». Писал театральные рецензии для парижских «Последних новостей».

<sup>6</sup> Московский литературно-художественный кружок существовал в 1898—1920 гг. О Брюсове в этом кружке писал в своих воспоминаниях В. Ходасевич (см. в настоящем издании).

<sup>7</sup> Коган Петр Семенович (1872—1932) — литературовед; в 1910 г. был избран приват-доцентом по кафедре романо-германской филологии Петербургского университета.

## Мстислав Добужинский

### ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ И ПОЭТАМИ

Печатается по «Новому журналу»  
(1945. № 11. С. 282—296).

Добужинский Мстислав Валерианович (1875—1957) — художник, принадлежавший к кругу «Мира искусства», автор иллюстраций ко многим книгам старых и современных писателей, театральный художник, мемуарист.

Общий взгляд на эпоху, к которой принадлежал как сам Добужинский, так и персонажи его воспоминаний, выражен им в рецензии на мемуары С. Маковского «Портреты современников»: «Время между двумя революциями (1905—1917), — писал Добужинский, — представляет небывалый по продуктивности подъем нашей художественной жизни во всех ее областях — в живописи, поэзии, в театре, издательском деле и т. д. Это петербургское Возрождение, начавшееся с «Мира искусства», еще недостаточно описано, освещено и оценено исторически, а в общую картину тех лет входит еще и огромный мир Москвы, который был охвачен тем же подъемом. В перспективном отдалении кажется, что творчество точно инстинктивно торопилось проявить себя как можно полнее в предчувствии общей катастрофы» (Новый журнал. 1956. № 44. С. 299—300).

<sup>1</sup> Бакст Лев Самойлович (1866—1924) — художник, принадлежал к кругу «Мира искусства».

<sup>2</sup> С начала октября до конца декабря 1906 г. М. Волошин жил в доме на Таврической улице, где этажом выше была квартира Вяч. Иванова.

<sup>3</sup> Гуро Елена (наст. имя Нотенберг Элеонора Генриховна) (1877—1913) — прозаик, поэтесса, драматург, автор книг «Шарманка» (1909), «Осенний сон» (1912), «Небесные верблюжата» (1914).

<sup>4</sup> Эта статья Вяч. Иванова («Чурлянис и проблема синтеза искусств») напечатана была в «Аполлоне» (1914. № 3). В своей статье Вяч. Иванов заметил, что впервые его внимание на творчество Чюрлениса обратил М. В. Добужинский.

<sup>5</sup> Сюннерберг Константин Александрович (1871—1942) — поэт, художник, критик; писал под псевдонимом Эрберг; один из частых посетителей «башни» Вяч. Иванова. М. Добужинский подробно рассказал о Сюннерберге в своем мемуарном очерке «Служба в министерстве»: «Он был на редкость образованный человек и настоящий «европеец» (по крови швед). В нем было привлекательно какое-то внутреннее изящество и аристократизм... Вскоре я понял, что ему не менее тяжело на службе и что у него та же двойственность жизни, и это нас еще больше сближало. С ним всегда было интересно беседовать, обоим нас интересовала современная поэзия... Он был неутомимый и задорный спорщик, и мы засиживались до поздней ночи. У Сюннерберга выработалась своя теория творчества, философски обоснованная, которую он развивал в своих критических статьях, а затем в своих книгах («Красота и свобода», «Цель творчества» и др.). Впоследствии для сборника его стихов «Плен» я нарисовал ему обложку» (Новый журнал. 1963. № 71. С. 167—168).

<sup>6</sup> Бог из машины (*лат.*).

<sup>7</sup> Трепов Дмитрий Федорович (1855—1906) — петербургский генерал-губернатор.

<sup>8</sup> О постановке на «башне» пьесы Кальдерона в переводе Бальмонта подробно писал в своих мемуарах В. Пяст: «Башня» была центральным местом для всего художественного Петербурга. Как с Эйфелевой, и с нее распространялись радиолучи по городу. Кажется, Мейерхольд и Судейкин пришли сами. Пришли и остались, совсем «погрузившись в идею». И спектакль, без преувеличения говоря, вышел историческим именно в плане истории театра (*Пяст. В. Встречи. С. 170*).

<sup>9</sup> Л. Д. Зиновьева-Аннибал умерла в 1907 г. от скарлатины. См., напр., воспоминания Ольги Мочаловой «О Вячеславе Иванове»: «Доверчиво и щедро рассказывал В. И. о своей покойной жене Зиновьевой-Аннибал, о ее необыкновенном даровании постигать человека. Вспоминал о ее тяжелой смерти — она задохнулась, заразившись скарлатиной, — волновался, ходил по комнате. Я с замиранием сердца смотрела на большой портрет сильной, властной женщины, висевший в простенке. Позднее мне стало известно о посмертном общении поэта с умершей возлюбленной. Гершензон говорил, что Лидия Дмитриевна была не менее одарена, чем ее гениальный муж» (*Новый журнал. 1978. № 130. С. 150*).

Вяч. Иванов в автобиографии писал о постигшей его утрате: «Осенью 1907 г. умерла после семидневной болезни (скарлатины) в деревне Загорье Могилевской губернии Л. Д. Зиновьева-Аннибал. Что это значило для меня, знает тот, для кого моя лирика не мертвые иероглифы; он знает, почему я жив и чем жив».

<sup>10</sup> Роман А. М. Ремизова «Пруд» вышел в издательстве «Сириус» в 1908 г.

<sup>11</sup> Строка из стихотворения М. Кузмина «Где слог найду, чтоб описать прогулку...»

<sup>12</sup> Речь идет о поездке в Москву 30 ноября 1906 г. Блок вел критический отдел в журнале «Золотое руно» и был приглашен в жюри конкурса, объявленного редакцией журнала.

Модест Гофман

ПЕТЕРБУРГСКИЕ  
ВОСПОМИНАНИЯ

Печатается по «Новому журналу»  
(1955. № 43. С. 120—133).

Гофман Модест Людвигович (1887—1959) — поэт и литературовед, один из крупных исследователей творчества А. С. Пушкина. В 1922 г. эмигрировал во Францию.

<sup>1</sup> «Через тернии к звездам» (*лат.*).

<sup>2</sup> Первый сборник М. Гофмана — «Кольцо. Тихие песни скорби» — вышел в Петербурге тиражом 500 экз. М. Гофман пишет о «тоненькой тетрадке», вышедшей осенью 1906 г. Действительно в этой «тетрадке» только 16 стр., однако сборник помечен не 1906-м, а осенью 1907 г. О М. Гофмане-поэте писал во «Встречах» В. Пяст, учившийся с Гофманом в университете: «Анненский дал в свое время отзыв об этой книге;

В. Я. Брюсов не раз упоминал о Гофмане как о поэте. И Вячеслав Иванов, и Городецкий довольно серьезно считались с его лирой. Между тем, несомненно, уровень стихов Модеста Гофмана был ниже среднего, — и все эти разговоры о нем вызывались, вероятно, его способностью, возможно и подсознательной, оказывать непосредственное влияние на людей» (С. 118—119). Отзыв Анненского о сборнике Гофмана лаконичен: «Шепотной душой хотел бы быть и Модест Гофман («Кольцо. Тихие песни скорби». 1907), но этой шепотности я немножко боюсь:

И когда глядеться в очи  
Неподвижный будет мрак,  
Я убью ее полночью,  
Совершив с ней черный брак».

(Анненский И. О современном лиризме // Аполлон. 1909. № 2. С. 20).

<sup>3</sup> Отзывы Блока о произведениях М. Гофмана малочисленны и кратки: о его «Соборном индивидуализме» Блок отозвался как о «словесном кафешантане»; о сборнике «Кольцо» писал, что он производит «бледное впечатление».

<sup>4</sup> Карташев Антон Владимирович (1875—1960) — профессор Духовной академии, богослов, историк. Вторую половину своей жизни провел в эмиграции, уехав из России не позднее 1921 г.

<sup>5</sup> Ия. Стихи для детей и рисунки. Сочинял и рисовал целых два года С. Городецкий (М.: Заря, 1908. 40 с.).

<sup>6</sup> Книга Георгия Ивановича Чулкова (1879—1939) «О мистическом анархизме» вышла в издательстве «Факелы» в 1906 г. Предисловие написал Вяч. Иванов. В книге «Годы странствий» Чулков писал, что корни его «мистического анархизма уходили все-таки в декадентство» и что это был «бунт во имя утверждения личности, ее независимости, ее свободы» (С. 82). Книга Чулкова вызвала бурную полемику, и как он с горечью вспоминал, «ее все старались осмеять».

<sup>7</sup> Сборник Вяч. Иванова «Эрос» вышел в Петербурге в январе 1907 г. Поздние стихотворения этого сборника лирики были включены Вяч. Ивановым в его книгу «Cor ardens» (Скорпион, 1911).

<sup>8</sup> По словам В. Пяста, первая «среда» состоялась 2 или 3 сентября 1905 г. (Пяст В. Встречи. С. 48). С этого времени и началась, пишет Пяст, серия «исторических «сред» на его «башне». О роли, которую сыграла «башня» в культурной и художественной жизни России, писал хорошо знавший Вяч. Иванова Федор Степун: «Уверен, что будущие историки русской литературы выяснят большое подпочвенное влияние Вяч. Иванова на его современников: гениальный собеседник, он был щедрым оплодотворителем умов и сердец своих друзей и поклонников» (Возрождение. 1949. № 5. С. 163).

<sup>9</sup> Ведетта (итал. vedetta) — передовой пост, часовой, впередсмотрящий.

<sup>10</sup> Мосолов Борис Сергеевич (1886—1942) — искусствовед, один из частых посетителей «башни»; вместе с Гумилевым, Пястом, А. Толстым, П. Потемкиным слушал весной 1909 г. курс лекций о поэзии, который читал Вяч. Иванов.

<sup>11</sup> См. прим. <sup>8</sup> к очерку М. Добужинского «Встречи с писателями и поэтами».



Александр Биск  
РУССКИЙ ПАРИЖ.  
1906—1908 гт.

Печатается по журналу «Современник» (Торонто) (1963. № 7. С. 59—68).

Биск Александр Акимович (1883—1973) — поэт и переводчик Рильке. В 1912 г. издал книгу «Рассыпанное ожерелье. Стихи. 1903—1911» (СПб.: Изд. М. Семенова). В 1919 г. в Одессе вышла в его переводе книга: Райнер-Мария Рильке «Собрание стихов». Вскоре после выхода в свет этого сборника переводов А. Биск эмигрировал в Западную Европу и позднее в США.

Печатался в канадском «Современнике», в «Новом журнале» и «Опытах». Живя в Нью-Йорке, участвовал в поэтическом альманахе «Четырнадцать». В 1959 г. вышла третьим изданием его книга переводов из Рильке; в 1962 г. — избранные стихи «Чужое и свое».

<sup>1</sup> Кругликова Елизавета Сергеевна (1865—1941) — художница, автор портретов (силуэтов) Н. Гумилева, Г. Иванова, И. Одоевцевой и др.

<sup>2</sup> И если я слишком надоедлив, выстави меня за дверь — я поеду на метро (*фр.*).

<sup>3</sup> Шедевр (*фр.*).

<sup>4</sup> Сонет «Латинский квартал» вошел в книгу Вяч. Иванова «Прозрачность. Вторая книга лирики» (М.: Скорпион, 1904). Цитируя по памяти, А. Биск неточно передает последний терцет: у Вяч. Иванова:

Где ткет любовь меж мраморных Диан  
На солнце ткань,— и Рима казематы  
Черны в луне?.. То — град твой, Юлиан!

<sup>5</sup> Строфа из стихотворения «Песнь польского узника», вошедшего в сборник Бальмонта «Песни мстителя». Книга вышла в Париже в 1907 г. Стихотворение «Песнь польского узника» — перевод из Мицкевича.

<sup>6</sup> Я читаю стихи, стихи бессмертные (*фр.*).

<sup>7</sup> Столица Любовь Никитична (девичья фамилия Ершова, 1884—1934) — поэтесса, драматург. Впервые стихи ее были опубликованы в 1906 г. в московском «Золотом руне».

<sup>8</sup> Первая поездка Волошина в Париж — в октябре — ноябре 1899 г.; в апреле 1901 г. снова приехал в Париж и тогда же познакомился с Кругликовой; прожил в Париже, выезжая в Бретань и в Италию, до января 1903 г., и затем в ноябре 1903 г. снова приехал в Париж.

<sup>9</sup> Начало стихотворения М. Волошина «Дождь» (март 1904 г.).

<sup>10</sup> Гиль Рене (1862—1925) — поэт, критик. Гурмон Реми де (1858—1915) — писатель-прозаик и критик.

Перевод: «Вот юный русский поэт, который восхитительно перевел Эредиа» (*фр.*). Эредиа Жозе Мария де (1842—1905) — французский поэт.

<sup>11</sup> Точнее, Цетлин Марк Осипович (1882—1946) — поэт, критик, переводчик. Печатался под псевдонимом Амари. С 1920 г. жил в эмиграции во Франции. Основал вместе с М. Алдановым нью-йоркский «Новый журнал» (1942).

<sup>12</sup> Статья Бунина о Волошине, а точнее, мемуарный очерк «Волошин» (1930) перепечатан впоследствии в книге: Бунин И. Под серпом

и молотом. Лондон (Канада), 1975. В СССР этот очерк был напечатан с большими купюрами.

<sup>13</sup> Гумилев издавал в Париже журнал «Сириус» (1907). Всего вышло три номера. Стихи А. Биска напечатаны в № 2.

<sup>14</sup> Цитируется начало стихотворения Сергея Городецкого «Весна монастырская» из книги «Ярь» (СПб., 1907).

<sup>15</sup> «Перевал» — журнал символистов, издававшийся в 1906—1907 гг. под редакцией С. Соколова (Кречетова). В журнале принимали участие А. Блок, А. Кондратьев, Ф. Сологуб, Н. Гумилев, В. Ходасевич и др.

<sup>16</sup> Первая книга С. Соловьева «Цветы и ладан» (М., 1907. 225 с.).

<sup>17</sup> О встрече с Белым в Париже в 1906 г. писала З. Гиппиус в воспоминаниях о Д. Мережковском: «...Надо было только знать его природу, ничему в нем не удивляться и ничем не возмущаться... Он обладал громадной эрудицией, которой пользовался довольно нелепо. Слово «талант» к нему как-то мало приложимо. Но в невероятной куче его бесконечных писаний есть кое-где проблески гениальности» (*Гиппиус* З. Дмитрий Мережковский. С. 171).

<sup>18</sup> Бальмонт вернулся в Россию не в 1910-м, а в мае 1913 г., проведя за границей около семи лет.

<sup>19</sup> Гроссман Леонид Петрович (1888—1965) — литературовед, писатель. Кроме литературоведческих работ о Достоевском, Пушкине, Тургеневе и др. писал исторические романы.

<sup>20</sup> Показать наготу в движении (*фр.*).

<sup>21</sup> Без наряда (*фр.*).

<sup>22</sup> Бернар Сара (1844—1923). — французская актриса.

Владислав Ходасевич

МОСКОВСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРУЖОК

Печатается первая часть мемуарного очерка, состоящего из двух частей, по кн.: *Ходасевич В.* Литературные статьи и воспоминания. Нью-Йорк: Изд. им. Чехова, 1954. С. 297—304.

Ходасевич Владислав Фелицианович (1886—1939) — поэт, критик, переводчик, историк литературы, мемуарист.

Устав Московского литературно-художественного кружка впервые был опубликован в 1898 г. и с тех пор неоднократно печатался в виде отдельной брошюры вплоть, кажется, до 1915 г. В 1901 г. был напечатан «Список членов литературно-художественного кружка», а с 1912 г. стали публиковаться «Отчеты» о его деятельности. С 1913 по 1917 год выходили «Известия Литературно-художественного кружка» (вышло 18 выпусков). Воспоминания об этом кружке оставили многие писатели — в том числе В. Гиляровский, Н. Телешов, В. Вересаев и Андрей Белый в книге «Начало века». Здесь, говоря о засилии в кружке адвокатов и газетчиков и о борьбе модернистов за признание, А. Белый писал: «В общем же уравновешивалась эта борьба, в годах ставшая только игрою в футбол, с переменным успехом; и все же летописцу Москвы не избежать «Кружка» тех времен» (С. 232).

<sup>1</sup> Шаржированный портрет председателя правления кружка Баженова оставил в своих воспоминаниях А. Белый: «...пропущенный пузом, щеками, глазами, очками, Баженов Н. Н., психиатр, председатель, с серьезным комизмом и психиатрическим опытом (для него все — пациенты, и только), как толстый кентавр водяной, кувыркающийся на волнах...» (Начало века. С. 223).

<sup>2</sup> Однострочное стихотворение В. Брюсова:

О закрой свои бледные ноги!

<sup>3</sup> О Любошице А. Белый в книге «Начало века» писал: «...темный, румяный, кудрявый, брадатый мужлан — Любошиц (лютый враг, скоро «друг» декадентов)» (С. 223).

<sup>4</sup> Михеев Василий Михайлович (1859—1908) — беллетрист; начинал как поэт; издал в 1884 г. «Песни о Сибири»; писал романы, рассказы, очерки, комедии.

<sup>5</sup> См. о С. В. Яблоновском в примечаниях к очерку Брониславы Погореловой «Валерий Брюсов и его окружение».

<sup>6</sup> Названы фамилии богатых московских купцов, покровительствовавших искусству. О Рябушинском см. в очерке С. А. Виноградова «О странном журнале, его талантливых сотрудниках и московских пирах».

Гиршман Владимир Осипович (1867—1936) — фабрикант, коллекционер, меценат.

Востряков Дмитрий Родионович — в его доме на Дмитровке было предоставлено помещение для кружка.

<sup>7</sup> Скиталец — псевдоним писателя Петрова Степана Гавриловича (1869—1941). В 1898 г. познакомился с Горьким и попал под его влияние, продолжавшееся до 1908 г., когда Скиталец порвал с большевиками.

<sup>8</sup> Лопатин Лев Михайлович (1855—1920) — философ.

<sup>9</sup> Дорошевич Влас Михайлович (1864—1922) — известнейший в то время фельетонист. Писал очерки, рассказы, юмористические наброски. В 1905—1907 гг. вышло его девятитомное собрание сочинений. Был широко известен своими книгами «Одесса, одесситы и одесситки» (1895), «В земле обетованной» (1900), «Сахалин» (1903).

<sup>10</sup> Гиляровский Владимир Алексеевич (1853—1935) — писатель, журналист, мемуарист, «живая память Москвы», по словам В. Лидина. Ср. с воспоминаниями А. Белого о Литературно-художественном кружке: «...сидит с атлетическим видом рыжавый усач, мускулистый силач Гиляровский, сей Бульба, сегодня весьма отколачивающий меня, завтра моих противников из своей Сечи: ему нипочем! Все теченья — поляки, турчины: его нападенья с оттенком хлопка по плечу...» (Начало века. С. 234).

<sup>11</sup> Цитируется последняя (XVII) строфа десятой главы «Евгения Онегина». Третья строка у Пушкина: *Лишь были дружеские споры.*

<sup>12</sup> Арцыбашев Михаил Петрович (1878—1927) — писатель; роман «Санин» (впервые напечатан в «Современном мире» в 1907 г.) — самое известное произведение Арцыбашева.

Д. Аминадо

ПОЕЗД НА ТРЕТЬЕМ ПУТИ

Печатается по книге: *Аминадо Д.*

Поезд на третьем пути. Нью-Йорк: Изд. им. Чехова, 1954. С. 130—155.

Д. Аминадо — псевдоним Шполянского Аминада Петровича (1888—1957) — поэт, писатель, автор сборников стихотворений «Песни войны» (1914), «Весна семнадцатого года» (1917), «Дым без отечества» (1921), «Накинув плащ» (1928), «В те баснословные года» (1951). В эмиграции особенным успехом пользовался его сборник юмористических рассказов «Наша маленькая жизнь» (1927). До революции сотрудничал в «Сатириконе». Живя в эмиграции в Париже, в течение многих лет был сотрудником ежедневной газеты «Последние новости».

<sup>1</sup> Первый катрен сонета Вяч. Иванова «Любовь» в книге «Кормчие звезды». Цитируется неточно, у Вяч. Иванова:

Мы — два грозой зажженные ствола,  
Два пламени полуночного бора;  
Мы — два в ночи летящих метеора,  
Одной судьбы двужалая стрела!

<sup>2</sup> Скабичевский Александр Михайлович (1838—1910) — литературовед, критик. Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826—1911) — издатель журнала «Вестник Европы», историк. Львов-Рогачевский Василий Львович (1874—1930) — критик, входил в редакцию журнала «Современный мир»; из его книг наиболее известной была «Новейшая русская литература».

<sup>3</sup> Фор Поль (1872—1960) — французский поэт, автор многотомных «Французских баллад».

<sup>4</sup> Сумбатов-Южин Александр Иванович (1857—1927) — артист и драматург.

<sup>5</sup> Найденов — псевдоним Алексева Сергея Александровича (1868—1922) — драматург, автор пьес «Блудный сын», «№ 13», «Богатый человек», «Хорошенькая», «Стены» и др.

<sup>6</sup> Бунин Юлий Алексеевич (?—1921) — брат Ивана Бунина, редактировал журнал «Вестник воспитания».

<sup>7</sup> Сургучев Илья Дмитриевич (1881—1956) — драматург и прозаик, близкий к писателям-реалистам круга «Знание». Пьеса Сургучева «Осенние скрипки», поставленная в МХАТе, принесла молодому писателю широкую известность.

<sup>8</sup> Сергей Кречетов — псевдоним поэта и издателя (издательство «Гриф») Сергея Алексеевича Соколова. О Рындиной см. в прим. к ее очерку «Ушедшее».

<sup>9</sup> Койранский Александр Арнольдович (1884—?) — поэт, критик, художник. После революции эмигрировал, печатался в русской зарубежной периодике, в частности в «Современных записках».

<sup>10</sup> О «Золотом руне» и «Море шампанского» см. очерк С. А. Виноградова «О странном журнале, его талантливых сотрудниках и московских пирах».

<sup>11</sup> Арабажин Константин Иванович (1866—1929) — литературовед, критик.

<sup>12</sup> Бурцев Владимир Львович (1862—1942) — публицист, мемуарист, автор книги «Мои воспоминания» (Берлин, 1924).

<sup>13</sup> Рунт (Погорелова) Бронислава Матвеевна — см. два ее очерка в настоящем издании и примечания к ним.

<sup>14</sup> Рубанович Семен Яковлевич (?— 1932) — поэт.

<sup>15</sup> «Железный перстень» — стихотворение Кречетова:

Приветствую тебя, железный перстень мой,  
Судьба опять тебя мне возвратила.  
Мы виделись не раз, старинный друг, с тобой,  
Моя рука тебя носила.

Сподвижник Готфрида, суровый паладин,  
Я знал тебя у стен Ерусалима.  
Я пал тогда в бою, и видел ты один,  
Как в пене конь мой мчался мимо.

Живя в эмиграции, С. Кречетов издал в 1924 г. в Берлине свой последний сборник стихов под названием «Железный перстень».

<sup>16</sup> Речь идет о журнале «Беседа» (Журнал литературы и науки). При участии проф. Б. Ф. Адлера, Андрея Белого, проф. Ф. А. Брауна, М. Горького, В. Ф. Ходасевича. Журнал выходил с мая 1923 по март 1925 г.

## Лидия Рындина

### УШЕДШЕЕ

Печатается по журналу: Мосты. 1961. № 8. С. 295—312.

Рындина Лидия Дмитриевна (1882—1964) — актриса, писательница, жена Сергея Кречетова. После Октябрьской революции эмигрировала. В 1923 г. в Берлине была издана ее книга «Фаворитки рока». После войны печаталась в основном в парижском журнале «Возрождение»: воспоминания о Н. Евреинове, рецензия на «Тихие зори» Б. Зайцева, рассказы «Святой Николай», «Страх», «В горах Урала» и др. В последние годы писала роман, оставшийся неопубликованным.

<sup>1</sup> О Нине Петровской см. в примечании к очерку Б. Погореловой «Валерий Брюсов и его окружение».

<sup>2</sup> Первая строфа стихотворения А. Белого «Друзьям», в сборнике «Пепел»; стихотворение посвящено Н. И. Петровской, первой жене Сергея Кречетова. Написано в Париже в 1907 г.

<sup>3</sup> Б. Зайцев упоминает Л. Рындину в своем очерке «Андрей Белый». Там же описан эпизод с восклицаниями «Я распят! Я распят!». Оба мемуариста весьма расходятся по части подробностей.

<sup>4</sup> Поляков Сергей Александрович (1874—1948) — владелец издательства «Скорпион», сыгравшего заметную роль как в истории символизма, так и в истории книгоиздательского дела. «Скорпион» существовал 17 лет (1899—1916) и издал книги Бальмонта, Брюсова, Балтрушайтиса, Бунина, Верховского, А. Белого. Вяч. Иванова, Кузмина, З. Гиппиус, И. Коневского, Л. Зиновьевой-Аннибал, Ф. Сологуба, Н. Морозова и др. Кроме книг русских авторов были изданы переводы произведений Оскара Уайльда, Уолта Уитмена, Поля Верлена, Эдгара По, Ст. Пшибышевского, Эмиля Верхарна, Кнута Гамсуна, Зыгмунта

Красиньского, Мориса Метерлинка, Артура Шницлера. При издательстве выходили также альманахи «Северные цветы», в которых участвовал широкий круг авторов-модернистов.

<sup>5</sup> С. Кречетов продолжал издательскую деятельность в эмиграции. Им было основано издательство «Медный всадник», в котором вышли романы П. Н. Краснова, «Мои воспоминания» Сергея Волконского, «Дом усопших» и «Бел-Цвет» Ивана Лукаша, «Царь Берендей» Р. Минцлова, «Александр I и декабристы» Д. Мережковского, «Три столицы» В. Шульгина, «Красный паяц» Е. Чирикова, «Одержимая Русь» А. Амфитеатрова, «На берегах Ярыни» А. Кондратьева и др.

<sup>6</sup> Л. Рындина пересказывает этот эпизод из третьих рук. Причины и последствия этого «прыжка» были более трагическими. См. автобиографический рассказ К. Д. Бальмонта «Воздушный путь» в книге: *Бальмонт К. Д. Где мой дом*. М.: Республика, 1992.

<sup>7</sup> Заключительная строфа стихотворения К. Д. Бальмонта «Я не знаю мудрости» (написано в 1902 г., сборник «Только любовь»). У Бальмонта — четверостишие; Л. Рындина переписала эту строфу как восьмистишие; последняя строка у Бальмонта:

И зову мечтателей... Вас я не зову!

<sup>8</sup> Миропольский — наст. фамилия Ланг Александр Александрович (1872—1917) — поэт и прозаик. Первая книга Ланга «Одинокий труд» (М., 1899) вышла под псевдонимом А. Березин. В 1902 г. он издал под псевдонимом А. Л. Миропольский книгу «Лествица. Поэма в семи главах». В 1905 г. с предисловием А. Белого вышла книга А. Ланга «Ведьма. Лествица». О степени увлечения Ланга спиритизмом свидетельствует запись в дневнике (1898) В. Брюсова: «У меня был Ланг. Это душа угасшая. Последние струйки дыма поднимаются над ней только при разговоре о спиритизме».

<sup>9</sup> Об этой «творимой легенде» В. Брюсова писали многие — поэты и мемуаристы. А. Белый в стихотворении «Брюсову» (март 1904) рисует этот образ мага:

Упорный маг, постигший числа  
И звезд магический узор,  
Ты — вот: над взором тьма нависла...  
Тяжелый, обожженный взор.

Ты шел путем не примиренья —  
Люциферическим путем.  
Рассейся, бледное виденье,  
В круговороте бредовом!

Тот же образ находим и в воспоминаниях В. Ходасевича: «Брюсов в ту пору занимался оккультизмом, спиритизмом, черной магией, — не веруя, вероятно, во все это по существу, но веруя в самые занятия, как в жест. выражающий определенное душевное движение» (*Ходасевич В. Некрополь*. С. 18).

<sup>10</sup> Кондратьев Александр Алексеевич (1876—1967) — поэт, переводчик, прозаик, историк литературы, мемуарист. В числе его одиннадцати книг — перевод книги Пьера Феликса Луиса (1870—1925) «Песни Билитис» (СПб., 1907). Живя в эмиграции, Кондратьев и Рындина поддерживали переписку в течение многих лет. Приводим по автографу

Кондратьева стихотворение, посвященное «Л. Д. Р.-С.», т. е. Лидии Дмитриевне Рындиной-Соколовой:

Дышит истомою ночь сребролунная,  
Блещет, играя, волна.  
Музыка арфы вдали тихострунная,  
Полная неги слышна.

Чаши раскрыты цветов ароматные,  
Запахом их я пьяна.  
Зовы в душе раздаются невнятные,  
Нет мне покоя и сна!

Пена блестит под луной снежно-белая,  
Шумен немолчный прибой.  
В лунном сиянии руки воздела я  
К небу, с покорной мольбой.

Там, за пустынями исчерна-синими  
Есть лучезарный приют.  
Светлые боги там вместе с богинями,  
Юными вечно, живут.

К вам посылаю мой стон, небожители,  
Полная страстной тоски.  
Две к вам воздетых с мольбой захотите ли  
Женских отринуть руки?!

С трепетом тайным и в тайном бессилии  
К вам распростерты оне...  
Днем горделиво-бесстрастные лилии  
Тянутся к бледной луне.

<sup>11</sup> Мамонтов Савва Иванович (1841—1918) — предприниматель, миллионер-меченат; поддерживал М. Врубеля, В. Серова, В. Васнецова, многих других. Его имение Абрамцево явилось одним из центров художественной жизни.

<sup>12</sup> Евреинов Николай Николаевич (1879—1953) — драматург, режиссер, историк и теоретик театра. Работал как режиссер в «Старинном театре» в Петербурге, затем в театре В. Ф. Комиссаржевской, где поставил «Саломею» Уайльда, «Франческо да Римини» д'Аннунцио, «Ваньку-ключника» Ф. Сологуба. Более ста спектаклей Евреинов поставил в театре «Кривое зеркало», включая пьесы, написанные им самим.

<sup>13</sup> Богданова-Бельская Паллада — достопримечательная личность богемного Петербурга. Выпустила сборник стихотворений «Амулеты» (вышло два издания, в 1915 г., в Петрограде, тиражом 380 и 320 экз.). О ней писал в нескольких мемуарных очерках Георгий Иванов («Прекрасный принц», «Петербургское» и др.). Под именем Полины вывел ее в романе «Плавающие-путешествующие» М. Кузмин: она «была отнюдь не артистка, как можно было подумать по ее двойной фамилии. Может быть, она и была артистка, но мы хотим сказать только, что она не играла, не пела, не танцевала ни на одной из сцен». П. Богдановой-Бельской посвятил сонет И. Северянин:

## Паллада

Она была худа, как смертный грех,  
И так несбыточно миниатюрна...  
Я помню только рот ее и мех,  
Скрывавший всю и вздрагивавший бурно.

Смех, точно кашель. Кашель, точно смех.  
И этот рот — бессчетных прахов урна...  
Я у нее встречал богему,— тех,  
Кто жил самозабвенно-авантюрно.

Уродливый и блеклый Гумилев  
Любил низать пред нею жемчуг слов,  
Субтильный Жорж Иванов — пить усладу,  
Евреин — бросаться на костер...  
Мужчина каждый делался остер,  
Почуяв изошренную Палладу...

Она же упоминается в стихотворении Г. Иванова, вошедшем в его сборник «Розы»:

Январский день. На берегах Невы  
Несется ветер, разрушеньем вея.  
Где Олечка Судейкина, увы!  
Ахматова, Паллада, Саломея?  
Все, кто блистал в тринадцатом году —  
Лишь призраки на петербургском льду.

<sup>14</sup> Первая строфа первого сонета в цикле «Римские сонеты» Вяч. Иванова.

## С. А. Виноградов

О СТРАННОМ ЖУРНАЛЕ,  
ЕГО ТАЛАНТЛИВЫХ  
СОТРУДНИКАХ  
И МОСКОВСКИХ  
ПИРАХ

Печатается по газете «Сегодня».  
1935. № 90, 97.

Виноградов Сергей Арсеньевич (1869—1938) — художник, член Союза русских художников, академик. После революции эмигрировал.

<sup>1</sup> «Золотое руно» — журнал, издававшийся в 1906—1909 гг. В журнале сотрудничали А. Блок, Вяч. Иванов, К. Бальмонт, Л. Столица, А. Кондратьев, С. Городецкий, А. Белый, В. Брюсов и многие другие. Издателем был меценат и художник Николай Павлович Рябушинский (1876—1951).

<sup>2</sup> Дурнов Модест Александрович — художник, архитектор, поэт. Его стихи напечатаны в «Книге раздумий» (СПб., 1899) вместе со стихами В. Брюсова и К. Бальмонта.



<sup>3</sup> Неточность: в посвящении, предваряющем книгу «Будем как солнце», Бальмонт писал: «Посвящаю эту книгу, сотканную из лучей, моим друзьям, чьим душам всегда открыта моя душа,— брату моих мечтаний поэту и волхву Валерию Брюсову... художнику, создавшему поэму из своей личности, М. А. Дурнову...»

<sup>4</sup> Бердслей Обри Винсент (1872—1898) — исключительно популярный как у себя на родине, в Англии, так и в России в конце прошлого и в начале нашего века художник-график, иллюстратор многих книг.

<sup>5</sup> Да здравствует золотое руно!

<sup>6</sup> Кузнецов Павел Варфоломеевич (1878—1968) — художник, испытывавший влияние символистов.

<sup>7</sup> Сапунов Николай Николаевич (1880—1912) — художник. Поэт В. Пяст в книге «Встречи» рассказал «про июньскую гибель Н. Н. Сапунова на этой лодке. В ней сидело тогда человек шесть. Трое из них плавать не умели. Плававшие во главе с художницей Л. В. Яковлевой, когда лодка перевернулась, довольно находчиво организовали спасение утопающих. Двоих спасти удалось. Сапунова же — нет... Н. Н. Сапунов весной 1912 г. переживал такой глубокий душевный кризис,— так лихорадочно бросался от беспробудной работы к беспробудным кутежам,— так искал в лице А. А. Блока исповедника-утешителя,— так не раз собирался покончить с собой, что, можно думать, принял смерть в мелких водах Финского залива с вожделением...» (Встречи. М., 1929. С. 242—243).

## Георгий Иванов

### «БРОДЯЧАЯ СОБАКА»

Печатается по газете «Сегодня» (1931. № 289). Название очерка сопровождалось подзаголовками, данными редакцией: «Фармацевты» и «свои». — Борис Пронин всех приветствует. — Композитор Цыбульский. — Завсегдатай. — Конкурс поэтов. — «Собака пустеет». О «Бродячей собаке» см. также главу V в книге Г. Иванова «Петербургские зимы» (Нью-Йорк, 1952). Очерк для газеты «Сегодня» написан значительно позднее, чем глава «Петербургских зим». Отдельные строки из этой главы перенесены Г. Ивановым в данный очерк и повторяются буквально.

Кабачок, кабаре или подвал «Бродячая собака» открылся в ночь под новый, 1912 год и немедленно стал излюбленным местом встреч петербургских поэтов-модернистов, художников, артистов и околоартистической богемы. Мемуаристы оставили немало кратких воспоминаний об этом ночном кабачке, но вряд ли кто-нибудь описал «Бродячую собаку» ярче, чем это сделал Г. Иванов. Именно здесь Г. Иванов встретился впервые с Гумилевым и Ахматовой. Здесь на эстраде пел свои «романсы» М. Кузмин, аккомпанируя себе на рояле. Здесь Тамара Карсавина танцевала под музыку Люлли. Читали стихи Гумилев и Мандельштам. В декабре 1912 г. Городецким в «Бродячей собаке» был прочитан доклад об акмеизме и его отношении к символизму. Борис Садовской посвятил этому ночному кабаре свой иронический экспромт:

Прекрасен песий кров, когда шагнуло за ночь,  
Когда Ахматова богиней входит в зал,

Потемкин пьет коньяк, и Александр Иванович  
О майхородусах Нагорской рассказал.

О «Бродячей собаке» писали также Б. Лившиц в «Полутораглазом стрельце», В. Пяст во «Встречах», А. Шайкевич в очерке «Петербургская богема» (см. в наст. издании).

<sup>1</sup> О композиторе Н. К. Цыбульском см. также «Петербургское» в кн. Г. Иванова «Третий Рим» и главу IV в книге «Петербургские зимы» (1952).

<sup>2</sup> Судейкин Сергей Юрьевич (1882—1946) — художник. Выставлялся в Салоне Дягилева, на выставке «Голубая роза» (1907), в Союзе художников (1909) и др. Писал декорации к постановкам: «Сестра Беатриса» (в театре Комиссаржевской), «Цезарь и Клеопатра», «Весеннее безумие», а также к «Забаве дев» Кузмина и «Обращенному принцу» Е. Зноско-Боровского. Пользовались успехом его декорации к «Привалу кавалерии» и «Лебединому озеру» (в Малом театре). С. Маковский отмечал в «Аполлоне» «аллегорический сентиментализм» как характернейшую черту творчества Судейкина. О нем, как и о художнике Белкине, упоминается в «Гимне «Бродячей собаке», написанном в 1912 г. М. Кузминым.

И художники не зверски  
Пишут стены и камин:  
Тут и Белкин, и Мещерский,  
И кубический Кульбин.  
Словно ротой гренадерской  
Предводительствует дерзкий  
Сам Судейкин (3 раза) господин.

Белкин Вениамин Павлович (1884—1951) — художник. Кульбин Николай Иванович (1866—1917) — художник, искусствовед. С ним Г. Иванов познакомился в 1910 г., еще будучи учеником кадетского корпуса.

<sup>3</sup> Стихотворение Ахматовой цитируется неточно, кроме того, опущена последняя строка. Ср.:

Да, я любила их, те сборища ночные,—  
На маленьком столе стаканы ледяные,  
Над черным кофеом пахучий, тонкий пар,  
Камина красного тяжелый, зимний жар,  
Веселость едкую литературной шутки  
И друга первый взгляд, беспомощный и жуткий.

У Ахматовой есть также стихотворение, написанное к годовщине «Бродячей собаки» (1 января 1913 г.). Оно было напечатано в «Аполлоне», затем вошло в «Четки»:

...Навсегда забиты окошки.  
Что там изморозь или гроза?  
На глаза осторожной кошки  
Похожи твои глаза.

О, как сердце мое тоскует!  
Не смертного ль часа жду?  
А та, что сейчас танцует,  
Непременно будет в аду.

<sup>4</sup> Маяковский читал в «Бродячей собаке» свое стихотворение «Вам». Об этом чтении вспоминал В. Шкловский: «Кричали не из-за негодования. Обиделись просто на название... Визг был многократен и старателен. Я даже не слышал до этого столько женского визга; кричали так, как кричат на американских голах, когда по легким рельсам тележка со многими рядами дам и кавалеров падает вниз...» Шкловский вспоминал и Г. Иванова, с которым он встречался в этом подвальчике на Михайловской площади: «Часто заходил красивоголовый Георгий Иванов, лицо его как будто было написано на розовато-желтом курином, еще не запачканном яйце. Губы Георгия Иванова словно застыли или слегка потрескались, и говорил он невнятно» (Жили-были. М.: Сов. писатель, 1964. С. 76).

<sup>5</sup> Барон Н. Н. Врангель (1880—1915) — искусствовед, редактировал вместе с С. К. Маковским «Аполлон», член редакционного комитета журнала «Старые годы».

<sup>6</sup> Об этой «книге» писал В. Шкловский: «У входа лежала большая, толстая, более чем в полторы четверти толщины книга, переплетенная в синюю кожу: в ней расписывались посетители. Звалась она «Свиная книга». «Свиная книга» превращала «Бродячую собаку» в закрытое учреждение, с иными правилами и отношениями к торговому патенту и полицейскому часу. В «Свиную книгу» записывались имена поэтов, художников и имена гостей».

<sup>7</sup> Потемкин Петр Петрович (1886—1926) — поэт, драматург, прозаик. Его первая книга стихов вышла в 1908 г. («Смешная любовь»). О второй книге («Герань») писал в «Аполлоне» Гумилев: «Легкая меланхолическая усмешка, которая чувствуется в каждом стихотворении, только увеличивает их художественную ценность». Потемкин печатался в «Аполлоне», «Русском слове», в газете «День», «Сатириконе», «Аргусе». Участвовал в Прокадемии на «башне» Вяч. Иванова, в «Обществе ревнителей художественного слова». Некоторые его произведения были напечатаны в альманахах: «В год войны», «Современная война в русской поэзии» и др. Во времена гражданской войны переселился в Одессу. В 1920 г. эмигрировал в Константинополь, затем обосновался в Праге. Здесь печатался в журнале «Воля России» (стихи и переводы с чешского). В 1924 г. переехал в Париж, сотрудничал в русских газетах «Дни» и «Последние новости». В эмиграции вышел его сборник стихотворений «Отцветшая герань» с подзаголовком «То, чего не будет». Умер внезапно от болезни сердца. Борис Зайцев писал о Потемкине через несколько дней после его смерти: «...дита богемы, вскормленник литературных кабачков, возросший в воздухе «предгрозовой» России... И поэт — весь целиком... Можно так или иначе оценить стихи, жизненное дело, только уж никак не отнесешь его к дельцам и практикам. Художник!» Потемкин писал специально для «Бродячей собаки» короткие скетчи и сам был их постановщиком. Живя в Париже, он устроил «поминки» по «Бродячей собаке». На этих поминках читал длинное стихотворение, написанное на случай и посвященное памяти знаменитого подвала.

<sup>8</sup> Таиров Александр Яковлевич (1885—1950) — режиссер и актер.

<sup>9</sup> Клычков Сергей Антонович (наст. фамилия Лешенков) (1889—1940) — поэт, прозаик. Г. Иванов писал о нем в статье «Черноземные голоса». Об участии Клычкова в вечере «народной» поэзии, устроенном Городецким, Г. Иванов рассказывает в «Петербургских зимах»: «Выходит наряженный коробейником из хора Клычков. Читает нараспев —

как оперные слепцы. Те же лады и гусли, только более деревянно, менее находчиво, чем у Есенина. Тоже недавно держался просто, писал проще и лучше. Теперь, спасибо наставнику (Городецкому, — В. К.) — «нашел себя». А то, было, совсем пропал — в университет готовился, латынь зубрил».

## Николай Могилянский О «БРОДЯЧЕЙ СОБАКЕ»

Печатается по «Звену» (1925. 21 декабря).

Могилянский Николай Михайлович (1872—?) — ученый-этнограф, мемуарист. Преподавал в Петербургском первом кадетском корпусе и в других учебных заведениях. В журнале «Мир Божий» заведовал отделом научной хроники. Участвовал во многих этнографических экспедициях. Работал в отделе этнографии при Русском музее. После Октябрьской революции эмигрировал. Опубликовал в эмигрантских журналах ряд статей и очерков, среди которых исключительно содержательный очерк «На рубеже столетий. Из воспоминаний о Петербурге конца XIX и начала XX в.» («Голос минувшего на чужой стороне». 1926. № 4).

<sup>1</sup> 19 октября 1925 г. в парижском «Звене» было напечатано следующее объявление:

«П. П. Потемкин просит всех членов и посетителей покойной «Бродячей собаки», которые пожелали бы за дружеским обедом вспомнить о покойнице и поговорить о ее возрождении, пожаловать в 8 час. вечера в пятницу 23-го октября на rue de l'Assomption, 70 (Metro: Ranelagh. Tram. 12, 16). Цена обеда с вином — 10 фр. Форма одежды безразлична. Знаки отличия обязательны. Запись на обед принимается у секретаря «Дома артиста» до вечера среды 21-го октября, Auteuil 24—28».

<sup>2</sup> Очевидно, это было в 1911 г., когда Пронин начал осуществлять свой замысел относительно устройства «Бродячей собаки». Подвал открылся для посетителей 31 декабря 1911 г.

## Георгий Иванов КИТАЙСКИЕ ТЕНИ

Печатается по газете «Звене» (1925. 17 августа). С. 2—3.

<sup>1</sup> Шебуев Николай Георгиевич (1874—1937) — редактор журнала «Пулемет», был приговорен к годовой отсидке в крепости, а журнал был закрыт. Начиная с 1908 г. Шебуев был редактором журнала «Весна», закрывшегося в 1914 г.

<sup>2</sup> Первый номер этой газеты вышел 15 декабря 1916 г. Редактором был Н. Д. Смирнов, издателем — М. Сыров. Заведовал литературным отделом Леонид Андреев. Круг сотрудников был постоянным и ограниченным. Новые авторские имена появлялись на страницах этой газеты весьма редко. Одним из таких редких появлений было имя М. Кузмина,

напечатавшего за весь 1917 г. в «Воле России» два стихотворения. Кроме Андреева в газете принимали участие Тан, Амфитеатров, Немирович-Данченко, Муйжель. В первом номере в редакционной статье «Наши задачи» платформа этой газеты определялась следующим образом: «И прежде всего и после всего «Русская воля» — орган реального мировоззрения, выраженного во внепартийной прогрессивно-демократической программе, стоя на почве которой газета сумеет прямо и твердо взглянуть в глаза русской действительности, не обольщаясь розовыми утопиями, не впадая в унылый пессимистический скептицизм».

О своем сотрудничестве в «Русской воле» Г. Иванов вспоминал в юбилейной заметке о Ремизове незадолго перед смертью: «...газета «американского размаха» — все «самое лучшее» от объема до «имен» и гонораров. Я был тогда всего лишь 20-летним сотрудником «Аполлона», но, очевидно, по принципу «у нас на все стили хватит» приглашения сотрудничать в «Русской воле» удостоился и я. Леонид Андреев... заявил мне: «Пишите, что и как хотите, мы вас не стесняем». Но, когда я предложил «для дебюта» статью о творчестве Ремизова, прославленный автор «Анатемы» энтузиазма не проявил... Я все-таки настоял. Написал статью и стал ждать ее появления. Но вместо этого был неожиданно вызван... к главному редактору «Русской воли», профессору Гримму... «С высоты» своего казавшегося мне тогда наивысшим в мире звания сотрудника «Аполлона», заместителя Гумилева, я от души презирал тогда и авторитет Гримма, и всероссийскую славу Леонида Андреева. Сотрудником «Русской воли» (по совету того же Гумилева) я, впрочем, остался. Но с тех пор писал там исключительно о стихах — в этой области ни Гримм, ни автор «Анатемы» никаких препятствий мне не ставили».

Газета просуществовала лишь около года. За это время Г. Иванов напечатал в ней три статьи — все они «исключительно о стихах». 23 января 1917 г. была опубликована его статья «Творчество и ремесло» (о Брюсове и Блоке); 29 января 1917 г. — статья «Жертва Пушкина» (к 80-й годовщине со дня смерти поэта); 23 сентября — статья «Черноземные голоса». Нужно отметить еще одно обстоятельство: в номере от 15 марта 1917 г. под рубрикой «Маленький фельетон» появилась публикация «Не создавайте легенд!», подписанная Иван Г. Есть несколько причин, чтобы признать в данном случае перо Г. Иванова. Однако все наши доказательства косвенные, прямых доказательств не имеется. В «Русской воле» была также напечатана рецензия В. Жирмунского на сборник Г. Иванова «Вереск».

<sup>3</sup> В «Аргусе», издававшемся в Петербурге с 1913 по 1918 г., были напечатаны рассказы Г. Иванова: «Приключение по дороге в Бомбей», «Холодильники в Оттоне», «Белая лошадь», «Дальняя дорога», «Черная карета», «Карачаевский особняк», «Акробат». Журнал этот не имел определенного направления, был всецело коммерческим предприятием, но издатель-редактор (Вас. Регинин) сумел привлечь к сотрудничеству видных писателей и художников. «Программа» журнала сформулирована была в объявлении о подписке на 1915 год. «Аргус», — говорилось здесь, — первый и единственный в России общедоступный ежемесячник». В «Аргусе» печатались почти все ранние акмеисты: Гумилев, Ахматова, Мандельштам, Городецкий и Нарбут. Г. Иванов также публиковал стихи в этом ежемесячнике. Круг авторов был обширен. Здесь часто печатались А. Грин и М. Кузмин. Охотнее всего редакция

предоставляла место приключенческой прозе. В числе участников журнала были Ауслендер, Слезкин, Л. Андреев, Аверченко, Потемкин, Ремизов, Садовской, Сологуб, Цензор, Чапыгин, Чуковский, Щепкина-Куперник, Г. Лукомский, Ясинский, С. Маршак, Муйжаль, Е. Браудо, Ю. Беляев, Б. Лазаревский. Ведущим жанром в «Аргусе» был рассказ.

## Всеволод Пастухов

### СТРАНА ВОСПОМИНАНИЙ

Печатается по нью-йоркскому журналу «Опыты» (1955. № 5. С. 81—90).

Пастухов Всеволод Леонидович (1894—1967) — пианист, литератор, один из редакторов «Опытов», поэт, автор двух поэтических сборников; второй сборник — «Хрупкий полет» — вышел в год смерти автора. В 1940—1960-е гг. жил в Нью-Йорке и в штате Нью-Йорк. «К нему иногда заходили американские аспиранты-слависты, — вспоминал Ю. Иваск. — Помню, один из них как-то сказал: «...в беседе с ним я действительно перенесся в Петербург 1913 г., ощутил цвет и запах эпохи, и я очень благодарен ему за это путешествие в серебряный век» (*Иваск Ю. В. Л. Пастухов // Новый журнал. 1968. № 90. С. 270*).

<sup>1</sup> Рюрик Ивнев — псевдоним Михаила Александровича Ковалева (1891—1981) — поэт, прозаик, мемуарист, переводчик. Печататься начал в 1909 г. Первый поэтический сборник — «Самосожжение» (1913). Был связан с группой эго-футуристов, а после революции — с имажинистами.

<sup>2</sup> О книге «Самосожжение» писал в 1913 г. Георгий Иванов: «Подзаголовок этой тетрадки — «Откровения». Слова «пророк», «пламень», «алтарь», «тайна» встречаются чуть ли не в каждой пьесе. Эпиграфы взяты из «Апокалипсиса». Все это указывает не только на притязания Рюрика Ивнева «жечь сердца людей», но и на уверенность его в законности этих притязаний» (*Иванов Г. Третий Рим. Художественная проза. Статьи. США: Эрмитаж, 1987. С. 181*).

## Лев Рубанов

### КЛУБ «МЕДНЫЙ ВСАДНИК»

Печатается по альманаху «Мосты» (1966. № 12. С. 376—384).

Лев Рубанов — актер, секретарь клуба «Медный всадник», с 1920 г. жил в эмиграции. В эмигрантских периодических изданиях напечатал несколько стихотворений и рецензий.

<sup>1</sup> Примечательно, что известия о возникновении кружка попали в печать намного позднее. Например, «Биржевые ведомости» сообщают о «Медном всаднике» только весной 1916 г.: «В. Боцяновский сообщил об образовании в Петрограде молодого литературного кружка «Медный всадник», ставящего своей целью изучение русской литературы» (*Биржевые ведомости. 1916. 13 марта*).

<sup>2</sup> Слезкин Юрий Львович (1885—1947) — писатель-прозаик.

<sup>3</sup> Лазаревский Борис Александрович (1871—1936) — писатель-прозаик. Не позднее 1921 г. эмигрировал.

<sup>4</sup> Автор мемуаров неверно запомнил отчество Д. Цензора: Цензор Дмитрий Михайлович (1877—1947) — поэт и беллетрист, автор поэтических сборников «Старое гетто» (1907), «Крылья Икара» (1908), «Легенда будней» (1913), «Священный стяг» (1915). В 1940 г. к 35-летию литературной деятельности в «Советском писателе» вышел большой сборник его избранных стихотворений.

<sup>5</sup> Каменский Анатолий Павлович (1876—1941) — писатель-прозаик. В 1910 г. вышло трехтомное собрание его рассказов. С 1920 г. жил в эмиграции, в начале 1930-х гг. вернулся в СССР.

<sup>6</sup> Потапенко Игнатий Николаевич (1856—1929) — писатель. В 1904—1905 гг. вышло его 12-томное собрание сочинений.

<sup>7</sup> Грушко (Маркова) Наталья Васильевна (1892—?) — поэтесса. Ко времени участия в клубе «Медный всадник» выпустила свой первый сборник «Стихи» (СПб., 1912).

<sup>8</sup> Долинов Михаил Анатольевич (1892—1936) — поэт, автор сборника «Радуга» (Пг., 1915). В 1912 г. с предисловием Александра Кондратьева вышел сборник стихотворений М. Долинова и А. Конге «Пленные голоса». О сборнике «Радуга» отозвался в «Аполлоне» Гумилев: «У Михаила Долинова есть предвзятая мысль — писать, как писали французские поэты XVII века и их русские эпигоны».

<sup>9</sup> Садовской Борис Александрович (настоящая фамилия — Садовский, 1881—1952) — прозаик, критик, поэт. Литературный дебют — в 1901 г. Печатался во многих газетах, журналах и альманахах. До революции вышло более десяти его книг.

<sup>10</sup> Добронравов Леонид Михайлович (1887—1926) — прозаик, драматург. Известностью пользовалась его книга рассказов «Горький цвет». Эмигрировал в Бессарабию. В двадцатые годы в Кишиневе вышло несколько книг Добронравова. Воспоминания о нем написаны Петром Пильским, см. его книгу «Затуманившийся мир» (Рига, 1929. С. 87—92). В 1924 г. Добронравов переехал в Париж, работал в журнале «Родная земля» и писал монументальный роман «Князь мира», где главным героем выведен Победоносцев.

<sup>11</sup> Галати Екатерина — поэтесса, автор сборников «Стихотворения» (Пг., 1916) и «Золотой песок» (М., 1924).

<sup>12</sup> Юнгер Владимир Александрович (1883—1918) — поэт, участник кружка Цех поэтов, автор сборника «Песни полей и комнат» (1914).

<sup>13</sup> Гумилев был зачислен в уланский полк 24 августа 1914 г., в сентябре был на учениях в Новгородской губернии и той же осенью отправлен на фронт в первую действующую армию. Однако в середине декабря он приехал на побывку в Петроград. Некоторое время он находился в Петрограде также и весной 1915 г., а в начале 1916 г. жил в Царском Селе и часто приезжал в Петроград.

<sup>14</sup> Имеется в виду стихотворение А. Рославлева «Быки», напечатанное в 1917 г. в альманахе «Лукоморье».

<sup>15</sup> Рейснер Лариса Михайловна (1895—1926) — писательница.

<sup>16</sup> Это стихотворение Георгия Иванова вошло в его «Горницу» — второй поэтический сборник, изданный в 1914 г. Л. Рубанов сообщает здесь другой, более поздний вариант этого стихотворения.

<sup>17</sup> Мозалевский Виктор Иванович (1889—?) — писатель-прозаик. Его первая книга «Фантастические рассказы» вышла в изд. «Альциона» в 1913 г.

<sup>18</sup> Щепкина-Куперник Татьяна Львовна (1874—1952) — поэтесса, переводчица, драматург, мемуарист.

<sup>19</sup> Ясинский Иероним Иеронимович (1850—1931) — журналист, поэт, беллетрист, автор мемуарной книги «Роман моей жизни. Книга воспоминаний».

<sup>20</sup> Панин Геннадий Геннадиевич (1895—198?) — поэт и переводчик; в это время был студентом Петроградского технологического института. Начал печататься в 1917 г. В конце второй мировой войны оказался на Западе. С 1950 г. жил в США. Писал о теории и истории акростиха. Панин написал также воспоминания о своей встрече с А. Ахматовой, напечатанные в канадском «Современнике» (1978. № 39—40).

<sup>21</sup> Ауслендер Сергей Абрамович (1886—1943) — писатель-прозаик и драматург, хорошо известный в 1910—1920-е гг. Писать начал под влиянием своего родственника Михаила Кузмина.



- Августин Блаженный Аврелий — 310  
 Аверченко А. Т.— 472, 543  
 Аврелий Антоний Марк — 310  
 Адамович Г. В.— 11, 181, 219—222, 254—259, 261, 459, 490, 491, 504, 508, 509, 510, 513  
 Адельгейм Рафаил — 467, 472  
 Айвазовский И. К.— 186  
 Айхенвальд Ю. И.— 391, 396, 482, 496  
 Алданов (Ландау) М. А.— 383, 404, 473, 530  
 Аминадо Д. (Шполянский А. П.) — 391—411, 533  
 Амфитеатров А. В.— 386, 535, 542  
 Андреев Л. Н.— 111, 174, 180, 185, 308, 393, 400, 402, 426, 449, 452, 453, 477, 481, 482, 490, 491, 541, 542, 543  
 Андреева М. Ф.— 160, 161, 328  
 Андреевский С. А.— 297  
 Андроникова С. А.— 257, 278, 515, 537  
 Аничков Е. В.— 86, 361, 487, 523  
 Анненков Ю. П.— 15, 174—181, 366, 489, 500  
 Анненский И. Ф.— 5, 6, 8, 9, 10, 14, 15, 102—113, 116, 117, 118, 121, 123, 176—180, 261, 263, 415, 463, 483, 489—492, 493, 510, 511, 521, 526, 529  
 Анненский Н. Ф.— 329, 330, 526  
 Анопиан О. Я.— 471  
 Апухтин А. Н.— 46, 409  
 Арабажин К. И.— 400, 467, 533  
 Аристофан — 108  
 Арсеньев Н. С.— 15, 300—311, 523, 524  
 Арцыбашев М. П.— 192, 393, 397, 400, 532  
 Ауслендер С. А.— 415, 428, 472, 543, 545  
 Афанасьев Л. Н.— 452  
 Ахматова (Горенко) А. А.— 8, 15, 74, 75, 116, 180, 181, 245—253, 254—259, 262, 283, 284, 290, 326, 402, 404, 409, 441, 443, 450, 468, 491, 493, 504, 506, 507, 508, 509, 511, 514, 516, 517, 519—521, 523, 537, 538, 539, 542, 543, 545  
 Ашешов Н. П.— 401, 404  
 Багрицкий Э. Г.— 404  
 Баженов Н. Н.— 65, 389, 390, 398, 399, 532  
 Бакст Л. С.— 354, 356, 372, 373, 452, 527  
 Балтрушайтис Ю. К.— 35, 46, 51, 57, 69, 136, 343, 344, 346, 347, 348, 350, 351, 352, 368, 400, 478, 479, 482, 526, 534  
 Бальмонт Е. А.— 66, 67, 75, 319, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 352, 482  
 Бальмонт Е. К.— 77, 78, 79  
 Бальмонт К. Д.— 6, 8, 9, 11, 15, 21, 59, 65—70, 71—79, 86, 90, 111, 116, 136—138, 176, 231, 288, 289, 297, 298, 313, 314, 318, 319, 343—348, 350, 352, 364, 375, 378, 379, 380, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 390, 395, 415, 416, 417, 418,

- 431, 453, 475, 482, 483, 484, 485, 488, 491, 492, 495, 496, 497, 518, 524, 526, 528, 530, 531, 534, 535, 537, 538
- Банвиль Теодор де — 313
- Баранцевич К. С.— 131, 466, 470, 495
- Баратынский Е. А.— 9, 110, 192, 211, 348, 373, 378
- Барбе д'Оревилю, Жюль Амеде — 238, 239, 506
- Барков И. С.— 401
- Барятинский В. В.— 295—299, 522, 523
- Батюшков Ф. Д.— 348, 401, 497
- Белкин В. П.— 441, 539
- Белый Андрей (Бугаев Б. Н.) — 8, 9, 10, 11, 14, 15, 32, 33, 34, 35, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 116, 118, 131, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 157, 158, 163, 164, 165, 166, 167, 172, 176, 180, 181, 182—190, 191—202, 203—218, 219—222, 305, 307, 313, 343, 346, 348, 350, 352, 355, 356, 368, 369, 370, 372, 379, 386, 390, 391, 401, 410, 413, 414, 415, 418, 420, 428, 430, 432, 434, 477, 478, 479, 481, 482, 486, 493, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 508, 513, 524, 526, 531, 532, 534, 535, 537
- Бельский Адам (псевд. Пинкевича А. П.) — 466, 472
- Бёме Якоб — 8, 192
- Бенедиктов В. Г.— 348
- Бенуа А. Н.— 360, 361, 362, 372, 482, 512
- Бергсон Анри — 232, 538
- Бердслей (Бердсли) Обри — 431, 538
- Бердяев Н. А.— 6, 13, 119, 148, 149, 189, 206, 208, 212, 360, 373, 375, 376, 391, 482, 503, 513
- Бетховен Людвиг ван — 272, 351, 372, 514
- Билибин И. Я.— 9, 361
- Биск А. А.— 379—388, 530, 531
- Блаватская Е. П.— 11, 118
- Блок А. А.— 8, 9, 15, 53, 54, 64, 90, 94, 116, 117, 131, 133, 136—138, 139—170, 171—173, 174—181, 183, 185, 195, 196, 197, 204, 207, 210, 212, 219, 220, 221, 224, 225, 230, 236, 252, 254, 255, 257, 258, 259, 268, 273, 286, 289, 305, 324, 325, 326, 343, 346, 348, 349, 351, 352, 355, 359, 363, 364, 365, 366, 368, 369, 370, 372, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 409, 415, 428, 451, 474, 476, 478, 479, 481, 482, 483, 490, 493, 494, 496, 497, 498, 499, 500, 502, 504, 508, 513, 520, 521, 523, 528, 529, 531, 537, 538, 542
- Блок Л. Д.— 144, 153, 155, 156, 364, 365, 369, 498, 502
- Боборыкин П. Д.— 25, 477
- Бобринский А. А.— 421, 422
- Богданова-Бельская, Паллада — 425, 442, 536, 537
- Богучарский В. (Яковлев А. Я.) — 404
- Бодлер Шарль — 8, 56, 59, 60, 61, 63, 275, 390, 403, 481, 509
- Бонди В. А.— 454, 455
- Брик О. М.— 36, 37, 479
- Брусянин В. В.— 452
- Брюсов В. Я.— 6, 8, 9, 11—15, 19, 20, 21, 22, 24—45, 46—64, 65, 73, 74, 94, 116, 118, 132, 176, 180, 183, 184, 185, 196, 231, 265, 284, 289, 306, 313, 316, 319, 320, 343—348, 350, 351, 352, 356, 364, 369, 372, 375, 378, 379, 385, 389, 390, 392, 394, 395, 396, 398, 399, 405, 409, 413, 414, 415, 416, 418, 419, 430—432, 434, 453, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 481, 482, 488, 493, 497, 500, 501, 505, 512, 513, 522, 523, 526, 529, 532, 534, 535, 537, 538, 542
- Буало Никола — 34, 117
- Булгаков С. Н.— 148, 149, 300, 305, 306, 307, 360, 524
- Бунин И. А.— 8, 133, 261, 326, 372, 383, 384, 395, 397, 407, 477, 478, 482, 502, 504, 513, 530, 533, 534
- Бунин Ю. А.— 397, 533
- Бунина В. Н.— 397
- Бурлюк Д. Д.— 181, 267, 400, 512, 513

- Бурлюки (братья Д. Д., В. Д. и Н. Д.) — 43, 292, 401  
 Бурнакин А. А.— 452  
 Бурцев В. Л.— 404, 533
- Валентинов Н. В. (Вольский) — 15, 46—64, 480, 481  
 Ван Гог Винсент — 433, 435  
 Ван-Донген — 433, 435  
 Василевский И. М. (псевд. Небука) — 387, 396  
 Василенко С. Н.— 422  
 Вейнингер Отто — 400  
 Величко В. Л.— 297, 299  
 Венгеров С. А.— 368, 371, 391, 401, 476, 482, 486, 487  
 Вербицкая А. А.— 473  
 Вересаев В. В.— 422, 449, 531  
 Верлен Поль — 86, 105, 265, 512, 534  
 Верхарн Эмиль — 8, 49, 50, 51, 67, 192, 256, 313, 500, 534  
 Верховский Ю. Н.— 133, 326, 373, 493, 534  
 Вилламовиц-Меллендорф Ульрих фон — 108, 132  
 Вилье де Лиль-Адан Филипп Огуст Матиас — 255, 477  
 Виноградов С. А.— 15, 430—439, 532, 533, 537  
 Виньи Альфред де — 8, 301  
 Волконский С. М.— 349, 350, 442, 526, 535  
 Волошин М. А.— 8, 11, 14, 15, 68, 69, 116, 118, 223—235, 317, 318, 352, 353, 354, 355, 364, 374, 375, 381, 383, 384, 391, 404, 421, 430, 476, 482, 493, 505, 506, 521, 527, 530  
 Волошина М. В.— см. Сабашникова М. В.  
 Вольтинский А. Л. (Флексер) — 121, 361, 494  
 Востряков Д. Г.— 392, 532  
 Врангель Н. Н.— 442, 540  
 Врубель М. А.— 74, 180, 432, 434, 435  
 Врхлицкий Ярослав — 76  
 Выставкина Е. В.— 407
- Галати Екатерина — 468, 544
- Гамсун (Педерсен) Кнут — 59, 66, 192, 416, 534  
 Гаршин В. М.— 322  
 Гауптман Герхарт — 174, 482  
 Герцък (Жуковская) А. К.— 227, 229, 230, 231, 232, 490, 505, 506  
 Герцък Е. К.— 15, 223—235, 505, 506  
 Гершензон М. О.— 197, 404, 502, 528  
 Гершенкройн Г. О.— 384  
 Гершуни Г. А.— 265, 512  
 Гёте Иоганн Вольфганг — 49, 118, 120, 213, 214, 220, 230, 309, 364, 390, 493, 505  
 Гиль Рене — 318, 383, 530  
 Гиляровский В. А.— 393, 398, 531, 532  
 Гишпиус В. В.— 19, 475, 476, 512, 520  
 Гишпиус З. Н.— 8, 19, 20, 64, 82, 94—101, 116, 124, 139—170, 176, 297, 315, 316, 326, 327, 328, 329, 375, 379, 385, 388, 400, 474, 475, 481, 484, 486, 488, 490, 498, 499, 504, 531, 534  
 Гиришман В. О.— 392, 532  
 Глебова-Судейкина О. А.— см. Судейкина (Глебова) О. А.  
 Гнедич Н. И.— 120  
 Гоголь Н. В.— 9, 105, 110, 192, 219, 324, 341, 397, 450, 491, 513  
 Годин Я. В.— 180, 404, 500  
 Головин А. Я.— 113  
 Гончаров И. А.— 322  
 Горбунов-Посадов (наст. фам. Горбунов И. И.) — 404  
 Гордин В. И.— 459, 460  
 Городецкий С. М.— 9, 88, 116, 117, 133, 176, 185, 258, 326, 367, 368, 369, 370, 372, 375, 384, 385, 391, 420, 429, 451, 469, 470, 476, 482, 493, 516, 520, 523, 529, 531, 537, 538, 540, 541, 542, 543  
 Горький Максим (Пешков А. М.) — 12, 48, 49, 133, 160, 161, 166, 170, 180, 326, 328, 329, 330, 331, 366, 393, 400, 406, 410, 465, 470, 472, 473, 477, 532, 534  
 Гофман В. В.— 35, 442, 479  
 Гофман М. Л.— 15, 367—378, 487, 528, 529

- Гофман Эрнст Теодор Амадей — 238, 363, 442, 487  
 Градовский Г. К.— 401  
 Граммон Морис — 112  
 Гречанинов А. Т.— 114  
 Гржебин З. И.— 189, 356, 358  
 Григорьев А. А.— 9, 161, 375, 499  
 Грин А. С.— 472, 542  
 Гриф — см. Соколов С. А.  
 Грифцов Б. А.— 186, 501  
 Гроссман Л. П.— 387, 531  
 Грузинский А. Е.— 401  
 Грушко (Маркова) Н. В.— 466, 468, 544  
 Гумилев Н. С.— 6, 7, 8, 11, 14, 15, 37, 38, 39, 110, 116, 117, 122, 177, 181, 236, 245—253, 254, 255, 258, 259, 260, 261, 283, 284, 285, 374, 384, 404, 409, 443, 450, 468, 491, 492, 493, 494, 500, 507, 508, 509, 510, 511, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 523, 525, 529, 530, 531, 537, 538, 540, 542, 543, 544  
 Гурмон Реми де — 227, 383, 505, 530  
 Гуро Елена (наст. фам. Нотенберг Э. Г.) — 354, 527  
 Гюисманс Шарль Мари Жорж (лит. имя Жорис Карл) — 8, 451
- Дальский М. В.— 467  
 Данте Алигьери — 56, 118, 273, 309, 381, 390, 481, 511  
 Дельвиг А. А.— 373, 382  
 Державин Г. Р.— 120  
 Джунковский В. Ф.— 281, 519  
 Дмитриева Е. И. (Черубина де Габриак) — 231, 232, 490, 493, 505  
 Добролюбов А. М.— 8, 10, 15, 19—23, 28, 285, 286, 474, 475, 476, 521  
 Добронравов Л. М.— 466, 544  
 Добужинский М. В.— 15, 354—366, 372, 527, 529  
 Довгелло С. П.— см. Ремизова С. П.  
 Долинов М. А.— 466, 470, 473, 544  
 Дорошевич В. М.— 393, 398, 400, 410, 473, 480, 532
- Достоевский Ф. М.— 9, 25, 110, 115, 132, 192, 222, 322, 343, 361, 387, 449, 450, 494, 502, 513, 531  
 Дункан Айседора — 308, 421, 424, 425  
 Дурнов М. А.— 416, 430, 431, 537, 538  
 Дымов О. И.— 21—23, 476, 478  
 Дягилев С. П.— 372, 539
- Евреинов Н. Н.— 71, 356, 416, 425, 534, 536, 537  
 Еврипид — 104, 108, 112, 258, 493  
 Есенин С. А.— 11, 43, 181, 459, 460, 461, 469, 541
- Жуковский В. А.— 296, 482, 508, 511  
 Жуковский Д. Е.— 336, 506
- Зайцев Б. К.— 65—70, 130—135, 171—173, 182—190, 204, 373, 402, 414, 481, 482, 495, 496, 499, 500, 501, 502, 503, 513, 534, 540  
 Заречная Нина — 406, 407, 408  
 Званцова Е. Н.— 354, 372  
 Зелинский Ф. Ф.— 119, 378, 493, 494  
 Зиновьева-Аннибал Л. Д.— 37, 116, 123, 124, 130, 131, 319, 354, 356, 357, 369, 370, 371, 376, 401, 494, 528, 529, 534  
 Зноско-Боровский Е. А.— 450, 493, 507, 539
- Ибсен Генрик — 8, 59, 65, 174, 192, 306  
 Иванов Вяч. И.— 8, 9, 11, 13, 14, 15, 37, 49, 52, 99, 109, 114—129, 130—135, 136, 141, 176, 191, 196, 206, 211, 212, 223—225, 230, 255, 269, 284, 290, 319, 326, 341, 343, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 354—358, 359, 363, 364, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373—379, 381, 390, 391, 394, 420, 428, 476, 482, 489, 490, 493, 494, 495, 496,

- 502, 507, 522, 524, 526, 527, 528, 529, 530, 533, 534, 537, 540  
 Иванов Г. В.— 6, 8, 11, 12, 13, 15, 181, 281—286, 287—292, 372, 440—443, 448—455, 459, 470, 473, 486, 488, 489, 490, 493, 506, 508, 509, 515—522, 530, 536—544  
 Иванов-Разумник (Разумник Васильевич Иванов) — 163, 166, 168, 203, 204, 448, 499  
 Ивнев Рюрик (Ковалев М. А.) — 11, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 543  
 Измайлов А. А.— 48, 391, 482  
 Игнатий Богоносец — 304, 310, 524  
 Иоанн Кронштадтский — 323  
 Иоанн Святого Креста — 309  
 Иорданский Н. И.— 335
- Каллаш М. А. — 407  
 Каменев Л. Б. (Розенфельд) — 217, 352, 353  
 Каменева О. Д.— 29, 133, 350, 352, 353, 496  
 Каменский А. П.— 181, 466, 467, 469, 523, 544  
 Кант Иммануил — 300  
 Карпович М.— 15, 264—267, 511, 512  
 Карсавина Т. П.— 236, 538  
 Каргашев А. В.— 368, 529  
 Качалов В. И. (наст. фам. Шверубович) — 473  
 Клодель Поль — 227, 505  
 Клычков С. А.— 404, 409, 443, 540  
 Клюев Н. А.— 252, 460  
 Книппер-Чехова О. Л.— 473  
 Коган П. С.— 351, 352, 353, 396, 526  
 Коген Герман — 192  
 Кожевников В. А.— 300, 301, 302, 303, 304  
 Койранский А. А.— 186, 188, 189, 390, 398, 501, 533  
 Кольцов А. В.— 296, 522  
 Комаровский В. А.— 8, 252, 260—263, 509, 510  
 Комиссаржевская В. Ф.— 74, 88, 150, 160, 174, 180, 361, 363, 365, 465, 466, 485, 487, 536, 539  
 Комиссаржевская Ф. Ф.— 361  
 Кондратьев А. А.— 8, 9, 372, 415, 422, 489, 493, 531, 535, 537, 544  
 Коневской И. И. (Ореус) — 10, 21, 313, 474, 476, 488, 525, 534  
 Коринфский А. А.— 297, 488  
 Кошеватый Н.— 216, 217, 503  
 К. Р. (вел. кн. Конст. Конст. Романов) — 373, 495  
 Крандиевская Н. В.— 383, 397  
 Крашенинников П. И.— 405, 406  
 Кречетов С. А.— см. Соколов С. А.  
 Кривич (Анненский В. И.) — 104, 489, 493  
 Кругликова Е. С.— 380, 381, 382, 383, 388, 530  
 Крымов В. П.— 473  
 Крымов Н. П.— 435, 436  
 Кузмин М. А.— 8, 15, 37, 52, 116, 117, 122, 133, 174, 176, 236—244, 252, 255, 277, 355, 359, 362, 363, 372, 373, 375, 384, 385, 404, 409, 428, 429, 430, 432, 442, 450, 451, 452, 456—460, 464, 472, 481, 487, 493, 494, 506, 507, 517, 520, 521, 528, 534, 536, 538, 539, 541, 542, 543, 545  
 Кузнецов П. В.— 430, 432, 435, 538  
 Кузьмин-Караваев Д. В.— 245, 507  
 Кузьмина-Караваева Е. Ю. (мать Мария) — 245, 483, 507, 520  
 Кульбин Н. И.— 441, 514, 539  
 Куприн А. И.— 133, 180, 326, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 339, 395, 402, 484  
 Кьеркегор (Жиркегор) Сёрен — 273
- Лазаревский Б. А.— 466, 468, 472, 543, 544  
 Лансере Е. Е.— 314, 356  
 Ларионов М. Ф.— 430  
 Лафорг Жюль — 108  
 Леман Б. А. (псевд. Дикс) — 375  
 Ленин В. И.— 23, 49, 80, 94, 222, 322, 480

- Леопарди Джакомо — 302  
 Лермонтов М. Ю.— 9, 110, 522  
 Лесков Н. С.— 363  
 Ликиардопуло М. Ф.— 46, 481  
 Линденбаум В.— 419, 420  
 Лифарь С. М.— 473  
 Лозинский М. Л.— 256, 282, 283, 284, 493, 508, 516, 519, 521  
 Лопатин Л. М.— 393, 532  
 Лохвицкая М. А.— 11, 74, 75, 77, 485, 522  
 Луис Пьер Феликс — 422, 535  
 Луначарский А. В.— 41, 42, 90, 133, 166, 217, 259, 374, 463, 473  
 Лурье А. С.— 15, 256, 272—280, 461, 508, 514, 515  
 Львов-Рогачевский В. Л.— 396, 448, 533  
 Любошиц С. Б.— 390, 532
- Майков А. Н.— 409  
 Маковский С. К.— 6, 7, 12, 52, 102—113, 114—129, 231, 232, 391, 476, 482, 489—494, 509, 510, 513, 521, 526, 527, 539, 540  
 Малларме Стефан — 8, 105, 255, 263, 275  
 Мамонтов С. И.— 422, 423, 536  
 Мамонтов С. С.— 422, 423  
 Мандельштам М. Л.— 406, 407, 408  
 Мандельштам О. Э.— 8, 15, 122, 181, 236, 255, 257, 258, 259, 264—267, 268—271, 272, 274, 275, 278, 279, 280, 281, 282, 407, 408, 443, 459, 468, 493, 504, 508, 512—521, 538, 542, 543  
 Мансуров П. Б.— 300  
 Мантенья Андреа — 230, 505  
 Мар Анна (Леншина А. Я.) — 406, 407, 409, 410  
 Маринетти Филиппо Томмазо — 192, 236, 256, 388, 400  
 Матисс Анри — 192  
 Мачтет Г. А.— 131, 495  
 Маяковский В. В.— 11, 35, 36, 37, 43, 181, 257, 401, 407, 408, 409, 410, 442, 491, 540  
 Мей Л. А.— 409  
 Мейерхольд В. Э.— 159, 160, 174, 357, 361, 425, 451, 484, 498, 506, 514, 528
- Мережковский Д. С.— 8, 20, 59, 64, 90, 123, 124, 140, 141, 180, 212, 297, 306, 315, 316, 326, 327, 328, 329, 341, 348, 357, 375, 379, 385, 386, 391, 401, 474, 475, 476, 482, 498, 499, 524, 531, 535  
 Метерлинк Морис — 8, 65, 79, 174, 456, 476, 485, 535  
 Метнер Н. К.— 192, 193  
 Мещерский В. П.— 299  
 Милиоти В. Д.— 430  
 Минский (Виленкин Н. М.) — 95, 96, 375, 381, 382, 384, 385, 388, 488  
 Минцлова А. Р.— 206, 208, 209  
 Миропольский А. (Ланг А. А.) — 418, 535  
 Митурич П. В.— 278  
 Михеев В. М.— 390, 532  
 Мицкевич Адам — 382, 410, 530  
 Могилянский Н. М.— 15, 444—447, 541  
 Мозалевский В. И.— 467, 470, 545  
 Моммзен Теодор — 120, 132, 355  
 Морозова М. К.— 198, 304, 502  
 Мосолов Б. С.— 375, 529  
 Мочульский К. В.— 15, 53, 187, 203, 204, 213, 254, 268—271, 481, 501, 508, 513  
 Муни (Киссин С. В.) — 12, 35, 186, 479, 501  
 Муратов П. П.— 185, 186, 482, 501  
 Мусоргский М. П.— 192, 526
- Надсон С. Я.— 26, 30, 46, 392, 453, 522  
 Наживин И. Ф.— 473  
 Найденев С. А. (Алексеев) — 397, 533  
 Нарбут В. И.— 9, 290, 451, 493, 516, 521, 542, 543  
 Неведомская Вера — 15, 245—253, 507  
 Некрасов Н. А.— 220, 399  
 Немирович-Данченко В. И.— 365, 542

- Нерваль Жерар де (Жерар Лабрюни — 238, 274, 275, 278, 506, 514  
 Нестеров М. В.— 9, 432  
 Никитин Афанасий — 296, 522  
 Нилендер В. О.— 307  
 Ницше Фридрих — 8, 121, 187, 192, 213, 220, 306  
 Новалис (Фридрих фон Харденберг) — 8, 309  
 Новоселов М. А.— 300  
 Нувель В. Ф.— 356, 358, 360
- Овидий (Публий Овидий Назон) — 178, 268, 477  
 Овсяннико-Куликовский Д. Н.— 448  
 Озеров И. Х.— 56, 57  
 Олимпов К. К.— 181, 521  
 Олсуфьев Д. А.— 300, 304  
 Осоргин М. А. (Ильин) — 473, 501  
 Оцуп Н. А.— 6, 7, 11, 490, 508
- Панин Г. Г.— 472, 545  
 Паскаль Блез — 301, 309, 310, 341  
 Пастернак Б. Л.— 176, 207  
 Пастухов В. Л.— 15, 456—464, 543  
 Перцов П. П.— 52, 95, 486, 488  
 Петровская Н. И.— 31, 413, 414, 415, 416, 418, 419, 477, 478, 501, 534  
 Петровский Ф. А.— 310  
 Пильский П. М.— 387, 486, 488, 544  
 Платон — 27, 32, 199, 220, 274, 279, 309, 310, 398  
 Плева В. К.— 148, 498  
 Плотин — 231, 309, 310  
 Погорелова Б. М.— см. Рунт Б. М.  
 По Эдгар Аллан — 66, 76, 318, 484, 534  
 Полевой Н. А.— 450  
 Поленов В. Д.— 422, 423  
 Полонский Я. П.— 295, 298, 409, 522  
 Поляков С. А.— 66, 67, 312, 313, 314, 315, 316, 318, 319, 320, 321, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 351, 415, 482, 525, 526, 534  
 Попов И. И.— 55, 397, 405  
 Потапенко И. Н.— 450, 466, 468, 544  
 Потембня А. А.— 263  
 Потемкин В. П.— 392, 540  
 Потемкин П. П.— 174, 236, 359, 372, 443, 444, 466, 472, 493, 529, 539, 540, 541, 543  
 Правдин О. А.— 397  
 Прокофьев С. С.— 280, 469, 470  
 Пронин Б. К.— 236, 238, 256, 356, 429, 440, 441, 442, 444, 445, 446, 508, 538, 541  
 Протопопов А. Д.— 452  
 Пунин Н. Н.— 260, 509, 511, 519  
 Пушкин А. С.— 9, 34, 35, 40, 70, 86, 116, 192, 197, 205, 221, 248, 325, 326, 331, 351, 367, 368, 371, 373, 378, 390, 409, 470, 472, 484, 511, 522, 528, 531, 532  
 Пшибышевский Станислав — 8, 174, 313, 416, 534  
 Пяст (Пестовский) В. А.— 133, 359, 367, 368, 372, 375, 486, 489, 490, 491, 493, 528, 529, 538, 539
- Расин Жан — 226, 258, 259  
 Рахманинов С. В.— 192  
 Рачинский Г. А.— 119, 300, 306, 494, 524  
 Регинин (Раппопорт В. А.) — 455, 542  
 Рейснер Л. М.— 469, 544  
 Рембо Артур — 86, 105, 110, 275  
 Ремизов А. М.— 9, 133, 185, 192, 263, 326, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 355, 359, 360, 361, 373, 376, 377, 426, 430, 513, 528, 542, 543  
 Ремизова С. П.— 338, 339, 340, 341, 359, 360  
 Ренников А. М.— 473  
 Ренье Анри Франсуа Жозеф де — 261, 263, 477, 511  
 Репин И. Е.— 354  
 Римский-Корсаков Н. А.— 21, 362

- Рожественский В. А.— 11, 489, 493, 516  
 Розанов В. В.— 94, 95, 99, 100, 161, 404, 432, 489, 498  
 Романов Б. Г.— 236, 238, 240, 363, 443, 506  
 Романов П. С.— 471  
 Ропшин В.— см. Савинков Б. В.  
 Рославлев А. С.— 180, 452, 466, 469, 472, 473, 500, 544  
 Ростан Эдмон — 296, 523  
 Ростовцев М. И.— 119, 494  
 Рубакин Н. А.— 404  
 Рубанов Лев — 465—473, 543, 544, 545  
 Рубанович С. Я.— 404, 407, 408, 409, 534  
 Рукавишников И. С.— 397, 400  
 Рунт (Погорелова) Б. М.— 15, 24—45, 312—321, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 477, 525, 528, 532, 534  
 Рунт (Брюсова) И. М.— 26, 29, 30, 31, 38, 40, 41, 42, 44, 313, 405, 477  
 Рындина Л. Д.— 15, 187, 397, 412—429, 501, 533, 534, 535  
 Рябушинский Н. П.— 392, 400, 419, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 532, 537  
 Рябушинский П. П.— 392
- Сабанеев Л. Л.— 15, 343—353, 525, 526  
 Сабашникова (Волошина) М. В.— 206, 215, 223, 224, 225, 229, 230, 354, 505  
 Савинков Б. В. (псевд. Ропшин В.) — 90, 165, 259, 266, 402, 512  
 Садовской Б. А.— 9, 326, 404, 466, 472, 493, 538, 543, 544  
 Самарин Ф. Д.— 300, 304  
 Самокиш Н. С.— 473  
 Сапунов Н. Н.— 174, 363, 404, 430, 432, 435, 538  
 Сафо (Сапфо) — 75, 422  
 Сафонов В. И.— 27  
 Сведенборг Эмануэль — 8, 192  
 Светлов В. (Ивченко В. Я.) — 450
- Святополк-Мирский П. Д.— 15, 148, 260—263, 498, 509, 510  
 Северянин Игорь (Лотарев И. В.) — 11, 37, 38, 132, 181, 238, 257, 416, 479, 521, 522, 536  
 Сенилов В. А.— 91  
 Сергеев-Ценский С. Н.— 400, 404  
 Серов В. А.— 65  
 Скабичевский А. М.— 396, 533  
 Скалдин А. Д.— 15, 290, 291, 493, 521  
 Скиталец С. Г. (Петров) — 180, 393, 473, 532  
 Скрябин А. Н.— 119, 120, 192, 193, 346, 347, 349, 526  
 Слезкин Ю. Л.— 452, 466, 467, 468, 470, 473, 478, 543, 544  
 Случевский К. К.— 296, 297, 298, 299, 522, 523  
 Смирнов А. А.— 381  
 Собинов Л. В.— 473  
 Соколов С. А. (псевд. Кречетов С. А.) — 136, 187, 189, 190, 397, 404, 409, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 477, 497, 501, 526, 531, 533, 534, 535  
 Соловьев В. С.— 11, 46, 47, 48, 53, 54, 55, 60, 139, 141, 142, 148, 183, 192, 205, 207, 219, 297, 298, 304, 306, 307, 316, 322, 323, 414, 479, 498, 502, 513, 523  
 Соловьев С. М.— 35, 46, 50, 51, 52, 63, 64, 140, 144, 147, 157, 191, 212, 213, 305, 307, 308, 385, 386, 479, 497, 531  
 Сологуб (Тетерников) Ф. К.— 8, 14, 15, 19, 80—93, 94—102, 111, 116, 136, 137, 176, 297, 298, 326, 341, 355, 358, 359, 361, 363, 371, 375, 378, 379, 400, 414, 423—428, 451, 452, 463, 470, 479, 482, 483, 484, 486, 487, 488, 489, 490, 493, 515, 517, 518, 531, 534, 536, 543  
 Сомов К. А.— 91, 237, 314, 356, 359, 360, 363, 364, 368, 372  
 Станиславский (Алексеев) К. С.— 158, 365, 445  
 Стасов В. В.— 362  
 Стасюлевич М. М.— 396, 533  
 Степун Ф. А.— 15, 190, 191—202, 203, 204, 215, 217, 218, 501, 502, 503, 529



- Столица Л. (Ершова Л. Н.) — 9, 383, 427, 430, 490, 530, 537  
 Стражев В. И.— 185, 186, 501  
 Стриндберг Юхан Август — 8, 192  
 Струве Г. П.— 480, 515  
 Струве П. Б.— 266, 335, 397  
 Суворин А. С.— 459, 514  
 Суворин М. А.— 161, 451, 452  
 Судейкин С. Ю.— 256, 314, 357, 404, 428, 441, 442, 446, 447, 451, 506, 514, 520, 528, 539  
 Судейкина О. А. (Глебова) — 238, 257, 274, 275, 278, 429, 442, 506, 514, 537  
 Сумароков А. П.— 120  
 Сумбатов-Южин А. И.— 397, 399, 533  
 Сургучев И. Д.— 397, 533  
 Сыгин И. Д.— 451, 522  
 Сюннерберг К. А. (псевд. Конст. Эрберг) — 355, 358, 360, 361, 527
- Таиров А. Я.— 443, 540  
 Танеев С. И.— 27, 350, 526  
 Таубе (Аничкова) С. И.— 455  
 Телешов Н. Д.— 397, 531  
 Тернавцев В. А.— 123  
 Толстой А. К.— 9, 309, 522  
 Толстой А. Н.— 201, 274, 283, 375, 383, 397, 399, 402, 425, 426, 493, 520, 529  
 Толстой Л. Н.— 35, 70, 180, 186, 189, 323, 324, 331, 392, 393, 402, 406, 502, 526  
 Трапезников Т. Г.— 215  
 Трепов Д. Ф.— 357, 448, 528  
 Трояновский И. И.— 345  
 Трубецкой Е. Н.— 300, 305, 306, 310, 524  
 Трубецкой Н. С.— 310  
 Трубецкой С. Н.— 309, 310, 523  
 Туган-Барановский М. И.— 327, 328, 480, 526  
 Тургенев И. С.— 25, 53, 392, 449, 450, 482, 531  
 Тургенева А. А.— 15, 64, 203—218, 481, 503  
 Тыркова А. В. (Тыркова-Вильямс) — 150, 322—342, 361, 498, 525
- Тэффи Н. А. (Бучинская, урожд. Лохвицкая) — 71—79, 80—93, 236, 413, 426, 468, 484, 485, 486  
 Тютчев Ф. И.— 9, 101, 110, 135, 192, 271, 378, 490, 502, 522
- Уайльд Оскар — 8, 15, 66, 76, 385, 415, 431, 481, 482, 534, 536  
 Успенский Г. И.— 322  
 Успенский П. Д.— 241, 242, 507
- Фальк Р. Р.— 383  
 Федоров Н. Ф.— 303  
 Феофилактов Н.— 57, 314, 430, 431  
 Фет (Шеншин) А. А.— 9, 352, 389, 390, 456, 522  
 Фидлер Ф. Ф.— 296, 522, 523  
 Фидус (Хуго Хёппенер) — 380  
 Филосовов Д. В.— 386, 455, 474  
 Флоренский П. А.— 208  
 Фор Поль — 256, 397, 398, 399, 533  
 Фофанов К. М.— 11, 292, 297, 521, 522  
 Франциск Ассизский — 8, 306, 309  
 Фридрих Д. Н.— 21, 476
- Хирьяков А. М.— 401  
 Хлебников В. В.— 9, 12, 181, 257, 274, 275, 276, 277, 278, 500, 514  
 Ходасевич В. Ф.— 5, 8, 9, 12, 13, 32, 33, 35, 106, 181, 207, 372, 389—393, 406, 407, 409, 410, 411, 415, 478, 482, 483, 488, 491, 501, 526, 531, 534, 535  
 Хомяков А. С.— 309  
 Цветаева М. И.— 11, 49, 56, 116, 136, 383, 397, 481  
 Цензор Д. М.— 180, 404, 459, 460, 466, 469, 471, 500, 514, 517, 518, 543, 544  
 Цетлин М. О. (Амари) — 383, 483, 530

Цыбульский Н. К.— 238, 440,  
441, 443, 506, 538, 539

Чеботаревская Ал. Н.— 372

Чеботаревская Ан. Н.— 84, 91,  
92, 101, 326, 359, 372, 424, 425,  
426, 427, 463, 479, 486, 488, 501

Чехов А. П.— 296, 393, 482,  
523

Чехонин С. В.— 451

Чириков Е. Н.— 180, 402, 466,  
500, 535

Чудовский В. А.— 258, 493,  
508, 509

Чуковский К. И.— 391, 396,  
482, 516, 543

Чулков Г. И.— 14, 88, 90, 123,  
130, 131, 132, 133, 149, 171, 187,  
255, 315, 355, 356, 359, 361, 370,  
391, 400, 482, 484, 486, 487, 489,  
492, 493, 529

Чорлёнис (Чурлянис) Мика-  
лоюс Константинас — 355, 527

Чюмина О. Н.— 297

Шагинян М. С.— 404, 490

Шайкевич А.— 15, 236—244,  
506, 539

Шаляпин Ф. И.— 192, 406,  
430, 473

Шварсалон В. К.— 354, 357,  
358, 376, 377, 378, 428, 496

Шебуев Н. Г.— 448, 449, 541

Шекспир Уильям — 324, 390

Шелли Перси Биши — 8, 66,  
309

Шершеневич В. Г.— 11, 43,  
407, 408

Шиллер Иоганн Фридрих —  
101, 233

Шкловский В. Б.— 263, 540

Шляпкин И. А.— 254, 508

Шмелев И. С.— 402

Шопенгауэр Артур — 8

Штейнер Рудольф — 157, 158,  
203—218, 503, 504

Шульгин В. В.— 473, 535

Щепкина-Куперник Т. Л.—  
297, 471, 490, 543, 545

Эйхенбаум Б. М.— 285

Экхарт Иоганн (Майстер Эк-  
харт) — 8, 192

Эллис (Кобылинский Л. Л.) —  
15, 46—64, 198, 207, 210, 307,  
481, 524

Эразм Роттердамский Дезиде-  
рий — 119, 263

Эредиа Жозе Мария де — 8,  
313, 530

Эсхил — 112, 120

Юнгер В. А.— 468, 544

Юркун Ю. И.— 239, 241, 468,  
472, 506, 507

Яблоновский С. В. (псевд.  
С. В. Потресова) — 27, 391,  
477, 532

Яворская Л. Б.— 296, 465, 466,  
467, 469, 470, 523

Якоби Фридрих Генрих — 301

Якубович П. П. (псевд. Мель-  
шин Л.; П. Я.) — 403, 404

Якулов Г. Б.— 407, 410

Якунчикова М. В.— 377

Ясинский И. И. (псевд. Мак-  
сим Белинский) — 471, 477, 487,  
523, 543, 545

*Составила Вера Крейд*

## СОДЕРЖАНИЕ

*Вадим Крейд.* Встречи с серебряным веком . . . . . 5

### 1

*Зинаида Гиппиус.*  
ОБ АЛЕКСАНДРЕ ДОБРОЛЮБОВЕ . . . . . 19

*Осип Дымов.*  
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ДОБРОЛЮБОВ . . . . . 21

*Бронислава Погорелова.*  
ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ . . . . . 24

*Н. Валентинов.*  
БРЮСОВ И ЭЛЛИС . . . . . 46

*Борис Зайцев.*  
БАЛЬМОНТ . . . . . 65

*Н. А. Тэффи.*  
БАЛЬМОНТ . . . . . 71

*Н. А. Тэффи.*  
ФЕДОР СОЛОГУБ . . . . . 80

*Зинаида Гиппиус.*  
ОТРЫВОЧНОЕ (О СОЛОГУБЕ) . . . . . 94

*Сергей Маковский.*  
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ ИННОКЕНТИИ АННЕНСКОМ 102

*Сергей Маковский.*  
ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ В РОССИИ . . . . . 114

*Борис Зайцев.*  
ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ . . . . . 130

<i>Константин Бальмонт.</i>	
ТРИ ВСТРЕЧИ С БЛОКОМ . . . . .	136
<i>Зинаида Гиппиус.</i>	
МОЙ ЛУННЫЙ ДРУГ. О БЛОКЕ . . . . .	139
<i>Борис Зайцев.</i>	
ПОБЕЖДЕННЫЙ . . . . .	171
<i>Юрий Анненков.</i>	
АЛЕКСАНДР БЛОК . . . . .	174
<i>Борис Зайцев.</i>	
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ . . . . .	182
<i>Федор Степун.</i>	
ПАМЯТИ АНДРЕЯ БЕЛОГО . . . . .	191
<i>А. Тургенева.</i>	
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ И РУДОЛЬФ ШТЕЙНЕР . . . . .	203
<i>Георгий Адамович.</i>	
АНДРЕЙ БЕЛЫЙ И ЕГО ВОСПОМИНАНИЯ . . . . .	219
<i>Евгения Герцык.</i>	
ВОЛОШИН . . . . .	223
<i>А. Шайкевич.</i>	
ПЕТЕРБУРГСКАЯ БОГЕМА (М. А. КУЗМИН) . . . . .	236
<i>Вера Неведомская.</i>	
ВОСПОМИНАНИЯ О ГУМИЛЕВЕ И АХМАТОВОЙ . . . . .	245
<i>Георгий Адамович.</i>	
МОИ ВСТРЕЧИ С АННОЙ АХМАТОВОЙ . . . . .	254
<i>Дмитрий Святополк-Мирский.</i>	
ПАМЯТИ гр. В. А. КОМАРОВСКОГО . . . . .	260
<i>Михаил Карпович.</i>	
МОЕ ЗНАКОМСТВО С МАНДЕЛЬШТАМОМ . . . . .	264
<i>Константин Мочульский.</i>	
О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ . . . . .	268
<i>Артур Лурье.</i>	
ОСИП МАНДЕЛЬШТАМ . . . . .	272
<i>Артур Лурье.</i>	
ДЕТСКИЙ РАЙ . . . . .	273

<i>Георгий Иванов.</i> КИТАЙСКИЕ ТЕНИ . . . . .	281
<i>Георгий Иванов.</i> НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ . . . . .	287
2	
<i>Владимир Барятинский.</i> «ПЯТНИЦЫ ПОЛОНСКОГО» И «ПЯТНИЦЫ СЛУЧЕВСКОГО». ИЗ СЕРИИ ВОСПОМИНАНИЙ «ДОГОРЕВШИЕ ОГНИ» . . . . .	295
<i>Николай Арсеньев.</i> О МОСКОВСКИХ РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИХ И ЛИТЕРАТУРНЫХ КРУЖКАХ И СОБРАНИЯХ НАЧАЛА XX ВЕКА . . . . .	300
<i>Бронислава Погорелова.</i> «СКОРПИОН» И «ВЕСЫ» . . . . .	312
<i>Ариадна Тыркова-Вильямс.</i> ТЕНИ МИНУВШЕГО. ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ . . . . .	322
<i>Леонид Сабанеев.</i> МОИ ВСТРЕЧИ. «ДЕКАДЕНТЫ» . . . . .	343
<i>Мстислав Добужинский.</i> ВСТРЕЧИ С ПИСАТЕЛЯМИ И ПОЭТАМИ . . . . .	354
<i>Модест Гофман.</i> ПЕТЕРБУРГСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ . . . . .	367
<i>Александр Биск.</i> РУССКИЙ ПАРИЖ 1906—1908 гг. . . . .	379
<i>Владислав Ходасевич.</i> МОСКОВСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КРУЖОК . . . . .	389
<i>Д. Аминадо.</i> ПОЕЗД НА ТРЕТЬЕМ ПУТИ . . . . .	394
<i>Лидия Рындина.</i> УШЕДШЕЕ . . . . .	412

<i>С. А. Виноградов.</i> О СТРАННОМ ЖУРНАЛЕ, ЕГО ТАЛАНТЛИВЫХ СОТРУД- НИКАХ И МОСКОВСКИХ ПИРАХ . . . . .	430
<i>Георгий Иванов.</i> «БРОДЯЧАЯ СОБАКА». ИЗ ПЕТЕРБУРГСКИХ ВОСПОМИ- НАНИЙ . . . . .	440
<i>Николай Могилянский.</i> О «БРОДЯЧЕЙ СОБАКЕ» . . . . .	444
<i>Георгий Иванов.</i> КИТАЙСКИЕ ТЕНИ. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПЕТЕРБУРГ 1911— 1921 гг. . . . .	448
<i>Всеволод Пастухов.</i> СТРАНА ВОСПОМИНАНИЙ . . . . .	456
<i>Лев Рубанов.</i> КЛУБ «МЕДНЫЙ ВСАДНИК» . . . . .	465
Комментарии . . . . .	474
Именной указатель . . . . .	546

## ВОСПОМИНАНИЯ О СЕРЕБРЯНОМ ВЕКЕ

Заведующий редакцией *В. Вучетич*  
Редактор *Н. Красникова*  
Младший редактор *М. Абросимова*  
Художественный редактор *И. Иванова*  
Технический редактор *В. Крылова*

ИБ № 9416

ЛР № 010273 от 10.12.92.

Сдано в набор 12.10.92. Подписано в печать 15.04.93. Формат 84x108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Таймс». Печать офсетная. Усл. печ. л. 29,40. Уч.-изд. л. 33,97. Тираж 51 000 экз. Заказ № 3181. С 005.

Российский государственный информационно-издательский Центр «Республика»  
Министерства печати и информации Российской Федерации.

Издательство «Республика». 125811, ГСП, Москва, А-47, Миусская пл., 7.

Полиграфическая фирма «Красный пролетарий». 103473, Москва, И-473, Красно-  
пролетарская, 16.